

Обложка художника
Николая Сафонова

МИХАИЛ
КОРЯКОВ

ЖИВАЯ
ИСТОРИЯ
1917-1975

Михаил Михайлович Коряков родился в 1911 году в крестьянской семье в Енисейской губернии (ныне Красноярский край). Учительствовал, работал в газетах, а в 1939 году поступил научным сотрудником в Музей-Усадьбу Льва Толстого в Ясной Поляне.

В июле 1941 года М. Коряков был мобилизован и направлен в Московское военно-инженерное училище. Произведенный в лейтенанты, служил командиром роты. В декабре 1942 года переведен на работу в редакцию газеты «Сокол Родины». Весной 1944 года, на Вольни, капитан Коряков заказал в местной церкви панихиду по только что скончавшемуся патриарху Сергии и был за это отстранен от работы в газете и направлен в пехоту. 22 апреля 1945 года в бою под Дрезденом был захва-

МИХАИЛ КОРЯКОВ ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 1917-1975

Михаил Коряков

МИХАИЛ
КОРЯКОВ

ЖИВАЯ
ИСТОРИЯ
1917-1975

ECHO PRESS

1977

МИХАИЛ
КОРЯКОВ

ЖИВАЯ
ИСТОРИЯ
1917-1975

ECHO PRESS
1977

MIKHAIL KORYAKOV
Living History 1917—1975

All Rights Reserved by the Author

Distributed by
A. Neimanis Buchvertrieb G. m. b. H.
Bauerstrasse 28
8000 Munich 40
Germany

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München 50, Peter-Müller-Str. 43.

Printed in West Germany

К ЧИТАТЕЛЮ

Без сомнения, одна из главных задач современной общественной духовной и интеллектуальной жизни в России (а следовательно, и в Русском Зарубежье) — это задача познания истории России, в особенности же ее послеоктябрьского периода. «Когда и почему вышло так, что всё сдвинулось на земле, перемешалось, сошло с места? — задумывается герой романа, написанного Владимиром Максимовым в Москве, но опубликованного за границей. — Какая сила бросает людей из стороны в сторону, сталкивает друг с другом, ожесточает их души, лишает людского облика? ... Что же произошло в мире?» В другом романе того же писателя, тоже написанном в Москве, но опубликованном за границей, продолжается это настойчивое вопрошание: «Где причина нашего оскудения? Когда это началось? Отчего именно с нами?»

Автор книги, предлагаемой вниманию читателя, не романист и не ученый-историк. Но он, как и все русские люди, «в отечестве и в рассеянии сущие», не может не мучиться теми же вопросами познания России, а следовательно, и самопознания. Вот почему, выросший в послеоктябрьской России и после Второй мировой войны оставшийся за рубежом, автор настоящей книги провел много лет в зарубежных библиотеках, читая подшивки «Правды» и «Известий», начиная с 1917 года, копаясь в журналах и книгах, которые в Москве имеются, может быть, только в «спецхране» и потому мало кому доступны. Материалы, извлеченные автором из газетных и книжных хранилищ, и составляют книгу, которая, как надеется автор, поможет читателю, особенно молодому читателю, решать задачу познания России и самопознания, поможет в осмыслении всего того, что России пришлось пережить за пооктябрьские десятилетия, а также и в поисках нового пути как для России, так и для самого себя в России.

Не следует воспринимать эту книгу, как «научный труд». Нет, это серия исторических очерков, каждый из которых посвящен одному году послеоктябрьской истории России. Книга начина-

ется очерком о 1917 году: «От безграничной свободы к безграничному деспотизму» и заканчивается очерком о 1975 году: «Разрядка . . . международная и внутренняя». Таким образом, читатель найдет в книге столько глав, сколько лет прошло после революции 1917 года. В событиях каждого года автору хотелось найти некий невралгический пункт, присущий именно этому году. И хотя автор выступает в скромной роли собирателя материалов и составителя книги, он все же должен принять на себя ответственность за выбор тех пунктов, которые ему кажутся «невралгическими», определявшими ход жизни в стране, оставлявшими длительные последствия и входившими во внутреннюю биографию людей октябрьской и послеоктябрьской России.

Исторические очерки — это не сухой перечень событий, происходивших в послеоктябрьские десятилетия, не «хронология» из учебника, а именно очерки еще живой, еще сочащейся кровью истории. Автор надеется, что читатель простит взволнованный тон некоторых из этих очерков, — взволнованный потому, что автор сам был непосредственным участником некоторых описываемых им событий. В очерки поэтому вплетаются порой личные элементы, тем более, что для автора, как и для русского читателя, вопрос познания истории России связан с вопросом и самопознания, осознания своего «я» в истории.

Автор

В работе над рукописью книги автор получил значительную помощь от Ю. А. Письменного и Б. А. Филиппова, сделавших немало ценных указаний, — от всей души приношу им благодарность.

М. К.

1917

ОТ БЕЗГРАНИЧНОЙ СВОБОДЫ К БЕЗГРАНИЧНОМУ ДЕСПОТИЗМУ

Мы предпримем сейчас путешествие в прошлое — к весне 1917 года. Нам не потребуется уэллсовская «машина времени»: представим только, что мы проникли в одно из московских закрытых фильмохранилищ, «спецхран», нашли там на полке металлические коробки с надписями «Великие дни Российской революции 28/II—4/III 1917 года» и «Киножурнал Свободная Россия», вынули киноленты, порой полустертые, с оборванной перфорацией, и вот...

...Мы в Петрограде, на Невском проспекте. Неясные контуры фонарей и монументов, дворцы в тумане. На мостовой, покрытой рыхлым, затоптанным снегом, неожиданно, как бы порожденная петербургским туманом, возникает толпа и прет прямо на аппарат, тесня оператора и нас вместе с ним. Это смешанная толпа — солдаты, рабочие, матросы, студенты. На солдатах рваные, без хлястиков, раскрытые шинели, папахи с вытертым мехом низко надвинуты на лбы. На рабочих короткие пиджаки из шинельного сукна, полушубки или пальто, опоясанные солдатскими поясами с пряжками, украшенными двуглавым орлом. Понаряднее студенты — шинели с галунами, блестящие пуговицы, значки институтов на фуражках. В руках у демонстрантов разнокалиберные винтовки, карабины, охотничьи ружья. На тротуарах стоят любопытные, смотрят на демонстрацию, — тут порой попадается господин в котелке и бобровой шубе, но больше лавочники, земгусары.

Демонстранты поют. Кино немое, но по надписям мы знаем, что они поют «Марсельезу»:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног,
Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог.

Правда, от французской «Марсельезы» в этой песне только музыка, слова же совсем другие, — их написал Петр Лавров, профессор математики, философ и революционер, знакомый Маркса и Энгельса; до русской революции он не дожил, умер в 1900 году в Париже. Но его песню в 1917 году пела вся Россия, и если мы вслушаемся в это пение, то и уловим тот невралгический пункт, который был присущ первому году русской революции.

У здания Городской думы на Воскресенской площади, называемой ныне Площадью Революции, поток демонстрантов замедляется. На кузове старомодной автомашины появляется офицер в папахе и в пенсне. Демонстранты теперь стоят плотной стеной, повернувшись лицом к оратору. Офицер читает манифесты об отречении от престола Николая II и потом — младшего брата царя, великого князя Михаила Александровича. Великий князь призывает всех граждан «державы Российской» подчиниться Временному правительству до созыва Учредительного собрания. Толпа встречает призыв одобрительными криками, многие бросают вверх шапки. На киноэкране колышется взятое крупным планом полотнище: «Да здравствует Народное Правительство Свободной России!» На кузов автомашины выскакивает студент и начинает петь, размахивая фуражкой. Все поют:

И настанет година свободы,
Сгинет зло, сгинет ложь навсегда,
И сольются в одно все народы
В вольном царстве святого труда.

«Година свободы», «вольное царство» . . . — в этих словах «Рабочей марсельезы» выражена, можно сказать, «формула 1917 года».

В манифестах царя и великого князя, объявленных 4(17) марта, еще говорилось о «державе Российской», но это были только слова: державы-то как раз и не было — «державы» в понятии власти и прочности. Николай Александровича Романова до революции именовали «державным государем», «царем-самодержцем», а люди моего поколения, росшие в пооктябрьской России, привыкли слышать и, может быть, думать, что это был «Николай Кровавый». В действительности же это был незаурядный, замечательный человек: при огромной физической выносливости, закаленности и силе, обширных познаниях в истории, археологии, литературе, он обладал также русской простотой, добротой, сердечностью. Беда его была как раз в недостатке

«державности»: не был он ни «державным государем», ни «царем-самодержцем», так как у него не хватало воли, чтобы пойти против властной, настойчивой, непреклонной и притом нервнобольной царицы.

«Императрица была очень религиозна, — пишет в своих 'Воспоминаниях' о. Георгий Шавельский, протопресвитер Русской армии и флота, — она крепко любила Православную Церковь, старалась быть настоящей православной. Но увлеклась она той, развившейся у нас в предреволюционное время, крайней и даже болезненной формой православия, типичными особенностями которой были: ненасытная жажда знамений, пророчеств, чудес, отыскивание юродивых, чудотворцев, святых, как носителей сверхъестественной силы. От такой религиозности предостерегал Своих последователей Иисус Христос, когда дьявольское искушение совершить чудо отразил словами Св. Писания „Не искушай Господа Бога твоего“ (Мф. 4, 7). Опасность подобной веры воочию доказал пример Императрицы, когда, вследствие именно такой веры, выросла и внедрилась в царскую семью страшная фигура деревенского колдуна, проходимца, патологического типа — Григория Распутина, завладевшего умом и волей царицы и сыгравшего роковую роль в истории последнего царствования. Увлечение царицы Распутиным было совершенно благомерным, но последствия его были ужасны».

Впрочем, в другом месте второго тома «Воспоминаний» о. Георгий Шавельский замечает: «Если бы Распутин жил в царствование Императора Александра III, когда все в России, в том числе и в особенности, высшее общество, было более здоровым, он не смог бы нажить себе большей славы, как деревенского колдуна, чаровника. Большое время и прогнившая часть общества помогли ему подняться на головокружительную высоту, чтобы затем низвергнуться в пропасть и в известном отношении увлечь за собой и Россию».

Можно ли было оздоровить общество? Можно ли было спасти Россию? Короче говоря, была ли революция неотвратимой? По мнению Г. П. Федотова, «не все в русской политической жизни было гнило и обречено». «Для России были даны еще два последних шанса: первый шанс — революция 1905 года, второй — контрреволюция Столыпина». «Император Николай II имел редкое счастье видеть у подножья своего трона двух исключительных по русской мерке государственных деятелей: Витте и Столыпина. Он ненавидел одного и предавал обоих». * «Война,

* Г. Федотов, «И есть и будет», Париж, 1932, стр. 62.

потребовавшая от народа колоссальных жертв, обнаружившая многие язвы нашего государственного строя, развила в народных массах сознание как своих прав, так и необходимости государственного обновления. Надвигавшуюся грозу можно было предупредить, откликнувшись на нужды и права народные широкими реформами, самоотвержением высших классов, а не пулеметами и пушками».*

«Державы» не было... Николай II подписал манифест об отречении от престола 2 (15) марта, а между тем накануне, 1 (14) марта, приказы для «державы Российской» уже составляла толпа. Н. Суханов, автор известных «Записок о революции», был свидетелем того, как в тот день в Петроградском совете выработывался «Приказ № 1»: «За письменным столом сидел Н. Д. Соколов и писал. Его со всех сторон облепили сидевшие, стоявшие и навалившиеся солдаты и не то диктовали, не то подсказывали Соколову то, что он писал». «Приказ № 1», по выражению В. В. Розанова (в «Апокалипсисе нашего времени»), «превратил одиннадцатимиллионную русскую армию в труху и сор», так как армия отдавалась во власть самочинных «армейских комитетов», или «советов», в распоряжении которых должно было отныне находиться все оружие и — как особо оговаривалось в приказе — «ни в коем случае не выдаваться офицерам».

Принято думать, что 1917 год был годом «двоевластия», поскольку в феврале—июле власть «делили» Временное правительство и Советы. В действительности, то была пора безвластия, произвола. 3 (16) марта А. Ф. Керенский, только вступив на пост министра юстиции, предписал по телеграфу прокурорам судебных палат и окружных судов немедленно освободить всех «политзаключенных», — на деле тюрьмы были открыты и для уголовников. Вот какую картину рисует один пензенский хроникер того времени:

«На Московской улице красные банты, красные знамена, полотнища кумача... Пензяки, без различия состояний, все улыбаются, как на Пасху. На извозчиках, потрясая разбитыми кандалами, в халатах, войлочных шапочках, в казенных котках едут освобожденные из острога уголовники. С извозчиков они что-то кричат о свободе, о народе. Толпа криками приветствует их. Даже извозчики везут их даром; в России теперь всё будет даром! 'Отречемся от старого мира!' Тюрьмы уже взломаны, стражни-

* О. Георгий Шавельский, «Воспоминания», Нью-Йорк, 1954, стр. 229.

ки бежали. В свободной стране не может быть тюрем. Теперь свобода всем, совершенная свобода!»

Это — Пенза. А вот Петроград в апреле 1917 года, как его запечатлел Иван Бунин в «Окаянных днях»:

«Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 1917 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны — величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами. . . Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, — везти или не везти, — и не знал, какую назначить цену.

— В Европейскую, — сказал я.

Он подумал и ответил наугад:

— Двадцать целковых.

Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился и поехал — и не узнал Петербурга. . . Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей прислугой и всякими яргами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сладостями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

— Теперь народ, как скотина без пастуха, всё перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

— Так что же делать?

— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету».

Правительства не было. . . Не было даже «двоевластия», а только безвластие. В том же апреле в Петрограде состоялись выступления запасного батальона Финляндского полка и еще нескольких вооруженных отрядов, шагавших под флагами с надписями: «Вся власть Советам», «Долой правительство». Как же реагировало правительство? 26 апреля оно обратилось к народу с таким воззванием:

«Призванное к жизни великим народным движением, Временное правительство признает себя исполнителем и охранителем народной воли. В основу государственного управления оно полагает не насилие и принуждение, а добровольное повиновение свободных граждан созданной ими самими власти. Оно ищет опоры не в физической, а в моральной силе. С тех пор, как Временное правительство стоит у власти, оно ни разу не отступало от этих начал. Ни одной капли народной крови не пролито по его вине, ни для одного течения мысли им не создано насильственной преграды. К сожалению и к великой опасности для свободы, рост новых социальных связей, скрепляющих страну, отстает от процессов распада, вызванного крушением старого государственного строя. . . . Стихийное стремление осуществлять желания и домогательства отдельных групп и слоев населения явочным и захватным путем грозит разрушить внутреннюю гражданскую спайку и дисциплину и создать благоприятную почву, с одной стороны, для насильственных актов, с другой стороны, для развития частных стремлений и интересов в ущерб общим и к уклонению от гражданского долга».

Как видим, это правительство в основу своего управления полагало «добровольное повиновение свободных граждан созданной ими самими власти». В своем стремлении как можно меньше походить на старую власть, Временное правительство и вовсе перестало быть властью. Революция, таким образом, отдавалась на произвол стихийных сил. Это была не столько демократия, сколько узаконенная анархия.

Период безвластия, произвола стихийных сил носит название «керенщины», — это слово вошло даже в академический Словарь современного русского литературного языка (конечно, с цитатой из Ленина о «наследии царизма», «временах николаевщины и керенщины»). Пожалуй, в большей мере, чем личность царя, нас — людей, выросших в пооктябрьской России — интересует личность А. Ф. Керенского. «Кто он? Что это за человек?» — помню, думалось мне, когда я смотрел на Керенского, часами стоявшего со свечкой в руке во время великопостной службы в одной из русских церквей в Нью-Йорке.

А. Ф. Керенский умер в Нью-Йорке 11 июня 1970 года. Ему было 89 лет. Умер он, как и жил, одиноко: его вторая жена, австралийка, на которой он женился в Америке, давно умерла; его два сына, Олег и Глеб, жили в Англии. Керенский жил в одном из фешенебельных кварталов Нью-Йорка, в особняке г-жи Элен Симпсон, вдовы американского сенатора. В этом особняке, где он занимал весь второй этаж, перебивали многие из нас, «новых

эмигрантов», появившихся в Нью-Йорке вскоре после Второй мировой войны, в том числе и пишущий эти строки. Керенского, по-видимому, интересовало, понимает ли молодое поколение его действительную роль в революции 1917 года?

В правых кругах «старой эмиграции» его ненавидели. В 1945 году мне рассказывали в Париже, как одна русская дама, встретив Керенского у метро, показала на него своей десятилетней дочке: «Посмотри, Таня, вот человек, который погубил Россию!» Его обвиняли в том, что он «предал», «обманул» Корнилова. Его называли «слюнчавым гуманистом», боявшимся арестовать Ленина и Троцкого. Но и в либеральных кругах он не встречал сочувствия: книги С. П. Мельгунова «Мартовские дни 1917 года» и «Как большевики захватили власть» полны неприязни к Керенскому, и даже Ек. Дм. Кускова насмешливо называла его «адвокатом в роли маршала» и высмеивала, как «весьма несвоевременную поэзию», его знаменитые слова, произнесенные на Московском совещании в Большом театре, в августе 1917 года: «От меня требуют, чтобы сердце мое стало как камень. Меня хотят принудить вырвать из души и растоптать цветы души моей».

«Поэзия», конечно, не только несвоевременная, но и дурная, чтобы не сказать пошлая. Но разве не была несвоевременной и дурной вся «поэзия» «години свободы», «вольного царства», которую был увлечен чуть ли не весь народ? Керенский родился в 1881 году, ему, значит, было 36 лет, когда он стал премьер-министром и главоверхом. Не сам выдвинулся он на эти посты, а был выдвинут, — по мнению Кусковой, «могущественными организациями», а вернее сказать, историей, которая дала России как раз такого человека, который соответствовал моменту.

Вот картинка, которую рисует Федор Степун во втором томе своих воспоминаний «Бывшее и несбывшееся»:

«Как сейчас вижу Керенского, стоящего спиной к шоферу в своем шестиместном автомобиле. Кругом плотно сгрудившаяся солдатская толпа. Среди нее офицерские фуражки и погоны. Неподалеку от меня, у заднего крыла автомобиля, стоит знакомая фигура дважды раненного пехотного поручика. На его груди георгиевский крест, в руке толстая палка. Приоткрыв рот, он огромными, печальными глазами, полными слез, смотрит на Керенского и не только ждет, но как будто бы требует от него какого-то последнего, всеразрешающего слова.

Керенский в ударе: его широко разверстые руки то опускаются к толпе, как бы стремясь зачерпнуть живой воды волнующегося у его ног народного моря, то высоко вздымаются к небу. В раскатах его взволнованного голоса уже слышны столь харак-

терные для него исступленные всплески. Заклиная армию отстоять Россию и революцию, землю и волю, Керенский требует, чтобы и ему дали винтовку, что он сам пойдет впереди, чтобы победить, или умереть.

Я вижу, как однорукий поручик, нервно подергиваясь лицом и телом, прихрамывая, стремительно подходит к Керенскому и, сорвав с себя георгиевский крест, нацепляет его на френч военного министра. Керенский жмет руку восторженному офицеру и передает крест своему адъютанту: в благотворительный военный фонд.

Приливная волна жертвенного настроения вздымается все выше: одна за другой тянутся к Керенскому руки, один за другим летят в автомобиль георгиевские кресты, солдатские, офицерские. Бушуют рукоплескания. Восторженно взываются ликующие 'за землю и волю', 'за Россию и революцию', 'за мир всему миру'. Где-то поднимаются и ширясь надвигаются на автомобиль торжественные звуки Марсельезы...

Высоко над фронтом медленно кружит зоркий немецкий летчик. Все клянутся победить или умереть, на летчика никто не обращает ни малейшего внимания. Русской свободе сейчас не до немцев».*

Керенский был самым подходящим человеком для «русской свободы». В нем воплощалась идея «народной революции», и вполне естественно, что он должен был бояться ударов как слева, так и справа, со стороны большевиков и со стороны генералов. Ф. А. Степун пишет, что Керенскому была чужда армия, ее нравственно-бытовая сущность и эстетика — «красота подтянутого солдата, мерный, пружинный шаг рот, проходящих под музыку перед начальством, зычный сигнал трубача, хоровая молитва солдат на вечерней заре и ловкая, залихватская песня возвращающихся с занятий команд». Но в том-то и беда, что в 1917 году уже не было «подтянутых солдат», а были дезертиры в расхристанных шинелях, к которым Керенский обращался как к «гражданам», — вполне искренне, поскольку он верил в революцию, как в «общенародное дело». Даже если бы Керенский и «растоптал цветы души своей», даже если бы его сердце «стало как камень» и он решил бы разговаривать с дезертирами языком пулеметов, он этого сделать был бы не в состоянии, потому что все пулеметы были в руках дезертиров, — ведь «Приказ № 1» был издан еще до Керенского! Без сомнения, Керенский в

* Федор Степун, «Бывшее и несбывшееся», том II, Нью-Йорк, 1956, стр. 78.

очень многом виноват, но не правильнее ли сказать, что его вина — это вина всей России, и все мы, русские люди, как старых, так и молодых поколений, обязаны разделить ее, принять на себя. Только так мы сможем пережить русскую революцию, как момент нашей собственной судьбы, — пережить и преодолеть, помочь России и всему миру извлечь уроки революции, и прежде всего урок свободы.

Что же это такое — «русская свобода»? «Рабочая марсельеза», которую пели в России в 1917 году, говорила не только о «године свободы», но и о «вольном царстве святого труда». Труд, правду сказать, в семнадцатом году было немного, тем более «святого», но «воли» . . . — пожалуй, именно не свободы, а воли предостаточно. «Воля» не то же самое, что «свобода». Это хорошо объяснил Г. П. Федотов в статье «Россия и свобода»:

«Слово 'свобода' до сих пор кажется переводом французского *liberté*. Но никто не может оспаривать русскости 'воли'. Тем необходимее отдать себе отчет в различии воли и свободы для русского слуха. Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить, по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе от общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немислима без уважения к чужой свободе; воля всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо».

Вспомним, что именно так — как «вольное существо», не сдерживаемое решительно никакими законами, принципами, нравственными нормами — приехал 3 (16) апреля 1917 года в Россию В. И. Ульянов (Ленин). Три дня до того в Россию вернулся из-за границы Г. В. Плеханов, но он вернулся через Англию и Францию, тогда как Ленин — через Германию, с которой Россия находилась в состоянии войны. В парижской газете «Юманите» в те дни появилось следующее сообщение из Швейцарии:

«Германское правительство разрешило Ленину, стороннику немедленного мира, пропаганде которого германская печать и даже имперское правительство посвящает особое внимание, а также тридцати его единомышленникам, проезд через Германию для возвращения в Россию. Притом, германское правительство предоставило Ленину разные льготы».

В глазах каждого непредвзятого человека проезд Ленина через Германию был фактом политического разворота. Аморализм Ленина, его готовность прибегнуть к любым средствам для осуществления своих целей, вызвал протест даже в армии и флоте, где, несмотря на всеобщее нравственное падение, порой все же

можно было видеть проявления здорового народного инстинкта. На другой же день по приезде Ленина моряки Второго Балтийского флотского экипажа приняли резолюцию с осуждением его за проезд через Германию. В казармах Волынского полка обсуждался даже вопрос об аресте Ленина. На многих митингах солдаты требовали, чтобы Временное правительство начало следствие — при каких условиях Ленин совершил свою поездку через Германию. Причем тогда, в апреле 1917 года, еще не было ничего известно о деньгах, полученных большевиками от Германии. 5 (18) апреля 1917 года газета «Речь», орган партии Народной Свободы, писала в передовой статье:

«Ленин и его товарищи, торопившиеся в Россию, должны были раньше, чем выбрать путь через Германию, спросить себя — почему германское правительство с такой готовностью спешит оказать им эту беспримерную услугу? Почему оно сочло возможным провезти по своей территории граждан вражеской страны, направлявшихся в эту страну? Ответ, кажется, ясен: германское правительство надеется, что скорейшее прибытие Ленина и его товарищей будет полезно германским интересам. И одной возможности такого ответа по нашему мнению совершенно достаточно, чтобы ни один ответственный политический деятель, направлявшийся в Россию, не воспользовался бы этой любезностью».

Беспартийно-демократическая газета «Русская воля», выходящая под редакцией Леонида Андреева, в номере от 6 (19) апреля 1917 года сравнивала возвращение Ленина с возвращением Плеханова:

«В Россию непрерывно прибывают те, кто поневоле были вдали от родины. Среди прибывших — два крупнейших вождя социал-демократии, Плеханов и Ленин. Да, это два видных вождя, два громких имени среди наших эмигрантов. Но какой между ними контраст! Когда началась война, Плеханов сразу же занял позицию за победу над Германией, доказывая, что империалистическая Германия — враг всемирной свободы. Ленин, как только началась война, сразу же занял позицию типичного пораженца. Теперь оба эти вождя прибыли в Россию. Плеханов — через Францию и Англию, Ленин — через Германию. И оба они немедленно вошли в нашу общественную жизнь — каждый со своим особым взглядом и планом. Плеханов, как подлинный, чистый, научный социал-демократ с идеей единства в своей партии и согласия во всем общественном движении; Ленин же, не желающий даже называться социал-демократом, переименовавший себя в коммуниста, с призывом к гражданской войне».

Что же Ленин нашел в России?

Ко времени его приезда в России уже была объявлена программа широких демократических реформ, выработанная Временным правительством совместно с представителями Петроградского совета, — не забудем, что А. Ф. Керенский входил во Временное правительство как представитель Совета, а не Государственной Думы. Были обнародованы указы о всеобщей политической амнистии, о свободе слова, печати, союзов, собраний и стачек, об отмене смертной казни, наконец, о подготовке к созыву Учредительного собрания на началах всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Не приходится удивляться, что, вернувшись из-за границы, Ленин на следующий же день, 4 (17) апреля, выступая в Таврическом дворце, на совещании большевиков — членов Всероссийской конференции Советов, сказал:

«Этот переход характеризует, с одной стороны, максимумом легальности (Россия сейчас самая свободная страна в мире из воюющих стран), с другой стороны, отсутствием насилия над массами».*

«Переход» — к чему? Куда «переход»... от свободы? У большевиков был лозунг: «Вся власть Советам!» Как известно, Советы возникли в революцию 1905—1907 гг., и сам Ленин считал, что они были результатом «народного творчества революционных классов». По словам Ленина, «если бы народное творчество революционных классов не создало Советов, то пролетарская революция была бы в России делом безнадежным». Но к тому времени, когда Ленин приехал в Россию, Советы уже обладали немалой властью... — существовало пресловутое «двоевластие», при котором Временное правительство ничего не могло предпринять без согласия Советов. Как, опять-таки, признавал Ленин, «Советы намечали ту организационную работу пролетариата, которая могла решить задачу исторической важности». Если так, то... куда, к чему «переход»?

Для того, чтобы найти разгадку этого кажущегося парадокса, следует взглянуть на состав Первого Всероссийского съезда Советов, собравшегося в июне 1917 года. На нем присутствовали

* Ленин. Собр. соч., т. 24 (четвертого издания), стр. 4. Курьезно, что в 1956 г., на XX съезде КПСС, о том же говорил А. И. Микоян. На стр. 312 первого тома стенографического отчета XX съезда читатель найдет в речи Микояна такие строки: «В результате Февральской революции трудящиеся России добились таких демократических побед, каких не было даже в Соединенных Штатах Америки, считавшихся тогда самой демократической страной».

822 делегата с решающим голосом. Из них — 285 социалистов-революционеров (эсеров), 248 социал-демократов (меньшевиков) и 105 большевиков. Из 184 делегатов, не входивших в перечисленные три партии, большинство поддерживало меньшевистско-эсеровский блок. Как видим, большевики, хотя они и представляли довольно крупную группу, не могли претендовать на руководство политикой в Советах или на организацию советской власти. Впрямь, когда в ночь на 28 февраля (13 марта) 1917 года был выбран Исполком Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, его Президиум состоял из одиннадцати человек, и только двое из них были большевики — Шляпников и Залуцкий.

Казенные «историки» объясняют это тем, что «меньшевики и эсеры воспользовались тем, что большинство руководителей партии большевиков находилось в ссылке, в эмиграции, в тюрьмах и на каторге». Но ведь там же находились и руководители социалистических партий! Многие руководители большевиков вернулись в Петроград даже раньше, чем руководители социалистических партий. Например, одними из самых первых в Петроград прибыли из Сибири Сталин и Каменев. Ленин, а также Зиновьев и целая группа большевиков, вернулись из-за границы 3 (16) апреля, тогда как лидеры эсеров — Чернов, Авксентьев, Бунаков, Аргунов и др. прибыли 4 (17) апреля, а иные и того позже. Нет, тот факт, что большевики составляли только ничтожное меньшинство в Петроградском совете, объяснялся вовсе не тем, что лидеры большевиков поздно приехали. Объяснение надо искать в другом — в инстинктивном сопротивлении рабочих и солдатских депутатов большевизму. Понятно, почему Ленин говорил о России как самой свободной стране в мире и на словах отказывался от насильственного захвата власти. 9(22) апреля 1917 года Ленин писал в «Правде»:

«Чтобы стать властью, сознательные рабочие должны завоевать большинство на свою сторону; пока нет насилия над массами, нет иного пути к власти. Мы не бланкисты, не сторонники захвата власти меньшинством».

Между тем, в кругу своих сотрудников, на закрытых собраниях большевистского ЦК, Ленин говорил по-другому, доказывая необходимость перехода от пропаганды к вооруженной борьбе за захват власти. В июне 1917 года в Петрограде открылся Всероссийский съезд Советов. На съезд съехалось свыше 800 делегатов, многие из которых были рабочими и солдатами. Был избран президиум из четырех эсеров, четырех меньшевиков, трех большевиков и одного народного социалиста. На съезде выступал и Ленин. Тем временем ленинцы готовили вооруженное вос-

стание против Временного правительства и съезда Советов. В те дни Исполком Всероссийского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов принял на экстренном заседании резолюцию, в которой говорилось:

«Большевики не желают считаться с волей всего трудового населения, выражаемой советами крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. Действия грозят опасностью гражданской войны».

Не ясно ли теперь, почему тот период, который «характеризовался максимумом легальности и отсутствием насилия над массами», период, когда Россия была «самой свободной страной в мире», — почему этот период Ленин считал «переходным»? Конечно же, потому, что он стремился к захвату власти, к переходу от воли к тиранству.

... Мелькают кадры киножурнала «Свободная Россия». Идут по Невскому проспекту, покрытому рыжим, затоптанным снегом, расхристанные солдаты, матросы в лентах, рабочие с берданками. Идут и поют о «године свободы», «вольном царстве святого труда». Вряд ли был среди демонстрантов хоть один человек, который помнил бы про «толстую и чрезвычайно мелко исписанную тетрадь», в которой была изложена новая система «устройства мира». «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом», — говорил обладатель этой тетради, Шигалев, в романе Достоевского «Бесы». Власть Ленина и была началом шигалевщины, претворенной в практику. «Россия сейчас самая свободная страна в мире из воюющих стран», — сказал Ленин в апреле 1917 года. Пройдет ровно двадцать лет и наступит год 1937-й, год безграничного деспотизма.

1917 год — урок диалектики свободы.

1 9 1 8

ГОД БУЙНОГО СОЦИАЛЬНОГО УТОПИЗМА

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем Божьем свете!

Блок написал поэму «Двенадцать» в январе 1918 года. Таким он и был, тот год! «Ветер, ветер! На ногах не стоит человек...» Разгон Учредительного собрания, Брест-Литовский договор, начало гражданской войны, убийство царской семьи, покушение на Ленина, красный террор, возникновение системы концлагерей в России... — все это 1918 год. Несомые страшным ветром истории, налетают и пролетают события, — какое из них выражает особенность 1918 года? Что делает этот год «неповторимым» в хронике пооктябрьского лихолетья? Быть может, вот это, на первый взгляд второстепенное? Декретом ВЦИКа от 27 мая 1918 года были введены «продотряды»... — присмотримся к ним, и мы увидим, что как раз тут и был невралгический пункт 1918 года.

Предыдущий год, 1917-й, начался под пение «Рабочей марсельезы»: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Надо заметить, однако, что Ленин в начале 1917 года проявлял чрезвычайную осторожность в вопросе об «отречении от старого мира». В конце апреля 1917 года в Петрограде происходила VII Всероссийская конференция РСДРП (большевиков). Это была первая легальная конференция большевиков, она имела значение партийного съезда. По всем основным вопросам Ленин выступал там с докладами и речами. Вот что он говорил в докладе о текущем моменте:

«Мы не можем стоять за то, чтобы социализм 'вводить' — это было бы величайшей нелепостью. Мы должны социализм проповедовать. Большинство населения России — крестьяне, мелкие хозяева, которые о социализме не могут и думать. Но что

они могут сказать против того, чтобы в каждой деревне был банк, который дал бы им возможность улучшить хозяйство. Против этого они ничего сказать не могут. Мы должны эти практические меры крестьянам пропагандировать и укреплять в них сознание необходимости этих мер».

Так, повторяю, Ленин говорил в апреле 1917 года. То был голос трезвого политика, понимавшего нелепость насильственного введения социализма в России. Не только Ленин, но и другие большевики вплоть до октября 1917 года осторожно относились к перспективам немедленного перехода к социализму. Так, Держинский, беседуя ночью 25 октября (7 ноября) 1917 года с представителями меньшевиков, говорил, что социально-экономические планы большевиков предусматривают лишь форму смешанного хозяйства, отнюдь не требуют ни полной национализации, ни немедленного перехода к социализму.

Но... у Ленина было две души. То он выступал как трезвый политик, умеющий дать строгий и даже глубокий анализ действительности, то в нем вдруг прорывалась сильная струя романтического утопизма. На эту тему — о раздвоенности Ленина, о двух душах Ленина — в свое время написал статью Р. А. Абрамович, социал-демократ, лично знавший Ленина. Абрамович пишет:

«Неожиданно легкая победа над российским — и потенциально над мировым — капитализмом в октябре семнадцатого года вскружила голову не только Троцкому, но еще больше Ленину и вызвала в нем прилив чисто фурьеристского буйного утопизма».

«Буйный утопизм» — вот это и есть «формула 1918 года». Настолько буйный, что даже Троцкому показался непонятным этот припадок социального утопизма у Ленина. В книге «О Ленине», вышедшей в 1924 году в Москве — не за границей, а в Москве! — Троцкий рассказывал:

«В ленинских тезисах о мире, написанных в начале 1918 года, говорится о необходимости 'для успеха социализма в России известного промежутка времени, не менее нескольких месяцев'. Сейчас эти слова кажутся непонятными: не описка ли, не идет ли речь о нескольких годах или нескольких десятилетиях? Но нет, это не описка. Можно, вероятно, найти ряд других заявлений Ленина в том же роде. Я очень хорошо помню, как в первый период, в Смольном, Ленин на заседаниях Совнаркома неизменно повторял, что через полгода — через полгода! — у нас будет социализм, и мы станем самым могущественным государством».

Буйный утопизм... Декретом ВЦИКа от 27 мая 1918 года были введены так называемые «продотряды». В августе 1918 года Ленин доложил Совнаркому «продовольственные тезисы», в соответствии с которыми тотчас же были выработаны дополнительные декреты о «продотрядах»: «Декрет о привлечении к заготовке хлеба рабочих организаций», «Декрет об уборочных и уборочно-реквизиционных отрядах», «Положение о заградительных реквизиционных продовольственных отрядах», наконец, «Декрет об обязательном товарообмене в хлебных сельских местностях». Работа продотрядов не ограничилась реквизицией, изъятием «хлебных излишков» у крестьян. Нет, перед продотрядами, которые вскоре насчитывали в своих рядах 29 000 рабочих, была поставлена широкая задача — разжигать в деревне классовую борьбу, создавать «комбеды», «нести социализм в деревню».

Если в апреле 1917 года Ленин говорил, что «мы не можем стоять за то, чтобы социализм вводить — это было бы величайшей нелепостью; большинство населения в России — крестьяне, мелкие хозяева, которые о социализме не могут и думать», то в октябре 1918 года, в книге «Пролетарская революция и ренегат Каутский», Ленин писал по-другому:

«Советская республика посылает в деревни отряды вооруженных рабочих, в первую голову более передовых, из столиц. Эти рабочие несут социализм в деревню, привлекают на свою сторону бедноту, организуют и просвещают ее, помогают ей подавить сопротивление буржуазии».

Буйный утопизм... «Через полгода у нас будет социализм, и мы станем самым могущественным государством». Этой химере и был посвящен весь 1918 год! В июне восемнадцатого года была произведена сплошная национализация всех промышленных предприятий, вплоть до мелких мастерских. Несколько позже, 21 ноября 1918 года, декретом Совнаркома была запрещена вся частная торговля — не только хлебом, но и всеми другими товарами, не только оптовая, но и розничная. В апреле 1917 года Ленин говорил о том, чтобы «в каждой деревне был банк», а в 1918 году денежные расчеты были упразднены. Большая советская энциклопедия, в XI т. второго издания, рассказывает:

«Предприятия были лишены хозяйственной самостоятельности, они бесплатно сдавали произведенную продукцию по централизованным нарядам; в таком же порядке по нарядам главков и центров происходило снабжение предприятий сырьем и топливом. Предприятия получали сырье и нужные машины от вышестоящих хозяйственных органов и сдавали свою продук-

цию согласно указаниям сверху. О прибыльности и убытках, а следовательно и о себестоимости продукции, тогда не приходилось много рассуждать. Хозрасчета не существовало».

«Вышестоящие хозяйственные органы» назывались «главками», отсюда название «главкизм». В казенных официальных учебниках, в той же Большой советской энциклопедии, система главкизма объясняется требованиями периода гражданской войны. В действительности же, это был результат социального утопизма, попытки «вести социализм», — неудачу этой попытки впоследствии признал сам Ленин.

Централизация хозяйственной системы, произведенная в 1918 году, привела к разбуханию всевозможных главков, к чрезвычайному бюрократизму. В конце 1920 года газета «Экономическая жизнь» сообщила: «По данным статистического отдела народного комиссариата труда, в России на 3 135 000 рабочих имеется 2 000 000 служащих, т. е. служащие составляют 63% по отношению к числу рабочих».

Троцкий называл эту систему «главкократическим централизмом». В той же «Экономической жизни» в 1920 году появилась статья под заглавием «59-ти головая гидра». Под этим подразумевались центральные бюрократические органы — главки и центры. Выросла, по словам «Экономической газеты», «дремучая чаща междуведомственных экономических регулирующих органов». В их числе был даже такой орган — «Чеквалап», «Всероссийская чрезвычайная комиссия по валенкам и лаптям». Поэтому Юрий Ларин, один из экономистов того времени, назвал тогдашнюю хозяйственную систему — «Всероссийское чеквалапство».

Кстати сказать, Юрий Ларин был одним из ближайших помощников Ленина в создании «всероссийского чеквалапства». Он даже в еще большей мере был охвачен буйным утопизмом. В ВСНХ, Высшем Совете Народного Хозяйства, учрежденном в декабре 1917 года для организации всего народного хозяйства и государственных финансов, работал экономист Гурович. Позже, в двадцатых годах, он опубликовал за рубежом, в «Архиве русской революции», воспоминания, в которых описал фантастические проекты Юрия Ларина:

«Во главе ВСНХ находился президиум, состоявший из председателя, А. И. Рыкова, и пяти членов президиума. Не могу сказать с полной уверенностью, входил ли формально в состав президиума известный большевистский экономист Юрий Ларин, но во всяком случае он часто присутствовал на его заседаниях. ... Полуразбитый параличем, он приходил туда неизменно в со-

провожении личного секретаря или секретарши, задача которых состояла не столько в исполнении секретарских обязанностей, сколько в исполнении функций больничного служителя или сестры милосердия при нем. Высокий и изможденный, видимо, непрерывно страдающий от болей, едва сдерживающий свои тики, но с живым и насмешливым взглядом, он и наружностью подходил к своей 'мефистофельской' роли. Очень неглупый и образованный, говорящий логично, ясно и сжато, Ларин обыкновенно подвергал саркастической критике все проекты и замыслы своих товарищей. В этой критике он был очень силен, и не раз после его кратких речей в президиуме наступало растерянное молчание. Но стоило Ларину от критики перейти к положительным предложениям, как он становился неузнаваем. Самая наивная фантастика, подкрепленная схоластической игрою слов и понятий, изливалась тогда на слушателей, — и делалось просто жутко порою, точно вы присутствовали при таинственной оккультной операции мгновенной смены душ в одной и той же телесной оболочке. Трудно объяснить такое странное противоречие между критической и конструктивной способностями этого бесспорно талантливого человека, — а между тем, это противоречие едва ли не самая характерная его черта. И нередко он, завоевав внимание своею критикой, увлекал затем слушателей и в пользу своих 'творческих проектов'. Едва-едва в конце 1919 года не прошел его проект отмены денежной системы. Подвергнув разгрому разрабатывавшиеся тогда в комиссариате финансов и в ВСНХ проекты девальвации, Ларин выдвинул идею замены денежных знаков «натуральными свидетельствами» на право получения определенного количества определенных предметов первой необходимости. По мысли Ларина, этим достигалось введение истинной социалистической системы обмена. Проект этот был даже утвержден Совнаркомом (председателем которого был Ленин! — М. К.), и только технические причины, т. е. печатание этих 'натуральных свидетельств', отсрочили издание заготовленного декрета. А затем, по-видимому, обольщенные Лариным законодатели опомнились, и 'величайшая реформа' погибла в материнском чреве Совнаркома.

«Мгновенная смена душ» происходила и в телесной оболочке Ленина. В апреле 1917 года он был еще трезвым политиком, понимавшим нелепость насильственного введения социализма в России; в мае 1918 года он был уже буйным утопистом, создававшим прототряды из рабочих, чтобы «нести социализм в деревню»; в октябре 1921 года, на Втором съезде политпросветов, он выступил снова как трезвый политик:

«В начале 1918 года мы сделали ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам, — и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение. Не могу сказать, что именно так определенно и наглядно мы нарисовали себе такой план, но приблизительно в этом духе мы и действовали».

Таков был 1918-й год — год буйного социального утопизма, причинившего неисчислимый вред России. Утопизм — родной брат воли, и если считать, что для каждого русского человека революция была моментом его собственной судьбы, ему необходимо понять не только диалектику свободы, но и явление утопизма. В этом нам может помочь один из самых замечательных современных русских философов, Семен Франк, в книгах которого «Свет во тьме» и «По ту сторону правого и левого» есть главы о «ереси утопизма». Приводя многие исторические примеры, — таборитов, Томаса Мюнцера, анабаптистов, якобинцев, наконец, большевиков, — С. Л. Франк показывает, что «все конкретные попытки осуществить человеческими государственно-правовыми средствами полное равенство, блаженство и абсолютную справедливость, то есть царство абсолютной правды на земле, — все такие попытки роковым образом создавали в мире небывалую тиранию зла, насилия, неправды, унижения человека».

1918 год — год буйного социального утопизма — был шагом к такой тирании.

1919

«... ЧЕРЕЗ ГОД ВСЯ ЕВРОПА БУДЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ»

Кто ныне помнит имя Аркадия (Аарона) Коца? Он был поэт, и песню его сочинения в 1919 году пела вся Россия. «Рабочая марсельеза», сочиненная Петром Лавровым, к тому времени уже отремела, — все митинги и собрания, даже театральные представления начинались непременно песней Коца. Как и Петр Лавров, Аркадий (Аарон) Коц, родившийся в Горловке, на юге России, жил в Париже, и там сочинил песню, которая в 1902 году была напечатана в нелегальном социал-демократическом журнале «Жизнь», издававшемся в Лондоне. Вернее сказать, не сочинил, а переложил с французского языка на русский стихотворение парижского коммунара Эжена Потье, даже не все, а только три строфы с таким припевом:

Это будет последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.*

«Интернационал» Аркадия (Аарона) Коца, — привожу его имя так, как оно дано в Краткой литературной энциклопедии (т. 3, 1966), — после октября 1917 года стал «Гимном Советского государства». В 1944 году был введен новый Государственный гимн СССР, который теперь исполняют без слов из-за строчек о Сталине. «Интернационал», однако, сохраняется и поныне как «Гимн Коммунистической партии Советского Союза».

1919 год был годом гражданской войны. Например, 3 января 1919 года Красная армия вступила в Харьков, а через месяц, 6 февраля, в Киев. Но 25 июня Харьков перешел в руки Белой армии, а 31 августа войска ген. А. И. Деникина вступили в Киев. 12 декабря Харьков опять в руках Красной армии, а через че-

* В 1917 году пели «Это будет последний», а потом, в ходе гражданской войны, переделали «будет» на «есть» — «Это есть наш последний и решительный бой». Этим указанием я обязан Ю. А. Письменному.

тыре дня и Киев... Историк той эпохи должен был бы нарисовать такие колоритные фигуры, как, например, атаман Г. Григорьев, который в июле 1919 года был пойман другим атаманом, батькой Махно. В нашем очерке, однако, мы пытаемся нащупать «невралгический пункт» того времени, и, пожалуй, центральной идеей, если угодно, «формулой» 1919 года была идея Интернационала.

Как мы уже видели, в 1918 году, в Смольном, на заседаниях Совнаркома, Ленин повторял: «Через полгода у нас будет социализм, и мы станем могущественным государством». В 1919 году он верил, что скоро Интернационал победит во всем мире. Без сомнения, победа в октябре 1917 года вскружила Ленину голову. В своей автобиографии Троцкий так запечатлел картину первых часов Октября:

«Власть завоевана, по крайней мере в Петрограде. Ленин еще не успел переменить свой воротник. На усталом лице бодрствуют ленинские глаза. Он смотрит на меня дружелюбно, мягко, с угловатой застенчивостью, выражая внутреннюю близость.

— Знаете, — говорит он нерешительно, — сразу же после преследований и подполья к власти... — он ищет выражения — *es schwindelt*, — переходит он неожиданно на немецкий язык и показывает рукой вокруг головы. Мы смотрим друг на друга и смеемся».

Быть может, сам того не желая, Троцкий нарисовал почти символическую картину. В первые часы Октября у Ленина закружилась голова, он почувствовал „*es schwindelt*“. От волнения он неожиданно перешел на немецкий язык, который, оказывается, был для него привычнее!

Вряд ли будет преувеличением сказать, что и Германия для Ленина была в некотором смысле дороже, чем Россия. Тут мы сошлемся, опять-таки, на мнение Г. П. Федотова, который писал в книге «И есть и будет»:

«В десятилетие реакции (1907—1917) за границей происходило сближение большевистского штаба с верхушкой левого Интернационала. Затишье в России, вынужденная праздность эмиграции обращала их внимание к европейским делам. Здесь завязались прочные связи у Ленина, Зиновьева и (меньшевика) Троцкого с Розой Люксембург, Радеком, Раковским, с польско-еврейско-немецкими радикалами, кочующими из страны в страну и связанными с Германией Маркса, как своей духовной родиной. Во время войны и измены социалистов делу революции, совершилось в Циммервальде-Кинтале рождение III Интернационала, связавшего с мировой войной чаяния всемирной револю-

ции. В эту эпоху Ленин и особенно Троцкий менее всего чувствовали себя русскими революционерами. Подобно Радекам и Раковским, это были бесплотные духи ('бесы'), жаждавшие воплотиться в любой стране. Они могли бы спуститься в тело Австрии или Германии, если бы Россия не развалилась первой. Единственно русское в Ленине того времени, оборотная сторона патриотизма, — его особая ненависть к России, как злейшей из 'империалистических' стран. Но в центре политических интересов его — и вообще большевиков до 1918 года — была, конечно, Германия, духовно импонировавшая им в обоих своих полюсах: Маркса и Людендорфа. Францию и романские страны они презирали. Российская революция всегда рисовалась им прелюдией, провинциальным бунтом. Только Германия знаменовала крушение буржуазной Европы, только здесь могло начаться и строительство социализма. Но так как революционные элементы Германии не проявляли пораженчества, то, ориентируясь на них, Ленин спасал Германию от Европы, одновременно прививая ей коммунистический яд. В этом (а не только в немецких деньгах) разгадка прочных германофильских настроений большевиков».*

Ненависть к России и симпатии к Германии! . .

1919 год поучителен тем, что он выявил предательский характер ленинской политики по отношению к России. Выявилось это и на Парижской мирной конференции, и на конгрессе Интернационала в Москве.

Тот, кто бывал в Кремле, в кабинете Ленина, небольшой комнате со сводчатым потолком, где у окна стоит пальма, плетеное кресло у письменного стола, где в шкафах и на этажерках громоздятся книги, около двух тысяч томов, — тот, может быть, заметил там и такие книги: «Мир» Андре Тардые и «Что в действительности произошло в Париже?» Эдварда Хауза. Тардые был ближайшим помощником Клемансо, он представлял Францию в комиссии по подготовке проекта мирного договора с Германией, а Эдвард Хауз, советник американского президента Вильсона, тоже играл видную роль на Парижской мирной конференции.

Что же в действительности произошло в Париже?

28 июня 1919 года там был подписан Версальский мирный договор. Какими державами он был подписан? На стороне победителей было 27 держав: Франция, Англия, Америка, Италия, Япония и объединившиеся с ними 22 державы, в том числе Китай, Куба, Польша, Чехословакия, Сербо-Хорвато-Словенское государство. И, разумеется, с другой стороны, договор был подписан

* Г. П. Федотов. «И есть и будет», Париж, 1932, стр. 75.

капитулировавшей Германией. Таким образом, под Версальским мирным договором не значилось подписи России. России, совершившей столько подвигов на фронтах Первой мировой войны, принесшей столько жертв для дела союзников, — России не было среди победителей на Парижской мирной конференции.

Почему?

По той простой причине, что за год с лишним до того, в марте 1918 года, большевики подписали мирный договор с Германией в Брест-Литовске. «Брестский мирный договор, — говорит нам Большая советская энциклопедия (второго издания), — являлся выдающимся достижением советской дипломатии, свидетельством гениальной ленинско-сталинской стратегии и тактики». Но как раз на примере Брестского мира видно, как большевистская «стратегия» вредила национальным интересам русского народа, государственным интересам России.

Вскоре после того, как был подписан Брестский мир, весной 1918 года, в Париж приехал А. Ф. Керенский. В статье «Накануне Версаля» Керенский вспоминал:

«14 июля 1918 года, в день французского национального праздника, у Триумфальной арки должен был состояться традиционный парад французских войск с участием отрядов всех союзников в присутствии дипломатического корпуса. Накануне парада были отобраны билеты у русского поверенного в делах Севастопуло и военного агента Игнатьева. Французский чиновник, приезжавший за этими билетами, объяснил, что они были посланы по недоразумению. Командующий русскими экспедиционными войсками во Франции также не получил распоряжения выслать на парад русскую часть.

Военный агент поехал объясняться к начальнику французского генерального штаба. Тот сказал графу Игнатьеву, что билеты отобраны, так как Россия теперь страна нейтральная, заключившая мир с врагами Франции. Граф Игнатьев приехал ко мне в крайне возбужденном состоянии. Он негодовал, что русские дипломаты оставили это оскорбление без ответа. Он просил меня, как бывшего военного министра и главнокомандующего, защитить честь русской армии и России.

Мне не нужно было просьбы графа Игнатьева, чтобы выполнить свой долг. В ночь с 14 на 15 июля 1918 года началось последнее германское наступление, провал которого оказался началом германского разгрома. 15 июля было назначено мое свидание с Клемансо (премьер-министром Франции, по прозвищу «Тигр») и Пишоном (французским министром иностранных дел). Они должны были одобрить проект сообщения французскому представи-

телю в Москве о том, что французское правительство окажет всяческую помощь патриотам, борющимся в России. Но это сообщение теряло всякий смысл, если Россия антибольшевистская и антигерманская, — Россия, на территории которой в это время вместе с русскими войсками дрались войска союзников, — если эта Россия стала считаться 'нейтральной' страной, исключенной из Антанты.

Войдя в кабинет Клемансо, я в первый раз увидел его улыбающимся. Он уже видел перед собой победу.

— Ну, давайте вашу бумагу! — весело сказал Тигр.

— Господин президент, — сказал я, — позвольте мне сначала задать вам один вопрос.

Я был взволнован. Клемансо это почувствовал и нахмурился.

— Пожалуйста . . .

— Ваш начальник штаба, — сказал я, — сообщил русскому военному агенту, что русские войска и он не были приглашены на парад 14 июля потому, что Россия — страна нейтральная и заключила мир с врагами Франции. Я надеюсь, что это недоразумение не соответствует вашему мнению.

Клемансо побагровел, откинулся на спинку своего кресла. Пишон замер и, казалось, был готов свалиться с кончика своего стула. В наступившей тишине я услышал резкий голос Клемансо:

— *Oui, Monsieur, la Russie est un pays neutre et s'est un pays qui a conclu la paix séparé avec nos ennemis.* *

Сдерживая себя, я встал, захлопнул портфель и сказал:

— В таком случае, господин президент, мне в вашем кабинете совершенно нечего делать.

Поклонился, повернулся и ушел».

Брестский мир вызвал во Франции — и не только во Франции — всеобщее негодование; упреки в предательстве были перенесены с большевиков на Россию вообще. Но это было не единственное и даже не главное следствие Брестского мира. Более тягостны были последствия того, что под Версальским договором не значилось подписи России. Парижская мирная конференция длилась целый год — с 18 января 1919 года по 21 января 1920 года. Версальский мирный договор был подписан с Германией, Сен-Жерменский — с Австрией, Нейский — с Болгарией, Трианонский — с Венгрией, Севрский — с Турцией. В центре и на востоке Европы возникли новые государства. Тот же Керенский

* «Да, милостивый государь, Россия — нейтральная страна. Это — страна, которая заключила сепаратный мир с нашими врагами».

по этому поводу замечает: «Формула Клемансо о 'нейтральной России, изменившей союзникам', превратилась в политику 'санитарного кордона' из малых и средних государств, которые выкраивались из живого тела бывшей империи после победы над Германией». На несколько десятилетий Россия оказалась отторгнутой от Европы. На Парижской мирной конференции была создана Лига Наций. Долгое время СССР там не был представлен, а когда, перед Второй мировой войной, там появился нарком М. М. Литвинов, то один умный обозреватель сказал: «Что бы ни говорили, вошла в Лигу Наций не Россия, а лишь властвующая над Россией ВКП(б)».

Беда, одна из главных бед России, в том, что после октября 1917 года ее внешняя политика определяется не национальными интересами, а «идеями Интернационала», «Передовой Идеологией». Прав Александр Солженицын, когда говорит в «Письме вождям Советского Союза», что внешняя политика СССР преследует две цели: во-первых, «повредить мировому империализму»; во-вторых, «поддержать зарубежное коммунистическое движение», — соображения национальные в ней отсутствуют.

В то самое время, когда в Париже заседала мирная конференция, Ленин в Москве объявил о создании Коминтерна. Его речь существует даже в граммофонной записи:

«В марте текущего двенадцатого года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал, союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах».

«Международный съезд коммунистов» . . . — это было сказано слишком громко. В 1919 году, кроме РКП(б), существовала всего лишь одна коммунистическая партия, — в Германии. Это был так называемый «Спартакровский союз». Главную роль в нем играла Роза Люксембург. Но она была против создания нового Интернационала в 1919 году. Она считала, что Коммунистический интернационал может быть создан только тогда, когда будут созданы компартии во всех, или, по крайней мере, в нескольких странах Европы. Таких партий в 1919 году не было.

Как-то раз, 27 августа 1965 года, в «Известиях» была напечатана статья, в которой говорилось, что «на Первом конгрессе Коминтерна присутствовал 51 делегат из 30 стран». Так фальсифицируют историю! . . . Даже если бы и были компартии в других странах Европы, как они могли бы послать своих делегатов в Россию, если Россия тогда была окружена кольцом блокады?!

Как же создавался «международный съезд коммунистов»? Прежде всего в России были военнопленные — австрийцы, вен-

гры... Поэтому в Москве — не в Вене, не в Будапеште, а в Москве! — из бывших военнопленных были организованы «коммунистические партии» Австрии и Венгрии. На «международный съезд коммунистов» затем были созваны делегаты таких стран, как Россия, Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония. Были даже делегаты «Коммунистической партии немцев Поволжья» и «Коммунистической партии народов Восточной России», — каких именно народов, остается неизвестным и поныне.

Компартии Франции тогда не существовало, но на первом конгрессе Коминтерна выступал Жак Садуль, который приехал в Россию как офицер французской военной миссии и там остался.

Борис Рейнштейн, будто бы «делегат» Американской социалистической партии, уже несколько лет до того жил в России и в своем выступлении на конгрессе Коминтерна извинялся, что не может сообщить ничего нового о рабочем движении в Америке.

В докладе мандатной комиссии конгресса говорилось, что «т. Рутгерс представляет Голландию как делегат с совещательным голосом. Хотя у него нет мандата от партии, он может говорить от имени партии. Кроме того, т. Рутгерс имеет совещательный голос как представитель Американской лиги для социалистической пропаганды. В Японии т. Рутгерс был только проездом и потому не может считаться представителем Японии на конгрессе».

Курьезная мотивировка: выходит, что если бы «т. Рутгерс» хотя бы немного пожил в Японии, то ему выдали бы мандат японского делегата на Первом конгрессе Коминтерна!

Вот этот «т. Рутгерс», да еще немец Эберлейн и несколько финнов... — только они и прибыли на конгресс из-за границы.

Пора, наконец, признать, что «международный съезд коммунистов» в 1919 году был фикцией. Эта фикция была порождена буйным утопизмом Ленина, проявлявшимся как во внутренней политике, так и во внешней. В докладе о внутренней политике Совета народных комиссаров, сделанном в Петрограде 12 марта 1919 года, Ленин говорил:

«До революции в Германии мы всегда говорили, что Советы — самые подходящие органы для России. Мы тогда не могли утверждать, что они в такой же мере окажутся подходящими и для Запада, но жизнь показала другое. Мы видим, что Советы приобретают на Западе всё большую и большую популярность, и за них борются не только в Европе, но и в Америке. Повсюду создаются Советы, которые рано или поздно возьмут власть в свои руки. Интересный момент переживает сейчас Америка, где

создаются Советы. Возможно, что движение там пойдет не теми путями, какими оно идет у нас, но важно то, что там советская форма организации завоевала себе широкую популярность».

Советы в Америке! . . . Вот какой сон снился Ленину в 1919 году. Вскоре после этой речи, произнесенной на заседании Петроградского совета, Ленин произнес другую речь, на VIII съезде РКП(б). В этой речи, 23 марта 1919 года, он говорил:

«Мы уверены, что это будет последнее тяжелое полугодие. Нас особенно укрепляет в этой уверенности известие о победе пролетарской революции в Венгрии».

Г. Зиновьев, председатель Исполкома Коминтерна, вторил Ленину:

«Движение идет так головокружительно быстро, что можно с уверенностью сказать: через год мы начнем уже забывать, что в Европе была борьба за коммунизм, ибо через год вся Европа будет коммунистической. И борьба за коммунизм перенесется уже в Америку, а может быть и в Азию и другие части света».

Во что обошелся России этот буйный утопизм, эти дикие мечтания о мировой революции? Сколько народных средств было потрачено на коминтерновские авантюры? Мы еще будем об этом говорить, когда подойдет 1943 год — год ликвидации Коминтерна.

Если 1917 год дает урок диалектики свободы, а 1918 год предостерегает от ереси утопизма, то 1919 год учит преодолевать шаткость и нечеткость национального самосознания, ни в чем, ни во внешней политике, ни во внутренней, ни в личном поведении, не отрываться от национальной почвы.

1920

КУЛЬТ ЧЕКИЗМА

Известно ли вам, что в 1920 году означали такие слова: «Верочка», «Женичка», «Вера Михайловна»? Тогда, на третьем году революции, возник совершенно особый жаргон, какого прежде не знала Россия. Приглашая к столу, говорили: «Лошади поданы», т. е. конина на столе. Кулебяка превратилась в «кобыляку» и даже в «кобеляку». Поскольку в моде были сокращения, то говорили «чик» — «честь имею кланяться». Было слово «чик», но было и «чека», «чрезвычайка», «чересчурка», и «чекнуть» означало расстрелять, поставить к стенке. Вот этим-то и занимались «Верочка» и «Женичка» — «всероссийская чека» и «железнодорожная чека». «Вера Михайловна» — это была «высшая мера», расстрел.

Жаргон 1920 года... В нем нашли выражение две главные особенности жизни того времени — голод и террор. Как мы уже видели, причиной голода в России была не столько мировая война, а потом гражданская, сколько аграрная политика партии, ленинский план «коммунистического производства и распределения», породивший «главкократический централизм», «всероссийское чеквалапство». Террор же вырос из самого мировоззрения большевизма с его установкой на ненависть и презрение к «либеральной постепеновщине».

ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, была создана 7(20) декабря 1917 года, по предложению Феликса Дзержинского, который в тот день сделал доклад на заседании Совнаркома. Назначенный председателем ВЧК, Дзержинский сказал:

«Не думайте, что я ищу форм революционной юстиции, юстиция нам не к лицу. У нас не должно быть долгих разговоров. И я требую одного — организации революционной расправы».

«Юстиция» — слово объемное. Это и «правосудие», «судопроизводство», и вместе с тем «справедливость», поскольку оно происходит от латинского „justitia“ («справедливость»). Из гроба Сталин мог бы сказать: «Вы обвиняете меня в нарушениях со-

циалистической законности. Но Дзержинский тоже не только нарушал, а и совсем не признавал законности».

Не кто иной, как Дзержинский первый создал внесудебные органы — особые отделы, чрезвычайные штабы. В декабре 1917 года, в Петрограде, на Гороховой 2, в помещении градоначальства, вся канцелярия ВЧК умещалась в портфеле Дзержинского, а касса — в кармане его заместителя, Якова Петерса из Латвии. Но в начале 1918 года, в Москве, Дзержинский занял под ВЧК грандиозные дома страховых обществ «Якорь», «Саламандра», «Россия», — дома с обширнейшими подвалами и погребями. Уже в 1918 году Дзержинский раскинул по всей России сеть чрезвычайчаек — губернских, уездных, городских, волостных, транспортных, фронтовых, железнодорожных, фабричных, прибавив к ним «военно-революционные трибуналы», «особые отделы», «чрезвычайные штабы», «карательные отряды».

Каков же был результат этой «деятельности»? В 1920 году Мартын Лацис, другой сподвижник Дзержинского, выпустил в Москве книгу «Два года борьбы на внутреннем фронте». В ней он сообщал, что по двадцати губерниям центральной России за 1918 год и семь месяцев 1919 года Чека расстреляла 8 389 человек. «Цифра неполная», — добавлял Лацис. В царской России с 1821 г. по 1906 г. было казнено 997 человек — за разные преступления, включая и покушения на царей. Между тем, с 1917 г. по 1923 г. было расстреляно 1 861 568 человек.

В 1920 году было немало событий, о которых следовало бы говорить в хронике пооктябрьского лихолетья: создание Гоэрло, IX съезд РКП(б), второй конгресс Коминтерна, штурм Перекопа... Но 1920 год был также годом, когда состоялись первые большие политические процессы, подготовленные чекистами, и если мы бросим взгляд на них, то и увидим «формулу 1920 года», весьма для нас поучительную.

Конечно, и до того были политические процессы в пооктябрьской России. Было дело адмирала Щастного, дело Союза торговцев и промышленности, дело Генерального Морского штаба, дело братьев Лютославских... — всех не перечесть. Но все эти процессы носили ограниченный, частный характер. Первым большим политическим процессом был процесс «церковников», происходивший в январе 1920 года, процесс кооператоров — в апреле и процесс «Тактического центра» — в августе. Присмотримся хотя бы к одному из них...

... В конце марта 1920 года в Москву возвращалась из Ясной Поляны дочь Льва Толстого, Александра Львовна Толстая. В те дни она занимала пост «комиссара Ясной Поляны». Ехала она в

товарном вагоне, в страшной давке. У нее болели ноги, плечо резало от тяжелого мешка с мукой, белье липло к грязному телу, по телу ползали вши. Горели глаза и хотелось спать... Но поспать Александре Львовне не удалось и дома: придя домой, она увидела на дверях квартиры печать ВЧК. Несколькими минутами спустя появились чекисты, арестовали дочь Толстого и увезли на Лубянку, в уже упомянутый дом страхового общества «Россия».

«В первом часу ночи меня допросили, — вспоминает А. Л. Толстая в книге «Проблески во тьме», — и я узнала, за что арестована. Больше года тому назад друзья просили меня предоставить им квартиру Толстовского товарищества для совещаний, что я охотно сделала. Я знала, что совещания были политического характера, но не знала, что у меня на квартире собиралась головка 'Тактического центра'. Я не принимала участия в совещаниях. Раза два ставила самовар и поила их чаем. Иногда меня вызывали по телефону, когда я входила в комнату, все замолкали. Об этих собраниях я давно забыла, но теперь, узнав, за что арестована, поняла, что мое дело серьезно».

Что знает о «Тактическом центре» молодой человек нашего времени? Во втором издании Большой советской энциклопедии, в т. 41, он может прочитать двадцать строчек, которые скажут ему, что это был «контрреволюционный шпионско-диверсионский центр, образованный в апреле 1919 года из представителей белогвардейских организаций».

Кто же были эти «представители»? В энциклопедии названы — Щепкин и Мельгунов. Познакомимся с ними...

Николай Николаевич Щепкин происходил из крестьян. Он был внуком знаменитого актера М. С. Щепкина, родившегося в семье крепостных крестьян в селе Красном Оболянского уезда Курской губернии. «Первыми моими наставниками были люди из народа, — пишет Николай Николаевич Щепкин в своих воспоминаниях. — От них я получил демократические навыки, развившиеся постепенно в убеждения, и глубокую привязанность и любовь к народу, к которому я принадлежал».

Н. Н. Щепкин родился в Москве. Он любил Москву и Москва ему многим обязана. 25 лет проработал он в Московской городской думе и много сделал для улучшения города. Как один из руководителей партии Народной Свободы (кадетской), он был выбран от Москвы в Государственную Думу, — там он выступал за равенство всех перед законом, за политическую свободу, за свободу национальностей, за землю крестьянам, за передовое рабочее законодательство. Непримиимый враг всякого самовластия, он в 1918 году принял участие в организации Союза

Возрождения, ставившего своей задачей не допустить воцарения диктатуры в России. В этой борьбе он ставил на карту свою жизнь. Близким друзьям он говорил: «Чувствую, что круг сжимается все уже, чувствую, что мы погибнем, но это неважно. Я готов к смерти, жизнь мне недорога, только бы наше дело не пропало». Друзья советовали Н. Н. Щепкину уехать из Москвы. Щепкин отказался. «Умереть мы сумеем», — сказал он. 28 августа 1919 года он был схвачен чекистами. На допросах он держался героически. Даже чекист Менжинский был вынужден это признать: «Эти люди ведут себя с поразительным достоинством», — сказал он о Щепкине. Мог ли, спрашивается, такой человек как Н. Н. Щепкин создавать какой-то «шпионско-диверсантацкий центр»?!

Или Сергей Петрович Мельгунов! . . . Уроженец Москвы, воспитанник Московского университета, где он был учеником Ключевского, С. П. Мельгунов писал книги по истории России — «Дела и дни александровского времени», «На путях к дворцовому перевороту», потом «Легенда о сепаратном мире», «Мартовские дни 1917 года», «Судьба императора Николая Второго после отречения». В 1920 г. он вместе с А. Л. Толстой работал над подготовкой к печати полного собрания сочинений Льва Толстого. С. П. Мельгунов принадлежал и Народно-социалистической партии, к которой был близок В. Г. Короленко. Щепкин и Мельгунов были такими же «шпионами и диверсантами», как, скажем, Бухарин был «японским шпионом».

Не зря мы упомянули Бухарина: процесс «Тактического центра», открывшийся 15 августа 1920 года в Большой аудитории Политехнического музея, как две капли воды был похож на процесс «Право-троцкистского блока», происходивший в марте 1938 года в Доме союзов. На всех заседаниях процесса «Тактического центра» присутствовал Н. А. Бердяев, который пишет в книге «Самопознание»: «Впечатление от процесса было очень тяжелое. Это была театральная имсценировка. Всё было предреждено заранее».

Конечно же, «Тактический центр» не был ни «шпионским», ни «диверсантацким» центром. То был политический блок, в который входили три политических организации — Совет Общественных Деятелей, Национальный Центр и Союз Возрождения. Крыленко, государственный обвинитель, говорил о «Тактическом центре» именно как о политическом блоке, признавая, что это «не была стройная организация, согласованная в деталях, организация с уставом». Процесс «Тактического центра» был

именно политическим процессом, направленным на окончательное удушение политической свободы в России.

На скамье подсудимых сидели 27 обвиняемых. «Некоторые обвиняемые вели себя с большим достоинством», — вспоминает Н. А. Бердяев. Так, С. П. Мельгунов произнес на процессе громкую речь, в которой предсказывал термидор, перерождение большевизма, высказывал свою веру в возрождение России. А. Л. Толстая сказала в последнем слове, что, будучи последовательницей Толстого, она не признает диктаторской власти и учрежденного диктатурой суда.

Н. Н. Щепкин был расстрелян. С. П. Мельгунов был в 1922 году выслан из России, — он скончался в Париже в 1956 году. А. Л. Толстую приговорили к трем годам заключения в лагерях, — ведь лагеря не были созданы Сталиным, они существовали и при Ленине.

Дзержинскому, чекисты которого подготовили «театральные инсценировки» — процессы 1920 года, первые политические процессы в пооктябрьской России, — Дзержинскому поставлен памятник в центре Москвы. Книгами о Дзержинском забиты библиотеки, и об одной из них, выпущенной Издательством политической литературы к XXIII съезду КПСС, «Правда» писала, что она «выходит далеко за рамки обычной биографии». Действительно, в ней есть страницы, при чтении которых возникают мысли не только о Дзержинском, но шире — об исторических путях и судьбах России.

При Феликсе Эдмундовиче Дзержинском, в числе его заместителей, работал другой поляк, Вячеслав Рудольфович Менжинский. Это был писатель, и он набросал как бы психологический портрет «железного Феликса»:

«Дзержинский был не только великим террористом, но и великим чекистом. Он никогда не был расслабленно-человечен. Он никогда не позволял личным качествам брать верх над собой при решении того или иного дела. Наказание как таковое он отметал принципиально, как буржуазный подход. На меры репрессии он смотрел только как на средство борьбы, причем все определялось данной политической обстановкой и перспективой дальнейшего развития революции. Презрительно относился ко всякого рода крючкотворству и прокурорскому формализму, Дзержинский чрезвычайно чутко относился ко всякого рода жалобам на ЧК по существу. Для него важен был не тот или иной, сам по себе, человек, пострадавший зря, не сентиментальные соображения о пострадавшей человеческой личности, а то, что

такое дело являлось явным доказательством несовершенства чекистского аппарата. Политика, а не человечность как таковая, — вот ключ его отношения к чекистской работе».

Это пишет не враг, а друг, долголетний сотрудник Дзержинского. А вот что писал о Дзержинском другой его заместитель, Яков Петерс:

«Кто не помнит Лубянку № 11? В этом здании, в самой скромной маленькой комнате не больше двух квадратных сажен, в первые годы революции проходила жизнь тов. Дзержинского. В этой комнате он работал, здесь он спал, здесь же принимал посетителей. Простой письменный стол, старая ширма, за ширмой узкая железная кровать, — вот где проходила личная жизнь тов. Дзержинского. Домой к семье он ездил по большим праздникам. Работал он круглые сутки, часто сам допрашивал арестованных. * Усталый до последней степени, в больших охотничьих

* В том числе Н. А. Бердяева, арестованного в 1920 году по делу «Тактического центра», к которому он не имел никакого отношения. В книге «Самопознание» Н. А. Бердяев дал интересный отчет об этом допросе:

«Однажды, когда я сидел во внутренней тюрьме Чека, в двенадцатом часу ночи, меня пригласили на допрос. Меня вели через бесконечное число мрачных коридоров и лестниц. Наконец, мы попали в коридор более чистый и светлый, с ковром, и вошли в большой кабинет, ярко освещенный, со шкурой белого медведя на полу. С левой стороны, около письменного стола, стоял неизвестный мне человек в военной форме, с красной звездой. Это был блондин с жидкой, заостренной бородкой, с серыми мутными и меланхолическими глазами; в его внешности и манере было что-то мягкое, чувствовалась благовоспитанность и вежливость. Он попросил меня сесть и сказал: 'Меня зовут Дзержинский'. Это имя человека, создавшего Чека, считалось кровавым и приводило в ужас всю Россию. Я был единственным человеком среди многочисленных арестованных, которого допрашивал сам Дзержинский. Мой допрос носил торжественный характер: приехал Каменев присутствовать на допросе, был и заместитель председателя Чека — Менжинский, которого я немного знал в прошлом (я встречал его в Петербурге, он был тогда писателем, неудавшимся романистом). Очень выраженный чертой моего характера является то, что в катастрофические и опасные минуты жизни я никогда не чувствую подавленности, не испытываю ни малейшего испуга, наоборот, испытываю подъем и склонен переходить в наступление. Тут, вероятно, сказывается моя военная кровь. Я решил на допросе не столько защищаться, сколько нападать, переведя весь разговор в идеологическую область. Я сказал Дзержинскому: 'Имейте в виду, что я считаю соответствующим моему достоинству мыслителя и писателя прямо высказать то, что я думаю'. Дзержинский мне ответил: 'Мы этого и ждем от вас'. Тогда я решил говорить раньше, чем мне будут задавать вопросы. Я говорил минут сорок пять, прочел целую лекцию. То, что я говорил, носило идеологический харак-

сапогах, в старой изношенной гимнастерке, он ел с того же стола, с которого ели все сотрудники Чека».

Откуда такая одержимость? Откуда такой фанатизм? В своих воспоминаниях Дзержинский рассказывает, что до шестнадцати лет он был «фанатически-религиозен». «Как ты представляешь себе Бога?» — спросил его однажды старший брат Казимир. — «Бога? Бог в сердце, — ответил Дзержинский и указал на грудь. — Да, в сердце! И если я когда-нибудь пришел бы к выводу, как ты, что Бога нет, то пустил бы себе пулю в лоб. Без Бога я жить не могу!» Дзержинский даже хотел стать ксендзом.

«Дзержинский произвел на меня впечатление человека вполне убежденного и искреннего, — пишет Н. А. Бердяев в 'Самопознании'. — Думаю, что он не был плохим человеком и даже по природе не был человеком жестоким. Это был фанатик. Он производил впечатление человека одержимого. В нем было что-то жуткое. Он был поляк и в нем было что-то утонченное. В прошлом он хотел стать католическим монахом и свою фанатическую веру он перенес на коммунизм».

Да, «для него важен был не тот или иной, сам по себе, человек, пострадавший зря, не сентиментальные соображения о пострадавшей личности. . . Политика, а не человечность как таковая, — вот ключ его отношения к чекистской работе». Как видно, произошло обожествление политики, — партийной политики! При таком обожествлении партийной политики понятно презрительное отношение — как говорит опять-таки тот же Менжинский — «ко всякого рода крючкотворству и прокурорскому формализму». Отсюда и «внесудебные органы», «особые отделы».

Не кто иной, как Дзержинский был воспитателем тех, кто впоследствии проводил ежовщину. Дзержинский не только с присущим ему фанатизмом обожествлял партийную политику, но и окружил как бы священным ореолом созданный им чекистский аппарат. Известно, что он имел огромное влияние на Лени-

тер. Я старался объяснить, по каким религиозным, философским, моральным основаниям я являюсь противником коммунизма, вместе с тем настаивал на том, что я человек не политический. Дзержинский слушал меня очень внимательно и лишь изредка вставлял свои замечания. Так, например, он сказал: 'Можно быть материалистом в теории и идеалистом в жизни и, наоборот, идеалистом в теории и материалистом в жизни'. После моей длинной речи, которая, как мне впоследствии сказали, понравилась Дзержинскому своей прямоотой, он все-таки задал мне несколько вопросов, связанных с людьми. Я твердо решил ничего не говорить о людях. Я уже имел опыт допросов в старом режиме».

на. «Если кто имеет на Ленина влияние, так это только товарищ Феликс», говорил нарком Красин. Потому что Дзержинский был действительно «пламенным большевиком», «рыцарем революции», ему во всем можно было довериться. Теперь нам понятно, почему ЧК-ОГПУ-НКВД вышло из-под всякого контроля, в том числе и из-под контроля ЦК партии, стало как бы независимым «государством в государстве». Процесс этот начался еще при Ленине, которого Дзержинский — вольно или невольно, сознательно или бессознательно — запугивал контрреволюцией. Чем настойчивее проводилось запугивание контрреволюцией, тем ярче разгорался ореол над чекистским аппаратом, органами диктатуры. В таких условиях, когда обожествляется партийная политика, когда карательные органы возводятся на пьедестал, неизбежно развивается тенденция строить чекистскую карьеру на мифических делах.

В высшей степени вредно, вредно для народного самосознания, психологического климата в стране, воспевать «солдат Дзержинского», как это делал в двадцатых годах Маяковский, или учреждать звание «почетного чекиста», награждать людей значком «почетного чекиста», как это делают ныне, несмотря на уроки не только 1920, но и 1937 года. Без сомнения, бывает «железная необходимость», о которой говорил Маяковский в стихотворении «Солдаты Дзержинского», написанном в 1927 году, нельзя не признавать за государством права пользоваться силой и мечом, но нельзя создавать культ силы и насилия. «Пусть казнь, как трагический и жертвенный акт, совершаемый в жизни, имеет свое оправдание, но не может иметь оправдания патетическое философствование о казни, не может быть оправдана любовь к такого рода занятию» (Н. А. Бердяев, «Кошмар злого добра», журнал «Путь», 1926 г., стр. 104).

Кровавый кошмар пооктябрьского лихолетья во многом объясняется романтизацией чекизма, выраставшей, опять-таки, как и весь террор, из самого мировоззрения большевизма с его установкой на «ненависть как творческое чувство», с его презрением к «либеральной постепенщинине». Новизна нынешнего времени, шестидесятых-семидесятых годов двадцатого века, пожалуй, ярче всего проявляется в том, что молодые люди, которых призывали «делать жизнь с товарища Дзержинского», поняли, сколько вреда Дзержинский и его «солдаты» причинили России. К числу этих людей относится не только Александр Солженицын, который томами «Архипелага ГУЛаг» подорвал самые основы системы насилия, но, например, и Анатолий Якобсон, москвич 1935 года рождения, который в книге «Конец трагедии» выступает

против установки на ненависть («Была выявлена условность любви — и тем самым утверждена безусловность ненависти»), против того, чтобы видеть в насилии «повивальную бабку истории», наконец, против романтизации чекизма. Думаю, что эту главу нашей хроники, посвященную 1920 году, следует закончить отрывком из книги А. Якобсона:

«Культ чекиста, культ чекизма вошел в плоть и кровь героической поэзии. Романтические чекисты стихов и поэм! Они порой изображаются аскетами, а порой пьют не пьянея, как полагается суперменам. Отголосок этой темы звучит в стихах В. Луговского, написанных в середине века:

У статуи Родена
Мы пили спирт-сырец —
Художник, два чекиста
И я, полумертвец.

Чекисты пили истово,
Кожанками шурша . . .

и т. д.

А вот отрывок из стихотворения Светлова 20-х годов «Пирушка:

Пей, товарищ Орлов,
Председатель Чека.
Пусть хмурилось небо,
Тревогу тая, —

Эти звезды разбиты
Ударом штыка,
Эта ночь беспощадна,
Как подпись твоя.

Последние строчки слишком явно перекликаются с одним из образов «ТВС» у Багрицкого:

И подпись на приговоре
вилась струей из простреленной головы.

Какое жизненное кредо, какое откровение внушил железный Феликс мятущемуся в чахоточном бреду герою «ТВС»? Безраздельно, безраздумно подчинить себя своему времени, Веку:

... если он скажет: «Солги!», — солги.

... если он скажет: «Убей!», — убей.

Это называется отчуждением личности — когда человек отрешается от собственного «я» и действует, заражаясь, заряжаясь чьей-то волей; передоверяя свою совесть и свой разум какой-то высшей силе, какому-то верховному закону, как его ни назови. Я говорю «передоверяет», потому что индивидуальная совесть, индивидуальный разум доверены каждому из нас самой природой.

Багрицкий не знал тогда, к чему ведет это откровение. Когда он сочинял такую метафору: «И подпись на приговоре вилась струей из простреленной головы», — он думал, что в жизни это реализуется по отношению к врагам, о которых в той же строфе сказано:

Их нежные кости сосала грязь.

Над ними захлопывались рвы.

Багрицкий не мог представить себе, как струя крови и мозга брызнет из простреленной головы его друга Бабеля. Он не мог представить себе собственную жену за колючей проволокой сталинских концлагерей. Он не мог себе представить, что вот-вот пробьет час, когда будут замучены миллионы, когда сам народ окажется врагом народа, а другом народа — Великий Вождь, говорящий и действующий от имени Истории. Вождь — как персональное воплощение боготворимого Века:

... если он скажет: «Солги!», — солги.

... если он скажет: «Убей!», — убей.

В статье «Кошмар злого добра», посвященной книге И. Ильина «О сопротивлении злу силой», Н. А. Бердяев писал, что многие «не выдержали духовного испытания нашей страшной эпохи», «потерпели в ней нравственное поражение», «приняли внутрь себя кровавый кошмар, не нашли в себе духовной силы ему противиться». «Яд большевизма, — писал дальше Н. А. Бердяев, — действует или в форме приспособления к большевикам или в форме заражения его духом во имя целей противоположных, заражения насильничеством и злобностью». Вот этому — освобождению от яда большевизма — и учит «урок 1920 года».

1921

СОПРОТИВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНАЛЬНОМУ СУМАСШЕСТВИЮ

«Совершая Октябрьскую революцию, рабочий класс надеялся достичь своего раскрепощения. В результате же создано еще большее порабощение личности человека. Власть полицейско-жандармского монархизма перешла в руки захватчиков-коммунистов, которые трудящимся, вместо свободы, преподнесли ежеминутный страх попасть в застенки чрезвычайки, во много раз своими ужасами превзошедшей управление царского режима. Штыки, пули и грубый окрик опричников из чека, вот что после многолетней борьбы и страданий приобрел труженик Советской России. Славный герб трудового государства — серп и молот — коммунистическая власть на деле подменила штыком и решеткой ради сохранения спокойной, беспечальной жизни новой бюрократии, коммунистических комиссаров и чиновников».

Когда были написаны эти строки? Может показаться, что в наше время, когда слова «новый класс» слышны во всех разговорах о России второй половины XX века. Но нет, вы только что прочитали отрывок из статьи «За что мы боремся», напечатанной 8 марта 1921 года в «Известиях временного революционного комитета матросов, красноармейцев и рабочих г. Кронштадта». То был момент разгара Кронштадтского восстания, начавшегося 2 марта 1921 года и подавленного 16 дней спустя.

Как и многие события в пооктябрьской России, казенная официальная история искажает то, что в марте 1921 года произошло в Кронштадте. В Большой советской энциклопедии (второго издания) есть две статьи под такими заглавиями: «Кронштадтские восстания 1905 и 1906 годов» и «Кронштадтский мятеж 1921 года». Различение проведено в самой терминологии: восстания 1905 и 1906 годов и мятеж 1921 года... Если верить БСЭ, то «мятеж в Кронштадте» был «спровоцирован белогвардейцами, кадетами, меньшевиками и эсерами — агентами американо-английских империалистов». В действительности кронштадтских повстанцев никак нельзя обвинить ни в связях с белогвардейцами, кадетами, меньшевиками и эсерами, ни, тем более, в свя-

зях с «американо-английскими империалистами». Достаточно привести такой факт: когда Виктор Чернов, глава партии эсеров и председатель Учредительного собрания, находившийся тогда в Ревеле (нынешнем Таллине) послал в Кронштадт радиogramму с предложением помощи, то председатель Временного революционного комитета Петриченко отклонил это предложение.

Кронштадтское восстание никак нельзя считать «последней вспышкой гражданской войны», как утверждают официальные историки. Гражданская война закончилась в 1920 году, но вместе с тем усилилось сопротивление буйному утопизму, главкокрatismу, террору, выроставшее изнутри революции.

Курьезно, что в Советской исторической энциклопедии (т. 6, 1965 г.) статья о гражданской войне 1918—20 гг. носит такое заглавие: «Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР 1918—20». Нетрудно понять, почему большевики пытаются связать белую борьбу с иностранной интервенцией, — конечно же, из желания опорочить белое дело. Но кто был зачинателем белого движения, организатором Белой армии? Генерал Михаил Васильевич Алексеев, сын сверхсрочнослужащего солдата, выходец из народа. В 1876 году, девятнадцатилетним юношей, он и сам начал военную службу, участвовал в русско-турецкой войне, потом в русско-японской войне. Окончив академию Генерального штаба, он стал профессором военной истории. Когда началась первая мировая война, Алексеев был назначен начальником штаба Юго-Западного фронта, потом — главнокомандующим Северо-Западным фронтом, а в августе 1915 года — начальником штаба верховного главнокомандующего. После отречения царя от престола, ген. Алексеев был верховным главнокомандующим до июня 1917 года. В воспоминаниях о Георгия Шавельского, находившегося в царской ставке, читаем:

«Ген. Алексеев официально занял место начальника Штаба, а фактически вступил в Верховное командование в тяжелую для армии пору — ее отступления на всем фронте, при огромном истощении ее духовных сил и таком же недостатке и вооружения, и снарядов. Положение армии было катастрофическим. Рядом энергичных и разумных мер ему, однако, удалось достичь того, что к концу августа 1915 года наступление противника было остановлено, а в одном месте наши войска имели даже большой успех, захватив 20 000 пленных и много орудий».

М. В. Алексеев был русский патриот. И именно как верный сын своего народа он сразу же приступил к организации народного сопротивления большевизму. 30 октября 1917 года, пять дней спустя после Октябрьского переворота, он решил ехать из

Петрограда на Дон. 2 ноября он был уже в Новочеркасске, где 15 ноября отдал приказ о формировании Добровольческой армии. В пятитомном труде «Очерки русской смуты» ген. А. И. Деникин пишет:

«Было трогательно видеть, как бывший Верховный главнокомандующий, только что правивший миллионными армиями и распорядившийся миллиардным военным бюджетом, бегал теперь, хлопотал и волновался, чтобы достать десяток кроватей, несколько пудов сахара и хоть какую-нибудь ничтожную сумму денег, чтобы приютить, накормить и одеть свою «армию»: гонимых, бездомных людей, стекавшихся на Дон».

В начале декабря 1917 года в Новочеркасск прибыли бежавшие из Быховской тюрьмы (в г. Быхове, ныне Могилевской области) генералы Корнилов, Деникин, Лукомский, Романовский. 27 декабря 1917 года главнокомандующим Добровольческой армии стал Л. Г. Корнилов, начальником штаба — А. С. Лукомский, начальником 1-й дивизии — А. И. Деникин, тогда как М. В. Алексеев сохранил за собой верховное руководство армией в отношениях политическом, дипломатическом и финансовом. Таково было начало белой борьбы, продолжавшейся почти четыре года.

Тем временем белое движение развевалось и на востоке России. Там против большевиков восстало Оренбургское казачество. В Самаре возник «Комуч» — Комитет членов Учредительного собрания. В сентябре 1918 года на «государственном совещании» в Уфе, в котором участвовали эсеры, кадеты и представители других партий, было создано «Временное всероссийское правительство», больше известное под названием «Уфимской директории». 18 ноября 1918 года в Омске «верховным правителем» России был объявлен адмирал А. В. Колчак. На севере, в Архангельской области возникло белое правительство, возглавлявшееся старым народником Н. В. Чайковским.

Таким образом, связывать белое дело и иностранную интервенцию — это значит искажать историю пооктябрьской России. По словам военного историка ген. Н. Головина, «к началу русской революции русское рядовое офицерство, т. е. подавляющая масса офицеров, не носило ни сословного, ни классового характера»; «состав нашего младшего офицерства к концу войны был, в полном смысле слова, всенародным». Белая армия, значит, была не сословной и не классовой армией. И, конечно же, прав профессор Г. В. Флоровский, когда говорит:

«Скажу открыто и прямо: белое дело родилось из беззаветного и бескорыстного патриотического порыва, оно росло и питалось

чувствами чистыми и святыми. Именно, святыми: белая борьба не была ни политической, ни классовою авантюрой, она не была гражданской войной, — под белые знамена влекла не какая-нибудь программа, а чисто нравственное задание — положить конец преступному террору, надругательству и разврату. Это был именно протест совести. И в этом смысле знамена были, действительно, белые». *

Невозбранно прислушаться и к такому участнику белой борьбы, каким был ген. А. И. Деникин. Как-то раз, по случаю годовщины «15-го ноября 1917 года», т. е. годовщины начала белой борьбы, он произнес речь, в которой сказал:

«Белое движение не создано отдельными людьми. Оно возникло стихийно и непредотвратимо, как естественный протест против надвигающегося зла, против разрушения российской государственности, против поругания всех духовных святынь, против небывалого в истории порабощения человеческой личности. В течение трех с лишним лет Белые армии боролись с советской властью, мешая ее укреплению, препятствуя ее распространению, поддерживая очаги брожения, вызывая волю к сопротивлению. Эти годы борьбы наглядно показали всему миру, что не волею российских народов, а насильем воцарился большевизм. Белым движением был дан импульс к борьбе, и — явный или скрытый — он живет и будет жить за железной стеной, доколе не погибнет ненавистная и страшная власть».

Пора признать, что русский народ был бы аморфной массой, не заслуживающей уважения, если бы он не оказал никакого сопротивления «РСФСР» — «Редкому Случаю Феноменального Сумасшествия России», — помешательству на социальном утопизме и кровавом терроре. Год 1921-й был в особенности примечателен тем, что после разгрома белого движения начало расти сопротивление большевизму изнутри революции. В феврале 1921 года на многих петроградских заводах состоялись митинги: рабочие требовали свободно избранных советов. 24 февраля забастовали заводы — Трубочный, Лаферм, Патронный и Балтийский. На Васильевском острове состоялась рабочая демонстрация, в которой участвовало 2 500 человек. Демонстранты требовали гражданских свобод — свободы слова, свободы печати, свободных переыборов завкомов и советов.

В 1921 году начался массовый уход рабочих из партии. Этого не скрывала даже партийная печать. В «Правде» от 25 января

* Г. В. Флоровский. «О патриотизме праведном и греховном». «На путях. Утверждение евразийцев». Кн. 2. Стр. 240. Берлин, 1922.

1921 года можно найти заметку, в которой рассказывается о партсобрании на одном из заводов Замоскворечья в Москве. На собрании разбиралось заявление рабочего Евстигнеева о выходе из партии. Вот что бесхитростным языком сказал на собрании Евстигнеев:

«Ухожу я твердо, вот что! Слова-то вы говорите хорошие, да что толку в них? Говорите, партия руководит и русской, и мировой революцией. Партия руководит, а мы разве в ней состоим? На бумаге только . . . Разве мы в курсе того, что партия решает? Нет. Знай голосуй, — твое дело маленькое. Вот я год в партии, а что толку? Раньше хоть газеты читал, а теперь из-за разных собраний, дежурств, субботников и всякого другого и на это времени нет. Развился я за год, как в партии состою? Нисколько; только еще, пожалуй, тупее стал. Возьми самый большой вопрос — о профсоюзах. Где-то он долго, несколько лет обсуждался, а нам почему-то как снег на голову падает. И диву даешься, откуда столько разногласий взялось? Ведь, даже, что ни на есть первые вожди, и те драться готовы. Разобрались вы в этом вопросе? Черта с два! . . . Говорил на конференции Зиновьев, как мне сказывали, про безобразия комиссаров видных, а читали ли вы, чтобы хоть одного исключили из партии и суду предали? Нет. . . . Нечестный я человек, что ухожу? Предатель революции? Неправда! Я в идею твердо верю и революции служить не перестану. Но только голосующей куклой в партии быть не желаю, и честно в этом признаюсь и отдаю билет. А вот вы, «честные», что малые ребята — куклой, партийной книжкой забавляетесь и думаете: вот-де, мол, мы настоящие члены партии! Да еще людей корить смеете. Э-эх вы!»

Вот такие евстигнеевы и демонстрировали в феврале 1921 года в Петрограде и Москве. Движение сопротивления охватило и деревню. На IV конгрессе Коминтерна Ленин сказал, что до 1921 года крестьянские восстания были «обычным явлением в деревне». В «Трудах Второго Всероссийского съезда советов народного хозяйства», состоявшегося в декабре 1918 года, можно найти речь С. А. Лозовского, который говорил, что эти восстания нельзя считать «кулацкими», поскольку они охватывают широкие массы крестьянства, борющегося за свое «самосохранение».

По официальным данным, только в одном 1918 году в двадцати внутренних губерниях, т. е. только в Центральной России, было подавлено 245 крупных крестьянских восстаний. Насколько известно, первое вооруженное столкновение крестьян с большевиками произошло в марте 1918 года в Малоархангельском

уезде Орловской губернии. Но самые крупные крестьянские восстания произошли в конце 1920- начале 1921 гг., т. е. уже после поражения Белых армий, что указывает на всенародный характер гражданской войны, которую нельзя сводить только к борьбе «белых и красных». Наиболее значительным, пожалуй, было восстание в Тамбовской губернии. Оно получило название «Антоновского восстания» — по имени его руководителя Александра Степановича Антонова. Это был социалист-революционер. До 1917 года, в течение десяти лет, он находился в ссылке, а после революции занимал пост начальника милиции в Кирсановском уезде. В селе Каменка Кирсановского уезда и началось в августе 1920 года восстание, вскоре охватившее Тамбовский, Борисоглебский, Моршанский и Козловский уезды. К январю 1921 года у Антонова было две армии, состоявшие из 21 полка и одной бригады, — всего до пятидесяти тысяч человек. В середине марта 1921 года Антонов начал стягивать свои войска к Тамбову и готовиться к штурму города. Но, конечно, у него не было того, чем располагали чекисты, — бронепоездов, авиаотрядов, численного превосходства. Подавлением Антоновского восстания руководил Антонов-Овсеенко, впоследствии член коллегии НКВД.

Движение сопротивления «феноменальному сумасшествию» перекинулось в 1921 году и в Кронштадт, до того считавшийся «оплотом революции». 1 марта 1921 года в Кронштадте на Якорной площади состоялся митинг, на котором присутствовали 16 000 матросов, красноармейцев и рабочих. На митинге была принята резолюция:

«Ввиду того, что настоящие советы не выражают воли рабочих и крестьян, немедленно сделать пере выборы советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию среди всех рабочих и крестьян. Мы требуем свободы слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий; свободы собраний, профессиональных союзов и крестьянских объединений; освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями; выбрать комиссию для пересмотра дел заключенных в тюрьмах и в концентрационных лагерях; упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей и получать средства для этих целей».

Тридцать кронштадтцев были направлены с этой резолюцией в Петроград. Там они были арестованы. Красноармейцы, рабо-

чие и матросы Кронштадта тогда восстали против однопартийной диктатуры. 2 марта 1921 года власть в Кронштадте перешла в руки Временного революционного комитета. Комитет начал выпускать газету «Известия», в первом номере которой 3 марта 1921 года — было напечатано обращение «К населению крепости и города Кронштадта»:

«Наша страна переживает тяжелый момент. Голод, холод, хозяйственная разруха держат нас в железных тисках вот уже три года. Коммунистическая партия, правящая страной, оторвалась от масс и оказалась не в силах вывести ее из состояния общей разрухи. С теми волнениями, которые в последнее время происходят в Петрограде и Москве и которые достаточно ясно указали на то, что партия потеряла доверие рабочих масс, она не считалась. Не считалась и с теми требованиями, которые предъявлялись рабочими. Она считает их происками контрреволюции. Она глубоко ошибается. Эти волнения, эти требования — голос всего народа, всех трудящихся».

Даже из одного этого обращения видно, что кронштадтцы были связаны с Октябрьской революцией. Они были ее духовными детьми. В № 8 «Известия» напоминали: «Помните, что мы — ударники революции!» Тема преданной революции, измены делу революции — постоянная тема всех обращений кронштадтских повстанцев. В статье «За что мы боремся», отрывок из которой уже был приведен выше, дальше говорилось:

«Рабочих при помощи казенных профессиональных союзов прикрепили к станкам, сделав труд не радостью, а новым рабством. На протесты крестьян, выражающиеся в стихийных восстаниях, и рабочих, вынужденных самой обстановкой жизни к забастовкам, они отвечают массовыми расстрелами и кровожадностью, которой им не занимать стать от царских генералов... Все резче и резче вырисовывалось, а теперь стало очевидным, что РКП не является защитницей трудящихся, какой она себя выставляла, ей чужды интересы трудового народа, и, добравшись до власти, она боится лишь потерять ее, а потому дозволены все средства: клевета, насилие, обман, убийство, месть семьям восставших».

Нельзя не поразиться, что это писалось в 1921 году! Теперь, почти шестьдесят лет спустя после Октябрьского переворота, все это очевидно и всем понятно, но надо было обладать большим чутьем, глубоким народным инстинктом, чтобы понимать это в 1921 году.

1 марта 1921 года в Кронштадт приехал председатель ВЦИКа М. И. Калинин. Его встретили как полагается — с воинскими по-

честями, музыкой, знаменами. Был созван митинг, на который собралось 16 000 матросов, красноармейцев и жителей города. Калинин произнес речь, — она была встречена холодно. Но после Калинина выступил матрос линкора «Петропавловск», который под громкие аплодисменты огласил резолюцию, уже приведенную нами выше.

Кронштадтцы держались 16 дней. Их восстание было подавлено, но оно не прошло бесследно, — после него начался поворот от «феноменального сумасшествия» к новой экономической политике. В двадцатых годах в Москве, в издательстве «Московский рабочий», вышла книжка «Кронштадтский мятеж», автор которой, известный партийный публицист Александр Слепков, высказывал следующую мысль:

«Была допущена ошибка, что с нэпом так долго медлили. Если бы нэп был объявлен на месяц раньше, то не было бы и Кронштадтского восстания».

На X съезде партии, в марте 1921 года, был решен вопрос о переходе к нэпу. Поворот от «феноменального сумасшествия» к нэпу, совершенный под грохот пушек кронштадтских матросов и пулеметов антоновских повстанцев, и является главным моментом 1921 года. «Под этой властью, — скажет впоследствии Александр Солженицын, — только твердостью мы добываем себе простор, либо когда власть вынуждается; из доброй милости мы никогда еще не получили ничего».*

* Письмо третьему собору «Зарубежной Русской Церкви». «Новое Русское Слово», 27 сентября 1974 года.

«НЭПМАНЫ МАГНЕТИЗИРУЮТ РУССКИЕ ПРОСТРАНСТВА»

«Как феникс из-под пепла, вышла из земли и воскресла в полгода московская торговля. Три дня езжу с Сухаревки на Смоленский и с Зацепы на Трубу и не могу насытить свои голодные глаза обилием пищи, снова взлелеянной и вынесенной на торжище для человеческой потребности. Рыба, рыба... Целые севрюги, осетры. Сухие снетки и лещи. Свинина, баранина, жирная говядина... На десятичных весах горою навалены телячьи туши, еще целые, в шубах. А вот и ободранная туша, белая от сала. Пухлые гладкие почки. Милый теленок, не знаю, кто вырастил тебя. Но знаю и чувствую, что в тебе воскресла и выросла мистика жизни, мистика плоти, цветущей, тучной. Жизнь чередуется волнами. Три года войны, четыре — революции, хаос разрушения, кровавые духовные цветы. И вот возродилась плоть! Откормленный телец — это символ урожая и больше того, это символ и залог раскормленного сытого младенца. Смешно сказать, но я чувствую, будто из этой груди мяса восходит какая-то буйная сила, стихийная и пьяная, и заражает меня. И хочется петь и смеяться или протянуть руки и благословить дары земные. Пошли, Боже, урожай на всякую скотину, двуногую и четвероногую».

Курьезная статья, не правда ли? Так мог писать только изголодавшийся человек, попавший вдруг на рынок и увидевший обилие продуктов.

Кто же был автором этой статьи и когда она была написана?

Автор — известный русский ученый Владимир Германович Богораз-Тан. Народоловец, отбывший ссылку на Колыме; писатель, автор книги «Чукотские рассказы»; выдающийся этнограф, языковед и фольклорист, профессор Петербургского университета, хранитель Музея антропологии и этнографии Академии наук. Статью, отрывок из которой вы только что прочитали, он написал в августе 1922 года. Она называлась — «Чрево Москвы» и была напечатана в иллюстрированном журнале «Прожектор».

В первые пооктябрьские годы Россия голодала. Картины го-

лода запечатлела тогдашняя литература: «Пещера» Евгения Замятина, «Голый год» Бориса Пильняка, «Ташкент — город хлебный» Александра Неверова... Немало и документальных свидетельств, которые можно найти, например, в «Архиве русской революции», издававшемся в начале двадцатых годов в Берлине. Вот один московский профессор в воспоминаниях «От Москвы до Берлина в 1920 году» рассказывает:

«С продуктами становилось все хуже и хуже. Цены росли ежечасно. Хлеб дошел до 250 рублей за фунт, мерзлый картофель — до 60 рублей за фунт, масло — до 2 000 рублей, сахар — 1 200. По карточкам выдавали только хлеб, да и тот нерегулярно. В среднем на человека доставалось 25 граммов в день».

В воспоминаниях другого автора, «Петроград—Вятка в девятинадцатом и двадцатых годах», читаем:

«До Вологды — голодный край, на станциях достать ничего нельзя. После Вологды картина несколько меняется: в буфете вы за десять рублей можете получить тарелку пустых щей, а у крестьян, пришедших из соседних деревень, выменять на табак, соль и нитки — молоко, жареную рыбу, а иногда и хлеб. За восьмушку махорки дают полторы-две бутылки молока или два-три фунта хлеба. Как только поезд останавливается, красноармейская масса волной устремляется на крестьян и в мгновение ока товарообмен закончен и рынок пуст».

Голод и запустение... Таков был результат «всероссийского чквалапства» — ленинской попытки перейти к «коммунистическому производству и распределению». В 1917 году рождаемость в России составляла 39 человек на тысячу, а в 1919 году — 13 человек на тысячу. Рождаемость сократилась, а смертность повысилась: в 1917 году смертность составляла 25 человек на тысячу, а в 1919 году — 75 человек. По официальным данным Наркомздрава, в 1917 году рождаемость больше чем на 50% превышала смертность, тогда как в 1919 году смертность в шесть раз превысила рождаемость.

Под давлением народа, поднявшего Кронштадтское, Антоновское и другие восстания, перед лицом катастрофы, партия была вынуждена отказаться от «военного коммунизма» и перейти к нэпу, новой экономической политике. Продразверстка была отменена и введен продналог, — крестьянин мог свободно продавать излишки продовольствия. Воскресла частная торговля и до некоторой степени частная промышленность. Хозяйственное освобождение мгновенно преобразило Россию, которая впрямь будто «феникс из-под пепла» воскресла в 1922 году.

Каким образом? Что именно могло так мгновенно преобразить страну? Если мы ответим на эти вопросы, то и поймем «урок 1922 года» для нынешнего времени. Ответ же в том, что на смену «всероссийскому чеквалапству», «главкократическому централизму» пришла децентрализация хозяйства.

Надо заметить, что статья В. Г. Богораз-Тана «Чрево Москвы» была написана им не для «Прожектора», — «Прожектором» она была только перепечатана из другого журнала, издававшегося не в Москве, а в Петрограде. В изучении «уроков 1922 года» никак нельзя обойти этот журнал, который в тот именно год и начал выходить — под названием «Новая Россия» и под редакцией И. Лежнева (псевдоним Исаея Григорьевича Альтшулера). «Новая Россия» (позже — просто «Россия») была «частным предприятием» И. Лежнева, — выпуск такого частного журнала стал возможен только при нэпе. Так как журнал имел огромный успех, то вокруг него собрались крупные литературные силы: в нем печатались Валерий Брюсов, Владислав Ходасевич, присылавший стихи из Берлина, Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Евгений Замятин, Мариэтта Шагинян, Андрей Белый, Ольга Форш. В 1925 году, когда в Москве отмечалось трехлетие журнала, то на юбилейный вечер было распродано столько билетов, что пришлось снять... Колонный зал! Вот в этом-то журнале мы и найдем ответы относительно «уроков 1922 года».

В феврале 1924 года И. Лежнев напечатал в журнале «Россия» статью «После Ленина», в которой так описывал опыт нэпа:

«С нэпом восстановление хозяйства пошло по линии восходящей снизу вверх, от периферии к центру. Начали восстанавливаться окраинные клеточки одна за другой и поддерживать, питать своей восстановительной силой центр. Организующий процесс заменился процессом органическим, который стал вырабатывать животное тепло, согревать и насыщать соком тело страны. Сверху можно было только собирать рассыпавшуюся хранину, собрать старое наличное, организовать его, отчасти распределить, но создавать новые материальные ценности, накапливать их — стало можно только внизу, где тончайшие разветвленные корешки уходят в подпочву, высасывают, втягивают в себя соки земли. После гражданской войны и великого земельного передела первые нищенские избытки стали накапливаться в крестьянстве. Эта энергия, творческая и материальная, требовала своего выхода. Хозяйственная экспансия крестьянства породила нэп. Как только были открыты первые клапаны для разряда

избытков, процесс стал неудержимо расширяться и углубляться. Живым субстратом этой энергии, живым ее носителем стал современник-массовик. Засаевающий самец, производитель, конечно он, никто другой. На наших глазах стали перемещаться кванты энергии в народном теле. И я не знаю для социолога зрелища более увлекательного, наблюдения более захватывающего, чем именно это Каждый для себя и все для России. Великая растительная сила, как у травы после дождя. Каждая травинка сосет тончайшей трубочкой корней соки земли, а вместе это уже прекрасный луг и богатая жатва.

И. Лежневу вторила Маризтта Шагинян, сотрудничавшая в его журнале. «Что есть нэпман?» — спрашивала она в книге «В стране коньяка и хлопка», и отвечала:

«Первое и главное, чем отличается нэпман от дореволюционного купца, это то, что он новый человек. Новый человек несет с собой новую зарядку, он неизбежно освежает. Без традиции, без прошлого, без гипноза трафарета, он прокладывает себе дорогу. И этот новый человек — приказчик, отчасти производитель — завязывает теперь повсюду узелки разрозненной и разорванной русской промышленности, воссоединяет коммерческую ткань России. Нэпманы магнетизируют русские пространства».

Таким образом, главное в нэпе — децентрализация хозяйства. Но значит ли это, что вовсе не нужен «план»? Говоря о нэпе как о «децентрализованной форме хозяйства», И. Лежнев высказывал дальше такие мысли:

«Возможно ли подвергать сомнению необходимость плана? Возможно ли ставить этот вопрос так: с планом или без плана? Без плана не существовало, не существует да и не может существовать никакое государство. Капиталистические государства каждое имеет свой план. Даже гнилостный наш царизм управлял государством по плану. Стоит вспомнить три крупнейшие фигуры последнего царского периода: Победоносцев, Витте, Столыпин. Разве у каждого из них не было своего выдержанного, последовательного, железного плана? Церковноприходские школы, золотая валюта, хутора; из одного этого беглого перечисления видно, что план не ограничивался одними политическими целями, а захватывал в свое поле воздействия хозяйство, финансы, культуру. Нечего говорить о Петре. Даже старая Московия строила государство по своему крепкому плану. Без государственного организующего костяка растеся бы наш российский кисель, и шестая часть света не могла бы существовать как единое целое.

План — это, конечно так. И дело совсем не в том, усиливать или ослаблять план. Конечно, усиливать, всегда усиливать. Без сильного плана нет сильного государства. Иное дело, какой характер этого плана и каковы ближайшие, очередные задачи, которые этот план преследует. Сильно то государство, которое в своих толщах — людских, земельных, индустриальных — вырабатывает избытки: населения, волевой энергии, творческой силы, материальных и духовных ценностей. Сильно то правительство, которое способствует накоплению этих избытков, которое откупоривает каналы для изливания творческой энергии, дает ей исход, которое расширяет ходы, и не запаздывает с этим расширением. В последнем счете правительство есть план нации, живой, активный и неустанный носитель этого плана».

План нации . . . И Лежнев по-своему расшифровывал НЭП, — он хотел видеть в нем «Национальную Экономическую Политику». «Россия страна слишком необъятная, слишком многоликая и пестрая по людскому своему материалу, по хозяйственным ресурсам и возможностям, чтобы уложить ее план в одну схемочку, — писал он в статье 'После Ленина'. — И никакой здесь мистики нет, а просто трезвый и здравый учет пространственной экстенсивности и хозяйственно-бытовой пестроты. Сколько ни прыгай по телу России черной востренькой блохой из конца в конец, сколько ни тешь себя прибауточкой о вселилии циркуля и линейки — России не переплюнешь. Именно потому, что Россия так безмерно экстенсивна, она более других стран нуждается в организующем строительном плане. Но опять-таки потому, что она так бескрайне экстенсивна, это не может быть план уравнительного поселка».

«Научитесь строить жизненный, подвижный, эластичный торговый план, а не бездушно-механистический, окостенелый и цифирный», — говорил большевикам редактор журнала «Россия», поясняя при этом:

«Военный коммунизм, ушедший из нашего хозяйства и быта, зацепился и осел в виде переживших себя методологических навыков в сознании многих и многих. Не изжита еще до конца, не выкорчевана иллюзия, будто можно строить хозяйство сверху, механистическим путем, упражняя на нем военные методы. Воображению многих и многих подносится опыт военно-трудовых армий, а децентрализованная природа нашего хозяйства упорно и упрямо не лезет в этот хомут. Путь хозяйственного возрождения — медленный, зигзагообразный, требующий упорной работы по изучению деталей, целой системы мероприятий, крайне слож-

ной, многообразной. До чего же весело подойти: 'Бац! — и готово! Извольте отмычку и спасайте родину!' И вправду стоит ли корпеть, изучать, примерять, головоломно комбинировать, когда можно предложить одну магнитную отмычку — и крепость взята. Нет беды, что отмычка ломается тут же под рукой. Сломалась одна — подсовывается другая. ... Только отказавшись от фантастической идеи планировать все и освободившись от не-сносного груза мелочей, планирующий орган окажется перед действительно сильной и плодотворной возможностью взаимного согласования областных хозяйственных планов районирования России и сочетания очередных и ближайших задач с более отдаленными».

Такова была философия нэпа, понимаемого не только как «новая экономическая политика», но и как «национальная экономическая политика». Несчастье было лишь в том, что ни Ленин, ни преемники Ленина не думали о национальных интересах России. «Частный капитал, — писал И. Лежнев, — в большей своей части работает в недрах государственно-хозяйственных учреждений; его работа химически связана с работой госпромышленности, и статистической удочке невозможно его выудить отдельно. Дело совсем не в том, чтобы искусственно закупори-вать накопленную энергию и заклинать частный капитал: 'Чур, отойди от меня, сатана!' Задача в том, чтобы накопленную во всех слоях населения энергию обратить действительно на полезное дело и использовать действительно в общегосударственных интересах». Между тем, как это можно прочесть в любом учебнике политграмоты, «в условиях нэпа шла упорная борьба между капитализмом и социализмом по принципу 'кто-кого'». Не прошло много времени, как в «Правде» 16 апреля 1926 года появилась статья, в которой И. Лежнева называли «буржуазным реставратором», — в том же 1926 году «философ нэпа» был выслан за границу, в Берлин. *

* Высланный в Берлин, И. Лежнев, однако, не был лишен советского гражданства. Он работал четыре года в торгпредстве СССР. В 1930 году ему разрешили вернуться в Москву. Он написал книгу «Записки современника», — ее отвергли во всех издательствах. Тогда он послал рукопись книги в ЦК ВКП(б) «в качестве расширенного заявления с просьбой о приеме в партию». Книгу прочитал Сталин, ее хвалили во всех газетах и журналах, и она действительно интересна. И. Лежнев был принят в партию, причем, по слухам, поручителем был сам Сталин. В 1935—39 годах И. Лежнев заведовал отделом литературы и искусства газеты «Правда», — это как раз были годы, когда «Правда» травила Шостаковича, М. Булгакова, акад. Н. Лузина и др. (см. главу «1937»). Талант И. Лежнева угас, и он больше ничего не написал, кроме раболопной книги о Шолохове. Умер он в 1955 году.

История журнала «Россия», развивавшего идеи «нэпа» как «национальной экономической политики», это не единственный пример, показывающий фальшь и двусмысленность всего, чем жила Россия в 1922 году. Недаром Борис Пастернак в романе «Доктор Живаго» пишет о своем герое, что «он пришел в Москву в начале нэпа, самого двусмысленного и фальшивого из советских периодов». Но еще задолго до того, в 1924 году, в журнале «Современные записки», выходившем в Париже, Федор Степун заметил, что «в нэпе оборотнически-провокационная стихия революции достигает своего кульминационного пункта».

В чем была фальшь и двусмысленность нэпа?

В области сельского хозяйства и торговли партия достаточно широко пошла на отказ от своей прежней политики — политики «коммунистического производства и распределения». Но в промышленности партия не пошла дальше полумера: денационализированы были лишь мелкая и часть средней промышленности. Вся крупная, т. е. главная и основная часть русской промышленности, а также значительная доля средней промышленности, и во время нэпа оставалась в руках партийной бюрократии. В этом сказались половинчатость и искусственность нэпа, что неизбежно разрушало план организации хозяйства страны в целом. Более того, именно это впоследствии и позволило Сталину произвести «великий перелом» и, покончив с нэпом, перейти к новому коммунистическому экспериментаторству, к насильственной коллективизации сельского хозяйства, к тотальной, всеохватывающей и всепроникающей централизации.

Фальшь и двусмысленность нэпа проявилась в 1922 году и в том, что весной того года в России, как никогда, начались антирелигиозные преследования. В письме членам Политбюро от 19 марта 1922 года Ленин потребовал провести «с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства», «подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий». «Для нас, — писал Ленин, — именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий».*

* Письмо это в СССР никогда не было опубликовано. Но на него есть ссылка в «Полном собрании сочинений Ленина» (т. 45, 1964 г., стр. 666—667). В «Архиве» оно имеет шифр ЦПА ИМЛ, ф. 2, ед. хр. 22954. Текст письма опубликован в «Вестнике Р. С. Х. Д.», № 98, 1970, Париж.

26 апреля 1922 года в Москве начался процесс «54-х», на котором патриарха Тихона допрашивали в качестве свидетеля. Процесс закончился 8 мая двенадцатью смертными приговорами, — были расстреляны девять священников и три мирянина. Патриарх Тихон 9 мая 1922 года был взят под домашний арест, а 16 мая — заключен в тюрьму. В ночь на 13 августа 1922 года был расстрелян митрополит петроградский Вениамин, человек еще совсем молодой, чрезвычайно талантливый, отличавшийся добротой и смирением и любимый народом. В последнем слове на суде митрополит Вениамин сказал, что его больше всего удручало на этом процессе: обвинитель называл его «врагом народа» (неверно думать, что этот термин употреблялся только при Сталине). «Я верный сын своего народа, — сказал митрополит Вениамин, — я люблю и всегда любил его. Я жизнь ему свою отдал, и я счастлив тем, что народ — вернее, простой народ — платил мне тою же любовью, и он же поставил меня на то место, которое я занимаю в Православной церкви». Добавим, что в том же 1922 году в Петрограде был устроен процесс католического архиепископа Яна Цепляка и 13-ти католических священников, — Цепляк был приговорен к расстрелу.

Фальшь и двусмысленность нэпа проявилась дальше в том, что летом 1922 года в Москве состоялся большой политический процесс — суд над 32 выдающимися деятелями партии социалистов-революционеров. 12 человек были приговорены к расстрелу. В письме А. И. Рыкову, который тогда был заместителем Ленина по Совнаркому, Максим Горький писал:

«Если процесс социалистов-революционеров будет закончен убийством, это будет убийство с заранее обдуманым намерением, гнусное убийство. Я прошу вас сообщить Троцкому и другим это мое мнение. Надеюсь, оно не удивит вас, ибо за все время революции я тысячекратно указывал советской власти на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране. Ныне я убежден, что если эсеры будут убиты, это преступление вызовет со стороны социалистической Европы моральную блокаду России».

К протесту Максима Горького присоединились Анатолий Франс, Анри Барбюс и Ромен Роллан. Приговор о расстреле двенадцати эсеров было постановлено считать «условным», что превращало осужденных в пожизненных заложников. Те из них, кто дожил до 1930-х годов, погибли во время ежовщины.

1923

УРОКИ НЭПА

Подписывая 21 апреля 1921 года декрет о продналоге, Ленин без сомнения понимал, что тем самым он давал крестьянину возможность свободно распоряжаться излишками хлеба и других продуктов, в том числе и возможность свободной продажи их на рынке. Но отдавал ли Ленин себе полный отчет, к чему в конце концов приведет декрет о продналоге? Сказавши «а», надо сказать «б»... — и 30 июля 1921 года Ленин подписал новый декрет Совнаркома РСФСР, которым разрешалась не только розничная частная торговля, но и оптовая. По логике вещей, там, где существует свобода оптовой торговли, там должна быть и товарная биржа. Впрямь, в Москве открылась товарная биржа, которую описывал журнал «Огонек» в апреле 1923 года:

«С раннего утра, еще задолго до открытия фондового отдела, у дверей биржи — Ильинка, 6 — стоит разношерстная толпа. Котелки и бобровые шапки. Демисезонки и енотовые шубы. Воздух разрывается голосами, то крикливыми, резко взвинченными, то уверенными, бархатно-густыми. ... Гудит товарная биржа, этот человеческий улей, который ворочает огромными количествами товаров, перебрасывает их из одного конца республики в другой. Лица напряженные. Каждая минута сосчитана. Опоздал, не согласился и, смотри, через десять минут товар уже продан и биржевой маклер уже выписывает квитанцию. Переведенные на более строгие ответственные рельсы, тресты, торги и предприятия вынуждены глядеть в оба, чтобы как можно быстрее и выгоднее обернуться, купить вовремя сырье и топливо, вовремя расторговаться. Но расторговаться так, чтобы потом окупиться в своем производстве! При неустойчивости советского рубля, и даже при нынешнем переводе торговых расчетов на червонцы, это — задача весьма нелегкая. Но только на этом пути постоянного соревнования, конкуренции, взаимоконтроля выкуются и окрепнут здоровые предприятия и умрут естественной смертью предприятия нездоровые, которые ложатся только бременем на государство».

Как видим, органический процесс, пришедший в апреле 1921 года на смену «организующему процессу», неотвратимо расши-

рялся. Не только расширялся, но и углублялся, проникая из экономики в другие сферы народной жизни, — вот этот процесс и составлял основное содержание 1923 года.

Вопрос о том, как свобода, утверждаясь в хозяйстве, этом центральном пункте социальной жизни, неизбежно распространяется и на сферу культуры, изучал в свое время выдающийся русский историк и публицист проф. Г. П. Федотов. В книге «Христианин и революция» (Париж, 1957) он писал:

«В течение полутора веков свобода во всех ее аспектах, как свобода политическая, экономическая и духовная, была связана с судьбой одного класса — буржуазии. Ее гегемония в современном обществе сообщает ему характер самого свободного из когда-либо существовавших на земле. По-видимому, это не было случайностью. Не раз в истории торжество буржуазии было отмечено расцветом свободы: в демократиях Греции, в средневековых коммунах, в вечевых народоправствах Руси. Ввиду различия духовных основ этих культур, объединяющее их свобододолюбие буржуазии следует объяснить ее своеобразной ролью в общественно-хозяйственной жизни. Буржуазия несет с собой начало личной инициативы, сознательного расчета, свободной и личной организации производства. Пусть иногда она не отказывается от помощи и привилегий государства. В основном она держится на вере в собственные усилия экономически-творческой личности. Буржуазия проникнута известным недоверием к государству, к его вмешательству во все жизненные сферы. Она придерживается государственного минимализма. Защищая прежде всего свою свободу хозяина, свободу хозяйственного творчества, она психологически приходит к признанию свободы вообще: свободы гражданина, свободы разума и совести. Есть одна сфера духовной свободы, которая совершенно непосредственно связана с буржуазным сознанием: это свобода мысли. Мысль для буржуа есть неперемное и постоянное условие его собственного хозяйствования: строгая, аналитическая и синтетическая, вполне наукообразная мысль, которая отличает рационализм буржуазной экономики от других, традиционных и социально-связанных хозяйственных форм. Творческая психология капитализма сродни психологии науки. Буржуа всегда поддерживает критическую пытливость ученого, и XIX век, губительный для многих отраслей духовной культуры, оказался исключительно счастливым для научного творчества. Но дух науки — это дух свободы».

Г. П. Федотов отнюдь не был апологетом буржуазии; напротив, одно время он был большевиком. В юности, в 1905 году, он вступил в социал-демократическую партию и придерживался ее

левого, большевистского крыла. Царское правительство его арестовало, ему грозила ссылка, но ее заменили высылкой за границу, — в 1907—8 гг. он учился в Иене. Федотов был марксистом, как до него Бердяев, Булгаков, П. В. Струве, и он, как они, потом порвал с марксизмом и резко осудил большевизм. В 1920—22 гг. Г. П. Федотов занимал кафедру истории средних веков в родном Саратове. В 1925 году ему удалось выехать за границу. Именно как ученый-историк, Г. П. Федотов исследовал связь хозяйственной свободы с духовной свободой, — без уяснения этого невозможно понять уроки нэпа.

Возрождение хозяйства в России тотчас же вызвало и возрождение литературы и искусства.

В каком же положении находилась литература до нэпа, в первые пооктябрьские годы? У нас есть свидетельство Алексея Толстого — его статья «Торжествующее искусство», которая была напечатана 9 октября 1919 года в газете «Общее дело» в Париже (газету эту издавал В. Л. Бурцев, народоволец, издатель журнала «Былое», знаменитый разоблачитель Азефа). Поскольку статья А. Н. Толстого не включена ни в одно собрание его сочинений, приведем пространные отрывки:

«Один из козырей, чем большевики щеголяют перед Европой, — это процветание искусства в советской России. Ныне искусство — достояние всего народа. Все произведения искусства принадлежат государству. На приобретение их и на создание музеев и летучих — для провинции — выставок правительство ассигновывает огромные суммы. Устройство революционных праздников поручено коллегии художников. В школах введена свобода преподавания и свобода обучения. Путь восьмивекового рабства кончен. Искусство служило королям и меценатам, поддельвалось под развращенный вкус дворянского сословия и окончательно впало в золотое рабство буржуазии. Искусство вырождалось, становилось забавой. Свобода была ему нужна как воздух. И вот, советское правительство объявляет, что искусство свободно, что за искусством оно признает все его могучее влияние на жизнь и культуру, и уничтожает материальную зависимость между творцом и потребителем, но . . .

Вот тут-то, в сущности, и начинается большевизм . . . — с этого «НО»! В этих «но» весь их перец, все сверхчеловечество. Большевики не пытаются создавать новое, сотворить идею жизни. Они поступают проще (и их поклонникам это кажется откровением) — они берут готовую идею и прибавляют к ней свое «но». Да здравствует всеобщая справедливость! Но семьи тех, кто сражается против большевиков, — старики, жены, дети, — должны

быть казнены, а те, кто не желает работать с советским правительством — уничтожены голодом. Это «но» — роковое и необычайно характерное. Большевики не знают созидательного «да», или сокрушающего и в своем сокрушении творческого «нет» первой французской революции. У них чисто иезуитское, инквизиторское уклонение — «но», сумасшедшая поправка. Слово — один глаз открыт, другой закрыт; смотришь в лицо — оно повертывается затылком, видишь — человеческая фигура, а на самом деле — кровавый призрак, весь дрожащий от мерзости и вожделения.

... Искусству дан декрет — быть, хотя и свободным, но определенным, тем, а не иным. И сейчас же, разумеется, нашлись люди, с восторгом принявшие на себя эту миссию, — это были футуристы. Они появились в России года за два до войны, как зловещие вестники надвигающейся катастрофы. Они ходили по улицам в полосатых кофтах и с разрисованными лицами; веселились, когда их ругали и наслаждались, когда обыватели приходили в ужас от их стишков, написанных одними звуками (слова, а тем более смысл они отрицали), от их «беспредметных» картин, изображавших пятна, буквы, крючки, с вклеенными кусками обой и газет. Одно время они помещали в полотна деревянные ложки, подошвы, трубки. Это были прожорливые молодые люди, с великолепными желудками и крепкими челюстями. Один из них — «учитель жизни» — для доказательства своей мужской силы всенародно ломал на голове доски и в особых прокламациях призывал девушек отрешиться от предрассудков, предлагая им свои услуги. Год тому назад я видел его в Москве, он был в шелковой блузе, в золотых браслетах, в серьгах, и с волосами, обсыпанными серебряной пудрой. Над футуристами тогда смеялись. Напрасно. Они сознательно делали свое дело — анархии и разложения. Они шли в передовой цепи большевизма, были их разведчиками и партизанами. Большевики это поняли (быть может, знали) и сейчас же призвали их к власти. Футуризм был объявлен искусством пролетарским.

Футуристам поручили устройство революционных праздников. И вот, к торжественному дню, дома сверху до низу завешиваются кумачом (причем, в продаже никакой материи нет, и беднота, и буржуи ходят ободранные), трава и листва деревьев обрызгиваются в голубой цвет, и повсюду расставляются картонные с такими рисунками, что простой народ крестится со страху. Затем футуристы же предлагают поставить что-то около 150 памятников. Но здесь пришлось натолкнуться на неожиданное сопротивление. Этой весной петроградские рабочие подали в со-

вет заявление, что футуристического искусства они не понимают и далее терпеть этого безобразия не хотят. Поэтому требуют, чтобы на предстоящих майских торжествах травы и деревьев краской не мариать, оставить, как они есть — зеленые, непонятных картин не выставлять, и снять некоторые, особенно гнусные памятники.

В то же самое время русские художники, писатели, философы и поэты, не принявшие футуро-большевизма, принуждены существовать как птицы небесные. Журналы и газеты закрыты, издание книг и типографии монополизированы правительством, картин покупать частным лицам нельзя и негде, а правительство скупает только беспредметное творчество. Искусство в России замерло. За последний год было выпущено едва пять-шесть книг, и не устроено ни одной художественной выставки, не поставлено ни одной новой пьесы, даже большевистского содержания. Что делают те, кем Русская земля была горда, не знаю; те же, про кого знаю случайно — голодают и не работают.

... Советское правительство объявляет расцвет русского искусства. Есть чем козырнуть перед Европой. В 1914 году на дело искусства тратилось правительством 100 000 рублей, а в 1919 году — 100 000 000. Отсюда крайне-левая пресса делает соответствующий вывод. А в Петербурге за этот год восемнадцать членов Академии наук умерли от голода и истощения».

Но вот, прошло четыре года, и в 1923 году А. Н. Толстой вернулся в Россию. Что же увидел он на родине, уже два года жившей при нэпе? В сборнике «Писатели об искусстве и о себе», вышедшем в 1924 году, А. Н. Толстой сравнивал период нэпа с «грибным летом, какого не запомнят и старожилы»:

«Школы, направления, кружки выскочили в грибном изобилии. После ливня революции полезли крепкие, пунцовые сыроежки-имажинисты, притворившись чудовищно ядовитыми. Был и такой гриб, что жуть берет в лесу: гриб не гриб — черт знает, что такое. Наконец, пошел боровик, новый романист-бытописатель. Сорвешь его — совсем как боровик, но и не боровик, ни белый, ни красный».

Быть может, ничто так не показывает связь хозяйственной свободы с духовной и интеллектуальной свободой, как возникновение или возобновление частных издательств в 1922 году. Например, издательство братьев Сабашниковых, существовавшее с 1891 года в Москве и выпускавшее до революции такие многотомные серии, как «Памятники мировой литературы», «Пушкинская библиотека», «Русские пропилеи», в 1918 году прекратило свою работу, но возобновилось в 1922 году; на книжной выстав-

ке в Москве, в мае 1923 года, оно выставило 102 названия книг Другое частное издательство, «Колос», выставило на этой выставке 80 названий, издательство Мирманова — 50 названий... Всего же 42 частные издательства представили на книжную выставку 1923 года 1 349 названий.

Кроме того, наряду с государственными и частными издательствами, существовали кооперативные или акционерные издательства. Наиболее крупным из них было акционерное издательское общество «Земля и фабрика», созданное в 1922 году, оно выпускало не только оригинальную и переводную беллетристику, но и журналы — «30 дней», «Всемирный следопыт», «Вокруг света», а также литературно-художественный альманах «Земля и фабрика» (всего вышло 13 номеров). В августе 1922 года возникло кооперативное издательство «Круг», известное как «Издательство артели русских писателей», — в его правление входили Исаак Бабель, Артем Веселый, Борис Пастернак, Борис Пильняк. Это издательство тоже выпускало свой альманах, «Круг». Именно в издательстве «Круг» в 1923 году вышла «Вторая книга» Осипа Мандельштама.

Бросим беглый взгляд на список книг, вышедших в 1923 году. Вот поэзия:

Иннокентий Анненский — «Посмертные стихи»,
Николай Асеев — «Избрань»,
Николай Гумилев — «Посмертный сборник»,
Василий Казин — «Рабочий май»,
Осип Мандельштам — «Вторая книга»,
Владимир Маяковский — «Про это»,
Петр Орешин — «Ржаное солнце».

А вот проза 1923 года:

В. В. Вересаев — « В тупике»,
М. Горький — «Мои университеты»,
Евгений Замятин — «На куличках»,
Леонид Леонов — «Петушихинский пролом»,
Юрий Либединский — «Неделя»,
Александр Малышкин — «Падение Даира»,
Пантелеймон Романов — «Русь»,
Лидия Сейфуллина — «Перегной»,
А. Тарасов-Родионов — «Шоколад»,
Дмитрий Фурманов — «Чапаев»,
Мариэтта Шагинян — «Своя судьба»,
Илья Эренбург — «Тринадцать трубок».

Поистине «грибное лето»!.. И это, конечно, еще не полный перечень книг, вышедших в 1923 году. Но и из этого перечня видно богатство литературы того времени, когда, по выражению Мих. Зощенко, «каждый свою хату в свой цвет красил». *

Утвердившись сперва в хозяйстве, потом в культуре, свобода распространялась на все сферы жизни. В сентябре 1923 года в московской печати появилась статья заведующего отделом виз Наркоминдела Шеншева «Как уезжают за границу». «Поездки частных граждан, на которые раньше смотрели как на чрезвычайно трудно осуществимую задачу, — писал Шеншев, — теперь, по своей доступности, стали совершенно обыденным явлением. Выехать за границу может каждый гражданин, выполнивший перед государством свои долговые обязательства и не состоящий под судом и следствием».

В новомодном номере «Правды» была напечатана статья партийного публициста Льва Сосновского «Что я буду делать в 1923 году».

Что же именно?

«Прежде всего, искать и находить вокруг себя новых людей — русских американцев. Помогать партии и советам ставить их на надлежащие места и следить, чтобы рязанско-пошехонско-чебоксарское губошлепство не затерло их на первых шагах. Только на первых шагах, ибо в дальнейшем сами 'американцы' отеснят и отбросят губошлепов. 'Американцев' надо будет взять под всенародное наблюдение, сплотить их в стальную когорту и заставить по ним равняться остальных.

* Впоследствии, в 1946 году, в период «ждановщины», Михаилу Зощенко припомнили эти слова, написанные им в заметке о «серапионовых братьях». Да и в годы нэпа, конечно, не было полной свободы, чтобы каждый мог «свою хату в свой цвет красить». 7 марта 1923 года в «Правде» была напечатана статья Л. Сосновского, пестрешая как раз издевательствами над этим высказыванием Михила Зощенко, над «аполитичностью» «серапионовых братьев». 2 июня 1922 года на первой странице «Правды» появилась статья «Диктатура, где твой хлыст?» — против книги Ю. Айхенвальда «Поэты и поэтессы». В статье говорилось, что «НЭП открыл шлюзы творчества для подколодного эстета и он осмелел», но что «у диктатуры есть в запасе хлыст, и есть зоркость и бдительность». Три месяца спустя, в сентябре 1922 года, Ю. Айхенвальд был выслан за границу вместе с Н. Бердяевым, С. Франком, М. Осоргиным, А. Кизеветтером и многими другими писателями, философами, учеными (об этом см. главу «1967»). В этом, как и в том, что в 1922 году были закрыты философский журнал «Мысль» и литературно-художественный журнал «Записки мечтателей», проявилась фальшь и двусмысленность нэпа.

Что такое 'американцы'? Это — люди, которые умеют работать таким темпом и с таким напором и нажимом, каких не знала старая Русь. 'Американцы' — это те, что основательно подумают прежде, чем взяться за дело, но взявшись за него — без 'авось' и 'небось' — с несокрушимой верой в наши творческие силы, с трезвой их оценкой пойдут до конца. 'Американцы' не хнычут по поводу 'объективных условий', но бьют в лоб всякое губошлепство, волокиту, самовлюбленность.

В 1923 году вновь организующаяся партия русских 'американцев' (пребывание в Америке для членов партии совсем необязательно) объявит истребительную войну российскому губошлепству. Американцы всея Руси, объединяйтесь!»

Курьезная эта статья, казалось, свидетельствовала, что пришел конец буйному социальному утопизму, трезвость победила фантастику, — в этом заключался первый урок нэпа. Второй урок заключался в том, что нэп показал, как раскрепощение экономики может мгновенно преобразить страну. Третий урок показывал, что строительство народно-хозяйственной жизни может идти только снизу вверх, от периферии к центру, а не сверху вниз, не по декрету, не по директиве, спущенной из центра на «низовку». Наконец, четвертый урок нэпа можно видеть в том, что если свобода утверждается в хозяйстве, центре социальной жизни, то она неизбежно распространяется и на сферу культуры.

Но... — увы, даже и в 1923 году большевистское «но» было в силе! Бред «мировой революции» все еще продолжался. На X съезде советов в 1923 году один делегат закончил свою речь возгласом: «Да здравствует мировой съезд советов в Лондоне!» Журнал «Крокодил» печатал такие карикатуры: парикмахерская «Коминтерн». Парикмахером — Карл Радек. Намыливая «морду» немецкому капиталисту, он говорит — «Пожалуйста ОКТЯбрьтесь!» В марте 1923 года в том же «Крокодиле» была напечатана поэма «Кому в СССР жить хорошо»:

Вооружась мандатами
с печатью, штампом, с подписью
начальствующих лиц,
пошла искать комиссия, —
расспрашивать, выведывать:
— Кому живется весело,
легко в Эс-Эс-Эс-Эр?

После долгих исканий начались дебаты:

Дебаты были долгие:
Петров сказал, что нэпману,
«Наркому», — молвил Сидоров...

Вскоре стало ясно, что жизни нэпмана приходит конец. Двусмысленность и фальшь нэпа была в том, что это был временный, тактический маневр — и только. Начало нэпа было положено решением X съезда партии в марте 1921 года, — решением о переходе от продразверстки к продналогу. Но надолго ли получил крестьянин свободу трудиться на себя, свободу распоряжаться продуктами своего труда? И частная торговля, допущенная декретом Совнаркома в июле 1921 года, несколько лет спустя была вновь закрыта.

Нет, нэпману не было жизни в СССР! А наркому? Как сказать... В апреле 1923 года в журнале «Огонек» появилась статья «Реорганизованный суд», в которой рассказывалось, что «весь прошлый год Наркомюст проводил энергичную работу по воссозданию революционной законности. Первым шагом в этом направлении было издание кодексов; вторым — реорганизация судов и создание единого судебного аппарата. С 15 января 1923 года Верховный Трибунал превратился в Верховный Суд Республики». Таким образом, в 1923 году в СССР будто бы была «воссоздана законность». Как будто, уже больше не приходилось бояться бессудных расправ ЧК, беззакония и произвола. Журнал «Крокодил» напечатал по этому поводу шутку, которая могла бы быть забавной, если бы мы не знали того, что случилось в стране позже. Журнал печатал из номера в номер «Энциклопедию Крокодила», и вот, на букву «С» в ней говорилось:

«СТРАХИ бывают разные: Госстрах, Соцстрах, Губстрахи, напрасные страхи. Дореволюционная пословица 'У страха глаза велики' в настоящее время является пережитком старины».

Какие бывают страхи, люди в СССР узнали в период сталинщины, ежовщины. Не было жизни нэпману, не стало жизни и наркому, — и в этом тоже можно видеть как бы пятый, заключительный урок нэпа. В апреле 1923 года, на XII съезде партии, был избран ЦК РКП(б). Кто из членов ЦК остался в живых? Каменев, Троцкий, Зиновьев, Рыков, Радек, Бухарин, Томский, Рудзутак, Сокольников, Чубарь... — как они, попавшие в застенки НКВД (или под удар кирки, как Троцкий), ответили бы на вопрос, кому живется весело, легко в СССР?

1924

ЛЕНИН И ДЕЛО ЛЕНИНА

Без сомнения, в жизни каждого из нас, в душевном — или духовном — пейзаже всякого человека, выросшего в России, какое-то место принадлежит Ленину, и его смерть, действительно, была моментом нашей собственной судьбы. Мне, например, в 1924 году было 13 лет. Я учился в г. Канске Енисейской губернии, — это нынешний Красноярский край. Был пионером, носил красный галстук и значок, на котором пылал костер, — пять поленьев, пять частей света, охваченных пламенем мировой революции. Помню морозную звездную ночь, — 27 января 1924 года, — когда хоронили Ленина. В Москве-то был еще вечер, но у нас, в глубине Сибири, время уже приближалось к полночи. Мы стояли на городской площади у деревянной трибуны, с которой произносил речь Буденный, приехавший к нам из Москвы. Потом загудели гудки паровозов, и все, в том числе и мы, школьники, сняли шапки... — в эту минуту где-то далеко в Москве клали в мавзолей гроб с телом Ленина.

Наутро, придя в школу, я прочитал на стене плакат: «Ленин умер, но дело его живет». Наша школа-девятилетка находилась на Бородинской улице. Но то, что улица была названа в честь Бородинского сражения, тогда не доходило до моего сознания, — мы изучали «обществоведение» и были глухи к истории России. Прошло много лет, и весной 1945 года дорога войны привела меня в немецкий городок Бунцлау. Капитан Советской армии, я стоял, сняв пилотку, перед памятником Кутузову, — в тот момент в моем сознании на первом плане стоял уже не Ленин, а Кутузов, не мировая революция, а Россия.

Не «пять поленьев», а другой, совсем другой огонь горит теперь во мне. Не довелось ли и вам испытать такую внутреннюю перемену? Пришла пора трезво и спокойно посмотреть на Ленина, определить его место в истории России. И на «дело Ленина»... — насколько живо оно сейчас?

Прежде всего, каким он был, Владимир Ильич Ленин? Передо мной книга, написанная человеком, близко знавшим Ленина. В ней дан яркий портрет великого революционера:

«В первые же минуты визита к Ленину я познакомился с одним, только ему принадлежащим жестом. Говоря или споря, Ленин как бы приседал, делал большой шаг назад, одновременно запуская большие пальцы за борт жилетки около подмышек и держа руки сжатыми в кулаки. Притоптывая правой ногой, он делал затем небольшой быстрый шаг вперед и, продолжая держать большие пальцы за бортами жилетки, распускал кулаки, так что ладони с четырьмя пальцами изображали растопыренные рыбы плавники. В публичных выступлениях такая жестикуляция имела место сравнительно редко. При разговорах же, особенно если Ленин вдабливал своим слушателям какую-нибудь мысль, эта жестикуляция, этот шаг назад и шаг вперед, игра сжатым и разжатым кулаком происходила постоянно. Постоянно попадая в поле зрения собеседников, ленинская жестикуляция настолько их заражала, что некоторые из них, например, Красиков и Гусев, тоже начинали запускать пальцы за жилетку. Ленин гипнотизировал и этим».

Кто так хорошо знал Ленина? Кто так понимал его характер? Кто нарисовал такой яркий портрет? Николай Владиславович Вольский (Валентинов). По словам Н. К. Крупской, Валентинов в 1904 году пользовался «особым благоволением» Ленина. После революции он был редактором «Торгово-промышленной газеты», органа ВСНХ, а в двадцатых годах выехал за границу. Книга Валентинова «Встречи с Лениным» вышла на русском языке в Нью-Йорке в 1953 году. Как видно даже из приведенного маленького отрывка, она дает много для понимания Ленина. Тем не менее, эта книга все еще недоступна широкому читателю в России, — должно быть власть боится, что рухнет полувековой, — с таким старанием созданный — культ «Ильича».

Для того, чтобы понять характер Ленина как человека и как политика, остановимся на той черте, которую подметил в нем Валентинов: «В каждый данный момент он всегда бил словом только в одну мысль» — бил и «вдабливал!» Вот это слово «вдабливал» часто встречается в воспоминаниях о Ленине, и Анжелика Балабанова, известная деятельница Коминтерна, умершая в 1965 году в Риме в 88-летнем возрасте, так объясняет эту черту ленинского характера:

«Ленин говорил элементарно-просто потому, что старался вдолбить в головы слушателей то, что ему казалось важным. Каждая его речь должна была служить для них руководством, — вот так надо мыслить и так надо действовать. Если расширить этот анализ характера Ленина, то можно сказать, что в его ораторских приемах отразилось его отношение к рабочему движе-

нию вообще. По Ленину, рабочее движение должно возглавляться элитой. Что касается низших слоев движения, то им вовсе незачем размышлять, доходить до всего своим умом и делать свои выводы, — важно лишь, чтобы они слушали, что им говорят, и шли за руководителями. Да, в том-то и была трагедия всей жизни Ленина, что, стремясь к братству и равенству, он породил едва ли не самую чудовищную иерархию, осуществляющую контроль над человеческой мыслью».*

Элитаризм считается в СССР «реакционной теорией о якобы естественном делении общества на избранное меньшинство, призванное господствовать, и большинство, беспрекословно подчиняющееся во всем руководителям». Между тем, сознательно или бессознательно, Ленин придерживался понятий элитаризма. Для революционеров «классического типа» превыше всего было рабочее движение; для Ленина же превыше всего была партия. По логике вещей, если партия подменяла собой рабочее движение, то партию должен был подменить ЦК, чтобы быть в свою очередь подмененным генсеком, диктатором.

Правда, что в Ленине не было мелкого тщеславия. Он не ряدىлся в генеральские мундиры и не украшал свою грудь орденами. Но правда ли, что он был чужд честолюбию и властолюбию? На Штуттгартском конгрессе Второго интернационала, в августе 1907 года, Роза Люксембург сказала Кларе Цеткин, показывая на Ленина:

«Посмотри хорошенько на этого человека. Это — Ленин. Обрати внимание, сколько упрямства и своеволия в его черепе!»

Без сомнения, Ленин был человеком железной воли. Воли, энергии и, вместе с тем, веры, — веры не только в движение, в дело, но и в самого себя. Есть воспоминания Александра Потрессова, который вместе с Лениным и Мартовым создавал газету «Искра»:

«Ленин периода 'Искры' уже не был Лениным, которого мы знали в годы доисторического марксизма. Его исходное сектантство, так неприятно поразившее меня при первом моем с ним знакомстве, вопреки всем ожиданиям, не только не исчезло ко времени нашей совместной работы в 'Искре', а, наоборот, сделало дальнейшие шаги и предстало перед нами, его коллегами по редакции, в форме гораздо более конкретной, чем прежде, для нас как нельзя более тягостной. То, что в подпольном кружке петер-

* Анжелика Балабанова. «Ленин вблизи». Эта книга, первоначально вышедшая на итальянском языке — „*Lenin visto da vicino*“, была в 1965 году издана Мичиганским университетом в Америке под заглавием „*Impressions of Lenin*“.

бургского 'Союза Борьбы', при несложности задач, подлежавших тогда решению, проходило сравнительно незаметным, то теперь, за редакционным столом, в обстановке с каждым днем разгоравшейся политической борьбы, становилось чрезвычайно неприятным осложнением в нашей общей работе. А, ведь, надо сказать, что все мы, стоявшие наиболее близко к делу, и Мартов, и Вера Засулич, и я, мы все ценили Ленина не только за его знания, ум, работоспособность, но и за его исключительную преданность делу, всегдашнюю готовность отдаваться ему целиком, нагружая себя сверх меры самыми неблагоприятными функциями и неизменно добросовестно их выполняя. И тем не менее атмосфера общения с ним была в корне отравлена тем, что Ленин в сущности органически не переваривал мнений, отличных от его собственных. Поэтому всякое редакционное разногласие имело тенденцию превращаться в конфликт с резким ухудшением личных отношений, с открытием военных действий, с стратегическими хитростями и неистовыми усилиями дать, чего бы это ни стоило, перевес своим взглядам.

И еще менее способен был Ленин, — продолжает А. Н. Потресов, — признавать рядом с его собственной организацией какую бы то ни было другую. В пределах социал-демократии, или за ее пределами, в рядах всего общественного движения, направленного против режима самодержавия, Ленин знал лишь две категории людей и явлений: свои и чужие. Свои, так или иначе входящие в сферу влияния его организации, и чужие, в эту сферу не входящие, и, стало быть, уже в силу одного этого трактуемые им как враги. Между этими полярными противоположностями, между товарищем-другом и инакомыслящим-врагом, для Ленина не существовало всей промежуточной гаммы общественных и индивидуально человеческих взаимоотношений, и поэтому политический тезис о возможных совместных действиях с другими партиями и группами в борьбе против общего врага, хотя им поневоле и не отрицался тогда теоретически, но практически оставался пустой фиктивной формулой, которую он не был бы в силах, даже при желании, наполнить реальным содержанием.

И однако, — говорит дальше А. Н. Потресов, — ни Плеханов, ни Мартов, ни кто-либо другой не обладали секретом излучавшегося Лениным прямо гипнотического воздействия на людей, я бы сказал — господства над ними. Плеханова — почитали, Мартова — любили, но только за Лениным беспрекословно шли, как за единственным бесспорным вождем. Ибо только Ленин представлял собою, в особенности в России, редкостное явление чело-

века железной воли, неукротимой энергии, сливающего фанатическую веру в движение, в дело, с наименьшей верой в себя. Если когда-то французский король Людовик XIV мог говорить: государство — это я, то Ленин без излишних слов неизменно чувствовал, что партия — это он, что он — концентрированная в одном человеке воля движения. И соответственно этому действовал».

Властолюбие... Некоторые думают, что в этом сказалось барское происхождение Ленина. Пожалуй, более прав Бертран Рассел, который, побывав у Ленина в Кремле в 1920 году, вынес мнение, что он разговаривал с человеком «глубокой религиозной веры» и что импульс к власти порождался у Ленина «верой в свое всечеловеческое, даже космическое предназначение». В самом деле, вспомним, как Ленин создавал Коминтерн, с какой маниакальностью верил он в близость мировой революции. Компартий в Европе не было, кроме «Спартакоского Союза», а Роза Люксембург, возглавлявшая этот союз, была против создания III интернационала. Почему же Ленин в 1919 году шел на всё, на обман и ложь, чтобы как-то созвать 1-й конгресс Коминтерна? Не потому ли, что он решил, что только ему предуготовано возглавить Европейскую революцию? У него не было прочных связей в революционных кругах Европы, и единственная его надежда поэтому связывалась с созданием такой международной организации, в которой он был бы неоспоримым вождем и которая позволила бы ему — никому другому! — стать вождем революционной Европы.

Бертран Рассел, только что упомянутый, написал в 1920 году книгу «Теория и практика большевизма». Переиздавая ее в 1948 году, он сказал в предисловии, что его взгляды на большевизм в основном не претерпели изменений, и что большевистская система в дальнейшем развивалась именно так, как он и предполагал в 1920 году. Вот какой портрет Ленина нарисован в книге Б. Рассела:

«Вскоре по приезде в Москву я был принят Лениным. Мы беседовали целый час, по-английски, — Ленин довольно хорошо владеет английским языком. Переводчик, правда, присутствовал, но к его услугам мы почти не прибегали. У Ленина очень голая комната: письменный стол, несколько географических карт на стенах, два книжных шкафа, удобное кресло для посетителей и еще два-три стула. Видно, что Ленин не любит роскоши, не имеет пристрастия даже к комфорту... Мне кажется, что если бы я встретил Ленина, не зная, кто он, я не подумал бы, что нахожусь в присутствии большого человека; он пока-

зался мне чрезвычайно самоуверенным и узким догматиком. Его сила, как мне представляется, состоит в его честности, неустрашимости и непоколебимой вере — религиозной вере в «евангелие от Маркса», вере, которая пришла на смену надеждам христианских мучеников на загробную жизнь в раю. У Ленина так же мало любви к свободе, как и у тех христиан, которые страдали в начале IV века при императоре Диоклетиане, а потом, когда пришли к власти, сами начали устраивать гонения. Быть может, любовь к свободе вообще несовместима с верой в панацею — средство, которое будто бы может избавить человечество от всех зол. Если так, то я могу только радоваться тому, что скептицизм пронизывает атмосферу западного мира. Я приехал в Россию как социалист. Но встречи с людьми, не знающими никаких сомнений, в тысячу раз усилили мои собственные сомнения. Не то, чтобы сомнения в самом социализме, а в разумности столь твердой веры, что ради нее люди готовы причинять друг другу неисчислимые страдания».

В наших раздумьях о Ленине мы не должны забывать, что Ленин был готов причинять — и причинял! — неисчислимые страдания России. Ничего, кроме презрения, не заслуживают нынешние ученые, пишущие труды на темы: «Роль Ленина в создании советского права», «Ленин о праве в социалистическом обществе». В действительности Ленин был правовым нигилистом, учеником Нечаева! Не только Н. А. Бердяев, Г. В. Плеханов, Лев Дейч, но и такие большевики, как М. Н. Покровский, В. Д. Бонч-Бруевич считали, что Ленин в своей тактике был под большим влиянием Ткачева и Нечаева. Бонч-Бруевич знал Ленина еще со времен «Искры», а в 1917—1920 гг. работал управляющим делами Совнаркома, и вот что он писал в январе 1934 года в журнале «Тридцать дней»:

«Владимир Ильич нередко заявлял о том, что какой ловкий трюк проделали реакционеры с Нечаевым с легкой руки Достоевского и его омерзительного, но гениального романа 'Бесы', когда даже революционная среда стала относиться отрицательно к Нечаеву, совершенно забывая, что этот титан революции обладал такой силой воли, таким энтузиазмом, что и в Петропавловской крепости, сидя в невероятных условиях, сумел повлиять даже на окружающих его солдат таким образом, что они всецело ему подчинялись. Владимир Ильич говорил: 'Совершенно забывают, что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы, умел свои мысли облачать в такие потрясающие формулировки, которые оставались помятны на всю жизнь. Достаточ-

но вспомнить его ответ в одной листовке, когда на вопрос "кого же уничтожить из царствующего дома?" Нечаев дает точный ответ: 'Всю большую ектенью!' Ведь это сформулировано, — говорил Владимир Ильич, — так просто и ясно, что понятно для каждого человека, жившего в то время в России, когда православие господствовало, когда огромное большинство так или иначе, по тем или другим причинам, бывали в церквях и все знали, что на великой, на большой ектении вспоминается весь царствующий дом Романовых. Кого же уничтожить из них? — спросит себя самый простой читатель. Да весь дом Романовых! — должен он был дать себе ответ. Ведь это просто до гениальности! Нечаев должен быть весь издан. Необходимо изучить, дознаться, что он писал, где он писал, расшифровать все его псевдонимы, собрать воедино и напечатать'. Так неоднократно говорил Владимир Ильич.

Как и Нечаев, Ленин был готов рубить топором направо и налево, не считаясь ни с какой «законностью». Еще в 1908 году, в Женеве, у него из-за этого произошло столкновение с Н. К. Крупской. Шел разговор о том, как большевики, захватив власть, должны поступать с чиновниками старого режима. Полушутя-полусерьезно Ленин сказал, что перед каждым таким человеком будет поставлен вопрос: «Как ты относишься к революции? За или против? Если — за, мы примем его в свою среду, пусть работает с нами. Если же против — поставим к стенке!» Крупская заметила с горечью, что «так большевики перестреляют как раз лучших людей, имеющих мужество высказывать свои мнения».

В действительности Ленин так и действовал после захвата власти. Известно его письмо наркомюсту Курскому, написанное в феврале 1922 года: «Применять не *corpus juris romani* к гражданским правоотношениям, а наше революционное правосознание». Но что такое «наше революционное правосознание»? Все, что угодно, только не законность, не правопорядок.

Уже одно это показывает, что Ленин, как, может быть, и Нечаев, был «титаном революции», но вряд ли большим государственным деятелем.

Те, кто в январе 1924 года, в Колонном зале Дома союзов в Москве, шли под похоронный марш Шопена мимо гроба Ленина, думали: «Что-то будет теперь, после его смерти?» Как думали об этом и люди — конечно, взрослые, а не мы, школьники — по всей России, сняв шапки и слушая рев гудков паровозов, заводов, фабрик. Из воспоминаний Троцкого мы теперь знаем, что думал об этом и сам Ленин:

«А что, — спросил меня неожиданно Владимир Ильич, — если нас с вами белогвардейцы убьют? Смогут ли Свердлов с Бухариным справиться? — Авось не убьют, — ответил я, смеясь. — А черт их знает, — сказал Ленин и сам рассмеялся».

На «авось» был оставлен важнейший вопрос государственного значения — вопрос о преемственности власти. Допустим, что первые три года — восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый — давали Ленину мало возможности для государственного строительства. Но когда кончилась гражданская война, у Ленина была возможность проявить способности государственного деятеля. И все же он, как был, так и остался революционером, — только революционером, главная забота которого захватить власть, удержать ее в руках своей партии.

В начале марта 1921 года в Москве состоялся X съезд партии. На этом съезде, под руководством Ленина, были вынесены решения, направленные на укрепление власти партийного аппарата над страной, на подавление оппозиции в рядах партии, на создание того самого аппарата, который Сталин потом перенял и использовал в своих страшных целях. Будь Ленин не только революционером, но и государственным деятелем, он предвидел бы последствия такого политического курса. Тем более, что в партии были люди, которые видели опасности однопартийной системы. 12 апреля 1921 года, месяц спустя после X съезда, член Центральной контрольной комиссии А. Сольц напечатал в «Правде» необыкновенную, тревожную статью, в которой говорил:

«Неблагополучны наши руководящие верхи, и суть этого неблагоприятия имеет два источника. Причем я должен оговориться, что когда я пишу о верхах, я имею в виду всякого рода верхи, и маленькие и крупные. С одной стороны, к нам на командные руководящие посты пробрались шкурнические элементы, из личных своекорыстных интересов объявившие себя коммунистами; с другой, долгое пребывание у власти в эпоху диктатуры возымело свое разлагающее влияние и на значительную часть старых партийных товарищей. Отсюда бюрократизм, отсюда крайне высокомерное отношение к рядовым членам партии и к беспартийным рабочим массам, отсюда чрезвычайное злоупотребление своим привилегированным положением в деле самоснабжения. Выработалась и создавалась коммунистическая иерархическая каста ответственных работников со своими собственными групповыми интересами, которая чутко относится к нуждам членов своей группы, терпимо и снисходительно к своим, так сказать, «маленьким слабостям», — каста, которая имеет

для себя особые правила, законы, оценки, не применимые ко всем прочим».

Видел ли Ленин пороки созданного им режима? Искал ли он способа бороться с этими пороками? Приходило ли ему в голову, что для этого нужны срочные меры — легализация оппозиции, восстановление свободы печати, которая, ведь, была ликвидирована в теории только до тех пор, «пока новый порядок упрочится»? Понимал ли Ленин, что в сложившихся условиях вопрос о преемственности власти приобретает особенную остроту?

Не видно, чтобы Ленин понимал эти вопросы или даже задумывался над ними. Ведь он сам пришел к власти благодаря демократии, когда Россия была, по его же словам, «самой свободной страной в мире». Между тем, его преемнику предстояло прийти к власти в условиях уже установившейся диктатуры. Поскольку монархия была ликвидирована («Великая ектения» в Екатеринбурге!) и не стало традиционно-наследственной передачи власти, то после смерти Ленина неминусом должны были возникнуть политические интриги, закулисная борьба. Тревожило ли Ленина то, что в этой борьбе верх возьмет умелый интриган и конспиратор?

Могут сказать, что Ленин все-таки написал знаменитое «завещание», как было названо его письмо к XIII съезду партии. Но это «письмо» состоит из отдельных записок и не дает никакого решения этих вопросов. Правда, Ленин был уже болен. Но правда и то, что вообще нет никаких данных, которые показывали бы его раздумья о преемственности власти, заботу об обеспечении бесперебойного и правильного руководства жизнью страны.

Как и следовало ожидать, в коммунистической иерархической касте тотчас же после смерти Ленина началась борьба за власть. В статье «Шесть дней, которых не забудет Россия», опубликованной в «Правде» в январе 1924 года, Г. Зиновьев писал:

«Позвонили: Ильич умер. Через час мы едем в аэросанях к уже мертвому Ильичу — Бухарин, Томский, Калинин, Сталин, Каменев и я (Рыков лежит больной)».

Теперь мы знаем, что эти люди в аэросанях были не друзья и соратники, а враги, готовые не на жизнь, а на смерть бороться за власть после смерти Ленина. Бухарин был расстрелян, Томский покончил самоубийством, Каменев, Зиновьев и Рыков — расстреляны. Троцкий, которого не было в аэросанях потому, что он находился в отпуску на Кавказе, был убит киркой в Мексике. Власть досталась самому умелому интригану и конспиратору.

Борьба за власть, разгоревшаяся после смерти Ленина, принесла потрясения, страдания всему народу, в том числе и пар-

тии. На Ленине, оказавшемся неспособным понимать и решать важнейшие государственные вопросы, лежит вина за эти страдания. Впрочем, и без этого Ленин повинен в сталинщине. Конечно же, Анжелика Балабанова права, когда говорит:

«Надо признать, что без Ленина не было бы Сталина, даже если Сталин — это только карикатура на основателя большевизма. С самого начала своей революционной карьеры Сталин усвоил теорию и методы Ленина. Прав был Троцкий, когда писал, 'не Сталин создал партаппарат, а партаппарат создал Сталина'. Партаппарат позволил таким людям как Сталин развивать злобу, присущую им от рождения. Будучи интеллектуально-незначительным человеком, Сталин не мог быть новатором, как Ленин. Большевизм как доктрина, как полная противоположность социализму — это целиком создание Ленина. Сталин лишь ускорил моральную деградацию советского режима, применяя методы, введенные Лениным».

Права и Светлана Аллилуева, когда пишет в своей выстраданной книге «Только один год»:

«Отец был инструментом идеологии, захватившей власть в октябре 1917 года. Основы однопартийной системы, террора, бесчеловечного подавления всех инакомыслящих были заложены Лениным. Он является истинным отцом всего того, что впоследствии до предела развил Сталин. Все попытки обелить Ленина и сделать его святым и гуманистом бесполезны: 50 лет истории страны и партии говорят совсем другое. Сталин не изобрел и не придумал ничего оригинального. Получив в наследство от Ленина коммунистический тоталитарный режим, он стал его идеальным воплощением, наиболее законченно олицетворив собою власть без демократии, построенную на угнетении миллионов людей».

1925

ЕСЕНИН И ЕСЕНИНЩИНА

«Восьмой год коммунистической эры был богат интересными событиями литературной жизни», — писали «Известия» на «октябрьской странице», посвященной 1925 году (такие страницы печатались во многих советских газетах в 1967 году, по случаю 50-й годовщины революции). Какими же событиями? В тот год вышли книги: Дмитрия Фурманова — «Мятеж», Федора Гладкова — «Цемент», Леонида Леонова — «Барсуки». Горький в тот год начал писать «Жизнь Клима Самгина». Начал печататься Михаил Шолохов, — еще не «Тихий Дон», а только «Донские рассказы». Но о том, что в «восьмой год коммунистической эры» покончил самоубийством Сергей Есенин и возникла «есенинщина», — об этом не упомянуто в «известинской» хронике.

Конечно, 1925 год был богат многими интересными событиями, — не только литературными. В стране после Ленина происходили глубокие перемены. Прежде всего подвергся пересмотру взгляд на мировую революцию. В апреле 1924 года Сталин выпустил брошюру «Основы ленинизма», в которой писал, что построение социализма в России без мировой революции, «без совместных усилий пролетариев нескольких передовых стран — невозможно», — впоследствии эта брошюра была изъята из обращения. К началу 1925 года Сталин отказался от этого взгляда и принял точку зрения Бухарина, который исследовал возможности «строительства социализма в одной стране». Курьезно, что Бухарин заговорил чуть ли не языком И. Лежнева, тогда еще выпускавшего свой журнал «Россия». Так, 17 апреля 1925 года на собрании московского партактива, за несколько дней до открытия XIV партконференции, Бухарин выступил с докладом «Новые задачи в области нашей крестьянской политики»:

«В чем смысл новой экономической политики? — говорил Бухарин. — Это нужно со всей ясностью себе представить. Несмотря на то, что мы много лет эту новую экономическую политику пропагандируем, многие товарищи смысл новой экономической политики сводят только к одному: крестьянин на нас наступал, мелкобуржуазная стихия чуть-чуть не взбунтовалась, мы от-

ступили. Только к этому якобы дело сводится. Но дело не только в этом. Глубокий смысл новой экономической политики заключается в том, что ряд хозяйственных факторов, которые раньше не могли оплодотворять друг друга, потому что они были заперты на ключ военного коммунизма, оказались в состоянии оплодотворять друг друга. Когда установилась торговая связь деревни с городом, это означало, что город стал хозяйственно оплодотворять деревню, а деревня стала хозяйственно оплодотворять город».

Бухарин призывал в 1925 году к решительному отказу от методов и навыков военного коммунизма и к расширению, углублению нэпа:

«В деревне, — говорил он, — у нас до сих пор еще сохранились отношения, существовавшие в период военного коммунизма. Зажиточная верхушка крестьянства — кулак и отчасти середняк — боится сейчас накоплять. Эта боязнь имеет известные основания, так как наша практика в деревне до сих пор такова, что ежели крестьянин хочет поставить железную крышу, то его назавтра объявят кулаком и, следовательно, ему крышка. Если крестьянин машину покупает, то так, чтобы 'коммунисты не увидели'... Эта болезнь накопления отражает неправильность экономической стратегии, проводимой в деревне. Мы проводим административный нажим на кулака, и середняк боится улучшать свое хозяйство, потому что рискует быть зачисленным в кулаки и попасть под этот самый нажим. А бедняк, который не имеет лошади и не имеет орудий производства, который сидит на земле, недоволен тем, что мы мешаем ему 'кормиться' около кулака».

«У нас есть нэп в городе, — продолжал Бухарин на собрании московского партактива, — у нас есть нэп в отношениях между городом и деревней, но у нас нет нэпа в самой деревне и у нас нет нэпа в области кустарной промышленности. Здесь еще в значительной мере процветает политика административного нажима вместо хозяйственной борьбы. Настроение наших товарищей, работающих в деревне, воспитывавшихся на системе военного коммунизма, таково, что они самой лучшей хозяйственной политикой считают такую политику: лавочник появился — не выстраивай против него кооператив, не вытесняй в хозяйственной борьбе, а нажми на него, наложи печать на лавку!.. Такие способы вредны, они тормозят хозяйственное развитие. Наша политика по отношению к деревне должна развиваться в таком направлении, чтобы раздвигались, а отчасти и уничтожались многие ограничения, тормозящие рост зажиточного и кулацкого хо-

зайства. Крестьянам, всем крестьянам, надо сказать: обогащайтесь, развивайте свое хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут».

«Обогащайтесь!» — это слово на все лады повторялось в 1925 году. Возникла «левая оппозиция», возглавляемая Троцким, Зиновьевым, Каменевым, которая видела в этом «предательство революции», и поскольку Троцкий (да и Зиновьев!) метил в премники Ленина, Сталин присоединился к Бухарину, используя его в своей борьбе за власть. Тут начал проявляться оборотнически-провокационный характер Сталина, которому соответствовала оборотнически-провокационная политика нэпа. Бухарин пытался освободить нэп от двусмысленности и фальши, — тем самым уже тогда он обрекал себя на гибель. В другом плане, не политическом, а духовном, такую же жертвою стал и поэт Сергей Есенин.

В конце декабря 1925 года в Москве происходил XIV съезд партии. В номере «Правды», где напечатана речь Сталина, появилась еще и такая заметка:

«Вчера, 28 декабря, в Ленинграде покончил самоубийством известный поэт Сергей Есенин. В Ленинград он приехал 24 декабря на постоянное жительство и временно до приискания квартиры остановился в гостинице 'Англетер'. Подробности самоубийства следующие: 28 декабря, в 11 часов утра, жена проживающего в отеле близкого друга Есенина, литератора Георгия Устинова, отправилась в номер покойного. На стук в дверь ответа не последовало. Был вызван комендант гостиницы, который открыл дверь. Присутствующим представилась ужасная картина. В углу на трубе парового отопления на веревке от чемодана висел Сергей Есенин. На левой руке было несколько царапин, а на правой выше локтя — глубокий порез, сделанный ножом от бритвы. Очевидно, Есенин пытался перерезать себе сухожилие. Когда Есенин прибыл в Ленинград и остановился в гостинице, он отдал распоряжение никого к себе не впускать. За все время пребывания в Ленинграде он почти ни с кем не встречался, кроме поэта Клюева и еще нескольких близких друзей».

Гроб с телом Есенина — маленький, коричневый, узкий, короткий, почти детский — был привезен в Москву и установлен в Доме печати. 31 декабря, в 11 часов утра, похоронная процессия вышла из Дома печати к Дому Герцена, к памятнику Пушкину, а оттуда на Ваганьковское кладбище. Таков был последний день 1925 года. В тот же день закончился XIV съезд партии, но можно с уверенностью сказать, что Россия в тот день думала не столько

о речах, произнесенных на партсъезде, сколько о строках, которые Сергей Есенин написал своею кровью:

До свиданья, друг мой, до свиданья,
Милый мой, ты у меня в груди:
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой,
Без руки и слова.
Не грусти и не печаль бровей,
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Не прошло много времени, как обнаружилось, что смерть Есенина и была невралгическим пунктом 1925 года, в большей мере, чем какие-нибудь партийные съезды и речи партийных ораторов, определявшим психологический климат в стране. Вот, оказалось, кто был подлинным властителем дум пооктябрьской России — Сергей Есенин! Как писал Маяковский на смерть Есенина, вслед за самоубийством поэта — «над собою чуть не взвод расправу учинил». В действительности не «взвод», а много больше, — по всей стране прокатилась волна самоубийств. Возникла «есенинщина» — интереснейшее и знаменательное явление пооктябрьского времени.

Впрямь, революция была моментом судьбы каждого человека в России, и в жизни многих людей огромную роль сыграло слово «есенинщина». Весной 1929 года, в далеком сибирском городе, я окончил школу девятилетку, — в моем аттестате, в графе «Общественно-политическая работа», значилось: «Идеологически невыдержан — насаждал есенинщину». Каковы были последствия этой пометки? Летом я поехал в Москву — поступать в университет. Меня не допустили даже к экзаменам. Настоячивый парнишка, я пошел хлопотать и дошел до А. Вышинского, который тогда был начальником Главпрофобра. Вышинский посмотрел на свидетельство об окончании школы и сказал: «Нет, мы не можем принять вас в университет. Я вам советовал бы пойти на завод, просто чернорабочим. Проработайте годика два-три, проявите себя на общественно-политической работе, смойте это пятно 'есенинщины', заручитесь рекомендацией заводской партийно-комсомольской или профсоюзной организации, и вот тогда приходите к нам, мы вас примем в университет».

Что же такое «есенинщина»?

Бухарин, все тот же Бухарин, «ценнейший и крупнейший

теоретик партии», откликнулся и на явление «есенинщины» — книжкой «Злые заметки», в которой он объявил, что «есенинщина — это самое вредное, заслуживающее настоящего бичевания, явление нашего литературного дня». Книжка Бухарина — злая. Потому она никак не решала вопроса — даже по-большевистски не решала. Но она вскрывала всю тревогу большевизма перед лицом «есенинщины». Бухарин ставил тревожные вопросы:

«Чем захватывает молодежь Есенин? Почему среди нашей молодежи есть кружки 'есенинских вдов'? Почему у комсомольца частенько под 'Спутником коммуниста' лежит книжечка стихов Есенина? Потому что мы и наши идеологи не трогали тех струн молодежи, которые тронул — хотя бы в форме вредоносной по существу — Сергей Есенин».

«Есенинщина» не шла на убыль. В 1927 году, в Москве, в Коммунистической академии, мозговом центре большевизма, была устроена большая дискуссия о «есенинщине». Дискуссия длилась много дней, с 13 февраля до 5 марта, и участвовали в ней А. В. Луначарский (нарком просвещения и основной докладчик на дискуссии), Карл Радек, И. Преображенский, Л. Сосновский, Вяч. Полонский, В. Кнорин, В. Фриче, В. Маяковский, В. Ермилов и десятки «представителей рабочей общественности». Стенограмма дискуссии была выпущена отдельной книгой.

«Тот залп по есенинщине, который рекомендовал дать Бухарин, — говорил Л. Сосновский, — нужно было дать в 1923 году, если не раньше. Я видел, товарищи, приехавшего из Орехово-Зуева редактора тамошней газеты. Я был поражен, что первая страница там вся посвящена Есенину. Первая и — вся. Оказывается, там на некоторых фабриках, в том числе и на Дулевской фарфоровой имени 'Правды', — в комсомоле, наряду с официальным бюро, есть 'бузбюро', от слова 'бузить', из восторженных есенинцев и есенинок, которые ставят задачей срывать организационную работу комсомола. Сотрудник 'Правды' т. Володин ездил туда сам, лично разговаривал с комсомольцами и комсомолками, которые открыто говорили: 'Мы за Есенина, мы считаем, что он наш учитель'. Они ему заявили: 'Вы нас ничем не убедите'. Они рассказывали ему о многих тревожных явлениях среди рабочей молодежи Орехово-Зуевского района, которые убедили его в том, что нужно целую страницу, первую страницу отводить этому делу. Это и есть тот кризис культуры среди молодежи, о котором здесь говорили».

«Понятно, что вопрос о Есенине, — говорил на дискуссии Карл Радек, — есть часть вопроса об упадочных настроениях молоде-

жи. Есенинщина сделалась отчасти выражением упадочных настроений среди молодежи. Это маленький, случайный кусочек великого социального и политического вопроса».

В этом Радек был прав. Необходимо было определить сущность этого «великого социального и политического вопроса», но никто из участников дискуссии в Комакадемии не мог к нему даже приблизиться. Доклад Луначарского поражал плоскостью и посредственностью. «Что же мы можем сделать для того, чтобы изжить есенинщину? — спрашивал он. — На первый план я поставлю культурно-политическую пропаганду. Надо, чтобы каждый наш гражданин понимал пути революции, понимал, за что мы взялись, что мы делаем, и что нам осталось сделать, как мы осуществляем наши идеалы, каким темпом мы идем вперед». Дальше он говорил о необходимости «поднять культурный уровень наших масс», о необходимости «широкого развития физкультуры», о клубной работе и т. д. Некоторые ораторы, правда, понимали, что суть вопроса заключалась вовсе не в том, что мало клубов и физкультуры. Вяч. Полонский, критик и редактор журнала «Новый мир», почти с трагическим пафосом восклицал:

«Товарищи! Ведь мы имеем дело с поэтом, которым увлекается наша молодежь. Плохой поэт или хороший, но где причина увлечения этим поэтом нашей молодежи? Молодежь-то увлекается Есениным не потому, что он был алкоголиком! Ведь то поветрие есенинщины, которое мы наблюдаем среди молодежи, было вызвано громадной силой поэзии Есенина».

Конечно же, Луначарский ошибался, думая, что культурно-политическая партийная пропаганда могла противостоять есенинщине. Было ошибкой думать, что если «наш гражданин» будет понимать «пути революции», будет понимать, «за что мы взялись, что делаем и что нам осталось сделать», то и выветрится «поветрие есенинщины». Как раз наоборот! Упадочные настроения, охватившие в 1920-х годах молодежь, именно тем и были порождены, что молодежь — наиболее чуткая, наиболее отзывчивая часть общества — если еще и не понимала, то уже чувствовала, «куда мы идем, куда заворачиваем».

Именно тогда, в 1920-х годах, начало вырисовываться то, что некоторые прозорливые люди заметили с первых дней июля 1914 года, с начала первой мировой войны. Под пушечные залпы войны открылась новая эра — эра тоталитарных режимов, фашистских, большевистских, национал-социалистических. Началось новое время, когда все люди должны были перестать быть людьми, а стать слугами государства, приказчиками тоталитар-

ного правительства. Несколько позже, когда Сталин окончательно пришел к власти, вся страна была одета в казенную форму. Простого человека не стало — все в форме, все с погонами. У одних погоны золотые, у других серебряные, широкие или узкие, но все с погонами. Не стало человека — только слуги государства. («Все мы слуги государства», — сказал однажды Г. Маленков.) А вот Есенин был человеком, которого никак нельзя было представить себе в казенной форме — ни в солдатской, ни в той, которую Мих. Кольцов в шутку предлагал выдать поэтам на 1-м съезде советских писателей в 1934 году.

Есенин, как известно, был мобилизован в армию в 1916 году. У него был друг, Михаил Мурашев, к которому он попал от Блока, как только приехал в Петербург. Мурашев во время войны служил в Морском ведомстве. В своих воспоминаниях он рассказывает, что как-то раз Есенин пообещал прийти к нему, и вот — все не идет и не идет.

«Через неделю звонок по телефону. Слышу: Есенин.

— Ты что пропал? — спрашиваю.

— Я, брат, в казарме. Выручай.

В казарме ему было трудно. Заели насекомые. Заставляли снять волосы. Этого-то он боялся пуще всего. Он следил за своими кудрями. Често мыл голову. А тут на нарах, в грязи...»

Вероятно, Есенин вовсе и не понимал того, что наступили новые времена, когда не до кудрей, когда всех нас — миллионы и миллионы людей — государства будут стричь под нольку и выстраивать в шеренги.

Есенин же не мог быть без кудрей, — в кудрях, фигурально говоря, ведь и выражалась вся его натура. Из армии он в конце концов дезертировал. Но — куда бежать? Владимир Маяковский уже кричал зычным басом: «Левой! Левой!» и даже Блок написал: «Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг», и «Комсомольская правда» не раз использовала эти блоковские строки в качестве шапки, лозунга на всю газетную страницу. Есенин пытался держать шаг, пытался «задрать штаны, бежать за комсомолом». Но из этого у него ничего не вышло, потому что надо не «бежать, задрать штаны», а маршировать в боевой колонне. Солдат, маршируя в рядах, не должен глядеть по сторонам. Командир роты то и дело кричит: «Выше голову!» и приказывает «равняться в затылок». А Есенину хотелось глядеть на многое — на поля родные, на пташек, что порхают в кустах, на все, что есть живого в мире, человеческого и звериного, но не солдатского, не машинно-роботного.

Есенин любил поля, русскую землю, — правильнее сказать,

рязанскую свою сторонущку. Мы, читая Есенина, бываем захвачены потоком лиризма и не замечаем, что все подробности есенинских стихов реальны, не выдуманы. Читая в «Анне Снегиной» строки: «Иду я разросшимся садом, лицо задевает сирень», мы переживаем это так, будто Есенин пишет о нас и о садах, по которым мы ходили. На деле Есенин писал о своем саде, — все его стихи автобиографичны. Если он вспоминает в стихах сгоревшую избу, то потому что старая изба его действительно сгорела в августе 1922 года, когда большой пожар уничтожил целый порядок дворов в селе Константинове. В поэме «Русь советская» он говорит про свое село, что там «мельница, бревенчатая птица, с крылом единственным, стоит, глаза смежив»; теперь этой мельницы уже нет, но она была тогда, когда Есенин писал эти строки, и одно ее крыло, действительно, было сломано.

Есенин любил русские поля, и у него было очень русское, специфически-русское восприятие мира, природы, которую он воспринимал, как нечто живое, органическое. Он любил животных. Он написал «Песнь о собаке», стихи «Корова», «Табун», «Лисица». Он был счастлив тем, что «зверей, как братьев меньших, никогда не бил по голове».

Но для такой любви нет больше места в мире. Мир страшен. Что дал мир Есенину? Есенин пришел из полей в город как раз в самое тяжкое время мировой войны. Он нес в себе песню, песенную силу русского народа, но —

Кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов?

Он говорил: «Не губить пришли мы в мире, а любить и верить». Но в мире не стало ни любви, ни веры. Есенин не мог принять и не принял жестокости новой, открывшейся первой мировой войной, эпохи. В поэме «Русь уходящая» он писал:

Что видел я?
Я видел только бой,
Да вместо песен
Слышал канонаду.
Не потому ли с желтой головой
Я по планете бегал до упаду.

А что видели мы? Вот мое первое, раннее воспоминание детства: мать держит меня на руках, по деревенской улице идут парни, хрипит гармошка, плачут бабы, пьяные голоса кричат пес-

ню: «Угоняют нас, братцы, в солдаты . . .» «Мобилизация» — едва ли не первое слово, которому многие научились в детстве. Перестали мобилизовывать на войну, начались большевистские мобилизации. Посевной фронт, хлебозаготовительный, фронт коллективизации, индустриализации. Подросли, пошли в школу, там фронт антирелигиозный, идеологический. Далее — фронты второй мировой войны. Бараки дипийских лагерей. И вот, по всей планете бегаем до упаду . . . Как же не сказать, что революция — это момент нашей собственной судьбы?!

Последние стихи Есенина были криками отчаяния. И нам, русской молодежи 1920-х годов, нужны были его стихи, потому что и в нас — молодежи, которая всегда чутка и отзывчива — был этот испуг перед надвигавшейся эпохой «великого перелома». Пройдет еще несколько лет, и за книги Есенина начнут давать тюремные сроки . . . В романе Александра Солженицына «В круге первом» (в 86-й главе) показано, как в лагере майор НКВД, конфисковав у заключенного томик избранных произведений Есенина, объяснял ему, что «Есенин был классово-ограничен и много недопонимал. Как Пушкин, как Гоголь . . .»

1 9 2 6

ПРИНЦИП АБСОЛЮТНОГО ЕДИНСТВА И ЕДИНСТВЕННОСТИ ПАРТИИ

В официальной хронике пооктябрьских десятилетий непременно отмечается то, что в 1926 году были впервые присуждены премии имени Ленина и что одним из первых пяти ленинских лауреатов был знаменитый русский ученый, ботаник-растениевод и генетик, академик Николай Иванович Вавилов. Но... какова была дальнейшая судьба Н. И. Вавилова? За рубежом она широко известна: известно, как Н. И. Вавилов был арестован в августе 1940 года (его «изъяли» прямо с опытного поля); как академик Прянишников ходатайствовал перед Молотовым о рассмотрении «дела Вавилова», а получив отказ, просил хотя бы улучшить тюремный режим ученого; как тот же академик Прянишников под конец решился на безумный шаг — выставил заключенного Н. И. Вавилова кандидатом на Сталинскую премию; как в конце 1942 года Н. И. Вавилов был избран в Англии почетным членом Королевского научного общества. То был тяжелый военный год, нужна была помощь союзников... — дело Вавилова было затребовано для пересмотра. В Саратовскую тюрьму послали известного врача для осмотра «неизвестного больного», — врач узнал в нем Н. И. Вавилова, находившегося уже в бессознательном состоянии. Его организм был настолько истощен дистрофией, что его ничем нельзя было спасти. Н. И. Вавилов и умер в тюрьме через несколько часов после медицинского осмотра. Да, за рубежом его судьба известна, потому что там опубликована книга Жореса Медведева. В России же не только не опубликована эта книга, но и автор ее лишен советского гражданства.

Как раз вдумываясь в события 1926 года, начинаешь понимать судьбу того же Н. И. Вавилова. В тот год обострился вопрос — по какому пути идти России? Будет ли это путь, который приведет к гибели таких ученых, как Н. И. Вавилов, и к гибели миллионов других людей, известных и неизвестных, жертв ежовщины, сталинщины? Или, может быть, тогда, в 1926 году, еще можно было найти другую дорогу развития России?

Какую же?

Возьмем подшивку «Правды» за 1926 год. В № от 14 августа

мы найдем постановление ЦКК ВКП(б) о статье Я. А. Оссовского «Партия к XIV съезду». В постановлении говорится: «Оссовский проповедует, что ВКП(б) должна теперь же пожертвовать единством, допустить свободу фракций внутри ВКП(б), провозглашая несостоятельность принципа партийного строительства, покаящегося на абсолютном единстве и единственной партии. Оссовский проповедует, что в дальнейшем партия должна держать курс на возрождение и создание других политических партий».

Вот, оказывается, был человек, который предлагал идти по другому курсу! Присмотримся к нему и прислушаемся к его предложениям, — они широко обсуждались, можно сказать, стояли в центре политических дискуссий 1926 года.

Яков Алексеевич Оссовский был рабочий, слесарь. Он родился в 1893 году. Окончил экстерном реальное училище, посещал высшие экономические курсы Зомбарта в Берлине. В партии состоял с 1918 года. В 1926 году он служил в одном из государственных учреждений в Москве.

«Дело Оссовского», нашумевшее в 1926 году, можно понять только в свете того, что России пришлось пережить десять лет спустя, в мрачный период ежовщины. Быть может, сам того не подозревая, Яков Оссовский в двадцатых годах пытался спасти партию от того, что ее постигло в тридцатых. Можно с уверенностью сказать, что если бы тогда, в 1926 году, были приняты предложения Оссовского, то не было бы пресловутого «культа личности».

Предложения свои Яков Оссовский высказал в статье «Партия к XIV съезду». Съезд состоялся в декабре 1925 года, но статья Оссовского была напечатана значительно позже. О ней, еще ненапечатанной, говорил Бухарин в докладе, с которым он выступил в Ленинграде в июле 1926 года. «У нас, — сказал Бухарин, — есть одно предложение, исходящее из оппозиционных кругов, которое будет напечатано в ближайшем номере 'Большевика'. Это — статья некоего оппозиционного товарища Оссовского». Действительно, в № 14 «Большевика», в 1926 году, эта статья появилась. В ней предлагалось ни более ни менее как создание двухпартийной системы в Советском Союзе!

Надо отметить, что Яков Оссовский выступал как последовательный ортодоксальный марксист, который думает, что политика определяется экономикой, и необходимость двухпартийной системы он выводил из экономических условий в стране. Такая точка зрения давным-давно устарела. Предложения Оссовского, однако, имеют не только исторический интерес, — и в наше время за создание двухпартийной системы ратует, например, Рой

Медведев, автор книги «К суду истории», который продолжает жить в Москве, тогда как его брат-близнец Жорес лишен советского гражданства и находится в Лондоне.

«Перед XIV съездом, — пишет Яков Оссовский, — как и перед рядом других съездов ВКП(б), встал вопрос об абсолютном единстве коммунистической партии, которая одновременно является единственно легальной в Советском Союзе, в то время, как в экономике страны единство совершенно отсутствует. Хотя этот вопрос не новый, но в том свете, как он встал перед XIV съездом, он заслуживает особенного внимания.

Положительное решение этого вопроса не было бы затруднительным, если требовалось бы доказать возможность единства не-единственной легальной партии. В таком случае партия, группируя вокруг себя определенный сектор экономических интересов страны, может оставаться абсолютно единой, оставляя другим партиям или группам возможность группировать вокруг себя чуждые ей экономические интересы. Тогда мы были бы единой правящей партией, но не единственной в стране.

Гораздо сложнее доказать возможность абсолютного единства в стране, где экономика самая разнообразная. О последнем никто никогда не спорит, т. е. не спорит о том, что имеются в нашем хозяйстве секторы, где капиталистическая предприимчивость играет положительную роль. В таком случае партия, оставаясь формально абсолютно единой и единственной, должна фактически в своем лице защищать все наличные интересы страны, в том числе и капиталистических предпринимателей.

Следовательно, спор может идти о следующих формах партийного строительства: 1) совершенно единственная и абсолютно единая партия; 2) совершенно единственная, но не абсолютно единая партия; 3) абсолютно единая, но не единственная партия.

До 1925 года, — продолжал Яков Оссовский, — официально в партии были известны два течения, а именно — первое и второе. Официальная точка зрения считала, что партия может и должна жить в совершенном единстве и абсолютной единственности, независимо от того, что в экономике нет ни намека на такое единство. А оппозиция, считая единственность партии неизбежной, допускала некоторое отступление от абсолютного единства».

«До 1925 года . . .» Это означает, что до 1925 года в партии все же была, пусть не полная, внутривнутрипартийная демократия, допускались фракции, оппозиционные группировки. Но разгоралась борьба за власть, и на XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 года

был произведен первый разгром оппозиции*. Была установлена та официальная точка зрения, которая требовала совершенно единственной и абсолютно единой партии. Не выходя из рамок марксизма-ленинизма, Яков Оссовский доказывал губительность этой официальной точки зрения:

«Придерживаясь принципа абсолютного единства и единственности нашей партии, — писал он в 'Большевике', — в организациях и партийной печати не допускается свободный обмен мнениями, несмотря на то, что в самой партии, в связи с разнообразием экономики страны, различие мнений фактически существует. Там же, где этого нет, мы являемся свидетелями самого низкого уровня развития и понимания особенностей момента с точки зрения классовых интересов пролетариата».

Как сказано выше, статью Якова Оссовского, написанную к XIV съезду партии, т. е. еще в 1925 году, долго мариновали в редакции «Большевика». Почему же ее в конце концов опубликовали? Не потому ли, что она разошлась по каналам тогдашнего «самиздата» и нашла горячий прием в кругах партии? Иначе почему бы Бухарин так пространно говорил об этой неопубликованной статье в своей ленинградской речи 28 июля 1926 года?

«Должен сказать, — говорил Бухарин, — что в кругах оппозиции сейчас очень любят играть с идеей о двух партиях: этот же Оссовский в качестве ближайшего будущего пророчит нам, что у нас будут две партии — одна, которая стоит якобы за очень 'интернациональную' позицию, и другая партия, которая воображает, что можно строить социализм в одной нашей стране, так сказать, 'национально-коммунистическая' партия. Эта игра с идеей двух партий уже стала весьма популярной в оппозиционных кругах».

Бухарин приводил цитаты из неопубликованной статьи Я. А. Оссовского и начисто отвергал его предложения:

«Вы знаете, что до сих пор все мы, ленинцы, представляли себе необходимейшим условием для сохранения и укрепления пролетарской диктатуры монолитность и единственность нашей партии. Мы все, ленинцы, представляли себе дело таким обра-

* Троцкий присутствовал на съезде, но не выступал. Наиболее яркую, резкую речь произнес Каменев: он говорил, что Сталин не может объединить, сплотить партию и что партия не нуждается ни в каком «Вожде». Каменев, который до того был членом Политбюро, был на XIV съезде сделан лишь кандидатом в члены Политбюро и снят с постов председателя СТО (Совета труда и обороны), заместителя председателя Совнаркома и председателя Московского совета. Число членов Политбюро было доведено до девяти, поскольку в него вошли Молотов, Калинин и Ворошилов, поддерживавшие Сталина.

зом, что пролетарская диктатура в нашей стране может быть обеспечена лишь при руководящей роли нашей партии, которая должна быть, во-первых, единственной партией в нашей стране, т. е. исключать легальное существование других партий и, во-вторых, единой по своему строению партией, внутренняя структура которой исключает самостоятельные и автономные группы, фракции, организованные течения. И вот теперь вся оппозиция выставляет положение о свободе фракций внутри нашей партии».

Бухарин был тогда главным редактором «Правды». 7 октября 1926 года он напечатал передовую статью «Почему партия против дискуссии», в которой слышны отголоски «дела Оссовского», к тому времени уже исключенного из партии. «Дискуссия, — писал Бухарин, — недопустима потому, что она расшатывает самое основу диктатуры пролетариата, единство нашей партии и ее господствующее положение в стране, что она льет воду на мельницу групп и группировочек, жаждущих политической демократии».

Политическая демократия! . . . Вот в чем был смысл предложений Якова Оссовского. Вряд ли правильно было связывать его с оппозицией, против которой Сталин с помощью Бухарина тогда вел борьбу*. Нет, Оссовский отвергал как официальный, сталинско-бухаринский «принцип абсолютного единства и единственности партии», так и точку зрения оппозиции, которая считала единственность партии неизблемой и только допускала некоторое отступление от абсолютного единства, т. е. требовала некоторой свободы фракций внутри партии. По-видимому, Я. А. Оссовский понимал, что этого недостаточно для того, чтобы спасти партию от превращения в аппарат голой власти и от порабощения самой партии аппаратом власти; потому-то он и выдвигал предложение о создании, по крайней мере, двухпартийной системы в Советском Союзе, говоря, что «в дальнейшем партия должна держать курс на возрождение и создание других политических партий».

Как я ни старался дознаться, какова была дальнейшая судьба Якова Оссовского, мои старания ни к чему не привели. В августе 1926 года он был исключен из партии. . . — а дальше? Сгноили его в тюрьме? Превратили в доходягу в лагере? Расстреляли по списку Ежова? Известно, однако, что десять лет спустя,

* В октябре 1926 года Троцкий был выведен из Политбюро, Зиновьев — из Исполкома Коминтерна, Каменев перестал быть кандидатом в члены Политбюро.

в 1936 году, Бухарин пришел к убеждению, что вторая партия необходима. Но было уже поздно...

Бухарин любил поэта Осипа Мандельштама и много помогал ему. В воспоминаниях Надежды Мандельштам, вдовы поэта, погибшего в лагерях, рассказывается, как на одном литературном вечере, зимой 1932 года, к Мандельштаму подошел другой поэт и сказал: «Вы сами себя берете за руку и ведете на казнь». В неменьшей мере эти слова могут быть отнесены к Бухарину. Выступая в 1926 году против политической демократии, за единственную и единую партию в стране, он как бы сам себя брал за руку и вел на казнь.

1927

ЧЕЛОВЕК С ЛЮЦИФЕРОВСКИМИ ЧЕРТАМИ

Десятилетие Октябрьской революции... Как раз в десятую годовщину в Москве произошло событие чрезвычайной важности, не отмеченное однако в учебниках истории. В «Правде» 9 ноября 1927 года был напечатан отчет об октябрьском параде на Красной площади, и были в нем такие строки:

«На правую трибуну мавзолея входят члены ЦК и МК ВКП(б) и Коминтерна. Среди них товарищи Сталин, Бухарин, Молотов, Калинин, Енукидзе, Угланов. Их узнавали. К ним, разрывая тонкую цепочку охраны, тянулись, приветствуя:

— Смотри, Сталин! Да здравствует Сталин!»

Если судить по отчетам «Правды», то Сталин впервые появился на трибуне мавзолея 7 ноября 1927 года. В отчетах за предыдущие годы его имя не упоминается.

Было время, когда на октябрьских парадах на трибуне мавзолея стоял Троцкий. Так, в 1924 году, опять-таки по отчету «Правды», когда мимо мавзолея проходили курсанты азербайджанской военной школы, они кричали при виде Троцкого:

— Яшасын, кызыл орданын, сердары! Да здравствует вождь Красной армии!

Но уже на следующий год, 7 ноября 1925 года, подобные возгласы не слышались на Красной площади, — Троцкого не было на трибуне мавзолея, как не было и Сталина. Еще через год, 23 октября 1926 года, Троцкий был выведен из состава Политбюро. Правда, в десятую годовщину революции, отмеченную первым появлением Сталина на мавзолее, Троцкий еще был членом партии. Но его время подходило к концу: всего лишь через неделю после праздника (праздника уже сталинского!), 14 ноября 1927 года, на чрезвычайном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) его исключили и из партии. А еще через два месяца, 17 января 1928 года, его арестуют и вышлют в Алма-Ату.

В хронике пооктябрьского лихолетья перед нами проходят годы и люди. Царь, Керенский, Ленин... 1927 год был последним годом Троцкого в Москве, и нам следует присмотреться к нему, пока он совсем не сошел с русской сцены. Для многих сейчас он

— „unperson“, «нечеловек», вернее, человек развоплощенный, пришедший как призрак и исчезнувший без следа, — следа Троцкого не найти даже в Советской исторической энциклопедии, где есть статьи «Троцкизм» и «Троцкистско-зиновьевский антипартийный блок», но нет заметки, которая началась бы именем: «ТРОЦКИЙ, Лев Давыдович (26. X. 1879 — 20. VIII. 1940)». Для историков он «нечеловек» потому, что не было постановления об его «реабилитации», а для нескольких поколений, выросших в СССР, потому, что откуда же советский гражданин может хоть что-то узнать о том, кто когда-то считался вторым человеком после Ленина?

Прежде всего восполним пробел в Советской исторической энциклопедии и напишем биографическую заметку:

ТРОЦКИЙ, Лев Давыдович (псевдоним; настоящее имя — Лейба Бронштейн; 26. X. 1879 — 20. VIII. 1940). Род. в деревне Яновка, близ г. Вобринец бывш. Херсонской губ., ныне Кировоградской области, УССР. Его отец был арендатором, — арендовал помещичью землю и сдавал крестьянам отдельными участками. Первые девять лет своей жизни безвыездно жил в деревне, в 1888 г. был отправлен учиться в Одессу. В 1896 г., в Николаеве, сблизился с кружком чеха-социалиста Ф. Швиговского, принял участие в организации «Южно-русского рабочего союза». В 1898 г. арестован, заключен в Херсонскую тюрьму; на следующий год выслан в д. Усть-кут на р. Лене. Перед отъездом в ссылку женился на Александре Соколовской, — жена поехала с ним в Сибирь, где у них родились две дочери, Зинаида и Нина. В 1902 году Л. Д. Бронштейн один, без семьи, бежал из ссылки, и под фамилией «Троцкий» добрался до Лондона. В Лондоне познакомился с Лениным и написал первую статью для газеты «Искра». В 1903 г., на Втором съезде РСДРП, Троцкий расходился с Лениным по программным вопросам, принадлежал вместе с Ю. Мартовым (Цедербаумом) к группе «Искровцев меньшинства». В Париже в том же году познакомился с Натальей Седовой, которая стала его спутницей и женой до конца жизни, хотя официально они никогда не состояли в браке — от этого брака у Троцкого было два сына, Лев (р. 1906) и Сергей (р. 1907). В 1905 г. Троцкий вернулся в Россию, участвовал в революции и создании первых советов рабочих депутатов. В 1906 г. был приговорен к пожизненной ссылке в Сибирь, но бежал по дороге в ссылку, добрался до Финляндии. В 1907 г. обосновался в Вене. В 1914 г. переселился во Францию; в 1916 г. был выслан в Испанию, откуда переехал в США. 4(17) мая 1917

года вернулся в Россию. 10(23) мая 1917 года по предложению Ленина вступил в партию большевиков. В дни октября 1917 года играл ведущую роль в Петроградском военно-революционном комитете. В ноябре 1917 года назначен народным комиссаром по иностранным делам РСФСР, в марте 1918 года — народным комиссаром по военным и морским делам. В 1924 году, несколько месяцев спустя после смерти Ленина, опубликовал брошюру «Уроки Октября», которая вызвала ожесточенную полемику. В январе 1925 года Троцкий был снят с поста наркомвоенмора и в мае назначен на пост председателя ВСНХ. В апреле 1926 года Троцкий, Каменев и Зиновьев составили оппозицию против Сталина; 18 октября американский журналист Макс Истмен опубликовал в газете «Нью-Йорк Таймс» письмо Ленина XIII съезду партии, известное как «завещание»; 23 октября Троцкий был выведен из состава Политбюро. 14 ноября 1927 года Троцкий был исключен из партии. 17 января 1928 года — выслан в Алма-Ату. В феврале 1929 года — выслан из Советского Союза в Турцию. В течение четырех лет, проведенных на острове Принкипо, одном из Принцевых островов в Мраморном море, поблизости от Стамбула, Троцкий издавал «Бюллетень оппозиции», написал «Историю Русской революции», двухтомную автобиографию «Моя жизнь». 20 февраля 1932 года лишен советского гражданства. В июле 1933 года получил разрешение на въезд во Францию; в июне 1935 года переселился из Франции в Норвегию, где проживал до декабря 1936 года. В августе 1936 года в Москве состоялся процесс так называемого «Троцкистско-зиновьевского террористического центра», закончившийся расстрелом шестнадцати человек, в том числе Зиновьева и Каменева; приговор заканчивался такими строками — «Находящиеся в настоящее время за границей Троцкий Лев Давыдович и его сын Седов Лев Львович, изобличенные показаниями подсудимых и материалами настоящего дела в непосредственной подготовке и личном руководстве организацией в СССР террористических актов против руководителей ВКП(б) и советского государства, в случае их обнаружения на территории Союза ССР подлежат немедленному аресту и преданию суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР». Младший сын Троцкого, Сергей, в 1936 году был арестован и сослан на Воркуту, где он и умер (первая дочь, Зинаида, покончила самоубийством в 1932 году). В 1937 году Троцкий переехал в Мексику и поселился в Койоакане, южном пригороде г. Мехико. 16 февраля 1938 года при таинственных обстоятельствах умер Лев Седов во Франции. 23 мая 1940 года пуле-

метной командой под начальством мексиканского художника-коммуниста Давида Альфаро Сикейроса, был атакован дом Троцкого в Койоакане. 20 августа 1940 года Троцкий был убит в его доме подосланным убийцей Рамоном Меркадером.

Конечно, сухая энциклопедическая справка не может дать живого, конкретного представления о человеке, без портрета которого панорама пооктябрьских лет зияла бы пустотой. Каким был Троцкий как человек и как «исторический персонаж»? Значит ли что-нибудь он для нас сегодня?

Возьмем огромный полуметровый альбом Юрия Анненкова «Семнадцать портретов», выпущенный Госиздатом в 1926 году, — там мы найдем и портрет Льва Троцкого. В предисловии к альбому А. В. Луначарский высказал недовольство этой работой Юрия Анненкова: в портрете Троцкого, — писал он, — «нет ни капли ни доброты, ни юмора, здесь даже, как будто, мало человеческого. Перед нами чеканный, гранитный, металлически угловатый образ, притом внутренне стиснутый настоящей судорогой воли. . . . Здесь т. Троцкий угрожающ. Анненков придал т. Троцкому люциферовские черты».

Надо заметить, что Юрий Анненков не без симпатии относился к своей модели. Враги, в их злобных и язвительных рассказах, изображали Троцкого как щупленького человека маленького роста («Меньшевик!» — острили про него). Между тем, Анненков пишет в воспоминаниях, что Троцкий был «хорошего роста, коренаст, плечист и прекрасно сложен». «Его глаза, сквозь стекла пенсне, блестели энергией». Высокого мнения Анненков и о культуре, образованности Троцкого. «Троцкий был интеллигентом в подлинном смысле этого слова, — пишет он в 'Дневнике моих встреч' (Нью-Йорк, 1966, т. II, стр. 295). — Он интересовался и был всегда в курсе художественной и литературной жизни не только в России, но и в мировом масштабе. В этом отношении он являлся редким исключением среди вождей революции». Тем более примечательно, что при такой симпатии к Троцкому, он написал в общем-то неприятный его портрет, — тут сказалась правдивость таланта Юрия Анненкова!

Без сомнения, Троцкий, как и Ленин, не был лишен известной доли природной доброты. Доктор Г. А. Зив, знавший Троцкого с 1896 года и не прерывавший с ним связей в течение двадцати лет, рассказывает, что Троцкий чрезвычайно любил друзей, причем его любовь к друзьям изливалась в форме ласк: «Он умел быть нежным, обнимал, целовал и прямо засыпал ласками». Но эта природная доброта не помешала ему, когда он уже был

ближайшим сподвижником Ленина, написать московскому раввину Мазэ, что «если осуществление коммунизма потребует принесения в жертву хотя бы всего еврейства, это будет прекраснейшая миссия, которая только может выпасть на долю народа». Как и Ленин, Троцкий был целиком во власти марксистской идеологии — идеологии ненависти.

Троцкий даже в большевистской среде выделялся жестокостью. В первые годы революции при нем неотлучно находился чекист Павлуновский, высокий, худой, с жуткими глазами убийцы, одетый в лихую кавалерийскую шинель до пят, — тот со своим отрядом расстреливал людей направо и налево по мановению руки «Льва Давыдовича» (например, в конце октября 1919 года — ни в чем неповинный штаб защиты Петрограда во главе с бывшим офицером генерального штаба Линденквистом). В этом он пользовался полной поддержкой Ленина, который, по словам Троцкого, «ставил заранее свою подпись под всяким решением, которое я найду нужным вынести в будущем», хотя «от этих решений зависела жизнь и смерть человеческих существ».

Необходимо понять взаимоотношения между Лениным и Троцким. Характеры их были различны. У Ленина в Кремле была голая комната, и всем сразу бросалось в глаза, что он не любит роскоши, не имеет пристрастия даже к комфорту. Между тем, Юрий Анненков описывает «роскошно обставленные комнаты» в «ставке» Троцкого. Троцкий ездил в поезде, составленном из вагонов бывших царских поездов, оборудованном по последнему слову комфорта. «В психологии его было что-то от нувориша», — писал впоследствии один видный советский сановник, порвавший с большевиками. Не было у Ленина и той самовлюбленности, какою отличался Троцкий. На всех он смотрел свысока: в Бухарине видел «полуистерика, полуробенка», в Пятакове — «полуанархиста и, вместе с тем, типичного чиновника», Ворошилов «по всем своим повадкам и вкусам всегда гораздо больше напоминал (ему) хозяйчика, чем пролетария». Признаем, что Ворошилова он охарактеризовал довольно точно,* но вряд ли и сам Троцкий был похож на «пролетария»... Юрий Анненков рисует такую картину:

«Троцкий оглядел меня с головы до ног и заявил:

— Что касается вашего костюма, то он мне не нравится; в особенности, ваши легкие городские ботинки: они вызывают во

* «Ворошилов любил шик. Его дача под Москвой была едва ли не одной из самых роскошных и обширных», — пишет Светлана Аллилуева в книге «Только один год».

мне страх при теперешнем тридцатиградусном морозе. Я вас обую по-моему.

И он повел меня в особую комнату, служившую складом, полным всевозможных гардеробных подробностей: шубы, лисьи дохи, барашковые шапки, меховые варежки.

— Это все подарки и подношения, с которыми я не знаю, куда деваться, — пояснил Троцкий. — Пожалуйста, не стесняйтесь!

И он выбрал для меня замечательную пару серовато-желтых валенок на тонкой кожаной подкладке и с неизносимыми кожаными подошвами. Внутри валенок было выбито золотыми буквами следующее посвящение: 'Нашему любимому Вождю, товарищу Троцкому — рабочие Фетро-Треста в Уральске'.

Нет спора, Троцкий был популярен у пролетариев. Вряд ли он обладал большими знаниями. Вспоминая Николаев, 1896 год, кружок Ф. Швиговского, тот же д-р Г. А. Зив пишет, что «усидчивые кропотливые занятия для приобретения солидных знаний и обогащения своего умственного багажа мало привлекали Троцкого. Он принимал самое горячее участие во всех спорах, фактически не прочитав ни одной книги — как народников, к которым он себя причислял, так и марксистов, против которых он с таким остервенением боролся». Официальное же его образование закончилось в Николаевском реальном училище. Но он был, по меткому слову Марка Алданова, «отважным кавалеристом слова», и это стязало ему, быть может, такую же популярность, какую до него пользовался другой «кавалерист слова», Керенский.

Что же привлекало в Троцком Ленина? Да то же самое, что отличало Троцкого от Керенского! У того хоть были какие-то «цветы души», которые он отказывался вырвать, тот не хотел, чтобы его сердце стало как камень, тогда как Троцкий и был таким, каким он изображен на портрете Юрия Анненкова, — «внутренне стиснутый судорогой воли», с «люциферовскими чертами». Большевизм и есть «судорога воли», болезнь воли, — болезнь, разжигаемая ненавистью к прошлому и настоящему и патологической мечтой о будущем, об «елисейских полях социалистического блаженства», для которых все ныне живущее может послужить лишь как навозное удобрение. Каменными были все они — Ленин, Дзержинский, Троцкий, Сталин... Но в то время, как за Лениным стояла вся партия и, может быть, даже не-

малая часть народа, * за Дзержинским — вся Чека, за Сталиным — партаппарат, за Троцким ничего не было, кроме поддержки Ленина. И как только не стало Ленина, пошатнулось и положение Троцкого.

Как это тонко подметил Роберт Такер, американский дипломат и историк, автор трехтомной биографии Сталина, * чем более великой становилась фигура только что отошедшего в вечность Ленина, тем ничтожнее казались его оставшиеся в живых последователи. В таких условиях, естественно, должно было начаться то, что Роберт Такер остроумно называет «политикой революционной биографии». Политическое значение приобрел вопрос о том, кто ближе всех стоял к Ленину, кто именно был соратником Ленина.

В 1924 году Госиздат выпустил книгу Троцкого «О Ленине», и некий поклонник Троцкого писал в журнале «Красная новь», что «помимо своей прямой задачи (нарисовать литературный портрет Ленина) работа Троцкого помогает нам уяснить себе величавую фигуру самого Троцкого. Перед нами встает не только образ почившего вождя, но и образ сплетавшегося с ним в годы революции его героического сподвижника». «Политика революционной биографии» тут состояла в том, чтобы образ Троцкого «сплетался» с образом Ленина. Впоследствии к такому «сплетению» перешел и Сталин, но тогда, в двадцатых годах, его политика была другая.

«По разным причинам, — пишет Роберт Такер, — у Сталина подход к политике революционной биографии был совсем другой, чем у Троцкого. Хотя он и определял связи между своей дореволюционной деятельностью и деятельностью Ленина, он все же не ставил себя на один уровень с Лениным. Наоборот, начиная со своей речи на Втором всесоюзном съезде Советов, в

* Надежда Мандельштам вспоминает смерть Ленина и траурные дни: «Стояли страшные морозы, а в последующие дни и ночи протянулись огромные многоверстовые очереди к Колонному залу. Мы прошли вечером вдоль такой очереди, доходившей до Волхонки, и простояли много часов втроем с Пастернаком где-то возле Большого театра. Очередь не двигалась, а мы еще боялись, что нас из нее выгонят — это была какая-то делегация. Остальные, вытянувшиеся в нитку, состояли из обычного черного и мрачного люда. Они пришли жаловаться Ленину на большевиков, — сказал Мандельштам и прибавил, — напрасная надежда: бесполезно» («Вторая книга», Париж, 1972, стр. 232.)

* Пока вышел только первый том: Robert C. Tucker, "Stalin as Revolutionary. 1879—1929. A Study in History and Personality". W. W. Norton & Company, New York, 1973.

которой он произнес свою знаменитую клятву, Сталин изо всех сил старался возвести Ленина на пьедестал, возвышавшийся над всеми, в том числе и над ним самим».

Политика Сталина состояла в том, чтобы показать, насколько Троцкий был чужд Ленину. Например, выступая на пленуме ЦК ВКП(б) в октябре 1927 года, Сталин упоминал о брошюре Троцкого «Наши политические задачи», вышедшей в 1904 году. «В этой брошюре, — говорил Сталин, — Троцкий иначе не называет Ленина, как 'Максимилиан Робеспьер', намекая на то, что Ленин является повторением Максимилиана Робеспьера с его стремлением к личной диктатуре». Без сомнения, было много причин, в силу которых Сталину удалось подмять под себя Троцкого, но не приходится сомневаться, что сталинская «политика революционной биографии» более чутко улавливала настроения в партии и стране.

Л. Д. Троцкий, «отважный кавалерист слова», или «король памфлетистов», как его называл Бернард Шоу, был нужен партии Ленина в 1917 году и в первые годы революции, когда на горизонте маячил мираж мировой революции и требовались подобные пиротехники. К середине двадцатых годов, однако, прошло время Троцкого. Как писал впоследствии один крупный советский работник, порвавший в 1936 году с большевиками, «пролетев по большевистскому небу фейерверочной ракетой, с шумом, треском, пальбой, Троцкий все снижался и потухал. Наконец, перелетев границы России, ракета с шипением упала в воды у Принцевых островов и потухла».*

Но значит ли это, что явление, обозначенное именем «Л. Д. Троцкий», ничему нас не научило, что этот человек и впрямь превратился в «нечеловека», навсегда исчез в пустоте «ничто»? Нет, переживая революцию как момент нашей собственной судьбы, мы учимся антиномичному пониманию истории, в которой ничто не исчезает бесследно, все в конце концов обращается на пользу... — да и может ли быть иначе, если Христос, как мы не только верим, но и вполне осязательно чувствуем, неизменно пребывает с нами на земле? В «Л. Д. Троцком», явлении, сопутствовавшем явлению «В. И. Ленина», обнаружилось «люциферовские черты», «судороги воли», и уже в этом содержится важный, полезный урок для нашего времени. Но и борьба, разгоревшаяся вокруг Троцкого в международном коммунистическом движении, послужила просветлению многих умов, раз-

* «Современные записки», № 61, стр. 450, Париж, 1936 г.

вязке духовной драмы, — в этом можно видеть непосредственный урок 1927 года.

Весной 1927 года в Москву съехалось довольно много видных коммунистов из-за границы. Их создали на чрезвычайный пленум Коминтерна. «Чрезвычайный» потому, что этот пленум должен был принять решения о «военной опасности», будто бы до чрезвычайности возросшей в те дни. В действительности же, восьмой пленум Исполкома Коминтерна был созван в срочном порядке затем, чтобы дать Сталину возможность добить Троцкого.

Несколько месяцев до того, в октябре 1926 года, Троцкого вывели из состава Политбюро. Но он был еще членом Исполкома Коминтерна, — исключить его мог только пленум Коминтерна. Троцкий присутствовал на пленуме и даже выступал.

В числе зарубежных коммунистов на пленум приехал высокий, черноволосый, на вид тихий, робкий молодой человек. Совсем еще молодой — двадцати семи лет! Но у него был уже десятилетний стаж партийной работы. Он родился в небольшом итальянском городке, в горах, поблизости от Рима. Нелегкой была его жизнь: он был трехмесячным младенцем, когда наводнением снесло чуть ли не весь городишко; ему было пятнадцать лет, когда городок был совершенно разрушен землетрясением, от которого погибли его мать и два брата. В его биографии останавливает внимание одна дата: он родился 1 мая 1900 года. Первое мая — «день международной солидарности», и в шутку говорили, что именно поэтому юный Секондо Транкилли попал на коминтерновскую стезю. В начале двадцатых годов он прославился в Италии как боевой антифашист. И вот, в мае 1927 года он в Москве, на чрезвычайном пленуме Исполкома Коминтерна.

Его настоящая фамилия, Транкилли, говорит о спокойствии, но в партии он был известен под псевдонимом «Игнацио Силоне», и на пленуме в Москве он всех удивил своей боевитостью, остротой, принципиальностью. Дело в том, что на одном из заседаний пленума была внесена резолюция, в которой в самых резких выражениях осуждалось письмо Троцкого, адресованное руководству ВКП(б). Председательствовал на пленуме немецкий делегат Эрнст Тельман. «Предлагаю принять резолюцию», — сказал Тельман. Финский делегат О. Куусинен тоже высказался за принятие резолюции, только добавил, что письмо Троцкого руководству ВКП(б) следует квалифицировать как «контрреволюционное», т. е. еще резче, строже, чем это было сделано в резолюции. Тогда поднялся молодой Игнацио Силоне и спросил:

— Нам предлагают осудить письмо Троцкого, адресованное

руководству русской коммунистической партии. Но... скажите, вы сами читали это письмо?

Эрнст Тельман признался, что не читал и добавил:

— Правду сказать, никто из нас не знаком с содержанием письма Троцкого.

Тут подал реплику Сталин:

— Политбюро, — сказал он, — сочло нежелательным знакомить делегатов пленума с письмом Троцкого, так как в нем выдаются некоторые государственные секреты, связанные с политикой советского правительства в Китае.

Тогда снова поднялся Игнацио Силоне и сказал:

— Я не оспариваю права Политбюро русской коммунистической партии держать в секрете любой документ. Но я не понимаю, как можем мы выносить какое-либо суждение о документе, который нам не известен.

Куусинен, тогда бывший одним из секретарей Исполкома Коминтерна, крикнул возмущенным голосом:

— Это неслыханно, чтобы тут, в цитадели мировой революции, оказывали гостеприимство такому мещанину... такому мелкому буржуа, как Силоне!

Но Сталин, попыхивая трубкой, сказал спокойно:

— Если итальянская делегация противится предлагаемой резолюции, эту резолюцию нужно снять. Может быть, итальянские товарищи не совсем знакомы с нашим внутренним положением. Предлагаю отложить заседание на завтра и уполномочить кого-либо из присутствующих провести вечер с итальянскими товарищами, чтобы объяснить им наше внутреннее положение.

Вести эту беседу выпало на долю болгарского делегата В. П. Коларова. Тот так вечером начал беседу:

— Будем откровенны. Вы думаете, я читал этот документ? Вот что: этот документ меня не интересует, и даже если бы Троцкий сам тайком прислал мне копию письма, я не стал бы его читать. Дорогие итальянские товарищи, дело не в документах! Я знаю хорошо, что Италия — классическая страна академий, но здесь не академия. Здесь происходит борьба за власть между двумя группами русского руководящего центра. На какую сторону мы должны стать? Документы тут ни при чем. Ну, убедил я вас?

— Нет, не убедили! — воскликнул Игнацио Силоне. — И если вы спросите, почему, то я объясню: потому что я против фашизма!

На следующий день на заседании пленума Сталин спросил Коларова, объяснил ли он итальянцам суть дела. «Да, объяс-

нял», — сказал Коларов. Но Игнацио Силоне повторил, что итальянская делегация не может осуждать документ, который ей неизвестен. Тогда Сталин сказал, что резолюция, осуждающая Троцкого, снимается.

На обратном пути из Москвы Игнацио Силоне остановился в Берлине. В немецких газетах он прочитал, что президиум Коминтерна постановил осудить письмо Троцкого.

— Но, ведь, резолюция была снята? — спросил Силоне Эрнста Тельмана.

— Она была снята на пленуме, — ответил Тельман, — но президиум может принимать любые решения.

Несколько дней спустя в газетах появилось сообщение, что компартии Америки, Венгрии и Чехословакии резко осудили письмо Троцкого.

— Значит, им все-таки дали возможность ознакомиться с этим таинственным документом? — опять спросил Силоне Тельмана.

— Ничего подобного! — ответил Тельман. — Когда, наконец, ты поймешь, что означает коммунистическая дисциплина?

Игнацио Силоне понял... И, будучи решительным противником фашизма, какие бы формы он ни принимал, где бы ни утверждался, в Риме или в Москве, Игнацио Силоне в 1930 году порвал с компартией. То, что происходило весной 1927 года в Москве, он описал в своей книге воспоминаний (Ignazio Silone, „Uscita di Sicurezza“). Ныне Игнацио Силоне — один из крупнейших христианских мыслителей в Европе.

1928

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Был зимний день конца 1927 года. В Кремле заседал XV съезд партии. По Москве ходил Теодор Драйзер, высокий и грузный, уже седой. Ему было 56 лет, из которых тридцать он уже проработал в литературе. Его романы «Сестра Керри», «Дженни Герхардт», «Финансист», «Титан», «Американская трагедия» были широко известны и в России. В Россию он приехал по приглашению советского правительства, но решительно отказался от гида, которого ему пыталась навязать Ольга Каменева, сестра Троцкого и жена Каменева, — она тогда верховодила в ВОКСе, Всесоюзном обществе культурных связей с границей. У него была своя переводчица — американка из Оклахомы, знавшая русский язык.

Драйзер неторопливо ходил по Москве, смотрел своими серыми немецкими глазами на кумачовые полотнища, которыми был увешан город по случаю X годовщины Октября и XV съезда партии. Правда, что он «приветствовал Октябрьскую революцию», но правда и то, что он как приехал в Россию, так и уехал горячим сторонником американской демократии. Морозным солнечным утром он пришел в Храм Христа Спасителя, сияющий пятью куполами, и когда ему сказали, что храм предполагают снести, он воскликнул:

— Да они что, не в своем уме?! Разрушать такой великолепный памятник в честь победы над Наполеоном?! Я поговорил бы об этом со Сталиным, да вряд ли он меня примет. . .

Драйзер не был принят Сталиным, но его принял Бухарин — в Кремле, в перерыве между заседаниями съезда. В разговоре с Бухариным выяснилось, зачем Драйзер приехал в Россию. Перед тем он разговаривал с Карлом Радеком, и тот рассказывал ему, что Ленин не пользовался авторучкой потому, что не мог «освоить технику» набора чернил. «Но он ясно видел необходимость индустриализации России!» — восклицал Радек. Но Драйзер приехал из индустриализированной страны, и его интересовала не техника, а душевный мир человека, не столько «рост материального благополучия трудящихся масс», сколько рост их

сознания. Ему было важно понять характер нового, пооктябрьского общества. Драйзер вырос в католической семье, до тринадцати лет учился в католической школе, и в разговоре с Бухариным он спросил:

— Что вы делаете с детьми? Вы берете ребенка и вдальблываете ему определенные понятия. Кроме того, чему вы его обучаете, он ничего не знает — и не будет знать, вы постараетесь об этом. Успех вашей революции, таким образом, зависит от воспитания детей, не так ли?

— Отчасти так, — согласился Бухарин. — Ребенок... это вроде радиоприемника. Он может принимать одну волну и может принимать другую. У одного класса — одна волна, у другого — другая. Воспитывая ребенка, мы должны принимать во внимание различные, порой весьма противоречивые тенденции.

— Вы говорите ребенку: вот Истина! — сказал Драйзер. — Знай это, и тебе больше ничего не нужно знать. Не то же ли самое делает католическая Церковь?

— Каждое общество, — сказал Бухарин, — воспитывает своих детей в соответствии с существующей экономической и политической системой.

Драйзер принялся расспрашивать Бухарина, какое же именно общество новая власть пытается построить в России. Бесклассовое общество? Драйзер встал, подошел к окну и подозвал Бухарина:

— Видите, там внизу, работает дворник с лопатой, ворочает глыбы снега. Вы же не можете сказать, что в вашем обществе он занимает такое же положение, как вы!

— Нет, — возразил Бухарин, — при нашей системе мы с ним имеем одинаковые права и одинаковые возможности.

— Вы готовы спуститься вниз и взять из его рук лопату? — засмеялся Драйзер. — Ну, признайтесь же, что вы предпочитаете быть здесь, а не там...

На обратном пути из Кремля к гостинице Драйзер с переводчицей проходили мимо часовни Иверской Божьей Матери. В часовне горели свечи, перед чудотворной иконой стояла очередь. Мужик с метлой, подметавший площадь, поравнявшись с часовней, остановился, снял шапку и перекрестился. Над часовней висел кумачовый плакат: «Религия — опиум народа». Драйзер спросил переводчицу, что там написано, и сказал:

— Видно, что русские пристрастились к опиуму! А этот... — показал он на мужика с метлой, — после Нового года перейдет в Кремль, займет место Бухарина.

Кончался 1927 год... Новый год Теодор Драйзер встретил в

Тифлисе. В Советском Союзе он пробыл 77 дней. 17 января 1928 года он писал своей переводчице из Парижа: «. . . в 8 утра поезд пришел в Варшаву. Не могу высказать, как оживила меня перемена атмосферы. Варшава после России. . . — Вы должны это попробовать! Мне пришлось ждать поезда до 8 вечера, но каждый час был для меня радостью. А теперь Париж — теплый и светлый. Как будто вышел на солнце! Удастся ли русским когда-нибудь расхлебать свою кашу? Думаю с теплотой о Вас. Но в Россию — ни за что на свете! — Теодор». И постскрипtum: «Как переехал границу, не чувствую больше вони».*

Без сомнения, Драйзер понимал, что «индустриализация страны», «освоение техники» — это не было главным в Русской революции. В Америке это было с большим успехом достигнуто на других путях, и, быть может, даже Драйзер, которому было трудно понять Россию, догадывался, что без революции, без гражданской войны, без «битвы за советскую власть» Россия добилась бы больших успехов в экономическом развитии. Если бы дело было только в этом, в экономическом развитии страны, то, конечно же, революция не имела бы никакого смысла. В революции был другой, поистине грандиозный (и, как оказалось, страшный) замысел — замысел полного и всестороннего изменения отношений между людьми, более того, создания «нового человека». После того, как была отпразднована X годовщина советской власти, закончился «период реконструкции», началась кампания по созданию «нового человека». Это и составляло главную тему 1928 года.

Вскоре после Драйзера в Москву приехал американский ученый Джон Дьюи. Он был автором более 250 трудов по логике, педагогике, философии, психологии, этике, эстетике. В двадцатых годах на русский язык были переведены его книги «Школа и общество», «Школа и ребенок», «Введение в философию воспитания», «Психология и педагогика мышления». В Москву он приезжал во главе делегации американских ученых. И вот, 21 августа 1928 года, в «Правде», Н. К. Крупская, вдова Ленина, рассказывала о своей беседе с Джоном Дьюи:

«Недавно к нам приезжали американские педагоги. Среди них был профессор Дьюи, человек с громадным педагогическим именем, и его дочь, написавшая книжку 'Школа будущего'. С вели-

* Рут Эпперсон Кеннел. «Теодор Драйзер и Советский Союз». Нью-Йорк, 1969 г., стр. 69—79, 212. Автор книги и была переводчицей Драйзера. Книга вышла только на английском языке.

чайшим интересом всматривались они в нашу жизнь. И непонятно им было многое. Перед отъездом заходили они ко мне.

— Зачем, — спросил в конце беседы профессор Дьюи, — брали рабочие власть в вашей стране? Для того, чтобы способствовать экономическому развитию страны, или чтобы изменить отношения между людьми?

Профессор Дьюи — глубокий старик. Он имел вид смертельного уставшего человека — и от обилия впечатлений, и от русских условий передвижения, кормежки, но этот небрежно брошенный вопрос обнаружил в нем вдумчивого наблюдателя, который наблюдает не только для процесса наблюдения. Я ответила, что целью нашей революции было, конечно, изменение человеческих отношений, что целью социализма является также изменение человеческих отношений, но что в нашей отсталой в экономическом отношении стране надо подвести еще экономическую базу под строительство социализма. Поэтому, сказала я, так много и уделяем мы времени вопросам экономического строительства».

База и надстройка — таков был ответ Н. К. Крупской американскому профессору. Вот, дескать, построим экономическую базу, и на ней, как надстройка, возникнет новая культура, создадутся новые человеческие отношения, вырастет новый человек. Тогда, в 1928 году, вопрос о «новом человеке» был поставлен в центре всей партийной пропаганды.

Бухарин еще в 1922 году говорил о «переделке самой психологии человека» как главной задаче революции. «Из рабочего класса через среднюю и высшую школу должен выбрасываться состав нового типа людей». И. Скворцов-Степанов, откликаясь на доклад Бухарина, писал, что «будет мало толку, если у пролетариата появятся свои Неждановы, Шаляпины, Собиновы, свои Левитаны, Коровины, Малявины, Нестеровы. Какая бы подлинно пролетарская душа ни пела басом, тенором или сопрано, это имеет сравнительно отдаленное касательство к той новой культуре, которую пролетариат должен создать».

Новая культура! Новый человек! И вот, руководясь учением Маркса о базе и надстройке, вступив во второе десятилетие революции, власть принялась за создание «нового человека». В 1928 году, куда бы вы ни пошли, вас всюду встречали эти два слова: «Новый Человек». Предположим, в октябре 1928 года вы решили пойти на концерт, и оказывается, что тема концерта — «Новый человек в музыке» (в программу концерта входили «Симфонический монумент» Гнесина и «Комсомолия» Рославца). Пошли в ТРАМ, модный в то время «Театр рабочей молодежи»,

— там идет пьеса о «переделке людей». В июле 1928 года «Известия» напечатали очерк о летнем пионерском лагере: очерк как очерк, летний вечер, костер, пионеры у костра поют песню «Эх, картошка — объяденье, пионеров идеал» (песня моего детства!), но назывался этот очерк — «Побеги нового человека». В самом начале 1928 года в Москве был созван первый Всесоюзный педологический съезд. Какова же была его задача? Разумеется, воспитание нового человека! «Правда» сообщала 10 января 1928 года:

«Первый педологический съезд, привлекавший в течение пяти дней активное внимание всей советской науки и советской общественности, является самым серьезным этапом глубокого качественного сдвига в науке о человеческой личности и о методах воздействия на нее. В работу съезда влились все основные материалы по изучению человека, проработанные на протяжении десяти лет революции в Советском Союзе. Естественно, что значение материалов съезда не исчерпывается узкоспециальными вопросами о ребенке, так как, по диалектической смежности, они захватывали полностью всю проблему о человеке в целом».

Как говорит пословица, чем дальше в лес, тем больше дров. В октябре 1928 года был поставлен вопрос уже о плановой подготовке «нового человека». В «Известиях» от 13 октября 1928 года появилась статья, в которой сказано:

«В нашей системе научного планирования одно из первых мест занимает вопрос о плановой подготовке новых людей — строителей социализма. Наркомпрос создал уже для этого специальную комиссию при Главнауке, — комиссию, которая объединит разрозненную работу педологических, психологических, рефлексологических, физиологических, клинических институтов и лабораторий, организует по единому плану их усилия по изучению развивающегося человека, волеет это изучение в русло практического обслуживания задач социалистического воспитания и социалистической культуры. По мысли руководителя Главполитпросвета тов. Н. К. Крупской, — мысль эта полностью поддерживается в Агитпропе ЦК ВКП(б), — этой комиссии предстоит планировать не только изучение ребенка, но и изучение взрослого, так же подвергающегося учебно-воспитательной обработке».

«Плановая подготовка новых людей»... «Учебно-воспитательная обработка человека»... Такова была задача, поставленная в 1928 году. Пожалуй, в этом с особенной ясностью можно видеть «большой чертеж» коммунизма, за которым стоит «князь мира сего». Не случайно целью «обработки человека» являлась

прежде всего его дехристианизация, — мое поколение, можно сказать, выросло под песню:

Не надо нам монахов,
Не надо нам попов.
Долой спекулянтов,
Бей кулаков!

Не случайно и то, что в конце двадцатых- начале тридцатых годов в науке о воспитании человека особенное внимание уделялось проблемам рефлексологии. В Москве одна за другой выходили такие книги: Ю. Франкфурт — «Рефлексология и марксизм», Д. Кашкаров — «Рефлексы у человека и животных», А. Залманзон — «Психология и марксизм», З. Чучмарев — «Марксизм, психофизиология, условные рефлексы», А. Залкинд — «Рационализация мозга», «Психология человека будущего». Журнал «Революция и культура» — в № 1 за 1928 год — писал: «Многим казалось, что учение о рефлексах — только 'звериное', 'собачье' учение, ничего не дающее для понимания человеческой психики, но это не так». В книге проф. З. Чучмарева, вышедшей в 1930 году, читаем: «Рефлексология, как часть науки о поведении человека, есть одна из многих методик по выработке автоматической привычки у человека». По всей стране были созданы «рефлексологические лаборатории» (чаще всего при так называемых «институтах гигиены воспитания», какой находился, например, на бульваре Шевченко в Киеве). В них «собачье» учение переносилось на человека. Тот же проф. Чучмарев сообщал: «Мы пытаемся перенести экспериментальную методику слюнных рефлексов на человека и в частности на школьника».

Возьмем одну книгу, вышедшую в 1928 году в Москве, приглядимся к ней внимательнее: проф. А. Залкинд — «Психология человека будущего». Вот что мы в ней прочитаем:

«Каковы будут психологические изменения человечества за переходный к социализму и начальный социалистический период? Этот период отличается быстрой изменчивостью окружающей социальной среды и нарастающей способностью человека к повышенной пластичности, к усиленной изменяемости вообще, так как без этой способности, при ломке старой среды, организм неминуемо погиб бы. . . . Тем большей делается в этот период власть воспитания в условиях текучей, динамической среды. Все более нарастающее биологическое влияние окажется в руках нового приспособительного фонда, созданного последней эпохой. Этот фонд воспитан, не унаследован, относится к категории ус-

ловных рефлексов, и роль его в переходный и начально-социалистический период будет необычайно важной. . . . Рост новых бытовых, трудовых, коллективных и прочих навыков за описываемые нами две эпохи не успеет, конечно, радикально перестроить такие древние инстинкты (безусловные рефлекссы), как хотя бы пищевой и половой наш фонд. Однако, вне сомнения, даже и эти древнейшие наши биологические базы будут к эре зрелого социализма, в общем, сильно расшатаны ломающейся средой, получают новые тенденции, и устоявшийся коммунизм получит необычайно пластичную человеческую массу, без тяжелого реакционного фонда, массу, над которой организованная наукой среда зрелого коммунизма — среда, властная именно своей научной организованностью — сумеет проделать перестраивающую работу целиком в направлении к задачам коммунистического общества . . . Переходный период, таким образом, лишь расшатает устойчивость человеческого организма, сделает его податливым к растущим новым влияниям. Начальная эра социализма углубит эту пластичность, эту возможность воспитуемости».

Нет, книга А. Залкинда не была «голой теорией»! Это было практическое руководство, которое и применялось в последующие годы. Драйзер, выросший католиком и взбунтовавшийся против католической церкви, упрекал Бухарина в том, что «Москва» подражает «Риму». В действительности подражание было другого характера: вспомним слова св. Иеронима о чёрте как «обезьяне Бога». Вряд ли можно сомневаться, что большевики, поставившие своей целью творение «нового человека», намеренно создавали в стране именно такие условия, которые расшатывали бы устойчивость человеческого организма, делали бы людей податливыми к новым влияниям, углубляли бы эту пластичность.

Как же именно расшатывать устойчивость человеческого организма? Какими методами создавать «пластичную человеческую массу»? Два практических метода — голод и страх!

Надо заметить, что в двадцатых годах в России велись работы по изучению влияния голода и страха на человека. Материала было более чем достаточно: гражданская война, ЧК, голод в Поволжье . . . В январе 1923 года в Москве состоялся всероссийский съезд по психоневрологии. Некий М. Шуберт в докладе «Психологические наблюдения над голодающими людьми» сообщал: «Как самый существенный результат, было отмечено замедление способности восприятия, расстройство внимания и понижение всей психической деятельности». З. Шумская в докладе «Влияние голода на интеллектуальную сферу детей» го-

ворила: «Главные выводы следующие: голод сильно понижает физические силы детей, а в связи с ними и психические. При этом наиболее страдают объем внимания, память и осмысление, менее — счет в прямом порядке». На том же съезде был заслушан доклад К. Соколова «Объективное изучение страха». В книге Е. Бибановой «О маленьких детях большой Москвы», вышедшей в 1926 году, рассказывается, что проблема страха изучалась в Институте методов школьной работы Наркомпроса. Разумеется, Сталину не надо было читать все эти доклады, чтобы знать, что голод и страх «понижают всю психическую деятельность человека». Но даже сам факт, что такие исследования производились, весьма показателен.

Как сказано, целью «обработки человека» была его дехристианизация. Мы уже видели, что в 1927 году даже над часовой Иверской Божьей Матери висел кумачовый плакат: «Религия — опиум народа»; вскоре была снесена и сама часовня, и взорван Храм Христа Спасителя. На протяжении тысячи лет русские люди воспитывались православной церковью, жили под оком Бога, показывали образцы жертвенности, высокой духовной настроенности; в частности, высокую духовную настроенность можно было порой видеть и в подвигах красноармейцев на фронтах революции. Но вот, Божьего ока не стало. Большевики догадывались, что если вынули из жизни Бога, то надо чем-то заполнить образовавшуюся пустоту. Провозглашали такой — почти мистический — лозунг: «Ленин жив в наших сердцах», хотя было всем известно, что он умер и его мумия лежит в мавзолее. В 1928 году был выдвинут такой лозунг, автором которого был старый революционер и литератор В. Львов-Рогачевский:

«Боязнь Бога надо заменить чувством ответственности».

Но что есть чувство ответственности? Новая форма боязни, только не перед Богом, а перед партийным начальством, перед НКВД, перед Сталиным. Тут-то и возникал вопрос: а что если «новый человек» сам партийный начальник, сам чиновник НКВД? Тогда ему все позволено! И уж Сталину-то, разумеется, все позволено! Как и сказал Достоевский: «Если Бога нет — тогда все позволено». Не надо было долго ждать, чтобы увидеть, к чему это привело на практике.

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

Инженер Глеб Нержин, герой романа А. Солженицына «В круге первом», работает над историей пооктябрьской России потому, что историки в СССР «перестали заниматься историей». И вот, собирая материал для истории, он подолгу беседует с крестьянином Спиридоном, работающим дворником на «Мавринской шарашке»:

«Нержин, по началу заходивший к Спиридону с застенчивостью, ненасытно желавший здесь, в тюрьме, разобраться во всем не додуманном на воле, месяц за месяцем не отставал и не только не утомлялся от рассказов Спиридона, но они освежали его . . . переносили в то единственное в жизни России семилетие — семилетие нэпа, которому ничего не было равного или сходного в сельской Руси, от перых починок в дремучем бору, еще прежде Рюриков, до последнего разукрупнения колхозов. Это семилетие Нержин захватил несмысленным и очень жалел, что не родился пораньше».*

История жизни Спиридона и есть история пооктябрьской России. Он — ровесник века. «В четырнадцать лет он остался хозяином в доме (отца взяли на германскую, там и убили) и пошел со стариками на покос ('за полдня косить научился'). В шестнадцать работал на стекольном заводе и ходил под красными знаменами на сходку. Как землю объявили крестьянской — кинулся в деревню, взял надел. Этот год он с матерью и с братишками, с сестренками славно спину наломал и к Покрову был с хлебушком. Только после Рождества стали тот хлеб сильно для города потягивать — сдай да сдай». «Коммунистическое производство и распределение», придуманное Лениным в 1918 году, не пришлось по духу Спиридону, и он подался в лес, к «зеленым», которые говорили новой власти: «Нас не трогай — мы не тронем». Побывал он и у белых, и у красных, и в Польшу он ходил, «и еще потом на масляной повезли их к Питеру и на первой не-

* В Нержине много от самого Солженицына, который родился в 1918 году.

деле поста ходили они прямо по морю по льду, форт какой-то брали». «Только после этого Спиридон домой вырвался», — тут-то, после взятия Кронштадта, и начался нэп, «семилетие, которому ничего не было равного или сходного в сельской Руси».

Конечно, до Спиридона вряд ли дошел бухаринский — подержанный Сталиным! — призыв к крестьянам: «Обогащайтесь, развивайте свое хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут». Но революция была поистине моментом его собственной судьбы:

«Воротился он в деревню весной и накинулся на землицу родную, отвоеванную. Воротился он с войны не как иные — не разбалованный, не ветром подбитый. Он быстро окреп ('кто хозяин хорош — по двору пройди, рубль найдешь'), женился, завел лошадей... Хоть власть и подпиралась бедняками, но в ту пору людям хотелось не беднеть, а богатеть, а бедняки, как и Спиридон, тоже к обзаводу тянулись — кто работать любит, конечно. И пустили тогда по ветру слово такое: и н т е н с и в н и к. Слово это значило — кто хозяйство хочет вести крепко, но не на батраках (батраков иметь — ума не надо), а — по науке, со сметкой. И стал тогда Спиридон Егоров с женой помощью — интенсивник... Была она грамотна, читала журнал 'Сам себе агроном'. ... Интенсивников приласкивали, им давали ссуды, семена. К успеху шел успех, к деньгам деньги, уже затевали они с Марфой строить кирпичный дом, не ведая, что доброденствию такому подходит конец».

Конец доброденствию пришел в 1929 году. Некоторые историки считают, что нэп кончился в... 1937 году, на том основании, что в первой половине тридцатых годов немало крестьян еще оставалось единоличниками. Иные же полагают, что нэп кончился в 1929 году и что первая пятилетка (1928/29—1932/33) находится полностью за пределами нэпа. Конечно же, правильна вторая точка зрения. Начало конца нэпа, в сущности, можно связывать с поездкой Сталина в Сибирь в январе-феврале 1928 года.

В 1928 году страна переживала хлебный кризис. И это несмотря на то, что был рекордный урожай в 1927 году! Кризис произошел из-за ошибочной политики: из-за политики цен, достаточно высоких на кормовые и технические культуры, но низких на зерновые; из-за пресловутых «ножниц» — нарушения баланса в развитии промышленности и сельского хозяйства (у деревни был хлеб, но город не мог дать ей товаров широкого потребления); из-за продажи хлеба за границу и т. д. Всегда, даже в самые голодные годы, новые правители гнали хлеб за границу: в 1928 году был вывезен 1 миллион центнеров, но в 1929 году уже 13 миллионов, в 1930 году — 48,3 миллиона, в 1931 году

— 51,8 миллиона, в 1932 году — 18,1 миллиона центнеров. К тому же, поскольку это были годы экономического кризиса в странах Запада, русский хлеб продавался за бесценок на мировом рынке. В этом отразилось характерное для марксистов презрение к деревне вообще, у Сталина же усиленное его природной грубостью, властью и жестокостью его натуры. «В глазах Сталина крестьяне были вроде отбросов, — вспоминал впоследствии Никита Хрущев. — У него не было никакого уважения к крестьянину и его труду. Он считал, что крестьян можно заставить работать только путем нажима. Жми, дави — и силой забирай продовольствие, чтобы кормить города».*

15 января 1928 года Сталин выехал в Сибирь и возвратился в Москву только 6 февраля. Кроме того, что он участвовал в заседании бюро Сибирского крайкома ВКП(б), он еще выступал перед партработниками в Барнауле, Рубцовке, Омске. Его речи не были опубликованы, и только двадцать с лишним лет спустя краткая запись этих речей появилась в XI томе его собрания сочинений. «Я командирован к вам в Сибирь на короткий срок, — говорил Сталин. — Мне поручено помочь вам в деле выполнения плана хлебозаготовок. . . . Вы говорите, что план хлебозаготовок напряженный, что он невыполним. Почему невыполним, откуда вы это взяли? Разве это не факт, что урожай у вас в этом году действительно небывалый? . . . Если кулаки ведут разнузданную спекуляцию на хлебных ценах, почему вы не привлекаете их за спекуляцию? Разве вы не знаете, что существует закон против спекуляции — 107 статья Уголовного Кодекса РСФСР, в силу которой виновные в спекуляции привлекаются к судебной ответственности, а товар конфискуется в пользу государства? . . . Вы говорите, что применение к кулакам 107 статьи есть чрезвычайная мера. . . . Допустим, что это будет чрезвычайная мера. Что же из этого следует? . . . Вы говорите, что ваши прокурорские и судебные власти не готовы к этому делу. . . . Я видел несколько десятков представителей вашей прокурорской и судебной власти. Почти все они живут у кулаков, состоят у кулаков в нахлебниках и, конечно, стараются жить в мире с кулаками. На мой вопрос они ответили, что у кулаков на квартире чище и кормят лучше. Понятно, что от таких представителей прокурорской и судебной власти нельзя ждать чего-либо путного и полезного для Советского государства. Непонятно только, почему эти господа до сих пор еще не вычищены».

* "Khrushchev Remembers", v. 2, p. 112. Воспоминания Хрущева, том 2, стр. 112.

Крестьянскому доброденствию подходил конец... Уже в январе 1928 года произошел поворот к 1918 году, к политике «чрезвычайных мер», «конфискации», насильственного изъятия хлеба, — к той самой политике, от которой Ленин, казалось, отрекся в 1921 году. Вся фальшь и двусмысленность нэпа, весь оборотнически-провокационный характер большевистской революции обнаружился в этом новом курсе Сталина.

Напомню еще раз, что Сталин выехал в Сибирь 15 января 1928 года. Дата эта примечательна тем, что через день, 17 января, в Москве к Троцкому явились гепоушники, схватили его, посадили в железнодорожный вагон и повезли в неизвестном направлении... — как оказалось, в Алма-Ату! Правда, в Алма-Ате Троцкий был устроен комфортабельно: он получал книги и газеты, ходил на охоту, переписывался со своими сторонниками, теперь разбросанными по окраинам страны. Троцкистская оппозиция была разгромлена, — теперь пришел черед Бухарина, при помощи которого Сталин свалил Троцкого.

Во время сибирской поездки Сталин действовал уже как самодержец, единоличный правитель партии и страны. Не знаю, называли ли его уже тогда «Хозяином», но не пройдет много времени, как войдет в оборот выражение: «Сталин — это Ленин сегодня». Но чтобы стать «вторым Лениным», Сталин должен был совершить свою революцию. 1929 год и был годом Третьей революции в России, или, как сказал Сталин, «годом великого перелома».

«Год великого перелома» — так называлась статья Сталина, появившаяся в «Правде» 7 ноября 1929 года. «Речь идет, — писал Сталин, — о коренном переломе в развитии нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию». Но много месяцев до того, еще в январе 1928 года, Сталин уже говорил о том же в Сибири:

«В настоящее время Советский строй держится на двух различных основах: на объединенной социализированной промышленности и на индивидуальном мелкокрестьянском хозяйстве, имеющем в своей основе частную собственность на средства производства. Может ли держаться долго на этих разнородных основах Советский строй? Нет, не может».*

Однако то, что Сталин говорил в Сибири, не было напечатано в 1928 году. Период между сибирской поездкой и статьей «Год великого перелома» был периодом внутривластных схваток, в

* И. В. Сталин. Соч., т. XI, стр. 6.

результате которых Бухарин в апреле 1929 года был снят с поста ответственного редактора «Правды», а также с поста секретаря Исполнительного комитета Коминтерна; 17 ноября того же года его вывели и из состава Политбюро. Что касается Троцкого, то он 11 февраля 1929 года был выслан из СССР в Турцию.

21 декабря 1929 года праздновалось пятидесятилетие со дня рождения Сталина. Его чествовали так, как чествовали триумфаторов в древнем Риме, только что не было пурпурной одежды и золотой колесницы. В газетах же, речах на митингах, в юбилейном сборнике, выпущенном Госиздатом, его представляли в сиянии славы. ЦК и ЦКК ВКП(б) писали в приветствии: «Так же, как в 1923 г. ты смело вскрыл антипартийную, меньшевистскую сущность троцкизма, так же и в 1928 г. ты разоблачил антипартийную, антипролетарскую, кулацкую сущность правого уклона».*

Надо ли удивляться тому, как после этого стали ломать Россию? По пятилетнему плану, в первый год (июль 1928—июль 1929) должно было быть коллективизировано от 1,7% до 2,2% крестьянских хозяйств. В результате директив, изданных в дни сибирской поездки, темп коллективизации усилился, но все же в начале ноября 1929 года в стране существовало лишь 70 000 колхозов, объединявших 7,6% крестьянских хозяйств. Но вот, в конце 1929 года началась насильственная сплошная коллективизация и «ликвидация кулачества как класса».

При жизни Сталина, единственным произведением в литературе, в котором были даны картины коллективизации и раскулачивания, была шолоховская «Поднятая целина». Но даже в этом апологетическом романе есть страницы, показывающие, как коммунист Нагульнов, нервнобольной, ненормальный, чинил расправу в казачьей станице. После смерти Сталина даже ортодоксальные писатели, отнюдь не инакомысли, нарисовали более откровенные картины. Например, в повести Михаила Алексева «Хлеб — имя существительное» читаем:

«...Приспели тяжкие времена. Район каждое утро, а то и несколько раз на дню запрашивал сводки о раскулаченных, спускал разрядки: сегодня раскулачить столько-то семей, зав-

* В тот же день, 21 декабря 1929 года, отвечая «всем организациям и товарищам, приславшим приветствия», Сталин писал: «Ваши поздравления и приветствия отношу на счет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу своему и подобию». Бывший тифлиссский семинарист, теперь ставший верховным жрецом новой религии, быть может, бессознательно заимствовал выражения из Библии (Бытие, гл. I, стр. 26).

тра — столько-то, причем число день ото дня росло, словно это была хлебозаготовка, когда количество вывезенных пудов действительно имеет значение. Раскулачивать приходилось и родственников, которые приходили к председателю сельсовета Василию Куприяновичу семьями прямо на дом, лили слезы горючие, совестили, угрожали, просили, всячески усиливались разбудить в нем родственные чувства, — не помогало. Оставшись наедине с женой, на ее упреки в черствости и холодности к сродникам, председатель сельсовета кричал, страшно матерясь:

— Тебя, дуру, посадить на мое место. Попробовала бы служить и богу и чёрту!»

В самиздатском «Политическом дневнике» — № 46, июль 1968 года — приведены следующие данные:

«Мы знаем, что Сталин крайне широко применял насилие и административное давление на середняков и бедняков при вовлечении их в колхозы. Что касается кулачества, то бóльшая часть кулаков вместе с семьями была принудительно выселена преимущественно в необжитые северные районы страны. При этом значительная часть кулаков и членов их семей погибла от холода, голода и болезней. Выселялись не только кулаки, но и середняки и бедняки, которые по тем или иным причинам сопротивлялись коллективизации и объявлялись поэтому 'подкулачниками'. Не нужно особенно доказывать, что применение подобных безнравственных средств при проведении коллективизации является совершенно недопустимым. Такая коллективизация нанесла огромный ущерб нашему сельскому хозяйству, задержала его развитие».

В самом деле, если принять всю сельскохозяйственную продукцию 1928 года за 100%, то в 1929 году сельскохозяйственная продукция страны составила 98%, в 1930 году — 94,4%, в 1931 году — 92%, в 1932 году — 86%, в 1933 году — 81,5%. В особенности же пострадало животноводство, которое в 1933 году составляло только 65% по сравнению с уровнем 1913 года. Количество рогатого скота сократилось с 60,1 миллиона голов до 33,5 миллиона, а количество лошадей уменьшилось больше чем на половину.

А людские потери? Черчилль в своих воспоминаниях рассказывает, как однажды во время войны, в Москве, Сталин сказал ему, что «коллективизация сельского хозяйства обошлась в десять миллионов человеческих жертв». Как знать, сколько их было в действительности? Не подсчитаны еще жертвы насильственной коллективизации, не подведен итог потерь, понесенных страной в период «великого перелома». История 1929 года еще не написана.

Тень 1929 года и поныне лежит на шестой части мира. Народу, состоявшему из таких «интенсивников», как Спиридон, любящему труд и умеющему трудиться, была нанесена психическая травма. Вот свидетельство вдумчивого, наблюдательного человека, который сравнительно недавно, в 1965—66 гг., прожил больше года в колхозе в Кривошеинском районе Томской области. Это Андрей Амальрик, молодой москвич, историк, автор книги «Нежеланное путешествие в Сибирь».

«Из Новокривошеина в Гурьевку, — пишет Амальрик, — шла электрическая линия, многие столбы покосились и вот-вот грозили упасть, теперь к ним подвезли комели. Надо было врыть их и прикручивать к ним столбы проволокой. Пока, впрочем, проволоки не было. Бригадир привел меня на большое вспаханное поле за деревней, посередине которого тянулась цепочка столбов, дал мне в руки лопату и палочку-измеритель, рыть надо было на глубину полутора метров. Меня удивило сильно, что пасынки не только не пропитаны раствором против гниения, но даже не обожжены; они должны были очень быстро сгнить в земле. Основания столбов, врытые в землю, как я видел, уже основательно сгнили. Позднее я понял, что это вообще стиль колхозной работы: кое-как заткнуть дыры — и ладно, пусть через два года повалятся, лишь бы сейчас стояли. . .

. . . Начали несколько лет назад строить в Гурьевке гараж для тракторов — стоит несколько лет недостроенный сруб, зимой его понемногу растаскивают на дрова. Этим летом, что я приехал, поставили новый сруб для яслей — на следующее лето они так и не были достроены; их ожидает, я думаю, судьба гаража, а обошлись они колхозу не дешево. Ясли недостроили, а уже начали строить новый амбар. На следующее лето амбар так и стоял недостроенный, а рядом уже расчищали площадку, чтобы строить новую сушилку. Дальше, по ходу рассказа, я еще приведу много примеров разбазаривания человеческого труда. Это происходит, я думаю, в основном потому, что труд нищенски оплачивается. Что, дескать, экономить на том, что и так не стоит?! И кроме того, дело еще в психологии колхозника — психологии межеумка, который перестал быть крестьянином, но не стал рабочим и которому все равно, что будет с плодами его труда.

. . . Свое собственное хозяйство колхозники ведут столь же нерационально, как и колхозное, и не имеют ни малейшего представления, во сколько им самим обходится яйцо, литр молока или килограмм свинины. Поскольку они не платят за них деньги, у них создается приятная иллюзия даровщины. Они ведь ценят

свой собственный труд столь же низко, как его ценят колхоз и государство. . . . Видимо, отсутствие своего хозяйства и неуверенность в будущем — сегодня есть, а завтра отберут — перевернули крестьянскую психологию.

. . . Для подъема сельского хозяйства можно смело экспериментировать: повышать заработную плату и понижать, разрешать единоличный скот и запрещать. Однако, по-моему, только один эксперимент будет иметь успех: если создадут работника, который сам к себе будет относиться с уважением и не позволит над собой всякие шутки шутить, тогда он и работать будет как следует. Пока что в колхозах существует, по сути дела, принудительный труд и колхозники находятся в совершенно бесправном положении. Так, они не имеют права уйти из колхоза иначе как в другой колхоз, их паспорта находятся в конторе, и на руки их не получают. . . . Внутри колхоза колхозники тоже находятся в совершенно бесправном положении: от них совершенно не зависит «выбор» председателя, объединение или разъединение колхозов, установление размера оплаты и т. д. Они опутаны системой денежных штрафов и запрещений, а в спорном случае в суд на колхоз подать не могут. Это бесправие имеет обратную сторону. Колхозник знает, что его никуда из колхоза не отпустят, но зато и не выгонят, что бы он ни натворил. Сколько вреда ни принесет колхозник, его все будут переводить с одной работы на другую или даже оставят на старом месте. Колхозников штрафуют — но делают вычеты с нищенской заработной платы, а нищему не страшен штраф, штраф страшен обеспеченному человеку. Вдобавок штрафуют так несправедливо, что это не повышает чувство ответственности, а разлагает его».

Вот это нравственное разорение народа есть тоже последствие того, что было сделано в 1929 году. Есть мнение, что не было бы коллективизации, то не было бы и ежовщины! Такого мнения придерживался Борис Пастернак, в романе которого «Доктор Живаго» читаем:

«Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерой, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины, обнародование не рассчитанной на применение конституции, введение выборов, не основанных на выборном начале».

Нельзя не отметить, что — сколь это ни удивительно! — крайне отрицательно относился к коллективизации и Никита Хрущев. Заметим, что он не принимал непосредственного участия в

коллективизации. На стр. 107-й второго тома его воспоминаний он рассказывает:

«В 1935 году, когда я стал первым секретарем Московского обкома партии, моей главной заботой было снабжение Москвы продовольствием. Московская область не может прокормить столицу: хотя колхозы и совхозы Подмосковья и производят капусту, свеклу, морковь, этого недостаточно для такого большого города. Мы должны были доставлять продовольствие из Белоруссии, с Украины, из других областей Российской Федерации. Наши трудности с продовольствием были прямым результатом той победы, которую Сталин одержал над оппозицией, — победа эта позволила ему провести насильственную коллективизацию, полицейскими методами. . . . Из-за сталинской коллективизации мы и испытывали острую нехватку продовольствия в Москве, а другие районы страны страдали от ужасного голода. Даже картошки и капусты, которой до революции было хоть завались, почти даром, — даже и этого стало нехватать из-за безрассудной сталинской сельскохозяйственной политики. . . . Некоторые теоретики и даже писатели все еще придерживаются сталинских взглядов на коллективизацию, все еще сталинскими глазами смотрят на деревню. Они еще и теперь говорят, что коллективизация была будто бы исторически неизбежным периодом перехода от капиталистической экономики в деревне к социалистической — и что жертвы, понесенные в годы коллективизации, были жертвами на алтаре социалистического прогресса. Какая ерунда! . . .»

1930

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

Как-то раз, в марте 1952 года, в Организации Объединенных Наций произошел забавный случай. Пospорили представители двух великих держав — СССР и США. Пospорили из-за документа ООН, в котором было употреблено выражение «железный занавес». Василий Зонов, член советской делегации, заявил протест на том основании, что это выражение «принадлежит Геббельсу».

— Ничего подобного! — возразил американский представитель. — Впервые это выражение употребил Черчилль в речи, которую он произнес в марте 1946 года в колледже в штате Миссури, в Америке. Говоря о положении, создавшемся в Европе после Второй мировой войны, он сказал: «Железный занавес опустился, перерезав континент».

— Вы ошибаетесь! — не сдавался Василий Зонов. — Термин «железный занавес» еще до Черчилля употреблял в своих речах Геббельс. Вот, пожалуйста, вырезка из лондонского «Таймса»: тут сказано, что не кто иной, как Людвиг Шверин фон Кросигк, бывший министром финансов при Гитлере, придумал этот термин, а Геббельс подхватил его и пустил в оборот.

Курьезный спор... Курьезный потому, что в действительности термин «железный занавес» — именно в таком смысле, как он употребляется ныне — был придуман в 1930 году в Москве. Впрочем, уже в дни революции 1917 года Василий Розанов употребил это выражение в «Апокалипсисе нашего времени».* На нашей памяти, однако, его ввел в употребление писатель Лев Никулин, напечатавший в «Литературной газете» 13 января 1930 года статью «Железный занавес». Начинаясь его статья так:

* *La Divina Commedia*

С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историю железный занавес.

— Представление окончилось.

Публика встала.

— Пора одевать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось.

Василий Розанов. «Избранное», Мюнхен, Изд-во А. Нейманиса, 1970, стр. 494.

«Когда на сцене пожар, сцену отделяют от зрительного зала железным занавесом. С точки зрения буржуазии, в Советской России двенадцать лет кряду длится пожар. Изю всех сил нажимаемая на рычаги, там стараются постепенно опустить железный занавес, чтобы огонь не перекинулся в партер. С буржуазной точки зрения это понятно, но непонятно, когда с нашей стороны азартные и малоумные люди пытаются также нажимать на рычаги и опустить этот занавес, железный занавес между Советским Союзом и Западной Европой».

В жизни страны в 1930 году, разумеется, было немало всяких событий: вступил в строй Сталинградский тракторный завод, закончилось строительство Турксиба, начались основные работы в Кузнецке и у горы Магнитной, в июне—июле 1930 года состоялся XVI съезд партии. Но едва ли не самым значительным фактом 1930 года было то, что «железный занавес» опустился между Россией и Европой. Какой парадокс! Октябрьская революция свершалась под флагом коммунистического интернационализма, но в 1930 году она привела совсем к другому — к отрыву от Европы, к усилению провинциализма, не к расширению, а, наоборот, к ограничению, сужению кругозора.

Как это могло случиться? Возвращаясь мысленно к 1930 году, мы видим, по крайней мере, пять причин, в силу которых и опустился «железный занавес», отрезавший Россию от Европы.

Прежде всего, как это ни парадоксально, провинциализм вырос из интернационализма. Для Ленина, для большевиков, одержимых идеей интернационала, Россия, как таковая, не имела первенствующего значения. Россия была только частностью, только отправной точкой на пути к всемирному интернационалу. В первые годы революции слова «Россия», «русский», как будто утратили всякое значение.

Вот, например, весной 1927 года в Прагу приехал Владимир Маяковский. В одном клубе, где он выступал, ему поднесли «книжку почетных посетителей». В книге уже были автографы и записи таких гостей, как Рабиндранат Тагор, П. Н. Милюков. По обычаю, надо было написать в книге что-нибудь в связи со славянским вопросом. В 1927 году в особенности, потому что тогда как раз отмечалось 50-летие балканской войны. Маяковский написал четыре строчки:

Не тратьте слова
На братство славян.
Братство рабочих —
И никаких прочих!

Его
ни к чему
перестраивать заново —
приладим
с грехом пополам,
а в наших —
ни стульев нет,
ни органов.
Копнешь —
одни купола.
И лучше б оркестр,
да игра дорога —
сначала
не будет финансов, —
а то ли дело
когда орган —
играй
хоть пять сеансов.
Ясно
репертуар иной —
фокстроты,
а не сопенье.
Нельзя же
французскому госкино
духовные песнопенья.

Таковы были раздумья революционного поэта перед Собором Парижской Богоматери. Храм Василия Блаженного, памятник русской архитектуры XVI века, поражающий мир живописностью и разнообразием архитектурных форм, — этот храм был для Маяковского всего-навсего «Блаженный Васька». Если Пушкин в свое время писал: «Когда звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался», то для Маяковского религиозная музыка была — «сопенье». В Соборе Парижской Богоматери он предлагал устроить кино, а на органе играть фокстроты! . .

Вслед за Маяковским, в Париж съездил его приятель, художник Александр Родченко. В журнале «Новый Леф», выходявшем под редакцией Маяковского, А. Родченко напечатал в 1927 году дневник поездки. В его дневнике нигилистическое отрицание Европы было столь грубым, что появился протест даже в газете «Известия». 25 февраля 1927 года «Известия» писали, что «все это юродствующее скифство в записках художника Родчен-

ко — не случайность. Автор считает себя большевиком — и большевиком с Востока! С Востока — свет, а на Запад — наплевать».

Наплевать на Россию . . . Наплевать и на Запад . . . Отрицание России и отрицание Европы — это двойное насилие, которое совершали над пооктябрьским поколением, к которому принадлежат и пишущий эти строки.

Отрыв от Европы, далее, происходил и из-за отрицания большевиками политической свободы, из-за нетерпимости ко всякому инакомыслию, из-за презрения к тому, что Ленин называл «парламентским кретинизмом». В одном из писем к Луначарскому Ленин писал: «Мы в революции всего больше боролись против парламентского кретинизма».

«Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно», — говорит в поэме Пушкина Петр I при основании Петербурга. Не китайскую стену построить, а прорубить окно в Европу! Деятельность многих поколений русских людей и была направлена на решение этой исторической задачи — расширять окно в Европу! Вспомним, как ездили в тот же Париж русские люди других поколений. Например, В. А. Маклаков, который впервые попал в Париж еще студентом.

«Шел 1889 год, — пишет биограф Маклакова. — В Париже была Всемирная выставка, с невиданным, всех поражавшим чудом — Эйфелевой башней. Маклаков без колебаний говорит, что месяц, проведенный им тогда в Париже, был счастливейшим месяцем его жизни. Но не обычные парижские развлечения имеет он в виду, а знакомство со страной, в которой все было для него ново и неотразимо привлекательно. Свобода печати, митинги и собрания, возможность открыто говорить что угодно, бесцензурные афиши на стенах . . . Маклаков чувствовал себя приблизительно так же, как тот студент, который стоит по колени в воде бурной реки на знаменитой репинской картине: «Какой простор!»

Вот такого — европейского — простора русские люди желали и России. Не замкнутости, не изолированности, не китайской стены, — нет, европейского простора! Не чем иным, как расширением окна в Европу, было создание в августе 1905 года русского парламента — Государственной думы. Это был юный парламент, но — парламент! Хотя и не с такими правами, как у других европейских парламентов, но все же парламент, обладавший немалыми правами. Бюджетные права Думы давали ей большое влияние на государственный аппарат, поскольку на всякое новое ассигнование государственных средств министры должны были получать согласие Думы. Парламентарии других стран Европы с живым интересом следили за работой Думы в Тавричес-

ком дворце в Петербурге. В июле 1906 года председатель Думы проф. С. А. Муромцев объявил: «Из Лондона получена телеграмма. 326 членов старейшего парламента в свете приветствуют членов самого юного русского парламента и надеются встретиться с его представителями в имеющей состояться межпарламентской конференции в Вестминстерском дворце». Кстати сказать, одним из первых русских парламентариев был и В. А. Маклаков.

Как же случилось, что после октября 1917 года оказалось замуравленным окно в Европу? Это тем более странно, что вождями Октября были коммунисты, приверженцы идеологии западного происхождения. Многие из них подолгу жили в Европе. Почему же они вывезли из Европы не понятия о свободе, а лишь хлесткие фразы о «парламентском кретинизме»? Быть может, потому, что они, даже будучи подхваченными «нерусским темным вихрем ПЕРЕДОВОЙ ИДЕОЛОГИИ»,* по духу принадлежали все же русскому шестидесятичеству, в котором уже давно наметилась тенденция отхода от Европы?

«Наши шестидесятники, — писал сравнительно не так давно В. В. Вейдле, петербуржец по рождению и уже давний парижанин, — заклеили окно на Запад брошюрами и подметными листками, отказались от всего его богатства — ради горсти лозунгов, ничего не давших мысли, хотя и пригодных для борьбы. Как бы ни расценивать их деятельность с других точек зрения, с точки зрения разума она была в высшей степени вредна. Недаром проявили они столь крайнюю нетерпимость ко всем инакомыслящим и столь резкую вражду ко всему, что нельзя было поставить на службу политике, — разумеется, их политике: к религии, философии, поэзии, искусству и даже к научному знанию, непригодному для пропаганды и не направленному на непосредственное удовлетворение практических потребностей. Ближайшим образом все это привело — вместе с подавлением крамолы, столь же упростибельным, как она сама — к провинциализации России, очень верно отраженной Чеховым; в конечном же счете послужило к образованию того умственного склада, который восторжествовал после 1917 года, когда интеллигенция более высокого духовного уровня оказалась выгнанной или уничтоженной. В России началось снижение культуры, а потом и сдача ее на слом при Сталине, вместе с отчуждением от остальной Европы, достигшим размеров невиданных в послепетровские времена. Россия отходила от Запада. И чем дальше отходила, тем становилась меньше похожей на себя».

* А. Солженицын, «Письмо вождям Советского Союза», стр. 17.

Вторая причина отрыва от Европы, таким образом, политического происхождения: политическая борьба в России приобрела такой характер, а подавление крамолы превратилось в такой зажим, что парламентаризм, понятия о гражданских свободах были растоптаны, а затем снесены половодьем революции, как порой наводнение смывает молодые всходы. Между тем, когда революция победила, новый строй утвердился, возникла заносчивость перед Европой, которая так ярко отразилась в литературе первых лет революции. Был, например, поэт Павел Дружинин, который в начале двадцатых годов выпустил книгу «Соломенный шум», и вот что он в ней провозглашал:

На кой нам черт другие страны,
Кромя советской стороны!

Как это ни странно, уже в 1920-х годах, несмотря на то, что все пели «Интернационал», носили «юнгштурмовки», ходили в кино «Роте Фане» и делали сборы в пользу МОПРа (Международной организации помощи борцам революции, существовавшей с 1922 года по 1947 год), — несмотря на все это, русская молодежь фыркала и на русских западников, и на культуру Запада. В 1929 году в журнале «Октябрь» был напечатан чрезвычайно интересный документ — «Записки вузовки» Надежды Азволинской. Вот одна запись:

«О культуре Запада... Готовлюсь к докладу для семинария проф. Климова. В докладе необходимо будет коснуться культуры Запада. Работа идет вяло, и именно из-за этой самой 'культуры'. Проф. Климов — 'западник'. Культура Запада — его конек, на котором он выезжает уже много лет. Пожалуй, даже не выезжает, а волочится за своим коньком, привязанный к хвосту. Для него Запад — алтарь, а 'культура Запада' — Пресвятая Дева. Может быть, это недостаточное знание, но мне кажется, что культура Запада не так уж велика. На каждого Анатоля Франса — по двадцать Пуанкаре, Фошей, Брианов. Шиллеры и Гете измазаны и испачканы обилием гогенцоллернов, на одного Шекспира — десятки поколений Чемберленов и Ллойд-Джорджей. И мне хочется написать, что культура, рядом с которой может вырасти фашизм, «Стальной шлем», Даусы, Гинденбурги и Носке, — культура, кующая цепи для большинства, строящая броненосцы, не освобождающая, а подавляющая, — это культура палачей, культура Каинов и Иуд. Мне хочется сказать, что в крошечном сельсовете в селе Неелове, где выступает с корявой речью малограмотная тетка Авдотья, больше настоящей куль-

туры, чем во французском парламенте, когда выступает Бриан».

Не забудем, однако, того, что «железный занавес» опустился в 1930 году, когда — после «черной пятницы» 29 октября 1929 года — многим казалось, что пришел «конец Европы». В истории «черной пятницы» записаны слова одного биржевого маклера в Нью-Йорке, который в тот день сказал: «Это конец Америки».

«Конец Америки» казался и «концом Европы». Неудивительно, что не только юная вузовка, полная самонадеянного невежества, но даже и писатели, которые знали Европу, любили Европу, все же отталкивались от нее. Борис Пастернак, в свое время учившийся в Марбургском университете, всегда чувствовавший свою внутреннюю связь с западноевропейской культурой, — даже Борис Пастернак писал в 1934 году:

Прощальных слез не осуша,
И плакав вечер целый,
Уходит с Запада душа,
Ей нечего там делать . . .

Другой поэт, в творчестве которого всегда звучала тема России и Европы, Павел Антокольский, писал:

Ты дремлешь, Европа, мой шаткий оплот,
Гипотеза самоубийцы!
Я имя твое, как последний пилот,
Шепчу перед тем, как разбиться.

Экономический кризис, безработица, рост фашизма . . . — да, «шаткий оплот», Европа! Вот это сознание «шаткости» Европы тоже способствовало опусканию «железного занавеса» в 1930 году. Утрата веры в Европу, уход русской души с Запада, все это тем более получало оправдание, что в Европе началась «The Pink Decade», период «розового десятилетия». «Европейская интеллигенция, — пишет в одной из своих книг французский философ и социолог Раймон Арон, — поверила, что в советской России создается общество, в котором не будет эксплуатации человека человеком, не будет классов, не будет несправедливости и неравенства. Вера в то, что в Советском Союзе осуществляется все, о чем учил Карл Маркс, долго была опиумом для европейской интеллигенции». Железный занавес, кстати, служил еще и для поддержания этих превратных представлений о Советском Союзе.

Итак, нигилистическое отрицание России приводило и к ни-

гилистическому отрицанию Европы. Во-вторых, отрицание политической свободы, нетерпимость ко всякому инакомыслию, презрение к тому, что деятели Октября называли «парламентским кретинизмом», — все это тоже способствовало отрыву от Европы. Вихревая метель, которая разыгралась на просторах России, подняла глубинные пласты народа, вынесла наверх людей, которые питали вообще неприязнь к «чужому», «чужестранному». Такая неприязнь в особенности была у Сталина, с его интеллектуальной и моральной второсортностью, психологической грубостью, провинциализмом, наконец, верой в то, что ленинизм является «высшим достижением русской культуры». В 1930 году он и начал политику «железного занавеса», которая, разумеется, преследовала и ближайшие практические цели: не показывать Европе, как жилось в России, и не показывать России, как жилось в других странах Европы, — тем более, что в 1929—1930 гг. началась широчайшая волна репрессий, не менее мощная и жестокая, чем в 1937—1938 гг.

«Страна, в которой планировалась и проводилась столь массовая полоса репрессий, — пишет Жорес Медведев в книге 'Международное сотрудничество ученых и национальные границы', — не могла оставаться открытой. А поскольку эти репрессии уже не останавливались до самой смерти Сталина, переживая лишь периоды максимумов и временных спадов, то именно изоляция советского народа от всякого общественного мнения за рубежом, именно железный занавес, чтобы закрыть всякую утечку и приток информации, особенно о репрессиях, чтобы лишить жертвы произвола возможности уйти от уготованной им судьбы, возможности обратиться к мировому общественному мнению, стали основой государственной политики. Связь с иностранными государствами поддерживалась только на высшем уровне, она стала абсолютной монополией ЦК ВКП(б) и Совнаркома. Простой контакт, обычная беседа с иностранцем, могли стать поводом для доноса или ареста. Возникла особая 'заграничнобоязнь'».

Последствия 1930 года не изжиты и поныне. Политика, с которой вступили в тридцатые годы, в основном продолжается и сейчас, спустя почти полвека, на пороге восьмидесятых годов.

1931

ХУНВЕЙБИНЫ В МОСКВЕ

В марте 1931 года в Москве, в Большом зале Консерватории (впрочем, Консерватории тогда не было, она называлась «ВМШ», Высшая музыкальная школа) состоялся концерт симфонического оркестра Большого театра. Исполняли симфоническую поэму Сергея Рахманинова «Колокола», — дирижировал Альберт Коутс, давний друг Рахманинова.

«Колокола» — одно из самых замечательных и прославленных произведений Рахманинова. По словам писательницы Мариэтты Шагинян, «в этой скользкой, хрустящей стремительной музыке Рахманинову удалось утвердить с огромной силой то бесспорно свое, рахманиновское, что зовется индивидуальностью творца и чем музыкант входит в историю музыки». Композитор и музыкальный критик Борис Асафьев писал, что «у Рахманинова колокольность вплетена в ткань музыки, становится в самых различных окрасках, ритмоузорах, ритмогармониях не только импрессионистическим выразительным средством, а раскрытием психологических состояний встревоженного человечества» («встревоженного» потому, что «Колокола» были созданы в 1913 году, накануне Первой мировой войны).

Повторяю, что концерт был устроен в марте 1931 года. Как мы видели, 1929 год был «годом великого перелома»; 1930 год — годом, когда опустился «железный занавес», отрезавший Россию от Европы. 1931 год был годом «перехода в решительное идеологическое наступление», разгара так называемой «культурной революции». «Культурная революция» в СССР ничем существенным не отличалась от нынешней «великой пролетарской революции» в Китае. Курьезно, что «хунвейбинов», организаторов «культурной революции» в Китае, в советских газетах сперва называли «красногвардейцами», но потом спохватились, что это оскорбительно для красногвардейцев времен Октября, и стали называть их «красными охранниками». «Быть хунвейбинами, верными идеям Мао Цзэ-дуна! Разбить собачьи головы всех, кто выступает против председателя Мао!» — такие лозунги малевали в середине 1960-х годов на стенах «красные охранники» в Ки-

тае. Надо полагать, что советские граждане, читая в газетах статьи о китайских «красных охранниках», качали головами: «Неужели китайцы ничему не научились на нашем горьком опыте? Или, может быть, как раз от нас и переняли они хунвейбиновщину?» 1931 год был именно годом хунвейбиновщины в СССР, и для того, чтобы видеть, какой характер носила «культурная революция» в Москве, достаточно прочитать рецензию на концерт в Большом зале Консерватории... простите, ВМШ! Рецензия была напечатана в «Литературной газете» 24 марта 1931 года. Написал ее Д. Житомирский и называлась она — «О чем звонят колокола?» Вот она:

«На эстраде — симфонический оркестр, хор и заслуженные солисты. Обстановка торжественная. Исполняют знаменитые, как говорится, истинно-русские 'Колокола'. Это не просто симфония, это целая мистерия колоколов! Звучат сначала маленькие колокольчики. Затем начинается церковный благовест и православное свадебное ликование. На лицах слушателей умиление и восторг. Овациям нет конца. Кем организована среди бела дня в советской столице эта литургия? Кто автор этого произведения? Сергей Рахманинов — давно переживший себя певец крупнокупеческого и мещанского салона, крайне измельчавший эпигон и реакционер в музыке; он же — бывший помещик, возненавидевший Россию еще в восемнадцатом году, когда крестьяне захватили его имение, ныне белый эмигрант, заклятый враг советской страны. Автор текста — кликушествовавший декадент и мистик Бальмонт, тоже давно и прочно пребывающий в белой эмиграции».

Дальше автор статьи в «Литературной газете», этот «красный охранник», хунвейбин 1931 года, уже совсем переходил из музыкального плана в политический и спрашивал:

«Известно ли Большому театру о том, что именно об этих 'Колоколах' упоминалось во время процесса Промпартии, как о произведении, символизирующем вожделения белых интервентов? Известно ли ему, что именно эти перезвоны рахманиновских колоколов облюбовал вредитель Чайнов в своей книге 'Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии'? Именно под эти звуки мыслил себе Чайнов празднество 'возрожденной' кулацкой России. По этому поводу тов. Ярославский писал в статье 'Мечты Чайновых и советская действительность', напечатанной в 'Правде', что 'Чаяновым не дожидаться времени, когда народные массы будут слушать концерты на колоколах рахманиновской литургии'».

Ну, чем не хунвейбиновщина! «Разбить собачьи головы всех,

кто выступает против»... великого Сталина! Конечно, в 1931 году вряд ли кто-нибудь мог открыто выступать против Сталина, но все же в публикациях, касающихся истории революции, многие еще не догадывались подчеркивать тесную связь Ленина и Сталина, изображать Сталина как «второго Ленина». И вот, в 1931 году Сталин выступил с письмом в редакцию журнала «Пролетарская революция» — «О некоторых вопросах истории большевизма». Это и была команда хунвейбинам — истреблять «гнилой либерализм». Именно тогда, в 1931 году, вошли в широкий, повседневный обиход слова с окончанием на «-щина»: толстовщина, воронщина, переверзевщина, горбачевщина, даже какая-то «татуловщина».

Против «толстовщины» выступали такие партийные идеологи, как М. Митин и П. Юдин в коллективной статье, появившейся в «Литературной газете» 16 июля 1931 года, — статья эта в высшей степени характерна для того времени. Вот что писали два идеолога:

«Всем известно то место у Ленина, где он говорит, что Толстой срывает все и всяческие маски. Этот лозунг иногда произвольно и недialeктически переносят в нашу обстановку, в условия диктатуры пролетариата. Надо ли срывать маску с пролетарской диктатуры? Нет, конечно. Надо ли срывать маску с пролетарского суда? Конечно, нет. Надо ли срывать маску с нашей коммунистической морали? Нет. Превращение лозунга срывания масок во всеобщий является искажением Ленина. Лозунг этот весьма близко стоит к выдвинутому Бухариным и Стэнном положению: 'Подвергай все сомнению'».

Тут все в духе 1931 года — и хунвейбиновская прямолинейность, свидетельствующая еще о неискренности партийной пропаганды, и это смешение «толстовщины» с «бухаринщиной», мгновенный переход от литературы (или музыки, как в случае с «Колоколами») к политике. Например, 30 июня 1931 года в той же «Литературной газете» была напечатана статья «Против толстовщины и воронщины», в которой осуждалось... что бы вы думали?.. «приложение к пролетарской литературной практике методологии Толстого, Бухарина, Бергсона и Канта»!

Опять-таки в июне 1931 года пленум совета ВОАПП, Всесоюзного объединения ассоциаций пролетарских писателей, отправил рапорт Сталину:

«В борьбе против классового врага в области искусства выросло и закалилось Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей. Мы можем назвать здесь борьбу русских товарищей против всех и всяческих попыток использовать трибу-

ну искусства для прямой или замаскированной проповеди идей, враждебных пролетариату; борьбу белорусских товарищей против литературных ячеек контрреволюционного национал-демократизма 'Узвышша' и 'Польмя'; борьбу украинских товарищей против литературной ячейки 'СВУ'; борьбу узбекских товарищей против литературной ячейки 'Кзыл-Калям'; борьбу татарских товарищей против группировки 'Джидигян'. Мы проводили борьбу на два фронта. Мы разгромили воронщину и переверзевщину, мы начали борьбу с деборинскими влияниями в критике.

Громили толстовщину, бухаринщину, воронщину, переверзевщину, горбачевщину, татуловщину, перевальщину... Кого еще громить? Уральского! Кто такой Уральский? 22 ноября 1931 года «Литературная газета» опубликовала статью «Разоблачить маскировку классового врага». Классовым врагом объявляли писателя Уральского, автора детской книжки «Электромонтер». Хунвейбины «Литературной газеты» писали:

«Электромонтер — это крайне ответственная профессия. Одна из задач книг о политехнизме — воспитание серьезного отношения к профессии, к труду. Уральский дает картину, изображающую электромонтера:

Он ходит по городу
Взад и вперед,
И каждый монтера
К себе зовет.

Смотри — его нет,
Закапризничал свет.
Но вот он пришел —
И опять хорошо.

Создается впечатление, что монтер праздно разгуливает по улицам, дожидаясь, пока его тот или другой позовет на работу. Труд его индивидуален и зависит от случайной нужды потребителей электричества в быту. Никакого планового начала и регулирования труда электромонтера нет. О самом предмете у автора нет серьезного представления. В детской аудитории автор пропагандирует 'случайность' в мире законов движения материи:

Ни с того, ни с сего
Повредился замок,
И никто его
Починить не мог.

Что это значит? Почему автор заявляет, что 'ни с того, ни с сего повредился замок'? Это заявление автора характеризует его невежество и идеалистический характер его мировоззрения. Явления в области электричества даны не в их причинной связи и не в закономерном развитии, а как случайные явления».

Критиковать Уральского, конечно, следовало, но за плохие стихи, а не за то, за что его критиковали хунвейбины 1931 года. «Великая пролетарская культурная революция...» В январе 1932 года в Ленинграде состоялось собрание литературных критиков. «Литературная газета» перечисляла имена тех, кто присутствовал на собрании: Борис Эйхенбаум, Павел Медведев, Григорий Гуковский, Юрий Оксман... — и добавляла, что «собрание критической секции оказалось слетом идеологов формализма, ворончины, неокантианства, идеализма». В «Комсомольской правде» появилась статья А. Исбаха, где «классовым врагом» объявлялся Константин Федин. В 1930 году Виктор Ермилов выпустил книгу «За живого человека в литературе». В ней он спрашивал: «Почему мы любим Есенина?» «Разгадка, — говорил он, — в глубочайшей правдивости его поэзии, в интимной искренности есенинской лирики, в его нежнейшей любви к человеку». Вот как «Литературная газета» откликнулась на эти слова Ермилова: «Этот слюнтяйский гуманизм органически связан у Ермилова с замазыванием классовой сущности враждебных пролетариату произведений».

«Необходимо пересмотреть список наших корифеев, — писала «Литературная газета» еще 10 июня 1929 года. — Необходимо и среди них произвести чистку. В связи с лозунгом культурной революции актуальнейшее значение приобрела задача создания массовой литературы. Вот, с точки зрения этой задачи, наши корифеи ничего дать не могут: они недоступны широким и, тем более, широчайшим массам. Наши корифеи обычно пишут сложно, изысканно, вычурно, их сюжет запутан и нарочито-извилист, тематика крайне индивидуальна и рассчитана на любителей. А среди писателей, так сказать, середняков большинство пишет просто, ясно, четко, оно строит сюжет понятнее, тему берет доступнее и ближе к жизни, быту и интересам широкой массы. Больше внимания писателю-середняку! Его книги — в массы! Эти середняки быстро станут писателями миллионных масс».

«Великая пролетарская культурная революция...» На обще-заводском собрании рабочих машиностроительного завода имени Владимира Ильича, в августе 1930 года, был сделан доклад об итогах XVI партсъезда. Был затронут и вопрос о литературе:

«В поэтическом рапорте шестнадцатому партсъезду писатели говорят:

Нет у нас превышения плана,
Да и плана, собственно, нет.

Услышав подобный рапорт от отстающего производства, рабочая общественность берет такое производство на буксир. На буксир она должна взять и писательскую организацию».

Было постановлено, что рабочие машиностроительного завода примут «шефство» над ФОСП, Федеративным объединением советских писателей. Лозунг: **«ВЫПОЛНИТЬ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОМФИНПЛАН!»**

Начатая в 1928 году, когда власть принялась за создание «нового человека», «великая пролетарская культурная революция» достигла наивысшего накала в 1931 году. Если в 1928 году была поставлена задача «плановой подготовки новых людей», то в 1931 году принялись за создание «нового типа писателя». Как же его создавали? Вот, скажем, на Панютинском вагоноремонтном заводе работал плотник по фамилии Оровецкий. И вдруг его, как тогда говорили, «призвали в литературу», он стал «писателем», и его произведение «Записки ударника» (написанное каким-то подставным ремесленником от литературы) появилось в журнале «Октябрь» в январе 1931 года. Теперь имен «новых писателей» никто не помнит, но тогда, в 1931 году, они гремели. Михайлов, Тарасевич, Павлов, Оровецкий... В марте 1931 года пленум правления РАПП, Российской ассоциации пролетарских писателей, опубликовал резолюцию: «Призыв рабочих-ударников, открывающий новую страницу в нашем движении, означает прежде всего общий культурный рост пролетариата, перешедшего в решительное наступление на идеологическом фронте».

Нельзя не отметить, что все же были люди, которые пытались противодействовать хунвейбиновщине. В сентябре 1931 года Лидия Сейфуллина говорила: «Красная халтура лезет в глаза явно. Что делается с теми ударниками, которых втянули в литературу? Их втянули, даровали им звание писателей и дали им немудрые указания, что роман и повесть строятся так: строительство, пятилетка, пролетариат... Это — кастрирование литературы!»

И писатель Иван Евдокимов, автор большого романа «Колокола»:

«От нас ожидают поквартального выполнения литературного

промфинплана. Но, ведь, литература — это не хлебозаготовки. Литературу нельзя строить так, как Днепрострой или Магнитострой».

И Леонид Леонов, тогда еще не сдавшийся:

«У нас утвердилось мнение, что литература — это легко, ежели с нахрапцем. Многие, существующие в жизни разговорами о литературе, не понимают даже в малой степени особенностей литературного творчества. Фальшивая монета пошла в ход. Было бы красно, остальное неважно!» («Новый мир», 1931 г., № 10.)

Но эти разумные, трезвые, здоровые голоса заглушались хунвейбиновской свистопляской 1931 года.

1932

«ОТКУДА ЭТИ РАКУШКИ?»

Вы знаете, что такое «щуп»? Не тот «щуп», что применяется в промышленности, — там «щупом» называют инструмент для измерения зазоров между деталями механизмов. Нет, другие «щупы», производством которых в конце 1932 года были заняты кузницы на Кубани и на Украине. Щуп — это тонкий железный прут, заостренный на одном конце. Другой конец завернут вроде рукоятки. Назначение этого инструмента — щупать землю. Не скрыта ли яма под натрусом соломы? Не наткнется ли щуп в земле на кирпичи, под которыми тайный погреб?

Какие ямы искали со щупами в конце 1932 года на Кубани и Украине? Хлебные ямы... Ходили по хатам с обысками — искали хлеб. Открывали сундуки — нет ли хлеба под ворохом тряпья? Взбирались на чердаки и спускались в подполья — щупали, копали. В большинстве случаев не находили ни зернышка, ни мучной пылинки. Но если находили, тотчас же забирали, обрекая людей на голод, часто на смерть.

Во имя чего все это делалось?

Вспомним, что в июле 1932 года состоялась Третья всеукраинская конференция КП(б)У. На конференцию прибыли из Москвы Молотов и Каганович. Они громили компартию Украины за отставание на «колхозном фронте». В своем выступлении 8 июля 1932 года Лазарь Каганович так говорил коммунистам Украины:

«Вы должны подготовить и развернуть работу по полному выполнению плана хлебозаготовок, решительно преодолевая все и всяческие демобилизационные, а зачастую капитулянтские настроения в отношении хлебозаготовок».

Что скрывалось за этими словами?

Насильственная коллективизация, проведенная в 1930 году, вызвала расстройство сельского хозяйства. Но в 1930 году выручила природа: выдался исключительно хороший урожай, и ущерб, причиненный деревне насильственной коллективизацией, не был так заметен. Но кризис, вызванный насилием над крестьянством, не был ликвидирован. И на следующий год, когда климатические условия оказались не столь благоприятными, начала

обнаруживаться глубина этого кризиса: урожай 1931 года был намного ниже урожая 1930 года. В результате, не были выполнены ни план хлебозаготовок 1931 года, ни план посевной кампании 1932 года. В самой партии начались разговоры о том, что коллективизация была ошибкой. Вот что скрывалось за словами Л. Кагановича о «демобилизационных и капитулянтских настроениях».

Надо сказать, что история того, что произошло в деревне в 1932 году, еще не написана. Правда, в начале 1960-х годов, после XXII съезда КПСС, некоторые историки начали было исследовать этот вопрос. Так, в журнале «История СССР» — № 5, 1964 года — появилась статья И. Е. Зеленина «Колхозы и сельское хозяйство СССР в 1933—1935 гг.» Эта статья начинается характерными строками: «Как показала Всесоюзная сессия по истории советского крестьянства и колхозного строительства СССР, остается еще немало неясных и спорных вопросов истории этого периода».

К таким вопросам относится прежде всего политика ограбления крестьянства, которую сопровождалась политика насильственной коллективизации. До того действовала договорная, так называемая «контракционная» система заготовок зерновых культур. Она была отменена постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 января 1933 года, когда были введены «имеющие силу налога твердые обязательства по сдаче зерна государству по установленным государственным ценам». «Контрактации», однако, не было уже и в 1931 и 1932 годах. Как пишет И. Е. Зеленин, «размеры хлебосдачи в 1931—1932 гг. в конечном счете определялись не договорами о контрактации, а государственными планами, которые устанавливались в соответствии с посевной площадью и видами на урожай и в ходе заготовок часто менялись. Хлебозаготовительные органы в погоне за выполнением планов заготовок перекладывали на колхозы часть заданий единоличников, посредством так называемых встречных планов заставляли хлеборобов сдавать все излишки зерна».

Причем хлеб забирали фактически даром. Как пишет И. Е. Зеленин, «установленные государством в 1928—1930 гг. и почти не изменявшиеся вплоть до 1935 г. директивные заготовительные цены на основные виды сельскохозяйственной продукции были крайне низкими, в большинстве символическими. . . Исчисление себестоимости продукции колхозов в это время не производилось. В специализированных совхозах, где имелись наиболее благоприятные условия для производства зерна, стоимость 1 центнера зерна в 1933—1935 гг. достигала 31—32 рублей

и была выше заготовительных цен, по крайней мере, в три-четыре раза. Заготовительные цены были даже ниже цен государственной нормированной торговли.* Коммерческие же цены на зерновую продукцию и крупу в 8—10 раз превышали карточные цены, на животноводческую — в 3—4 раза. Низкие заготовительные цены подрывали экономику колхозов, не позволяли им рентабельно вести хозяйство».

Как сообщает тот же автор статьи в журнале «История СССР», «объем хлебозаготовок как в колхозах, так и по всему сельскому хозяйству нарастал. Этот рост в 1933—1934 гг. достигался исключительно за счет повышения норм сдачи. В 1932 г. колхозы сдали государству немногим более четверти собранного зерна, в 1933—1934 гг. — более трети, в 1935 г. — почти 40%. Принятые нормы обязательных поставок и натуроплаты (машинно-тракторным станциям, т. е. опять-таки государству), как правило, были завышены, так как исходили из видовой урожайности, хотя и дифференцированной по районам и культурам».

Например, Борис Шеболдаев, секретарь Северо-Кавказского крайкома партии, докладывал:

«В двадцать восьмом году Северный Кавказ дал государству 56 миллионов пудов зерна, в двадцать девятом году — 92 миллиона пудов, в тридцатом году — 123 миллиона пудов, а в тридцать первом году — 187 миллионов пудов, в тридцать втором году — 112 миллионов пудов, а в тридцать третьем году — 133 миллиона пудов зерна».

Другими словами, в течение трех голодных лет — 1931, 1932, 1933 — власть выкачивала из деревни каждый год вдвое и втрое больше зерна, чем в 1928 году, когда деревня была несравненно богаче, когда сельское хозяйство еще не было потрясено насильственной коллективизацией. Таким образом, осенью 1932 года власть забирала в селах Украины, в станицах и хуторах Северного Кавказа весь хлеб, без остатка!

Дело, однако, было не только в хлебозаготовках или сборе семян. В 1960-х годах такие истории, как И. Е. Зеленин, смогли коснуться политики ограбления крестьянства, отнеся ее к «неясным и спорным вопросам» истории второй пятилетки. Но, конечно, даже и тогда, после XXII партсъезда, они не могли коснуться других, тайных, в официальной печати никогда еще не

* Выступая на ноябрьском (1934 г.) пленуме ЦК ВКП(б), Сталин сказал, что пайковая цена на хлеб — это не цена в собственном экономическом смысле, а дар от государства рабочему классу, социальный паек. «Брали дешево, продавали дешево, не продавали, а дарили», — сказал Сталин.

высказанных целей, которые власть преследовала в 1932 году. Главным моментом 1932 года было то, что власть намеренно организовывала голод, чтобы сломить сопротивление крестьянства. Голод и страх входили, как два составных элемента, в партийную политику, в чем, пожалуй, наиболее ярко выявилась сатанинская суть большевизма.

Без сомнения, как и для многих читателей этой книги, 1932 год был важным моментом и моей личной судьбы. Мне исполнился 21 год, я был начинающим журналистом, и, не засиживаясь долго на одном месте, колесил по стране. Проработав два-три месяца в Тбилиси, но не задержавшись там, я осенью 1932 года очутился в Ростове-на-Дону, где и попал в выездную редакцию молодежной газеты «Большевистская смена». Вагон выездной редакции прибыл на станцию Малороссийскую, неподалеку от Тихорецка. В вагоне печаталась походная газета, заполнявшаяся заметками о сборе семян, ремонте инвентаря, вывозке удобрений. На редакционных совещаниях в вагоне порой появлялся начальник политотдела Малороссийской МТС Василий Малых. Он был военный — бригадный комиссар, по-нынешнему в генеральском чине. В станице он продолжал носить шинель: красные ромбики, синие петлицы. Трое его помощников тоже были в военной форме. Все они мало смыслили в сельском хозяйстве. Но этого и не требовалось: их послали не работать в деревне, а покорять деревню, — «политотделы МТС» были официально созданы в январе 1933 года, но на местах они появились раньше, в конце 1932 года, особенно на Северном Кавказе, где с ноября 1932 года действовала так называемая «комиссия Кагановича». На одном из редакционных совещаний Малых ругался, что в хуторе Хоперском у старого казака не отобрали кукурузу. Когда начальнику политотдела сказали, что кукуруза пересушена и все равно не годится на семена, он закричал:

«Кукурузу пересушили, а вас будто вымочили... размягчились! Когда, наконец, вы поймете, что тут борьба? Не на жизнь, а на смерть борьба. Либо мы их, либо они нас. Полмешка кукурузы... — да этого старику со старухой на полгода хватит! Будут пожевывать да посматривать: 'Ну-ка, как-то пойдут дела у советской власти с колхозами?' Нельзя оставлять ни зернышка — до тех пор, пока не исчезнет охота посматривать на советскую власть со стороны. Вот когда они скажут советской власти: 'Мы — твои, а ты — наша', тогда можно будет сказать, что колхозный строй утвержден навеки. А пока, товарищи, нам предстоит много работы. Ломать, ломать и ломать!»

В 1932 году власть намеренно организовала голод, чтобы сло-

мать сопротивление крестьянства. На Северном Кавказе именно этим и занималась «комиссия Кагановича». Шестнадцать кубанских и терских станиц — Полтавская, Медведовская, Урупская, Багаевская и другие — были полностью выселены в места ссылки и «спецпоселений». По подсчетам известного русского зарубежного ученого-экономиста проф. С. Н. Прокоповича, от голода в 1932—1933 годах умерло около девяти миллионов человек.

Картины того страшного времени теперь известны даже и по советской литературе, вернее, по литературе периода XX и XXII съездов. Вот «Кончина» — повесть Владимира Тендрякова:

«В Петраковской падал скот от бескормицы, люди ели хлеб из крапивы, колобашки из куглины, пареную кашу из дягиля. И не в одной Петраковской. По стране шел голодный год — тысяча девятьсот тридцать третий.

В районном городе Вохрово, на пристанционном скверике, умирали высланные из Украины раскулаченные куркули. Видеть там по утрам мертвых вошло в привычку, приезжала телега, больничный конюх Абрам наваливал трупы.

Умирали не все, многие бродили по пыльным, неказистым улочкам, волоча слоновьи от водянки, бескровно голубые ноги, собачьи просящими глазами ощупывали каждого прохожего. В Вохрове не подавали; сами жители, чтобы получить хлеб по карточкам, становились с вечера в очередь к магазину.

Тридцать третий год . . .»

И «Хлеб — имя существительное», повесть Михаила Алексеева:

«Вслед за кулаками из села — только уж добровольно — двинулся середняк. По чьему-то распоряжению был вывезен весь хлеб и весь фураж. Начался массовый падеж лошадей, а в тридцать третьем — страшный голод: люди умирали семьями, рушились дома, редели улицы, все больше и больше окон слепо — уезжающие в город наглухо забивали их досками и горбылями. Ныне, спустя тридцать с лишним лет после того ужасного года, * памятью о нем остались только бугры от фундаментов, да котлованы от погребов, да то там, то сям видневшиеся из-под земли перламутровые отблески ракушек: ракушки эти вылавливались в реке, в озерах, ими люди пытались спастись от голодной смерти».

«По чьему-то распоряжению . . .» — по чьему?

* Повесть «Хлеб — имя существительное» печаталась в журнале «Звезда» в январе 1964 года, а повесть «Кончина» — в журнале «Москва» в марте 1968 года.

7 августа 1932 года был издан закон, согласно которому голодный человек не имел права даже подобрать колоски, обретенные на сжатой полосе или дороге, — за «колоски» ссылали в лагерь. Близ станции Малороссийской, где стоял вагон нашей выездной редакции, расположена станция Архангельская, — там весной 1933 года мне довелось быть свидетелем такой сцены: в станцию приехал, разумеется, специальным поездом, М. И. Калинин, «всесоюзный староста». На встречу с ним согнали народ — из тех, кто еще мог двигаться, кто еще не опух от голода. Вдруг из толпы вырвалась молодая казачка, кинулась на колени перед Калининым и крикнула:

— Помогите! Казака моего за колоски забрали!

Калинин нагнулся к ней и, помогая подняться, тихо сказал:

— Что же я могу поделать?

Я стоял поблизости и слышал эти слова. «Что же я могу поделать?» — сказал «глава государства», «президент Советского Союза». За ним стоял в коричневом кожаном пальто, с маузером в деревянном футляре на поясе, начальник Северо-Кавказского управления ОГПУ Е. Евдокимов...

«По чьему-то распоряжению...» Порой даже и крупные коммунисты не понимали того, что творилось в стране и... жаловались Сталину! Так, Р. Терехов, член партии большевиков с 1912 года, работавший в 1932 году в Харьковской области, решил «доложить» Сталину о голоде на Украине. Тридцать с лишним лет спустя, 26 мая 1964 года, он рассказывал в «Правде»:

«Когда в 1932 году в связи с недородом в Харьковской области пришлось докладывать Сталину о тяжелом положении в селах и просить выделить этим районам хлеб, он послушал, а потом вдруг резко оборвал:

— Нам говорили, что вы, товарищ Терехов, хороший оратор, оказывается, вы хороший рассказчик — сочинили такую сказку о голоде, думали нас запугать, но — не выйдет! Не лучше ли вам оставить посты секретаря обкома и ЦК КПУ и пойти работать в Союз писателей: будете сказки писать, а дураки будут читать...

Не говоря уже об оскорбительном высокомерии по отношению к писательскому труду, которое сквозит в этой реплике, она наглядно показывает, как относился Сталин к нуждам народа. А ведь речь шла о многих тысячах крестьян, попавших из-за засухи в тяжелое положение».

Интересно бы знать, понимает ли этот старый большевик, член партии с 1912 года, если он еще жив, — понимает ли он теперь, что речь шла не о тысячах, а о миллионах крестьян, и что «в тяжелое положение» они попали вовсе не из-за засухи?

Конечно, за пределами Советского Союза правда об искусственно организованном голоде на Украине и на Северном Кавказе была давно известна. Еще в 1953 году, больше десяти лет до статьи Р. Терехова в «Правде», до повестей М. Алексеева и В. Тендрякова, в одной из программ радиостанции «Свобода» выступал инженер Николай Диденко, в 1932—1933 гг. работавший в Харькове, в управлении Южной железной дороги. Вот что он рассказывал:

«Однажды меня вызвал к себе в кабинет начальник дороги Лившиц.

— Мне неприятно, — сказал он, — но я вынужден послать вас заняться спецперевозками. Наша дорога обязана ежедневно предоставлять в распоряжение ОГПУ полтораста вагонов для спецперевозок. Вагоны подаются нерегулярно. На вашей обязанности — устранить задержки.

Не сразу я понял, что это были за спецперевозки. Оказалось — вывозка трупов людей, погибших от голода в городах Украины. В Харькове, на Холодной горе, по Университетскому шоссе, стояла больница № 12. Там — десять деревянных барачков и большой двор, огороженный колючей проволокой. Так вот, специальные бригады, работавшие под руководством ОГПУ, свозили в эту больницу трупы со всех концов Харькова. К вечеру весь больничный двор и барачки были заполнены. Ночью подавались вагоны — начиналась погрузка. Поезда, груженные трупами, отправлялись туда, где были приготовлены рвы.

На Южной железной дороге было 27 таких погрузочных пунктов. В Харькове каждую ночь загружалось трупами до тридцати вагонов. Не меньше и в Полтаве, где трупы складывались штабелями, как шпалы, вдоль железнодорожной ветки».

В повести Михаила Алексеева, там где он говорит о перламутровых отблесках ракушек, дальше читаем:

«Дети, глядя на эти посверкивающие останки исчезнувшей и непонятной для них жизни, спрашивают теперь мать либо отца:

— А что, тут разве было когда-нибудь море? Откуда эти ракушки?

Отец, мать, бабушка или дедушка молчат. И что они могут сказать несмысленншу? Зачем говорить об этом малышам, зачем бередить, тревожить детское сердце?»

Отцы молчат... Но «несмысленнши» подрастают и продолжают спрашивать. Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ М. М. ЛИТВИНОВА В США

Кем-то было однажды сказано, что внутренний, духовный мир человека навсегда окрашен впечатлениями первых двадцати лет его жизни. Так это или не так, но у многих действительно чрезвычайно сильны воспоминания детства. Детство пишущего эти строки прошло в глубине Сибири, в деревне Подъяндинской, на берегу реки Кан, падающей с Саянских предгорий. И вот, помню летний день 1917 года, у деревенской сборни толпятся мужики, бабы, шныряют ребятишки, — и я среди них, мне было шесть лет тогда, — а на крылечке стоит Никита Прокушев, только что пришедший с фронта. Он — в шинели, в солдатской шапке на фиолетовой, наголо бритой голове. Держит в руках разодранный напополам портрет царя Николая II, который он снял в сборне со стены, и объявляет:

— Таперича будем жить, как в Америке — без царя! Нам, мужикам, таперя полная свобода!

Некоторые мужики — в том числе мой отец — осуждали Никиту, обзывали его «варнаком», «дикочарым», но все же с любопытством присматривались, как этот вернувшийся с фронта солдат принялся в сибирской деревне «разводить Америку». Первым делом он организовал сельскохозяйственную кооперацию, которая давала мужикам напрокат или продавала в кредит разные сельскохозяйственные машины. Прокушев оказался горазд на выдумки: он не только применял машины, но изобретал всяческие механические приспособления. Так, он в начале 1920-х годов устроил у себя на дворе водопровод: ткнет корова мордой в железную чашку — вода польется! «Мериканец!» — удивлялись мужики на Никиту. Иные похвалы приправляли руганью: «Мозговитый, сукин сын!»

Вот этот мужик-мериканец — одно из самых ярких впечатлений моего детства. Увы, он ошибался, думая, что «нам, мужикам, таперя полная свобода». В тридцатом году Никиту Прокушева постигла «раскулачка», так он и погиб где-то в лагерях, на слюдяных копях. Но, что бы мы ни думали об Америке, нельзя не признать того, что в русской революции была «американская мечта».

Крупнейшим событием 1933 года было установление дипломатических отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки.

7 ноября 1933 года в Нью-Йорк прибыл народный комиссар по иностранным делам Максим Литвинов. Его прибытие, не зря приуроченное к шестнадцатой годовщине Октябрьской революции, было обставлено с большой театральностью. Еще в открытом океане, задолго до входа в нью-йоркскую гавань, пароход «Беренгария», на котором находился Литвинов, был встречен двумя пароходами с кинооператорами, журналистами, фотографами. Потом навстречу пароходу «Беренгария» вышел военный катер, на котором ехал заведующий протокольной частью Государственного департамента. Поднявшись на борт парохода, он от имени президента Франклина Д. Рузвельта приветствовал М. М. Литвинова. В тот же день Литвинов был принят Рузвельтом в Белом Доме. Речь шла об установлении дипломатических отношений между СССР и США. В первой же своей речи в Америке Литвинов говорил о том, что революционная Россия вдохновляется примерами Америки:

«Поставив себе задачу на развалинах семилетней войны построить новое государство на новых общественно-экономических принципах, народы нашего Союза не могли не вдохновляться примерами и методами подчинения сил природы нуждам человека, которые позволили американскому народу в сравнительно короткий срок создать самое мощное технически прогрессивное государство, обогнав более старые континенты. В моей стране особенно популярны такие выражения, как 'американская техника', 'американские темпы', 'американский размах' и 'американская практичность'».

Революционная Россия и революционная Америка... Вспомним Радищева. Екатерина Вторая про Радищева говорила, что «Французская революция ево решила себе определить в России первым подвизателем». Радищев стал идеологом антифеодалных, антимонархических, антипомещичьих сил в России. Естественно, что он обращал свой взгляд к Америке, о которой в 1781 году писал в оде «Вольность»:

К тебе душа моя вспаленна,
К тебе, словутая страна,
Стремится, гнетом где согбенна
Лежала вольность попрана;
Ликуешь ты, а мы здесь страждем!
Того ж, того ж и мы все жаждем...

«Того ж, того ж . . .» Чего именно? Тут можно видеть одну непрерывную линию — от Радищева до сибирского крестьянина Никиты Прокушева. В оде «Вольность», говоря об Америке, Радищев особенно подчеркивал, что там —

Дух свободы ниву греет,
Весслезно поле вмиг тучнеет,
Себе всяк сеет, себе жнет.

«Себе всяк сеет, себе жнет . . .» Такова была мечта Радищева. Такова была и мечта Никиты Прокушева, который в 1917 году, вернувшись с фронта, объявил в деревне: «Таперича будем жить, как в Америке — без царя! Нам, мужикам, таперя полная свобода!»

Вслед за Радищевым, как известно, американофилами были декабристы. Пестель изучал историю Америки. Никита Муравьев копировал Конституцию США, и его план федерального правительства для России был разработан по американскому образцу. Радищевскую традицию продолжал Н. Г. Чернышевский, статьи которого на американские темы многочисленны, а также Лавров, Бакунин, особенно Герцен, который писал, что «если Россия освободится от петербургской традиции, у ней есть один союзник — Северо-Американские штаты».

1860-е годы, когда уничтожение рабства в Америке совпало с отменой крепостного права в России, были порою расцвета дружбы между этими двумя странами, которые, по выражению Герцена, «сошлись затылками, обогнув Европу».

Да и после Герцена . . . Как в Америке, так и в России передовые люди мечтали о дружбе этих двух стран. Такой русский государственный деятель, как Витте, побывав в 1905 году в Америке, писал, что «мы, русские, и по культуре, и по религии американцам сродни». П. И. Чайковский, ездивший в Америку в конце прошлого века, отмечал в дневнике, что «американские порядки, американские нравы и обычаи мне очень симпатичны».

Да и после октября 1917 года . . . В московских газетах и журналах пооктябрьской поры можно найти воспоминания о поездках в Америку таких крупных деятелей как народные комиссары Ногин, Серебровский, Осинский; летчики Громов, Леваневский, Вайдуков и Чкалов; инженеры Бардин, Туполев, Шейнман, Богопольский, Киеня; архитекторы Иофан и Щуко; писатели Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Борис Пильняк, Илья Ильф и Евгений Петров, Борис Кушнер, Илья Эренбург и другие. В их воспоминаниях порой прорываются восклицания вроде вос-

кличания П. И. Чайковского: «Американские порядки, американские нравы и обычаи мне очень симпатичны». В ноябре 1933 года как Россия, так и Америка радовались установлению дипломатических отношений.

Первой страной, признавшей новый режим в России, была Германия, — она признала советскую власть в 1922 году. В 1924 году признание последовало со стороны Англии, Франции, Италии, Китая. В 1925 году были установлены дипломатические отношения с Японией. Почему же Америка так долго — до ноября 1933 года — откладывала признание Советского Союза? Что имел в виду корреспондент «Нью-Йорк Таймс», когда он телеграфировал из Вашингтона:

«Для того, чтобы удовлетворительно достигнуть этой цели, Литвинову придется преодолеть многие предрассудки и устранить многие недоразумения».

«Предрассудки и недоразумения...» Это, конечно, было сказано дипломатически. В действительности, то были опасения — и серьезные опасения! Какого же рода? В конце концов, они сводились к словам Радищева: «Себе всяк сеет, себе жнет». Никита Прокушев ошибался, когда говорил: «Таперича будем жить, как в Америке — без царя!» Как раз в конце двадцатых годов в Кремле воцарился «царь» — страшнее Ивана Грозного! И никто уже не мог в России «себе сеять, себе жать». Более того, эту свободу — свободу себе сеять, себе жать — новая власть пыталась отнять и у народов других стран. Внешняя политика ЦК РКП(б) с самого начала была направлена, говоря словами Ленина, «на установление советской власти во всех странах». То была политика восстаний-путчей в Германии, политика разжигания гражданской войны в Китае, политика интриг и махинаций. В ноябре 1933 года Америка все же пошла на сближение, на признание. Газета «Вашингтон пост» тогда писала:

«Сообщения Рузвельта и Литвинова кладут конец прошлому и готовят взаимные выгоды в будущем».

«Нью-Йорк Таймс», 17 ноября 1933 года:

«Переговоры заняли десять дней. Какой-нибудь будущий историк может назвать их — 10 дней, которые стабилизировали положение во всем мире».

Эти десять дней больших надежд принадлежат 1933 году. Но — и будущему! Хочется верить, что в современной России есть силы, которые понимают, что только полная десталинизация внешней политики СССР, только признание незыблемости принципа «Себе всяк сеет, себе жнет», может обеспечить стабилизацию положения во всем мире.

ВЫСТРЕЛ В СМОЛЬНОМ

В 1934 году исполнилось десять лет со дня смерти Ленина. В начале того года в Москве состоялся семнадцатый съезд партии. И, выступая на этом съезде, Н. К. Крупская говорила:

«За эти десять лет было много пережито. Мы все помним, как первое время после смерти Владимира Ильича разгорелся спор о том, каким путем идти».

Н. К. Крупская говорила так, как будто после смерти Ленина был выбран правильный путь развития страны. Между тем, как раз в 1934 году и открылись роковые глубины моря русской революции.

Воскресным утром 2 декабря 1934 года на первых страницах газет появилось «Правительственное сообщение»:

«1 декабря 1934 года, в 16 часов 30 минут, в городе Ленинграде, в здании Ленинградского Совета (бывший Смольный), от руки убийцы, подосланного врагами рабочего класса, погиб Секретарь Центрального и Ленинградского Комитетов ВКП(б) и член Президиума ЦИК СССР товарищ Сергей Миронович Киров. Стрелявший задержан. Личность его выясняется».

По радио передавали траурный марш Шопена.

На первой странице «Правды» — портрет Кирова в траурной рамке. Под портретом — письмо, начинавшееся такими строками:

«Нашу партию постигло большое несчастье. 1 декабря от руки злодея-убийцы, подосланного классовыми врагами, погиб товарищ Киров».

Это письмо подписали 19 человек. Первым — Сталин. Но затем шли подписи Власа Чубаря, Яна Рудзутака, Станислава Косиора, Павла Постышева, Авеля Енукидзе, которым вскоре тоже было суждено погибнуть. Под письмом стояла подпись и Серго Орджоникидзе, вскоре покончившего самоубийством. Подписал письмо и Николай Ежов, один из организаторов террора, начавшегося вслед за убийством Кирова, — Ежов и сам пропал без вести, сгинул в кровавом омуте. Подписал письмо Григорий Петровский, старый большевик, снятый со всех постов, поставленный на должность заместителя директора Музея Революции. Из

тех, кто вместе со Сталиным подписал это письмо, на партийной верхушке остались только двое — Ворошилов и Микоян.

В тот же день, 2 декабря 1934 года, в газетах появился еще такой документ:

«Извещение. — Для организации похорон товарища Кирова Сергея Мироновича образована комиссия в составе: Енукидзе, Чудова, Алексеева Петра, Гамарника, Хрущева, Булганина».

Из шести членов комиссии по организации похорон Кирова — четверо погибли во время ежовщины. В живых остались только двое — Хрущев и Булганин.

На следующий день, 3 декабря 1934 года, в газетах появились такие официальные сообщения:

«В связи с несчастьем, постигшим партию и рабочий класс Советского Союза, 2 декабря, утром, в Ленинград прибыли товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов и Жданов».

«Сообщение Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР. — Данными предварительного следствия установлено, что фамилия злодея, убийцы товарища Кирова — Николаев (Леонид Николаевич), 1904 года рождения, бывший служащий Ленинградской РКИ. Следствие продолжается».

Гроб с телом Кирова был поставлен в Колонном зале Дворца Урицкого. Под низко нависшим декабрьским небом к дворцу шли выборгские, нарвские, василеостровские рабочие, красноармейцы, моряки, летчики, дети. Никто из них, конечно, и не догадывался, что ждало Россию после убийства Кирова. У гроба, по четырем углам, стоял почетный караул: Угаров, Ирклис, Позерн, Струппе, Петр Алексеев, Смородин... — все это были уже обреченные люди.

Тем временем в Смольном и на Шпалерной, в здании Управления НКВД по Ленинградской области, в отделанной дубом комнате с портретом Сталина на стене, производились допросы по делу Кирова. В допросах принимал участие обосновавшийся в Смольном Сталин. Ему помогал известный энкаведист Яков Агранов, прибывший из Москвы.

Во вторник 4 декабря в газетах появились новые сообщения НКВД. В сообщении об обстоятельствах смерти Кирова говорилось:

«... Около кабинета товарища Кирова в Смольном, где обычно происходит прием посетителей, Николаев в момент, когда товарищ Киров проходил в свой служебный кабинет, подойдя сзади, выстрелил из револьвера в затылок товарищу Кирову. Убийца тут же был задержан. Прибывшие профессора Добротворский,

Дженалидзе, Гессе и другие застали товарища Кирова без пульса и дыхания».

Еще одно сообщение:

«За халатное отношение к своим обязанностям по охране государственной безопасности в Ленинграде Народным Комиссариатом Внутренних Дел смещены со своих должностей и переданы суду: начальник Управления НКВД по Ленинградской области Медведь, заместитель начальника Управления НКВД по Ленинградской области Фомин и ответственные работники управления — Горин, Лобов, Янишевский, Петров, Пальцевич, Люсевич. Временное исполнение обязанностей начальника Управления НКВД по Ленинградской области поручено заместителю Народного Комиссара Внутренних Дел товарищу Агранову».

Тело Кирова было перевезено в Москву. Гроб был установлен в Колонном зале Дома союзов. Оркестр Большого театра играл Пятую симфонию Чайковского. Перед гробом Кирова проходила делегация Общества старых большевиков, — вскоре это Общество было ликвидировано. В делегации советских писателей, пришедшей к гробу Кирова, были писатели Исаак Бабель и Сергей Третьяков, — они погибли. В почетном карауле у гроба стояли: Тухачевский, Гамарник, Егоров, Корк, Эйдеман, Алкнис, Дыбенко, — все они впоследствии погибли.

Тем временем появлялись новые и новые правительственные сообщения в связи с делом Кирова. 4 декабря НКВД опубликовало длинный список так называемых «белогвардейцев», будто бы виновных «в подготовке террористических актов против советской власти». На следующий день, 5 декабря, было сообщено, что «белогвардейцы» расстреляны. Это должно было означать, что Николаев, убийца Кирова, был подослан «белогвардейцами». Но 17 декабря в газетах появились новые сообщения о том, что Киров был убит «троцкистским выродком, членом контрреволюционной зиновьевской подпольной группы, по прямому заданию врагов народа — Троцкого, Зиновьева и Каменева».

Кто убил Кирова? И как именно произошло убийство? За рубежом вышло несколько книг на эту тему. Одну из них — «Лицо жертвы» — написала Елизавета Лермоло, которая в 1934 году была арестована в связи с убийством Кирова. В одном из политизоляторов она встретилась с Катей Рогачевой, сестрой Леонида Николаева, убийцы Кирова. Елизавета Лермоло рассказывает:

«Мы восстановили цепь событий... В 4 часа 30 минут, 1 декабря 1934 года, Николаев появился в Смольном с намерением убить Кирова. Кирова никто не охранял. Николаев выстрелил и застрелил его, затем выстрелил в самого себя. Вокруг никого не

было. Где был Борисов, телохранитель Кирова? Оказывается, в этот момент он ездил на автомобиле по улицам Ленинграда».

Вот другая книга — «Тайны сталинских преступлений» — написанная Александром Орловым, бывшим ответственным работником НКВД. Александр Орлов рассказывает:

«Когда Николаев вошел в коридор Смольного, Борисов, телохранитель Кирова, был занят приготовлением подноса с чаем и бутербродами, который он вскоре отнес в зал заседаний, где заседало бюро Ленинградского обкома партии под председательством Кирова. Николаев терпеливо ждал. Некоторое время спустя Борисов опять вошел в зал заседаний и передал Кирову, что его вызывает Кремль по прямому проводу. Минуты две спустя Киров поднялся с места и вышел из зала заседаний, закрыв за собою дверь. В этот момент раздался выстрел».

Какая версия правильна и какая неправильна? Александр Орлов повторяет то, что ему рассказывал другой ответственный работник НКВД, Александр Шанин, близкий друг Ягоды. Елизавета Лермоло в свою очередь повторяет то, что ей рассказывала сестра Леонида Николаева, убийцы Кирова. Есть и другие версии . . . Обстоятельства, при которых был убит Киров, изучал Борис Иванович Николаевский, известный историк русского революционного движения, бывший сотрудник Института Маркса-Энгельса. Б. И. Николаевский пишет:

«Внешняя обстановка убийства Кирова в точности неизвестна. В рассказах, которые проникли в зарубежную печать, имеется немало расхождений. Иначе и быть не может, так как мы имеем дело со слухами, передаваемыми из вторых и третьих рук. Орлов передает слухи, которые ходили тогда среди чекистов, Лермоло — слухи, циркулировавшие среди политических заключенных. Но эта внешняя обстановка убийства Кирова для понимания большого политического значения этого события имеет лишь второстепенное значение. Много более важна обстановка, в которой велось следствие по делу об этом убийстве. Ее мы знаем точно.

Сталин примчался в Ленинград на специальном поезде, взяв с собою не только Жданова, своего ближайшего подручного по секретариату ЦК компартии, но и Молотова, главу правительства, и Ворошилова, тогда стоявшего во главе Советской армии. Это была делегация, которая не только имела формальное право принимать все решения, включая самые важные, но имела и фактическую власть, чтобы немедленно проводить их в жизнь. Жданов был немедленно назначен заместителем Кирова на всех постах, которые тот занимал.

Но вместе со Сталиным в Ленинград тогда примчалась не одна только эта делегация. Особый поезд, который доставил Сталина, был переполнен людьми из личного секретариата Сталина и из так называемого Особого сектора секретариата ЦК, которые играли роль секретной Чекы, находившейся под личным руководством Сталина. С ними прибыло также значительное число особо отборных и на все готовых телохранителей Сталина. Сталин ехал в Ленинград с уже принятым решением немедленно же произвести жесточайшую чистку всего партийного и советского аппарата, который был подобран Кировым за девять лет его пребывания в Ленинграде.

Первой же мерой, которую он провел, было отстранение от дел всего аппарата Ленинградского отделения НКВД. Комиссаром с диктаторскими полномочиями был назначен Агранов, член Коллегии общесоюзного НКВД, который был известен своей беспощадной жестокостью. Он вел следствие по делу о восстании в Кронштадте, о крестьянских восстаниях в Тамбове и другие, а потому пользовался особым личным доверием Сталина. На Агранова же было возложено и ведение следствия по делу об убийстве Кирова. Это следствие он вел с помощью исключительно тех людей, которые были им привезены из Москвы, — никто из ленинградского аппарата им для помощи не был привлечен.

Все это необходимо знать, чтобы понять все огромное значение одного весьма важного эпизода этого следствия, о котором говорил и Хрущев на XX партсъезде в своем секретном докладе о преступлениях Сталина, а именно о гибели важнейшего свидетеля Борисова, бывшего телохранителем Кирова.

Этот Борисов был старым чекистом, в течение ряда лет состоявшим при Кирове на ролях и телохранителя, и вестового, которым Киров пользовался для выполнения разных мелких поручений. Судя по всем указаниям, этот Борисов был человеком, лично преданным Кирову, и пользовался доверием последнего, а потому знал много подробностей о жизни Кирова, которые не могли не быть важны для следствия. Естественно, что он подлежал допросу в первую очередь, и за ним действительно едва ли не за первым были посланы особо доверенные лица Агранова. Допросить Борисова собирался и лично сам Сталин.

Эти посланные Аграновым люди — агенты личного секретариата Сталина, привезенные из Москвы — действительно взяли Борисова в автомобиль и повезли в Смольный, где обосновался тогда Сталин. Но до Смольного они Борисова не доездили: в пути произошла автомобильная катастрофа, при которой Борисов по-

гиб. Хрущев в своем секретном докладе правильно указывает на 'необычайную подозрительность' этой автомобильной катастрофы: во время нее не пострадал никто из находившихся в этом автомобиле — только один Борисов был убит насмерть. Все остальные остались живы и здоровы — даже без царапинок. В жизни таких катастроф не бывает — они бывают лишь тогда, когда их организуют для устранения кого-либо из нежелательных свидетелей».

Прервем на минуту Бориса Ивановича Николаевского и приведем страницу из доклада Хрущева на двадцатом втором съезде КПСС, в октябре 1961 года, — этот открытый доклад во многом повторяет тот доклад, что был им сделан на закрытом заседании двадцатого съезда КПСС в феврале 1956 года.

«Начало массовым репрессиям было положено после убийства Кирова, — говорит Хрущев. — Надо еще приложить немало усилий, чтобы действительно узнать, кто виноват в его гибели. Чем глубже мы изучаем материалы, связанные со смертью Кирова, тем больше возникает вопросов. Обращает на себя внимание тот факт, что убийца Кирова раньше дважды бы задержан чекистами около Смольного и у него было обнаружено оружие. Но по чьим-то указаниям он два раза освобождался. И вот этот человек оказался в Смольном с оружием в том коридоре, по которому обычно проходил Киров. И почему-то получилось так, что в момент убийства начальник охраны Кирова Борисов далеко отстал от Кирова, хотя по инструкции не имел права отставать на такое расстояние от охраняемого. Весьма странным является и такой факт. Когда начальника охраны Кирова везли на допрос, а его должны были допрашивать Сталин, Молотов и Ворошилов, то по дороге, как потом рассказал шофер этой машины, была умышленно сделана авария теми, кто должен был доставить начальника охраны на допрос. Они объявили, что начальник охраны Борисов погиб в результате аварии, хотя на самом деле он оказался убитым сопровождавшими его лицами. Таким путем был убит человек, который охранял Кирова. Затем расстреляли тех, кто его убил. Это, видимо, не случайность, это продуманное преступление. Кто это мог сделать? Сейчас ведется тщательное изучение обстоятельств этого сложного дела».

Борис Иванович Николаевский:

«Хрущев в своем докладе правильно указал, что эта таинственная и непонятная история с гибелью Борисова требует тщательного расследования. Было ли такое расследование произведено, и какие оно дало результаты, до сих пор неизвестно. Но таких загадочных обстоятельств в следствии по делу об убий-

стве Кирова, как оно велось по директивам Сталина, имеется целый ряд. Все это следствие велось совсем не для того, чтобы выяснить настоящие причины убийства Кирова и найти подлинных виновников, которые подстрекнули Николаева на его деяние. Как в истории с Борисовым, подлинной задачей этого следствия было получить запятать действительное значение убийства и тех подстрекателей, которые держались далеко за кулисами.

Чтобы выяснить это подлинное значение убийства Кирова, нужно идти совсем другим путем — и прежде всего поставить вопрос: кому это убийство было выгодно? Кто оказался от него в выигрыше?

В 1933—1934 годах Киров сделал попытку изменить общий курс политики советской диктатуры — и политики внутренней, и политики внешней. Сталин был против этих перемен. В честной политической борьбе внутри партии Сталин тогда потерпел поражение. Киров был намечен на пост преемника Сталина и должен был переехать в Москву, чтобы взять в свои руки руководство аппаратом ЦК. Убийство Кирова помешало этому переезду и помешало перемене политики. Сталин остался у власти и повел страну через кровавые годы ежовщины к тягчайшим испытаниям военных лет».

Так говорил Борис Иванович Николаевский. В 1936 году, будучи в Париже, он встречался с приехавшим туда Н. И. Бухариным, — обо всем этом они беседовали, многое из этих бесед потом вошло в статьи Б. И. Николаевского. Таким образом, по мнению этого осведомленного человека, подоплека убийства Кирова в том, что Киров пытался изменить общий курс политики диктатуры. Не потому ли и приостановлено то «тщательное изучение обстоятельств этого сложного дела», о котором говорил Хрущев на двадцать втором партсъезде? В каком направлении Киров предполагал изменить политику? Правда ли, например, что Киров — как это мы знаем от того же Б. И. Николаевского — предлагал создать вторую партию в Советском Союзе? Правда ли, что его поддержал в этом Максим Горький? Правда ли, что возглавить эту партию должен был академик Карпинский? Если все это так, то это тоже относится к обстоятельствам дела Кирова. Как раз эти-то обстоятельства, пожалуй, и являются самыми важными — важными не только для выяснения исторического прошлого, но и для выяснения перспектив будущего.

1935

МИФ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА»

«...Поднимаемся по лестнице. На окнах белые полотняные занавески. Это три окна квартиры Сталина. В крохотной передней бросается в глаза шинель, над ней висит фуражка. Три комнаты и столовая. Столовая имеет овальную форму, сюда подается обед из кремлевской столовой или домашний, приготовленный кухаркой. Тут же играет маленький мальчик. Старший сын Яша спит в столовой, — ему стелят на диване; младший — в крохотной комнатке, вроде ниши».

Это — строки из книги Анри Барбюса о Сталине. Отрывок из книги был напечатан в «Правде» 1 мая 1935 года. До того советские граждане ничего не знали о личной жизни Сталина. Но в 1935 году, вслед за очерком Анри Барбюса, в той же «Правде» появился снимок Сталина, обнимающего маленькую дочь Светлану.

1935 год, новая линия партийной пропаганды, — старания очеловечить, «гуманизировать» образ Сталина. Именно тогда, в 1935 году, на всесоюзном совещании стахановцев, Сталин произнес знаменитое: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее». И Бухарин, подводя итоги 1935 года, писал в «Известиях» (1 января 1936 г.), что «истекший год был годом начального расцвета социалистического гуманизма».

Но вот вопрос: почему этот «социалистический гуманизм», будто бы начавший расцветать в 1935 году, вскоре привел к ежовщине? Трагедия «социалистического гуманизма» и была трагедией 1935 года.

4 мая 1935 года, в Кремлевском дворце, на выпуске командиров, окончивших академию Красной армии, Сталин произнес речь, в которой рассказал, между прочим, следующее:

«Я вспоминаю случай в Сибири, где я был одно время в ссылке. Дело было весной, во время половодья. Человек тридцать ушло на реку ловить лес, унесенный разбушевавшейся громадной рекой. К вечеру вернулись они в деревню, но без одного товарища. На вопрос о том, где же тридцатый, они равнодушно

ответили, что тридцатый 'остался там'. На мой вопрос: 'Как же так, остался?' они с тем же равнодушием ответили: 'Чего ж там еще спрашивать, утонул, стало быть'. И тут же один из них стал торопиться куда-то, заявив, что 'надо бы пойти кобылу напоить'. На мой упрек, что они скотину жалеют больше, чем людей, один из них ответил при общем одобрении остальных: 'Что ж нам жалеть их, людей-то? Людей мы всегда сделать сможем. А вот кобылу... попробуй-ка сделать кобылу'. Вот вам штрих, может быть, малозначительный, но очень характерный».

Забота о человеке... , или, как тогда говорили, «сталинская забота о человеке»... Именно в этой речи, 4 мая 1935 года, Сталин сказал, что старый лозунг «техника решает все» теперь должен быть заменен новым лозунгом «кадры решают все».

Не прошло, однако, много времени, как началось избиение «кадров». Началась страшная пора — пора ежовщины.

В начале 1935 года Максим Горький, в обращении к съезду советов Горьковского края, призывал «помнить, что в мире воспламенен подлинный гуманизм пролетариата, гуманизм, цель которого — освобождение пролетариев всех стран из железной клетки капитала».

Чем же обернулся этот «гуманизм»?

Если мы хотим понять историю минувшего полувека, мы должны задуматься над этой трагедией — трагедией «пролетарского гуманизма».

Правда, то обстоятельство, что о гуманизме заговорили именно в тридцать пятом году, объясняется отчасти и политическими причинами. Прежде всего усиленная пропаганда «социалистического гуманизма», или создание мифа «социалистического гуманизма», по-видимому, входило в план ежовщины, массового террора, начавшегося убийством Кирова. Были и другие причины, одна из которых заключалась в том, что нацисты, фашисты откровенно называли себя антигуманистами и разрабатывали антигуманистическую идеологию. Большевизм во многом подобен фашизму, но, опять-таки, по разным причинам большевики не хотели походить на фашистов и нацистов, даже как бы стыдились сходства с ними. И вот, в середине 1930-х годов они начали изо всех сил трубить о своем, будто бы, «гуманизме».

Для нас, людей моего поколения (мне в 1935 году исполнилось 24 года), в этом было много нового, поскольку до того проблема гуманизма вовсе никак не ставилась, и даже само слово «гуманизм» считалось предосудительным. В январе 1932 года Алексей Сурков, впоследствии возглавлявший Союз советских писателей, напечатал в журнале «Октябрь» статью о том, мож-

но ли считать Иосифа Уткина пролетарским поэтом. Нет, — говорил Сурков, — Иосиф Уткин только «географически» находится «в пределах пролетпоэзии», поскольку состоит членом РАПП, Российской ассоциации пролетарских писателей. «Паспорт пролетарского поэта, — писал Сурков, — наша критика выдала Уткину за его 'Первую книгу стихов'. Перелистывая эту книгу сейчас, недоумеваешь, чем руководствовались паспортисты?» Чем же, по мнению Суркова, была плоха книга Уткина? «Гуманистическими рассуждениями...»

«Угол зрения Уткина на гражданскую войну сугубо общечеловеческий. Из мировоззренческой расплывчатости вырастают гуманистические рассуждения вроде:

Ах, бедная мать,
Ах, добрая мать,
Кого нам любить?
Кого проклинать?

Такие рассуждения никак не свойственны активному участнику боев за Октябрь, отчетливо знающему, кого ему надо любить, кого ненавидеть».

«Гуманистические рассуждения...» Не «буржуазно-гуманистические», а просто «гуманистические»! Полтора года спустя после статьи Алексея Суркова, в том же журнале «Октябрь», в июне 1933 года, появилась статья Ивана Катаева, члена тогда уже распущенного литературного содружества «Перевал»:

«Нас, бывших перевальцев, — писал Иван Катаев, — хотели вычеркнуть из литературы за одно только слово: 'гуманизм'. Никогда мы сами не думали о нем как о христианском всепрощении, как о профессорском либерализме, как о классовом примирении. Так промежду собой мы именовали раскрывшееся перед нами художественное мировоззрение, которое ставит в центре своем полноценного и полнокровного человека, владеющего всем арсеналом чувств, в том числе и чувством социальной ненависти. Историческая оглядка была у нас при этом на итальянское возрождение, на Фландрию эпохи гёзов — через образ Тиля Уленшпигеля, на старую Бургундию — через Кола Бреньона, — всё времена, как известно, отнюдь не вегетарианские. Нас неправильно поняли, сочли нужным не понять. Ладно, мы признаем себя виновными в том, что зря пустили этот термин, ибо человек, — а тем более общественная организация, — отвечает не только за то, что он говорит, но и за то, как его понимают».

Далее, в 1934 году в Москве вышла повесть «Жалость». Ее

написала Валерия Герасимова, тогда еще молодая писательница. Повесть была направлена против жалости, против гуманизма. Журнал «Красная новь» — в сентябре 1934 года — писал по этому поводу:

«В свое время, когда буржуазия была еще передовым классом, идеи гуманизма были подлинно прогрессивными. В настоящий же период, подобно тому, как пацифизм в конечном счете имеет целью прикрыть лихорадочную подготовку массовых убийств, так называемый 'гуманизм' стремится прикрыть наглую, бесчеловечную эксплуатацию подавляющего большинства. Гуманизм, жалость к человеку, к его страданиям, к единственной слезинке, пролитой ребенком, из-за которой стоит отказаться от входа в социальный рай, * в сущности являются самым тонким покровом, под которым скрывается лицо хищника. Сорвать с классового врага вуаль гуманизма — задача, поставленная Герасимовой в повести 'Жалость'».

Конечно же, антигуманизм присущ большевизму в не меньшей, а, пожалуй, еще в большей мере, чем фашизму. Гуманизм, жалость к человеку, сострадание — все это чуждо большевизму. Для него ничего не значит «слезинка, пролитая ребенком»: во имя какого-то будущего «социального рая» большевики-ленинцы, большевики-сталинцы пролили моря крови, уничтожили несколько поколений, будто бы во имя «лучшего будущего» других поколений. Но вот, после только что приведенных высказываний, относящихся к 1932, 1933, 1934 годам, вдруг в 1935 году произошел поворот: к слову «гуманизм», до того одиозному, добавили прилагательное «социалистический» (иногда — «пролетарский»), и «гуманизм с прилагательным» стал лозунгом дня.

Одним из теоретиков «социалистического гуманизма» был Н. И. Бухарин, тогда главный редактор газеты «Известия». Подводя итоги 1935 года, он в первоянварском номере писал, что «истекший 1935 год был годом начального расцвета социалистического гуманизма». Почему? Бухарин объяснял:

«Социалистический гуманизм есть фактор величайшего значения именно в наше время, когда идеология может уже реали-

* Не называя Достоевского, автор статьи в «Красной нови», разумеется, имеет в виду знаменитый разговор братьев Карамазовых. На вопрос Ивана, согласился ли бы он «возвести здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой», если бы «для этого необходимо и неминуемо предстояло замучить всего лишь одно крохотное созданище, вот того самого ребеночка, бывшего себя кулачком в грудь и на неотмытых слезах его основать это здание», Алеша ответил: «Нет, не согласился бы».

зоваться в жизненной практике, иметь свое реальное воплощение. Массы чувствуют действительное, материальное и духовное, обогащение своей жизни. Типичный ассортимент 'культурных закупок' — велосипед, духи, патефон, пианино и т. д. — это лишь первые приступы к делу. Но для тех, кто знал прежнего крестьянина и его жизнь, это достаточный критерий настоящих геологических сдвигов. Книга и газета, музыка и театр, радио и кино проложили себе пути повсюду. Прежних берлог уже нет. Катастрофически быстро тают остатки варварских религиозных идеологий. Безликая прежняя общественная стихия, которая находила себе отражение в идее Судьбы (рожна, против которого не попрешь), господство царей и князей, которое находило себе отражение в 'царях небесных', — все это кончилось навсегда. Социалистический гуманизм, забота о всестороннем развитии, о многогранной ('зажиточной' материально и духовно) жизни становится идейной осью нашего времени».

Как видим, расцвет социалистического гуманизма связывался с исчезновением религиозной идеологии, «господства царей и князей», которое, по Бухарину, находило себе отражение в «царях небесных». Пролетарский, или социалистический гуманизм, таким образом, определялся, как атеистический, безбожный. Если христианство говорило о Царстве Божиим, то проповедники социалистического гуманизма рисовали земное царство будущего, которое будто бы решит все проблемы человеческой жизни. Небезынтересно отметить, что проповедникам социалистического гуманизма мерещилась некая «ледяная Эллада» в России, — возврат к дохристианской эре, лишь на новой технической основе. Так — «ледяной Элладой» — называл Россию тот же Иван Катаев в книге «Человек на горе», вышедшей в 1934 году в Москве. Вот как мечталось Ивану Катаеву:

«Синий рай, глубокое счастливое небо. Некая Новая Эллада: туманные фиолетовые мысы, плеск медлительной воды, стройные люди в белых хитонах, с неслышной поступью. Вот как человечество обычно 'вспоминало о будущем'. История рассудила наперекор всем пророкам, поэтам и романтикам. Быть обетованной землей утопических мечтаний, первой страной социализма, она удостоила самую суровую и пасмурную страну Евразии ту, которую западные соседи издавна и — по неуклюжести ее — справедливо называли 'Северным медведем'».

Ледяная Эллада... Теория социалистического гуманизма, противопоставленного христианству... Какая же судьба постигла Ивана Катаева, мечтавшего о «ледяной Элладе»? Он погиб в лагерях. И что случилось с Бухариным, теоретиком социалистичес-

кого гуманизма? Он был расстрелян в марте 1938 года. История 1935 года, который, по мнению Бухарина, был «годом начального расцвета социалистического гуманизма», показывает, что, отвергая Бога, человек попадает в страшное рабство — не Богу, а человеку. «Гениальный вождь народов», «любимый отец», «великий кормчий», «преобразователь мира», «кузнец счастья», «солнце»... — так, отрекаясь от Бога, социалистический гуманизм привел к новому культу, к новому — ложному! — божеству. В этом и состоит трагедия 1935 года — трагедия социалистического гуманизма.

В 1935 году были предприняты попытки пропаганды «очеловечить», «гуманизировать» образ Сталина. Парадокс 1935 года в том, что вместо этого образовался культ Сталина, и Сталин совсем уже превратился в какого-то мифического полубога. В этом отношении характерна страничка из воспоминаний Ильи Эренбурга, относящаяся к 1935 году:

«Вскоре после моего приезда в Москву, редакция дала мне билет на совещание рабочих-стахановцев. Я пришел за час до назначенного времени, а Большой зал Кремлевского дворца был уже заполнен. Люди разговаривали друг с другом вполголоса; никто не вставал с места. Это никак не походило на шумные митинги Парижа в набитых прокуренных залах. Я спрашивал соседей, где сидит Стаханов, знают ли они Кривоноса, Изотова, Виноградовых.

Вдруг все встали и начали неистово аплодировать: из боковой двери, которой я не видел, вышел Сталин, за ним шли члены Политбюро — их я встречал на даче Горького. Зал аплодировал, кричал. Это продолжалось долго, может быть, десять или пятнадцать минут. Сталин тоже хлопал в ладоши. Когда аплодисменты начали притихать, кто-то крикнул: 'Великому Сталину ура!' — и все началось сначала. Наконец все сели, и тогда раздался отчаянный женский выкрик: 'Сталину слава!'. Мы вскочили и зааплодировали.

Когда все кончилось, я почувствовал, что у меня болят руки. Я впервые видел Сталина и не сводил с него глаз. Я знал его по сотням портретов, знал тужурку, усы, но я думал, что он куда выше ростом. Волосы у него были очень черные, лоб низкий, а глаза живые, выразительные. Иногда, несколько наклоняясь вправо или влево, он посмеивался, иногда сидел неподвижно, глядя в зал, но глаза продолжали ярко освещивать. Я поймал себя на том, что плохо слушаю — все время гляжу на Сталина. Оглянувшись, я увидел, что и другие заняты тем же.

Возвращаясь домой, я чувствовал неловкость. Конечно, Ста-

лин — большой человек, но он коммунист, марксист; мы говорим о новой культуре, а смахиваем на шамана, которого я видел в Горной Шории...»

Таковы парадоксы 1935 года, парадоксы «социалистического гуманизма».

В этой лжи, в этом тумане «социалистического гуманизма», — кровавом тумане, поскольку уже начинался новый период массового террора, — надо, однако, различать такой момент: в сознании русской молодежи того времени впервые возникли вопросы о том, что такое гуманизм, каковы отношения между социальной революцией и духовными ценностями. Многие молодые люди в советской России начали вчитываться в то, что Достоевский, или даже, скажем, Константин Леонтьев, писали о драме гуманизма, о социалистическом антигуманизме, — немногие могли доставать такие книги, но все же некоторые доставали. 1935 год с его лживым мифом «социалистического гуманизма», таким образом, не прошел даром для молодежи моего поколения, не был потерей и ущербом в нашей судьбе, как и в судьбе поколения, следовавшего за нами. Та девочка, которую в 1935 году впервые показали всей стране, дочь Сталина, которую он тогда носил на руках, написала впоследствии в своей книге:

«Вся жизнь моего отца возникла передо мною, как отречение от Разума и Добра во имя честолюбия, как полное отдание себя во власть зла. Ведь я видела, как зло разрушало день за днем его самого, убивало тех, кто стоял за ним близко. А он сам только глубже и глубже спускался в темную бездну лжи, злобы и гордыни. И в этой бездне он, в конце концов, задохнулся».

Никого не спас миф «социалистического гуманизма» — ни Бухарина, ни Ивана Катаева, ни Сталина. Но перед теми, кто понял ложь этого мифа, открылась возможность преодоления драмы гуманизма вообще. В мае 1962 года дочь Сталина крестилась в православной церкви в Москве.

1936

КОНСТИТУЦИОННЫЕ УРОКИ

Ноябрьским вечером 1936 года миллионы людей в России сидели у радиорепродукторов и слушали, как глуховатый голос с сильным грузинским акцентом говорил:

«Товарищи, Конституционная комиссия, проект которой представлен на рассмотрение настоящего съезда, образовалась, как известно, по специальным постановлениям Седьмого съезда советов Союза ССР. Это было 6 февраля 1935 года. Постановление это предлагает, во-первых, внести изменения действующей конституции . . .»

То был голос Сталина. Как председатель Конституционной комиссии, он в ноябре 1936 года делал доклад о проекте Конституции СССР на Чрезвычайном Восьмом съезде советов.

Конституционная комиссия состояла из тридцати одного человека. Выработанная этой комиссией конституция была, по словам Сталина, «построена на началах развернутого социалистического демократизма». Многие члены комиссии вскоре на себе испытали, что означает «развернутый социалистический демократизм». Видными членами Конституционной комиссии были Н. И. Бухарин и Карл Радек, — они писали главную, социально-политическую, часть конституции. Оба они были вскоре арестованы: Бухарин — расстрелян, Радек — приговорен к десяти годам тюрьмы, откуда он так и не вышел. Были расстреляны или погибли в тюрьмах следующие члены Конституционной комиссии: Енукидзе, Икрамов, Ходжаев, Чубарь, Червяков, Сулимов, Акулов, Бубнов, Голодод, Рахимбаев, Мусабеков, Крыленко, Уншлихт. Панас Любченко покончил самоубийством, чтобы избежать ареста и «недозволенных методов следствия». Пять членов комиссии были расстреляны как раз к моменту вступления новой конституции в жизнь. Восьмой съезд советов, утвердивший Конституцию СССР, поручил ЦИК выработать «Положение о выборах», — на сессии ЦИК СССР докладчиком о «Положении о выборах» выступал Я. Яковлев; не прошло много времени, как и он был арестован.

Почему же конституция 1936 года не дала гарантий демократических прав и свобод? Почему она не смогла обеспечить гарантий строгого соблюдения законности? Как вообще могла быть принята конституция, не рассчитанная на применение? Как могли быть введены выборы, не основанные на выборном начале? Короче говоря, какой внутренний порок заложен в конституции 1936 года?

Для того, чтобы получить ответ на эти вопросы, достаточно посмотреть хотя бы в одну статью конституции 1936 года — статью 126-ю. В ней говорится:

«В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной самостоятельности и политической активности народных масс, гражданам СССР обеспечивается право объединяться в *общественные* организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются в коммунистическую партию СССР, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за развитие и укрепление социалистического строя и представляющую руководящее ядро *всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных*».

В статье 126-й ни слова не сказано о *политических* организациях. В ней перечисляются, во-первых, общественные организации: профсоюзы, кооперативы и т. д. В ней упоминаются, во-вторых, «государственные организации», под которыми, по-видимому, надо понимать просто-напросто государственные учреждения. Но в статье 126-й нет термина — «политические организации». Таким образом, при внимательном чтении статьи 126-й мы обнаруживаем то, о чем конституция 1936 года прямо не говорит, а именно — что гражданам СССР запрещается иметь какую бы то ни было политическую организацию, кроме коммунистической партии.

Более того, как это в свое время было отмечено русскими эмигрантскими публицистами, даже и сама компартия не названа в статье 126-й «политической организацией». Компартия описана в статье 126-й так, что ничего специфически-политического нет в ее характеристике. Понятия «политической организации» вообще нет в конституции 1936 года.

Выступая на том же Восьмом съезде советов, Молотов сказал прямо и недвусмысленно:

«Право на легальность для политических партий, кроме партии коммунизма, остается за бортом».

Надо, однако, ничего не понимать в диалектике, чтобы не видеть, что при таких условиях «за бортом» остается и сама партия коммунизма. Если нет политических организаций, значит нет политической борьбы. Если нет политической борьбы, значит нет политической свободы. Но напрасно думать, что при таком положении вещей политическая свобода может быть у коммунистической партии. В таких условиях коммунистическая партия может иметь громадные государственные прерогативы, но это отнюдь не свобода. По своему внутреннему политическому и психологическому содержанию, государственная прерогатива, т. е. исключительное право на власть, и политическая свобода — это вещи совершенно разные. Политической свободой обладают только граждане. Чиновники же — в пределах своих специфических функций — политической свободы не имеют. Они имеют только тот или иной круг прерогатив и тот или иной круг обязанностей. Тут-то и заключена великая опасность для самой компартии: уничтожая политическую свободу для других, она лишает этой свободы самое себя.

К чему это приводит на практике, мы уже видели на примере судьбы членов Конституционной комиссии: сочинив в 1936 году конституцию, лишенную понятия политических организаций и политической свободы, они вскоре сами стали жертвами бесправия и произвола. Ведь, если бы в СССР была политическая свобода и не запрещались политические организации, то разве были бы возможны «культ личности», ежовщина, бериевщина?

По справедливости надо сказать что некоторые члены Конституционной комиссии видели эту опасность. Так, например, Н. И. Бухарин считал, что в Советском Союзе должна быть вторая партия. В феврале 1936 года он приезжал в Париж во главе делегации, которой было поручено вести переговоры о приобретении архивов (рукописей) Маркса и Энгельса. Переговоры велись с Б. И. Николаевским, известным русским социалистом-меньшевиком. Архивы Маркса были переданы Б. И. Николаевскому Германской социал-демократической партией на хранение. Естественно, Бухарин бывал у Николаевского. И вот, однажды Бухарин увидел на столе у Николаевского свежий номер журнала «Социалистический вестник». Тогда, в феврале 1936 года, ходило множество разных слухов о том, какой будет новая Конституция СССР. Журнал «Социалистический вестник» писал:

«Говорят, что основные линии новой конституции и нового избирательного права уже выработаны, но что главным препятст-

вием к опубликованию этих государственных актов является тотчас же всплывшая и, в условиях советской диктатуры, трудно поддающаяся решению проблема оппозиции, способной отставить своих кандидатов в противоположность кандидатам официальным, без чего все выборы превратились бы в слишком очевидную комедию. Говорят, что возник план легализации некоторых социалистических партий, но он был признан опасным и оставлен. Говорят, что, за оставлением этого плана, возник другой — легализации кое-каких 'уклонов' в самой коммунистической партии, но, как еще более опасный, похоронен. Говорят, что возникла идея поручить дело организации 'оппозиции', не выходящей за пределы критики «маленьких недостатков механизма», некоторым почтенным деятелям, известным своею безусловною преданностью сталинскому режиму, но в то же время имеющим не большевистское имя или не стопроцентно большевистское прошлое. В качестве таких лиц называют: Максима Горького, который еще в двадцать втором году, по поводу процесса эсеров, выступал против политики террора; академика Алексея Николаевича Баха, бывшего эсера; академика Александра Петровича Карпинского, ученого еще царского времени, а ныне президента Академии наук. Говорят, что все эти лица, по понятным причинам, отклоняют предложенную им честь, и прибавляют новейший советский анекдот об обвинении их во 'вредительстве' за отказ 'возглавлять оппозицию'».

Н. И. Бухарин, прочитав эту статью, сказал Б. И. Николаевскому:

«Да, вторая партия необходима. Если на выборах выдвигаются кандидаты только одной партии и нет состязания, то это то же самое, что у фашистов. Для того, чтобы люди как в России, так и на Западе видели, что мы не фашисты, не нацисты, мы должны иметь не однопартийную систему, а такую, при которой на выборах состязались бы, по крайней мере, две партии».

Бухарин говорил это в Париже в феврале 1936 года. Как знать, быть может в бухаринском проекте Конституции СССР и был пункт о второй партии . . . Но в декабре 1936 года была опубликована конституция, вводившая выборы, не основанные на выборном начале, конституция, главный коренной порок которой заключен в 126-й статье. Этот-то порок и привел страну, в том числе и партию, к кровавому 1937 году.

Ничто не проходит даром, не пропали и «конституционные уроки» 1936 года. В конце 1950-х годов начался пересмотр конституции 1936 года. В 1959 году Н. С. Хрущев, тогдашний первый секретарь ЦК КПСС, сказал, что эта конституция «не отве-

чает требованиям нашего времени». В 1962 году, на сессии Верховного Совета СССР, он выступил с докладом «О выработке новой Конституции СССР». Два года спустя, в октябре 1964 года, Никита Хрущев был отстранен от власти, причем отнюдь не конституционными методами. Но в декабре того же 1964 года, на пятой сессии Верховного Совета СССР, председателем Конституционной комиссии, вместо Хрущева, был выбран Брежнев. Еще два года спустя, в 1966 году, Брежнев в одной из своих речей опять-таки говорил о «новой конституции» и даже обещал, что проект ее будет готов к 50-й годовщине Октябрьской революции, т. е. к осени 1967 года. И что же? Никакого проекта не появилось... Более того, в 1970 году вышел двухтомный сборник речей Брежнева, — в нем нет никакого упоминания о «новой конституции». То, что Брежнев говорил на эту тему в июне 1966 года, было вычеркнуто при вторичной публикации его речи в книге, вышедшей в 1970 году. Как это надо было понимать? Означало ли это, что нынешние «вожди Советского Союза» решили, что никакой новой конституции не нужно, что и «сталинская» хороша? Но нет... 21 декабря 1972 года, выступая в Кремле по случаю 50-й годовщины со дня образования Советского Союза, Брежнев сказал, что проект новой конституции «вырабатывается»? Невольно возникают вопросы: что означают все эти перипетии нового проекта Конституции СССР? Что осложняет и задерживает выработку нового проекта? Не приходится сомневаться, что осложнения и задержки происходят как раз из-за «конституционных уроков» 1936 года. «Вожди Советского Союза», по-видимому, хотели бы изъять те внутренние пороки, которыми страдает конституция 1936 года, но это им никак не удастся, по-прежнему что все их старания, по-видимому, сводятся к попытке решить квадратуру круга.

Между тем, думающие люди в России нашего времени предлагают, чтобы новая конституция покончила с однопартийной системой. Так, известный историк Рой Медведев, автор монументального труда о генезисе и последствиях сталинизма, в 1974 году, в самиздатской статье «Что нас ждет впереди?», писал:

«Для меня, как и для всякого мыслящего марксиста, социалистическая демократия означает не только гарантию прав большинства, но и прав меньшинства, в том числе и права меньшинства формулировать и отстаивать свои взгляды и убеждения. Социалистическая демократия означает гарантию свободы совести, слова и печати, получения и распространения информации, научного и художественного творчества. В социалистическом обществе не должны преследоваться инакомыслие и оппозиция,

ибо без права на оппозицию не может существовать никакая демократия. В социалистических странах гражданам должна быть предоставлена свобода собраний и демонстраций и возможность объединяться в различные ассоциации и организации, включая и политические организации. Однопартийная система может быть лишь временным эпизодом в развитии социалистического общества. Все основные государственные и общественные должности следует замещать лишь на основе свободных выборов, в которых должны принимать участие различные кандидаты. Должны быть обеспечены гласность судебного разбирательства и право на защиту на всех этапах суда и следствия. Граждане социалистических стран должны иметь свободу передвижения в пределах своих стран и свободу выбора места жительства. Они должны иметь право на эмиграцию и на возвращение в свою страну».

Автор этой статьи, Рой Медведев, живет в Москве. Он родился в 1925 году. Его отец, Александр Романович Медведев, преподавал диамат в Военно-политической академии и погиб во время ежовщины. В шестидесятых годах Рой Медведев работал в Академии педагогических наук и выпустил несколько книг по вопросам профессионального обучения школьников. Но он известен всему миру как автор книг «К суду истории» и «Книга о социалистической демократии», — в Советском Союзе эти книги распространяются средствами Самиздата, а за рубежом они получили широкое распространение на многих языках. Статьей «Что нас ждет впереди?», написанной в Москве в мае 1974 года, Рой Медведев откликается на «Письмо вождям Советского Союза» Александра Солженицына. В конце своей статьи Рой Медведев пишет:

«Обостряющееся в Советском Союзе противоречие между требованиями экономического, научно-технического и культурного развития и бюрократизированной кастово-олигархической системой управления создает объективную необходимость реформ, направленных на демократизацию общественной жизни. Способно ли нынешнее руководство к проведению таких реформ? Будут ли они проведены в обозримом будущем? Я продолжаю надеяться на это. В действительности политика 'верхов' меняется и в настоящее время, хотя все это происходит слишком медленно и непоследовательно. Я надеюсь и на усиление демократических движений различных оттенков. Я не исключаю при этом возможности (пока еще, конечно, маловероятной) появления на нашей политической арене и новой социалистической партии,

отличной от нынешних социал-демократических партий и от нынешних коммунистических партий. Такая новая социалистическая партия могла бы образовать лояльную и легальную оппозицию существующему руководству и способствовать обновлению и оздоровлению КПСС. Не являясь преемницей старых русских социалистических партий, такая новая социалистическая партия могла бы положить в основу своей идеологии лишь те положения Маркса, Энгельса и Ленина, которые выдержали испытание временем, и одновременно сумела бы, не будучи связанной нынешним догматизмом, развить научный социализм и научный коммунизм в соответствии с требованиями современной эпохи и с учетом пройденного нашей страной исторического пути».

«ЧТО ЭТО БЫЛО ТАКОЕ, ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД?»

«Что это было такое, тридцать седьмой год?» — спросила однажды писателя Юрия Либединского молодая женщина в Москве. По образованию она была историком. Она хорошо знала не только русскую историю, но и историю других славянских стран; в особенности ее интересовал Юрий Крыжанич, хорват, мечтавший в семнадцатом веке об объединении славян. Она много знала о Крыжаниче — и почему он перешел от Выговского к Хмельницкому, и как жил в Тобольской ссылке, куда его отправил царь Алексей Михайлович, и о чем он мог разговаривать с протопопом Аввакумом . . . Но о том, что произошло всего лишь пять лет назад в России, — этот ее разговор с Либединским происходил в 1942 году, — этого она не знала!

Не знал, впрочем, и сам Либединский, который тогда был больше чем вдвое старше этой женщины. Она родилась в 1921 году, а он в тот год написал повесть «Неделя», которая принесла ему всероссийскую, если не мировую славу. В 1937 году ей было только 16 лет, а ему уже 39, но и он, по его словам, не понимал, «что это было такое, тридцать седьмой год?»

Женщина эта впоследствии стала женой Либединского, и в своих воспоминаниях, напечатанных в журнале «Сибирские огни» (1965 г., № 4), Лидия Либединская пишет:

«Что это было такое, тридцать седьмой год? — спрашивала я. — Кто в этом виноват?

— Не знаю, — отвечал Юрий Николаевич. — Когда на фронте мне пришлось перебегать поле, которое простреливалось, и пули свистели со всех сторон, я спросил себя: что лучше, стоять на собрании и слушать несправедливые обвинения или находиться здесь, под пулями? И подумал: лучше на фронте. Здесь все понятно — где свои, где враги. Если погибнешь, то знаешь за что и от чьей руки. А тогда . . . Вчерашний друг говорит о тебе черт знает что! В тридцать пятом году мы ездили с одним товарищем по Кубани. Лето, жара, он не взял с собой лишней рубашки. Я дал ему белую косоворотку. И вот прихожу я в

тридцать седьмом году на партсобрание, на котором стоит вопрос о моем исключении из партии, и главным обвинителем против меня выступает этот товарищ. И вижу: на нем моя рубашка. Это было, пожалуй, страшнее всего... И кто виноват, не знаю. Все мы виноваты. Было бы странно, если бы я стал отмежевываться от того, что происходило в стране. Мы ее создавали, мы за все и отвечаем».

В сущности нетрудно понять, почему тридцать седьмой год был «непонятен» для Юрия Либединского. Первую свою повесть «Неделя» он посвятил своей первой жене, Марианне Герасимовой. Его «Мураша», как он ее называл, одновременно с ним, в 1920 году, вступила в партию. Он стал писателем, а она... чекисткой! Да не простой чекисткой, а начальником одного из крупных отделов ЧК... В конце двадцатых-начале тридцатых годов она носила на груди значок почетного чекиста. До 1935 года она работала в НКВД, и работала, должно быть, с таким рвением, что, как потом писал сам Юрий Либединский, заболела от этой работы «мозговой болезнью», — в 1935 году ее отчислили из НКВД «по временной инвалидности». «Этот человек отдал свой мозг революции», — писал Юрий Либединский о своей «Мураше», стало быть, полностью одобряя все, что чекисты творили в России в первые послеоктябрьские десятилетия. Ни расстрелы «церковников», ни истребление интеллигенции в связи с процессами эсеров, меньшевиков, шахтинцев, «Промпартии», ни гибель пятнадцати миллионов крестьян, «протолкнутых в тундру и тайгу» в 1929—1930 годах, не беспокоили Юрия Либединского, все это было ему «понятно». А вот на вопрос, «что это было такое, тридцать седьмой год», он с недоумением (и вполне искренне!) отвечал: «Не знаю». Потому что в 1937 году его самого исключили из партии, а потом арестовали и его «Мурашу»; ему-то, правда, два года спустя вернули партбилет, а ее особое совещание приговорило к пяти годам лагеря. Довелось и ему постоять на студеном декабрьском ветру у Бутырской тюрьмы, чтобы передать «Мураше» теплые вещи, чтобы хоть мельком увидеть, как ее погонят в лагеря... — только ничего не передал, ничего не увидел! Написал письмо Сталину («Товарищ Сталин, вся моя просьба к Вам состоит единственно в том, чтобы дело Марианны Герасимовой рассматривалось бы судом... и я уверен, что она будет оправдана!»), и Александр Фадеев передал это письмо лично Поскребышеву, так что оно не могло не дойти до Сталина, — ответа же не было, приговор ОСО остался в силе. В ноябре 1941 года бывшая «почетная чекистка», проработавшая два года в лагере на аптечном складе, все же вернулась в Москву и остановилась

у своей сестры Валерии Герасимовой, известной писательницы. Никому не рассказывала она (это узналось позже), как мучили ее в тюрьме, заставляя подписывать ложные показания, как ей не давали пить, спать, как ее заставляли стоять до тех пор, пока не начинала идти кровь из почек. Только однажды сказала она сестре: «Второй раз я этого не выдержу». И вот, прожив после лагеря месяц, боясь повторного ареста, Марианна Герасимова покончила самоубийством.

— Отравилась? — спросила Лидия Либединская.

— Повесилась, — ответил Юрий Либединский. — Повесилась в сортире! — И вдруг, обращаясь к самому себе, сказал: — Твоя первая любовь повесилась в сортире, понимаешь! Кто в этом виноват? Кто?!

Как мы уже видели, Юрий Либединский пришел к верному ответу: «Все мы виноваты». Такой честности нет у нынешних «вождей Советского Союза»: начавшиеся было при Н. С. Хрущеве поиски ответа на вопрос, «что это было такое», теперь приостановлены. Капитальный труд Роя Медведева «К суду истории» — о генезисе и последствиях сталинизма — переведен на многие языки, но не опубликован на родине автора. Между тем, автор «Архипелага ГУЛаг», Александр Солженицын, тотчас же по опубликовании первого тома в Париже, был вывезен из России в Германию. Но вопрос: «Что это было такое, тридцать седьмой год?» висит в воздухе, и пришло время в нем разобраться.*

Не следует думать, что в нем легко разобраться. Как бы мы к нему ни подходили, неизбежно натолкнемся на трудности понимания. Трудности эти создаются сложностью и противоречивостью того периода мировой истории. Достаточно нам оглянуться, например, на 1935 год, чтобы увидеть такое противоречие: в Германии и Италии утверждалась идеология антигуманизма, находившая себе сторонников и в других странах Европы, в том числе и во Франции, где тогда выдвинулись такие талантливейшие писатели, как Пьер Дриё Ла Рошель, а в России «партия Ленина-Сталина» трубила о гуманизме и тоже находила себе приверженцев во многих странах мира. Трудно сказать, насколько искренен был Бухарин, когда он писал, что «1935 год был годом начального расцвета социалистического гуманизма», но вряд ли

* За рубежом вышло довольно много книг, помогающих разобраться в этом вопросе. Например, следующие: Robert Conquest, "The Great Terror. Stalin's Purge of the Thirties", New York, 1968. — Roris I. Nicolaevsky, "Power and the Soviet Elite", New York, 1965. — Adam B. Ulam, "Stalin, The Man and His Era", New York, 1974. — Stephen F. Cohen, "Bukharin and the Bolshevik Revolution", New York, 1973.

можно сомневаться, что многие этому верили даже и внутри России, не только за ее пределами. Немалое значение имело и то обстоятельство, что в середине тридцатых годов начали сгущаться тучи Второй мировой войны, и даже теперь в России есть люди, которые думают, что в 1937 году Сталин «уничтожил пятую колонну», чем будто бы и обеспечил победу в войне.

Нелегко разобраться в том, «что это было такое», еще и потому, что 1937 год был полон парадоксов, порой не поддающихся пониманию или, по крайней мере, кажущихся необъяснимыми. В своих воспоминаниях, напечатанных в журнале «Новый мир» в январе 1965 года, Илья Эренбург говорил: «Чем больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю». Как же так?! Ведь, казалось бы, в пооктябрьской России все делалось в соответствии с «научными законами развития общества». Как ни странно, многие в это верили, соблазняясь наукообразностью марксизма. Вот, например, такой верой жил Юрий Олеша. В сентябре 1935 года, в журнале «Тридцать дней», он напечатал очерк «Письмо из Одессы», в котором читаем:

«Мы, юные поэты, не понимали, как страшен был мир, в котором мы жили. Этот мир не был объясненным миром. Это было до того, как произошло великое объяснение мира. Теперь я живу в объясненном мире. Я понимаю причины. Чувство огромной благодарности, которое можно выразить только в музыке, наполняет меня, когда я думаю о тех, кто погиб ради того, чтобы сделать мир объясненным, чтобы объяснить его и перестроить».

Если в 1917 году произошло «великое объяснение мира», то как же двадцать лет спустя на смену «объяснению» пришло «ничего-непонимание»? Ведь все эти двадцать лет нас уверяли, что в СССР строится «Государство Разума». В первые пооктябрьские годы в Москве шла пьеса Василия Каменского «Здесь славят разум». Прославление Разума особенно усилилось в 1937 году: в тот год широко отмечалось 100-летие со дня смерти Пушкина, и в газетах на все лады повторялись строки из «Вакхической песни»:

Подыдем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!

В 1935 году Юрий Олеша думал, что он живет в «объясненном мире», но прошло два года, как он был зачислен в сообщники Исаака Бабеля и Всеволода Мейерхольда, которые будто бы создали «банду диверсантов» из деятелей литературы и искусства. Юрий Олеша, впрочем, не был арестован, как не был арестован и Борис Пастернак, тоже привлекавшийся по делу Бабеля

ля и Мейерхольда. Вообще трудно было понять, почему одних арестовывали, а других не арестовывали. Передают, что однажды Сталин спросил Отто Куусинена, почему он не предпринимает никаких шагов к тому, чтобы вызвать своего сына из заключения. Куусинен ответил в духе того времени, что «если органы его арестовали, то значит для этого есть основания». Сталин усмехнулся — и несколько дней спустя сын Куусинена был выпущен из тюрьмы. Но была арестована и загнана в лагерь жена Куусинена. В лагере она получала от мужа посылки, хотя в качестве отправителя была указана домработница. Однажды в новогоднюю ночь в лагерном бараке она вместе с другими заключенными слушала по радио речь, которую Отто Куусинен произносил в Кремле. Или какое «разумное» объяснение можно дать «делу И. А. Акулова»? Иван Акулов был крупным партийным работником, в 1933—1935 годах занимал пост прокурора СССР, а потом — секретаря ЦИК СССР. В 1938 году он, катаясь на коньках, упал, ударился головой о лед и чуть не умер. Его спасли знаменитые хирурги, выписанные по распоряжению Сталина из-за границы. Но как только он выздоровел, его арестовали и расстреляли . . .*

* Подобный случай произошел в 1952 году в Праге. О нем рассказано в статье «Браве Владо Клементис», появившейся в дни «чехословацкой весны» в журнале «Смена» в Братиславе. Владимир Клементис — словак, коммунист — после Второй мировой войны был министром иностранных дел Чехословакии. В феврале 1951 года он был арестован, а через месяц была арестована и его жена Лида. Ее держали в тюрьме 22 месяца. Здоровье ее пошатнулось, она исхудала. Но вдруг в ее тюремной жизни произошла перемена: ее начали хорошо кормить, стали делать ей какие-то внутренние вливания, так что вскоре она поправилась, окрепла. Потом ее стали облучать кварцем, и лицо ее загорело, будто она только что с курорта. Наконец, привели парикмахершу и та сделала ей модную прическу. Жене Клементиса выдали самый лучший ее костюм и — нарядную, причесанную, здоровую, загорелую — привели на свидание с мужем. Двойная решетка разделяла их во время свидания, так что Владимир Клементис не мог ни обнять жену, ни даже с ней поздороваться за руку. Но они могли разговаривать, и Клементис говорил ей, как она хорошо выглядит, как он ее всегда любил и любит. Это было 2 декабря 1952 года. На следующий день Пражское радио объявило, что Владимир Клементис и десять других бывших видных коммунистов повешены. . . Братиславский журнал, рассказывая эту невыдуманную историю, добавлял, что она напоминает роман Кафки. И впрямь, что за бред! Какая фантазмагория! Для чего, с какой целью откармливали жену Клементиса, наряжали ее, делали ей красивую прическу и показывали ее мужу за несколько часов до его казни? Как в этой фантазмагории разобраться?

В 1937 году бывали случаи, когда следователи НКВД сами писали «признания» тех заключенных, которых они допрашивали, и даже сами подписывались под «показаниями», — об этом рассказывает военный прокурор М. М. Ишов, отрывки из неопубликованных воспоминаний которого приводит Рой Медведев в книге «К суду истории». Но все же, как правило, арестованных пытками заставляли оговаривать себя и других, «признаваться» в преступлениях, которых они не совершали, и подписывать свои «показания»... — к чему, спрашивается, нужны были эти подписи?! И что могла означать та надпись, которую жирной краской отпечатывали на делах заключенных и на бланках с их фотографиями и отпечатками пальцев: «ХРАНИТЬ ВЕЧНО»? Когда Александр Солженицын описывает в романе «В круге первом» арест дипломата Иннокентия Володина, он добавляет, что «прочтя эту формулу, Иннокентий содрогнулся, — что-то мистическое было в ней, что-то выше человечества и земли».

Наконец, трудности понимания, «что это было такое, тридцать седьмой год», происходят еще и потому, что почти невозможно разобраться, из кого состояли миллионы, погибшие в «мясорубке» 1937 года? (Надо ли пояснять, что «1937 год» берется в расширенном понимании, как обозначение всего периода ежовщины?) Были это только жертвы или так же борцы?

В 1964 году в Москве вышел роман Д. Петрова (Бирюка) «Перед лицом родины». В нем показана жизнь казачьей семьи Ермаковых в 1930—1940-х годах. В свое время революция разбила эту семью: один сын в семье стал белым генералом, другой — красным; дочь — тоже участница гражданской войны на стороне красных — пошла потом в науку, а племянник стал писателем. И вот, в 1937 году и красный генерал, и дочь-профессор, и писатель-племянник, да и старик отец, — все были арестованы. Д. Петров (Бирюк), рисуя тюрьму 1937 года, показывает, что там все были невинными жертвами, которых ни с того, ни с сего схватили и бросили в заключение. Вскоре после того как в Москве появился этот роман, в журнале «Сибирские огни», издающемся в Новосибирске (1965 г., № 4), была опубликована статья С. Щеглова, который сам побывал в лагерях и пишет: «Нет, не так все это было. В тысячи раз сложнее».

В чем же сложность? Вот мнение С. Щеглова:

«Марксистская наука о путях развития общества, как известно, утверждает, что любое крупное явление общественной жизни не может диктоваться волей героя или деспота, а вырастает из неизбежных социально-экономических предпосылок. Однако они-то как раз и не исследуются такими писателями, а лишь ри-

суются портреты садистов в форме ГПУ и возводятся на пьедестал этикие сусальненькие страстотерпцы, пишутся новые варианты житий святых. Этих невинных мучеников ни с того, ни с сего хватают, бросают в тюрьму и требуют от них 'раскалываться'. Требуют 'писать на себя'. А им писать нечего, все они чисты как стеклышко, и мысли их полны веры в то, что зло будет наказано, а истина восторжествует. Работников НКВД они в глаза обзывают фашистами, словом, ведут себя так, как будто только что пришли с XXII съезда партии!

Нет, не так все это было. В тысячи раз сложнее. Главное в том, что невинных арестов — с точки зрения того времени — не было. Арестовывали людей, так или иначе боровшихся с существовавшими тогда политическими нормами и 'порядками'. . . . Взять Косарева. Как теперь известно, он погиб за то, что не хотел выкорчевывать 'врагов народа'. Значит, с нашей, теперешней точки зрения он пострадал невинно, но с тогдашней точки зрения за ним числилась конкретная и даже вполне доказанная вина. Таким образом, люди, которых теперь чаще всего называют жертвами культа личности, на самом деле были борцами против него. Каждому, кого арестовывали, предъявлялось более или менее серьезное обвинение. И оно не просто 'высасывалось из пальца', а на чем-то было основано. К примеру, на высказывании мыслей, не совпадавших с установленным официальным курсом, а то и на более активном противодействии ему».

Жертвы или борцы? Мысль глубокая, даже захватывающая . . . Высказанная в далекой провинции, она, кажется, никем ни разу не была подхвачена в Москве. Размышляя над главным событием 1934 года, мы уже говорили, что если С. М. Киров впрямь пытался изменить общий курс политики, если правда, что он предлагал создать вторую партию в СССР, то понятно, почему было приостановлено то «тщательное изучение обстоятельств этого сложного дела», о котором говорил Н. С. Хрущев на XXII партсъезде. Если «1937 год» вырос, как пишет С. Щеголов, «из неизбежных социально-экономических предпосылок», если наряду с жертвами «1937 года», были и борцы, то необходимо, во-первых, исследовать «социально-экономические предпосылки», а, во-вторых, присмотреться, к чему стремились «борцы», каких перемен желали они России.

Изучение «1937 года», таким образом, не только представляет большие трудности, но и сопряжено с опасностью для режима, чем и объясняется цензурный запрет даже на книгу такого историка-марксиста, как Рой Медведев. Куда как проще объяснять все «волей деспота» и печалиться о «невинных жертвах»,

причем только тех, что были вырваны из рядов партии. Так, например, у Владимира Луговского есть поэма «Дорога в горы». В ней описана дача Совнаркома Дагестана под Махачкалой. Туда приезжали отдыхать ответственные работники республики и там многие из них в 1937 году были арестованы.

... Двухъярусный коттедж,
Неудержимый запах биллиардных
И запах спален и шашлычной.
Гостиные. Расстроенный рояль.
Наигрыванье медленное ночью
Рукою неискусной. И сидят
Полудрузья.
О, год тридцать седьмой, тридцать седьмой!
Арест произойдет сегодня ночью.
Все кем-то преданы сейчас.

Курьезно, что в книге Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», вышедшей в 1967 году на русском языке в Милане, но все еще не опубликованной в Москве, «год тридцать седьмой» тоже связан с домом отдыха, куда приезжали только вельможи. Дом этот был устроен в Астафьеве, бывшем имении князя Вяземского, что под Москвой, близ Подольска. Евгения Гинзбург описывает, как там встречали новый 1937 год. Поскольку это было время зимних каникул, то в Астафьеве было много детей. Дети чутко улавливали степени и оттенки неравенства в партийной служилой среде. Всех, приезжавших в Астафьево, они делили на категории, соответственно маркам машин: «линкольнчики» и «бьюишники» котировались высоко, к «фордошникам» относились пренебрежительно. Кормили там, как в самом лучшем ресторане. В каждой комнате стояла ваза с фруктами, пополнявшаяся по мере того, как она пустела. Тем не менее, дамы, сходясь в в курзале, брюзгливо критиковали местное питание, сравнивая его с питанием в «Соснах» и «Барвихе», других правительственных домах отдыха. В новогоднюю ночь — 31 декабря 1936 года — в Астафьеве был накрыт огромный и обильный стол. Дамы нарядились. Евгения Гинзбург, муж которой был тогда председателем Казанского горсовета, членом Татарского обкома и членом ЦИК СССР, вспоминает:

«Это был настоящий пир во время чумы. Ведь девяносто процентов тогдашнего астафьевского населения было обречено. И почти все они в течение ближайших месяцев сменили комфорта-

бельные астафьевские комнаты на верхние и нижние нары Бутырской тюрьмы. Их дети, так хорошо разбиравшиеся в марках автомобилей, стали питомцами специальных детдомов. И даже шоферы были привлечены за 'соучастие' в чем-то. Но пока еще никто не знал о приближении чумы и пир шел во всю».

Как же так?! «Пока еще никто не знал...» — ведь это было уже конец 1936 года! Или «астафьевскому населению» было наплевать на то, чем жило остальное население России? Не потому ли и восклицают: «О, год тридцать седьмой, тридцать седьмой!», что «чума» добралась и до «астафьевского населения»?

Наступил 1937 год, и, вернувшись из Астафьева в Казань, жена председателя Казанского горсовета, члена Татарского обкома партии и члена ЦИК СССР принялась вместе с мужем чистить домашнюю библиотеку:

«Няня ведрами вытаскивала золу. Горели 'Портреты и памфлеты' Радека, 'История Западной Европы' Фридлянда и Слуцкого, 'Экономическая политика' Бухарина. Мама 'со слезами заклиний' умоляла меня даже сжечь 'Историю новейшего социализма' Каутского. Индекс с каждым днем расширялся. Ауто да фе принимало грандиозные размеры. Даже книжку Сталина 'Об оппозиции' пришлось сжечь. В новых условиях и она стала нелегальной».

Но и чистка домашней библиотеки не помогла: несколько дней спустя Евгения Гинзбург была арестована. У нее было два сына, и один из них, младший, Вася, был впоследствии потерян в детдомах для детей заключенных, где перепутали его фамилию; только позже дядя отыскал его в Костроме, — ныне мы знаем его, как писателя Василия Аксенова. В тюрьмах и колымских лагерях Евгения Гинзбург провела восемнадцать лет. Ее книга «Крутой маршрут» дает материал для понимания 1937 года. Вот она в 1937 году в Бутырской тюрьме, в камере, битком набитой женщинами:

«Жадно глядываюсь в лица. Кто они? Вот эти четверо, например? Какие-то нелепые вечерние платья с большим декольте, туфли на высоченных каблуках. Все это, конечно, смятое, затасканное». Оказывается, «это — гости Рудзутака. Все были арестованы у него в гостях, ужинали после театра, и туалеты театральные... Вот и маются, бедняги, в тюрьме с этими декольте».

Евгения Гинзбург говорит, что ей «достался счастливый номерок» в лотерее 1937 года. «Счастье» было в том, что ее следствие кончилось в апреле... — а то, что было потом, будто бы и составляет особенность этого года. В конце июня 1937 года состоялся пленум ЦК ВКП(б). В газетах было опубликовано, что

на пленуме обсуждались вопросы о выборах в Верховный Совет, об улучшении семян зерновых культур и о введении правильных севооборотов. Но на пленуме было и нечто другое, о чем не писали газеты. Выступил «Хозяин», как тогда называли Сталина. Коснулся режима в тюрьмах и вообще в местах заключения, возмутился тем, что они «превращены в курорты». Было принято решение об усилении режима в тюрьмах. Даже старые приговоры НКВД принялся переводить «на язык тридцать седьмого года».

1 октября 1937 года были введены 25-летние сроки, — до того вслед за «вышкой» шла «десятка». По дороге на Колыму, вместе с Евгенией Гинзбург ехала украинская девушка Таня Куперник:

«Она единственная из всего вагона имела срока не десять, а двадцать лет. Сама Таня говорила, что ей отвалили столько потому, что ее суд пришелся на 5 октября 1937 года. Тут как раз вышел новый закон, установивший новый максимальный срок тюремного заключения — двадцать пять вместо десяти. Но многие в вагоне шептались: это потому, что Таня в близком родстве с бывшим председателем Совнаркома Украины Панасом Любченко».

Получался опять-таки парадокс: те, кто был арестован раньше, что действительно когда-то принадлежал к оппозиции (КРТД, контрреволюционная троцкистская деятельность), — те имели меньшие сроки, чем арестованные в 1937 году, не состоявшие ни в каких оппозициях. Но . . . на Колыме не обращали внимания на это несоответствие, да и сами-то сроки мало что значили, поскольку к старым добавлялись новые. В 1937 году у заключенных вошло в поговорку: «Патриархальные немки клали в основу жизни три или даже четыре К — Киндер, Кюхе, Кирхе, Клейдер, а у нас сейчас жизнь складывается из четырех Т — троцкизм, терроризм, тяжелый труд».

В действительности, однако, кроме июньского пленума ЦК ВКП(б) был еще пленум и в феврале—марте 1937 года. На этот пленум были приведены из тюрьмы, под охраной, Радек и Сокольников, — они обвиняли Рыкова и Бухарина, как «нераскаявшихся врагов». Тут же, на пленуме, Бухарин и Рыков были арестованы и увезены на Лубянку. На пленуме выступал с докладом Ежов, и в резолюции по его докладу было сказано, что «в деле разоблачения Троцкистско-Зиновьевского блока НКВД отстало на четыре года». Эта фраза была буквально взята из телеграммы, которую Сталин и Жданов послали 25 сентября 1936 года из Сочи в Москву — Кагановичу, Молотову и другим

членам Политбюро. Как раз в той телеграмме и содержалось распоряжение снять Генриха Ягodu с поста наркомвнудела и назначить Николая Ежова.

Кто был он, этот человек, именем которого назван период «ежовщины», едва ли не самый страшный период русской истории? Ежов, Николай Иванович, в конце 1920-х годов был маленьким человеком в партии, — он занимал пост секретаря обкома в Казахстане. В 1929 году его перевели на работу в Москву, в качестве заместителя наркома сельского хозяйства, и на XVI съезде партии в 1930 году он присутствовал как делегат с совещательным голосом. Но в том же году он перешел на работу в аппарат ЦК ВКП(б), да еще в отдел кадров... Там-то его и заметил Сталин, которому в Ежове понравился и его низенький рост, и его посредственность, и его собачья преданность «Хозяину». В 1934 году, на XVII съезде партии, Ежов был выбран в ЦК ВКП(б), тут же прошел в Оргбюро, в Комиссию партийного контроля. Ему поручили заведовать промышленным отделом ЦК ВКП(б), но кроме этого еще и наблюдать за работой «органов». Таким образом Ежов, будучи еще в аппарате ЦК, был как бы «представителем Сталина» в НКВД, так что назначение его на пост наркомвнудела — 26 сентября 1936 года — вполне соответствовало ходу событий того времени. Надежда Мандельштам рассказывает в свои «Воспоминаниях», что Осип Мандельштам, увидев на обложке какого-то иллюстрированного журнала, как Сталин протягивает руку Ежову, сказал: «Посмотри, он способен на все ради Сталина».

В. Г. Короленко, написавший исследование «Русская пытка в старину», приводит указ Александра I, запрещавший в 1801 году применение пыток и истязаний. Само слово «пытка, — писал царь, — должно быть навсегда изглажено из памяти народной». Но пытки, вошедшие в практику ЧК с самого возникновения «чрезвычайки», в двадцатых годах применялись, например, к «нэпманам» во время кампании по изъятию золота, потом — к «вредителям», а в 1936 году, в особенности после назначения Ежова в НКВД, началось массовое и официально санкционированное применение так называемых «физических методов воздействия» к «врагам народа». Немецкие коммунисты, побывавшие в начале тридцатых годов в гитлеровских застенках, а в середине того же десятилетия попавшие в сталинские застенки, говорили, что НКВД многое переняло от Гестапо, что некоторые орудия пыток даже были импортированы из Германии.

Пытаясь понять, «что это было такое, тридцать седьмой год», личностью Ежова интересовался Исаак Бабель. У людей из пар-

тийной верхушки было принято, чтобы к ним в гости ходили писатели. Бабель ходил к Ежову... «После ареста Бабеля, — пишет Надежда Мандельштам, — Катаев и Шкловский ахали, что Бабель, мол, так трусил, что даже к Ежову ходил, но не помогло, и Берия его именно за это взял... Я уверена, что Бабель ходил к нему не из трусости, а из любопытства — чтобы потянуть носом: чем пахнет?»

Пахло кровью, мочой, водкой... У Ежова-то уж, во всяком случае, не было никаких «глубин». Лев Ильич Инжир, главбух ГУЛага, а впоследствии и сам лагерник, рассказывал, как его однажды вызвали в кабинет Ежова: «Ежов сидел на диване в рубашке с засученными рукавами. Волосы растрепаны, глаза заплавлены, явно пьяный. Перед ним стояла целая батарея бутылок с водкой. Было заметно, что он возбужден и встревожен. То и дело кто-то звонил по телефону и Ежов отвечал грубо, цинично» *

По воспоминаниям Е. П. Фролова, работавшего в Промышленном отделе ЦК ВКП(б), 1 декабря 1934 года Ежов, тогда заведовавший этим отделом, с утра ушел в кабинет Сталина и провел там большую часть дня. Это было необычно, — Ежов раньше никогда так долго не оставался у Сталина. В 7 часов вечера он пришел в Промышленный отдел, вызвал своего помощника В. Цесарского и велел тотчас же приготовиться к поездке в Ленинград. В тот день в Ленинграде был убит Киров...

Как рассказывал Н. С. Хрущев на XX съезде КПСС, Ежов в НКВД составлял списки тех вельмож, «ответработников», которые, по его мнению, должны были быть «осуждены по первой категории», т. е. расстреляны, и представлял эти списки Сталину на одобрение и утверждение. Всего он представил 383 списка, содержащих тысячи и тысячи имен. Если учесть, что Ежов находился на посту наркомвнудела немногим больше двух лет, Сталин получал такой список каждые два дня. Точное число имен неизвестно, но, как докладывал Н. С. Хрущев XX съезду, в 1954—1955 годах были «посмертно реабилитированы» 7 679 деятелей партии и государства, расстрелянных по этим спискам, — «реабилитация» продолжалась и после XX съезда КПСС, т. е. после февраля 1956 года, и не приходится сомневаться, что названная цифра сильно возросла.

Точное количество жертв периода ежовщины неизвестно, но Рой Медведев, автор книги «К суду истории», считает, что в этот период, в 1936—1939 годах, были «побиты все рекорды по части

* Иосиф Бергер, «Крушение поколения». Издательство «Аврора», Флоренция. 1973. Стр. 156.

политического террора». Опричнина Ивана Грозного унесла несколько десятков тысяч жизней, — бывали дни, когда в Москве казнили от десяти до двадцати человек в день. Во время якобинского террора во Франции 17 000 человек были революционными трибуналами посланы на гильотину; приблизительно столько же погибло без суда. В России XIX века несколько десятков «политических преступников» были казнены и несколько сотен, от силы несколько тысяч, умерли в тюрьме и ссылке. У Сталина был несравненно больший размах. По самым скромным подсчетам, — считает Рой Медведев, — в 1936—1939 годах было репрессировано от 4 000 000 до 5 000 000 человек. В 1937—1938 годах были периоды, когда в одной только Москве расстреливали по 1 000 человек в день.*

Потери КПСС. Во время XVII съезда, в январе 1934 года, в партии насчитывалось 2 809 000 членов и кандидатов. В 1935—1936 годах не было приема в партию, — прием возобновился только в ноябре 1936 года. Путем длинных вычислений Рой Медведев приходит к заключению, что к весне 1939 года партия должна была насчитывать 3 500 000 членов и кандидатов, из которых 2 600 000 должны были быть членами партии. Между тем, по данным XVIII съезда, состоявшегося весной 1939 года, в партии насчитывалось 2 478 000 человек, из которых только 1 590 000 были членами. «Эту огромную недостачу, — пишет Рой Медведев, — можно объяснить только массовыми репрессиями. Таким образом, за два года в застенках НКВД погибло больше коммунистов, чем за все годы подпольной борьбы, трех революций и гражданской войны». Был уничтожен почти весь состав ЦК ВКП(б), избранный на XVII съезде: 110 членов и кандидатов в члены ЦК — из 139 — были к началу 1939 года арестованы. В Москве и Московской области из 136 секретарей райкомов в середине 1939 года только 7 оставались на своих постах, — остальные были арестованы и расстреляны. В городе Горьком в 1937—1938 годах в специальном отделении тюрьмы сидели в полном составе горком партии во главе с секретарем горкома Пугачевским и горсовет во главе с председателем Грачевским.

Потери армии. Известный военный деятель, генерал-лейтенант А. И. Тодорский, бывший начальник Управления высших военно-учебных заведений, подсчитал, что из пяти маршалов, имевшихся тогда в Красной армии, трое были «репрессированы»,

* Roy A. Medvedev, "Let History Judge. The Origines and Consequences of Stalinism", New York, 1972, p. 239. «К суду истории», самиздатский экземпляр книги, стр. 523.

как и трое из четырех командармов первого ранга, все 12 командармов второго ранга, 60 из 67 командиров корпусов, 136 из 199 командиров дивизий, 221 из 397 командиров бригад, оба флагмана флота первого ранга и оба флагмана флота второго ранга, все 6 комиссара армии первого ранга, 9 из 15 флагманов второго ранга, оба комиссара армии первого ранга, все 15 комиссаров армии второго ранга, 25 из 28 корпусных комиссаров, 79 из 97 дивизионных комиссаров, 34 из 36 бригадных комиссаров. (Рой Медведев, приводя данные А. И. Тодорского, считает их неполными.) По официальным данным Министерства обороны СССР, летом 1940 года из 225 командиров полков ни один не окончил Военной академии, 25 — окончили военные училища, а остальные 200 прошли лишь курсы младших лейтенантов.

Дипломаты, директора заводов и фабрик, крупнейшие представители научно-технической и художественной интеллигенции, жены и дети «врагов народа»... — будут ли когда-нибудь подсчитаны потери по всем категориям? «Дела» в НКВД носили, например, такие обозначения:

АС — «антисоветская деятельность»;

Ц — церковники;

С — сектанты;

П — «повстанцы», когда-то принимавшие участие в восстаниях;

СИ — связь с иностранцами.

Были КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность), КРД (контрреволюционная деятельность), КРА (контрреволюционная агитация), ЧСИР (члены семей изменников родины), ПШ (подозрение в шпионаже), СОЭ (социально-опасные элементы) и СВЭ (социально-вредные элементы).

В 1937 году с особой торжественностью было отпраздновано 20-летие ВЧК-ОГПУ-НКВД. Подобно раковой опухоли разрасталось НКВД. Насильственная коллективизация, которая требовала применения репрессий не только к крестьянству, но нередко и к местным партийным и советским органам, дала толчок метастазам, — теперь они проникли даже в самые далекие, глухие углы страны. Политотделы МТС, созданные в 1932 году и укомплектованные чекистами, подменяли собой райкомы партии и райисполкомы, — многие работники «органов» впоследствии и остались на партийно-советской работе. Но рак чекизма вскоре дошел и до самих чекистов: в марте 1937 года началась первая «ежовская» чистка в НКВД. 18 марта 1937 года, на Лубянке, на совещании высших чинов НКВД, Ежов произнес речь, в которой «разоблачал» Ягоду как бывшего «агента царской охранки»

и требовал беспощадной чистки НКВД от «пособников Ягоды». Многие были арестованы в тот же день, многие покончили самоубийством в своих кабинетах, иные выбрасывались из окон на площадь Дзержинского. Это описано в книге «Александра Орлова», вышедшей в 1953 году в Нью-Йорке. Под псевдонимом «Александр Орлов» скрывается крупный чекист. В своей книге, в главе «Ликвидация чекистов», он пишет, что в течение одного только 1937 года было расстреляно, круглым счетом, 3 000 ответственных НКВД.*

В начале 1939 года дошла очередь и до Ежова. 21 января 1939 года он появился в Большом театре вместе со Сталиным — и больше его не видели. По одним данным, он был расстрелян летом 1940 года; по другим, он сошел с ума. Вполне возможно, что слухи о «сумасшествии» Ежова распространялись намеренно, чтобы тем самым «объяснить» народу кошмар 1937 года. Для того же придуман и термин «ежовщина». Известный авиаконструктор Александр Яковлев пишет в своих воспоминаниях, что летом 1940 года Сталин в беседе с ним сказал: «Ежов — негодяй. В тридцать восьмом году он погубил много невинного народа. Мы его за это расстреляли». Но ведь Ежов, составляя списки, посылал их Сталину и просил «санкции осудить всех по первой категории», т. е. расстрелять — и на этих списках стоит подпись Сталина! «Наивная вера в Сталина, — пишет в связи с этим Рой Медведев в книге 'К суду истории', — отразилась в слове 'ежовщина', которым народ окрестил трагедию тридцатых годов. Внезапное исчезновение Ежова, казалось, только укрепило веру простого люда в доброго царя-батюшку, окруженного лживыми, коварными министрами».

Конечно же, это была не ежовщина, а сталинщина! Исаак Бабель, тонкий писатель, стараясь понять «что это было такое, тридцать седьмой год», «ходил к Ежову». Илья Эренбург вспоминает, что однажды Бабель, покачав головой, сказал: «Дело не в Ежове. Конечно, Ежов старается, но дело не в нем».

В чем же все-таки было дело? «Что это было такое, тридцать седьмой год?» На мой взгляд, все то, о чем сказано выше в связи с 1937 годом, можно понять, если мы проследим хронологию этого периода, — тогда мы увидим, что у Сталина был план «ежовщины», план, преследовавший не только ближние, «практические» цели уничтожения «врагов», «оппозиции», «людей

* Alexander Orlov, "The Secret History of Stalin's Crimes", Random House, New York, 1953, p. 223.

XVII съезда», но и дальние цели, в которых, как в надписи «ХРАНИТЬ ВЕЧНО!», действительно было нечто мистическое.

1936 год. Начало 1936 года не предвещало бури. Все шло как обычно: в начале января в Кремле вручались ордена передовикам урожайности, на партийных активах обсуждались итоги декабрьского пленума ЦК ВКП(б), в московских театрах шла «Семья Волковых», очередная пьеса «о любимцах страны — летчиках», стратонавты летели наблюдать лунное затмение... Правда, Молотов на сессии ЦИК СССР говорил о «нарастании угрозы войны», но добавлял при этом, что «взаимоотношения СССР с другими странами развивались в текущем году в общем нормально». В новогоднем номере «Известий» Бухарин, подводя итоги 1935 года, писал, что в 1935 году в СССР забили «родники общественного богатства» и было положено «начало неслыханно быстрому развертыванию великой демократии». Надо добавить, что в 1935 году народу действительно стало немного легче жить.

И вот, на фоне этого казалось бы начинающегося благополучия, на этом ясном новогоднем небосклоне, вдруг появилось облачко: 28 января «Правда» напечатала статью «Сумбур вместо музыки» — об опере Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Статья была редакционная, без подписи. Это означало, что она выражает официальную точку зрения ЦК ВКП(б). Несмотря на то, что люди уже привыкли и притерпелись к грубому, резкому тону советских газет, эта статья поражала нарочитой грубостью. В ней была прямая угроза: «Эта игра в заумные вещи может закончиться плохо». Всем было понятно, что речь идет о чем-то гораздо более важном, нежели диссонансы Шостаковича. «Леди Макбет» была лишь зацепкой, поводом открыть новую политическую кампанию. Так и случилось: 6 февраля 1936 года — вторая статья «Правды» — «Балетная фальшь» (о балете «Светлый ручей» Шостаковича); 20 февраля — третья статья — «Какофония в архитектуре»; 1 марта — четвертая статья «О художниках-пачкунах»; 9 марта — пятая статья «Внешний блеск и фальшивое содержание» (о пьесе М. Булгакова «Мольер» в филиале МХАТ). За полтора месяца — пять редакционных статей «Правды» по вопросам искусства! Статьи передавались по телеграфу во все концы страны, перепечатывались местными газетами. Кампания начала разворачиваться: изо дня в день газеты публиковали отчеты о собраниях, обсуждавших статьи «Правды».

Потом наступил перерыв. После 9 марта в «Правде» в течение четырех месяцев не появлялось никаких редакционных статей. Народу, в частности его наиболее чуткой, чувствительной и

легко ранимой части — художественной интеллигенции, давалось время выговориться. Тайные информаторы, вероятно, собирали отклики на дискуссию по всей стране. Но вот, после четырехмесячного перерыва «Правда» выступила опять с двумя редакционными статьями. Теперь статьи были направлены против научной интеллигенции: 3 июля — «О врагах в советской маске» (против академика Н. Лузина) и 9 июля — «Традиция раболепия». Июльские статьи были гораздо яростнее февральско-мартовских. В них говорилось уже прямо о «змеях», «фашистствующих», «врагах в советской маске». Политическая кампания перешла в новую фазу. Стало совершенно ясно, что просто так, статьями, дело не кончится. Кампания, начатая статьей об опере Шостаковича, была не чем иным, как психологической подготовкой народа к процессам, созданием психологического климата в стране. В августе 1936 года и начался первый большой процесс — Троцкистско-Зиновьевского центра, закончившийся расстрелом Зиновьева, Каменева и др. 25 сентября 1936 года Сталин и Жданов телеграфировали из Сочи Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро, что «в деле разоблачения Троцкистско-Зиновьевского блока НКВД опоздало на четыре года», что «Ягода обнаружил свою неспособность» и что «совершенно необходимо срочно назначить товарища Ежова на пост наркомвнудела». На следующий же день Ягода был снят с поста, а Ежов — назначен.

1937 год. Весь этот год — в процессах, от начала до конца. В январе — процесс Параллельного центра (расстрел Пятакова, Раскольникова, осуждение Радека). В июне — процесс Тухачевского. В декабре — Енукидзе и Карахана. В июле 1937 года Ежов и Вышинский награждаются орденами Ленина, в декабре 1937 года празднуется двадцатилетие ВЧК-ОГПУ-НКВД. Аресты в связи с этими процессами охватили всю страну. Почти в каждой семье был арестован если не близкий, так дальний родственник, по крайней мере друг, знакомый. Придавленные страхом люди, не знавшие за собой никаких грехов, ничем не провинившиеся перед советской властью, ночами прислушивались к шагам на лестнице, обмирали при стуке в дверь. Ничтожным червяком казался человек перед всепожирающей слепой, безличной силой Власти. Власть была всеведуща и вездесуща. Власть становилась божеством. Мог ли ничтожный червяк противиться божеству? Голодом начала тридцатых годов и страхом середины этого десятилетия была расшатана устойчивость человеческого организма, люди превратились в податливую, пластичную массу. И вот наступил момент, когда Сталин как бы клал на плечо

человека свою руку и говорил ему: «Не бойся... Прими то, что я тебе даю, и ты будешь во мне свободен...» Наряду с машиной террора, в 1937 году с удесyтеренной силой заработала другая машина — пропаганды, политического воспитания.

Если в январе 1937 года прошел процесс Параллельного центра, то в марте состоялся пленум ЦК ВКП(б) по вопросу «О перестройке партийно-политической работы» с докладом А. Жданова. Процессы идут своим чередом, но параллельно усиливается пропаганда. Материалом для пропаганды служат всевозможные полузабытые и даже совсем забытые даты: 27 марта — 65-летие первого русского перевода «Капитала»; 16 апреля — Апрельские тезисы Ленина; 24 апреля — 20-летие работы Ленина «Империализм как высшая стадия развития капитализма»; 5 мая — 25-летие «Правды»; 18 мая — 85-летие брошюры Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» и т. д. 6 мая 1937 года появилось письмо Сталина «К изучению истории ВКП(б)». 22 мая объявляется набор слушателей в только что организованную Высшую школу пропаганды при ЦК ВКП(б). В «Правде» что ни день передовые статьи на такие темы: «О вкусе к идеологической работе», «Политическая работа среди интеллигенции», «Воспитание большевика».

1938 год. В феврале этого года состоялся процесс Правотроцкистского блока (бухаринский) — последний из больших процессов периода ежовщины. К сентябрю 1938 года политиковоспитательная работа достигла зенита: появляется «Краткий курс истории ВКП(б)». И как было обставлено его появление! Будто остановилась вся жизнь: в течение почти целого месяца страницы «Правды» были заняты «Кратким курсом»... — Сталин, «обезьяна Бога», тут давал как бы свой «новый завет».

«Если пребудете в слове Моем, — говорил Иисус Христос иудеям (Евангелие от Иоанна, гл. 8, ст. 31—32), — то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Не то же ли самое хотел сказать Сталин народу? Чем непостижимее, иррациональнее было все то, что творилось в 1937 году, тем пластичнее становилась народная масса, — требовалось «распахать» душу народа, чтобы она приняла семена «новой веры».

«КАК ЖЕ ПОШЛА ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ?»

Быть может, вам случалось бывать в Колонном зале Дома союзов в Москве. У этого дома — на углу Охотного ряда и Большой Димитровки — большая история. Когда-то он был дворцом князя Долгорукова, потом московские дворяне приобрели его для Благородного собрания, и Матвей Казаков, великий русский архитектор XVIII века, перестроил его, создав великолепный Колонный зал с беломраморными колоннами и хрустальными люстрами. Много видели, много слышали стены Колонного зала! В свое время там бывали на балах Пушкин, Лермонтов, Тургенев. Но там звучали не только вальсы и мазурки... Кроме балов и концертов, там после октября 1917 года устраивались еще и «судебные процессы», вернее инсценировки, называвшиеся «судебными процессами». В Колонном зале в июне 1922 года открылся процесс партии социалистов-революционеров — первый большой политический процесс в пооктябрьской России. * В мае-июле 1928 года на эстраде Колонного зала сидели, окруженные стражей, 53 человека — инженеры и техники Донецких каменноугольных шахт, привлеченные по так называемому «Шахтинскому делу». ** В ноябре—декабре 1930 года в Колонном зале был устроен «процесс Промпартии». *** 1 марта 1931 года в Колонном зале

* «Суд над эсерами, — писал А. М. Горький в письме Анатолию Франсу, — носит цинический характер публичной подготовки убийства людей, которые искренно были преданы делу освобождения русского народа».

** «Сталин взял Шахтинское дело под свое непосредственное наблюдение, — пишет Абдурахман Авторханов в книге 'Технология власти'. — ... Была поставлена задача: любой ценой добиться 'признания обвиняемых' и придать делу общегосударственный характер. Здесь мы присутствуем при рождении 'недозволенных методов' ГПУ-НКВД».

*** «... цели процесса: 1. Все недостатки в стране, и голод, и холод, и безодёжье, и неразбериха, и явные глупости — всё списано на вредителей-инженеров; 2. народ напуган нависшей интервенцией и готов к новым жертвам; 3. левые круги на Западе предупреждены о кознях их правительств; 4. инженерная солидарность нарушена, вся интеллигенция напугана и разрознена». (А. Солженицын, «Архипелаг ГУЛаг», т. 1, стр. 400).

начался новый большой политический процесс, на этот раз меньшевистский — «Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков)». * Вот тема для историка — «Колонный зал». Написать бы историю этого зала — полную, без прикрас и умолчаний. В такой книге, пожалуй, отразилась бы вся судьба России с ее творческими взлетами и катастрофами.

Но кроме Колонного зала в Доме союзов есть еще Октябрьский зал. Это небольшой зал, в старину там устраивались ужины, интимные балы, Там светло-голубые стены, а по фризу тянутся вереницы танцующих женских фигур. Вот в этом-то небольшом зале, вмещающем не больше трехсот человек, и происходили процессы периода ежовщины: в августе 1936 года — «Троцкистско-Зиновьевского Террористического центра», по которому были расстреляны Г. Зиновьев, Л. Каменев и остальные 14 подсудимых; ** в январе 1937 года — «Параллельного центра», по которому были расстреляны Ю. Пятаков, Г. Сокольников, Л. Серебряков, Н. Муралов и еще 9 человек, а К. Радек приговорен к 10 годам заключения; *** в марте 1938 года — процесс «Правотроцкистского блока», который и был главным событием того года. Это был «Бухаринский процесс», а Бухарин теперь, чуть ли не сорок лет спустя после его смерти, занимает умы современной России. «Я о Бухарине много думал», — пишет А. Солженицын в первом томе «Архипелага ГУЛаг» (стр. 197), и много спустя (на стр. 413) добавляет, что Н. И. Бухарин «представляется из дали

* М. П. Якубович, осужденный по этому «делу» и реабилитированный в 1956 году, требуя пересмотра всего процесса, писал в мае 1967 года генеральному прокурору СССР: «Никакого 'Союзного бюро меньшевиков' в действительности никогда не существовало. Осужденные по этому делу не все знали друг друга и не все принадлежали в прошлом к меньшевистской партии». В 1967 году М. П. Якубович приезжал из Караганды в Москву, и в беседе с ним Анастас Микоян сказал: «Сейчас неподходящее время для пересмотра политических процессов».

** Шесть дней спустя после расстрела Зиновьева, Каменева и др., Сталин приказал Ягоде и Ежову отобрать 5000 бывших оппозиционеров, уже находившихся в тюрьмах, лагерях и ссылке, и расстрелять их без суда.

*** В обвинительном заключении говорилось, и Ю. Пятаков «признавался» на суде, что в конце 1935 года, будучи в служебной командировке в Берлине, он нелегально, на частном самолете, летал в Осло для встречи с Троцким. Два дня спустя после того, как Пятаков дал свои показания на суде, норвежская газета «Афтенпостен» — в номере от 25 января 1937 года — опубликовала официальную, документально подтвержденную справку, что на аэродроме в Осло в декабре 1935 года не было зарегистрировано ни одной посадки какого бы то ни было частного и тем более иностранного самолета.

времен самым высшим и светлым умом среди опозоренных и расстрелянных вождей».

Итак, в марте 1938 года в Октябрьском зале Дома союзов стоял стол, покрытый зеленым сукном, — это был стол Военной коллегии Верховного суда СССР. Сбоку стоял стол прокурора Вышинского. Вышинский был низенького роста, худощавый, он быстро говорил и резко жестикулировал. Подстриженные щеточкой усы, серые как сталь глаза и тонкие губы . . . — он производил впечатление нервного, напряженного человека.

В глубине зала, за столом судьи, были две двери, прикрытые темно-синими занавесами. Вот один занавес раздвигался, первым появлялся чин НКВД, а за ним Бухарин, бледный, с небольшой бородкой, с толстым томом обвинительного заключения под мышкой. Дальше следовали еще 20 обвиняемых: Генрих Ягода с ошетиенными усами, темнолицый Файзулла Ходжаев, маленький, нервный Крестинский . . . Потом раздвигался занавес, прикрывавший другую дверь, и выходил председатель Военной коллегии В. Ульрих, — его наголо бритая голова блестела, жир на шее вылезал из-под воротника.

У Бухарина обвинительное заключение было испещрено пометками, и как ни был остер на язык Вышинский, Бухарин ему не уступал. Даже официальный стенографический отчет процесса передает остроту схваток между ними:

Бухарин: Я должен объяснить мою идеологическую позицию.

Вышинский: Меня не интересует идеология, меня интересует только криминология.

Бухарин: Но нет криминологии без идеологии!

Или такой обмен репликами:

Вышинский: Подсудимый Бухарин, вы были у Ходжаева на даче?

Бухарин: Был.

Вышинский: Разговор вели?

Бухарин: Не такой, а другой разговор, тоже конспиративный.

Вышинский: Я спрашиваю не вообще о разговоре, а об этом разговоре.

Бухарин: В «Логике» Гегеля слово «это» считается самым трудным.

Вышинский: Я прошу суд объяснить обвиняемому Бухарину, что он здесь не философ, а преступник, и о гегелевской философии ему полезно воздержаться говорить, это лучше будет, прежде всего, для гегелевской философии.

На трех процессах периода ежовщины, происходивших в Доме союзов в Москве, было 54 обвиняемых, включая Бухарина. Но никто из них не держался на суде с таким достоинством, с таким мужеством, как Бухарин. Например, А. И. Рыков произнес свое последнее слово неслышным голосом, трясущимися губами; когда читали приговор, он плакал. А. П. Розенгольц, бывший нарком внешней торговли, — на том же «Бухаринском» процессе, — закончил свое последнее слово возгласом: «Да здравствует партия большевиков и ее вождь товарищ Сталин!» Но иностранные обозреватели были потрясены последним словом Бухарина. Писатель Фицрой Маклин, присутствовавший на процессе в качестве официального представителя английского посольства, пишет в своих воспоминаниях, как Вышинский «нервно ерзал в кресле, не в состоянии прервать последнее слово Бухарина». На протяжении всей русской истории революционеры превращали суд над ними в суд над тем режимом, против которого они боролись. По словам Фицроя Маклина, в духе этой давней революционной традиции и выступил Бухарин на суде в Октябрьском зале: суд над Бухариным он превратил в суд над Сталиным!

В 1962 году, вскоре после XXII съезда КПСС, на котором были открыто разоблачены преступления Сталина, относящиеся к периоду ежовщины, в Москве состоялось Всесоюзное совещание историков. На нем выступал П. Поспелов, тогдашний секретарь ЦК КПСС, «академик». Ему была подана записка: «Студенты спрашивают, были ли шпионами иностранных государств Бухарин и другие, и что вы нам посоветуете прочесть». «Я могу заявить, — сказал Поспелов, отвечая на записку, — что достаточно изучить документы XXII съезда КПСС, чтобы сказать, что ни Бухарин, ни Рыков, конечно, шпионами и террористами не были». Но Поспелов не ответил на вторую часть вопроса: «Что вы нам посоветуете прочесть?» Не ответил потому, что в СССР до сих пор нет ни одной книги о жизни и деятельности Н. И. Бухарина, как, разумеется, нет и научного исследования о процессе, состоявшемся в марте 1938 года. В 1958 году, после XX съезда партии, вышел дополнительный (51-й) том Большой советской энциклопедии, который тогда в шутку называли «святцами», так как в нем были, в основном, биографии реабилитированных коммунистов, погибших в годы ежовщины, — там не было заметки о Бухарине. В 1962 году вышел первый том новой Литературной энциклопедии, но и там нет статьи о Бухарине, хотя он был докладчиком о поэзии на I съезде советских писателей, и статья о нем была в первом издании Литературной энциклопедии, вы-

шедшей в 1929 году. Нет заметки о Бухарине и в новейшем, третьем издании Большой советской энциклопедии. Восполним этот пробел, включим в нашу хронику биографию этого старого большевика.

БУХАРИН, НИКОЛАЙ Иванович родился 27 декабря (ст. ст.) 1888 года в Москве. Его отец, Иван Гаврилович Бухарин, по специальности математик, воспитанник Московского университета, был учителем городской школы; учительницей была и мать Н. И. Бухарина — Любовь Ивановна (урожд. Измайлова). У него было два брата — Владимир и Петр. Когда Бухарину было пять лет, он с родителями уехал в Бессарабию, куда его отца назначили податным инспектором. В Бессарабии они жили четыре года, потом вернулись в Москву. До двенадцати лет Бухарин не ходил в школу, учился дома, — четырех с половиной лет он уже умел читать и писать. Под влиянием отца, увлекался книжками по естественной истории. В детстве пережил «религиозный кризис», о котором рассказал в автобиографии, написанной в начале 1920-х годов для энциклопедического словаря Граната:

«Внешне это выразилось в довольно озорной форме: я поспорил с мальчишками, у которых оставалось почтение к святыням, и принес за языком из церкви 'тело христово', победоносно выложил оное на стол. Не обошлось и здесь без курьезов. Случайно мне в это время подвернулась знаменитая 'лекция об антихристе' Владимира Соловьева, и одно время я колебался — не антихрист ли я? * Так как я из Апокалипсиса знал (за чтение Апокалипсиса мне был, между прочим, сделан строгий выговор школьным священником), что мать антихриста должна быть блудницей, то я допрашивал мою мать — женщину очень неглупую, на редкость честную, трудолюбивую, не чаевшую души в детях и в высшей степени добродетельную — не блудница ли она, что, конечно, повергло ее в величайшее смущение, так как она никак не могла понять, откуда у меня могли быть такие вопросы».

В 1907 году Бухарин был принят в Московский университет, — его товарищем по университету был Илья Эренбург. Бухарин уже тогда занимался партийной работой, был в 1910 году арестован и сослан на Онегу. В 1911 году он бежал из ссылки за границу, где провел шесть лет. Осенью 1912 года к Ленину, который жил в Кракове, пришел, по словам Крупской, «какой-то молодя-

* Бухарин, конечно, имеет в виду «Повесть об Антихристе», вошедшую в «Три разговора», предсмертное произведение В. С. Соловьева.

га с огромным холщевым мешком на плече». Это оказался Бухарин, который жил в г. Закопане, в предгорьях Высоких Татр, занимался живописью и таскал в мешке свои холсты. При первой же встрече Бухарин произвел на Ленина большое впечатление. Тогда, в 1912 году, Ленин был чуть ли не вдвое старше Бухарина: Ленину было 42 года, а Бухарину только 24. Быть может, уже тогда у Ленина зародилось отцовское чувство к Бухарину: «У меня детей нет, Бухарин заменяет мне сына», — сказал однажды Ленин.*

На Ленина, без сомнения, произвела впечатление ученость его «приемного сына». Бухарин учился много, учился без устали. В Венском университете он слушал лекции крупнейших экономистов австрийской школы, и там же, в Вене, написал свою первую работу — «Политическая экономия рантье». Интересно, что там же он познакомился и со Сталиным, который приехал в Вену изучать материалы по национальному вопросу, — так как Сталин не знал немецкого языка, ему потребовалась помощь Бухарина, владевшего всеми европейскими языками. За шесть лет, что Бухарин провел за границей, он жил в Германии, Австрии, Швейцарии, Скандинавии, потом в Америке, где он даже редактировал газету «Новый мир», выходящую в 1916 году в Нью-Йорке. В 1917 году он из Америки приехал в Россию через Японию, и на «суде» в марте 1938 года у него происходил такой обмен репликами с Вышинским:

Вышинский: Из Америки в Россию выехали через...

Бухарин: Через Японию.

Вышинский: Долго там пробыли?

Бухарин: Неделю.

Вышинский: За эту неделю вас завербовали?

Бухарин: Если вам угодно задавать такие вопросы...

В декабре 1922 года, в письме XIII съезду партии, знаменитом своем «завещании», Ленин писал: «Из молодых членов Ц.К. хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил) и относительно их надо бы иметь в виду следующее: Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он

* В 1950—1960-х гг., в Нью-Йорке, я был хорошо знаком с ныне покойным Юрием Петровичем Денике, близким другом Бухарина, — передаю это с его слов. — М. К.

никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)».

У Ленина еще в 1916 году возникали разногласия с Бухариным, когда он с присущей ему нетерпимостью отказался напечатать в «Сборнике Социал-Демократа» статью Бухарина «К теории империалистического государства», — только тем, что Ленин «органически не переваривал мнений, отличных от его собственных», и можно объяснить его замечание о том, что Бухарин «никогда не учился» и «не понимал вполне диалектики». Наряду с этим, например, протокол заседания ЦК партии от 12 декабря 1917 года показывает, сколь высоко Ленин ценил Бухарина как ученого-экономиста, настаивая на том, чтобы он продолжал работу в Экономическом совещании (Бухарин просил его освободить от этой работы, чтобы посвятить все свое время работе в «Правде»).

Конечно, не следует идеализировать Бухарина. В нем действительно было «нечто схоластическое», как и в самом Ленине, как, пожалуй, во всяком марксисте, во всяком большевике. Достаточно вспомнить, как 10 марта 1925 года Бухарин выступал на диспуте о судьбах русской интеллигенции в Москве. Возражая проф. П. Н. Сакулину, который сказал, что новая власть «посягнула на свободу научного исследования», Бухарин сказал:

«Когда говорят, что надо дать свободу творчества, то сейчас у нас возникает вопрос о свободе проповедовать монархизм, или в области биологии свободу проповедовать витализм, или в области философии свободу идеалистам кантианского пошиба с субстанцией. При такой свободе из наших вузов выходили бы культурные работники, которые могли бы работать и в Праге, и в Москве. А мы желаем иметь таких работников, которые могут работать только в Москве. . . Нам необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натренированы идеологически на определенный манер. Да, мы будем штамповать интеллигентов, будем вырбатывать их, как на фабрике».*

В декабре 1925 года один московский коммунист, Яков Алексеевич Оссовский, тоже экономист по образованию (учился на Высших экономических курсах Замбарта в Берлине), написал статью «Партия к Четырнадцатому съезду», в которой предлагал создать двухпартийную систему в Советском Союзе. Выступая 28 июля 1926 года на собрании ленинградского партактива, Бухарин говорил об этой еще не напечатанной статье Я. А. Оссовского. «Пролетарская диктатура в нашей стране, — говорил

* Журнал «Печать и революция», 1925 г., № 3.

Бухарин, — может быть обеспечена лишь при руководящей роли нашей партии, которая должна быть, во-первых, единственной партией в нашей стране, то есть исключать легальное существование других партий и, во-вторых, единой по своему строению партией, внутренняя структура которой исключает самостоятельные и автономные группы, фракции, организованные течения».

Как видим, Бухарин подавлял всякое стремление к политической демократии. В борьбе за «единственную в стране и единую по своему строению партию» он помогал Сталину душить «левую оппозицию», и даже такая полицейская операция, как высылка Троцкого в Алма-Ату, проводилась под непосредственным наблюдением Бухарина. Как-то раз на улице в Москве поэт Осип Мандельштам услышал, что арестовали каких-то пять стариков и уже приговорили их к расстрелу. Поскольку Мандельштам «ходил к Бухарину», он кинулся к нему, требуя отмены приговора. Бухарин пробовал отбиться от натиска Осипа Мандельштама и сказал: «Мы, большевики, относимся к этому просто . . . Каждый из нас знает, что и с ним это может случиться. Зарекаться не приходится». Бухарин, правда, добился отмены приговора. Его слова Осип Мандельштам вспоминал во время процессе Бухарина . . . Увы, академик И. П. Павлов был, в какой-то мере, прав, когда сказал о Бухарине, что «это человек, у которого ноги по колени в крови». Прав и Рой Медведев, когда в книге «К суду истории» упрекает Бухарина в том, что тот ни словом не обмолвился против ужасов «раскулачивания» и насильственной коллективизации, против искусственно организованного голода на Украине и на Кубани в 1932 году.

В таком случае, что же заставляет людей в России нашего времени «много думать о Бухарине»? Почему «из дали времен» представляется он «самым высшим и светлым умом среди опозоренных и расстрелянных вождей»?

Прежде всего, начиная думать о Бухарине, видишь несомненную русскость этого человека. Был он настоящим русаком и по виду, и по характеру. Этого человека с русской бородкой, живого и бойкого, силача-гимнаста, все московские пионеры знали, как «дядю Колю». «В Зубалове у нас, — вспоминает Светлана Аллилуева, — летом часто жила Николай Иванович Бухарин, которого все обожали. Он наполнял весь дом животными, которых очень любил. Бегали ежи на балконе, в банках сидели ужи, ручная лиса бегала по парку, подраненный ястреб сидел в клетке. Я смутно помню Николая Ивановича в сандалиях, в толстовке, в холщевых летних брюках. Он играл с детьми, балагурил с мо-

ей няней, учил ее ездить на велосипеде и стрелять из духового ружья; с ним всем было весело. Через много лет, когда его не стало, по Кремлю, уже обезлюдившему и пустынному, долго еще бегала 'лиса Бухарина', и пряталась от людей в Тайницком саду».

Но русскость Бухарина видна еще и в том, что в нем, несмотря на все, прорывалась боль за Россию. В «Письме вождям Советского Союза» Александр Солженицын говорит: «Это письмо я пишу в предположении, что . . . вы не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам, что вы — не безнациональны». Кто из «вождей» не был безнационален, так это Бухарин! Если Ленин и Троцкий никак не чувствовали себя «русскими революционерами», если Ленин ненавидел Россию, как «злейшую из империалистических стран», то Бухарин выступал именно как русский революционер, и царскую Россию он вовсе не считал «империалистической страной». В споре с академиком И. П. Павловым он говорил:

«Основной вывод, который нужно сделать, это — тот вывод, что большевистская революция спасла страну от разгрома и превращения ее в колонию. Понимает ли проф. Павлов, что, кроме пролетариата и его партии, в России не было силы, которая могла бы вывести ее из империалистической войны и уберечь ее от настоящего разгрома и разложения? Пробовал ли он хотя примерно подсчитать, что стоили России одни проценты по государственному долгу? Читал ли проф. Павлов, как хозяйничали японцы, англичане, французы и прочие на территориях, занятых белыми? . . . Спасти страну и защитить ее мог только рабочий класс и крестьянство. Почему? Потому что тут нужно было пробуждение величайшей активности масс. Эта активность масс могла быть стимулирована, разожжена исключительно тогда, когда крестьянин получил землю, рабочий взял фабрики и власть. Другими словами, социально-экономический и политический переворот был объективной предпосылкой сохранения того комплекса, который называется Россией».*

Что было Ленину, или, скажем, Троцкому, до «комплекса, который называется Россией»? Бухарину этот «комплекс» был отнюдь не безразличен, и он желал, чтобы людям лучше жилось в этом «комплексе». Как никто, и, пожалуй, глубже чем Ленин, Бухарин понимал значение Новой экономической политики для России. Весной 1925 года, перед XIV всесоюзной партконферен-

* Журнал «Красная новь», январь-март 1924 года.

цией, Бухарин выступил на собрании московского партактива с такой речью.

«В чем смысл новой экономической политики? Это нужно со всей ясностью себе представить. Несмотря на то, что мы много лет эту новую экономическую политику пропагандируем, многие товарищи смысл новой экономической политики сводят к одному: крестьянин на нас наступал, мелкобуржуазная стихия чуть не взбунтовалась, мы отступили. Только к этому якобы дело сводится. Но дело не только в этом. Глубокий смысл новой экономической политики заключается в том, что ряд хозяйственных факторов, которые раньше не могли оплодотворять друг друга, потому что они были заперты на ключ военного коммунизма, оказались в состоянии оплодотворять друг друга. Когда установилась торговая связь деревни с городом, это означало, что город стал хозяйственно оплодотворять деревню, а деревня стала хозяйственно оплодотворять город. Только укрепление этой связи и сближение различных хозяйственных факторов приводит к хозяйственному росту. Нужно было различные хозяйственные группы, различные факторы сцепить таким образом, в таком сочетании их взять, чтобы обеспечить влияние их друг на друга».

В этой речи Бухарина даже и язык не большевистский... «Сцепить», «взять в сочетании», «оплодотворять друг друга»... — это язык человека, который против насилия, против ломки, против того «великого перелома», из которого ничего хорошего не получилось и не могло получиться. Как раз в этой речи, напечатанной в «Правде» 24 апреля 1925 года, Бухарин и произнес особенно прославившие его слова:

«Наша политика по отношению к деревне должна развиваться в таком направлении, чтобы раздвигались, а отчасти и уничтожались многие ограничения, тормозящие рост зажиточного и кулацкого хозяйства. Крестьянам, всем крестьянам, надо сказать: обогащайтесь, развивайте свое хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут».

К середине тридцатых годов, быть может, пересматривая свою жизнь и во многом раскаиваясь, Бухарин понял многие свои ошибки и промахи. В 1926 году Бухарин ожесточенно боролся, говоря его словами, против «сползания с линии пролетарской диктатуры на линию политической демократии, то есть на ту линию, которую издавна и издревле проповедовали меньшевики, Каутский, эсеры», но десять лет спустя, в 1936 году, он пошел к тем же меньшевикам с признанием своей страшной ошибки.

В феврале 1936 года Бухарин приезжал в Париж. Он возглавлял делегацию, которой было поручено вести переговоры о

приобретении архивов (рукописей) Маркса и Энгельса. Переговоры эти велись с Борисом Ивановичем Николаевским, известным русским социалистом-меньшевиком, которому архивы Маркса были переданы Германской социал-демократической партией на хранение. Естественно, Бухарин бывал у Николаевского. И вот, однажды он увидел на столе у Николаевского свежий номер журнала «Социалистический вестник», выходившего тогда в Париже. Передовая статья в этом номере (февраль 1936 года) называлась — «К борьбе за демократию». Быть может, потому, что она начиналась цитатой из одной речи Бухарина, она привлекла его внимание. В статье шла речь о том, что в Москве, в связи с подготовкой новой Конституции СССР, будто бы предполагается создание второй партии и что возглавлять эту вторую партию будет либо А. М. Горький, либо академик А. Н. Бах, либо академик А. П. Карпинский. Прочитав эту статью, Бухарин, который как раз и писал конституцию 1936 года, сказал Николаевскому:

«Да, вторая партия необходима».

В Париже тогда жили Федор Дан и Лидия Цедербаум-Дан, жена Дана и сестра знаменитого лидера социал-демократов Юлия Мартова. В своих воспоминаниях («Новый журнал», 1964 год, № 75) Л. О. Цедербаум-Дан рассказывает:

«Как-то раз, совершенно не помню числа и не могу восстановить его, часа в два дня (время обеденного перерыва, почему я была дома) раздаётся у нас звонок, я иду открывать и к своему величайшему изумлению вижу . . . Бухарина. В большом смущении он начинает извиняться, что пришел без приглашения и даже без предупреждения по телефону, что о его решении прийти поговорить — 'просто душа запросила' (я хорошо помню это его выражение, несколько необычное и поразившее меня тогда; позже оно вошло в наш 'домашний' язык), что об этом намерении прийти никто не знает и, он думает, и знать никто не должен . . . Я была так поражена, что не сумела, кажется, скрыть своего изумления и этим только увеличила и так бесконечно большое смущение Бухарина. Не меньше удивлен был и Федор Ильич, но все же мы не притворно обрадовались Бухарину и были с ним настолько радушны, что он ушел от нас только около восьми вечера.

. . . Начать разговор было нелегко: и Бухарин был уж очень смущен, и Федор Ильич так удивлен, что ему было трудно войти в роль гостеприимного хозяина. Под каким-то предлогом я вышла из комнаты, чтобы им не мешать, и, действительно, когда через час я вошла снова, чтобы предложить чаю, разговор

уже шел самый оживленный. Говорили о Сталине, вернее, говорил Бухарин, а Дан только удивленно слушал. Когда я зашла, Дан сказал:

— Конечно, я знаю Сталина меньше, чем вы, в особых ситуациях к нему меня вы не можете заподозрить, но все-таки — так, как вы о нем думаете и говорите, я думать и говорить не мог.

Волнуясь и спеша, Бухарин сказал:

— Вот именно, что вы не знаете его так, как я, как мы его узнали. Вот давеча я сказал, что и могилу Маркса купили бы и в Москву перенесли бы. Да, перенесли бы и даже памятник поставили бы, не очень большой, но поставили бы, а рядом поставили бы еще большого Сталина, ну, скажем, читает 'Капитал' или еще что-нибудь. . . И карандашик был бы у него, у Сталина, чтобы, если понадобится, делать пометки, ну, скажем, поправки. К Марксу поправки!!! Нет, нет, Федор Ильич, это маленький, злобный человек, нет, не человек, а дьявол!

Никогда не забуду выражения лица Бухарина в эту минуту — и страх, и злоба совершенно исказили его, в общем, добродушное лицо».

В 1926 году, когда Бухарин выступал против политической демократии, против предложений создать двухпартийную систему в СССР, когда он помогал Сталину громить оппозицию, — в 1926 году еще не было поздно предотвратить пресловутый «культ личности»; в 1936 году вся власть была уже в руках Сталина. «Может, это и наша вина, — сказал Бухарин в разговоре с Даном, — но так это произошло, вот почему мы и лезем к нему в хайло, зная наверняка, что он сожрет нас».

«Почему же вы лезете в хайло? — спросила Л. О. Цедербаум-Дан Бухарина. — Почему возвращаетесь?»

«Помню, — вспоминает она, — как наивное изумление осветило лицо Бухарина. Он как-то даже досадливо отмахнулся рукой и сказал: 'Как не вернуться? Стать эмигрантом? Нет, жить, как вы, эмигрантом, я бы не мог'».

Не одна Лидия Осиповна Дан спрашивала Бухарина: «Почему возвращаетесь?» Фанни Езерская даже придумала дело для Бухарина на случай, если бы он остался за границей. Это была известная коммунистка: в свое время она работала секретаршей Розы Люксембург, а потом у Бухарина в Коминтерне. В 1936 году она жила в Париже и пыталась уговорить Бухарина не возвращаться в Москву.

«Надо создать за границей большую оппозиционную газету, — говорила она. — Газету, которая была бы хорошо осведомле-

на о том, что происходит в России и потому смогла бы иметь там, в России, большое влияние. Вы — единственный человек, который мог бы взять на себя роль редактора такой газеты».

Не забудем, что Бухарин был тогда редактором «Известий», — он был назначен на этот пост (может быть, не без влияния Кирова) 22 февраля 1934 года и пробыл на нем два с половиной года, до осени 1936 года. Конечно, Бухарин, как редактор всякой газеты в СССР, не был свободен, на него был надет хомут партийного функционера: так, 1 мая 1935 года ЦК ВКП(б) объявил ему выговор «за неопубликование сводки о ходе сева на 25 апреля 1935 года», и постановление об этом выговоре было велено опубликовать на первой странице газеты. Тем не менее при Бухарине «Известия» стали не только интересной, но большой, влиятельной газетой, к голосу которой прислушивался весь мир. Конечно же, Бухарин не мог не понимать, что какую бы «большую оппозиционную газету» ни создавали за границей, к ней мир не прислушивался бы так, как к московским «Известиям». Как в наше время авторы сборника «Из-под глыб» (Александр Солженицын, Игорь Шафаревич и др.) видят в эмиграции лишь «соблазн», в основе которого лежит «надежда убежать от своей тени — внешними средствами решить проблемы по существу внутренние», * так и в 1936 году понимал свое положение и Бухарин, к тому времени уже умудренный страданиями. Не поддавшись соблазну остаться в Париже, он вернулся в Россию — не погибать, а спастись!

Перечитывая сейчас статьи Бухарина в «Известиях», порой поражаешься, как много ему в них удавалось сказать. Вот, например, в № от 7 ноября 1934 года, полемизируя с французским социалистом Люсьеном Лара, книга которого «Советская эконо-

* И. Р. Шафаревич, «Обособление или сближение», сборник «Из-под глыб», ИМКА—Пресс, Париж, 1974, стр. 107.

В другом месте сборника, в статье Ф. Корсакова «Русские судьбы», читаем: «Потому ты не можешь уйти, ибо боль твоя, в минуту слабости тебя отсюда выталкивающая, здесь все равно остается, не уйдет с тобой вместе, запутавшись в колючей ржавой проволоке, а, стало быть, то, что там называется сменой места, климата или иных внешних обстоятельств, просто переездом, — здесь становится бегством. И от этого не уйдешь — это правда. Более того, — это Истина, та самая, 'более прекрасная', нежели отечество, но если мы вслушаемся в гул говорящей под нашими ногами земли, то, увидев в мгновенном озарении все пролетавшие десять столетий, поймем, что здесь нет рокового противоречия, что это лишь открывающаяся любви антиномия, ибо верно кто-то сказал: жить в этой стране невозможно — спастись можно только здесь» (стр 172).

мика» тогда только что вышла в Париже, Бухарин приводил такие строки из этой книги:

«Большевицкая бюрократия стала новым эксплуататорским классом. Диктатура пролетариата не существует больше в России. Отсюда — застой во всех областях, в хозяйстве так же, как в науке».

В большой статье «Кризис капиталистической культуры и проблемы культуры в СССР» («Известия», 18 и 30 марта 1934 года) Бухарин полемизировал с Н. А. Бердяевым и С. Л. Франком, причем приводил такие строки из книги Франка:

«Коммунизм как таковой в действительности не имеет никаких национально-исторических корней в русской народной жизни и в русском мировоззрении. Он импортирован с Запада и должен рассматриваться, как последний выкидыш западного неверия, западного отвращения от Бога во всей общественно-государственной жизни».

8 декабря 1935 года Бухарин напечатал в «Известиях» свою статью, целиком посвященную Н. А. Бердяеву, в частности его книге «Судьба человека в современном мире», которая тогда только что вышла и, по словам Бухарина, «представляла выдающийся интерес». В конце статьи Бухарин давал такую оценку этой книге:

«Основная идея книги — это процесс обезчеловечения, дегуманизации, озверения, бестиализма, процесс обездушения, обезличения, механизации и технизации жизни. Основная ошибка книги — это отсутствие какого бы то ни было классового анализа исторического процесса, причисывание под одну гребенку фашизма и коммунизма».

Но, пожалуй, самой значительной из всех статей Бухарина в «Известиях» была та статья, которую он написал по возвращении из Парижа, — это была его последняя статья, она появилась 6 июля 1936 года. «Маршруты истории. — Мысли вслух»... Так называлась эта статья. Меланхолический подзаголовок давал понять, что в статье, кроме текста, есть некоторый подтекст. В начале статьи Бухарин говорил, что «сейчас все говорят о сталинской конституции, она — злоба дня, она — крупнейшее событие современности», но, наряду с этим, в статье звучит тема, что «история пошла совсем другими путями». (Вспомним, что авторами «сталинской конституции» были Бухарин и Радек.)

«История пошла совсем не так, как предсказывало красноречивое пустозвонство, — писал Бухарин в своей последней статье. — Многие помнят еще пресловутую теорию о том, как Америка 'неизбежно' посадит Европу на голодный паек, и как — на этой

основе — будут вырисовываться основные противоречия между капиталистическими державами. Что же, оправдались эти прогнозы? Ни в малой степени. С европейскими долгами Америке получился конфуз. Кризис нанес Соединенным Штатам глубокие раны, расшатав до основания наивный оптимизм 'просперити'. Европейские противоречия выступили на первый план, и в сетях их запутались самые искусные дипломаты капиталистического мира. Фашизм выдвинулся как настоящая угроза возможному прогрессу. Японское пиратство превратилось в важнейшую международную проблему. Британская империя почувствовала величайшую опасность в Африке и на Средиземном море. Разве вся эта многокрасочная картина действительных отношений хотя бы в малейшей степени похожа на те раскрашенные 'смелые' схемы, которые преподносились в качестве последнего слова премудрости, как основа для тактики?»

«История пошла совсем не так...» Бухарин повторяет эти слова в нескольких местах своей статьи, точно вколачивая их в сознание читателя. Будто затем, чтобы читатель задумался, а как же «повернулось колесо исторического развития» в самой России? Не рассыпались ли те «раскрашенные смелые схемы», построением которых занимались деятели Октября?

«Как же пошла действительная история?» — спрашивал Бухарин.

Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос в приложении к СССР, мы должны вернуться к январю 1934 года, к XVII съезду партии. Надо прочитать доклад Сталина на XVII партсъезде и речь Бухарина на том же партсъезде. Бухарин приводил цитаты из писаний Гитлера и Араки, говорил о врагах, которые «хотят оттеснить нас в Сибирь» и о других врагах, которые «хотят оттеснить нас из Сибири». «На крутом повороте всемирной истории, — говорил Бухарин, — нужно сплочение, сплочение и еще раз сплочение»; «долой всяких дезорганизаторов», то есть фракции, оппозиции. Такова была психологическая установка и политическая позиция Бухарина, у которого, как мы уже говорили выше, было острое чувство боли за Россию. Между тем, Сталин уже в 1934 году, на XVII съезде партии, не проявлял такой непримиримости к фашизму и нацизму. «Конечно, — говорил Сталин, — мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной». Не случайно некоторые зарубежные историки считают, что уже в январе 1934 года Сталин начал думать о дружбе и союзе с Гитлером. Есть

мнение, что мысль о пакте с Гитлером укрепились у Сталина после того, как Гитлер провел кровавую чистку — 30 июня 1934 года (опять 1934 год!). После того, как Гитлер захватил Рейнскую демилитаризованную зону (в марте 1936 года), Сталин окончательно утвердился в своем решении добиваться дружбы и союза. Такие люди, как Бухарин, видели, что, замышляя пакт о дружбе и союзе с Гитлером, Сталин думал не только о том, чтобы «предотвратить военный конфликт», «выиграть время для обороны». Нет, таким дальновидным людям, как Бухарин, было ясно, что Сталин хотел создать ось Москва—Берлин, наладить активное сотрудничество с Гитлером и начать новый передел мира. «История пошла совсем другими путями...» — вот в чем был смысл этой фразы Бухарина.

Как мы уже видели, Бухарин приводил в своих статьях цитаты из русских зарубежных философов, утверждавших, что фашизм и коммунизм — это «подвиды одного вида», что фашизм и коммунизм «причесаны под одну гребенку». Конечно, Бухарин не переставал быть коммунистом, но он, по-видимому, считал, что Сталин дает основания для сравнения коммунизма с фашизмом. В статье «Маршруты истории», последней своей статье, он писал о фашизме так, что получалась полная картина сталинщины:

«Возьмите идеологов фашизма. По сути дела для всех них масса — это 'унтерменши', 'подчеловеки', 'низшие'. Но парадокс истории состоит в том, что эта 'аристократия' денежного мешка, поместья, крови и мундира не может теперь управиться без массы, не может править без демагогии, без определенной доли лести перед обманываемым народом. Массы уже вышли на историческую арену и загнать их в подполье целиком нет никакой возможности. Вот почему, по сути дела, появился фашизм: будучи диктатурой финансового капитала, он создает иллюзию соучастия во власти масс — части рабочих, крестьян, мелкой городской буржуазии, ремесленников, всевозможного мелкого люда. Сложная сеть декоративного обмана (в словах и действиях) составляет чрезвычайно существенную черту фашистских режимов всех марок и всех оттенков».

Не поразительно ли? Последняя — предсмертная! — статья Бухарина была посвящена «сталинской конституции», но, как мне думается, он давал всему миру понять, что «сталинская конституция» — это только «сеть декоративного обмана», что она только «создает иллюзию соучастия во власти масс», что сталинский режим — фашистский, и что к нему мир должен относиться так же, как к гитлеровскому режиму.

10 сентября 1936 года в газетах было опубликовано сообщение Прокуратуры СССР о том, что «следствием не установлено юридических данных для привлечения Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова к судебной ответственности, в силу чего настоящее дело дальнейшим производством прекращено». Бухарин и Рыков, однако, были арестованы на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года, где против них выступал Карл Радек, доставленный из тюрьмы.

И вот, март 1938 года, судилище в светло-голубом зале, где по фризу тянутся вереницы танцующих женских фигур... Как показывает официальный стенографический отчет, отрывки из которого приведены выше, прокурору Вышинскому было велено доказать, что Бухарин — не политический деятель, а бандит, шпион, наемник международного капитала. Но Бухарин, несмотря ни на что, продолжал выступать на суде именно как идеолог, как политический деятель. Есть и такое мнение, что Бухарин вернулся из Парижа именно затем, чтобы сесть в тюрьму и дойти до скамьи подсудимых в Доме союзов, и там, в присутствии иностранных корреспондентов, официальных представителей посольств — перед лицом всего мира! — выступить против сталинского режима. Ведь последнее слово Бухарина никогда не было опубликовано полностью, в газетах оно появилось лишь в выдержках. Но вот что сообщил корреспондент «Нью-Йорк Таймса», присутствовавший на процессе:

«Бухарин один из всех обвиняемых, которым, как это совершенно очевидно, вскоре суждено умереть, — Бухарин один держался мужественно, гордо, почти вызывающе. 54 человека стояли перед судом на трех политических процессах в этом зале, и один Бухарин — первый, кто не унизил себя в последние часы судилища. Со всей остротой своей логики он рассек на части речь прокурора Вышинского и как бы положил эти куски на стол судьи для всеобщего обозрения. Порой, когда Бухарин в своем последнем слове отвлекался от предъявленных лично ему обвинений, председатель Военной коллегии Ульрих пытался остановить его рассуждения, — Бухарин отвечал ему острой, язвительной репликой и продолжал свое слово. В речи Бухарина не было ни напыщенности, ни грубости, ни дешевых ораторских приемов. Это была блестяще построенная речь произнесенная строго и просто — и потрясающая по своей убедительности! То было последнее появление и последнее выступление человека на мировой арене, на которой этот человек порой играл ведущие роли, — и он появился и выступил с той простотой и достоинством, ко-

торые показывали, что его абсолютно ничто не страшит, что он со всею решимостью доводит суть дела до сведения всего мира».*

Бухарин был расстрелян 13 марта 1938 года.

Несколько дней до ареста Бухарин написал письмо «К будущему поколению партийных вождей» и попросил свою жену, Анну Михайловну Ларину, заучить его наизусть, что она и сделала. Почти двадцать лет она, как и сын Юрий Бухарин, пробыла в тюрьмах и лагерях. По возвращении из лагерей, А. М. Ларина и Ю. Н. Бухарин были приняты Н. С. Хрущевым. Они ходатайствовали, во-первых, о том, чтобы с Н. И. Бухарина были официально сняты обвинения в «шпионаже и терроризме»; во-вторых, чтобы им разрешили жить в Москве; в-третьих, чтобы Н. И. Бухарин был посмертно восстановлен в партии. Никита Хрущев сказал, что первые две просьбы будут выполнены, — и, действительно, секретарь ЦК КПСС П. Поспелов публично сказал, что «ни Бухарин, ни Рыков, конечно, шпионами и террористами не были». Насчет третьей просьбы Н. С. Хрущев сказал, что он «подумает». А. М. Ларина тогда передала в Комиссию партийного контроля письмо Бухарина «К будущему поколению партийных вождей», которое она пронесла в памяти через двадцать лет тюремной и лагерной жизни.

«Я обращаюсь к вам, грядущее поколение партийных вождей, — писал Бухарин в своем завещании, — которых историческая миссия и долг обязывают распутать чудовищный узел преступлений, чудовищно возрастающих в эти страшные дни. Я обращаюсь ко всем членам партии! В этот, быть может, последний день моей жизни я убежден, что раньше или позже суд истории очистит меня от всей этой грязи. . . . Я прошу новое, молодое и честное поколение партийных вождей оправдать меня на одном из пленумов ЦК и восстановить мое членство в партии. Знайте, товарищи, что на знамени, которое вы несете, есть и капля моей крови».

Это «новое, молодое и честное поколение партийных вождей» еще не пришло . . . Н. И. Бухарин все еще не «реабилитирован» и официально остается «за пределами истории» пооктябрьской России.

* «Нью-Йорк Таймс», 13 марта 1938 г., стр. 30.

1939

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СОЗДАЕТСЯ СТАЛИНЫМ
И ГИТЛЕРОМ»

До Второй мировой войны посольство СССР в Германии помещалось в Курляндском дворце на Унтер-ден-Линден, в центре Берлина. Широкая, усаженная липами улица ведет к Бранденбургским воротам и парку Тиргартену, — парк этот был уничтожен в 1945 году, но перед войной он стоял во всей своей зеленой тенистой красе.

Впрочем, в 1939 году обитателям Курляндского дворца было не до красот Тиргартена. Дипломатический корпус сильно поредел за последние три года. Карахан, бывший посол в Берлине, был расстрелян в декабре 1937 года. На «бухаринском процессе», в марте 1938 года, дело представляли так, что Карахан будто бы вел от имени «правых оппозиционеров» переговоры с немцами. Другой бывший посол в Берлине, Н. Н. Крестинский, был одним из 21 обвиняемых на «бухаринском процессе». Весной 1939 года послом в Берлине был незначительный человек по имени Алексей Мерекалов . . . — можно ли было знать, долго ли он продержится? Да и не продержался! . . .

Надо полагать, что весной 1939 года советские дипломаты в Курляндском дворце не очень-то любовались красотами Тиргартена, поскольку их мысленные взоры были направлены на Москву, где в Большом кремлевском дворце заседал XVIII съезд партии. XVII съезд состоялся в январе 1934 года, а XVIII — в марте 1939 года. Пять лет разделяли эти съезды — и какие это были годы! На смену «людям XVII съезда», устраивавших овации Кирову, пришли «люди XVIII съезда», выдвинутые периода ежовщины. На первой странице «Правды» появился портрет Лаврентия Берия, нового кандидата в члены Политбюро. В списке новых членов ЦК ВКП(б) значилось имя А. Косыгина.

Восемнадцатый съезд ВКП(б) длился с 10 до 21 марта 1939 года. Как раз в дни съезда, 15 марта, гитлеровские войска вступили в Прагу. Дипломаты в Курляндском дворце в Берлине, естественно, следили, как-то откликнется XVIII съезд на гитлеровскую агрессию. Но, как мы уже видели, Сталин и на XVII съезде

не проявлял непримиримости к фашизму и нацизму, и, может быть, впрямь, он уже летом 1934 года, в дни кровавой чистки в Германии, окончательно решил добиваться союза и дружбы с Гитлером. В своем докладе на XVIII партсъезде Сталин обрушился не на Гитлера, а, наоборот, на Англию и Францию, которые, по его словам, пытались «поднять ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то оснований».

Голос из Москвы, столицы Коминтерна, разумеется, был услышан в Берлине, столице «Антикоминтерна». XVIII съезд ВКП(б) закрылся 21 марта, а 1 апреля Гитлер произнес речь в Вильгельмсхафене, в которой уже не было обычных нападок на большевистскую диктатуру, но зато содержались яростные нападки на Англию и Францию. Неделю спустя, 7 апреля, Иоахим Риббентроп, министр иностранных дел, позвонил по телефону Петеру Клейсту, молодому чиновнику министерства.

— Кого вы лично знаете в советском посольстве? — спросил Риббентроп.

Клейст вырос в Данциге, его семья имела давние связи с Россией, и он сам с детства говорил по-русски. Ему было 35 лет, он быстро продвигался по службе. По своей министерской должности, он поддерживал официальные отношения с советским послом и его ближайшими сотрудниками. Риббентроп долго расспрашивал Клейста о советских дипломатах, находившихся в Берлине, и под конец разговора сказал:

— Вот что . . . Постарайтесь, пожалуйста, улучшить ваши личные связи с людьми в советском посольстве.

Петер Клейст завязал знакомство с Георгием Астаховым, поверенным в делах советского посольства. В середине апреля Астахов пригласил Клейста к себе в гости. В книге «Европейская трагедия» * Клейст рассказывает о визите в Курляндский дворец:

«Астахов принял нас — меня и другого сотрудника министерства, специалиста по экономике стран Восточной Европы — в элегантно обставленном салоне. Как ни странно, он был один, — такой вольности, такой свободы в общении с иностранцами себе не позволяли даже дипломаты более высокого ранга в советском посольстве. Астахов был высокий ростом, носил аккуратную бородку и отлично говорил по-немецки. Наш разговор начался с картин, висевших на стенах салона. Оказалось, что Астахов хорошо разбирался в живописи, особенно в живописи

* Peter Kleist, "The European Tragedy", Times Press, London, 1965, pp. 15—17.

французских импрессионистов. Я сказал, что в Москве, в бывшей Щукинской галерее, мне довелось однажды слышать, как экскурсовод, показывая рукой на картины французских импрессионистов, объяснял публике, что эти картины 'свидетельствуют об упадке и загнивании буржуазного общества'.

— Почему? — спросил я Астахова. — Почему в Москве, в мировом городе, приходится слышать такую чушь?

— Видите ли, — сказал Астахов, — если бы я захотел серьезно ответить на ваш вопрос, мне пришлось бы затронуть другой, более широкий и более важный вопрос, вопрос о догме. (Он так и сказал — о догме!). Но вряд ли нам стоит касаться этого вопроса... Давайте, лучше поговорим о том, что непосредственно затрагивает наши сегодняшние интересы.

И он начал с увлечением и даже блеском говорить, что Германии и Советскому Союзу не следует пререкаться из-за каких-то 'идеологических тонкостей', которые мешают видеть проблемы большой политики.

— Государственные деятели, — сказал Астахов, — не должны бояться своей собственной тени. Надо перешагнуть через эти тени и делать то, что соответствует действительности, делать общую политику, а не таскать друг друга за волосы, от чего нет пользы ни Советскому Союзу, ни Германии, а только третьей стороне.

— Но то, что вы называете 'идеологическими тонкостями', — сказал я, — это есть факты действительности, мешающие нашему сближению.

Легким движением руки Астахов отвел в сторону мое возражение.

— Действительность, — сказал он, — создается Сталиным и Гитлером, они творят действительность, не будучи у нее в плену».

«Было ясно, — пишет Клейст, — что поверенный в делах высказывал не просто свои мысли, а то, что ему было приказано высказать». Клейст, разумеется, знал о выступлении Сталина 10 марта 1939 года на XVIII съезде ВКП(б), как и речь Гитлера 1 апреля 1939 года в Вильгельмсхафене. Но быстрый темп, с которым советские дипломаты — после доклада Сталина — пошли на сближение с Германией, озадачил не только молодого немецкого дипломата, но и самого Риббентропа; Клейст ведь докладывал министру о том, как развиваются его «личные связи с людьми в советском посольстве». «Пока что избегайте встреч с Астаховым, — сказал однажды Риббентроп Петеру Клейсту. — Я не думаю, что фюреру понравятся подобные беседы».

Немецкий посланник 1 мая 1939 года телеграфировал в Берлин, что М. М. Литвинов стоял на трибуне мавзолея «рядом со Сталиным». Но 4 мая краткая, в четыре строки, заметка на последней странице «Известий» сообщила, что М. М. Литвинов «по собственному желанию» освобожден от обязанностей народного комиссара по иностранным делам. На следующий день Георгий Астахов посетил Карла Шнурре, важного чиновника при Риббентропе, и тот сообщал в докладной записке министру: «Астахов затронул вопрос о снятии Литвинова. Не ставя мне прямых вопросов, он старался выяснить, в какой мере это поможет изменению нашей позиции по отношению к Советскому Союзу». * Весть об отставке Литвинова, — сказал впоследствии Гитлер, — донеслась до него, как «пушечный выстрел». Гитлер понял, что Сталин был готов далеко пойти навстречу гитлеризму.

В июне-июле 1939 года шли англо-франко-советские переговоры о трехчленном пакте против агрессии. Переговоры шли с большими трудностями из-за двуличной политики Сталина, но правительство Франции все же решило пойти на уступки, а 25 июля, под давлением Франции, Англия тоже согласилась принять условия Сталина. Французы и англичане, однако, не знали того, что должно было случиться на следующий день, 26 июля 1939 года. Во время англо-франко-советских переговоров шли и немецко-советские переговоры, и к двадцатым числам июля они достигли такой фазы, что 26 июля советник посольства СССР в Берлине дал знать немецкому правительству о возможности непосредственной встречи высокоответственных представителей Сталина и Гитлера. «Правда, — пишет Л. Вудворд, профессор Оксфордского университета, в книге 'Происхождение Второй мировой войны', — правда, что правительства Англии и Франции не проявили большого воображения в переговорах с советским правительством, но правда и то, что они, по крайней мере, не вели одновременно переговоров с Гитлером за спиной Советского Союза».

В ночь на 20 августа 1939 года в Берлине было подписано Торгово-кредитное соглашение между Германией и СССР. 20 августа Гитлер отправил личное послание Сталину, предлагая, что-

* В конце августа 1939 года, сменивший Литвинова на посту наркоминдела, запросил Берлин, примут ли они в качестве посла СССР Владимира Деканозова. 21 ноября Риббентроп дал согласие, причем телеграфировал немецкому послу в Москве: «Мы надеемся, что Деканозов не еврей». Шуленбург ответил: «Он грузин, а не еврей». Это тот самый Деканозов, который был расстрелян в 1953 году, после смерти Сталина.

бы Риббентроп был принят в Кремле 22, самое позднее 23 августа, — вторжение в Польшу Гитлер намечал на 26 августа. В полдень 23 августа Риббентроп прибыл в Москву, и в три часа дня начались переговоры в присутствии Сталина. Сталин сразу же сказал, что СССР должен иметь порты Лиепая (бывш. Либава) и Вентспилс (бывш. Виндава). Риббентроп ответил, что он должен позвонить об этом Гитлеру. Гитлер велел принести ему атлас, и, бросив взгляд на карту Прибалтики, сказал Риббентропу: «Согласен». Переговоры затянулись далеко за полночь, но договор о ненападении и секретный протокол при нем носили дату — 23 августа 1939 года. По подписании двух документов, начали хлопать пробки, полилось шампанское. «Я знаю, — провозгласил Сталин, — как немецкий народ любит своего Вождя, выпьем поэтому за его здоровье».

25 августа Гитлер перенес дату вторжения в Польшу на 1 сентября. Вечером 31 августа Верховный Совет СССР ратифицировал сталинско-гитлеровский договор; депутаты, разумеется, ничего не знали о секретном протоколе. Несколько часов спустя загрохотали танки и пушки, загудели бомбовозы, — началась Вторая мировая война.

Продвижение гитлеровских армий по территории Польши произвело огромное впечатление на Сталина. 10 сентября 1939 года Молотов, тогдашний председатель Совета народных комиссаров СССР и комиссар по иностранным делам, сказал в беседе с германским послом Шуленбургом:

«Мы поражаемся невероятным военным успехам Германии. По данным нашего Генерального штаба, Германии должно было потребоваться несколько недель на то, что она совершила в несколько дней. Признаться, это ставит нашу Красную армию в трудное положение, — она нуждается, по крайней мере, в двух-трех неделях для подготовки к выполнению той задачи, которая перед ней будет поставлена. Мы уже мобилизовали три миллиона человек».

Несколько дней спустя Шуленбург был принят Сталиным. Речь шла о Польше. Как сообщал Шуленбург в Берлин, Сталин сказал ему:

«При решении польского вопроса необходимо сделать все, чтобы предотвратить какие-либо, даже самые малейшие, трения между Германией и Советским Союзом. Поэтому было бы неразумно оставлять хотя бы какую-то часть независимой Польши. По статье второй секретного протокола, демаркационная линия, определяющая сферы интересов Германии и Советского Союза, должна проходить по рекам Нарев, Висла, Сан. В отступление от

этого, мы предлагаем вам следующее: берите целое воеводство к востоку от Варшавы, до самого Буга, а нам взамен отдайте Литву».

17 сентября 1939 года войска Красной армии перешли границу по всей западной линии от Западной Двины до Днестра. Десять дней спустя, 27 сентября, в Москву снова прилетел Риббентроп. Его самолет сделал посадку в Кенигсберге и принял на борт старого нациста Форстера, гауляйтера г. Данцига. На этот раз Риббентропа приняли в Москве с особенными почестями. Гауляйтер Форстер сказал, что он чувствовал себя так, будто находился среди старых «партайгеноссе» — партийных товарищей. На следующий день, 28 сентября, был подписан новый документ, даже более значительный, чем договор о ненападении, заключенный в августе. Новый документ назывался — «Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией». «Если пакт о ненападении можно как-то еще оправдать, — писал впоследствии генерал П. Г. Григоренко (в письме в редакцию журнала 'Вопросы истории КПСС', в 1967 году, в связи с наложением цензурного запрета на книгу А. Некрича '1941. 22 июня'), — то зачем понадобился 'Договор о дружбе и границе'? «Сталинское правительство, — добавлял П. Г. Григоренко, — добровольно привязало себя к военной колеснице германского фашизма и в течение почти двух лет покорно шло за этой колесницей, как бык, ведомый на убой».*

«Договор о дружбе» дал огромную материальную помощь Гитлеру. В последние перед войной годы торговый оборот между СССР и Германией не превышал нескольких десятков миллионов марок, — в 1939 году он упал даже до 11 миллионов. Но по «Договору о дружбе» СССР обязывался поставить Германии нужное ей сырье и фабрикаты на миллиарды марок. Гитлеру нужны были пшеница, хлопок, нефть, медь, кожа. Все это ему дал Сталин. Если у СССР не хватало своего, СССР производил за счет Германии закупки в Англии, как об этом свидетельствует заявление представителя английского правительства Дальтона, обвинявшего СССР в срыве блокады Германии. Немецкая военная машина впоследствии боролась с Красной армией, используя нефть, медь, хлопок, полученные от СССР. Не менее важной была и политическая помощь — работа иностранных коммунистов по разложению наций и армий, против которых вел вой-

* «Мысли сумасшедшего». Избранные письма и выступления П. Г. Григоренко. Серия «Библиотека Самиздата», № 4, Амстердам, Фонд имени Герцена, 1973 г. Стр. 81.

ну Гитлер. Именно благодаря такой подрывной работе, Франция оказалась легкой добычей для Гитлера.

... В конце января 1942 года наша 35 саперная бригада находилась в районе только что освобожденного Можайска. Моя рота (я был тогда лейтенантом, командиром саперной роты) расположилась в деревне Марфин Брод. Пришел я в одну избу и вижу, что в печке кто-то лежит. Не на печке, а в печке, — вижу, торчат из печки ноги! И — не босые, а в сапогах! Хозяйка, этакая худая, жилистая женщина с желтым лицом, кинулась было к печке, прикрыть занавеской, но остановилась, опустила руки и сказала:

— Возле мельницы немец лежит убитый, так я отпилила ноги да и оттаиваю, чтобы сапоги-то снять...

Ну, что ей скажешь? Оттаяли эти ноги, сняла она с них сапоги. И когда я вечером вернулся в избу, хозяйка сказала:

— А сапоги-то у немца наши, советские!

Нет, сапоги были немецкие — с короткими, раструбом, голенищами. Но сшиты они были из советской кожи: хозяйка хорошо отмыла кожу и увидела клеймо Кунгурского кожзавода, что близ Перми.

ВКП(б) — ВТОРОЕ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО (большевиков)

На заводе Ростсельмаш, в сталелитейном цехе, работал в 1940 году слесарь Петр Стасов. Этот завод в Ростове-на-Дону считается «первенцем пятилетки»: его начали строить в 1926 году, он вступил в строй 1 января 1931 года. Это один из крупнейших заводов сельскохозяйственного машиностроения в Европе, — в 1937 году он за свои машины получил высшую награду, «Гран при», на выставке в Париже. Россия по праву гордится этим заводом, а завод мог гордиться такими рабочими, как Петр Стасов.

Петр Степанович Стасов был донской казак, из станицы Мечетинской. В 1919—1920 годах он воевал за советскую власть в знаменитом партизанском отряде Жлобы. Когда началось строительство Ростсельмаша, он нанялся сперва чернорабочим, но потом, как говорится, «приобрел квалификацию», вышел в слесари высшего разряда. Работал хорошо, старался, — его портрет висел в заводской «галерее стахановцев». 7 ноября 1940 года, в 23-ю годовщину революции, его наградили премией, — на торжественном заседании в рабочем клубе дали велосипед.

Наутро он решил поехать на велосипеде на охоту. Недалеко, километрах в восьми от завода вверх по Дону, — он знал, — в «закутах» до поздней осени водилась дичь. Выехал до рассвета, в шесть утра был уже на месте, — рассчитал так, чтобы к восьми успеть на завод. Но — вот беда! На обратном пути лопнула камера на переднем колесе велосипеда... И Петр Степанович опоздал на работу. Не на много, может быть, даже не на все полчаса, но попал в «двадцатиминутники». По указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года всякое «неоправданное» опоздание на работу, превышающее 20 минут, считалось «прогулом», а прогул приравнялся к «самовольному уходу» с предприятия, за что полагалось суровое наказание. Начальник цеха написал рапорт об опоздании Стасова, — слесаря тут же арестовали. То, что он был партизаном, имел «заслуги перед революцией», к делу не шло, — ведь Д. П. Жлоба, знаменитый комдив, был расстрелян в июне 1938 года. Не помогло и

«ударничество», «стахановство», — теперь П. С. Стасов был уже не «стахановец», а «двадцатиминутник».

На суде П. С. Стасов пытался «по-человечески» объяснить причину опоздания, но судья сказал с усмешкой:

— В указе от 26 июня никакой льготы охотникам не дано...

И — приговорил Стасова к четырем месяцам принудительных работ. Стасову бы поблагодарить судью, поклониться ему в ноги за мягкий приговор, но... взвыло его партизанское сердце! Его, теперь уже «уголовного преступника», привезли в лагерь около станицы Гниловской, где что-то строили на берегу Дона, и он... отказался работать! Его, понятно, посадили в изолятор. Не прошло много времени, как из Ростова-на-Дону пришел приговор: десять лет лагеря — статья 58, пункт 14. И погнало «стахановца Ростсельмаша» этапом, под окрики конвойных и лай собак, на Волгу, на строительство Куйбышевского гидроузла.*

Указы 1940 года... 26 июня 1940 года — указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». (В тот же день было опубликовано постановление СНК СССР «О повышении норм выработки и снижении расценок».) — 10 августа 1940 года — указ, которым устанавливалось, что «дела о прогулах по неуважительным причинам и о самовольном уходе с предприятий и учреждений рассматриваются народными судьями единолично, без участия народных заседателей». В тот же день опубликован указ «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство». — 2 октября 1940 года — указ «О государственных трудовых резервах СССР», по которому набор в ремесленные и железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) стал проводиться путем мобилизации подростков в возрасте от 14 до 17 лет. — 19 октября 1940 года — указ «О порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в другие».

Законы 1940 года... Пройдет три с лишним десятилетия, и в апреле 1974 года Александр Солженицын напишет: «В Советском Союзе царит крепостное право. ... Ключ советского кре-

* Историю П. С. Стасова передаю со слов Федора Горба, жившего до Второй мировой войны на Северном Кавказе. По профессии метеоролог, Ф. И. Горб, однако, работал кондуктором на железной дороге и хорошо знает жизнь того края. Ныне он живет в США.

постного права: постоянная приписанность к месту жительства, невозможность никуда уехать из-под местного начальства без его разрешения. Потому крепостное право не только в лагерях и колхозах, где прямой принудительный труд, не оплачиваемый по своей стоимости. Крепостное право разлито по просторам нашей страны: 'вольные' граждане совсем не свободны ни в выборе труда, ни в защите достойной оплаты его и даже в общем жизненном поведении должны приноравливаться к местным мелким партийным сатрапам и их капризам: вызвавши их гнев, могут быть теснимы вне всяких законов». * Наряду с паспортной системой, введенной 27 декабря 1932 года, законы 1940 года и были направлены к утверждению ВКП(б), «Второго Крепостного Права (большевиков)», как эти четыре буквы истолковывали в народе.

Правда, надо заметить, что «мелкие партийные сатрапы» тоже были придавлены этими законами: указы предусматривали, что директора предприятий, «уклоняющиеся» от предания суду «прогульщиков» или принявшие на работу того, кто самовольно ушел с другого предприятия, должны были привлекаться к уголовной ответственности и приговариваться к лишению свободы до трех лет.

Директорам предприятий, которых теперь называли «командирами производства», с одной стороны, самим грозили тюрьмой и лагерем, а с другой стороны, давали им власть над закрепощенными рабочими. В октябре 1940 года журнал «Проблемы экономики» напечатал статью под невинным заглавием — «Социалистическое воспроизводство рабочей силы и ее использование». Но вот что в ней было сказано:

«Представитель диктатуры рабочего класса, советский директор предприятия обладает всей полнотой власти. Его слово — закон, его власть на производстве должна быть диктаторской. Облеченный высокими полномочиями социалистического государства, советский хозяйственник не имеет права уклоняться от использования острейшего оружия — власти, которую партия и государство ему доверили. Командир производства, уклоняющийся от применения самых жестоких мер воздействия к нарушителям государственной дисциплины, дискредитирует себя в глазах рабочего класса, как человек, не оправдывающий доверия».

Вот когда начали расти «мелкие партийные сатрапы»! Если директор предприятия — «представитель диктатуры», если его

* Заявление в связи с высылкой из Москвы писателя Виктора Некрасова, «прописанного» в Киеве. «Русская Мысль», 11. IV. 1974.

власть — «диктаторская», то профсоюзы, фабзавкомы уже не могут играть никакой роли. В 1940 году было проведено большое сокращение профсоюзного аппарата. «Коллективные договоры» были забыты.

Для того, чтобы понять, что указами 1940 года было окончательно введено второе крепостное право, достаточно сравнить их с рабочим законодательством царской России. Возьмем годы царствования Александра III, которые изображаются советскими историками как «годы реакции». Александр III вступил на престол 1 марта 1881 года, когда был убит его отец, Александр II. И что же? Даже в журнале «Вопросы истории», выходящем сейчас в Москве, в № 1 за 1971 год, можно прочитать следующее:

«Именно в 80-е годы XIX века один за другим выходят законы, регулирующие многие наиболее острые в тот момент стороны фабрично-заводской жизни: в 1882 г. был издан закон, ограничивающий наем на работу детей, в 1885 г. — закон, запрещающий фабрикантам ставить в ночные смены женщин и подростков, в 1886 г. — закон, касающийся условий найма рабочих на фабрики и заводы».

Какое же тут может быть сравнение?! В 1885 году закон запрещал ставить в ночные смены женщин . . . — а теперь? По существующему кодексу Международной Организации Труда, женщины не допускаются к работе в доменном производстве, в шахтах и к ряду других работ, физически вредных для женщин. А в Советском Союзе? В мае 1931 года в «Известиях Народного Комиссариата Труда» был напечатан «Список профессий и должностей, на которых применение женского труда должно быть расширено». По этому списку, женщины должны были шире привлекаться на работу в горную, металлургическую, кожевенную, бумажную и химическую промышленности, на строительства и во все отрасли транспорта. В списке указывалось, что «женщины должны работать машинистами на камнедробилках и кранах, чистильщиками путей и паровозов, грузчиками в горной промышленности, токарями, фрезеровщиками, слесарями, паяльщиками и резчиками по металлу, бетонщиками и каменщиками, шоферами на грузовиках, тракторах, комбайнах».

При Николае II, сыне Александра III, вступившем на престол в 1894 году, еще более прогрессивным становилось рабочее законодательство в России. И, опять-таки, об этом свидетельствует тот же журнал «Вопросы истории»! В 1897 году был принят закон о рабочем времени, в 1903 году — о фабричных старостах, об ответственности фабрикантов за увечье рабочих, в 1912 году — страховые законы . . .

«В конце января 1905 года, — читаем в журнале 'Вопросы истории', — Комитет министров приступил к подготовке законопроектов о рабочем дне, врачебной помощи, страховании рабочих, смягчении карательных статей за стачки, подвергнутых затем обсуждению в комиссии Коковцева. . . В 1913 году Совет министров проектировал ряд мер, в том числе организацию примирительных камер смешанного состава из рабочих и фабрикантов, куда должны были войти и представители от власти. Примирительные камеры должны были взять на себя разбор конфликтов между рабочими и предпринимателями».

Даже по журналу «Вопросы истории» видно, что, несмотря на все трудности, помехи и колдобины, создававшиеся в течение веков, Россия все же шла к все большей и большей демократизации, к расширению тех гражданских и политических свобод, которыми уже давно пользовались другие народы Европы. Какой контраст по сравнению с указами 1940 года!

Как сказано выше, 10 августа 1940 года был опубликован указ «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве». И вот, пустились во все тяжкие выполнять «указ» . . . В августе 1940 года на последней странице «Правды» печаталась хроника «В народных судах г. Москвы». Вот о каких «преступлениях и наказаниях» она сообщала:

«Захарова, работница фабрики им. Клары Цеткин, совершила кражу двух метров сатина, с которыми и была задержана в проходной будке фабрики.

Петрова, работая на фабрике 'Большевик' в качестве полomoйки, совершила кражу печенья и сахарного песку.

Логунов, рабочий завода 'Красный богатырь', похитил два английских замка, принадлежащих заводу.

Указанные лица приговорены народными судами г. Москвы к тюремному заключению сроком на один год».

Простая, сухая хроника в «Правде» . . . Но если прочесть ее внимательно, то в ней открывается картина 1940 года. «. . . Петрова, работая на фабрике 'Большевик' в качестве полomoйки, совершила кражу печенья и сахарного песку». Совершила! . . . Кражу! . . . Не сказали же, сколько именно печенья и сахарного песку взяла полomoйка . . . Несколько печений? Горсточку сахара? И сколько эта полomoйка зарабатывала? Часто ли ей доводилось полакомиться печеньем и сладким чаем? Приговорена «к тюремному заключению сроком на один год». Законы 1940 года . . .

В 1940 году в стране, только что пережившей кровавый период ежовщины, началась новая вакханалия. Подшивка «Прав-

ды» за 1940 год показывает, что к тому времени расстрел вошел в повседневный судебный быт, стал обычной мерой уголовной репрессии. Так, о расстрелах сообщалось в №№ «Правды» от 16 октября, 21 октября, 27 октября, 28 октября, 1 ноября и т. д. Кого же расстреливали? Каких «государственных преступников»? Вот что сообщала «Правда»:

«Киевский областной суд приговорил к расстрелу за систематические хищения директора Киевского отделения виннопроизводственного треста 'Самтрест' Борца, заведующего складом готовой продукции Аврутиса и главного бухгалтера отделения Кириченко. . . Московский городской суд приговорил к расстрелу Аникина, который в пьяном виде переехал прохожего и пытался скрыться (пострадавший вскоре умер от полученных увечий). . . Московский областной суд приговорил к расстрелу за расхищение социалистической собственности восемь служащих Московского мясокомбината им. Микояна».

В кодексе 1922 года расстрел был определен как «высшая мера наказания». В кодексе 1926 года расстрел признавался как «исключительная мера охраны государства трудящихся»; она должна была применяться именно как «исключительная» — при тяжких государственных и воинских преступлениях и при вооруженном разбое. В 1940 году расстрел вошел в быт, стал обычной мерой уголовной репрессии.

1941

«В ГОД ЗАТЕМНЕНИЯ И МАСКИРОВКИ...»

Москва сорок первого года,
Ты души умела открыть!
И зря у нас вышло из моды
Об этом друзьям говорить.
А все же, когда непогода
Напомнит о прошлой войне,
Москва сорок первого года
Неслышно заходит ко мне... *

Москва 1941 года... И — Россия 1941 года! В одной современной повести говорится, что «многие ничего уже не помнят из своего раннего детства, многие родились после войны, война для таких — абстракция. Как оледенение Европы. Как неолит». ** Нет, то было не оледенение! То был пожар, охвативший чуть ли не все страны мира! Пожар страшный, опустошительный, но вместе с тем и очистительный. Даже и те, кто ничего не помнит из своего раннего детства, или те, кто родился после войны... — разве не чувствуют они, что и в их жизнь залетели искры от того пожара? В том огне, который начал разгораться в юных русских душах в шестидесятих годах XX века, пятнадцать лет спустя после «Дня Победы»... — разве нет в нем чего-то от огня 1941 года?

Москва тех дней... Крутой накат событий...
Не счесть утрат, не описать невзгод.
Но, сверстники, душою не кривите:
Он был, как факел, чистый этот год!
Как штукатурка сыпались уловки,
И, в силу обнажившихся причин,
В год затемнения и маскировки
Мы увидали ближних без личин.

* Константин Симонов.

** Василь Быков, «Мертвым не больно».

И нам, свидетелям, донине святы
И дышат в нашей памяти поднесь
Дежурства, крыши и аэростаты —
Московских буден взрывчатая смесь . . .
Фасадов камуфляжное убранство,
Симфония отбоев и угроз
И это чувство гордого гражданства,
Впервые пережитое всерьез. *

1941 год . . . Крутой накат событий . . . Война началась 22 июня, а 28 июня немецкие войска уже взяли Минск. Ранним утром 3 июля Сталин говорил перед микрофоном пересохшим горлом (в репродукторе слышалось, как булькал нарзан, наливаемый из бутылки):

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, — продолжается. . . Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность».

Не прошло и двух недель после речи Сталина, как 14 июля немцы были уже в Луге, под Ленинградом. 16 июля — в Смоленске. 30 августа они захватили станцию Мга, в сорока километрах юго-восточнее Ленинграда, тем самым прервав все железнодорожное сообщение с северной столицей. А 8 сентября, захватив Шлиссельбург, они замкнули кольцо блокады.

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» 19 июля Сталин стал народным комиссаром обороны, а 8 августа — Верховным главнокомандующим Вооруженными силами СССР. 17 сентября противник занял Киев, 2 октября — Орел, 12 октября — Калугу, 13 октября — Калинин (Тверь), 16 октября — Одессу, 24 октября — Харьков, 3 ноября — Курск, 19 ноября — Ростов-на-Дону. Под Москвой немцы заняли Можайск, Волоколамск, а 22 ноября — Клин и Истру, уже совсем близкие подмосковные города. «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»

* Юлия Нейман.

1941 год... «Как штукатурка сыпались уловки, и, в силу обнажившихся причин, в год затемнения и маскировки мы увидели ближних без личин». Конечно, «Верховный» не был «ближним», и народ не мог знать, что 13 сентября Сталин, в беседе с адмиралом Н. Г. Кузнецовым, высказал предположение, что Ленинград «возможно, придется сдать»; не мог народ знать и того, что 16 октября Сталин оставил Москву... — пусть только на два дня, но все же оставил!* Но и не зная этого, народ почувствовал, что Сталин вовсе не то, за что его принимали.

16 октября 1941 года в Москве была паника. В ту пору я был курсантом Московского военно-инженерного училища. Наша курсантская рота, находившаяся с 5 октября на Волоколамском направлении, была придана штабу 16-й армии генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского. В середине октября трое курсантов, в том числе пишущий эти строки, были посланы в Москву, чтобы получить противотанковые мины на картонной фабрике, где они вырабатывались. На рассвете 16 октября мы добрались из с. Тургиново до Москвы, — картины того дня нарисованы в моей книге «Освобождение души». Позволю себе привести отрывок из этой книги, вышедшей в Нью-Йорке в 1952 году, еще при жизни Сталина.

«Большой день — поистине исторический — пережила столица. День кризиса, день перелома. Москва не перешла из одних рук в другие, но из одного качества в другое. При тех обстоятельствах сталинская тирания не могла рухнуть, но рухнуло сталинское идолопоклонство. Как бы казенные историки ни доказывали, что генералиссимус Сталин вел военную игру, как гроссмейстер — шахматную, то есть двигал миллионами пешек, возводил их в туры и королевы, продвигал или сбрасывал с доски, день 16 октября показал, что Сталин, сам Сталин — пешка, не более чем статист в той драме, которая разыгрывалась не только на трехтысячечерстном фронте, но вообще на пространствах России. Драма не имела героя, — или героем ее был весь народ. Повернувшись спиной к большевизму, народ очутился лицом к лицу перед немцами. От этого поворотного пункта начинается иной ход войны. Наступление армий фон Бока, развивавшееся по календарному плану, неожиданно застопорилось. План

* Александр Солженицын пишет об этом в романе «В круге первом», изд. 1968 года, стр. 83. Но это — не вымысел и не «домысел» писателя. Косвенное подтверждение этого факта можно найти в воспоминаниях военкома К. Телегина в журнале «Вопросы истории КПСС», 1966 г., № 9, стр. 104—7.

был хорош, основателен и аккуратен, но он провалился. Потому что никаким планом — ни немецким, ни советским — нельзя было предугадать — ни во времени, ни в пространстве — реакцию народного сознания, народного инстинкта. План не учитывал ту неизвестную моральную величину, которая вообще никогда не поддается учету, и немецкие генералы, составители плана, конечно, никак не ожидали, что в середине октября вдруг окрепнет сопротивление Красной армии. Правда, немцы, остановившись, накопят силы и месяц спустя — 16 ноября — вновь перейдут в наступление. Месяц — срок недостаточный, чтобы народ после разброда смог построиться в боевые ряды, наши войска еще раз отступят к Москве. Но это будет последний раз. Народ построится и 5 декабря перейдет в наступление, которое окончится разгромом немцев под Москвой. Придет первая победа, о которой знали только верующие сердца».

На следующий же день после бегства Сталина из Москвы произошла крутая перемена даже в казенной пропаганде. Чтобы это увидеть, достаточно сравнить, например, передовые статьи в «Известиях» — от 16 октября 1941 года и от 17 октября 1941 года. Первая еще целиком построена на Сталине:

... наш великий народ — народ-борец, народ-титан, сплоченный вокруг большевистской партии, вокруг советского правительства, вокруг любимого своего вождя товарища Сталина.

Во второй нет ни слова о Сталине, а все — о русской истории:

Враг рвется к Москве. На западных участках фронта, на дальних подступах к столице идут ожесточенные бои. Город готовится к обороне, он сумеет постоять за себя. Слишком много связано в жизни и сердце советского народа с Москвой, чтобы враг мог безнаказанно замахнуться на нее своим окровавленным мечом.

В Москве воплощена история русского народа. Здесь происходило становление русского государства. В стенах Москвы протекали крупнейшие события общественно-политической и культурной жизни страны. ... Москва оформила государственное бытие народа, Москва сделала русскую национальную культуру мировым достоянием.

... Народ Москвы не знает страха. Сама история учила его бесстрашию. Он знал татарское иго, он помнит походы Наполеона, он видел сжимающие кольца армий интервентов. Дванадцать языков в разное время и в разных сочетаниях пытались его одолеть. Не одолели. Он устоял, наш

прекрасный народ, свободный и независимый, живущий по своей воле. В своих исторических испытаниях он выковал железное мужество и стальное сердце.

Кто помнит Москву тех дней, помнит, как что-то переменялось в воздухе, как в Москве, Подмосковье, а там и во всей стране, создался особенный психологический климат, какого страна, быть может, не знала за все пооктябрьские годы. Поваяло чем-то новым, и не прошло много времени, как страна узнала великую новость: 9 декабря 1941 года войска Красной армии освободили г. Тихвин, — это была победа, которою, может быть, был спасен не только Ленинград, но и Москва, поскольку немецкая группа армий «Север» была в Тихвинской операции скована и уже не могла быть переброшена под Москву. 15 декабря были освобождены Клин, Истра; немцы оттеснены от Тулы. 30 декабря — освобождена Калуга.

На этом и закончился 1941 год. Но дух 1941 года — это нечто такое, что продолжало и продолжает жить все послевоенные десятилетия. Чувство гражданства, разгоревшееся в пожарище 1941 года, проявлялось не только на фронте и не только на войне. Боль за родину, протест против лжи и фальши, против несправедливости и произвола . . . — вот он, дух 1941 года!

Когда Федор Панферов напечатал в 1946 году в журнале «Октябрь» статью «О черепках и черепушках», то им двигало именно это — чувство гражданства, боль за родину, протест против лжи и фальши.

«Нам, литераторам, — писал он в своей нашумевшей статье, — если мы хотим писать о Великой Отечественной войне, надо все тщательно изучить: почему, в силу чего, Красная армия отступила до Сталинграда, почему, в силу чего, начиная с Орла—Курска, Красная армия победоносно дошла до Эльбы. Все это надо изучать. Изучать, искать правду жизни, стало быть, и художественную правду».

В 1946 году Ф. И. Панферов подвергся нападкам за свою вольнодумную статью. 22 июня 1946 года «Литературная газета» напоминала автору статьи «О черепках и черепушках», что «в докладах и выступлениях товарища Сталина дана исчерпывающая характеристика подвига, совершенного советским народом, дан блестящий анализ всемирно-исторического значения победы над фашизмом».

Но то, что Федор Панферов пытался сделать в 1946 году, сделала молодежь — наши новые «шестидесятники». Григорий Бакланов, родившийся в 1923 году, на 27 лет моложе Панферова, написал повесть «Июль 1941 года», а Василь Быков — и того

моложе — повесть «Мертвым не больно», произведения, овеянные духом 1941 года.

Дуновение урагана 1941 года почувствовалось и на собраниях, состоявшихся 17—18 июня 1964 года в Институте истории Академии наук СССР. На этих собраниях обсуждался девятый том «Истории СССР», охватывающий события 1933—1941 годов. В выступлениях участников дискуссии звучала такая боль за Россию, какая, пожалуй, еще никогда не высказывалась столь открыто за все предшествовавшие пооктябрьские десятилетия. Так, научный сотрудник Александр Корушев, говоря о недостатках подготовленного к печати девятого тома, отмечал, что в нем ничего не сказано о голоде на Украине и на Кубани, не указано, сколько лагерников участвовало в строительстве Беломорско-го и Москва-Волжского каналов и на других крупных стройках того периода. «Положение крестьян, — сказал он, — в 1933 году было хуже, чем в 1929 году, хуже даже, чем в 1913 году», и в этом месте раздался возглас проф. Э. Б. Генкиной: «Если так, то для чего нужна была Октябрьская революция?!» *

Девять месяцев спустя, 1 апреля 1965 года, типография издательства «Наука» в Москве получила для набора рукопись книги Александра Некрича «1941. 22 июня». В этой небольшой (171 стр.) книжке были поставлены те же вопросы, что и в статье Ф. И. Панферова «О черепках и черепушках», но шире, свободнее. Книга вышла в 1965 году пятидесяти тысячным тиражом и тотчас же была раскуплена. «Достать ее сегодня не то что в собственность, а хотя бы для прочтения, это — целое событие», — писал в октябре 1967 года один читатель и критик этой книги. В феврале 1965 года в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС было устроено обсуждение этой книги, и, опять-таки, на собрании веяло духом 1941 года, — книга получила почти единодушную положительную оценку. Критик, автор только что приведенных строк, — военный историк генерал-майор П. Г. Григоренко, опубликовавший 78 научных работ по военному делу, в своем известном (распространившемся в Самиздате) письме в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС» писал:

«Что же сделал Некрич?

Он задался целью написать — и написал! — книгу о причинах поражения наших войск в начальный период войны. Искал он эти причины, как и должен был искать любой нормальный

* Э. Б. Генкина специализируется на вопросах нэпа, она — автор книги «Переход советского государства к новой экономической политике (1921—1922)», изданной тем же Институтом истории в 1954 г.

исследователь, в событиях, предшествовавших войне. . . Каков же результат исследования Некрича? . . . Кое-чего в книге не хватает, например, — соотношения сил сторон к началу войны. Есть вопросы, освещенные неверно, например, — развитие советской военной теории. Далеко не полно и потому неверно освещен вопрос о командных кадрах Красной армии. Совершенно нет анализа влияния сталинской политики массовых репрессий на обороноспособность страны. . . Этих исследований у Некрича нет. Но и винить его за это нельзя. Он — первый. И хорошо уж то, что он поднял краешек завесы над тайнами, бывшими долгое время укрытыми от глаз широких народных масс. . . Некрич повел исследование в правильном направлении. . . Идя такими путями, можно дойти до истины».

Дойти до истины, «обнажить причины», видеть все и всех «без личин» — вот это и есть дух 1941 года. То, что не досказал в своей книге А. М. Некрич, высказал в своем письме П. Г. Григоренко:

«Ведь тогда, накануне войны 1941—45 годов, сделано было действительно страшное. Как будто бы кто-то специально — долго, упорно и организовано — работал над тем, чтобы облегчить победу фашистам, передать им в кабалу весь наш народ. . . Те, кто не пережил страшных событий первых месяцев войны, пусть знают, что преодолевать моральный надлом не легче, чем идти с противопехотной гранатой и бутылкой с горючей смесью на танк врага».*

1941 год и был годом, когда на глазах всего мира обнаружился моральный надлом России, но началось и преодоление надлома. Думаю, что именно в тот год мы, русские люди, впервые увидели «начертанный нам путь», о котором впоследствии, в 1974 году, будет говорить один из авторов самиздатского сборника «Из-под глыб». «Он так прям, — читаем мы в статье Ф. Корсакова 'Русские судьбы', — так кремнист и блестят сквозь туман, дым и кровь, так неисповедимо проложен в этой — непостижимой без любви — стране, что не увидеть его, пройти мимо, заблудиться можно лишь поистине помраченным сознанием»** Боль за Россию, любовь к России и, следовательно, постижение России теперь уже непомраченным сознанием, — вот что принес нам 1941 год.

* П. Г. Григоренко, «Мысли сумасшедшего. Избранные письма и выступления», стр. 31—93. Серия «Библиотека Самиздата» № 4. Амстердам, Фонд имени Герцена, 1973 г.

** «Из-под глыб», стр. 170.

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА В НОЧИ ПОД СТАЛИНГРАДОМ

«Он потом велел брать в тюрьму поголовно всех, кто вспоминал о панике шестнадцатого октября, — пишет А. Солженицын о Сталине в романе 'В круге первом'. — Но наказал и себя — вывел себя на ноябрьский военный парад. Это была минута жизни, как — в прорубь в туруханской ссылке: лед и отчаяние, но через них силы. Шутка сказать — военный парад, когда враг у стен!»

В речи на том параде Сталин сказал: «Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик, и гитлеровская Германия должна лопнуть». Но... прошло несколько месяцев, и противник занял Керченский полуостров, 3 июля 1942 года пал Севастополь; 3 августа немцы были в Котельникове, к юго-западу от Сталинграда, у Цимлянского водохранилища; 11 августа — в Майкопе и Краснодаре; 23 августа прорвались к Волге севернее Сталинграда, а в конце сентября почти весь центр г. Сталинграда был уже в руках противника.

Известный роман Константина Симонова «Дни и ночи» начинается сценой, которая происходит даже уже не в Сталинграде, а за Сталинградом, в Заволжье:

«Обессиленная женщина сидела, прислонившись к глиняной стене сарая, и спокойным от усталости голосом рассказывала о том, как сгорел Сталинград. Было сухо и пыльно. Слабый ветерок катил под ноги желтые клубы пыли. Ноги женщины были обожжены и босы, и когда она говорила, то рукой подгрребала теплую пыль к воспаленным ступням, словно пробуя этим утишить боль. Капитан Сабуров взглянул на свои тяжелые сапоги и невольно на полшага отодвинулся от женщины. Он молча стоял и слушал женщину, глядя поверх ее головы туда, где у крайних домиков, прямо в степи, разгружался эшелон. За степью блестела на солнце белая полоса соляного озера, и все это вместе взятое казалось краем света. 'Куда загнали, а?' — невольно прошептал капитан Сабуров, и вся безотчетная тоска последних суток, когда он из теплушки смотрел на степь, стеснилась в эти два слова».

«Куда загнали...» 1942 год!.. Едва ли не самый тяжелый год Второй мировой войны. Не только на фронтах России, но и на фронтах в Европе, Африке, на Тихом океане. Вспомним, что 6 мая 1942 года, после длительной осады и ожесточенных боев, пала крепость Коррехидор, на острове у входа в гавань Манилы. 21 июня 1942 года войска Роммеля заняли Тобрук — в Ливии, на Средиземном море. 19 августа 1942 года — поражение у Дьеппа, на берегу Ла-Манша.

В 1942 году все как бы дошли до «края света»... И не было другого вопроса, кроме как — как же выйти оттуда, «куда загнали»? По какой звезде держать путь?

На этот вопрос могут ответить лишь те, кто побывал на «краю света». Один из них — писатель Виктор Некрасов, автор повести «В окопах Сталинграда». Это как раз человек моего поколения, мы с ним ровесники: он родился 4 июня (старого стиля) 1911 года, а я — 22 июня. Как, пожалуй, ни одна другая книга о войне, мне его повесть близка и понятна. Тем более, что и на войне мы принадлежали одному роду войск: я командовал саперной ротой, а он был заместителем командира саперного батальона. В ночь под Рождество 1942 года батальон, которым командовал Виктор Некрасов, получил приказ атаковать сопку близ металлургического завода «Красный Октябрь», захваченного немцами, и хотя этого не полагалось делать, он сам повел свое подразделение в ночную атаку. Заметим, что, как пишет Виктор Некрасов, «ночной бой — самый сложный вид боя», это — «бой одиночек», «здесь нет массового, самозабвенного азарта дневной атаки», нет «чувства локтя», нет «ура», облегчающего, все закрывающего и возбуждающего «ура». Виктор Некрасов рассказывает:

«Переползаю дно оврага. Цепляюсь за кусты. Подымаюсь по противоположному склону. Не напороться бы... Правда, Чумак говорил, что окопы их начинаются только за кустами. Справа хрустят ветки. Неосторожный все-таки народ. Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не дышать. Зачем — не знаю. Как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда — большая, яркая, немигающая вифлеемская звезда. Ползу прямо на нее. И вдруг — трах-тах-тах-тах... — над самым ухом. Вдавливаюсь в землю. Кажется, что даже чувствую ветер от пуль».

Вифлеемская звезда! Этот образ — образ Вифлеемской звезды, которая в Рождественскую ночь 1942 года вела солдата — развернут в повести «В окопах Сталинграда». Когда немецкий заслон, прикрывавший завод «Красный Октябрь», был опроки-

нут в рукопашной схватке, и сопка была взята, а батальон Некрасова начал окапываться, писатель-воин взглянул на небо:

«Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой, зеленоватая, немигающая. Пришла и встала. Вот здесь и никуда больше. . . Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь был бой?»

Непроглядно темен был 1942 год. Но не один Виктор Некрасов, а многие, очень многие, увидели в этой тьме, на «краю света», Вифлеемскую звезду. И даже в подцензурной литературе в 1942 году вдруг зазвучали религиозные мотивы. В газете «Красный флот» летом 1942 года можно было прочитать поэму Осипа Колычева, в которой говорилось, что «великая советская держава великой страстотерпицей встает». Николай Погодин вывел в пьесе «Лодочница» бывалого казака Кащеева, который говорит: «Волга-матушка святой купелью русского народа стала». Как водится, даже возникла мода на все «церковное»: например, в пьесе Николая Вирты «Солдаты Сталинграда» в качестве разведчицы выступает переодетая монахиня Таисия. Вряд ли был типичен такой образ, но как раз в этом преувеличении отразилась особенность 1942 года, когда религиозные настроения распространились по стране, проникли в литературу, даже на страницы газет.

Власть принялась эксплуатировать религиозные чувства народа. Если в 1939 году на всей территории СССР оставалось на свободе только 4 епископа Московской Патриархии, то в 1942 году Патриархия имела уже 17 епископов. В 1942 году в Москве вышла книга «Правда о религии в России», в которой замалчивались прежние гонения на Церковь и воспевалась свобода Церкви в СССР, — в этой книге, распространявшейся, главным образом, за рубежом, были глыбы лжи и только крупички правды.

Патриархии, собственно, в ту пору не было в Москве, как не было и патриарха. В «строго секретном» письме «Товарищу Молотову для членов Политбюро», от 10 февраля 1922 года, Ленин писал: «Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать. . . Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру (ГПУ), чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы, именно в данный момент. Обязать Дзержинского, Уншлихта лично делать об этом доклад в Политбюро еженедельно». Но 16 мая 1922 года патриарх Тихон был арестован, — он пробыл в заключении до 26 июня 1923 года. К тому времени в ведении патриаршего духовенства в Москве оставалось только 4 храма. 7 апреля 1925 года патриарх Тихон умер, и так как власть не позволяла созвать По-

местный Собор для выбора патриарха, то Русская Церковь и оставалась без патриарха. Более того, власть вообще не признавала легального существования патриаршей Церкви, — к «регистрации», т. е. к законному пользованию церковными зданиями, допускались лишь те, кто принадлежал к обновленческому «Синоду».

Незадолго до смерти, 7 января 1925 года, предвидя что власть не позволит созвать Поместный Собор для выборов патриарха, патриарх Тихон назначил трех старейших митрополитов, как возможных местоблюстителей патриаршего престола. Двое из них уже находились в заключении, а 10 декабря 1925 года был арестован и третий — Петр, митрополит Крутицкий. В свою очередь, митрополит Петр до ареста назначил трех митрополитов возможными «заместителями местоблюстителя», в том числе Сергия, митрополита Нижегородского. Вот этот-то Сергий и возглавлял Русскую Православную Церковь в 1941 году, когда началась война.

Как ни странно, ни в одной советской энциклопедии, вышедшей после Второй мировой войны (ни в Большой второго издания, ни в Малой), нет заметки о патриархе Сергии, хотя есть заметки о сменившем его патриархе Алексии. На долю составителя пооктябрьской хроники, опять-таки, выпадает восполнить этот пробел и дать краткую биографическую справку.

Сергий, Патриарх Московский и Всея Руси, в миру — Иван Николаевич Страгородский, родился 11 января (ст. ст.) 1867 года в г. Арзамасе, в семье священника Алексеевского монастыря о. Николая Ивановича Страгородского. Перед революцией 1917 года в Арзамасе было 11 700 жителей, 30 церквей, 4 мужских и 3 женских монастыря. Детство будущего патриарха прошло при Алексеевском монастыре, где его тетка была монахиней, а потом игуменьей.

В 1886 году, по окончании сперва приходского, потом духовного училищ в Арзамасе и духовной семинарии в Нижнем Новгороде, Иван Страгородский поступил в Петербургскую духовную академию. 30 января 1890 года, будучи студентом IV курса, после поездки на богомолье на Валаам, принял иноческий постриг и стал иноком Сергием. В августе 1890 года, уже кандидатом богословия, был направлен миссионером в Японию, где изучил японский язык, на котором мог и преподавать, и служить литургию; несколько позже, в Гонконге, он изучил и английский язык, которым тоже владел в совершенстве. В 1895 году защитил магистерскую диссертацию «Православное учение о спасении». В 1899 году был назначен ректором Петербургской духов-

ной семинарии, а в 1901 году — ректором Петербургской духовной академии; в тот же год он был наречен во епископа Ямбургского, а в 1905 году — в архиепископа Финляндского и Выборгского.

После того, как Поместный Собор в 1917—1918 годах организовал патриаршее управление Русской Церковью, митрополит Сергей стал постоянным членом Синода при патриархе Тихоне. 10 декабря 1925 года, после ареста митрополита Петра, стал «заместителем патриаршего местоблюстителя». Его резиденция, однако, находилась не в Москве, а в Нижнем Новгороде. В составе патриаршей Церкви в ту пору числилось 260 епископов, из которых около 150 находились в тюрьмах и ссылке. Едва митрополит Сергей успел стать во главе Русской Православной Церкви, как в январе 1926 года был арестован. В марте его выпустили из тюрьмы, но в апреле снова арестовали; выпустили в июне, а в декабре арестовали третий раз... Как выяснилось впоследствии, ему грозили расстрелом его сестры и многих арестованных «церковников». 29 июля 1927 года, за его подписью и подписями всех членов Синода, появилось Послание, в котором было сказано: «Мы хотим быть православными и в то же время сознать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи». Патриаршая Церковь, таким образом, была легализована. 27 апреля 1934 года постановлением собора епископов Сергию был дан титул Митрополита Московского и Коломенского с именованием «Блаженнейший». В 1936 году он стал именоваться Местоблюстителем Патриаршего Престола, что, по-видимому, означало, что митрополит Петр скончался в ссылке.

Незадолго до вторжения немцев в Россию, 10 марта 1941 года, исполнилось 40 лет служения патриаршего местоблюстителя в архиерейском сане. В первый же день войны, 22 июня 1941 года, митрополит Сергей выступил с обращением «к Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», призывая народ на ратный подвиг; 26 июня в Богоявленском соборе в Москве он отслужил молебен о даровании победы. Больше восьми миллионов рублей, не считая большого количества золотых и серебряных вещей, Церковь собрала на танковую колонну имени Дмитрия Донского.

4 сентября 1943 года митрополит Сергей, ленинградский митрополит Алексей и митрополит Николай, экзарх Украины, были приняты Сталиным. Впервые за пооктябрьские десятилетия было дано разрешение на созыв Поместного Собора, который и состоялся 8 сентября 1943 года. Митрополит Сергей был избран

Патриархом Московским и Всея Руси. 12 сентября состоялась интронизация.

Восемь месяцев спустя, ранним утром 15 мая 1944 года, патриарх Сергей скончался от кровоизлияния в мозг, на 78-м году жизни.

Такова краткая биографическая справка, которой полагалось бы быть в энциклопедии. Но этой справкой не могут ограничиться наши размышления об этом необыкновенном человеке, сыгравшем огромную роль в истории России XX века и особенно в жизни людей моего поколения.

Без малого шесть десятилетий прошло со времени революции 1917 года. Историк Церкви Анатолий Краснов-Левитин, говоря о том, что «сейчас идет уже третье послереволюционное поколение», дает следующие характеристики: во-первых, «поколение дедов, жившее в эпоху революции и сделавшее революцию», оно «не относилось к религии равнодушно», а наоборот, «в лице наиболее передовых и энергичных своих представителей оно страстно ненавидело Православную Церковь, видя в ней главную опору царского режима»; во-вторых, «второе поколение — поколение 'отцов'», которое «воспитывалось и жило в ту эпоху, когда религия была загнана глубоко под спуд, абсолютное большинство храмов было закрыто, священнослужители были заперты в тюрьмы, борьба с религией велась чисто административными методами», «это наиболее чуждое религии поколение из всех когда-либо живших на земле, — оно ее не ненавидит, оно ее игнорирует и не замечает»; в-третьих, современная молодежь, «люди, не имеющие никакого представления о религии», и потому у них «нет антирелигиозного фанатизма и озлобления дедов», как нет и «холодного, презрительного равнодушия, которое характерно для отцов».

На мой взгляд, А. Э. Краснов-Левитин тут не избежал схематизма. Он сам принадлежит к поколению «отцов», — к этому же поколению принадлежит и пишущий эти строки. Правда, что мы пребывали в состоянии религиозного индифферентизма, не были ни верующими, ни безбожниками. Но это вовсе не значит, что мы «не замечали» церковь, — нет, мы уже видели в ней существенный элемент нашей национальной жизни. Правда, что русские святые представлялись нам не как «святые», но правда и то, что мы видели в них государственных людей, оставивших глубокий след в истории России. Что до меня, то к таким государственным людям я относил и митрополита Сергия.

Поскольку в настоящей книге я ставлю задачу не только познания истории пооктябрьской России, но и самопознания, по-

знания своего «я» в этой истории, позволю себе остановиться на том, какое место митрополит Сергей занимает в моей жизни. В мае 1941 года, может быть, за месяц до войны, мне случилось быть в мастерской художника Павла Дмитриевича Корина, — познакомились мы на квартире М. В. Нестерова, еще в 1939 году, когда я работал в яснополянском музее Льва Толстого и часто бывал в Москве. Бывал я и раньше у Корина, но в этот раз он пригласил меня специально затем, чтобы показать свои этюды к картине «Реквием». И вот, среди этюдов был портрет митрополита Сергия.

На коринском портрете митрополит Сергей стоит во весь рост, в белом клобуке и лиловой мантии. Было это, повторяю, до войны, душа моя еще не была взрыхлена, распахана, и я должен признаться, что, стоя перед портретом митрополита, думал только о живописи, о том наслаждении, которое мне доставляло огромное мастерство художника. Конечно, и Корина, как живописца, интересовали колористические задачи — соседство белого клобука с лиловой мантией, распределение света по широкой, спускающейся на грудь бороде; цветовые решения, изумительные по своей свежести. Но даже и на меня, в ту пору еще молодого человека, оставившего работу в музее, чтобы снова учиться — в ИФЛИ, Институте философии, литературы, истории, произвела впечатление психологическая глубина портрета. Прежде всего поражала значительность, весомость человека, представленного на полотне. В его осанке, в чертах его лица была важность и серьезность, но в глазах, внимательных, умных, смотревших из-под очков, светилась приветливость, отеческая любовь... Нет, подумалось мне, нельзя же ограничиваться только внешними живописными впечатлениями! И я наивно спросил Павла Дмитриевича, кто же он, этот митрополит?

— А вы о нем ничего не знаете? — удивился Корин.

— Признаюсь, ничего.

— Ну да, в вашем институте философии имя Сергия не звучит. А ведь не кто иной, как Сергей, был председателем знаменитого Религиозно-философского общества.

«Когда случилась революция, — рассказывал мне П. Д. Корин, — Сергей не эмигрировал, остался в России. Не один раз его бросали в тюрьму, и что только ему ни угрожало, но он знал, что народ, его паства, тоже придавлена всем случившимся, и понимал, что не след ему, пастырю, желать лучшей доли. В нем есть что-то от Сергея Радонежского. Тот в тяжелые времена, при татарском иге, занимался внутренним строением русского народа, чтобы народ нравственно не упал, не впал в отчаяние.

Так и наш Сергей. Подумайте, что значит — в такой обстановке, какая нас окружает — охранять Церковь от разделения, от покушений всех этих обновленцев, живоцерковников, григорьевцев. Много нравственной силы надо иметь самому, чтобы так, как Сергей, оберегать и укреплять живую душу народа. Про такого действительно можно сказать, что он несет службу «ради Иисуса, а не ради хлеба куса».

— А знаете, — сказал П. Д. Корин, — когда я написал «Митрополита»? В тридцать седьмом году! Вы, может быть, помните, в «Правде» появилась статья, в которой было сказано, что вот эта мастерская — «гнездо кликуш и черносотенцев». Ну, подумал я, была не была! Этюды к «Реквиему» я писал с двадцать девятого года, и мне оставалось написать еще только один этюд, последний — вот этого «Митрополита». Нанял я грузовик, погрузил мольберт, подрамник . . . — и в Загорск! Думаю, все к одному! За семь бед один ответ . . . Но — обошлось!

Вот в те самые минуты, в мастерской П. Д. Корина, митрополит Сергей и вошел в мою жизнь и как-то властно, вместе с тем — с отеческой любовью, в ней расположился. Мысленно переносясь к началу XX века, я пытался представить, как на религиозно-философских собраниях в Петербурге появлялся архиепископ Финляндский — молодой, статный, с большой темной бородой, монашеский ремень стягивал его тонкую фигуру, а на груди, на кашемировой рясе, белела панагия из слоновой кости с изображением Казанской Божьей Матери. Воображение рисовало Д. С. Мережковского, В. В. Розанова, Н. М. Минского, — и то, как на первом же собрании архиепископ Сергей им говорил: «Настоящего, серьезного, прочного единства мы достигнем только в том случае, если выскажемся друг перед другом, чтобы каждый видел, с кем он имеет дело, что он может принять и чего не может».

Теперь, оглядываясь на 1942 год, вспоминая «Вифлеемскую звезду», стоящую над Сталинградом, мы думаем, что мы можем принять в патриархе Сергии и чего не можем. В письме собору «Русской Зарубежной Церкви» (октябрь 1974 года) Александр Солженицын оплакивает «ложную линию угодничества начатую митрополитом Сергием», добавляя, впрочем, что эта линия была начата «в обстановке трудно постигаемой». Правда, что с легализацией церковного управления (после Послания от 29 июля 1927 года) не прекратились преследования Церкви: в 1929 году был издан «Закон о религиозных объединениях», наложивший на Церковь еще более тяжелые путы; в 1930-х годах были взорваны храм Христа Спасителя в Москве, Михайловский-Злато-

верхий собор в Киеве и многие другие храмы; в 1932 году Союзом воинствующих безбожников была объявлена «безбожная пятилетка». Невольно возникает вопрос: неужели такой умный, такой тонкий человек, как митрополит Сергей, не понимал, что, говоря словами Александра Солженицына, этой «людовраждебной силе, впервые вообще узнанной в XX веке и первыми нами, в России, недопустимо духовно подчиняться никогда ни на вершок»?

Все дело, разумеется, в том, как понимать вопрос об отношениях Церкви и Государства. Вопрос этот обсуждался в 1903 году, на восьмом собрании духовенства и интеллигенции, где председательствовал Сергей.

«Мне кажется, — говорил он тогда, — мне кажется, что у нас глубокое недоразумение относительно представления о государстве. Отличие западного идеала государства от русского в том, что мы подчиняемся государству не во имя отвлеченных государственных идей, а во имя Христа. Мне приходилось слышать от американцев, что они не понимают отношения русских к самодержавию. Как можно отдавать личную свободу самодержавию? Русские идеалы в том, что царь является не только носителем идеальной национальности, но и носителем церковных идеалов, именно носителем полномочий мирян в церкви и выразителем их голоса. . . . Русская государственная власть не может быть индифферентной, атеистической, если она не хочет прямо отречься от себя самой. Такое понимание русской царской властью своих задач церковных обеспечивало церкви полную свободу ее исповедания. Государь, как представитель прав мирян в церкви, был всегда первым представителем церковных идеалов, хотел жить для них и существовать именно для этих идеалов. Если можно бы представить дилемму, что важнее для государства: его существование или существование православной веры, то по логике русской веры вера важнее, интересы государственные должны быть принесены в жертву вере. Соблюден ли этот идеал в наше время? Петр Великий погрешил тем, что он пытался вместо этих идеалов поставить другие идеалы, пытался поставить идеал государства, как цель саму по себе. Поэтому он сказал: пусть каждый верит по-своему и благословляет за это русских монархов. С этой точки зрения непростительно индифферентное отношение к вере. Если бы русское государство приняло эти принципы и во всей полноте их провело, то тогда бы нужно было требовать полного удаления церкви от государства. Но тогда русское государство потеряло бы в глазах народа всякую святость. Что же нам делать? Мне кажется, теперь

вопрос не в том, чтобы дать свободу вере во имя отвлеченных принципов, а именно в том, чтобы идеалы церкви были признаны безусловно неприкосновенными, чтобы с церкви была снята всякая националистическая миссия, так как все эти вопросы исключительно государственные. Я говорю не о свободе духовной власти от светского вмешательства. Это вопрос ничтожный. Я говорю о том, чтобы идеалы церкви были первенствующими, чтобы государство не употребляло церковь в свою пользу, как орудие. Тогда можно поднимать вопрос о свободе совести. Иначе государство только в силу индифферентизма может дать свободу сектам наряду с церковью. Относительно того, нуждается ли церковь в государстве, я приведу слова Филарета, консервативнейшего из консерваторов, который говорит: если церковь молится за государство и поддерживает его, то делает это совсем не из соображений своей пользы, не потому, что нуждается в его поддержке, а делает это во имя долга, как призванная молиться за государство, за благосостояние этого мира».*

Когда архиепископ Сергей говорил это в Религиозно-философском собрании, ему было только 36 лет, а когда произошла революция — 50. Двадцать семь лет ему предстояло жить и служить в государстве другого рода, которое не является ни «носителем идеальной национальности», ни «носителем церковных идеалов»... — каким должно быть отношение христианина к такому государству? Молодой архиепископ говорил «о том, чтобы идеалы церкви были первенствующими, чтобы государство не употребляло церковь в свою пользу, как орудие», а престарелый митрополит так поучал свою паству в 1941 году:

«Мы убеждены, что православный христианин, свято соблюдая свою веру и живя по ее заповедям, именно потому и будет всюду желательным и образцовым гражданином какого угодно государства, в том числе и советского, в какой бы области жизни ни пришлось ему действовать: на фабрике, в деревне или в городе, в армии или в шахте и т. п. Потребует ли государство отказа от собственности; нужно ли будет положить жизнь свою за общее дело, нужно ли показать пример трезвости, честности, усердия на службе обществу — но всему этому и научает христианина его вера».**

Должен признаться по совести, что у меня нет ответа на во-

* «Новый путь», ежемесячный журнал, апрель, 1903, Записки Религиозно-Философских Собраний в С.-Петербурге, стр. 164.

** «Патриарх Сергей и его духовное наследство». Издание Московской Патриархии. 1947 год.

прос, что мы можем принять в патриархе Сергии и чего не можем. Вернее, ответ-то есть, только не по уму, а по сердцу! 17 мая 1946 года в Париже было устроено собрание памяти патриарха Сергия, по случаю двухлетия со дня его кончины. Если бы я не был вынужден тогда скрываться в французской деревушке, я первым пришел бы на это собрание. Его открыл большой речью Н. А. Бердяев. «Мы должны разделять судьбу Церкви, принявшей судьбу Родины и неразрывно связанной с народом», — сказал он.

Действуя «в обстановке трудно постигаемой», патриарх Сергий все-таки хоть как-то уберег Церковь, довел Ее до военной години, в которую голос Первосвятителя зазвучал уже громко, по-новому, так, что его слышали и люди моего поколения, шедшие фронтовыми дорогами. «Пусть гроза надвигается, — сказал митрополит Сергий на молебне о победе русского воинства, 26 июня 1941 года. — Мы знаем, что она приносит не одни бедствия, но и пользу: она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы. Да послужит и наступившая военная гроза к оздоровлению нашей атмосферы духовной».

То были пророческие слова... В 1942 году, в кромешной тьме, прорезанной светом Вифлеемской звезды, они начали сбываться.

«КАКОЙ ЗАГОВОР ВЫ ЗАМЫШЛЯЛИ?..»

Как-то раз, в 1963 году, тогдашний английский министр иностранных дел лорд Хьюм, в беседе с корреспондентом газеты «Обсервер», рассказал забавную подробность насчет министра иностранных дел СССР А. А. Громыко. Во время переговоров в Женеве, или на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, лорд Хьюм порой каждое утро встречался с Андреем Громыко, и всякий раз, здороваясь с Хьюмом, Громыко произносил одну и ту же фразу:

— What have you been plotting against me during the night? — Какой заговор вы замышляли против меня этой ночью?

Разумеется, Громыко говорил это в шутку. Но — сколь характерная шутка! Как характерна она для дипломата сталинско-молотовской школы, выросшего в атмосфере партийных тайн, конспирации, секретных сговоров. «Борьба, конфликты и войны между нашими врагами — это наш величайший союзник», — говорил Сталин. Создавать конфликты, разжигать войны, вести диверсионную работу за рубежом, — все это еще с ленинских времен лежит в основе внешней политики КПСС. В 1917 году, прибыв из-за границы в Россию, которую он сам тогда считал самой свободной страной в мире, Ленин требовал упразднить «тайную дипломатию», но как только большевики пришли к власти, они свою собственную внешнеполитическую деятельность окружили такой таинственностью, какой, пожалуй, нет нигде в мире.

На протяжении 24-х лет, одним из главных инструментов внешней политики РКП(б)—ВКП(б) был Коминтерн, созданный в 1919 году и ликвидированный в 1943 году. На четвертом конгрессе, в 1922 году, раздались голоса протеста против того, что Коминтерн используется просто-напросто как орудие внешней политики РКП(б). Им тогда отвечал Зиновьев: «Кто у кого находится на службе: Советская Россия у мировой революции или мировая революция у Советской России? Советская власть у Коминтерна или Коминтерн у советской власти? Муд-

рецы! Что служит чему: фундамент дома его крыше или крыша его фундаменту?».

Политика Коминтерна с самого начала была политикой обмана и двурушничества. Это можно видеть на примере политики Коминтерна в Германии. В марте 1920 года Коминтерн выпустил обращение «К рабочим Германии»:

«Вооружайтесь, германские пролетарии! Всюду, где вы только можете достать оружие, берите его в руки! Стройте советы! Стройте Красную армию: не откладывайте дела ни на одну минуту, создавайте красные отряды всюду где мыслимо. Да здравствует пролетарская революция в Германии и во всем мире!»

В Германию был послан из Коминтерна Бела Кун, бывший венгерский солдат, попавший в 1916 году в русский плен. Как тайный агент Коминтерна, он имел кличку — «Туркестанец». Этот авантюрист прибыл в Германию в первых числах марта 1921 года и, подбодрая экстремистские элементы германской компартии, призывал их к «решительным действиям». «Действия» эти и начались 19 марта, но они ни к чему не привели и к 31 марта были уже подавлены. Коминтерн наметил на октябрь 1923 года восстание в Гамбурге. Потом, однако, коминтерновцы сообразили, что восстание обречено на неудачу и решили пойти на попятную. В Гамбург был послан из Москвы курьер Вальтер Кривицкий, впоследствии крупный работник НКВД. Кривицкий вез решение об отмене восстания, но случилось так, что он пропустил нужный поезд и не доставил решения вовремя. Восстание в Гамбурге состоялось, — оно стоило многих жертв, причинило большой ущерб рабочему движению в Германии.

Это — одна сторона тогдашней ленинской политики в Германии. А вот другая... В то самое время, когда в Германию тайно прибыл Бела Кун, в марте 1921 года, туда, по соглашению с правительством Германии, прибыли два ленинских эмиссара — Карл Радек и Леонид Красин. Карл Радек тоже, как и Бела Кун, работал в Коминтерне и считался специалистом по немецкому вопросу, но он был против «революционных упражнений» в Германии. Красин же был хозяйственником, комиссаром внешней торговли, и он не раз открыто говорил, что ленинская внешняя политика мешала хозяйственному восстановлению России. В январе 1924 года, на XIII партконференции, Красин сказал: «Необходимо взять более мирный тон и приспустить знамя мировой революции». С какою же целью эти два ленинских эмиссара прибыли в Берлин? Для тайных переговоров с генералом фон Сектом, начальником сухопутных сил Рейхсвера! . . .

Генерал Ганс фон Сект выдвинулся во время Первой мировой

войны. В 1920 году на него была возложена задача организации новой германской армии. Но по Версальскому договору Германии было запрещено производить танки, военные самолеты, подводные лодки, средства газовой войны. В марте 1921 года фон Сект и его помощник подполковник Курт фон Шлейхер начали переговоры с Радеком и Красиным о том, чтобы Германия могла, в обход Версальского договора, производить оружие и тренировать свои офицерские кадры на территории РСФСР. Так возник план — «Операция Кама». Генерал фон Сект создал специальный отдел *Sondergruppe R* для проведения «операции Кама». В результате, в Филях под Москвой был построен авиационный завод Юнкерса, который в 1924 году выпустил несколько сот самолетов для Германии. В Ленинграде и Николаеве немцы строили для себя подводные лодки, запрещенные им по Версальскому договору. На территории РСФСР Германия тренировала свои офицерские кадры: в Липецке и Борисоглебске были созданы немецкие авиационные школы, в Казани — немецкая танковая школа, в Луге — немецкая артиллерийская школа. Как раз в этих школах и получили свое первое военное образование многие немецкие генералы, которые в 1941 году командовали дивизиями, корпусами, армиями. Генерал Гудериан, командовавший немецкой танковой армией, рассказывает в своих мемуарах, что именно тогда, в 1920-х годах, на полях России, он начал выработать приемы танкового охвата и окружения, приемы «блицкрига», «молниеносной войны». Таков был результат договора, подготовленного генералом фон Сектом и Карлом Радеком, эмиссаром Коминтерна.

Небезынтересно вспомнить, какую позицию занимал Коминтерн в 1940 году, когда Сталин всячески помогал Гитлеру укреплять германскую военную машину. Коминтерн всегда был послушным орудием Сталина: в 1924 году Сталину надо было «осудить мировой троцкизм», что и было сделано на V конгрессе, а в 1928 году VI конгресс уже «осуждал» правую оппозицию Бухарина—Рыкова—Томского. После того, как Сталин заключил пакт с Гитлером, Коминтерну пришлось оправдывать гитлеровскую Германию. В журнале «Коммунистический интернационал» начало Второй мировой войны считалось не с нападения Гитлера на Польшу, а с объявления войны Англией и Францией. В первоммайском воззвании Коминтерна 1940 года была такая формулировка: «В ответ на грубое нарушение нейтралитета скандинавских стран Англией и Францией, Германия ввела свои войска в Данию и Норвегию».

Понятно, что после 22 июня 1941 года пришлось снова менять

коминтерновскую политику. Ведь 12 июля 1941 года было подписано соглашение об англо-советской взаимопомощи, а 30 июля 1941 года в Москву прибыли Гарри Гопкинс, личный представитель президента Ф. Д. Рузвельта. В августе 1942 года в Москве состоялось совещание Сталина, Черчилля и Гарримана, а в ноябре 1943 года — конференция в Тегеране.

Мог ли Коминтерн продолжать свое существование? Национальным русским интересам он не служил никогда. Но он не был нужен и коммунистическому движению: никакими симпатиями в рабочих массах мира он не пользовался, торжеству коммунизма ни в какой стране не помог, влияния на иностранные правительства не имел . . . — между тем, подсчитать бы, во что он обошелся России!

15 мая 1943 года Коминтерн был распущен. Правда, в сентябре 1947 года будет сделана попытка возродить его под видом Коминформа, но в апреле 1956 года умрет и Коминформ.

Тем не менее остается вопрос: означает ли ликвидация Коминтерна и Коминформа коренную перемену внешней политики КПСС? Нет, внешняя политика КПСС в основном остается такою же, какой она была и при Ленине, и при Сталине. Ее коренной порок в том, что она не служит национальным интересам России. «Дипломатическая деятельность советского правительства, — говорит Вильям Хэйтер, известный английский дипломат, в 1934 году работавший третьим секретарем английского посольства в Москве, а в 1954—57 годах занимавший там пост посла, — дипломатическая деятельность советского правительства не ограничивается вопросами взаимоотношений с правительствами других стран, то есть нормальными функциями дипломатии. В дипломатическую деятельность советского правительства входят также 'миссионерские задачи' — задачи распространения 'веры', и потому советская дипломатия, в отличие от других, непосредственно обращается к иностранному общественному мнению, через головы правительств говорит с народами».

Нормальные функции дипломатии — устанавливать взаимоотношения с правительствами других стран посредством переговоров и договоров. Договор, условие, обещание — это основа цивилизации. Но цивилизация предполагает устойчивое равновесие прошлого, настоящего и будущего, традиции и реформы, — только при этом условии и могут быть устойчивы заключенные договоры. Между тем, в революции 1917 года произошел разрыв между прошлым, настоящим и будущим. Прошлое и настоящее жертвуется большевиками «во имя будущего», и именно к «будущему», к распространению «веры», о которой говорит сэ

Вильям Хэйтер, устремлена и дипломатическая деятельность КПСС. Конечно же, для тех кто обращен исключительно к будущему, для кого важно только будущее, — те не могут связывать себя какими бы то ни было договорами, им чужды сами принципы, которые придают устойчивость жизни человеческого общества. Вот почему с правительством СССР, возглавляемым «генеральным секретарем ЦК КПСС», которого теперь всюду встречают как «главу государства», невозможны никакие договоры.

Было подсчитано, что в период с 1925 года по 1941 год СССР подписал 15 договоров о ненападении и нейтралитете. * Одиннадцать из них были нарушены правительством СССР, два нарушены Гитлером и Муссолини, два заменены другими подобными соглашениями. В период с 1935 года по 1950 год СССР заключил 18 военных соглашений, — 15 из них были им же нарушены.

Так, в 1932 году СССР заключил с Финляндией договор о ненападении, а семь лет спустя, в 1939 году, атаковал Финляндию. В том же 1932 году был заключен договор о ненападении с Польшей, и в том же 1939 году войска Красной армии перешли польскую границу. Бывало и так, что международный договор нарушался партийной верхушкой почти тотчас же после его подписания: в апреле 1941 года был подписан договор о дружбе и ненападении с Югославией, а в мае того же 1941 года посол Югославии был выслан из Москвы. В 1942 году правительство СССР заключило договор с польским правительством, находившимся в Лондоне, но в 1943 году порвало этот договор и заключило другой, — на этот раз с марионеточным «правительством», созданным в Люблине.

Как вспоминает американский дипломат Чарльз Болен, его поразило во время Крымской конференции то, что Сталин там почти ни о чем не спорил, проявлял сговорчивость и охотно подписал Декларацию об освобожденной Европе. Для него это была просто бумажка . . . Подлинной реальностью Сталин считал другое, — то, что как раз в дни Крымской конференции войска 1-го Украинского фронта были уже в Померании, войска 2-го Украинского фронта форсировали реку Одер северо-западнее Бреслава, войска 3-го Белорусского фронта заняли г. Прейсиш Эйлау в Восточной Пруссии. На территории, занятой войсками Красной армии, Сталин вовсе не собирался выполнять ялтинские решения и обязательства.

Не успели высохнуть чернила на Декларации об освобожден-

* Журнал "Est et Ouest", Париж, 1 октября 1957 года.

ной Европе, как она была Сталиным нарушена. Так, 24 апреля 1945 года правительство СССР сообщило в Лондон и Вашингтон, что оно предложило Карлу Реннеру, престарелому «идеологу австромарксизма», возглавить Временное правительство Австрии. Американцы и англичане тотчас же напомнили правительству СССР, что принятая в Ялте Декларация об освобожденной Европе «предусматривает согласование политики трех держав и совместные их действия в решении политических и экономических проблем современной Европы в соответствии с демократическими принципами». Несмотря на это, 29 апреля 1945 года московское радио оповестило, что Временное правительство Карла Реннера приступило к работе в Австрии.

29 марта 1945 года союзники предложили создать трехчленную комиссию, под наблюдением которой в Болгарии были бы созданы «демократические учреждения». Но 11 апреля 1945 года Молотов ответил, что Советский Союз не потерпит никакого «инострannого вмешательства» в проведение выборов в Болгарии.

23 августа 1945 года СССР заключил торговые и хозяйственные соглашения с Венгрией. Англия и Америка опротестовали эти соглашения, поскольку они противоречили Декларации об освобожденной Европе. 30 октября 1945 года Молотов ответил, что двухсторонние соглашения СССР с какой-либо другой страной, в данном случае с Венгрией, «никого не касаются».

Декларация об освобожденной Европе была опубликована в «Правде» 13 февраля 1945 года, а две недели спустя, 27 февраля, Андрей («Ягуарьевич», как его метко назвал Солженицын) Вышинский потребовал от румынского короля Михаила, чтобы он распустил правительство Н. Радеску и чтобы премьер-министром был назначен П. Гроза. Как впоследствии рассказывал король Михаил, Вышинский ставил срок для образования нового правительства — два часа и пять минут! При этом Вышинский так кричал на короля Михаила, что тот опасался, как бы «Ягуарьевич» на него не набросился. Несколькo дней спустя румынский премьер-министр Николае Радеску был вынужден спасаться бегством, — он укрылся в английском посольстве, а потом выехал за границу. В декабре 1945 года Вышинский беседовал в Бухаресте с Гарриманом.

— Скажите, господин Вышинский, — спросил Гарриман, — если бы выборы в Румынии были совершенно правильными, то сколько голосов, по вашему мнению, получили бы кандидаты блока, поддерживаемого Москвой?

Вышинский на минуту как бы призадумался и затем спросил: — Вы говорите, совершенно правильные выборы?

Гарриман кивнул головой. Вышинский протянул правую руку и покачал ею, как пианист, касающийся первой и последней клавиш октавы.

— При совершенно правильных выборах, около сорока процентов. Но... — тут мизинец Вышинского опустился... — при некотором нажиме, девяносто процентов.

Такова внешняя политика КПСС — политика нажима, насилия. Эта политика не считается ни с какими принятыми обязательствами, ни с какими заключенными договорами. Не считается она и с национальными интересами России. В 1967 году, в дни войны на Ближнем Востоке, такая крупная, серьезная и хорошо осведомленная газета как «Нью-Йорк Таймс» писала, что «советское правительство потратило на вооружение и тренировку арабских армий 4 миллиарда рублей, и все это было потеряно в 72 часа». Подумаем, что такое — конкретно — «четыре миллиарда рублей»? Известно, что средний месячный заработок рабочего в СССР в ту пору составлял 100 рублей. В год, значит, рабочий зарабатывал в среднем 1 200 рублей. Таким образом, четыре миллиарда рублей — это годовая заработная плата более чем трех миллионов рабочих. Если быть точным, 3 300 000 рабочих в СССР получают в год 4 миллиарда рублей. Вот какая сумма была потрачена на вооружение и тренировку арабских армий — «и все это было потеряно в 72 часа»! А во что обошлись в свое время ракетные установки на Кубе? По подсчетам иностранных специалистов, правительство СССР потратило на это дело круглым счетом миллиард рублей!

Внешняя политика КПСС и национальные интересы России... — вот о чем следует задуматься, вспоминая 1943 год, когда был распущен Коминтерн, но внешняя, как и внутренняя политика по-прежнему осталась в ведении партаппарата. Нельзя не согласиться с тем, что об этой политике писал один русский ученый-историк, Михаил Михайлович Карпович, воспитанник Московского университета, а за рубежом — декан исторического факультета Гарвардского университета:

«Я отказываюсь присоединиться к распространенному сейчас взгляду, что советская экспансия есть не что иное, как простое продолжение 'исконного русского империализма'. При всем видимом сходстве отдельных советских притязаний с задачами до-революционной русской дипломатии, они существенно разнятся от последних и в своем объеме, и в характере вкладываемого в них содержания, и в методах, которыми советское правительство пытается их осуществить. Для меня это именно советский империализм, а не русский. Со всей решительностью можно утвер-

ждать, что советская внешняя политика не диктуется заботой о национальных интересах России и объективно, по своим последствиям, этим интересам не служит. Напротив, она наносит им один тяжелый удар за другим — и тем, что постепенно растрчивает тот капитал международного уважения, симпатии и доверия, который был накоплен страданиями и жертвами русского народа во время войны, и тем, что безмерно затрудняет и грозит сорвать мирное соглашение по всем тем вопросам, в удовлетворительном решении которых Россия действительно заинтересована».

1944

ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

Кто знает, где находится город Годонин? Небольшой городок в Чехословакии, к северу от Братиславы, поблизости от австрийской границы. В нем всего лишь пятнадцать тысяч жителей, может быть, чуть больше, и ничем достопримечательным он не отличается. Есть там табачная фабрика, сахарный завод, да еще, кажется, спирто-водочный, и это все... Но вот поэт Семен Гудзенко... — незабвенный «Сарик», с которым мне привелось встретить новый 1944 год в Москве, в дорогом для нас обоих доме на Зацепе, — писал:

Год один, год второй...
Но забыть не вправе
Годонин — под горой,
Город на Мораве.

Как входили туда,
Как встречал нас город.
Все забудешь города,
Годонин — не скоро.

2 апреля 1944 года войска Красной армии перешли реку Прут и вступили на территорию Румынии. 18 июля войска 1-го Украинского фронта прорвали оборону противника на львовском направлении. 30 августа войска 2-го Украинского фронта вступили в Бухарест. 20 октября войска 3-го Украинского фронта вступили в Белград. 27 декабря 1944 года нашими войсками был занят Будапешт.

Для того, чтобы видеть победы 1944 года в правильной исторической перспективе, необходимо вспомнить и победы, одержанные в том же году англо-американскими войсками на юге и на севере Европы. Правда, что в результате наступательных операций в конце 1943 года и начале 1944 года, войска Красной армии вышли на государственные границы СССР на протяжении 400 километров. Вспомним, однако, что фронт от озера Нещердо (Белоруссия) до Карпат простирался на 1 500 километров.

Правда, что в феврале 1944 года была снята блокада с Ленинграда, а в мае войска маршала Толбухина освободили Крым. Но правда и то, что немцы занимали еще большую территорию в Советском Союзе: линия фронта была перед Псковом, Витебском, Ковелем... На эти рубежи войска Красной армии вышли зимой и весной 1944 года, они, естественно, нуждались в передышке. Между тем, у противника в Белоруссии и на Западной Украине имелось две группы армий («Центр» и «Северная Украина»), насчитывавших в своем составе до 90 дивизий. В начале июня 1944 года, следовательно, возникал вопрос: даст ли неприятель передышку? Тут-то и пришли две победы на юге и на севере Европы.

Утром 4 июня 1944 года войска американской 5-й армии вступили в бой с противником в предместьях Рима. В ночь с 5 на 6 июня началась высадка англо-американских войск в Нормандии, на севере Франции. На первом этапе вторжения участвовало 4 000 кораблей с несколькими тысячами мелких судов и 11 000 самолетов первой линии. В московских газетах была полностью напечатана «Молитва Рузвельта», которую президент США прочитал 6 июня по радио. Она начиналась так:

«Всемогущий Бог, наши сыновья, гордость нашей страны, сегодня начали великое предприятие — борьбу за сохранение нашей республики, нашей религии и нашей цивилизации и за освобождение страдающего человечества. Веди их по прямому и верному пути, дай силу их оружию, стойкость их сердцам и сделай их веру непоколебимой».

В «Известиях» от 8 июня было напечатано такое стихотворение Демьяна Бедного:

Взят Рим! Блистательная вежа!
На берег Франции взгляну:
Десант и в ширь и в глубину!
Отважным море не помеха!
Как говорилось в старину:
«Друзья, вперед! Дай Бог успеха!»

10 июня Черчилль сообщал Сталину: «Мы уже высадили около 400 000 человек вместе с большими превосходящими бронетанковыми силами и быстро накапливаем артиллерию и грузовики». 11 июня Сталин писал Черчиллю: «Как видно, десант, задуманный в грандиозных масштабах, удался полностью» — и добавлял, что в конце июня и Красная армия сможет возобновить наступательные операции.

Впрямь, 23 июня 1944 года войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов перешли в наступление на витебском и оршанском направлениях. 24 июня войска 1-го Белорусского фронта перешли в наступление на бобруйском направлении. На могилевском направлении наступал 2-й Белорусский фронт. В свете этих событий понятно значение высадки в Нормандии для России, — без этого не было бы ни июльского прорыва на львовском направлении, ни Бухареста в августе, ни Белграда в октябре, ни Будапешта в декабре.

Вдали от родины иду по улице ночной.
Развалины домов полны зловещей тишиной.
Костел, как каменный костер.
Где я? То Прага, Бухарест, София иль Белград?

Евгений Долматовский, автор этого стихотворения, был сверстником многих солдат, участников заграничного похода Красной армии. Он родился в 1915 году, юным комсомольцем участвовал в строительстве московского метрополитена. Печататься начал в 1934 году, когда Россия была уже отрезана «железным занавесом» от Европы. Но вот, ураган войны сорвал «железный занавес», снес все перегородки между народами, разломал границы. И те, кто вырос за «железным занавесом», очутились вдруг в Праге, Бухаресте, Софии, Белграде. Это — один из самых значительных фактов 1944 года!

Как впоследствии писал ленинградский писатель Евгений Рысс, «рязанские колхозники, уральские инженеры, скотоводы из Казахстана, трактористы Тамбовщины, сельские врачи и агрономы, бухгалтеры и комбайнеры, советские люди разных квалификаций, разных культурных уровней перевалили через Карпаты, пересекли Дунай, Вислу, Одер. Они увидели десять стран, жизнь многих народов». *

Десять стран! Каковы же были впечатления этих людей, выросших за «железным занавесом» и ввалившихся лавиной в Восточную, Центральную и даже Западную Европу? Ведь они выросли в убеждении, что в странах, лежащих к западу от СССР, беспорядок, голод, забастовки, безработица, эксплуатация трудящихся, и что если границы СССР находились до войны «на замке», то лишь для того, чтобы советский народ был огражден от всех этих несчастий. И что же? Вместо «беспорядка» солдаты Красной армии увидели опрятные деревни — белые домики с

* «Литературная газета», 27 апреля 1946 года.

красными черепичными крышами. Несмотря на то, что города лежали в развалинах, «полны зловещей тишиной», в них все же продолжалась жизнь, уровень которой даже и тогда был несравненно выше довоенного уровня жизни в Советском Союзе. Помнится, один летчик рассказывал, как он, прибыв в Бухарест тотчас же по освобождении этого города, попал с товарищами в ресторан «Чили»: оказалось, что в этом едва ли не самом роскошном ресторане румынской столицы самое дорогое блюдо стоило восемь рублей. «Да за такие деньги в Москве еле-еле сапоги почишь!» — воскликнул один из летчиков. Комиссар эскадрильи пытался объяснить летчикам на политбеседе, что «в Румынии хорошо живут только немногие, а простым рабочим тут куда хуже, чем у нас». Наутро летчики решили поехать на окраину Бухареста и посмотреть, как живет рабочая беднота, — поехал с ними и комиссар эскадрильи. Они зашли в дом, где жил рабочий гаража. Кроме него, жена, четверо детей и мать-старуха. Их пригласили к столу, угостили простым, но сытным и вкусным обедом. Комиссар не знал, что сказать... Вскоре он, не желая «жить по лжи», начал хлопотать о переходе с политработы на строевую службу, стал штурманом бомбардировщика.

В 1944 году, надо полагать, и возникла злая шутка, которую повторяли повсюду в Европе, — шутка о двух ошибках Сталина. Первая ошибка Сталина была в том, что он позволил Красной армии увидеть Европу, а вторая — в том, что он Европе позволил увидеть Красную армию.

Опять-таки, тот же летчик — мой знакомый, инженер-подполковник Лев Волков, впоследствии корреспондент американского журнала «Ньюсуик», ныне покойный — рассказывал, как уже не в Бухаресте, а в Будапеште он с приятелями обедал в кафе и к ним подошел старик в толстых очках и грязном воротничке.

— Могу посидеть с вами? — спросил он на ломаном русском языке.

— А что вам нужно? — спросил один из летчиков. — Вы что-нибудь продаете?

— О нет! — сказал старик. — Только затем, чтобы поговорить с Красной армией. Я долгие годы был тут в оппозиции. Единственное, что нас поддерживало — это мечта о Русской революции.

Глубоки психологические корни, от которых произрастала мечта об СССР как «обетованной земле». После Первой мировой войны по всей Европе люди блуждали в поисках утраченной веры, примыкая то к фашизму, то к большевизму. Многим Рос-

сия казалась страной, на которую сошло откровение революции. Они думали, что в России царят братство, равенство, свобода, и то, что Россия была отгорожена «границей на замке», только разжигало воображение европейской интеллигенции и ее мечтания, оторванные от действительности. Но вот Европа увидела Красную армию. Не только то, как советские солдаты сдирали у горожан с рук «уры», а потом уговаривали девушек на русско-польско-немецком воляпюке: «Ком, паненка, шлаффен, дам тебе часы». Просоветски настроенная европейская интеллигенция увидела, что Красная армия состояла отнюдь не из ангелов, — конечно, и не из зверей, а из простых людей, «как все грешные». Открылось, что большевизм за три десятилетия не смог создать нового человека, который обладал бы какими-то новыми этическими ценностями, иным строем мыслей и чувств, нес бы в себе новую веру, ради которой стоило бы жить и умереть... Если эти люди, пришедшие из-за «железного занавеса», и умирали на позициях, то не ради какой-то новой веры, а ради того — тысячелетнего! — во имя чего умирали их деды и прадеды. Вот это крушение «советского мифа» — мифа «нового человека», мифа «обетованной земли» — и было результатом второй ошибки Сталина.

Конечно, это были вынужденные «ошибки». Как же их «исправляли»? Прежде всего старались отвлечь глаза солдат и офицеров от Европы, сделать их глаза как бы «невидящими». «Вдали от родины иду по улице ночной», — писал Евгений Долматовский. Но что он видел? Почти ничего... Трудно сказать, по какой причине — потому ли, что он был мелким человеком, приспособленцем, рычажком пропагандной машины, или потому, что у него не было возможности писать об Европе со всею свободой и полнотой дыхания. Как бы то ни было, в его книге «Стихи издадека» читаем:

Я хотел написать о Балканах,
О румынском прохладном вине,
О костелах за Вислой, о странах,
Где прошли мы в дыму и огне.
Но на белых страницах тетради
Возникают иные края —
Тот разбитый блиндаж в Сталинграде,
Где окончилась юность моя,
Да кривой городок Новозыбков,
Где однажды пришлось ночевать,
Там до света над крохотной зыбкой
То ли пела, то ль плакала мать.

В книге «Стихи издалека», впрямь нет ничего о Балканах, о странах, которые поэт прошел вместе с Красной армией, — на улицах Праги, Бухареста, Софии, Белграда он думал лишь о «кривом городке Новозыбкове». Как и полагалось солдату и офицеру Красной армии! Прага . . . — что в ней такого? «Нам придется проходить еще чужие страны, — читали солдаты и офицеры Красной армии в 'Правде' от 24 сентября 1944 года. — Много внешней блестящей мишуры ослепит ваши глаза, бойцы. Не верьте обманным призракам мнимой цивилизации. Помните: подлинная культура идет с вами». Даже несравненные пейзажи Центральной и Южной Европы должны были служить только поводом тоски по «березам России».

Россия! Еще до войны, начиная с 1936 года, в газетах пошла мода писать о РСФСР как «первой среди равных» республик СССР. Но в новом «Гимне Советского Союза», принятом в 1944 году, были уже такие строки:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.

Идея «Великой Руси» и считалась тем противоядием, которое должно было предохранить солдат и офицеров Красной армии от «европейской заразы». 1944 год послужил началом того великодержавного разгула, которым ознаменовались первые послевоенные годы.

1945

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ

«Кругом царила великая тишина. Солдаты удивленно прислушивались к ней. Ни тарахтенья пулеметов, ни свиста пуль, ни уханья мин. . . . На берег стали взбегать американские солдаты. Сразу же раздались их радостные крики:

— Лонг лив Виктори!

— Лонг лив Раша!

. . . Русские солдаты разговаривали с американцами. Конечно, разговаривали они больше жестами, чем словами, но все-таки разговаривали.

— Порядок? — спросил один из русских солдат.

— Пориаток, — повторил американский солдат, широко улыбаясь и потом повторил по-своему: — О'кэй!

— О'кэй, — повторил русский солдат, улыбнувшись так же широко».

Это — роман Эм. Казакевича «Весна на Одере». А как было в жизни, на самом деле?

Кто были те первые два офицера, которые, выйдя на Эльбу с двух сторон, с востока и запада, отдали друг другу честь и пожали друг другу руку? Один был подполковник Красной Армии Александр Гардиев, другой — лейтенант Американской армии Альберт Коцебу. Коцебу?! Не знакома ли русскому уху эта немецкая фамилия? Конечно, знакома! Был Отто Евстафьевич Коцебу, известный русский мореплаватель, который в 1815—1818 годах руководил морской экспедицией на корабле «Рюрик», — его именем назван большой залив на Аляске. Был Александр Евстафьевич Коцебу, художник-баталист, воспроизводивший на полотнах суворовские походы (в 1857 году он написал знаменитую картину «Переход через Чёртов мост»). Потомком этих Коцебу и был тот юный лейтенант Американской армии, сын русских эмигрантов, Альберт Коцебу, который 25 апреля 1945 года первым вышел с западной стороны на Эльбу и протянул руку подполковнику Красной армии Александру Гардиеву, вышедшему на Эльбу с востока.

Произошло это так . . . Третья армия под командованием генерала Паттона после взятия Лейпцига вышла к реке Мюльде,

притоку Эльбы. В Шестой бронетанковой дивизии находился сержант Алекс Балтер. Он родился в Америке, но его мать была русская, он знал по-русски и ему было поручено — при передвижении дивизии обращаться по радио к передовым частям Красной армии: «Американские войска продвигаются к южной Германии. Русские войска, слушайте мой голос. Это говорят ваши американские союзники. Мы находимся сейчас в Миттвейде и ожидаем встречи с вами». В 8 ч. 20 м. утра 23 апреля 1945 года он услышал, как ему ответил по радио русский голос: «Здорово, американцы!» Но эта переключка была тотчас же заглушена немецкими глушителями, — немецкая радиостанция начала играть на той же волне „Ach du lieber Augustin“. Через час, в девять тридцать утра, Балтеру снова удалось установить радиопереключку, и русский радист, по-видимому не знавший, где находится Миттвейде, спросил, не могут ли американцы указать более крупный населенный пункт. Балтер ответил: «Хемниц». Несколько позже Балтер поймал русский голос:

«Третья армия! Третья армия! Мы приближаемся к вам. Пока я ничего не могу сказать вам больше. Будьте уверены, что ваши русские товарищи не дремлют».

Балтер побежал к своему офицеру и сообщил, что установил радиосвязь с передовыми частями Красной армии. Несколько офицеров вызвалось пойти навстречу. Выбор пал на лейтенанта Альберта Коцебу из 273-го пехотного полка. Ему дали семь виллисов с 35 солдатами. 24 апреля он пересек реку Мюльде и направился дальше — к Эльбе. Ему был дан противоречивый приказ: с одной стороны, было приказано установить контакт с передовыми частями Красной армии, с другой — не удаляться больше, чем на два с половиной километра. Коцебу решил, что установление контакта — самая важная часть приказа. Через несколько километров ему повстречались остатки какой-то немецкой воинской части, — полурота Коцебу разоружила немецких солдат, пересчитала (их было 75) и велела им идти в тыл. Коцебу сообщил об этом в свой штаб и получил приказ — прочесать местность в радиусе четырех километров. На следующий день, 25 апреля, он двинулся дальше к Эльбе. В двух километрах от Эльбы американцы увидели всадника в шапке-ушанке. Он пытался ускакать от них, но они его взяли на виллисах с двух сторон. Он оказался красноармейцем-разведчиком. Американцам он не доверял, и на вопрос Коцебу, где находится его часть, только показывал рукой в направлении на восток. Коцебу повел свою автоколонну по берегу Эльбы, вверх по течению, — вскоре американцы достигли деревни Штрела. На другом берегу

Эльбы Коцебу увидел в бинокль солдат Красной армии. Он посмотрел на часы: стрелки показывали 12 ч. 5 м. пополудни. Коцебу начал кричать, но его возгласы не долетали до другого берега. Неподдалеку он увидел лодку на цепи. Подвязав к цепи гранату, он оборвал цепь — и поплыл с четырьмя солдатами на правый берег Эльбы. Весел не было, гребли прикладами винтовок. На правом берегу Эльбы лейтенант Коцебу и подполковник Гардиев отдали друг другу честь и пожали друг другу руку. Тут, как вспоминает Коцебу, выбежал какой-то толстяк в офицерской форме и сказал ему:

«Как только что сказал подполковник Гардиев, это исторический момент для обеих стран. Но подполковник только командир полка, а вас должен встретить генерал-майор Русаков, командир 58-й гвардейской пехотной дивизии. Пожалуйста, не могли бы вы еще раз переправиться через Эльбу . . . для наших фотографов, и чтобы вас встретил генерал!»

Коцебу послал радиограмму командиру своего полка, что контакт с передовыми частями установлен. Но командир полка был в ярости: в том, что Коцебу удалился на 25 километров, он видел нарушение приказа.

В тот же день, несколько позже, в тридцати километрах от того места, где находился Коцебу, произошла другая встреча на Эльбе, — у г. Торгау. Группа американских солдат под командой лейтенанта Вильяма Робертсона достигла Эльбы и начала перебираться по разрушенному мосту на другой берег реки. На мосту они встретили нескольких красноармейцев. В 8 ч. вечера Вильям Робертсон прикатил на виллисе в расположение своего батальона. Вместе с ним в машине сидели три офицера и один сержант Красной армии, — все они, как русские, так и американцы, были подвыпивши и пели песни. Командир батальона майор Виктор Конли сообразил, что у него в руках большой «козырь»: его лейтенант привез живое доказательство того, что установлен контакт с передовыми частями Красной армии. Тотчас же он послал донесение своему генералу — командиру корпуса. Тот доложил другому генералу, а тот, в свою очередь, генералу армии Бредли. Бредли обвел на карте красным карандашом «Торгау» и тут же приказал наградить лейтенанта Робертсона медалью. Так встреча у Торгау вошла в историю Второй мировой войны. *

* 25 апреля 1945 года была еще третья встреча на Эльбе. К реке вышел американский патруль — 47 солдат под командой майора Крэга. Им повстречалось несколько кавалеристов. Из американского виллиса вышел, опять-таки, сын русских эмигрантов, Игорь Белу-

Что же тем временем происходило к северу от Торгау, в районе Берлина? 23 марта 1945 года союзные войска под командованием английского фельдмаршала Монтгомери форсировали Рейн; на день раньше, несколько южнее, переправились через Рейн воинские части американского генерала Джорджа Паттона, месяц спустя вышедшие на Эльбу. Войска Красной армии к тому времени имели три плацдарма к западу от Одера — один ниже Франкфурта, другой выше Кюстрина, третий посередине. Возникал вопрос: что дальше? Кто первым войдет в Берлин?

Еще полгода назад Дуайт Эйзенхауэр писал фельдмаршалу Монтгомери, что главная цель — взять Берлин, добить, как тогда говорили, врага в его логове. Но теперь, в конце марта 1945 года, когда можно было идти на Берлин, у Эйзенхауэра, находившегося в своей ставке в Реймсе, возник совсем другой план: во-первых, окружить Рур; во-вторых, сделать главным направлением на Мюнхен и Лейпциг; в-третьих, вместо того, чтобы двигаться к Берлину, войска Монтгомери должны были повернуть на северо-запад и овладеть Любеком, отрезав, таким образом, немецкие войска в Дании и Норвегии. По плану Эйзенхауэра, Берлин доставался войскам маршала Жукова.

В полдень 28 марта 1945 года генерал Эйзенхауэр, приняв это решение и даже не снесшись с Вашингтоном, отправил личное послание Сталину в Москву. В ночь на 29 марта Аллан Брук, начальник английского генерального штаба, записал в своем дневнике, что Эйзенхауэр не имел права непосредственно сноситься со Сталиным и что в своем послании Сталину он нарушал соглашения, ранее принятые союзниками. Поскольку послание Эйзенхауэра должен был вручить Сталину генерал-майор Джон Дин, глава американской военной миссии в Москве, были предприняты попытки задержать вручение послания. Но оно было вручено 31 марта — в двух экземплярах, на английском и русском языках. В присутствии генерала Дина и посла США

севич, родившийся в Харбине. «Я приветствую вас от имени Американской армии», — сказал Белусевич лейтенанту-кавалеристу, и тот ответил: «Наша армия с нетерпением ждала этой минуты». Несколько позже команда майора Крэга встретила уже знакомого нам генерал-майора Русакова, командира 58-й гвардейской пехотной дивизии. Увидев у Игоря Белусевича нашивки на рукаве, Русаков спросил: «Что это у вас тут нарисовано?» «Разве не видите? — переспросил Белусевич. — Шесть и девять. Я из 69-й дивизии». «Как же так, — возмущенно сказал ген. Русаков, — носить на рукаве нашивку с номером дивизии?! Где же ваша бдительность?» (Все это рассказывается в книгах американских писателей Джона Толанда и Корнилиуса Райяна.)

А. Гарримана, Сталин прочитал послание, как они вспоминали впоследствии, «с невозмутимым лицом игрока в покер».

Вопреки союзникам, верившим в ялтинские соглашения о «совместных действиях», «согласовании политики», Сталин вел свою игру, скрывая карты. 13 апреля Гарриман, беседуя со Сталиным, заметил, что немцы много говорят о предстоящем наступлении войск Красной армии на Берлин. Сталин пожал плечами: «Мы действительно готовимся к новой наступательной операции, — сказал он. — Не знаю, насколько она будет удачна. Но в направлении главного удара немцы ошибаются. Главный удар будет направлен на Дрезден». Между тем, войска 1-го Белорусского фронта были уже готовы к рывку на Берлин. Маршал Г. К. Жуков говорит в своих воспоминаниях, что «с 5 по 7 апреля очень активно прошли совещание и командная игра на картах и макетах Берлина. Участниками этой игры были командармы, начальники штабов армий, члены военных советов армий. ... С 8 до 14 апреля проводились более детальные игры и занятия в армиях, корпусах, дивизиях и частях всех родов войск». 16 апреля, то есть три дня спустя после беседы в Кремле, в которой Сталин врал Гарриману, началось наступление на Берлин. В штаб 1-го Белорусского фронта прибыл маршал Н. Булганин, член Государственного комитета обороны. Перед началом наступления он держал такую речь в штабе маршала Г. К. Жукова:

«Берлинская операция — не последняя операция нашей армии. Война не кончена! Мы победили Гитлера, но не весь фашизм. Фашизм распространился по всему миру, в особенности им заражена Америка. Мы нуждались во втором фронте, но капиталисты отказывались открыть его, — из-за этого мы потеряли миллионы наших братьев. Америка теперь наш главный враг. Мы сейчас разрушаем базу фашизма. Нам еще предстоит разрушить базу капитализма — Америку!»

Берлин был взят 2 мая 1945 года. В полночь 2 мая в Москве прогремели 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. 8 мая в Карлсхорсте, пригороде Берлина, представители германского верховного главнокомандования подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. В Америке, Англии, Франции 8 мая считается Днем Победы. Поскольку войска Красной армии только на следующий день вступили в Прагу, в СССР Днем Победы считается 9 мая.

Несколько позже, 29 июля 1945 года, во время Потсдамской конференции, Америка и Англия предъявили Японии ультиматум с требованием безоговорочной капитуляции. Когда ультиматум был отвергнут, Америка пустила в ход свое секретное ору-

жие: 6 августа была сброшена атомная бомба на Хиросиму. 8 августа СССР вступил в войну на Дальнем Востоке. 9 августа была сброшена атомная бомба на Нагасаки. 14 августа Япония капитулировала. 20 ноября в Нюрнберге начался процесс по делу главных немецких военных преступников, — в трибунал входили судьи от СССР, США, Англии, Франции.

Война закончилась . . . Пожалуй, никто не сказал о ней лучше, чем Борис Пастернак в романе «Доктор Живаго»: «По отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, война явилась очистительной бурей, струей свежего воздуха, веянием избавления. Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины, обнародование не рассчитанной на применение конституции, введение выборов, не основанных на выборном начале. И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы. Люди не только на каторге, но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободно, всею грудью, и с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной».

Правда, что в войне был побежден только внешний враг и не был побежден враг внутренний — с его «владычеством выдумки», с его «колдовской силой мертвой буквы». Точно так же, как Сталин нарушал соглашения, достигнутые в Ялте, в частности, «Декларацию об освобожденной Европе», так он нарушил и потсдамские соглашения, заключенные в июле 1945 года. Не исполнились и надежды народа на перемены внутри страны: и поныне еще нет «порядка», и поныне еще ничто не «о'кэй». И все же жизнь в России после войны уже никогда не будет такою, какой она была до войны.

«ПОЛКИ НАШИ ВОЗВРАЩАЛИСЬ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ...»

«Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: „Vive Henri-Quatre“, тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания!»

Пушкинская «Метель»... Прошло 130 лет, и вот в 1946 году наши солдаты возвращались на родину с фронтов второй Отечественной войны. Какая разница! Начать с того, что на этот раз музыка не играла «завоеванных песен», — это тотчас же заклеямили бы как «низкопоклонство перед иностранщиной». Конечно, и в 1945—1946 гг. русское сердце билось при слове отечество, но порой и замирало от страха: что-то будет после войны в России? Ведь при Александре I русских солдат, возвращавшихся из-за границы, не пропускали через «проверочно-фильтрационные пункты». Между тем, в 1945—1946 гг., как это показано в романе Александра Солженицына «В круге первом», «все каналы ГУЛага были перенапряжены — шел с запада поток арестантов, поражавший воображение», и в этом потоке было немало таких, как Глеб Нержин (сам Александр Солженицын), капитан-артиллерист, который шел в колонне арестантов «с растегнутым воротником в шерстяной гимнастерке, еще сохранившейся на обшлагах красные ободочки, а на груди — невылинявшие подорденские пятна».

В конце 1945 года ленинградская поэтесса Ольга Берггольц написала статью «Возвращение мира». 22 июня 1941 года она, побывавшая в тюрьмах и лагерях, написала стихотворение о «Родине в венце терновом», о своей «горькой, всепрощающей, живой» любви к России, а теперь, в статье «Возвращение мира», она рассказывала, как в очистительной буре войны у русских людей вырастали надежды на послевоенные перемены. «Нам

временами казалось, — писала Ольга Берггольц, — что едва только кончится война, как сразу, на другой день, круто, неузнаваемо изменится весь наш быт, вся повседневная жизнь».*

Надеждами на послевоенные перемены жили и солдаты, прошедшие десять стран Европы и ожидавшие возвращения на родину. В повести Валентина Овечкина «С фронтовым приветом», написанной в 1945 году, два ветерана войны — капитан Спивак и комбат Петренко — пишут из-за границы друзьям в Россию: «В новой жизни на освобожденной земле хотим видеть после ужасов войны много красоты и радости. Если не сразу создашь ее, красоту, на месте вырубленных садов и выжженных сел, пусть она будет в отношениях между людьми и в их трудовых подвигах. Многого хотим. Много крови пролили на этой земле и многого хотим от будущей жизни».

«С фронтовым приветом...» Автор этой нашумевшей тогда повести верно подметил особенность послевоенной армейской жизни: никогда солдаты не писали так много писем, как в 1945—1946 годах, в ожидании возвращения на родину.

«Вся армия после войны, — писал не поэт, не писатель-беллетрист, а один гвардии капитан в письме, появившемся в ту пору в зарубежном журнале «Социалистический вестник», — вся армия после войны старательно принялась за писание писем к родным и с нетерпением ожидает их ответов. Такие письма обычно прочитываются вслух, равно как и письма от демобилизованных товарищей. А вести эти письма приносят невеселые. Из деревень только и пишут, что о голоде и нужде. Таких писем так много, что цензура не может их не пропускать: пришлось бы все задерживать, — а письма из деревни и теперь составляют огромное большинство писем в армию. Я читал ряд таких. Главное содержание одно и то же: родители просят сына поспешить с возвращением домой, так как сами не справляются. 'Иначе нам здесь смерть...' Невеселы и письма из городов. Демобилизованные рассказывают про рогатки, которые понаставлены на каждом шагу, чтобы не давать им хода. Вспоминается письмо одного, — в армии он был старшиной, имеет ряд медалей: все его письмо буквально пропитано злой иронией. Его читали и перечитывали группами и много о нем говорили. ... Еще более подробны рассказы отпускников. Их основной тон: едущий за Брестом, т. е. вступив на территорию старого СССР, сразу попадает в какое-

* Увы, «крутых перемен» во «всем нашем быту, всей повседневной жизни» заждалась Россия. ... При жизни Ольги Берггольц они не пришли, — талантливая поэтесса скончалась в ноябре 1975 года.

то темное царство, где совсем иная жизнь, несравнимо худшая, чем жизнь в побежденной Германии или даже Польше».

Простой, бесхитростный документ послевоенного времени... Или вот еще один свидетель тех дней — гвардии лейтенант Петр Пирогов. Он родился в 1920 году в селе Коптево Рассказовского уезда Тамбовской области, в 1941 году окончил Мелитопольское авиационное училище. На фронте он был награжден пятью орденами. Осенью 1946 года его демобилизовали и он поехал на родину. Что же его там ждало? Впоследствии он написал книгу, которая вышла за рубежом. В ней Пирогов рассказывает:

«Распрощавшись с товарищами, с изрядной суммой денег в кармане и хорошим запасом продовольствия, покинул я полк. Настроение было бодрое. В газетах изо дня в день писалось о поразительно быстрых темпах возрождения и восстановления страны, залечивающей нанесенные войной страшные раны. 6 ноября я на Львовском вокзале. В ожидании своего поезда усаживаюсь в общем зале.

— Дяденька, дай хлебца! — слышу сзади через несколько минут. Оборачиваюсь и вижу девочку лет шести в грязном, истрепанном платице, босую, с протянутой рукой. Открываю чемодан и отрезаю ломоть.

— У тебя, что ж, девочка, ни папы, ни мамы нет?

— Папы нету, а мама тут. Вон она.

Сидевшая прямо на цементном полу нестарая еще женщина поднимается и сконфуженно подходит к нам.

— Лида, иди со мной. Как тебе не стыдно просить у чужого дяди... Мы только утром сюда приехали. Только-только добрались до Львова, — оправдывается мать.

— К родным?

— Нет, так. За хлебом. Мы из Белоруссии, из-под Минска.

— А разве у вас там неурожай?

— Урожай был средний. Сдали державе, что полагалось. Отдали семена. Да вот теперь приказали сдать сверх плана, так что у нас ничего не осталось. Услыхали, что Львов город хлебный. Собрала вещи, какие остались, и буду выменивать.

— А муж ваш где?

— Солдатом был. Убит в сорок третьем году. Да мы здесь не одни. Почти всем селом приехали, — и она указала на группу людей с уставлыми немывтыми лицами в углу зала.

... Наконец, подали поезд, и я вышел на перрон. На платформе толпились люди с узлами. Тут были колхозники Украины, Белоруссии, Курской, Орловской и ряда других областей.

Все говорили одно и то же. Под разными предложениями забрали весь урожай, а взамен дали право бесплатного проезда на крышах и открытых товарных платформах, под осенними дождями и в зимнюю стужу, в поисках хлеба. . . В Проскурове покупаю свежий номер «Правды» и читаю под крупным заголовком «Возрожденные колхозы Белоруссии» красочное описание счастливой и зажиточной жизни тамошних коллективизированных крестьян. А рядом суета взрослых и плач детей: 'Дяденька, дайте хлебца!' Оглядываюсь, комкаю газету и топчу сапогом. Что же? Мы возвращаемся к временам 1932—33 годов?»

Конечно, ветераны войны, писавшие письма домой «с фронтовым приветом», были правы, что «не сразу создашь красоту на месте вырубленных садов и выжженных сел». По трафаретной фразе, «неисчислимы» были потери России в войне. Эта фраза удобна для «вождей Советского Союза»: если потери «неисчислимы», то незачем и вычислять, а ведь при вычислении-то как раз и обнаруживается преступность пооктябрьского режима. Нашелся, однако, ученый-статистик, который проделал эти вычисления, — Иван Алексеевич Курганов, который до Второй мировой войны заведовал кафедрой учетной статистики в Ленинградском финансово-экономическом институте. Вот его подсчет:

Посмотрим на границы СССР, какими они были до 17 сентября 1939 года. На этой территории в 1917 году население достигало 143,5 миллиона человек. Естественный прирост населения на этой территории за период 1918—1939 гг. нормально должен был быть 64,4 миллиона человек. Прирост населения вследствие присоединения в 1940 году к СССР новых территорий составил 20,1 миллиона человек. Естественный прирост населения с 1940 г. по 1959 г., в современных границах, нормально должен был быть 91,5 миллиона человек. Следовательно, общая численность населения СССР, в современных границах, в 1959 году должна была бы составить 319,5 миллиона человек. В действительности же, по переписи 1959 года оказалось 208,8 миллиона человек. Недостает 110 700 000 человек. Таким образом, за период с 1917 года по 1959 год население Советского Союза потеряло 110 миллионов 700 тысяч человеческих жизней.

Конечно, эти потери объясняются не только военными событиями. Прежде всего каковы были людские потери во время 2-й мировой войны? Сталин называл такую цифру погибших во 2-ю мировую войну — семь миллионов человек. Хрущев назвал другую цифру, заявив, что «германские милитаристы развязали войну против Советского Союза, которая унесла два десятка

миллионов жизней советских людей». В действительности потери СССР во 2-ю мировую войну были еще больше.

Посмотрим, во-первых, какова была численность населения СССР к началу войны? 197,1 миллиона человек. Естественный прирост населения за 1941—1945 гг. составляет 15,4 миллиона человек. Следовательно, к 1946 году население СССР должно было достигать цифры в 212,5 миллиона человек. Между тем, в действительности к началу 1946 года в СССР имелось 168,5 миллиона человек населения. Значит, людские потери, связанные с войной, составляют не семь миллионов, как говорил Сталин, и даже не двадцать миллионов, как утверждал Хрущев, а 44 миллиона.

Что именно входит в эту цифру?

«В эту цифру, — пишет проф. И. А. Курганов, — входят: боевые потери на фронте убитыми и умершими от ран; гражданские потери в тылу от бомбардировок, голода, болезней и террора оккупантов; специальные потери на территории противника, связанные с гибелью людей в лагерях военнопленных и лагерях оstarбайтеров; эмиграционные потери, связанные с беженством и невозвращенчеством; наконец, естественные потери, связанные с падением рождаемости во время войны. Общую сумму этих потерь и составляет цифра — 44 миллиона человек».

«Эта цифра, — замечает проф. И. А. Курганов, — во многом связана со сталинской тактикой ведения войны, порой совершенно не считавшейся с потерями людского материала. Если мы возьмем изданную в Москве книгу 'Итоги всесоюзной переписи населения 1959 года', то увидим, что в Первую мировую войну естественный рост населения перекрывал военные потери. Население России в Первую мировую войну не сократилось, а, наоборот, несколько увеличилось. Между тем, за время Второй мировой войны население СССР не только потеряло весь свой естественный прирост — 15, 4 миллиона человек, но, кроме того, потеряло еще 28,6 миллиона человек из своего довоенного количества».

«Потери, связанные с военными событиями, грандиозны, — заключает проф. И. А. Курганов. — Но они далеко не покрывают всех потерь народа за время партийной диктатуры. Как мы уже видели, общие потери населения с 1917 года по 1959 год составляют 110,7 миллиона человек. Потери в военное время составляют 44 миллиона, т. е. 40%. Потери же в невоенное время составляют 66,7 миллиона человек».

Таков страшный итог пооктябрьского лихолетья.

У Маргариты Алигер, моей неоднократной спутницы в поезд-

ках по частям Шестой воздушной армии на Северо-Западном фронте в 1943 году, есть стихотворение, которое меня как сибиряка особенно ранит:

Есть в Восточной Сибири деревня Кукой —
горстка изб над таёжной рекой.
За деревней на взгорье — поля и луга,
а за ними стеною тайга.
В сорок первом, когда наступали враги,
проводила деревня от милой тайги
взвод отцов и мужей, взвод сибирских солдат.
Ни один не вернулся назад.
И остались в Кукое, у светлой реки,
Только дети, да женщины, да старики.
Молодые ребята, едва подросли,
на большие сибирские стройки ушли.
Не играют тут свадеб, не родят детей.
Жизнь без всяких прикрас, безо всяких затей.
Ранним-рано кукоевцы гасят огонь.
Никогда не играет в Кукое гармонь.
Ни вечерки какой, ни гуляния нет.
Только вдовья кручина — считай сколько лет.

Это стихотворение было написано даже не в 1946 году, когда страна еще не оправилась, еще только подсчитывала потери, понесенные в войне, — нет, оно было написано в 1955 году, десять лет спустя после войны.

«Если не сразу создашь ее, красоту, на месте вырубленных садов и выжженных сел, пусть она будет в отношениях между людьми . . .» — писали фронтовики из-за границы на родину. Не оправдалась и эта надежда! Наоборот, вокруг Сталина еще больше разросся бюрократический аппарат, основанный на чиновничестве, бездушии, карьеризме. При Ленине, как известно, существовал «партмаксимум»: все, что коммунист получал свыше максимума, он должен был сдавать в партийную кассу. Ленин считал, что заработная плата высокого «ответственного работника» не должна превышать больше чем в пять раз заработок среднего рабочего. Но 8 февраля 1932 года партмаксимум был отменен. Партработники стали получать в 40 и 50, а некоторые даже в 100 раз больше, чем средний рабочий. Было установлено множество привилегий: закрытые распределители, закрытые столовые, бесплатные дома отдыха, дачи. В 1935 году для всех «ответственных работников», от председателя горсовета и вы-

ше, были введены «представительные дотации». Наконец, после войны были введены «пакеты» с дополнительными суммами, как бы «наградными» за верную службу. «Пакеты» были, разумеется, неодинаковые, в зависимости от ранга и положения, и порой они содержали огромные суммы денег, намного превышающие официальную заработную плату того или иного «ответственного работника». Доплата эта производилась по специальным финансовым каналам, эта сумма не облагалась никаким налогом, и все это держалось втайне от служащих того или иного учреждения или предприятия.

Нет, не оправдались надежды на послевоенные перемены! Но это не значит, что все пошло по-старому. «Штукатурка» осыпалась в 1941 году, и какие бы ни строили аляповатые фасады, пять лет спустя они уже никого не обманывали. В 1941 году люди обрели «чувство гордого гражданства, впервые пережитое всерьез», и в этом смысле, несмотря на огромную разницу между возвращением наших полков из-за границы в первую Отечественную войну и во вторую, в какой-то мере повторилось то, что русские люди пережили во время заграничного похода 1814—1815 годов.

Возьмем, к примеру, одного ветерана первой Отечественной войны, Кондратия Рылеева. Рылеев был отдан в Петербургский кадетский корпус пяти лет от роду; девятнадцатилетним юношей, в 1814 году, он был выпущен в конную артиллерию. Вместе с русскими войсками он прошел Польшу, Пруссию, Саксонию, Баварию, побывал во Франции. Его «Письма из Парижа» — образец русской эпистолярной литературы. В 1815 году Кондратий Рылеев писал из Парижа:

«Сегодня день моего рождения. Прошлого года провел я оный в Дрездене — и мог ли воображать тогда через год праздновать его в Париже? Вот, друг мой, каковы нынешние обстоятельства: сегодня здесь, а завтра — Бог весть! Не знаю, как поверят потомки наши происшествиям, которые происходили при глазах наших. И как поверят, что один ничтожный смертный был причиною столь ужаснейших политических переворотов. Как поверить, что в продолжение не более десяти лет возрождалось и упало до десяти государств, восстанавливалось и низвергалось несколько монархов, и все по прихоти одного человека!»

Как видим, война против Наполеона породила в русском офицере мысль о том, что нельзя терпеть самовластия, что судьбы народов не могут зависеть от «прихотей одного человека». И недаром, вернувшись в Россию, Кондратий Рылеев стал одним из руководителей движения декабристов. Отечественная война 1812

года явилась исходным историческим рубежом в развитии освободительного движения в России. «Направление умов после 1812 года было совершенно иным, — писал Герцен в книге 'О развитии революционных идей в России'. — После этого кровавого крещения вся Россия вступила в новую фазу. Вскоре после войны в общественном мнении обнаружилась большая перемена. Гвардейские и армейские офицеры, храбро подставлявшие грудь под неприятельские пули, были уже не так покорны, не так сговорчивы, как прежде. Дурное управление, продажность чиновников, полицейский гнет стали вызывать всеобщий ропот. Люди энергичные и серьезные задумали создать большое тайное общество — Союз Благоденствия. Это общество должно было заниматься воспитанием молодого поколения, распространять идеи свободы и тщательно изучать сложный вопрос радикальной и полной реформы образа правления в России. Все самое благородное среди русской молодежи поспешило вступить в ряды этой первой фаланги русского освобождения. Это была первая поистине революционная оппозиция, создавшаяся в России».

В книге Герцена «О развитии революционных идей в России» есть глава под названием: «1812—1825». Таким образом, Герцен прямо связывал эти две даты: Отечественную войну и восстание декабристов. Павел Пестель, руководитель Южного общества, и Никита Муравьев, руководитель Северного общества, — оба они были участниками Отечественной войны, ветеранами зарубежных походов русской армии.

Кто-нибудь скажет: — Где же нынешние Рылеевы? Где же нынешние Пестели и Муравьевы? Можно ли, перефразировав Герцена, сказать, что «направление умов после 1941—1945 годов стало совершенно иным»? Без сомнения! Конечно, разное время, разные условия, но... имели бы мы Александра Солженицына, Петра Григоренко, Виктора Некрасова, если бы они не прошли через огонь второй Отечественной войны? И разве не прав Борис Пастернак, написавший в конце своего романа: «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание».

1947

ОСЕНЬЮ, В КАЗАХСТАНСКОЙ СТЕПИ

Помните ли вы такую дату — 30 октября 1947 года? Вряд ли... Как сообщали газеты, в тот день на заводах и фабриках Ленинграда проводились собрания «для принятия письма Сталину». Колхозники Ново-Анненского района на Волге отправляли красные обозы с зерном, — по словам газет, «в честь 30-летия Октября». Все это, обыденное и монотонное, вряд ли можно отнести к разряду выдающихся событий. Между тем, 30 октября 1947 года в далекой казахстанской степи произошло событие поистине мирового значения, — только газеты о нем не писали.

К этому событию имел отношение человек, имя которого тоже никогда не появлялось в газетах, — если газетам и приходилось упоминать о нем, то без имени, без фамилии, а только по должности: «Главный Конструктор». Кто был он, этот «Главный Конструктор», — конструктор ракетно-космических систем, — держали в тайне. Только в январе 1966 года, когда он умер, когда гроб с его телом стоял в Колонном зале Дома Союзов, стало известно, это этим засекреченным ученым был академик С. П. Королев.

Таинственность, засекреченность... Таким же таинственным был и день 30 октября 1947 года... — день, когда в казахстанской степи была запущена первая советская ракета, Р-10, сделанная в СССР, способная пролететь дистанцию в 800 километров. Вот это, не отмеченное ни одной газетой, событие и было, пожалуй, важнейшим событием 1947 года.

Многое из того, что происходит внутри Советского Союза, становится известным за границей задолго до того, как об этом узнают советские граждане. День 30 октября 1947 года описан в книге одного французского журналиста,* — он рассказывает о

* Мишель Бор-Зохар. Его книгу «Охота за немецкими учеными», по крайней мере, частично перевел на русский язык С. Рождественский.

нем со слов немецких ученых, вывезенных в 1946 году из Германии в Советский Союз и в 1953 году возвращенных на родину. Некоторые из них присутствовали при запуске ракеты Р-10. Вот что они рассказывают:

В тот день, 30 октября 1947 года, в казахстанской степи, в лагере особого назначения, людей подняли рано. В пустыне стояла вышка, а в отдалении от нее — ряд цилиндрических зданий, оцепленных проволокой. Вдоль проволочных заграждений ходили охранники. Чуть дальше — палаточный лагерь, там жили ученые и военные. А еще дальше, за тройной стеной колючей проволоки и забора, находились полуземлянки-полубараки для заключенных.

Утром 30 октября 1947 года сюда стали подкатывать «зисы» с знатными гостями. Прибыл министр вооружения генерал-полковник инженерно-технической службы Дмитрий Устинов. Он стоял в окружении советских военных и ученых, — там же стояли и немецкие ученые Гроттруп, Вольф, Альбринг, Умпфенбах.

По сигналу начали наполнять горючим блестящую ракету, стоящую вертикально у стального каркаса. Устинов стоял, поглядывая на часы. Пронзительный холодный степной ветер заставлял военных в сапогах переминаясь с ноги на ногу, ежиться от холода.

— Приготовиться к огню! — прозвучала команда.

Где-то отсчитывали секунды.

Наконец:

— Огонь!

Под ракетой вспыхнуло пламя, и она окуталась белым дымом. И вдруг — блестящая стальная сигара медленно стала отделяться от земли.

— Ура, ура, ура! — пронеслось по степи.

Кричали от восторга военные, охранники и все восемь тысяч заключенных, выстроенных на плацу лагеря.

Ракета уходила в небо, набирая скорость.

Взволнованный Устинов бросился к Гельмуту Гроттруппу, схватил его в объятия, приговаривая:

— Смотрите, смотрите, ракета полетела! Первая советская ракета!

Через несколько минут в Москву полетела молния об удачном запуске первой советской ракеты, Р-10, способной пролететь дистанцию в 800 километров.

Вечером 30 октября 1947 года министр Устинов дал банкет. Вспомнив Петра Великого, он поднял тост: «За наших учителей!» Немцы, присутствовавшие на банкете, кисло улыбались.

«За наших учителей»... Что означали слова министра? В книге Мишеля Бор-Зохара «Охота за немецкими учеными» рассказывается следующее:

В конце 1944 года в Москве, под руководством Маленкова, было создано особое управление, в задачу которого входил сбор военных материалов, найденных и захваченных у противника. Особое внимание обращалось на новейшее оружие Гитлера, в частности, на ракеты Фау-1 и Фау-2. Когда войска Красной армии вошли в Берлин, особая группа под начальством полковника Шостака начала разыскивать тех немецких ученых, которые создали эти ракеты. Были найдены подземные базы ракет Фау, изыскательские лаборатории, несколько моделей Фау, образец противозвушной ракеты.

«Миттльверке», завод в Нордхаузене, в горах Гарца, был переименован в Центральверке, — во главе его был поставлен генерал Гайдуков.

В лагере военнопленных был найден Гельмут Гроттруп, молодой ученый по ракетным установкам. Его считали равным другому немецкому специалисту, фон Брауну, который в числе других 350 немецких ученых был захвачен американцами. Генерал Гайдуков, принимая Гроттрупа в своем кабинете, обещал ему, что он не будет выслан в СССР.

— Наоборот, — сказал генерал Гайдуков, — мы назначаем вас директором завода Фау в горах Гарца. Мы отпускаем вам неограниченные средства и даем вам полное право распоряжаться, как хотите. Вы должны собрать специалистов и наладить работу завода Фау.

Вскоре заработали подземный завод, изыскательские лаборатории. Первые готовые ракеты Фау-2 были немедленно отправлены в Советский Союз.

Вскоре, однако, дело приняло другой оборот. 21 октября 1946 года генерал Гайдуков устроил банкет для двухсот немецких специалистов. Он то и дело поднимал бокал за «общее дело», за «дружбу». А на следующий день перед виллами и квартирами немецких ученых и специалистов появились советские военные машины и грузовики. Началась операция «Исход» — операция по вывозу немецких ученых и специалистов в Советский Союз. Известно, что через Брест-Литовск ушли на восток 92 специальных поезда. Были такие — увы, характерные — случаи:

У доктора Ронгера, одного из немецких ученых, за три дня до начала операции «Исход» умерла жена. Утром 22 октября 1946 года ученого разбудили и приказали собрать вещи. Когда доктор Ронгер был готов, то советский офицер, руководивший отправкой, спросил:

— А где же ваша жена?

— Жены нет, — ответил доктор Ронгер, — она три дня тому назад умерла, и ее похоронили.

— Как так, нет жены? — переспросил офицер. — У меня тут написано — «погрузить доктора Ронгера и его жену».

Не помогли никакие объяснения!

— Захватите любую немку, а по дороге на ней женитесь, — приказал офицер.

В конце концов, захватили прислугу доктора Ронгера.

Первые эшелоны с немецкими специалистами прибыли на станцию Монино близ Москвы. Потом часть немецких ученых была переведена в исследовательский центр в Подлипках, других перевели в район озера Селигер, а некоторых отправили в Казахстан. Гельмут Гроттруп, которому генерал Гайдуков обещал, что он не будет вывезен из Германии, потребовал свидания с министром вооружения Устиновым.

— Наша задача, — сказал ему Устинов, — и ваша также, создать первую советскую ракету дальнего полета, используя ваш опыт, приобретенный в работе над Фау.

Вот что означали слова министра Устинова, когда в Казахстане, 30 октября 1947 года, в день запуска первой ракеты Р-10 он провозгласил тост: «За наших учителей!»

Мишель Бор-Зохар в книге «Охота за немецкими учеными» дальше рассказывает:

Прошло еще два года. Работы в лабораториях, на заводах в Куйбышеве, Ленинграде, у Киева продолжались. Строились ракеты Р-10, Р-11. Теперь у каждого немецкого специалиста были свои ученики — три-пять молодых советских инженеров и техников. В апреле 1949 года, в беседе с Гельмутом Гроттрупом, министр Устинов поставил такую задачу:

— Нам нужно создать новую ракету, способную пролетать выше трех тысяч километров и с боевой головкой до трех тонн взрывчатки.

К тому времени СССР уже произвел взрыв своей атомной бомбы, над которой немало поработал другой немецкий ученый — фон Арден. Так началась работа над ракетой Р-14. Эта ракета была готова летом 1950 года, но на запуск ее никто из немец-

ких ученых приглашен не был. В тот год началась репатриация немецких специалистов. В ноябре 1953 года был возвращен в Германию и Гельмут Гроттруп.

Вся эта история, разумеется, не умаляет заслуг наших отечественных ученых — таких, к примеру, как академик С. П. Королев. Но она указывает на коренной порок системы — отсутствие гласности. В конце концов, в Америке не делают секрета из того, что там работает фон Браун! И когда, в январе 1966 года, скончался академик Королев, газета «Нью-Йорк Таймс» писала:

«Не потому ли Главного Конструктора держали в тени, засекречивали, что партийное руководство приписывало себе его достижения, ставило себе в заслугу результаты его работы?» *

* Пять лет спустя, в 1971 году, за рубежом вышла — распространявшаяся в СССР в Самиздате — книга проф. Г. А. Озерова «Туполевская шарга», в которой дан в высшей степени интересный портрет академика Сергея Павловича Королева. С. П. Королев, как и А. Н. Туполев, как и автор книги и многие другие ученые и инженеры, находился в 1930-х гг. в заключении в специальной тюрьме НКВД, ЦКБ-29 (Центральное конструкторское бюро № 29). Проф. Г. А. Озеров пишет:

«Сергей Павлович Королев, будущий создатель космических ракет, был доставлен из Колымы, где обушком добывал золотишко. Небольшого роста, грузный, с косо посаженной головой, умными карими глазами, скептик, циник и пессимист, абсолютно мрачно смотревший на будущее. 'Хлопнут без некролога', — была его любимая фраза. Вместе с А. Цандером трудился над ракетами и был осужден за то, что не понял, что 'нашей стране ваша пиротехника и фейерверки не только не нужны, но даже и опасны', — как говорил его следователь. 'Занимались бы делом и строили бы самолеты. Ракеты-то, наверно, для покушения на вождя?' Понадобились Вернер фон Браун, Пенемюнде и Фау-2, чтобы о нем вспомнили. Когда же хватились, организовали на заводе Ильича новую шаргу и забрали его туда главным. Вознесенный на Гауризанкар лести, орденов, званий, почета и т. д., он сохранил старых друзей. Было весьма любопытно, когда на бывшей даче Калинина, недалеко от Останкино, за рюмкой коньяка он, оглядевшись и перейдя на шепот, вспоминал: 'А помните, ребята, трехтактного Гришку Кутепова, обезьянник, свидания...' Особую пикантность придавала всему этому охрана дачи 'главного конструктора', которую несли точно такие же полки и вертухаи, что и в ЦКБ-29. 'Знаете, ребята, — говорил Королев, — самое трагическое состоит в том, что они не понимают, как все-таки много общего между тогдашней и сегодняшней жизнью. Я еще не отказался от мысли 'хлопнут без некролога'. Другой раз проснешься ночью, лежишь и думаешь: вот сейчас дадут команду, и те же охранники нагло войдут и бросят: 'А ну, падло, собирайся с вещами'».

1948

М. М. ЗОЩЕНКО ПЫТАЛСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ
НА ХЛЕБ САПОЖНИЧЕСТВОМ

В начале 1948 года два крупнейших русских композитора, Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, были приглашены к А. А. Жданову, секретарю ЦК ВКП(б). В Политбюро считалось, что Жданов понимает «вопросы музыки». Правда, сам он был недоучившимся студентом Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии, но зато его мать, дворянского происхождения, была пианисткой, окончившей Московскую консерваторию. Впрочем, музицировал и Жданов. В беседе с Прокофьевым и Шостаковичем он жаловался, что «у нас в музыке еще много формалистического, антинародного» и просил их «помочь партии в борьбе за красивую, изящную музыку». Для того, чтобы нагляднее показать композиторам, что такое «красивая и изящная музыка», он присел к роялю и сыграл какую-то постельную мелодию, непохожую на «ошибочные», «антинародные» произведения.

Курьезный этот случай описан в воспоминаниях Ильи Эренбурга. Прокофьев умер в один день со Сталиным, 5 марта 1953 года, но Шостакович прожил еще двадцать два года. В эти, послесталинские, годы размышлял ли он о пережитом? Интересно бы знать, что поднималось в его душе, когда он слушал «красивую и изящную музыку» Жданова? Быть может, в его сознании промелькнула мысль о том, что ведь, в сущности, статьей «Сумбур вместо музыки», появившейся в «Правде» 28 января 1936 года, — статьей о его опере «Леди Макбет Мценского уезда», — и началась ежовщина. «Леди Макбет» имеет успех у буржуазной публики за границей», — писала тогда «Правда». Между 1936 и 1948 годами лежали четыре года войны, и теперь иметь успех за границей было еще опаснее, чем тогда. Теперь шла борьба против «низкопоклонничества перед иностранщиной», и вести эту борьбу было поручено Жданову. Наряду со словом «ежовщина», которым народ обозначил тридцатые годы, в сороковых годах в русский язык вошло слово «ждановщина».

Как знать, может быть, ни о чем таком Шостакович вовсе не

думал, а только безумно, безмерно радовался тому, что не писал музыки на слова Анны Ахматовой. Вот Прокофьев — да, писал! Опус 27, его не скроешь! И как озаглавлен! „Cinq poésies d'Anna Akhmatova pour chant et piano“ . . . — это ли не «низкопоклонство перед иностранщиной»?! Однако не будем ехидничать. «Какая сила, — пишет о Шостаковиче Александр Солженицын в сборнике «Из-под глыб», — какая сила заставляет великого композитора XX века стать жалкой марионеткой третьестепенных чиновников из министерства культуры и по их воле подписывать любую презренную бумажку, защищая, кого прикажут, за границей, травя, кого прикажут, у нас?» В 1936 году, когда травили Шостаковича, Солженицыну было только 18 лет, и трудно сказать, что с ним случилось бы, если бы он родился не в 1918, а как Шостакович — в 1904 году.* Ежовщины и ждановщины не проходят даром. . .

Как ежовщина началась в 1936 году с удара по Шостаковичу, так десять лет спустя с удара по Ахматовой и Зощенко началась ждановщина. 14 августа 1946 года ЦК ВКП(б) вынес постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором говорилось:

«Грубой ошибкой 'Звезды' является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции 'Звезды' известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. . . Журнал 'Звезда' всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства — 'искусства для искусства', не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе».

* К тому же надо заметить, что Д. Д. Шостаковича травили не только в 1936 году. Б. А. Филиппов сообщил автору, что еще в 1924 году Шостаковича исключили из консерватории за «непролетарское происхождение», но потом оставили в консерватории благодаря протесту ее главы — А. К. Глазунова.

На собрании актива Ленинградской парторганизации тотчас же выступил Жданов, и его доклад, занявший несколько страниц «Правды», «прорабатывался» на собраниях и политзанятиях по всей стране, — отсюда и «ждановщина». Впрочем, именно Жданов и заварил всю эту кашу. Передают, что Жданов рассказал Сталину, как на вечеру в Политехническом музее весь зал встал, когда на эстраду вышла Ахматова, и будто бы Сталин спросил: «Кто организовал вставание?» Надежда Мандельштам пишет, что после постановления ЦК ВКП(б) Зоценко пытался зарабатывать на хлеб сапожничеством, а Пастернак спрашивал вдову загубленного в лагерях Осипа Мандельштама: «Можно ли жить, если они убьют и Ахматову?»

Вслед за постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград», тогда же, в августе 1946 года, вышло постановление ЦК ВКП(б) о театральном репертуаре, а в сентябре — постановление о кинофильме «Большая жизнь»; кроме этой картины, были «осуждены» вторая серия «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна, «Адмирал Нахимов» Всеволода Пудовкина, «Простые люди» Козинцева и Трауберга.

Как это было во времена ежовщины, ждановщина распространялась, охватывая все большие и большие круги писателей, художников, музыкантов. В августе 1946 года начали с Зоценко и Ахматовой, а в декабре 1947 года дошли до Александра Фадеева и Константина Симонова. «Правда» обвиняла А. Фадеева в том, что в его романе «Молодая гвардия» «клеветнически» изображена эвакуация Донбасса в 1942 году, и в доказательство «клеветы» приводила такие строки из романа: «Все это кричало, ругалось, плакало, тарыхтело, звенело. Тут же, продираясь сквозь месиво людей и воев, ползли грузовики с военным и гражданским имуществом, рыча моторами, издавая истошные гудки. Люди пытались забраться на грузовики — их сталкивали». «Действительно ли, — спрашивала 'Правда', — такая картина характерна для эвакуации заводского оборудования и населения в сорок первом году и даже в первые месяцы сорок второго года? Факты отвечают на это непрерываемо: нет, такая картина случайна, поверхностна и не характерна». Вслед за романом А. Фадеева была «осуждена» повесть Константина Симонова «Дым отечества». Вслед за тем начался разгром литературоведения, шельмование академика В. В. Виноградова, автора книги «Русский язык», поход на «школу Веселовского», который был объявлен «родоначальником современного низкопоклонства перед Западом».

«Низкопоклонство перед Западом»!.. Наряду с «безыдейно-

стью», «аполитичностью», это был второй мотив ждановщины. 30 июня 1947 года «Правда» поместила статью А. Фадеева о книге И. Нусинова «Пушкин и мировая литература», вышедшей в 1941 году. Несмотря на то, что книга вышла шесть лет назад, на нее теперь обрушились и разругали. «Задача этой книги, — писал Фадеев, — показать, что величие Пушкина в том, что он 'европеец'». «Зазнавшаяся, невежественная Европа!» — восклицал Фадеев в статье. «Чтобы определить место Пушкина в мировой литературе, нужно проанализировать национальную почву, которая породила Пушкина». Выступая в сентябре 1947 года на пленуме Союза писателей, А. Фадеев, «генеральный секретарь ССП», говорил, что «русский декаданс (имеется в виду поэзия начала XX века) всегда плелся в хвосте у западноевропейского, раболепно подбирая объедки с чужого стола». Отмечая в 1948 году 80-летие М. Горького, «Правда» подчеркивала, что он выступал против «западничества символистов». В феврале 1949 года, в Париже, на собрании общества «Франция-СССР», А. Фадеев пояснял:

«С каким художественным багажом вошли мы в литературу, и что нового хотим мы сказать миру? Мы просим прощения, конечно, за то, что в наших походных сумках не было Бодлера и Верлена, тем более — Малларме. В наших сумках не было даже Блока, крупнейшего из русских символистов, если бы Блок не написал поэмы 'Двенадцать', в которой он по-своему восславил приход нового общества».

1948 год был годом разгара ждановщины. 10 февраля 1948 года ЦК ВКП(б) вынес постановление об опере «Великая дружба» (музыка Мурадели, либретто Мдивани), которая была поставлена в Большом театре по случаю 30-й годовщины Октябрьской революции. Это постановление было особенно зловещим потому, что в нем опять фигурировала «Леди Макбет Мценского уезда», напоминая о ежовщине. В 1948 году все шло как будто по сценарию 1936 года:

«Музыка оперы невыразительна, бедна, — говорилось в постановлении. — В ней нет ни одной запоминающейся мелодии или арии. Она сумбурна и дисгармонична, построена на сплошных диссонансах, на режущих слух звукосочетаниях. Отдельные строки и сцены, претендующие на мелодичность, внезапно прерываются нестройным шумом, совершенно чуждым для нормального человеческого уха и действующим на слушателей угнетающе. ... Еще в 1936 году, в связи с появлением оперы Дмитрия Шостаковича 'Леди Макбет Мценского уезда', в органе ЦК ВКП(б) 'Правда' были подвергнуты острой критике антинарод-

ные формалистические извращения в творчестве Дмитрия Шостаковича и разоблачен вред и опасность этого направления для судеб развития советской музыки. Несмотря на эти предупреждения, а также вопреки тем указаниям, какие были даны Центральным комитетом ВКП(б) в его решениях о журналах 'Звезда' и 'Ленинград', о кинофильме 'Большая жизнь', о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, в советской музыке не было произведено никакой перестройки».

29 февраля 1948 года газета «Культура и жизнь» сообщила, что в учительском институте г. Бийска убрали из кабинета физики портрет Галилея. Правда, газета расценивала это как «перегиб в борьбе с иностранщиной», тем не менее, этот факт показывает, какой размах ждановщина приобрела в 1948 году.

1949

«БЕЗРОДНЫЙ КОСМОПОЛИТИЗМ»

В 1949 году в Москве рассказывали, что будто бы вышел правительственный указ: исключить из зоосада — жирафа за трюкачество, носорога за грубый натурализм, а зебру за пропагандирование абстрактного искусства. Анекдот времен ждановщины... Ждановщина, как и ежовщина, распространялась, захватывала все новые и новые круги общества. В 1949 году она перешла в ожесточенную кампанию против «космополитов».

28 января 1949 года в «Правде» появилась статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Как и статьи, печатавшиеся в «Правде» в начале 1936 года, эта статья не была подписана: через свой центральный орган говорил сам ЦК ВКП(б).

«В театральной критике, — говорилось в этой статье, — сложилась антипатриотическая группа последышей буржуазного эстетства, которая проникает в нашу печать и наиболее развязно орудует на страницах журнала «Театр» и газеты «Советское искусство». Эти критики утратили свою ответственность перед народом; являются носителями грубого, отвратительного для советского человека, враждебного ему безродного космополитизма; они мешают развитию советской литературы, тормозят ее движение вперед. Им чуждо чувство национальной советской гордости».

«Безродный космополитизм...» Эти два слова без усталости повторялись в статьях, докладах, лекциях в 1949 году. Что скрывалось за ними? Кто были те литераторы, которых «Правда» клеймила как «безродных космополитов»? Ю. Юзовский, А. Гурвич... По словам «Правды», они, живя в советском обществе, прибегали к разным «формам маскировки», были «лишены чувства советского патриотизма». Да и «какое представление может быть у Гурвича о национальном характере русского советского человека?» Несколько недель спустя, 2 марта 1949 года, в «Лите-

ратурной газете» появилась статья, в которой А. Гурвич обвинялся в «издевательствах над русским человеком, над русскими национальными традициями».

19 февраля 1949 года газета «Советское искусство» напечатала статью, посвященную Иогану Альтману. Это был коммунист с большим стажем: в 1920 году (в двадцать лет) вступил в партию, в 1926 году окончил Московский университет, а в 1932 году — Институт красной профессуры. Он был редактором журнала «Театр», а также и редактором газеты «Советское искусство», — как раз в 1936—1938 гг., в период ежовщины. Всё всем «отрыгивается», — теперь отрыгнулось и ему. Теперь его самого объявляли «врагом советского искусства», «диверсантом на нашем идеологическом фронте». «Альтман ненавидит все русское, все советское, — писала газета о своем бывшем редакторе. — Буржуазный национализм и отвращение ко всему русскому неизбежно приводили его к рабскому угодничеству перед Западом».

Альтман, Гурвич, Юзовский печатались под своими фамилиями. Но вот, разоблачая «безродных космополитов», газеты начали раскрывать псевдонимы. Первой к этому приступила, кажется, газета «Культура и жизнь», сообщившая, что критик «Холодов» вовсе не Холодов, а Меерович. 12 февраля 1949 года «Литературная газета» оповестила, что «Яковлев» — это Хольцман, «Мельников» — это Мельман. 6 марта 1949 года «Комсомольская правда» раскрыла, что «Ясный» — это Финкельштейн, «Викторов» — это Злочевский, «Светлов» — это Шейдлин.

Началась дикая свистопляска! Возник, например, такой, казалось бы, странный вопрос: можно ли любить поэзию Генриха Гейне? Его стихи переводили на русский язык такие поэты, как Лермонтов, Тютчев, Фет, Блок. Но вот Леонид Первомайский, который считался «украинским писателем», даже «правдистом», поскольку в 1941—45 гг. его фронтовые корреспонденции нередко появлялись на страницах «Правды», сказал в докладе, что «Гейне был любимым поэтом Ивана Франко». И что же? Любомир Дмитерко, секретарь правления Союза писателей Украины, обрушился в «Литературной газете» на Первомайского за оскорбление памяти Ивана Франко, «любимцем которого якобы был Гейне». Конечно, при этом выяснилось, что «Первомайский» вовсе не Первомайский, а — Илья Шлёмович Гуревич.

Вскоре обвинению в «космополитизме» был придан политический характер. В марте 1949 года была опубликована речь Щербины, заместителя министра кинематографии СССР, в ней

говорилось, что «космополитизм — это знамя американской империалистической реакции, которая стремится духовно разоружить народы, лишить их воли к борьбе, повергнуть народы мира в рабство хозяевам Уоллстрита, мечтающим о мировом господстве». К этому же, т. е. к «духовному разоружению народа», стремились, по словам Щербины, «гурвичи, трауберги, блейманы, высмеивая национальные формы нашей культуры и холуйски восторгаясь американскими пьесами и фильмами».

Кампания против «безродных космополитов» не могла не вызывать множество вопросов в сознании людей в СССР и за его пределами. Прежде всего, такой вопрос: неужели Сталин стал антисемитом? Ведь в 1931 году он говорил, что коммунисты, будучи «последовательными интернационалистами», не могут не быть «заклятыми врагами антисемитизма». Е. П. Фролову, старому большевику, принадлежит работа «Антисемитизм Сталина», которая, однако, остается еще в рукописи, — на нее ссылается в своей книге «К суду истории» Рой Медведев, который тоже считает, что Сталин был антисемитом. Такого же мнения придерживается и Светлана Аллилуева: «Так как я хорошо знала характер отца, — пишет она в книге «Только один год», — мне стал, наконец, ясен источник его антисемитизма. Безусловно, он был вызван долголетней борьбой с Троцким и его сторонниками, и превратился постепенно из политической ненависти в расовое чувство ко всем евреям без исключения». Но, как это отмечает тот же Рой Медведев, некоторые историки не думают, что Сталин был антисемитом, и объясняют, например, разгром Еврейского антифашистского комитета исключительно политическими причинами. Комитет этот был создан во время войны, главным образом для укрепления связей с Америкой, помощь которой по «ленд-лизу» была чрезвычайно важна для Советского Союза. Председателем комитета был народный артист СССР Соломон Михоэлс, в него входили заведующий Советским информбюро, а потом заместитель министра иностранных дел Соломон Лозовский, известный ученый-физиолог академик Лина Штерн, наконец, Полина Жемчужина, жена Молотова. Во время войны они ездили в Америку, выступали там с речами и, естественно, встречались с представителями мирового еврейства. Для Сталина этого было достаточно, чтобы всех их заподозрить в «сионизме», зачислить в «американскую агентуру» — и «ликвидировать». Михоэлс, который, кстати сказать, привез из Нью-Йорка Сталину шубу, подарок американских скорняков, был убит в Белоруссии 13 января 1948 года, — в газетах же было сообщено, что он по-

гиб в «автомобильной катастрофе». Лозовский был расстрелян, Лина Штерн и Полина Жемчужина — сосланы в лагеря. В конце 1948 года были арестованы еврейские писатели Давид Бергельсон, Перец Маркиш, Лев Квитко, Давид Гофштейн, Ицик Фефер, Исаак Нусинов и др. Поэт Давид Гофштейн сошел в тюрьме с ума и позже там же умер. Остальные были расстреляны в августе 1952 года.

«Отцу везде мерещился 'сионизм' и заговоры», — пишет Светлана Аллилуева. Эта истерия и разгорелась в 1949 году; — ее высшая точка — «дело врачей», о котором страна узнала 13 января 1953 года.

1950

НОВЫЙ КЛАСС

Руська Доронин, один из самых молодых эзков шарашки, описанной в романе Александра Солженицына «В круге первом», так размышлял о судьбах Русской революции:

«Против чего произошла революция? Против привилегий! Тошно было русским людям от чего? От привилегий. Одни одеты были в робу, другие в соболя, одни пешкодралом — другие в фазтонах, одни по гудочку на фабрику, другие в ресторанах морду наращивали. Верно? . . . Но почему же теперь люди не отталкиваются от привилегий, а тянутся к ним? И что говорить обо мне, о пацане? Разве с меня начинается? Я же на старших смотрю. Я же насмотрелся. Живу в небольшом городке в Казахстане. Что я вижу? Жены местных работников бывают в магазине? Да никогда! Меня самого посылали первому секретарю райкома ящик макарон отнести. Целый ящик. Нераспечатанный. Можно догадаться, что не только этот ящик и не только в этот день . . .»

Привилегии . . . Это слово — латинского происхождения. Оно произошло от двух латинских слов — „privus“, т. е. «отдельный», «особенный» и „lex“, т. е. «закон». Привилегиями, следовательно, пользуются те, на кого общие законы как бы не распространяются, те, кто живет по своим, «отдельным» законам. Привилегия, — поясняет «Словарь современного русского литературного языка», — это «преимущество, исключительное право, предоставляемое кому-либо в отличие от других». Юный Руська Доронин был прав, говоря, что «революция произошла против привилегий». В статье «Еще о национализме» (т. 20) Ленин писал, что «рабочий класс против всяких привилегий», — слово «всяких» подчеркнуто Лениным. Но, как мы уже видели (см. год 1924), уже в апреле 1921 года член ЦКК А. Сольц писал в «Правде», что «выработалась и создалась коммунистическая иерархическая каста ответственных работников со своими собственными групповыми интересами, которая . . . имеет для себя свои особые права, законы, оценки, не применимые ко всем прочим».

Нетрудно понять, почему это так произошло, — потому что

нет правопорядка, при котором законы обязательны для всех, и нет гласности, политической демократии, которая поддерживала бы и обеспечивала правопорядок. «Привилегии, — пишет Рой Медведев в 'Книге о социалистической демократии', — начинают часто расти непропорционально значению того или иного работника. Когда утрачивается контроль народа за всеми этими привилегиями, когда установление той или иной привилегии становится делом только самой руководящей инстанции, то создается тенденция к чрезмерному росту всяких привилегий и даже к созданию тайных привилегий». * Милован Джилас в 1956 году опубликовал книгу «Новый класс», в которой показал, как партийная бюрократия в СССР превратилась в привилегированную социальную прослойку, и эту прослойку он, согласно марксистской терминологии, назвал «новым классом».

После Второй мировой войны Сталин принял особые меры для укрепления «нового класса». Большую роль в этом деле сыграла статья Сталина, появившаяся в «Правде» 20 июня 1950 года. На первый взгляд, она не имела никакого отношения к проблеме «нового класса». Называлась она — «Относительно марксизма в языкознании». И начиналась так:

«Ко мне обратилась группа товарищей из молодежи с предложением — высказать свое мнение в печати по вопросам языкознания, особенно в части, касающейся марксизма в языкознании. Я не языковед и, конечно, не могу полностью удовлетворить товарищей. Что касается марксизма в языкознании, как и в других общественных науках, то к этому я имею прямое отношение. Поэтому я согласился дать ответ на ряд вопросов, поставленных товарищами».

Конечно же, Сталин хитрил, притворялся. Его выступление было заранее подготовлено той дискуссией, которую открыла «Правда» в мае 1950 года большой статьей «О некоторых вопросах советского языкознания». Участие Сталина в этой дискуссии превратило ее в чрезвычайно важную политическую кампанию. После статьи, опубликованной 20 июня 1950 года, Сталин в течение лета того же года написал еще несколько писем, в которых отвечал на вопросы, касающиеся языкознания. Брошюра Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» была опубликована тиражом в несколько миллионов экземпляров, переведена на несколько десятков языков. В 1950 году, «в свете работ И. В. Сталина по языкознанию», перерабатывались докторские

* Рой Медведев, «Книга о социалистической демократии», Амстердам-Париж, Фонд имени Герцена, издательство Грассе и Фаскель, 1972, стр. 265.

и кандидатские диссертации, перестраивалась работа кафедр, создавались новые научно-исследовательские институты. Президент Академии наук СССР А. Н. Несмеянов, в беседе с корреспондентом ТАСС, сказал, что «выход в свет труда И. В. Сталина 'Марксизм и вопросы языкознания' поднял творческую активность наших физиков, химиков, математиков, астрономов».

Цели дискуссии, начатой «Правдой» в мае 1950 года, сперва не были ясны. Выступление Сталина, однако, показало, что речь шла о чем-то гораздо более важном, чем проблемы языкознания. Впрямь, в дискуссии 1950 года речь шла о судьбах революции, судьбах России.

Вспомним, что было время, когда компартия выступала против «диктатуры госязыка». Например, в «Известиях» 19 февраля 1926 года была напечатана статья «Диктатура госязыка в Чехословакии». Вот что в ней говорилось:

«Казалось бы, в Чехословакии, к которой еще так близок урок распада старой Австро-Венгрии, в стране, унаследовавшей львиную долю недугов лоскутной империи, к вопросам национальным должны были бы относиться с большей серьезностью, чем это наблюдается. Оказывается, однако, что исторический урок Австро-Венгрии прошел для чешских шовинистов без всякой пользы. Красочно свидетельствует об этом изданный 4 февраля 1926 года циркуляр правительства, разъясняющий закон о языке. Следует констатировать, что положение, созданное новым циркуляром о языке, во многом ухудшает положение национальных меньшинств — даже по сравнению со старой монархией. Циркуляр устанавливает незыблемую диктатуру госязыка».

В тех же «Известиях» 8 июля 1927 года находим крупный заголовок: «Равноправие языков на Украине». Как раз в те дни в Киеве состоялся «интернациональный митинг». «Вчера под открытым небом, — сообщали 'Известия', — состоялся интернациональный митинг, посвященный четырехлетию союзной Конституции. В митинге участвовало свыше тысячи человек — представители всех национальностей, проживающих в Киеве. Выступали китайцы, болгары, венгры, грузины и др.»

Полный интернационализм! Никакой «диктатуры госязыка»! В том же номере «Известий» (8 июля 1927 г.) напечатано постановление Украинского правительства о равноправии языков и о содействии развитию украинской культуры:

«Каждый гражданин имеет право в сношениях с государственными органами пользоваться родным языком, причем государственные органы обязаны по желанию каждого гражданина

проводить сношения с ним на его родном языке. Всем гражданам предоставлено право свободно пользоваться родным языком во всех публичных выступлениях и в общественной жизни».

Как разъяснял тогдашний секретарь ЦК КП(б)У В. П. Затонский, «на Украине нет обязательного для всех государственного языка». Но, как говорит официальная формулировка, В. П. Затонский (кстати сказать, человек весьма образованный: он родился в бедной семье сельского писаря, но еще в 1912 году окончил Киевский университет и потом преподавал физику в Киевском политехническом институте), — В. П. Затонский «пал жертвой клеветы и репрессий в период культа личности Сталина». В июле 1938 года, когда он, может быть, еще сидел в тюрьме (дата его смерти — 1940 г.), в «Правде» появилась передовая статья под заглавием: «Русский язык — достояние советских народов», и в ней были строки, как бы отвечавшие на высказывания В. П. Затонского:

«Враги советского народа, буржуазно-националистические агенты фашизма стремились всеми средствами помешать изучению русского языка в национальных республиках. Буржуазные националисты в союзе с троцкистско-бухаринскими изменниками и шпионами пытались превратить великий Советский Союз в группу разобщенных, чуждых друг другу клеточек, чтобы таким путем разорвать связь между ними, обессилить их и выдать на разграбление иностранному империализму».

Двадцать лет спустя после революции, таким образом, оказалось, что есть-таки «госязык», — «госязык», являющийся достоянием всех народов, язык не «классовый», а «общенациональный». Теорию о «классовой природе языка» развивал акад. Н. Я. Марр, — и вот против этой теории и выступил Сталин в июне 1950 года.

«Верно ли, что язык есть надстройка над базисом? — спрашивал Сталин. — Нет, неверно. . . Верно ли, что язык был всегда и остается классовым, что общего и единого для общества, надклассового, общенародного языка не существует? Нет, неверно».

Госязык . . . В статье Сталина речь шла не просто о языке, а о госязыке, и шире — о роли государства при коммунизме. Если в 1930-х годах, в кровавый период ежовщины, усиление государственной власти, давление гигантского государственного аппарата оправдывалось «капиталистическим окружением», то после Второй мировой войны уже не могло быть такого оправдания. Вопрос об отмирании государства отодвигался в туманное будущее, когда коммунизм победит во всем мире, — когда не

только произойдет всемирная коммунистическая революция, но и будут окончательно закреплены ее результаты. Пока этого не будет, — говорил Сталин, — государственный аппарат должен крепнуть и крепнуть. Вместе с ним должна была усилиться и диктатура госязыка и, естественно, положение правящей касты.

Принято высмеивать «труд И. В. Сталина по вопросам языкознания» и объяснять появление этого «труда» простым «графоманством», желанием Сталина «совершить еще один научный подвиг, внести свой непомеркающий вклад в какую-нибудь еще из наук, кроме философских и исторических»; «языкознание же все-таки рядом с грамматикой, а грамматика по трудности всегда казалась Сталину рядом с математикой». В действительности, однако, этот «труд» (на первый взгляд, действительно комичный) был частью большого имперского плана, в который входили и борьба с «безродным космополитизмом», и идея «Великой Руси», «Великого Русского Человека» (именно так — заглавными!).

24 мая 1945 года, на приеме в Кремле в честь победы над Германией, Сталин провозгласил тост за русский народ, «потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза», «потому что он заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны».

В «Правде» 7 июля 1945 года было напечатано стихотворение Александра Яшина «Русский человек»:

Влюбленный в землю, в полноводье рек,
В леса родные, в голубые своды,
Стоит Великий Русский Человек
На страже мира, света и свободы.

Все грозы перенес — и одолел,
Степные пустыри преображая,
Тьму половецких оперенных стрел,
Мечи тевтонов и мечи Мамая.

И шведские кичливые полки,
И пестрые полки Наполеона . . .
До неба вскинув острые древки,
Он шел в штыки и вражьи брал знамена.

Кампания против «безродного космополитизма» и «низкопоклонства перед иностранщиной» сопровождалась кампанией за

утверждение «самобытности Руси». Под Смоленском в кургане был найден горшок с надписью, и акад. М. Тихомиров, описывая этот горшок, говорил: «Теперь уже можно вполне определенно сказать, что грамотность на Руси восходит к начальным десятилетиям X века, причем грамотность была славянской, а не какой-либо иной. Гнездовская надпись начисто разбивает бредни и выдумки лженаучной теории 'норманистов' о создании русского государства с центром в Киеве не славянами, а пришлыми варягами». В большой статье о книге С. П. Толстова «Из предистории Руси. (Палеонтологические этюды)», «Литературная газета» 10 марта 1948 года выступила против ученого, который, вслед за В. Стасовым и Вс. Миллером, писал о влиянии восточного эпоса на русский былинный эпос: «Псевдонаучные, реакционные измышления С. П. Толстова оскорбительно лишают русский народ национальной самобытности и творческой оригинальности».

Неудивительно, что «Великого Русского Человека» стали изображать самым умным, самым изобретательным человеком на свете:

== Кто совершил первый полет на воздушном шаре? Братья Монгольфье в 1783 году? Нет, рязанский подьячий Крякутный в 1731 году («Лит. газета», 1 октября 1941 года).

== Кто первый создал аэроплан? Братья Райт? Нет, отставной капитан 1 ранга А. Ф. Можайский, за 21 год до братьев Райт («Лит. газета», 17 июля 1948 года).

== В области электричества, — писала «Лит. газета» 19 марта 1949 года, — «плеяда гениальных русских электротехников — В. В. Петров, Б. С. Якоби, Ленц, Яблочков, Лодыгин, Усагин и др. первыми открыли миру вольтову дугу, явления гальванопластики, создали телеграф, установили ряд законов классической электротехники, дали человечеству 'русский свет' (свечу Яблочкова), первую в мире электрическую лампу накаливания».

== Радио открыто А. С. Поповым.

== «Создателем современной органической химии является А. М. Бутлеров».

== Основы эпидемиологии заложил Д. С. Самойлович.

== «Знаменитая структурная формула плоских механизмов только по недоразумению носит название формулы Грюблера, — на самом деле ее вывел П. Л. Чебышев».

== Кто первый в мире применил микроскоп для исследования структуры стали? Англичанин Сорби? Нет, П. П. Аносов («Лит. газета», 1949 г., № 62).

= = Кто открыл способ обработки брони прокаткой? Англичанин Джон Браун? Нет, Василий Пятов («Лит. газета», 25 февраля 1950 года).

= = Кто изобрел фотонаборную машину — последнее слово техники в типографском деле? Хэнтер и Угер в 1923 году? Нет, первая фотонаборная машина была построена В. А. Гассиевым в 1897 году («Лит. газета», 8 апреля 1950 года).

= = Где был построен первый теплоход в мире? В России — «Вандал» — в 1903 году («Лит. газета», 3 октября 1950 года).

В «Правде» 3 ноября 1945 года появился очерк С. Крушинского «День советского человека»:

«Вот осветились красное знамя и трехгранный штык на фортах Порт-Артура, и ветер пошевелил двухцветную гвардейскую ленту на спине моряка. Сигнал корабельной сирены прозвучал в бухте и отозвался за сопками».

Так день начинался, а так заканчивался:

«День на исходе. В Саксонской Швейцарии и на полях Тюрингии, в Берлине у развалин рейхстага, на мостах через Мульду и Эльбу ждут смены наши часовые. . . Спустилось солнце. Сгустились сумерки, и русский горнист на Шпрее играет отбой. В это время другой горнист — быть может, его брат — на берегу далекой Сунгари уже берет трубу, чтобы проиграть зорю».

Великая держава, над которой, как в былое время над Британской империей, никогда не заходит солнце . . . В 1950 году исполнилось уже пять лет этой империи. Именно под таким заглавием — «Пять лет советской империи» — в 1950 году известный зарубежный публицист Давид Далин опубликовал статью в «Новом журнале», в которой приводились такие цифры: «В оккупированных странах размещены тысячи военных и штатских советских работников. Сотни директоров, служащих и инженеров работают в 'смешанных обществах'. Сонмы 'советников' не только советуют, но и приказывают на всем пространстве от Софии до Шанхая. Вероятно, не меньше 100 000 человек находится на этой иностранной службе. Они живут в привилегированных условиях; удобства предоставлены им такие, каких они не знали на родине. Жалованье их часто оплачивается страной-спутником; ставки среднего инженера превосходят жалованья местных генералов и министров. В дополнение к денежной ставке им предоставляются виллы, телефон, радио, освещение, отопление, автомобили и прислуга».

Что касается русского языка, то «госязык» уже распространяется не только на союзные республики, но и на страны восточной Европы. 1 января 1949 года Д. Заславский писал в «Литературной газете» о том, как русский язык изучается в Венгрии и Румынии; газета «Культура и жизнь» посвятила этому вопросу страницу 21 июля 1949 года. Всей этой имперской панораме придала особенное освещение статья Сталина «Относительно марксизма в языкознании», которую, как и всю дискуссию «о некоторых вопросах советского языкознания», следует считать наиболее характерным событием 1950 года.

1951

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Наступил не только новый — 1951 — год. Наступила вторая половина двадцатого века. В новогоднем номере «Правды» — 1 января 1951 года — Константин Федин писал:

«У порога второй половины века мир неузнаваемо преобразил свое лицо. Люди вступили действительно в новую, действительно небывалую эру своего стремительного и неудержимого развития. . . . Никогда не раскрывалось человеку столь много тайн природы, и никогда он столь быстро и могущественно не овладевал ими, как это происходило на протяжении первой половины двадцатого века. Словно накапливая силы целыми веками, история вдруг сделала фантастический скачок вперед».

Несомненным фактом в истории был скачок в области науки и техники, — мир вступил в атомную эру. Но если вдумчиво читать новогоднюю статью Константина Фебина, то нельзя было не задаться вопросом: при небывалом научно-техническом прогрессе, нет ли отставания политического?

Во вторую половину двадцатого столетия человек вступал как хозяин природы, владеющий ее тайнами, но . . . был ли он хозяином в своем обществе, в своем доме, в России? Достаточно взглянуть на тот же новогодний номер «Правды», чтобы убедиться, что люди, как это ни странно, как это ни прискорбно признать, отступились от своего права на управление своим обществом, своей страной. Был только один человек, которого тогда так и звали — «Хозяин». На первой странице новогоднего номера «Правды» поэты и писатели провозглашали:

«Наступает вторая половина века — века Ленина, века Сталина» (Михаил Шолохов).

Светят звезды древнего Кремля.
С нами Сталин — коммунизма знамя.
(Алексей Сурков)

Нам звезды победные светят
В просторах советской земли.
Мы с именем Сталина в сердце
Полвека черту перешли.
(Петрусь Бровка)

Так начался 1951 год. Еще в тридцать пятом году, возвращаясь из Кремля, с совещания стахановцев, оглушенный криками «Сталину Слава!», «Великому Сталину ура!», Илья Эренбург думал про себя: «Мы говорим о новой культуре, а смахиваем на шамана, которого я видел в Горной Шории». В пятьдесят первом году шаманства стало еще больше.

Научно-технический прогресс и политическое шаманство... Таковы были факты истории 1951 года. В первый же день того года новая страшная беда вырисовалась на горизонте: 1 января 1951 года войска Мао Цзэ-дуна, при поддержке Сталина, перешли в большое наступление против войск ООН в Корее. Мир стоял на грани новой мировой войны. В мировых столицах в тот год стоял один вопрос: ограничится Сталин в 1951 году войной в Азии, или двинется еще и на Европу? Политический редактор газеты «Нью-Йорк Таймс» Джемс Рестон телеграфировал 5 января 1951 года из Вашингтона:

«Здесь имеются высокопоставленные лица, которые полагают, что Советский Союз предпримет поход на Западную Европу еще в этом году. Никто не знает планов советского правительства».

Не знали их американцы, не знали их и граждане СССР! «Хозяин» им ни в чем не давал отчета. В народе он видел только «контингент рабочей силы», — к пятьдесят первому году огромное количество рабочей силы было загнано в лагерь. Важным фактом 1951 года было то, что вопрос о лагерях, о принудительном труде в Советском Союзе привлек внимание всего мира.

В Париже в январе 1951 года закончился процесс Давида Руссэ и коммунистического еженедельника «Леттр Франсэз». Давид Руссэ написал несколько статей о лагерях в Советском Союзе. Коммунистический еженедельник выступил с опровержением, что, дескать, никаких лагерей в Советском Союзе нет и назвал Давида Руссэ клеветником. Давид Руссэ подал в суд, выставил множество свидетелей, побывавших в сталинских лагерях, — суд признал его правоту и приговорил «Леттр Франсэз» к штрафу.

В мае—июне 1951 года в Брюсселе состоялся показательный процесс над правительством СССР, организованный Междуна-

родным комитетом борьбы против лагерей принудительного труда.

В сентябре 1951 года, на заседании в Организации Объединенных Наций, делегату СССР Андрею Громыко была вручена карта Советского Союза, на которой были показаны места расположения лагерей.

В октябре 1951 года ООН объявила, что создан комитет по расследованию вопроса о принудительном труде, — в комитет вошли представители Индии, Норвегии, Мексики.

Надо помнить, что в разоблачении сталинской каторжной системы немалую роль сыграла русская политическая эмиграция. Так, например, при обсуждении вопроса о сталинских лагерях в Организации Объединенных Наций делегаты пользовались документальной книгой Давида Далина и Бориса Николаевского «Принудительный труд в Советском Союзе».

8 июля 1951 года в газете «Нью-Йорк Таймс» было опубликовано открытое письмо представителей русской политической эмиграции на тему: «Политика Кремля — не национальная политика России». В письме говорилось:

«Большевистская диктатура, по ряду исторических обстоятельств, оказалась способной удержаться у власти в течение трети века. В результате своей внутренней эволюции, своей идеологии и всего своего политического существа, она создала государство совершенно нового типа, в истории еще никогда небывалого. Это — государство—партия, государство, в котором всё, — не только земля, недра, фабрики, дома, транспорт, но и самый народ, — всё является безраздельной собственностью диктаторской партии. Народ — орудие в руках партии Сталина. Эта партия, правящая методами неслыханного террора и насилия над народом, лишенным всякой свободы и всех возможностей сопротивления, — эта партия ни по своим собственным воззрениям, ни объективно не является национальным правительством России. Она интернациональна по самой своей сути. Ее цели определяются не интересами страны и народа, которыми она правит, и даже не только заботой о своем самосохранении, а стремлением к безграничному расширению территории своего государства, в конечном счете, к господству над всем земным шаром. . . . Антинациональная и антинародная диктатура Сталина никогда не отказывалась прибегать к самой грубой пропаганде русского патриотизма, когда ей было это полезно. Так она поступила в самый критический период второй мировой войны, когда она лицемерно отказалась от интернационализма, от пропаганды коммунизма, и всю свою пропаганду сосредоточила на разжигании

патриотических и национальных инстинктов. . . . Но не в интересах российского государства, а в интересах международного коммунизма».

В числе подписавшихся под этим письмом были А. Ф. Керенский, Б. И. Николаевский, В. М. Зензинов, профессора-историки М. М. Карпович и Г. П. Федотов.

Мир стоял на грани новой мировой войны. И когда 1951 год закончился, он получил в международной печати такое определение: The year of World War 2.5 — Год мировой войны № 2,5.

1952

ГЕРОНТОКРАТИЯ

В начале 1952 года международную печать облетело такое сообщение из Москвы: после долгого перерыва, вышла в свет новая телефонная книга. Казалось бы, что тут такого! Во всех мировых городах телефонные книги выпускаются ежегодно, и они всем доступны. Между тем, московская телефонная книга, вышедшая после долгого перерыва, для многих оставалась по-прежнему «книгой за семью печатями». В этом маленьком факте отразилась большая картина — огромной страны, окутанной покровом таинственности, засекреченности.

Иностранцы при этом сообщали, что, перелистывая московскую телефонную книгу, они нашли абонента с фамилией «Сталин» — П. М. Сталин, проживающий в доме № 4 по Большой Девятинской улице, № телефона — Дзержинская 2 — 1298.

Но мир интересовался, разумеется, не этим Сталиным, а тем, что жил за стенами Кремля. К тому Сталину было не дозвониться, — даже родная дочь не всегда могла связаться с ним по телефону. «Система была сложной, — вспоминает она. — Надо было сперва звонить к ответственному дежурному из охраны, который говорил 'есть движение' или 'движения пока нет', что означало, что отец спит или читает в комнате, а не передвигается по дому. Когда 'не было движения', то и звонить не следовало; а отец мог спать среди дня в любое время, — режим его был весь перевернут».

Тому Сталину, которого на правительственных верхах звали просто «Хозяином», в 1952 году исполнилось 73 года, и весь мир задавался вопросами: здоров ли Сталин? Что будет после Сталина? Югославский коммунист Милован Джилас ужинал у Сталина в 1948 году и еще тогда заметил, что Сталин сильно сдал после войны, постарел. Но в марте 1952 года Сталин появился в форме генералиссимуса на сессии Верховного Совета РСФСР, — шел он крепкой походкой здорового человека. В тот год он еще два-

ды появлялся на мавзолее, был и на июльском авиационном параде. Но все же вопрос «что будет после Сталина» был у всех на уме.

8 января 1952 года газеты в Москве вышли с портретами Георгия Маленкова на первых страницах: отмечалось 50-летие со дня рождения этого, как говорилось в приветствии ЦК ВКП(б), «верного ученика Ленина и соратника товарища Сталина, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства». Все меньше и меньше оставалось на сцене тех, кого называли «большевиками-ленинцами», — на первый план выдвигались «большевики-сталинцы», как Маленков. «Вы, теоретики марксизма, — говорил он однажды студентам Института красной профессуры, — хвалитесь своим знанием марксизма. Но я не читал всего Ленина, из Маркса и Энгельса читал лишь 'Коммунистический манифест', зато я читал полностью Сталина и марксизм знаю не хуже вас, макулатурных теоретиков». *

В 1952 году все сходились на том, что наследником Сталина будет не кто иной, как Маленков. Жданов умер в августе 1948 года, — еще не старым человеком, в 52-летнем возрасте. Молотову было уже 62 года, и главное, после того, как в 1949 году арестовали и сослали в лагеря его жену, он был фактически отстранен от дел. В ту пору во внешнем мире никто не знал, что внутри Политбюро Маленкова называли презрительной кличкой «Маланья» — из-за его круглого, женоподобного лица, да и по созвучию с фамилией. И когда в московских газетах появилось сообщение, что 5 октября 1952 года состоится очередной XIX съезд ВКП(б), и что с отчетным докладом ЦК ВКП(б) выступит не Сталин, как он это делал на предыдущих съездах, а Маленков, то в мире и укрепилось мнение, что «Хозяин» уже приготовил себе смену. На обложке американского журнала «Тайм» был изображен Сталин, держащий на коленях Маленкова, как если бы то была кукла на коленях чревовещателя.

XVIII съезд ВКП(б) состоялся в 1939 году. После войны созыв съезда с года на год откладывали, — получился перерыв между съездами в тринадцать с лишним лет. Каково было положение партии в 1952 году, к моменту созыва XIX съезда?

В партии шла перманентная чистка. В тот год, в апреле, она разгорелась в Грузии. На пленуме ЦК Компартии Грузии присутствовал Лаврентий Берия, прибывший из Москвы. Кандид

* Эти слова Г. Маленкова приводит в своей книге «Технология власти» Абдурахман Авторханов, учившийся в Институте красной профессуры.

Чарквиани, занимавший пост секретаря с 1938 года, т. е. с того времени, как Берия был переведен в Москву, — Кандид Чарквиани был снят с поста, как был снят и председатель Совета министров Грузии Чхубианишвили. Полетело немало других голов: Гогуа, Шадури, Размадзе . . . — этот последний, заметим, был заместителем председателя Комитета госбезопасности.

Что означал этот разгром? Был ли он отражением борьбы за власть, которая шла на московских верхах в последний год жизни Сталина? Над страной, в том числе и над партией, нависали тяжелые тучи. 12 августа 1952 года, как раз в те дни, когда члены ЦК ВКП(б) съезжались в Москву на предсъездовский пленум, были расстреляны 24 человека, об аресте и суде над которыми не писали газеты, — все они были евреи, в большинстве известные писатели.

В мире 1952 год был годом больших политических перемен. В Индии в тот год впервые собрался парламент, избранный всеобщим голосованием. В Египте король Фарук отрекся от престола и была провозглашена республика. В Америке после двух десятилетий правления Демократической партии на выборах победила Республиканская партия, — она выступала под лозунгом «Пришла пора перемены». Но не было политических перемен в той стране, которая в них больше всего нуждалась, — в Советском Союзе.

Откуда могли прийти перемены?

Могли ли они прийти из недр самой партии?

Партия численно выросла. Если в марте 1939 года, в дни XVIII съезда, т. е. тотчас же после ежовщины, партия насчитывала 2 477 666 членов и кандидатов, то в сентябре 1947 года, в докладе Коминформу, Маленков дал цифру — 6 300 000. Партия выросла больше, чем вдвое. Кто были эти новые люди, пришедшие в партию? Ветераны войны! То были люди, обогащенные новым опытом, порой имевшие свой взгляд на будущее России. Казалось бы, они и после войны могли бы многое сделать для родины?

Многие, в том числе пишущий эти строки, возлагали надежды на «людей огня», на тех, кто «хватанул войны с жарком и с ледком». В книге «Двадцать писем к другу», написанной еще в Москве, Светлана Аллилуева так выражала эти надежды: «Те, кто лет на пять-шесть постарше меня — вот самый чудесный народ; это те, кто из студенческих аудиторий ушел на Отечественную войну с горячей головой, с пылающим сердцем. Мало кто уцелел и возвратился, но те, кто возвратился, — это и есть самый цвет современности. Это наши будущие декабристы, — они

еще научат нас всех, как надо жить. Они еще скажут свое слово, — я уверена в этом, — Россия так жаждет умного слова, так истосковалась по нему, — по слову и делу».

Более трезвый взгляд был у Александра Солженицына. «Вернувшись с войны, — читаем мы в романе 'В круге первом', — Щагов, как и многие фронтовики, был поражен. Они вернулись на короткое время лучшими, чем уходили, вернулись очищенными близостью смерти, и тем разительней была для них перемена на родине — перемена, назревшая и выросшая в далеких тылах, какое-то взаимное ожесточение, часто совершенная бессовестность, пропасть между хилой нищетой и нахально жиреющим богатством. Черт возьми! И ведь эти бывшие солдаты были все здесь — они шли по улицам и ехали в метро, но одетые кто во что, и уже не узнавали друг друга. И почему-то они признали высшим порядком не свой фронтовой, а — который застали здесь. Стоило взяться за голову и подумать. Однако Щагов не стал задавать вопросов. Он не был из тех неуёмных натур, кто постоянно тычется в поисках всеобщей справедливости. Он понял, что всё идет как идет, остановить этого нельзя — можно только вскочить или не вскочить на подножку».

Вот те ветераны войны, которыми пополнилась партия, и были вскочившими на подножку. Конечно, в 1952 году они еще не были ни кондукторами, на вагоновожатыми. Важным фактом 1952 года было то, что партия численно выросла, тогда как парт-аппарат постарел:

== На XVIII Всесоюзной партконференции (в феврале 1941 года) делегаты в возрасте до 35 лет составляли 36%, — на XIX съезде партии (в октябре 1952 года) эта возрастная группа составляла только 10%.

== Делегаты в возрасте от 36 до 40 лет составляли на XVIII партконференции 43%, а на XIX партсъезде только 18%.

== Делегатов от 41 до 50 лет на XVIII партконференции было 20%, а на XIX партсъезде — 61%.

== Делегатов старше 50 лет на XVIII партконференции было только 1,5%, а на XIX партсъезде — 15%.

Как видим, молодых членов партии на XIX съезде было намного меньше, чем на XVIII партконференции. Но зато сильно выросли группы старшего возраста. Партия помолодела, парт-аппарат постарел. В партию пришли люди, обогащенные опытом войны, но на правящей верхушке сидели те, кто выдвинулся в годы ежовщины. Порой приходилось слышать, что режим

в СССР — это «сатанократия», «идеократия». Но это прежде всего «геронтократия».

На тему о «геронтократии» в СССР есть любопытное замечание в «Книге о социалистической демократии» Роя Медведева: «Один из математиков взял на себя труд подсчитать, что средний возраст 195 членов ЦК КПСС составляет 61 год, а средний возраст членов и кандидатов в члены Политбюро и секретарей ЦК, примерно, 60 лет. 'К чему приводит, — пишет автор этой статистики, — высокий средний возраст руководства? Пожилые люди, как правило, с трудом меняют свой стиль работы, к которому они с молодости привыкли, у них неизбежен некий консерватизм мышления. Как говорят, жизнь прожить, что улицу перейти: первую половинумотришь налево, вторую половину — направо. Кроме того, управление страной, особенно такой большой страной, как СССР, и при том высоком уровне централизации, который у нас есть, да еще в сложной международной обстановке требует отличного здоровья, выдержки, силы воли, способности быстро принимать решения, т. е. качеств, которые с возрастом ухудшаются... Почему же так высок средний возраст партруководства? Главной причиной является то, что путь наверх идет обычно в рамках бюрократической системы партаппарата, которая, как правило, исключает быстрое продвижение по служебной лестнице. Это связано прежде всего с отсутствием четких критериев эффективности партработы и с тем, что бюрократическая система не любит ярких, смелых людей, способных расшатать саму систему. Кроме того, создалась традиция небольшого обновления руководства при каждых выборах'».

Быть может, ЦК ВКП(б) потому так и медлил с созывом XIX съезда, что видел для себя опасность в массе новых членов, вступивших в партию в годы войны. Партия была порабощена партаппаратом. Прежде власть и могущество Центрального комитета в какой-то мере, пусть небольшой, ограничивались тем, что между партсъездами созывались всесоюзные партконференции, — на XIX съезде созыв партконференций был упразднен. Были ликвидированы последние остатки внутривнутрипартийной демократии. Не только жизнь партии, но жизнь всего государства была подчинена партаппарату: господство партии над государством было закреплено решениями XIX съезда КПСС в октябре 1952 года.

1953

В ТЕМНОЙ БЕЗДНЕ ЛЖИ, ЗЛОБЫ И ГОРДЫНИ

18 февраля 1953 года московские газеты сообщили, что накануне председатель Совета министров СССР И. В. Сталин принял посла Индии Кумару Менона. Таким образом, Кумара Менон видел Сталина за пятнадцать дней до его смерти. Впоследствии, выступая по американскому телевидению, Менон так рассказывал об этой встрече:

«... И затем Сталин сказал одну вещь, которая врезалась мне в память:

— Господин Посол, — сказал он, — наш крестьянин — простой человек, но мудрый. Когда он видит волка, он в него стреляет. Он не читает наставлений волку, — он в него стреляет! Волк это знает и ведет себя подобающим образом.

Тут я взглянул на лист бумаги, лежавший перед Сталиным, — он рисовал, разговаривая со мною. И я увидел, что он рисовал волков. Волки в разных видах... Один волк стоит на задних лапах. Другой гонится за другим волком. Весь лист был изрисован волками».

Волки, волки... Когда видишь волка, стреляй! Не читай наставлений волку, — стреляй! Вот что было у Сталина на уме... Месяц до того, 13 января 1953 года, в «Правде» появилась статья «Шпионы-убийцы под маской профессоров-врачей». НКВД сообщало, что арестованы профессора М. С. Вовси, В. Н. Виноградов, Б. Г. Егоров, А. Фельдман, Я. Этингер, А. Гринштейн, Г. Майоров, М. Коган, Б. Клин. «Жертвами этой банды человекоподобных зверей пали товарищи Жданов и Щербаков», — писала «Правда», добавляя, что арестованные профессора-врачи «пытались вывести из строя маршалов Василевского, Говорова, Конева».

Кто дал им такое задание? «Известный еврейский буржуазный националист Михоэлс...» Представьте, тот самый Соломон Михоэлс, народный артист СССР, выступавший на сцене в ролях Короля Лира и Тевье-Молочника!.. Волки, волки... Игнатъев,

министр государственной безопасности, спрашивал, как вести следствие по делу врачей-вредителей, какие методы применять на допросе. Что значит, «какие методы»?! Когда видишь волка, стреляй! «Если ты не добьешься признания врачей, — сказал Игнатьеву Сталин, — мы тебя укоротим на голову». Некоторое время спустя в заметке «Хроника» на последней странице газет было сообщено, что все обвиняемые признались в своих преступлениях.

Множество всяких слухов носилось в те дни по Москве. «В трамваях, на базарах, в учреждениях рассказывали, что в Москве закрыто несколько аптек, в которых аптекари-евреи — агенты Америки — продавали пилюли с высушенными вшами; рассказывали, что в родильных домах заражают новорожденных и рожениц сифилисом, а в зубокабинетах амбулаторий прививают больным рак челюсти и языка. Рассказывали о спичечных коробках со смертельно ядовитыми спичками. Некоторые люди вспоминали обстоятельства смерти давно умерших родственников, писали заявления в органы безопасности с требованием расследований и привлечения к ответственности евреев-врачей. . . . Всем этим слухам верили не только дворники, полуграмотные и полупьяные грузчики и шоферы, но и некоторые доктора наук, писатели, инженеры, студенты». И еще «рассказывали, что врачей казнят всенародно на Красной площади, после чего по стране прокатится волна еврейских погромов, и что к этому времени приурочивается высылка евреев в тайгу и в Каракумы на строительство Туркменского канала». Будто бы сами евреи будут просить о высылке, чтобы спасти их от «справедливого, но беспощадного народного гнева», — такое обращение к правительству будто бы уже было написано известным историком академиком Исааком Израилевичем Минцем, были на нем, по слухам, и другие подписи. «В этой высылке, — говорили, — скажется вечно живой дух интернационализма, который, понимая гнев народа, все же не может допустить массовых самосудов и расправ».*

Но разве только под маской врачей укрываются волки? Ворошилов, к примеру. . . разве не волк? На XX съезде КПСС, в 1956 году, Н. С. Хрущев рассказывал: «Вследствие необычайной подозрительности Сталина, у него явилась мысль, что Ворошилов был английским шпионом. Да, английским! В доме Ворошилова была сделана специальная установка, позволявшая подслу-

* Вас. Гроссман, «Все течет . . .», издательство «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1970 г., стр. 21—25.

шивать все, что там говорилось. Если бы Сталин оставался у руля еще несколько месяцев, товарищи Молотов и Микоян, вероятно, не могли бы выступить с речами на теперешнем съезде. Сталин намеревался покончить со всеми старыми членами Политбюро. О создавшемся тогда положении я часто беседовал с Николаем Александровичем Булганиным. Однажды, когда мы ехали в машине, он сказал: 'Порой идешь к Сталину по его приглашению, как друг, а разговариваешь с ним и не знаешь, куда попадешь после этого разговора — домой или в тюрьму'».

И вдруг 5 марта 1953 года Сталин умер. Ему было 73 года. «По кавказским понятиям, это еще джигит», и некоторые (например, Александр Солженицын, «Архипелаг ГУЛаг», т. I, стр. 103) полагают, что он умер не своей смертью. Как он умирал на даче в Кунцево, описано в книге Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу»:

«Отец умирал страшно и трудно. . . Кровоизлияние в мозг распространяется постепенно на все центры, и при здоровом и сильном сердце оно медленно захватывает центры дыхания и человек умирает от удушья. Дыхание все учащалось и учащалось. Последние двенадцать часов уже было ясно, что кислородное голодание увеличивалось. Лицо потемнело и изменилось, постепенно его черты становились неузнаваемыми, губы почернели. Последние час или два человек просто медленно задыхался. Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент — не знаю, так ли на самом деле, но так казалось — очевидно в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут, — это было непонятно и страшно, я до сих пор не понимаю, но не могу забыть, — тут он поднял вдруг кверху левую руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то вверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно к кому и к чему он относился. . . В следующий момент, душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела».

Как же отозвалась страна на смерть Сталина? Мы, жители русского зарубежья, можем полагаться лишь на свидетельства, доходящие из России. Вот Вас. Гроссман пишет в книге «Все течет . . .»:

«Сталин умер беспланово, без указания директивных органов. Сталин умер без личного указания самого товарища Сталина. В этой свободе, своенравии смерти было нечто динамичное,

противоречащее самой сокровенной сути государства. Смятение охватило умы и сердца. Сталин умер! Одних объяло чувство горя, — в некоторых школах педагоги заставляли школьников становиться на колени и, сами стоя на коленях, обливаясь слезами, зачитывали правительственное сообщение о кончине вождя. На траурных собраниях в учреждениях и на заводах многих охватывало истерическое состояние, слышались безумные женские выкрики, рыдания, некоторые падали в обморок. Умер великий бог, идол двадцатого века, и женщины рыдали... Других объяло чувство счастья. Деревня, изнывавшая под чугунной тяжестью сталинской руки, вздохнула с облегчением. Ликование охватило многомиллионное население лагерей. ... Немало было ученых людей и рабочих людей, соединивших при этом известии горе и желание плясать от счастья».

Вот поэт Евгений Евтушенко рассказывает в своей автобиографии, первоначально опубликованной в парижском журнале «Экспресс», а потом вышедшей на русском языке отдельной книгой в Лондоне:

«5 марта 1953 года произошло событие, которое потрясло Россию — умер Сталин. Представить его мертвым было для меня почти невозможно — настолько он мне казался неотъемлемой частью жизни. Было какое-то всеобщее оцепенение. Люди были приучены к тому, что Сталин думает о них о всех, и растерялись, оставшись без него. Вся Россия плакала, и я тоже. Это были искренние слезы горя и, может быть, слезы страха за будущее». *

Как мы уже видели, в январе 1928 года, во время поездки в Сибирь, Сталин действовал уже как самодержец, единоличный правитель партии и страны. Таким образом, полную четверть века, а то и больше, Сталин властвовал над великой державой. Более того, чуть ли не четверть века прошла со дня смерти Сталина, но его тень еще не отошла от России. Как пишет тот же Евгений Евтушенко:

Он был дальновиден.

В законах борьбы умудрен.

Наследников многих на шаре земном он оставил.

Мне чудится,

будто поставлен в гробу телефон, —

Энверу Ходжа

сообщает свои указания Сталин.

Куда еще тянется провод из гроба того?

Нет, — Сталин не сдался.

* Евгению Евтушенко тогда было 20 лет.

Считает он смерть —
поправимостью.

Мы вынесли
из мавзолея
его.

Но как из наследников Сталина
Сталина вынести?

Известно, что в начале семидесятых годов в Германии вдруг одна за другой появилось много книг о Гитлере, в Италии — кинофильмов о фашизме, во Франции — книг и кинофильмов о «коллораборационизме». Европа тем самым «экзорцирует» себя, изгоняет из себя «седем бесов», — а Россия молчит о Сталине! Правда, что в последнее десятилетие мир услышал такие русские голоса, как Александра Солженицына, Роя Медведева, Светланы Аллилуевой, Надежды Мандельштам, Василия Гроссмана, Владимира Максимова, Григория Померанца, Петра Григоренко, Никиты Хрущева, Евгения Евтушенко, говорящих о Сталине в своих книгах и статьях, но голоса эти слышны, главным образом, внешнему миру, не проникают в глухие углы России. Не доходят до широкого русского читателя и труды иностранных историков, таких, например, как Роберт Такер, выпустивший в Америке в 1973 году первый том своей трехтомной биографии Сталина.

Несколько лет назад в Лондоне вышла книга профессора-врача Хью Летанга — «Патология руководства». В ней говорится о патологических явлениях, которые врачам доводилось наблюдать у некоторых государственных деятелей. Проф. Летанг говорит и о Сталине. По его мнению, желтизна лица у Сталина, а также красные пятна, появлявшиеся на щеках, могли быть симптомами микседемы. Как можно прочитать в медицинской энциклопедии, «микседема — это заболевание, обусловленное отсутствием или резкой недостаточностью функций щитовидной железы. Микседема чаще всего бывает врожденной (вследствие внутриутробной инфекции, например, сифилиса, или полного отсутствия железа как неправильности развития плода), а реже — приобретенной в результате острого или хронического воспаления щитовидной железы». По мнению проф. Летанга, именно микседема могла вызывать у Сталина подозрительность, мани преследования.

Многие задавались вопросом: не был ли Сталин душевнобольным? Когда Сталин умер, на эту тему разгорелась полемика в русской зарубежной печати. Известный публицист Е. Юрьевский напечатал несколько статей под общим заглавием — «Сталин

был сумасшедшим». Ему ответил проф. Н. С. Тимашев статьей «Сталин не был сумасшедшим». Впоследствии о здоровье Сталина писала его дочь: «Его здоровье было в общем крепким, — свидетельствовала она. — В 73 года сильный склероз и повышенное кровяное давление вызвали удар, но сердце, легкие, печень были в отличном состоянии». Не только сумасшедшим, но даже и «неврастеником его никак нельзя было назвать; скорее ему был свойствен сильный самоконтроль». Если бы Сталин страдал, скажем, микседемой, или был душевнобольным, то это в какой-то мере снимало бы с него вину за те страшные преступления, которые он совершил и которые были при нем совершены, — получалось бы так, что виноват не Сталин, а микседема или душевная болезнь. В свое время В. О. Ключевский говорил, что жизнь Ивана Грозного могла бы послужить материалом для психиатра, но, — добавлял он, — «так легко нравственную распущенность принять за душевную болезнь и под этим предлогом освободить память мнимого больного от исторической ответственности».

Нет, конечно же, Сталин не может уйти от исторической ответственности! И для того, чтобы «экзорцировать» Россию, очистить ее от «бесовства», мы должны всмотреться в эту мрачную историческую фигуру.

Нравственная распущенность... Нравственный вывих... Но как он произошел у Сталина? И в чем именно он выражался? Если мы всмотримся в детство Сталина, то увидим, что он был талантливым мальчиком, любил читать, писал стихи. Правда, он был не в меру дерзок, до чрезвычайности обидчив, не терпел шуток, чуть что лез драться и пакостил, проявлял мстительность, но и это все могло свидетельствовать об одаренности натуры. Еще в Гори, в духовном училище, он прочитал повесть Александра Казбеги «Отцеубийца», книжную новинку того времени. Казбеги был писатель-романтик, и в повести «Отцеубийца» рассказал историю любви деревенского юноши, мужественного и благородного, к деревенской же девушке, прекрасной, любящей, верной. Юноша, бунтующий против беззакония чиновников, попадает в тюрьму, а девушка становится жертвой насилия. У них есть друг по имени Коба — он спасает девушку, вывозит из тюрьмы юношу, но так как при этом ему пришлось совершить убийство, он бежит в горы и живет наподобие грузинского Робин Гуда. Повесть произвела на юного Сосо такое впечатление, что в нем возгорелась мечта — быть таким, как Коба! Вот откуда и взялся его первый псевдоним, под которым он стал известен в

большевистском подполье. Но почему именно в большевистском подполье? Конечно же, потому, что большевизм отвечал психологической потребности юного Сталина! На мой взгляд, Роберт Такер нашел правильный ответ:

«Природный характер и первые культурные влияния сливались, подкрепляя друг друга, и находили выражение во взгляде юного Сталина на мир, в его подходе к людям. Одаренный, необычайно чувствительный мальчик, испытывавший несправедливость со стороны отца по отношению к нему самому и к его матери, вырос в жестокого, постоянно подозрительного и бдительного юношу, склонного идеализировать самого себя, видящего себя как мстителя, человека железной воли, способного бороться и побеждать. Жизнь в Грузии, полной царских чиновников, внушила ему, что мир разделен на два враждующих лагеря — мир друзей и мир врагов. В это миропонимание входили также и традиционный обычай кровной мести, и романтический образ Кобы. В семинарии Коба погрузился в марксистское революционное течение, — тут его в особенности привлекал тот идеологический символизм, согласно которому все человечество разделено на два гигантских воюющих класса, класс угнетенных и класс угнетателей. Безошибочно выбрал он ленинскую ориентацию, потому что ленинизм — это был гневный марксизм, полный проклятий, дававший образ классового врага, как чего-то бесконечно враждебного и несправимо злого».

Психологической потребности молодого Сталина отвечало и то, что большевистская партия, в отличие от других партий, имела вождя, за которым шли беспрекословно, в котором была сконцентрирована вся воля революционного движения. В речи на вечере кремлевских курсантов, в 1924 году, Сталин рассказывал, что еще до личного знакомства с Лениным, он представлял себе Ленина как «горного орла». Он преклонялся перед Лениным и лелеял мечту, что и сам станет «горным орлом», «вторым Лениным».

Жгучее желание стать «вторым Лениным» неминуемо должно было вызвать психологический конфликт у Сталина . . . вернее, Кобы, потому что псевдоним «Сталин» появился лишь в 1910 году. Если он надеялся когда-то стать «вторым Лениным», то должен был оторваться от природных корней, от «психологических причалов» Грузии, превратиться в «русского», и главное, самое главное — видеть «русским» самого себя.

В книге «Двадцать писем к другу» дочь Сталина рассказывает такой забавный случай: «Брат мой Василий как-то сказал

мне в те дни: 'А знаешь, наш отец раньше был грузином'. Мне было 6 лет, и я не знала, что это такое — быть грузином, и он пояснил: 'Они ходили в черкесках и резали всех кинжалами'. Вот и все, что мы знали о наших национальных корнях». Конечно, в характере Сталина было немало восточных черт: он любил, по кавказской манере, часами сидеть с гостями за столом, уставленным свежими овощами, фруктами и орехами, потягивая грузинское вино; как почти все горцы, Сталин не умел плавать; он был порывист в движениях, даже в старости. Восточный характер сказывался и в его отношении к женщине, к воспитанию дочери. Несмотря на все это, Сталин действительно только «раньше» был грузином. Его дочь говорит о нем: «Отец любил Россию очень сильно и глубоко, на всю жизнь. Я не знаю ни одного грузина, который настолько бы забыл свои национальные черты и настолько сильно полюбил все русское».

Будучи «профессиональным революционером», «большевиком-ленинцем», Сталин гордился своей принадлежностью к России. На VI съезде партии, в августе 1917 года, он говорил:

«Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму. До сих пор ни одна страна не пользовалась такой свободой, какая была в России, не пробовала осуществлять контроль рабочих над производством. Кроме того, база нашей революции шире, чем в Западной Европе, где пролетариат стоит лицом к лицу с буржуазией в полном одиночестве. У нас рабочих поддерживают беднейшие слои крестьянства. Наконец, в Германии аппарат государственной власти действует несравненно лучше, чем несовершенный аппарат нашей буржуазии, которая и сама является данницей европейского капитализма. Надо откинуть отжившее представление о том, что только Европа может указать нам путь».

Нетрудно заметить, что в этом выступлении Сталин противоречил Ленину, который именно с Германией связывал судьбы революции. Но для Сталина в этом не было никакого противоречия: несколько лет спустя, в апреле 1926 года, в письме членам Политбюро ЦК КП(б) Украины, Сталин писал о «русской культуре и ее высшем достижении — ленинизме».

«Ленину и другим русским революционерам его толка, — замечает Робет Такер, — никогда не пришлось бы в голову определять ленинизм как 'высшее достижение русской культуры'. Как теория и практика пролетарской революции и диктатуры, ленинизм для них (сам Ленин никогда не употреблял этого термина) был просто-напросто марксизмом в России, сверхнациональным

по своей сущности. Они отдавали себе отчет, что тут марксизм носил русский отпечаток, особенно в организационной практике, но в этом они не видели никакого достоинства, наоборот. Сталин отличался от них именно тем, что он гордился рускостью ленинизма, как какой-нибудь экстремист-француз мог бы гордиться французским характером якобинства. В том, что Россия на перекрестке истории встретила с ленинизмом, Сталин видел историческую славу России».

Психологический конфликт в жизни Сталина, искавшего свое психосоциальное лицо, разрешился тем, что он «переменял национальность», перешел к «руссоцентризму». 3 сентября 1945 года, в обращении к народу по случаю разгрома Японии, Сталин произнес поразительные слова: «Поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил». Это — слова глубоко русского человека.

И вместе с тем... и вместе с тем, никто, решительно никто и никогда не причинил России столько зла и горя, как Сталин! Если он «любил Россию», то почему же он ее терзал и мучил? Без сомнения, во-первых, потому, что он был марксист, большевик-ленинец, насквозь пропитанный идеологией ненависти. * «Кто не с нами, тот против нас» — это был принцип Ленина и это был принцип Сталина. Коммунистический тоталитарный режим был создан Лениным, и Анри Барбюс не был далек от истины, когда пустил в оборот хлесткую фразу: «Сталин — это Ленин сегодня». И именно для того, чтобы утвердить себя как «второго Ленина», Сталин совершил в 1929—1930 годах «третью революцию», произвел «великий перелом» в России. У Сталина, однако, был еще один, пожалуй, более глубокий источник ненависти, жестокости,

* В мае 1927 года в «Правде» был напечатан очерк М. Горького о старом большевике Михаиле Вилонове. Вилонов был знаком с Лениным, учился в Каприйской школе, — Горький там с ним и познакомился. «Меня особенно заинтересовали его слова о злости и ненависти, — писал Горький. — Он часто, в разных формах, повторял эти слова, и чувствовалось, что за ними скрыта основная его тема, вокруг которой вьются все мысли этого человека. Я чувствовал, что Вилонов — человек как-то своеобразно ненавидящий. Ненависть была как бы его органическим свойством, он был насквозь пропитан ею».

злости. Более глубокий потому, что он зародился возле корней, породивших Сталина.

«У него было уязвленное самолюбие бедняка, — пишет о своем отце Светлана Аллилуева, — и он увидел в революции возможность 'подняться со дна'». Подобно злокачественной опухоли, у Сталина с детства и ранней юности начала расти самоуверенность, гордость, превращавшие его в некую «демонскую твердыню». «Он достиг к своему шестидесятилетию всего, чего хотел когда-то бедный грузинский юноша: он один правил Россией, его знал весь мир. Правда, мать, дожившая до его славы, сказала ему перед смертью: — А жаль, что ты не стал священником! Ее мечта не осуществилась. Быть может, неграмотная старуха чувствовала, что сыну помогал всю жизнь не Бог, а кто-то совсем другой».*

«Демонская твердыня»... Отсюда странные психологические особенности природы Сталина. Например, «беспамятство» Сталина, так хорошо очерченное его дочерью: «Он был подвластен железной догматической логике: сказав А, надо сказать Б, В и все остальное. Согласившись однажды, что 'Н' — враг, уже дальше было необходимо признать, что так это и есть; дальше уже все 'факты' складывались сами собой только в подтверждение этого. Вернуться назад и снова поверить, что 'Н' не враг, а честный человек, было для него психологически невозможно. Прошлое исчезало для него — в этом и была вся неумолимость и вся жестокость его природы. . . . Памяти уже не было».

Эта психологическая особенность природы Сталина позволяет думать, что он тяготел к Небытию. Память имеет большое моральное и религиозное значение, она связана с развитием личности. «Беспамятный» Сталин, тяготевший к Небытию, был как бы «антиличностью». «Он был центром, — пишет Светлана, — вокруг которого был очерчен некий черный круг, в пределах которого всё погибало и разрушалось». Полностью отдав себя во власть некой безличной силе, Сталин разрушил не только миллионы и миллионы семей и жизней, но и свою собственную семью и самого себя.

Демонизм власти! Вот откуда нравственная распущенность Сталина. Вот из-за чего произошел в нем нравственный вывих. Его дочь, крестившаяся в 1962 году в маленькой церкви около Донского собора в Москве (у священника о. Николая Голубцова), на мой взгляд, глубоко поняла характер своего отца:

* Светлана Аллилуева, «Только один год», Нью-Йорк, 1969 г., стр. 315.

«Он был жертвой самого себя, той страшной внутренней потребности властвовать, с которой тираны рождаются. Она жгла его изнутри и толкала всю его жизнь в ложный трагический тупик, на долгом пути к которому он уничтожил все живое вокруг. Он пришел только к внутренней пустоте, не желая признаваться в этом ни себе, ни другим, и это был его собственный конец. . . . Вся жизнь моего отца возникла передо мною, как отречение от Разума и Добра во имя честолюбия, как полное отдание себя во власть зла. Ведь я видела, как зло разрушало день за днем его самого, убивало тех, кто стоял к нему близко. А он сам только глубже и глубже опускался в темную бездну лжи, злобы и гордыни. И в этой бездне он, в конце концов, задохнулся».

«МАЛЕНКОВ НАЖАЛ ПОТАЙНУЮ КНОПКУ...»

«Когда Сталин умер, он нам оставил в наследство страх и тревогу», — говорит Никита Хрущев в своих воспоминаниях.* В день похорон Сталина, 9 марта 1953 года, в числе наследников Сталина стоял на трибуне мавзолея Лаврентий Берия. Над Красной площадью разносились его слова:

«Великий Сталин воспитал и сплотил вокруг себя когорту испытанных в боях руководителей, овладевших ленинско-сталинским мастерством руководства».

Но эта «когорта» была охвачена страхом. Не только тревогой за партию и страну, но и страхом за свои «шкуры». Все наследники Сталина боялись друг друга. Берия, министр госбезопасности, как только Сталин испустил дух, выскочил из комнаты в коридор, и все услышали его громкий голос: «Хрусталеv! Машину!» Почему он так поспешно укатил в Москву? Никита Хрущев подошел к Маленкову:

— Егор, мне надо поговорить с тобой.

— О чем? — холодно спросил Маленков.

— Как о чем?! Умер Сталин... Надо поговорить, что делать дальше.

— Что же говорить? — сказал Маленков. — Вот соберемся все, тогда поговорим.

Было ясно, что Маленков с Берия уже все обговорили... Никита Хрущев был невысокого мнения о Маленкове. Ему вспомнилось, как Сталин сказал однажды, что «Маленков — хороший канцелярист, он может быстро сочинить резолюцию, исполнить поручение, но он не способен ни мыслить самостоятельно, ни проявлять инициативу». В этом была доля правды: когда Маленков в 1925 году, 23-летним молодым человеком, попал на работу в секретариат Сталина, он поразил «Хозяина» своей па-

* "Khrushchev Remembers. The Last Testament". Little, Brown and Company, Boston, 1974, p. 193.

мятливостью, способностью немедленно дать нужную справку, точностью, исполнительностью. У Маленкова была огромная картотека, в которой были отмечены тысячи и тысячи фактов и цифр, какие когда-нибудь могли понадобиться Сталину. Но эту свою «картотеку» Маленков превратил в оружие, опасное для всего партийного и государственного аппарата, — о каждом «номенклатурном работнике» он знал всю подноготную, и «великая чистка» 1936—1939 годов могла быть названа не только «ежовщиной», но и «маленковщиной». На протяжении многих лет считалось, что преемником Сталина будет Молотов, который был на 11 лет моложе Сталина. Берия в 1940-х годах был № 3 в кремлевской иерархии, а Маленков . . . № 2^{1/2}, где-то между Молотовым и Берией. В силу двух обстоятельств, однако, произошла перестановка, — этими обстоятельствами были война и борьба с «безродным космополитизмом». В первую половину 1940-х годов все силы и время Сталина были поглощены войной и внешней политикой, тогда как тыл, вся тыловая жизнь страны были в ведении Маленкова. Во вторую же половину 1940-х годов, когда Полина Жемчужина, жена Молотова, «безродная космополитка», к тому же имевшая брата-фабриканта в Америке, была сослана в лагеря, Молотов был фактически отстранен от дел и никак не мог быть преемником Сталина. Не приходилось удивляться, что осенью 1952 года не кому другому, как Маленкову, стареющий Сталин поручил выступить с многочасовым «Отчетным докладом ЦК ВКП(б)» на XIX съезде партии.

Не приходилось удивляться и тому, что 5 марта 1953 года, когда страна еще не знала о смерти Сталина, а наследники распределяли между собой «портфели», Берия выступил первым и предложил назначить Г. М. Маленкова на пост председателя Совета министров СССР. В свою очередь Маленков предложил назначить Берия первым заместителем председателя Совета министров СССР. Но это было еще не все: Маленков предложил также слить Министерство государственной безопасности и Министерство внутренних дел в одно министерство — МВД — и назначить министром Лаврентия Берия. Никита Хрущев молчал на этом заседании. Его беспокоило только то, как бы Булганин не выступил с какими-нибудь возражениями, — тогда дела Хрущева и Булганина были бы плохи. «Дела принимали плохой оборот», — меланхолически замечает в первом томе своих воспоминаний будущий «царь Никита».

Было чего бояться! «Наследство Сталина» попадало в руки двух человек, тесно связанных с системой чекизма. Даже и при Сталине ЧК порой брала верх над ЦК, «органы» порабощали

партию... — что же будет теперь? На одном из ближайших заседаний Президиума ЦК КПСС Берия предложил:

«У многих заключенных в тюрьмах и лагерях сроки подходят к концу. Должны ли эти преступники вернуться к прежнему месту жительства? Предлагаю принять резолюцию, что никто из бывших заключенных не может возвращаться без специального разрешения МВД. И — предоставить МВД право определять им место жительства».

Вопрос был «принципиальный», не касался лично никого из наследников Сталина, и потому тут можно было не молчать, а обсуждать, выдвигать свои доводы. Молотов, у которого жена хлебнула лагерной баланды, Ворошилов, которого зачислили было в «английские шпионы», да и другие члены Президиума, не могли не видеть, какую опасность представляет дальнейшее усиление «органов диктатуры». В этом вопросе даже и Маленков отказался поддержать своего друга, — Берия «взял назад» свое предложение. ... Так начался «заговор», который привел к тому, что 23 июня 1953 года, на заседании Совета министров СССР, Маленков трясущейся рукой нажал потайную кнопку и приказал вошедшим маршалам СССР, во главе с Г. К. Жуковым, «взять Берия под стражу до расследования выдвинутых против него обвинений».

По официальному сообщению, Берия был расстрелян 23 декабря 1953 года. Вместе с ним были расстреляны бывший министр Госбезопасности, а потом министр Госконтроля В. Меркулов, министр внутренних дел Грузии В. Деканозов (бывший посол в Германии), зам. министра Госбезопасности СССР В. Кобулов, крупный работник ГУЛага С. Гоглидзе, министр внутренних дел Украины П. Мешик, начальник Следственной части МВД по особо важным делам Л. Влодзимирский. Как говорилось в сообщении Верховного Суда СССР, эти шестеро, вместе с Берия, «ставили своей преступной целью использовать органы Министерства внутренних дел против Коммунистической партии и Правительства Советского Союза».

Так, расстрелами чекистов, закончился 1953 год, — и расстрелы продолжались на протяжении всего 1954 года. 23 июля 1954 года было опубликовано сообщение о расстреле М. Рюмина:

Судебным следствием установлено, что Рюмин в период его работы, в должности старшего следователя, а затем и начальником Следственной части по особо важным делам бывшего Министерства государственной безопасности, действуя как скрытый враг Советского государства, в карье-

ристских и авантюристических целях стал на путь фальсификации следственных материалов, на основании которых были созданы провокационные дела и произведены необоснованные аресты ряда советских граждан, в том числе видных деятелей медицины. . . . Учитывая особую опасность вредительской деятельности Рюмина и тяжесть последствий совершенных им преступлений, Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Рюмина к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор приведен в исполнение.

24 декабря 1954 года было опубликовано новое сообщение:

Военная коллегия Верховного Суда СССР рассмотрела уголовное дело по обвинению бывшего министра Государственной безопасности СССР Абакумова, бывшего начальника Следственной части по особо важным делам МГБ СССР Леонова, бывших заместителей начальника Следственной части по особо важным делам Комарова и Лихачева, бывших сотрудников МГБ СССР Чернова и Бровермана. . . . Абакумов сфальсифицировал так называемое «ленинградское дело», по которому был необоснованно арестован ряд партийных и советских работников, ложно обвиненных в тягчайших государственных преступлениях. . . . Военная коллегия приговорила: подсудимого Чернова заключить в лагерь сроком на 15 лет; подсудимого Бровермана — сроком на 25 лет; подсудимых Абакумова, Леонова, Комарова и Лихачева подвергнуть высшей мере уголовного наказания — расстрелу. Приговор приведен в исполнение.

У каждого мало-мальски мыслящего человека не могли не возникать вопросы при чтении всех этих извещений 1954 года. Например, М. Рюмина обвинили в фабрикации «провокационного дела . . . видных деятелей медицины», но как именно было сфабриковано «дело врачей»? * Без сомнения, «дело врачей» не было отдельным, изолированным актом, но с чем именно оно было связано, к чему оно должно было привести? Если так, то не Рюмин же вел столь высокую политику! Кто же стоял за Рюминым? Кто в Кремле держал в руках ниточку, приводившую в движение Рюмина на Лубянке? Поксребышев? Маленков? Маленков принимал участие в подготовке и проведении первой ежовщины, — почему не мог он принимать участия и в подготовке второй ежовщины? Ведь на XXII съезде КПСС, в октябре 1961 года, А. Шелепин, тогдашний председатель КГБ,

* Только теперь мы это узнали из «Архипелага ГУЛаг» Александра Солженицына, т. I, стр. 166.

сказал, что «на совести Маленкова лежит так называемое 'ленинградское дело'»... — но это уже 1961, а не 1954 год!

Опять же, вопрос: «ленинградское дело»... В 1954 году оно «лежало на совести» не Маленкова, а Абакумова: «Абакумов сфабриковал так называемое 'ленинградское дело'»... Прежде всего в чем оно состояло и почему оно — «так называемое»? Кто были те «партийные и советские работники, ложно обвиненные в тягчайших государственных преступлениях»? Жертвы «ленинградского дела» перечислены в книге Роя Медведева «К суду истории»: Н. А. Вознесенский — член Политбюро, заместитель председателя Совета министров СССР и председатель Госплана СССР; А. А. Кузнецов — секретарь Центрального комитета ВКП(б); П. С. Попков — первый секретарь Ленинградского обкома партии; М. И. Родионов — председатель Совета министров РСФСР; А. А. Вознесенский — министр просвещения РСФСР (вдобавок множество менее крупных партийных и советских работников, в том числе Тюркин, начальник «ледяной дороги» на Ладожском озере во время блокады Ленинграда). Могли, спрашивается, Абакумов сам, по своей инициативе, сфабриковать «дело», жертвами которого стали такие люди? Да, Абакумов был старым чекистом, еще «школы Дзержинского» (в 1919 г. он занимал пост председателя Московской ЧК), он сыграл немалую роль в подготовке Шахтинского процесса, во время войны возглавлял СМЕРШ и подчинялся непосредственно Сталину, а осенью 1946 года стал министром Госбезопасности СССР... — все это так, но даже и такой крупный чекист мог быть лишь «оформителем», исполнителем «так называемого» ленинградского дела! К сожалению, Рой Медведев в книге «К суду истории» не объясняет, в чем именно состояло «ленинградское дело». В сущности, представление об этом деле дает лишь одна книга, написанная иностранцем, — «900 дней» Гаррисона Солсбери, корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс», прошедшего много лет в Советском Союзе.

«Какие обвинения были выдвинуты в ленинградском деле? — пишет автор этой прекрасной, хорошо документированной книги. — Обвинения перечеркнули героизм Ленинграда, они представили Ленинградский комитет обороны как часть заговора о сдаче немцам города. Ленинградское руководство обвинили в намерениях взорвать город и уничтожить Балтийский флот. Предательство приписывали многим. Даже утверждали, что Жданов и другие ленинградские руководители намеренно хотели втянуть Россию в войну, в надежде использовать ее поражение и с помощью немцев установить антикоммунистический режим. Конспираторо-

ры обвинялись в том, что после войны они хотели захватить власть, перевести столицу из Москвы в Ленинград и установить новое правительство с помощью иностранных государств, особенно с помощью Англии. Не имеет никакого значения, что в этом странном обвинении нет ни слова правды. Обвинение было использовано для уничтожения всех помощников Жданова и тысяч других работников. Они были расстреляны или сосланы в лагерь».*

«Не исключена возможность, — замечает Гаррисон Солсбери, — что все трое, — Сталин, Маленков, Берия — причастны к смерти Жданова. Дочь Сталина, Светлана, указывает на то, что у Жданова было большое сердце. Однако Поскребышев признался перед смертью, что 'мы применяли яд в чистках после 1940 года'. Жданов был живым напоминанием о преступных ошибках Сталина, приведших к блокаде Ленинграда. Для Маленкова же он был препятствием на пути к власти.

Берия расстреляли потому, что он «много знал». И вслед за ним, на протяжении всего 1954 года, расстреливали тех, кто тоже «много знал», в частности и о «деле врачей», и о «ленинградском деле». Весь 1954 год Маленков оставался на посту председателя Совета министров СССР, — в «Правде» однажды даже появилась поддельная, сфальсифицированная фотография, на которой он был изображен рядом со Сталиным и Мао Цзэ-дуном. Расстрелы 1954 года — это были расстрелы «стрелочников». Главных преступников они не затронули, и даже после того, как в октябре 1961 года, на XXII съезде КПСС, председатель КГБ А. Шелепин объявил, что «на совести Маленкова лежит так называемое 'ленинградское дело', которое принесло тяжелую трагедию в семьи многих коммунистов этого славного и дорогого всем нам города», — даже и после этого не было возбуждено никакого «дела Маленкова» и он не понес наказания.

Ни в 1954 году, ни позже страна не избавилась от чекистской заразы. Правда, кое-кого судили в провинции при Хрущеве. «Но... — пишет Александр Солженицын в 'Архипелаге ГУЛаг' (т. I, стр. 302), — как все начинания Хрущева, это движение, сперва очень энергичное, было им вскоре забыто, покинуто, и не дошло до черты необратимого изменения, а значит, осталось в области прежней».

* Гаррисон Е. Солсбери, «900 дней. Блокада Ленинграда», стр. 861. Перевела с английского Регина Тодд. По-английски книга вышла в 1969 году, а по-русски — в 1973 году.

1955

КОММИВОЯЖЕРЫ ИЗ ФИРМЫ «И. В. СТАЛИН
И НАСЛЕДНИКИ»

«Девятое мая 1955 года. Вот уже в десятый раз встречаем мы День Победы — день славы и поминовения мертвых, день, когда вместе с гордостью за все то, что было сделано нами в годы Великой войны, возвращаются в наши дома старое горе и старая боль.

А май в тот год был теплым и солнечным. Толпы москвичей и приезжих бродили по дорожкам Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки, вновь открытой в Москве после многолетнего перерыва; уходили на целину комсомольские эшелоны, гремели оркестры на привокзальных площадях.

И все чаще в эту весну бывало так — люди встречались на улице, или в театре, или в метро и сначала, не обратив друг на друга внимания, равнодушно проходили мимо, а потом вдруг оборачивались, растерянно улыбались, и один, побледнев, но все еще не решаясь протянуть руку, бросался к другому и спрашивал, задохнувшись:

— Это ты?! Ты вернулся?!» *

В смерти Сталина впрямь было «нечто динамитное», — вся Россия пришла в движение. Весной 1953 года, вскоре после смерти Сталина, Берия предлагал на заседании Президиума ЦК КПСС «принять резолюцию», чтобы заключенным в тюрьмах и лагерях, у которых сроки подходили к концу, было запрещено возвращаться к прежнему месту жительства, — предложение это он был вынужден «взять назад», и не прошло много времени, как его арестовали и расстреляли. В 1954 году получили по девя-

* Александр Галич, «Генеральная репетиция», Издательство «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1974, стр. 197.

ти граммов М. Рюмин, В. Абакумов и другие чекисты-гебисты. Весной 1955 года зэки начали возвращаться из лагерей.

На партийно-правительственной верхушке продолжались потрясения, вызванные смертью Сталина. 8 февраля 1955 года в Верховный Совет СССР поступило заявление Маленкова: «Прошу вас довести до сведения Верховного Совета СССР мою просьбу об освобождении от поста Председателя Совета Министров СССР. Просьба моя вызвана деловыми соображениями о необходимости укрепления руководства Совета Министров и целесообразностью иметь на посту Председателя Совета Министров СССР другого товарища с большим опытом государственной работы». «Наследник Сталина», которому 5 марта 1953 года были даны оба сталинских «портфеля» и который 14 марта 1953 года должен был уступить один из этих «портфелей» Никите Хрущеву, — тот стал первым секретарем ЦК КПСС, — «наследник Сталина» был принужден расписаться в своей неспособности к государственной работе. В день похорон Сталина, в речи на Красной площади, Берия говорил, что одним из важных послесталинских решений является «назначение на пост Председателя Совета Министров СССР талантливого ученика Ленина и верного соратника Сталина Георгия Максимилиановича Маленкова», — теперь он не был уже ни «талантливым учеником», ни «верным соратником». Эти титулы перешли к Булганину. В феврале 1955 года Никита Хрущев говорил на сессии Верховного Совета:

«Вношу предложение назначить Председателем Совета Министров СССР товарища Булганина Николая Александровича. Достойный ученик великого Ленина и один из ближайших соратников продолжателя дела Ленина — Иосифа Виссарионовича Сталина, товарищ Булганин является выдающимся партийным и государственным деятелем».

«Коммивояжёры» — такую кличку Н. С. Хрущев и Н. А. Булганин получили в международной печати. Впрямь, если Сталина называли «кремлевским затворником», то эта пара — первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР — были весьма похожи на разъездных представителей большой торговой фирмы. В 1955 году они побывали в Югославии, потом в Женеве (на совещании глав правительств четырех держав), в Афганистане, Индии, Бирме, не говоря уже о поездках в ближние страны Восточной Европы (в апреле 1955 г. — в Польшу, в июне — в Болгарию, в июне и еще раз в августе — в Румынию, в июле — в ГДР).

Пожалуй, наиболее примечательной была поездка в Югосла-

вию, — наиболее примечательной и важной для дальнейшего исторического развития России.

Начать с того, что это была покаянная поездка. В 1948 году Югославия была исключена из Коминформа. В феврале того года делегация из Югославии приезжала в Москву. Ее возглавлял Кардель, заместитель Тито. Югославам предлагали подписать договор, который обязывал бы их согласовывать всю свою внешнюю политику с правительством СССР. «В полночь 11 февраля, — впоследствии вспоминал Кардель, — меня вызвали в кабинет Молотова. Молотов грубо потребовал подписать договор. Я дрожал от ярости». Произошел разрыв. Возникло новое явление — «титоизм», теория, что каждая страна идет своим путем к социализму, теория плюрализма. В московских газетах Тито называли не то что «ревизионистом», а «предателем», «фашистом», «лакеем международной буржуазии». В 1949 году в Москве приступили к разработке плана вторжения в Югославию. На протяжении всего 1950 года из СССР шло в Венгрию, Румынию и Болгарию вооружение, боеприпасы, валили военные советники. Вторжение должно было произойти в 1951 году, но... в том же 1951 году все эти планы были отброшены. «Генералиссимусу», которого теперь самиздатские авторы правильно называют «канибалиссимусом», не удалось запугать Югославию. В 1950 году Кардель приехал в Вашингтон, где его переговоры были весьма успешны. К августу 1951 года Югославия получила от США экономическую помощь в полтораста миллионов долларов, в том числе 30 миллионов на покупку пшеницы (в тот год в Югославии была засуха). Югославия получила от Америки вооружения на 60 миллионов долларов в 1951 году и столько же в 1952 году. Югославия, таким образом, сохранила свою независимость, и вот 26 мая 1955 года на Земунском аэродроме в Белграде звучала такая покаянная речь Н. С. Хрущева:

«Дорогой товарищ Тито! Дорогие товарищи члены правительства и руководства Союза коммунистов Югославии!... Мы искренне сожалеем о том, что произошло, и решительно отмечаем все наслоения недавнего периода. К этим наслоениям мы с несомненностью относим провокаторскую роль, которую сыграли в отношениях между Югославией и Советским Союзом ныне разоблаченные враги народа — Берия, Абакумов и другие. Мы обстоятельно изучили материалы, на которых основывались тяжкие обвинения и оскорбления, выдвинутые тогда против руководителей Югославии. Факты показывают, что эти материалы бы-

ли сфабрикованы врагами народа, презренными агентами империализма, обманным путем пробравшимися в ряды нашей партии».

Как же Тито отнесся к этой покаянной речи? В Белграде показывали в кинохронике сцену встречи на аэродроме: в тот самый момент, когда Хрущев объяснял разрыв между СССР и Югославией происками врагов народа Берия и Абакумова, Тито стоял, склонив набок голову и с ироническим видом почесывал подбородок. Весь мир смеялся над коммивояжерами из фирмы «И. В. Сталин и Наследники».

Надо, однако, отдать справедливость Хрущеву: он не был совсем «безнационален», как иные «вожди Советского Союза», и как раз во время поездки в Югославию у него на многое открылись глаза. Впоследствии, уже в отставке, на даче в Петрово-Дальнее, в тридцати километрах к западу от Москвы, сидя у магнитофона, Н. С. Хрущев вспоминал:

«Прежде я думал, что по красоте ничто в мире не может сравниться с нашим Крымом и нашим Кавказом, и они действительно прекрасны. Но когда я увидел Дубровник, то подумал, что нам не следует слишком уж заноситься. Наша страна не единственная, которая может хвалиться красотами природы. Пожалуй, Югославия с ее климатом, побережьем, историческими памятниками по красоте превосходит нашу страну».

Еще больше Н. С. Хрущев поразился тому, что в Югославии, которая все же считается социалистической страной, границы не были на замке.

«Недаром туда валом валят туристы, — вспоминал впоследствии Н. С. Хрущев, — и я спросил тов. Тито:

— Скажите, пожалуйста, как же вы проверяете туристов из стран Западной Европы, которые на своих автомобилях приезжают в Югославию?

Тито расхохотался и сказал:

— Знаете, мы эту проблему решили очень просто! Есть много дорог и путей, по которым нежелательные элементы, даже шпионы могут проникать в нашу страну. Проверка на границе ничего не дает, и с подобным проникновением надо бороться другими средствами. Поэтому наши пограничники почти не подвергают туристов никакой проверке. Все дело занимает несколько минут — как при въезде в страну, так и при выезде. Как правило, личность туриста не устанавливается. Просто человека спрашивают, куда он едет — и поднимают шлагбаум, он едет дальше. И так со всеми — не только с туристами из других стран, но

и с нашими гражданами, отправляющимися за границу. Например, многие наши шахтеры работают в ФРГ. Такой рабочий просто говорит пограничникам: 'Иду подработать, хочу купить машину'.

Меня заинтриговало такое решение вопроса о пограничном контроле. Вернувшись из Югославии, я доложил нашим товарищам об этом и сказал им:

— Подумайте, подумайте об этом...

К сожалению, Н. С. Хрущев не рассказывает, что же именно «надумали» его товарищи, и обсуждалось ли в Президиуме ЦК КПСС, что давайте, дескать, откроем границы, как они открыты в Югославии. Но идея открытых границ, открытого общества зашла Хрущеву в голову, и он начал облегчать выезд за границу.

Точно так же, под влиянием югославского опыта, Никита Хрущев пришел к идее децентрализации. В первом томе воспоминаний, в главе «Конец ссоры с Тито», он пишет:

«Доводы югославских товарищей несомненно заслуживают внимания. В течение всей моей жизни — когда я работал на низовке, и когда стоял у руководства — наша экономика всегда имела централизованное управление. Пожалуй, для того времени централизация была необходима, она давала наилучшую и наиболее эффективную систему управления. Но теперь я начинаю думать, что хотя централизованное управление все еще необходимо, не менее важно и то, чтобы рабочие имели голос в разработке планов и условий работы того или иного предприятия. Хотя хозяйственные планы должны выработываться наверху, и выполнение их — контролироваться сверху, я полагаю, что в будущем рабочие станут активно участвовать в разработке планов и норм и определять, как именно эти планы должны выполняться. Другими словами, новые организационные формы, введенные в Югославии, не лишены смысла, и этот опыт полезен для перестройки управления хозяйством в нашей стране. Этого отрицать нельзя!»

В июне 1955 года, в Загребе, в беседе с рабочими завода имени Раде Кончара, Н. С. Хрущев сказал, что «нам, как и вам, было бы полезно изучать опыт друг друга и перенимать то, что окажется полезным». Правда, что Н. С. Хрущев не очень-то много сделал для применения югославского опыта в Советском Союзе; правда, что экономическая реформа, предпринятая было после Н. С. Хрущева, застопорилась, не дала того, что от нее ожидали. Нельзя, однако, не признать и того, что югославский, а в 1968 году и чехословацкий опыт оставили отметины в созна-

нии людей в Советском Союзе. Недаром югославскому опыту посвятил несколько страниц Рой Медведев в своей «Книге о социалистической демократии». В программу «Всероссийского социал-христианского союза», т. н. «Бердяевского кружка» в Ленинграде, входил пункт о том, что «часть промышленных предприятий должна быть собственностью рабочих коллективов (как в Югославии)». Многие иностранцы, бывавшие в 1960-х годах в России, рассказывали, что «там любят югославов, так как они показали, что перемены возможны и в рамках существующей системы». Как знать, может быть, то, что открылось в 1955 году, еще будет иметь большое значение для России.

1956

НЕУДАВШИЙСЯ ПОВОРОТ

14 февраля 1956 года в Москве открылся XX съезд КПСС. Когда 1 430 делегатов съезжались в Москву, вряд ли они знали, что их ожидало на съезде. Незадолго до того, 21 декабря 1955 года, отмечалось 76-летие со дня рождения Сталина. «Известия» напечатали по этому поводу статью «Великий революционер и глубокий мыслитель», — в ней говорилось, что «имя Сталина близко и дорого миллионам трудящихся». Еще через месяц, 21 января 1956 года, в годовщину смерти Ленина, «Правда» писала о Сталине как о «продолжателе великого ленинского дела». 23 января 1956 года в «Правде» был напечатан отчет о съезде компартии Украины, где Кириченко закончил доклад возгласом: «Да здравствует великое дело Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина!» И вот, 14 февраля 1956 года...

Входя в зал заседаний съезда, внимательный человек мог сразу не без удивления заметить, что на стене позади Президиума виднелся огромный Ленин, а рядом с ним пустое место, на котором не было Сталина. В отличие от других съездов партии, которые открывались речью какого-либо члена Политбюро (XV в 1927 году — Рыковым, XVI в 1930 году — Калинин, XVII, XVIII и XIX — Молотовым), этот съезд открыл сам первый секретарь ЦК КПСС. Опять-таки, вопреки обычаю, он не произнес политической речи, а только приветствовал представителей «братских коммунистических и рабочих партий» и посвятил несколько слов умершим товарищам:

«За период между Девятнадцатым и Двадцатым съездами, — сказал Н. С. Хрущев, — мы потеряли виднейших деятелей коммунистического движения: Иосифа Виссарионовича Сталина, Клемент Готвальда и Кюици Токуду. Прошу почтить их память вставанием».

Как?! Докуда?! На съездах партии, разумеется, строгая дисциплина, там не полагается ни шутить, ни переглядываться, ни прыскать в кулак. Делегаты съезда, — их было 1 349 с

решающим голосом и 81 с совещательным, да еще гости, — поднялись как один человек и «почтили память» чеха Готвальда, о котором они и не вспоминали до той минуты, и японца Токуды, имя которого они вряд ли когда-нибудь слышали. Тот, кто повдумчивее, конечно, поразился, что имя Сталина было просто упомянуто в одном ряду с такими, в сущности малозначительными именами. Не стало «великого Сталина», в самом начале XX съезда он вдруг был разжалован в «виднейшие деятели» . . .

Вслед затем Н. С. Хрущев выступил с семичасовым отчетным докладом, и если на XIX съезде, в коротком докладе об уставе партии, он упомянул имя Сталина 16 раз, то теперь он лишь мимоходом упомянул, что смерть вырвала Сталина из рядов партии. Впоследствии, вспоминая февраль 1956 года, он говорил, что «XX съезд начался хорошо, выступающие один за другим одобряли линию ЦК КПСС, не чувствовалось никакой оппозиции». Да и откуда ей было взяться, оппозиции! . . . Правда, в президиуме XX съезда сидели Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Микоян, давние «соратники Сталина», к кругу которых не принадлежал даже Хрущев. Но в ту пору вопросом жизни и смерти для каждого из них было не нарушать «равновесия» на партийно-правительственной верхушке, прикрываться фасадом «сплоченного коллективного руководства».

Без сомнения, не только люди, сидевшие в президиуме XX съезда, но и многие из сидевших в зале, знали, что в 1954 году, вскоре после расстрела Лаврентия Берия, при Президиуме ЦК КПСС была создана комиссия для расследования преступлений, совершенных за годы, названные впоследствии «периодом культа личности». Председателем комиссии был назначен П. Н. Поспелов, бывший редактор «Правды» и директор Института Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, — в 1953 году он был секретарем ЦК КПСС. К февралю 1956 года, в результате деятельности комиссии Поспелова, было «реабилитировано» 7 379 человек, — большинство из них были «реабилитированы посмертно». Нерешенным, однако, оставался вопрос о Сталине: «Мы всю вину валили на Берию, — вспоминал потом Н. С. Хрущев. — Его фигура оказалась удобным прикрытием, которым мы защищали память Сталина». Конечно, на стене позади президиума партсъезда уже не было портрета Сталина, но, кажется, многим тогда казалось, что только этим, разжалованием Сталина из «великих» в «виднейшие», дело и ограничится. Вряд ли кто-нибудь, даже в президиуме, знал в точности, что собирался сделать Н. С. Хрущев.

История XX съезда КПСС еще не написана. Воспоминания

Н. С. Хрущева полны пробелов и умолчаний. В частности, неясно, когда именно был написан доклад, который он прочитал на закрытом заседании съезда 25 февраля 1956 года. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, он понял всю «фальшь нашей позиции» в 1955 году, во время поездки в Югославию. Его «раздражали насмешки, саркастические замечания югославских товарищей», как только речь заходила о «врагах народа Берии и Абакумове». Во время подготовки к XX съезду Н. С. Хрущев будто бы поднимал вопрос о том, что «надо дать ясную картину, что происходило при Сталине», но . . . «Ворошилов, Молотов и Каганович отнеслись к моему предложению без энтузиазма; насколько я помню, Микоян тоже не поддержал меня, но он и не выступил против». Начался съезд, «не чувствовалось никакой оппозиции», и однажды, в перерыве между заседаниями, Н. С. Хрущев созвал членов Президиума ЦК КПСС:

«Товарищи, что мы будем делать с данными комиссии Поспелова? Съезд закрывается, все разъедутся, и мы ни слова не скажем о злоупотреблениях, допущенных при Сталине?»

Едва Хрущев кончил говорить, как Ворошилов воскликнул:

«Что с тобой? Как ты можешь так говорить? Ты подумал, как это отразится на престиже нашей партии, нашей страны? Ведь тебе не удастся все, что ты скажешь, сохранить в тайне. Весь мир будет показывать на нас пальцем. Да и мы сами-то . . . что можем мы сказать о том, какую роль мы играли при Сталине?»

Каганович поддакивал Ворошилову. Потом Молотов произнес несколько слов: «Ты не видишь, что может случиться?» В эту минуту Н. С. Хрущев, как он вспоминает, сказал:

«Партсъезд заседает. Все идет гладко. Но нарушилось единство в руководстве. Позвольте мне напомнить вам, что теперь, когда сделан отчетный доклад, каждый член Президиума имеет право выступить на съезде и изложить свою точку зрения, если даже она расходится с линией, проведенной в отчетном докладе».

Булганин, Первухин, Сабуров и, «кажется, Маленков» поддерживали Н. С. Хрущева. . . . И что же? Кто первый воспользовался «правом выступить на съезде и изложить свою точку зрения»? Микоян! Это было вечером 16 февраля. Председательствовал Патлицhev. В зале заседаний в тот вечер находился итальянский коммунист Джузеппе Боффа. Он жил в Москве уже пять лет и научился говорить по-русски. В книге «Великий поворот» он так описывал выступление Микояна:

«Микоян говорил страстно, быстро, наполовину глотая слова, как будто он боялся, что у него не хватит времени сказать все, что он хочет. Было очень трудно следить за его речью. Но да-

же немногих фраз в начале речи было достаточно, чтобы захватить общее внимание. Царило абсолютное молчание. Имя Сталина было упомянуто в его речи только один раз. Но критические замечания по адресу умершего вождя были почти свирепы в их категорической определенности. В предшествовавших речах не было ничего подобного этому решительному осуждению. Когда он кончил говорить, зал был охвачен возбуждением. Делегаты громко обменивались мнениями. Следующего оратора никто не слушал».

Кажется, Микоян первый произнес слова «культ личности». «В течение примерно двадцати лет, — сказал он, — у нас фактически не было коллективного руководства, процветал культ личности, осужденный еще Марксом, а затем и Лениным, и это, конечно, не могло не оказать крайне отрицательного влияния на положение в партии и на ее деятельность».

Теперь перед Н. С. Хрущевым открылась «зеленая улица». Но, конечно, то, что он собирался сказать, должно было остаться «партийной тайной», и потому на 25 февраля было назначено закрытое заседание съезда, — на него не были допущены не только «гости» и журналисты, но даже и представители иностранных компартий. По всей вероятности, описанный выше разговор между членами Политбюро имел место 15 февраля, — могли за неделю, пусть десять дней, быть составлен такой большой, великолепно документированный доклад о преступлениях Сталина? Надо полагать, он уже 15 февраля был готов у Никиты Хрущева! В самиздатской литературе, кстати, отмечалось, что в работе над этим докладом принимал участие А. В. Снегов, недавний ээк, вернувшийся из лагерей.

Ворошилов был прав, когда говорил, что выступление такого рода на партсъезде не может остаться «партийной тайной». Весьма возможно, что Н. С. Хрущев и не собирался делать из этого тайны. В своих воспоминаниях он говорит, что «мы позаботились о том, чтобы братские коммунистические партии могли ознакомиться с содержанием доклада». К тому же, по всему СССР, на закрытых партийных собраниях, читали вслух этот доклад, получивший название «Письма Хрущева».

В дневнике Сайруса Сульцбергера, главного иностранного корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс», есть такая запись:

«Париж, 7 мая 1956 года. Обедал сегодня со Станиславом Гаевским, послом Польши во Франции. У него в несгораемом шкафу лежит доклад Хрущева, но он сказал: 'К сожалению, не могу вам показать его'. На документе надпись 'Только для членов партии'. Доклад читают на партийных собраниях не толь-

ко в Советском Союзе, но и в Польше, — в нем 50 страниц, чтение его занимает два часа. В Польше было напечатано 80 000 нумерованных экземпляров этого доклада, но типографы ухитрились напечатать еще несколько тысяч нумерованных экземпляров. Сперва доклад продавали из-под полы по 500 злотых (125 американских долларов), а теперь цена упала до 300 злотых».*

Одно из таких партийных собраний состоялось в марте 1956 года в Союзе писателей в Москве. Одиннадцать лет спустя, в марте 1967 года, выписки из протокола этого партсобрания были напечатаны в самиздатском «Политическом дневнике»**. На собрании был заслушан доклад А. Суркова, но он не удовлетворил присутствующих. «Доклад Суркова свидетельствует, что он ничего не понял», — сказал один писатель. «Меня огорчил доклад Суркова, в нем инерция прошлого», — сказал другой. Более того, по крайней мере, один из присутствующих, И. И. Ермашев, сказал, что «в докладе Хрущева только частица правды». Все это свидетельствовало не только о брожении в партии, но и о пробуждении русского общества, которое пошло дальше пределов, положенных на XX съезде.

«XX съезд — целый океан озона, — говорила на собрании писательница Надежда Чертова. — Узнали, сколь фальшивыми были слова о том, что самый ценный капитал у нас — это человек. Слова, сказанные в то время, когда тысячи честных людей были в тюрьмах».

«Я не согласен с Микояном, — сказал П. А. Бляхин, член партии с 1903 года, автор знаменитой повести 'Красные дьяволята' (имея в виду слова Микояна о том, что 'за последние три года в нашей партии после долгого перерыва создано коллективное руководство'). — Нет, ленинские нормы и ленинские принципы еще не восстановлены. Не следует принимать желаемое за действительное. То, что было, оставило глубочайшие следы в сознании народа, в партии, в советском аппарате. Вместо социалистического аппарата создан и воспитан аппарат бюрократический, основанный на чиновничестве, бездушии, карьеризме, погоне за теплым местечком. Аппарат, потерявший чувство ответственности. Сталин занял место царя, и он опирался на этот аппарат. . . . Есть люди, которые втихомолку тормозят все перемены, тормозят и реабилитацию. Реабилитировано пока только 7—8 ты-

* C. L. Sulzberger, "The Last of the Giants", The Macmillan Company, New York, 1970, p. 280.

** Политический дневник», Амстердам, Фонд имени Герцена, стр. 213.

сяч человек. Слова Хрущева на съезде о количестве заключенных произвели тягостное впечатление. Сколько еще будут томиться в тюрьме невинные люди? Необходимо предпринять ряд мер, чтобы произвести массовую реабилитацию».

«Проводить в жизнь изменения будет трудно, — сказал Елизар Мальцев. — Кадры сверху донизу воспитаны прежним стилем руководства. В Рязанской области председатель колхоза по-прежнему всемогущ, секретари райкомов по-прежнему стучат кулаком по столу. И на партсъезде многие вели себя трусливо. Тревожат многие выступления, стандартные, одинаковые. . . Мне, как писателю, хочется разобраться, на какой почве возник культ личности, какие социальные причины его породили. Нельзя ведь объяснять все личными свойствами Сталина».

Не ясно ли, что все эти люди устремлялись уже «за пределы дозволенного»? В 1956 году возникло то, что по праву называется «литературой эпохи XX съезда». Владимир Дудинцев написал роман «Не хлебом единым», Семен Кирсанов — поэму «Семь дней недели», Николай Погодин — пьесу «Сонет Петрарки». В 1956 году вышла вторая книга альманаха «Литературная Москва».

На последней странице этой книги указаны выходные сведения: сдано в набор 1 октября, подписано в печать 26 ноября. То были дни, когда в Варшаве происходила революция, — мирная, бескровная, но все же революция, начавшаяся с того, что 28 июня 1956 года на улицы вышла молодежь Познани. А Будапешт в те дни пылал в огне восстания! Все это — звенья одной цепи.

В венгерской революции 1956 года участвовали такие писатели, как Тибор Дери, Петер Вереш, Георг Лукач, Дьюла Гай. Незадолго до восстания в Будапеште, венгерская литературная газета «Иродальмы Уйшаг» напечатала статью Дьюлы Гая, в которой говорилось:

«Необходимо начать с признания за литературой неотъемлемого права на свободу. Писатель должен — как и все люди — иметь абсолютную свободу говорить правду, критиковать кого бы то ни было, быть грустным, влюбленным или думать о смерти. Писатель должен быть свободным, чтобы не беспокоиться, хорошо ли распределены свет и тени в его произведении. Писатель должен быть свободен верить в Бога или, наоборот, не верить; свободен сомневаться или не сомневаться в точности некоторых цифр в пятилетних планах; свободен думать или не думать по-марксистски. Писатель должен быть свободен находить несправедливость в том, что официально признается справедливым».

Венгерские студенты, участники революции, в октябре 1956

года опубликовали декларацию о том, что они не за коммунизм, но и не за капитализм, что революция ищет «третьего пути».

Но венгерская революция была жестоко подавлена — коварными, вероломными методами. 22 ноября 1956 года гебисты захватили главу венгерского революционного правительства Имре Надя, — он был вывезен в Румынию и в июне 1958 года казнен.

Несмотря на поражение, венгерская революция наложила неизгладимую печать на жизнь всего последующего десятилетия. Югославский революционер Милован Джилас в одной из своих статей писал: «С победой национального коммунизма в Польше началась новая глава в истории коммунизма в странах Восточной Европы. Венгерской народной революцией началась новая глава в истории человечества».

Таков был 1956 год. Джузеппе Боффа три года спустя написал книгу о XX съезде КПСС, — он озаглавил ее «Великий поворот». Но «поворот», произведенный Н. С. Хрущевым, не был ни полным, ни окончательным, — ни во внутренней, ни во внешней политике. Признавал это и сам Н. С. Хрущев. «Была некоторая двусмысленность в нашем поведении на съезде, — говорит он в своих воспоминаниях. — Мы отложили реабилитацию Бухарина, Зиновьева, Рыкова и других. Теперь я вижу, что это была ошибка» (т. I, стр. 353). Тем не менее, 1956 год был важным рубежом в истории пооктябрьской России. Да и не только пооктябрьской! Например, Александр Солженицын считает, что периодом «провала нашего национального сознания» были 1914—1956 годы. * Хочет ли он тем самым сказать, что в 1956 году началось возрождение национального сознания России? Быть может, нам еще не вполне ясно значение 1956 года для будущего России, как оно представляется писателю-художнику, наделенному даром прозрения?

* «Русская Мысль», № 3033, 9 января 1975 года.

1957

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОТСТАЛОСТЬ

Те, кто сидел в зале заседаний XX съезда КПСС, поддерживали Н. С. Хрущева в его выступлении против «культы личности Сталина», как поддерживали его и широкие круги общества. Но те, кто сидел в президиуме съезда, кого еще так недавно считали «соратниками великого Сталина», разумеется, понимали, что вслед за Сталиным могут быть разоблачены и они, как соучастники его преступлений. Конечно, Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов голосовали за резолюции XX съезда, но вместе с тем они начинали думать, как бы не дать разбушеваться «океану озона».

Как свидетельствует дочь Сталина, «взаимоотношения внутри Политбюро были сложными, запутанными и взаимно недобрыми». Но общая опасность сплотила этих людей, и они начали подкапываться под Н. С. Хрущева. «Царь Никита», как его в ту пору было принято называть в иностранной печати, что ни день, поражал весь мир своими «импровизациями»: то он вдруг ликвидировал все хозяйственные министерства и создал совнархозы, — бюрократический аппарат разросся вдвое, административная чехарда была невообразимая; то начал распашку целинных земель, не подумав о том, что может образоваться такой «пыльный котел», могут возникнуть такие «черные бури», каких не видела планета; то выкинул лозунг «догнать и перегнать за 3—4 года США по производству мяса, молока и масла на душу населения», поразительный по своей несерьезности и бахвальству. Тем самым он давал карты в руки своим противникам в Президиуме ЦК КПСС.

В июне 1957 года Н. С. Хрущев поехал в Финляндию. В Москву он вернулся 18 июня, и тотчас же после его приезда в Кремле началось заседание Президиума ЦК КПСС, созванное заговорщиками. Все, что происходило на этом заседании и вообще в те дни в Кремле, впоследствии стало известно из выступлений на XXII съезде КПСС, а также из самиздатского «Политического дневника». Первым на заседании выступил Маленков, — это был целый доклад об ошибках Н. С. Хрущева. Его поддержали Мо-

лотов, Каганович и Ворошилов. Большой неожиданностью было то, что на стороне заговорщиков выступил и Булганин, тогдашний председатель Совета министров СССР. К блоку примкнули Первухин и кандидат в члены Президиума Сабуров. Таким образом, из 11 членов Президиума шестеро составляли сплоченный антихрущевский блок; кандидат в члены Президиума Шепилов сперва был на стороне Хрущева, но вскоре примкнул к оппозиции. На стороне Хрущева твердо держались Микоян, Суслов и Фурцева.

«Когда антипартийная группа, — рассказывал в октябре 1961 года, на XXII съезде КПСС, Н. Игнатов, — когда антипартийная группа сколотила так называемое арифметическое большинство в Президиуме ЦК, она приступила к практической реализации своих планов захвата руководства партией и страной».* На заседании Президиума уже была проголосована и принята резолюция о смещении Н. С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. Кто-то предложил назначить его министром сельского хозяйства. Как впоследствии выяснилось, в планы главных заговорщиков входил арест Н. С. Хрущева, — на этом настаивал Молотов.

Почему же сорвались эти планы? Как говорил тот же Н. Игнатов, «антипартийная группа просчиталась, забыла, что, кроме нее, существует Центральный Комитет». Дело в том, что на 23 июня 1957 года был назначен грандиозный праздник в Ленинграде, — 250-летие Петербурга. Праздник этот и состоялся: тысячи спортсменов в тот день вышли на стадион с голубыми и белыми полотнищами, изобразили сперва цифру «250», а затем перестроились и на голубом фоне появился вензель Петра Великого. Под барабанную дробь и напев флейты на поле вышли петровские солдаты-преображенцы. Послышалась «Патриотическая песнь» Глинки в исполнении Академической капеллы. Перестраиваясь, спортсмены изображали то одну, то другую фигуру. На поле стадиона возникали гигантские цифры «XVIII», «XIX», наконец, «XX». Тут голубое и белое сменилось красным, появилась тень броневика и силуэт Ленина. В конце представления команды военных моряков опять образовали слова «250 лет», в центре которых появились Адмиралтейская игла и орден Ленина. 250-ле-

* «XXII съезд КПСС. Стенографический отчет». Москва, 1962, том II, стр. 105. Николай Игнатов, казак станицы Тишанской Хоперского округа, был давним чекистом, но почему-то в октябре 1932 года ушел из «органов». В 1934 году он занимал маленькую должность секретаря парткома на фабрике «Гознак». Выдвинулся он во время ежовщины, став в 1938 г. секретарем Куйбышевского обкома партии.

тие Петербурга (которое следовало бы отмечать в 1953 году, так как строительство Петропавловской крепости началось 16 мая 1703 года) было как бы приключено к 40-летию «Великого Октября», и на праздник в Ленинград съехалось множество крупных партработников — секретарей обкомов, членов ЦК — со всех концов Советского Союза. Прослышав о том, что 18 июня в Кремле началось «заседание Президиума ЦК», которое длится уже третий день, причем никто из членов Президиума не выходит из Кремля, многие члены ЦК, собравшиеся на праздник, поехали из Ленинграда в Москву.

21 член ЦК пришли в Кремль и просили допустить их на заседание Президиума, — к ним вышли Хрущев, Булганин и Маленков, но на заседание Президиума их не пустили. Тогда в Кремле начали разыгрываться сцены, какие бывали лишь в боярские, допетровские времена. Вдруг возникла «тройка», «инициативная группа по созыву пленума ЦК КПСС», — в нее входили маршал Г. К. Жуков, тогда министр обороны СССР, Ф. Р. Козлов, первый секретарь Ленинградского обкома, и, что особенно важно, И. А. Серов, министр госбезопасности, в ведении которого находилась охрана Кремля. «Когда для переговоров с этими членами ЦК вышел Ворошилов, то Серов, схватив Ворошилова за воротник, потребовал немедленного прекращения заседания Президиума ЦК. Жуков приказал доставить в Москву некоторых членов ЦК на реактивных военных самолетах».* К 21 июня в Кремле собралось уже около 100 членов ЦК КПСС.

* «Политический дневник», стр. 107. Вопреки тому, что принято думать, Иван Серов первоначально не был «чекистом». Он был военный, причем строевой, а не политический, и на работу в НКВД попал в 1938 году из Военной академии имени Фрунзе. Никита Хрущев пишет в своих воспоминаниях (т. I, стр. 115), что он знал Серова еще «молодым и неопытным», когда тот только что окончил артиллерийскую академию. По словам Хрущева, это был «беззаботный, честный, неподкупный» молодой человек. В 1939 году Хрущев взял Серова к себе на Украину — начальником республиканского управления НКВД. Верный служака, строгий исполнитель дела, причем, как говорят, весьма способный администратор, Серов провел беспощадные чекистские операции по «очищению» Западной Украины, потом Прибалтики, а еще позже — по ликвидации Чечено-Ингушской, Калмыцкой и Крымской автономных республик. В 1945 году он был назначен первым заместителем маршала Г. К. Жукова по управлению оккупированной зоной Германии, — там он проводил, например, такие операции, как вывоз немецких ученых и инженеров в Советский Союз. Таким образом, у Серова были давние тесные связи с Хрущевым и Жуковым, чем и объясняется вхождение его в «инициативную группу» в Кремле в июне 1957 года. В 1958 году, по неизвестным причинам, Серов был устранен со своих постов. «Мы наказали Серова», — пишет Н. С. Хрущев в мемуарах, но не говорит за что.

Пожалуй, следует привести страницу из стенографического отчета XXII съезда КПСС, — отрывок из речи Н. Г. Игнатова, прерывавшейся репликами Н. С. Хрущева:

Члены ЦК направили на заседание Президиума своих представителей с заявлением о необходимости созвать пленум ЦК. Позвольте огласить это заявление:

«В Президиум Центрального Комитета.

Нам, членам ЦК КПСС, стало известно, что Президиум ЦК непрерывно заседает. Нам также известно, что вами обсуждается вопрос о руководстве Центральным Комитетом и руководстве Секретариатом. Нельзя скрывать от членов Пленума ЦК такие важные для всей нашей партии вопросы. В связи с этим, мы, члены ЦК КПСС, просим срочно созвать Пленум ЦК и вынести этот вопрос на обсуждение Пленума. Мы, члены ЦК, не можем стоять в стороне от вопроса руководства нашей партией».

Когда доложили Президиуму об этой просьбе, фракционеры подняли страшный шум.

Товарищи! С этой высокой трибуны не стоит рассказывать, какие гнусные вещи они говорили членам ЦК, когда те пришли. Как вы думаете, почему? Да как это члены ЦК осмелились к ним обратиться?! Товарищ Хрущев и другие поддерживавшие его товарищи решительно настаивали на приеме членов ЦК. И тогда это так называемое арифметическое большинство — фракционеры предложили, чтобы членов ЦК принял не Президиум, а один из их сторонников — Булганин или Ворошилов. Увидев, куда гнет эта группа, Никита Сергеевич Хрущев заявил, что и он пойдет на встречу с членами ЦК, и настоял на своем.

Хрущев Н. С. Они хотели лишить меня возможности встретиться с членами ЦК и выделили Ворошилова на это дело. Я сказал: Пленум избрал меня Первым секретарем ЦК, и никто не может лишить меня права встречи с членами Центрального Комитета Коммунистической Партии. Меня избрал Пленум ЦК, поэтому он и должен принять решение. Как Пленум ЦК решит, так и будет.

Игнатов Н. Г. Тогда Президиум уполномочил товарищей Хрущева и Микояна, а также Ворошилова и Булганина встретиться с членами Центрального Комитета.

Хрущев Н. С. Как видите, двое на двое.

Игнатов Н. Г. Более того, было дано указание не про-

пускать членов ЦК в Кремль, и многие из них буквально нелегально пробирались к месту заседания Президиума ЦК. Это, товарищи, неслыханно, это — позор!

Г о л о с а с м е с т . Позор!

Игнатов Н. Г. На Пленуме участники антипартийной группы оказались перед монолитной стеной Центрального Комитета. Когда они увидели, что Пленум единодушно поддерживает товарища Хрущева в его принципиальной борьбе за проведение ленинского курса, они стали трусливо казаться.

Конечно, никто не мог бы «нелегально» пробраться в Кремль, если бы к Жукову и Козлову не примкнул Серов . . . Молотов, Маленков, Каганович, Шепилов были выведены не только из Президиума ЦК, но и из ЦК, причем первые трое сами голосовали за свое исключение. О том, что было после пленума, рассказывал Н. С. Хрущев в заключительном докладе на XXII съезде КПСС:

Характерный разговор был у меня с Кагановичем. Это было на второй день после окончания работы июньского Пленума ЦК, который изгнал антипартийную группу из Центрального Комитета. Каганович позвонил мне по телефону и сказал:

— Товарищ Хрущев, я тебя знаю много лет. Прошу не попустить того, чтобы со мной поступили так, как расправлялись с людьми при Сталине.

А Каганович знал, как тогда расправлялись, потому что он сам был участником этих расправ.

Я ему ответил:

— Товарищ Каганович! Твои слова еще раз подтверждают, какими методами вы намеревались действовать для достижения своих гнусных целей. Вы хотели вернуть страну к порядкам, которые существовали при культуре личности, вы хотели учинять расправу над людьми. Вы и других мерите на свою мерку. Но вы ошибаетесь. Мы твердо соблюдаем и будем придерживаться ленинских принципов. Вы получите работу, — сказал я Кагановичу, — сможете спокойно работать и жить, если будете честно трудиться, как трудятся все советские люди.

Каганович был послан на Урал — директором цементного завода; Маленков — в Казахстан, директором гидроэлектростанции; Шепилов — учителем где-то в Средней Азии. Все они, как

и Молотов, были потом, уже в первичных организациях, исключены из партии. В 1964 году, когда Никита Хрущев был отрешен от власти, Молотов и Каганович подавали заявления о восстановлении в партии, но им было отказано.

«Я видела постаревшего, поблекшего Молотова-пенсионера в его небольшой квартире, — рассказывает Светлана Аллилуева. — Молотов, по обыкновению, говорил мало, а только поддакивал. Раньше я всегда видела его поддакивающим отцу. Теперь он поддакивал жене. Ее не исключили из партии, и она теперь ходила на партийные собрания на кондитерской фабрике, как в дни ее молодости. Они сидели за столом всей семьей, и Полина говорила мне: 'Твой отец был гений. Он уничтожил в нашей стране пятую колонну, и когда началась война, партия и народ были едины. Теперь больше нет революционного духа, везде оппортунизм'. . . . Она мелко накрошила чеснок в борщ, уверяя, что 'так всегда ел Сталин'».

Пожалуй, трагичнее всего была судьба маршала Г. К. Жукова, звезда которого поднялась в 1957 году до зенита и в том же году упала. Этот крестьянский сын из деревни Стрелковка Угодско-Заводского района Калужской области прославился в годы Второй мировой войны как один из самых выдающихся военных стратегов нашего времени. На одной из пресс-конференций в Белом доме президент США Дуайт Эйзенхауэр говорил, что «так вести военную кампанию, как вел ее Жуков, с такой ясностью ставить задачи, учитывая все свои преимущества, а также и все свои слабости, мог только очень опытный, великолепный полководец». В сущности, еще незадолго перед войной, в 1938—1939 гг., Жуков занимал незначительный пост заместителя командующего Белорусским военным округом по кавалерии. Но в 1939 году он отличился в боях при Халхын-Голе, и в первые тяжкие месяцы Второй мировой войны — в Ельнинской наступательной операции 1941 года. После этого первого успеха пришли жестокие поражения, но ликвидация Ельнинского выступа (30 августа — 9 сентября 1941 года), разгром шести немецких пехотных и одной танковой дивизии, показали, что немцев можно бить. Психологическое значение «Ельни» было огромно, и оно не прошло незамеченным для Сталина — в октябре 1941 года Жуков стал заместителем Сталина по Комитету обороны и фактически руководителем всеми военными операциями. Бои под Москвой, Ленинград, Сталинград, удар с севера на Румынию, прорыв на Висле, штурм Берлина . . . — Жуков, без сомнения, был крупным полководцем, и недаром один современный поэт написал стихо-

творение «На смерть Жукова» * в манере державинского «Снигиря», написанного в 1800 году на смерть Суворова:

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Не прошло много времени после возвращения маршала Жукова из Берлина в Москву, как Сталин переместил его на пост командующего войсками Одесского округа. Иностранные газеты писали с сарказмом, что «это выглядит так, как если бы президент Труман отправил генерала Эйзенхауэра управлять территориальными частями в штате Оклахома».

В марте 1953 года, тотчас же после смерти Сталина, Жуков был опять назначен заместителем министра обороны. Два года спустя, в феврале 1955 года, он занял пост министра обороны. Не прошло после этого и двух месяцев, как мировая печать сообщила сенсационную новость: 28 апреля 1955 года, на пресс-конференции в Белом доме, президент Д. Эйзенхауэр сказал, что у него «возобновилась переписка с маршалом Жуковым» и что эта переписка дает ему надежду на «некоторое улучшение международного положения». В июле 1955 года, когда в Женеве происходило совещание глав правительств четырех держав, вместе с Хрущевым и Булганиным туда приехал и Жуков, — присутствие Жукова, конечно, было выгодно Хрущеву. Однажды утром, 18 июля, перед началом заседания, Жуков и Эйзенхауэр беседовали в сторонке, как вдруг подошел Хрущев и сказал американскому президенту:

— Я вам открою один секрет Жукова... семейный секрет! В прошлую субботу... позавчера... его дочь в Москве вышла замуж. А отца не было на свадьбе! Он всем готов был поступиться, лишь бы приехать в Женеву и повидаться с вами.

В тот же день Жуков был приглашен на частный, неофициальный ужин к Эйзенхауэру. Тот передал ему для новобрачной два подарка: радиоприемник и вечную ручку, на которой выгравировано — «От Президента Соединенных Штатов Америки. Июль 1955 года».

Еще два года спустя, в июне 1957 года, маршал Жуков был

* Г. К. Жуков умер 19 июня 1974 года.

одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал созыва пленума ЦК КПСС, — в значительной степени ему был обязан своим спасением Никита Хрущев. Правда, Жуков был вознагражден, — на июньском пленуме 1957 года его выбрали в члены Президиума ЦК КПСС (как, впрочем, и Н. Игнатова, который тоже, по видимому, сыграл заметную роль на пленуме).

Никита Хрущев, однако, всем своим существом принадлежал партийному аппарату, тогда как у маршала Жукова всегда были трудности с партаппаратом. Конечно, Жуков был коммунист, он был человеком, «сделанным революцией» (мобилизованный в 1915 году рядовым в кавалерию, он стал унтер-офицером, и в 1918 году был уже в Красной армии), — сделанный революцией, но не партией! В 1940 году, после неудач в Финляндии, должности военных комиссаров были упразднены и установлено единоначалие. 16 июля 1941 года институт военных комиссаров был вновь восстановлен, — передавали, что Жуков настолько резко возражал против этого, что даже был несколько дней под арестом. 9 октября 1942 года комиссары были вновь упразднены. Но после войны партаппарат взял реванш, — возвеличивалась роль партии в организации победы, Жуков попал в опалу. Никита Хрущев использовал авторитет и влияние Жукова. Но решающую роль сыграло то, что Хрущев принадлежал партаппарату. В октябре 1957 года маршал Жуков выехал в Белград с визитом к маршалу Тито. Когда он уезжал из Москвы, ему были устроены торжественные проводы на Центральном аэродроме; иностранные отчеты о проводах появились на первых страницах московских газет. Но когда Г. К. Жуков вернулся в Москву, газеты отметили это лишь тремя строчками в хронике на последней странице, — Жуков был еще в пути, когда его сняли с поста министра обороны. Потом его вывели и из Президиума, и из ЦК КПСС. Как сказано в т. 5-м «Советской исторической энциклопедии», «будучи министром, Жуков... проводил линию на свертывание работы парторганизаций, политорганов и военных советов, на ликвидацию руководства и контроля над Вооруженными Силами со стороны партии».

В 1957 году в СССР произошли еще и другие события, по истине мирового значения. В октябре 1957 года в эфире появились сигналы, к которым прислушивался весь мир, — сигналы первого искусственного спутника Земли. Он был запущен 4 октября с космодрома Капустин яр, к северу от Каспийского моря. То был небольшой шар диаметром в 59 сантиметров, весил он 83 с половиной килограмма. На нем были установлены два радиопередатчика и четыре антенны... — и только. Тем не менее, это

было великое мировое событие. Впервые в истории человек преодолел силу земного притяжения, которая делала его пленником своей планеты. 4 октября 1957 года межпланетное пространство открылось перед человеком, как новый океан, ждущий уже не кораблей Колумба, а новых — космических — кораблей.

Месяц спустя, 3 ноября 1957 года, был запущен второй спутник, на котором находилось подопытное животное — собака Лайка. В следующем году, 15 мая 1958 года, будет произведен запуск третьего спутника, на этот раз большого, полутонного; в январе 1959 года будет запущена многоступенчатая космическая ракета в сторону Луны; 12 апреля 1961 года будет запущен космический корабль Юрия Гагарина.

В 1957 году, таким образом, открылась новая эра научно-технического прогресса. Тем разительнее контраст между прогрессом науки и техники и политической отсталостью страны, где в тот год в Кремле разыгрывались сцены, напоминавшие о допетровской, боярской Москве. В 1957 году сильно переменялось окружение «царя Никиты». Но за все 11 лет, что он был у власти, его окружение сменялось три раза. Мы уже видели, что маршал Жуков только несколько месяцев продержался на партийно-правительственной верхушке. На его место был выбран в Президиум ЦК КПСС Н. А. Мухитдинов, бывший кооператор из Узбекистана, но и он недолго там продержался. В мае 1960 года были выведены из Президиума ЦК КПСС Н. И. Беляев и А. И. Кириченко, — этот последний считался «фаворитом Хрущева», а полетел так, что едва зацепился на должности директора какого-то маленького предприятия. В 1961 году была удалена из Президиума ЦК КПСС Екатерина Фурцева, а некоторое время спустя попал в немилость и Фрол Козлов. Как сказано в «Политическом дневнике», «Хрущев стал все больше и больше опираться не на официальный состав правительства и Президиума ЦК, а на какой-то теневой кабинет, в котором первым заместителем Хрущева и его ближайшим фаворитом стал Алексей Аджубей, его зять, главный редактор 'Известий'».

Политическая отсталость . . . Как же тут не вспомнить то, что Ленин писал о царском правительстве в 1903 году, в брошюре «К деревенской бедноте» (изд. 4, т. 6): «Правят тайком, народ не знает и не может знать, какие законы готовятся, какие войны собираются вести, каких чиновников и за что награждают, за что смещают».

1958

«КОЛДОВСКАЯ СИЛА МЕРТВОЙ БУКВЫ»

Чем памятен 1958 год? Вряд ли кто-нибудь помнит, что в тот год состоялось шесть пленумов ЦК КПСС. В тот год Никита Хрущев, оставаясь на посту первого секретаря ЦК КПСС, занял и пост председателя Совета министров СССР, — за год он наговорил немало речей, главным образом, «о дальнейшем развитии колхозного строя», но его произведения вряд ли войдут в историю.

Чем же, спрашивается, памятен 1958 год? Быть может, в том году в Москве вышла какая-нибудь замечательная, необыкновенная книга? Был опубликован роман Всеволода Кочетова «Братья Ершовы». Партийные критики, как принято говорить, «подняли его на щит». «Автор выступает против ревизионистских настроений в среде художественной интеллигенции», — писала «Правда». Но долго ли еще будет читаться роман «Братья Ершовы»? Появившийся в 1958 году, соответствовал ли он духу времени? И вызвало ли опубликование этого романа хоть какие-нибудь исторические последствия?

Между тем, была тогда книга, появление которой можно без всякого преувеличения считать главным событием 1958 года. Все забудется, не только выступления против ревизионистских настроений, но и сами ревизионистские настроения, тогда как эта книга, даже независимо от ее достоинств или недостатков, навсегда останется в литературе и в истории. Вышла она не в России, а в Италии, в Милане. И начиналась она так:

«Шли и шли и пели 'Вечную память', и когда останавливались, казалось, что ее по залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра. Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали: 'Кого хоронят?' Им отвечали: 'Живаго'».

То был роман «Доктор Живаго». Борис Пастернак, автор этого романа, был давно известен как поэт. Он родился 10 февраля (29 января) 1890 года в Москве, в семье художника Л. О. Пастер-

нака. В 1914 году он выпустил первую книгу стихов «Близнец в тучах», в 1917 году — книгу «Поверх барьеров», а когда в 1922 году вышла его третья книга «Сестра моя — жизнь», он по праву занял место в ряду наиболее выдающихся современных поэтов. Уже в 1930-х годах его слава была мировой: в июне 1935 года, когда он, приехав в Париж несколько с опозданием, вошел в зал заседаний Международного конгресса писателей в защиту культуры, весь зал встал при его появлении. Давно уже обсуждался вопрос о награждении Бориса Пастернака Нобелевской премией, — группа английских писателей выдвигала его кандидатуру в 1947 году. Писал Пастернак и прозу — например, в 1922 году повесть «Детство Люверс», к английскому изданию которой М. Горький написал предисловие, потом вещь под названием «Повесть», а также автобиографическую повесть «Охранная грамота», в которой, как, впрочем, и во всем творчестве Пастернака, проявилась его склонность к философскому осмыслению жизни. Но громкая мировая слава пришла к Пастернаку-прозаику только в 1958 году, когда роман «Доктор Живаго» увидел свет в Милане.

Над «Доктором Живаго» Пастернак работал много лет. Еще в январе 1934 года он писал жене: «В работе (над романом) я уперся в такое место, которое требует подготовительного чтения по истории гражданской войны, и я за это чтение принялся. . . . Вообще у меня теперь является желание хорошо написать этот роман. Постепенно подобрались разные положения, которые я хотел бы дать, наметились узлы в разных временах, разрослась фабула, замысел как бы расположился в пространстве. Его можно было бы изложить по-настоящему, как это делали старики. А ты знаешь, по сколько лет они работали? Сколько, например, времени писалась 'Война и мир', как Гоголь работал над 'Мертвыми душами'? Я эту вещь буду писать долго».*

В работе над романом, однако, возникли перерывы, и только после войны Пастернак приступил к ней вплотную. В новогоднюю ночь 31 декабря 1945 года, встретив на улице своего молодого друга, драматурга Александра Гладкова, Пастернак сказал ему, что он «вернулся к работе над романом в прозе». Гладков спросил, является ли этот роман тем самым произведением, несколько отрывков из которого были еще в середине тридцатых го-

* Вдова Бориса Пастернака, Зинаида Николаевна, подготовила к печати сборник его писем, который в начале 1970-х гг. распространялся в России средствами Самиздата. Несколько писем из этого сборника были перепечатаны в журнале «Вестник Русского Студенческого Христианского Движения» в Париже (№ 106).

дов напечатаны в «Литературной газете». Пастернак ответил, что кое-что из написанного пойдет в роман, но что «замысел его изменился».*

В главе «1946» мы говорили, перефразировав Герцена, что «направление умов после 1941—1945 годов стало совершенно иным», — роман «Доктор Живаго» и был результатом этой перемены. А. Гладков, прошедший зиму 1941—1942 гг. вместе с Пастернаком в эвакуации в Чистополе на берегу Камы и там с ним сдружившийся, пишет, что 1945 год был для Пастернака годом «глубокого душевного перелома».

«Я вернулся к работе над романом, — говорил Пастернак Гладкову, — когда увидел, что не оправдываются наши радужные ожидания перемен, которые должна принести России война. Она промчалась, как очистительная буря, как веянье ветра в запертом помещении. Ее беды и жертвы были лучше бесчеловечной лжи. Они расшатывали владычество всего надуманного, неорганичного природе человека и общества, что получило у нас такую власть, но все же победила инерция прошлого. Роман для меня необходимейший внутренний выход. Нельзя сидеть, сложа руки. Надо отвечать за свою жизнь и за то, что тебе дано».

В сущности, в этих словах Бориса Пастернака содержится все, что утверждает и Александр Солженицын, пришедший в литературу два года спустя после смерти автора романа «Доктор Живаго». (Курьезное совпадение во времени: как раз в 1958 году, когда в Италии был опубликован роман Бориса Пастернака, Александр Солженицын послал в несколько московских издательств повесть «Один день Ивана Денисовича», которая, разумеется, не была принята.) «Его переродило пороком, Как все, он омоложен риском», — эти строки из послевоенной поэмы Пастернака «Зарево» могут быть полностью отнесены как к ее автору, так и к автору «Одного дня Ивана Денисовича».

«Доктор Живаго» вызвал противоречивые отклики, — даже и среди друзей и поклонников Пастернака. Например, тот же Александр Гладков пишет, что он был «разочарован» романом. «В 'Докторе Живаго', — по мнению Гладкова, — есть удивительные страницы, но насколько их было бы больше, если бы автор не тужился написать именно роман, а написал бы широко и свободно о себе, своем времени и своей жизни. Всё, что в этой книге от романа, слабо: люди не говорят и не действуют без авторской подсказки. Все разговоры героев — интеллигентов — или наив-

* Александр Гладков, «Встречи с Пастернаком», Париж, ИМКА-ПРЕСС, 1973, стр. 104.

ная персонификация авторских размышлений, неуклюже замаскированная под диалог, или неискusstная подделка. . . Широкой и многосторонней картины времени нет, хотя она просится в произведении эпического рода. Это моралистическая (даже не философская) притча с иллюстрациями романического и описательного характера».

Быть может, такое «разочарование» объясняется тем, что русскому читателю, в особенности если он — приверженец Толстого и Бунина, в меньшей мере, чем читателю западному, близка традиция «философского романа». У Федора Степуна есть роман «Жизнь Николая Переслегина», тоже построенный на «разговорах героев — интеллигентов», и не случайно, что как раз Степун дал очень высокую оценку роману «Доктор Живаго»:

«Форма, в которой написан 'Доктор Живаго', — писал Ф. А. Степун, — весьма отличается от формы традиционного русского и даже европейского романа 19-го и 20-го веков. Этим обстоятельством объясняется то, что очень многие иностранные, а отчасти и русские читатели, не прошедшие через символизм ('Петербург' Белого), находят образы, созданные Пастернаком, весьма смутными и трудно уловимыми. Несомненно, что это до некоторой степени верно. Неверность начинается лишь там, где эта 'смутность' вменяется Пастернаку в художественную вину. Никто не будет оспаривать, что действующие лица 'Доктора Живаго' лишены той толстовской стереоскопичности, которую сохранили в своем творчестве и Чехов, и Бунин, и в самой большой степени, быть может, Алексей Толстой. Отсутствие этой пластичности, однако, отнюдь не объясняется недостаточностью пастернаковского дарования, а требованием того стиля, в котором задуман и выполнен 'Доктор Живаго'.

. . . Можно, конечно, считать, что сверхнатуралистическая, сверхпсихологическая структура и стилистика 'Доктора Живаго' лишила его всех черт, как будто обязательных для большого эпического произведения. Но нельзя не видеть, что только эта структура и эта стилистика дали Пастернаку возможность окрылить свое повествование глубоко своеобразными, лично пережитыми раздумьями о судьбах мира, о трагедии человеческой жизни, о природе и назначении искусства. Даже те, которым роман кажется произведением темным, частично хаотичным, не могут не признать, что над этим хаосом всё время полыхают зарницы духа. 'Нельзя запечатлеть всех молний' (А. Белый). Эта, пронизывающая весь роман Пастернака философия сливается с органически свойственной Пастернаку музыкальностью его словесного дара, достигающей особого совершенства в его метонимичес-

ких описаниях природы, образы которой не являются у него, как у Чехова и Бунина, красочно-живописными реальностями, среди которых разворачиваются судьбы людей, а скорее космическими собеседниками человека».

Ф. А. Степун дальше говорит, что о «кровавом безумии творимого людьми мира» «написано и прочитано каждым из нас бесконечное количество книг». «Но ни одна из этих страшных книг, — продолжает он, — не наполнила моей души такими безвыходными муками, таким отчаянием, как 'Доктор Живаго'. В значительной степени это объясняется тем, что события большевистской революции разворачиваются у Пастернака под исполненными нездешней музыкой небесами. Но есть этому впечатлению и другая причина. Мне кажется, что она заключается в том, что революционные события описаны в 'Докторе Живаго' человеком с невероятно зоркими глазами, но лишенным каких бы то ни было идеологически-политических точек зрения. Если бы Пастернак был политиком, то картина революции вышла бы у него более осмысленной и потому менее страшной. Она осмыслилась бы или как возмездие за преступления царского режима, или как предупреждение миру — вот что представляет собой социализм, а потому бойтесь его, — или, наконец, как неизбежно-темное вступление в светлое царство социализма на путях государственного возвеличения России. У Пастернака ничего этого нет. Нет даже блоковской музыки революции, ни идущего впереди революции Христа. Правда, есть в 'Докторе Живаго' несколько скупых слов, как будто бы прославляющих большевистский переворот. . . . Дальнейшее развитие революции явно погасило в нем это изначальное как бы приятие, отнюдь не превратив его, однако, ни в контрреволюционера-монархиста, ни в демократа либерального или социалистического толка. Для правильного понимания Пастернака очень важно осознать, что большевики чужды и враждебны ему не как политическое течение, которому он противопоставляет другое, правильное, а как яркое обнаружение всей той лжи, в которой запуталась общественно-политическая жизнь человечества».

«Жить не по лжи!», как воскликнет впоследствии Александр Солженицын. Но «бесчеловечная ложь», о которой Пастернак говорил в разговоре с Гладковым, та «колдовская сила мертвой буквы», о которой он пишет в романе «Доктор Живаго», поддерживаются всей силой власти и в послевоенной России. Правда, Анатолий Котов, крестьянский паренек, пробившийся в тридцатых годах в литературу, а после войны занявший пост директора Гослитиздата, собирался в 1956 году печатать «Доктора»,

как он напечатал второй том альманаха «Литературная Москва», — веяло ветром XX съезда КПСС! Но Котов умер в ноябре 1956 года, да и не умер бы, все равно не напечатал бы, — началась Венгерская революция, и перепуганная власть послала туда войска и прихлопнула крышку над бурлящим котлом России. Журнал «Новый мир» отказался от уже анонсированного им романа, в Союзе писателей роман был определен как «контрреволюционный». («Если бы это было так, я не побоялся бы это признать, но это неверно», — говорил Пастернак Гладкову.) Между тем, рукопись романа уже находилась в Италии: она была передана миланскому издателю, коммунисту Фельтринелли, с ведома редакции «Нового мира» и дирекции Гослитиздата. В октябре 1957 года в Италию ездил А. Сурков и пытался взять рукопись у Фельтринелли, но тот ее не вернул, и в 1958 году роман вышел в свет.

24 октября 1958 года стало известно, что Шведская академия присудила Борису Пастернаку Нобелевскую премию по литературе. В ее решении было сказано, что «Доктор Живаго» — это «один из величайших философских романов нашего времени». На следующий же день в «Литературной газете» появилась статья «Провокационная вылазка международной реакции». «Правда» напечатала 26 октября статью Д. Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Б. Л. Пастернак был исключен из Союза писателей. Выступая в Московском дворце спорта, на пленуме ЦК Комсомола, в присутствии Никиты Хрущева, В. Семичастный говорил:

«Пастернак — это внутренний эмигрант, и пусть бы он действительно стал эмигрантом, отправился бы в свой капиталистический рай. Я уверен, что и общественность, и правительство никаких препятствий ему бы не чинили, а, наоборот, считали бы, что этот его уход из нашей среды освежил бы воздух».

31 октября 1958 года Борис Пастернак писал в ЦК КПСС:

«Уважаемый Никита Сергеевич, я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому Правительству. Из доклада Семичастного мне стало известно, что правительство 'не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР'. Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее... Выезд за пределы моей Родины для меня равносильен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры. Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу еще быть ей полезен. — Борис Пастернак».

От Нобелевской премии он отказался. 30 мая 1960 года он

умер. Его похороны вылились в многолюдную народную демонстрацию любви и уважения к великому писателю. В иностранных газетах появилась фотография двух молодых людей, несших крышку от гроба, — тогда их имен еще никто не знал, но они прославятся впоследствии; это были Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Владимир Корнилов, поэт, начавший печататься в 1953 году, написал стихотворение, которое распространилось в Самиздате:

Мы хоронили старика,
А было все непросто.
Была дорога далека
От дома до погоста.

Наехал из Москвы народ,
В поселке стало тесно,
И впереди сосновый гроб
Желтел на полотенцах.

Там, в подмосковной тишине,
Над скопищем народа,
Покачиваясь, как в челне,
Открыт для небосвода,
В простом гробу, в цветах по грудь,
Без знамени, без меди,
Плыл человек в последний путь,
От смерти до бессмертья.

И я, тот погребальный холст
Перетянув, как перевязь,
Щекою мокрою прирос
К неструганому дереву.

И падал полуденный зной,
И свет склонялся низко
Перед высокой простотой
Тех похорон российских.

«ЧУЮ КУЧУМА!»

Если вы читали повесть Всеволода Иванова «Бронепоезд 14—69», или видели ее инсценировку в Московском художественном театре, то, верно, помните китайца по имени Син Бин-у. Повесть эта была опубликована в 1922 году, — в ней показаны картины гражданской войны в Сибири. На железнодорожной станции Син Бин-у торговал семечками, но только для вида: в действительности он был разведчик и даже член штаба партизанской армии. Русские разделились, у них раскол, гражданская война. Бородатый сибирский старик говорит командующему партизанской армией: «Бога рушить хочешь? Пошто народ бунтуешь?» Но Син Бин-у в эти споры не вмешивался.

«Тута мужики сполить есть, — говорил он. — Я сполить нет. Я воевать есть. Вся земля воевать есть. За класный Москва. Нету лусска леспублика. Нету китайска леспублика. Нету амеликанска леспублика. Есть одна класна леспублика».

Син Бин-у, изображенный в повести «Бронепоезд 14—69», был одним из 40 000 китайцев, находившихся в 1919 году в рядах Красной армии. В то время в составе кремлевской охраны, т. е. охраны Ленина, было больше 70 китайцев. Это — официальные цифры, они приводятся в книге Пын Мина «История китайско-советской дружбы», изданной в 1959 году в Москве.

Дело в том, что в начале XX века Россия испытывала крайний недостаток в рабочей силе. Поэтому рабочих вербовали в Китае, особенно в годы Первой мировой войны. Так, в 1916 году в северо-восточном Китае, а также в провинциях Шаньдунь и Хэбэй (в пределах Хэбэя — Пекин) были завербованы 20 000 китайских лесорубов. К 1917 году в России оказалось около 200 000 китайцев. То, как эти китайцы были использованы большевиками в гражданской войне, представляет интересную и поучительную историю. Когда произошла революция и военная промышленность прекратилась, китайцы оказались в бедственном положении. В русских газетах того времени появилось мно-

жество статей, описывавших нищету китайцев на чужбине. «Ходи» разбрелись по всей России и Сибири, несчастные и оборванные, — они рылись в помойных ямах и сорных ящиках, чтобы как-то пропитаться. Большевики, которые умели с дьявольской хитростью играть на социальной психологии масс, тотчас же обратили внимание на «ходю», — они его обмыли, одели, накормили и дали ему винтовку. Еще недавно «ходю» дразнили мальчишки на улицах, а теперь «ходя» стал бойцом за «класну леспублику», — кто его обидит, когда у него винтовка?! Понятно, что «ходи» были по-собачьи преданы «класной Москве», — они направо и налево «шлепали» буржуев, состояли в охране Ленина, и Троцкий однажды выразил им благодарность за героизм, проявленное в боях с чехословаками. *

В ту пору впрямь могло казаться, что «нету лусска леспублика, нету китайска леспублика, — есть одна класна леспублика». 4 июля 1918 года, выступая на V съезде советов, Чичерин объявил, что правительство РСФСР отказывается от экстерриториальных прав России в Китае, аннулирует возложенные царским правительством на Китай финансовые обязательства, отзывает войска, стационарированные при русских консульствах в Китае. 25 июля 1919 года Карахан, заместитель наркома по иностранным делам, выступил с заявлением, в котором, в частности, говорилось:

«Советское правительство передает китайскому народу без всякого вознаграждения Китайскую Восточную железную дорогу, все горные, лесные, золотые и другие концессии, захваченные при царском правительстве, при правительстве Керенского, или бандами Хорвата, Семенова, Колчака, бывшими русскими генералами, купцами или капиталистами».

Не прошло, однако, много времени, как выяснилось, что есть все же «лусска леспублика» и «китайска леспублика». В сентябре 1923 года в Китай приехал Карахан, — теперь он уже отрицал, что когда-либо говорил о возврате Китайской Восточной железной дороги «без всякого вознаграждения»; Иркутская радиостанция будто бы передала в Китай «неточный текст» его декларации. В 1924 году СССР и Китай пришли к соглашению, что

* Китайцы были не единственные иностранцы, состоявшие тогда в Красной армии. По официальным данным, в Красной армии в 1919 году насчитывалось 80 000 венгров, 40 000 китайцев, 16 000 поляков, 12 000 чехов и словаков, 30 000 латышей, прочих — 20 000. Всего на фронтах 1919 года Красная армия имела 700 000 бойцов. Из них — 500 000 русских и 200 000 — иноземцев. Есть поэтому мнение, что войну, бушевавшую в 1918—1922 годах на пространствах России, нельзя считать гражданской войной.

КВЖД будет эксплуатироваться на паритетных началах. В том же 1924 году была провозглашена Монгольская народная республика, — у правительства СССР с ней был договор о взаимопомощи, тогда как Китай не признавал ее вплоть до 1946 года.

Но все это были конфликты с Гоминданом. Когда же возник конфликт между КПСС и компартией Китая, который обнаружился в 1959 году? Прежде всего надо помнить, что Китайская революция никак не похожа на Русскую революцию. В России большевики сразу же захватили власть в Петрограде и Москве, — они считали и считают ее пролетарской революцией, совершившейся так, как предсказывал Маркс. В Китае же коммунистическое движение было подавлено в городах в 1927 году, и только в далекой сельской провинции, при помощи партизанских отрядов, коммунисты смогли удержать власть. По слабости центрального правительства в Китае, потом из-за войны с Японией, Чан Кай-ши не смог ликвидировать коммунистическое «государство в государстве». Китайские коммунисты, естественно, окрепли в убеждении, что они нашли свой, особый путь, что они не должны «подражать России». Между тем, Сталин, видя, что китайские коммунисты до 1945 года не были в силах овладеть каким-нибудь крупным городом, не очень-то верил в их способность завоевать всю страну, — ему было важнее договориться с американцами о «сферах влияния» в Китае. Правда, китайские коммунисты получили от Сталина большое количество оружия и боеприпасов, захваченных Красной армией при разгроме Японии, но они, тем не менее, — и, может быть, по справедливости, — считали, что революцию совершили своими силами. Такова почва, в которой вызревали семена конфликта.

Конечно, вызрели они не сразу. В 1949—1956 гг. КНР и СССР предстояли единым фронтом «миру капитализма». Несмотря на то, что Сталин, — по словам Чжоу Энь-лая, — «нехорошо поступил по отношению к Китаю на конференции в Ялте», китайские коммунисты видели в нем «великого марксиста-ленинца». В сентябре 1954 года Никита Хрущев, прибыв в Пекин, обещал Мао Цзэ-дуну «неограниченную помощь в справедливой борьбе за Тайвань». Правда, после XX съезда КПСС возникли «идеологические расхождения», но они не вырывались наружу: китайцы нападали на «югославских ревизионистов», в действительности имея в виду Никиту Хрущева, тогда как в Москве обличали «албанских догматиков», под которыми следовало подразумевать Мао Цзэ-дуна. 15 октября 1957 года было подписано соглашение, по которому СССР обязывался помочь Китаю в атомных изысканиях. В Синьцзяне был создан научно-исследо-

вательский центр, а также атомный завод в окрестностях Ланьчжоу, на берегу Желтой реки.

У «лусской леспублики», однако, были свои интересы, а у «китайской леспублики» — свои. Так, соперничали они в Монголии. Известный американский журналист Гаррисон Солсбери, корреспондент «Нью-Йорк Таймса», пишет в книге «Китайская орбита»:

«В 1959 году, когда я впервые приехал в Монголию, в глаза бросалось открытое соперничество Советского Союза и Китайской Народной Республики. Еще до первой мировой войны Монголия стала как бы подопечной территорией России. После Октябрьской революции роль опекуна перешла к ленинскому правительству, — при его содействии в 1921 году был установлен коммунистический режим в Улан-Баторе. Но до 1913 года, в течение нескольких десятилетий, главенствующая роль в Монголии принадлежала Китаю, и теперь, в 1959 году, Пекин делал все, чтобы стать хозяином в Монголии. В 1913 году Китай был слишком слаб, чтобы противодействовать царскому правительству России, как в 1945 году было слабо правительство Чан Кай-ши, чтобы помешать Сталину вновь утвердиться в Монголии. Мао Цзэ-дун на словах признавал независимость Монголии, но в 1959 году он нажимал на Монголию, чтобы привлечь ее на свою сторону».*

Второй раз Гаррисон Солсбери приехал в Монголию в 1961 году. «Только два года прошло, а какая разительная перемена! — читаем мы в его книге. — Весь мир теперь уже знал о конфликте между двумя компартиями, — и русские сделали всё, чтобы укрепить свои позиции в Монголии. Если в 1959 году в Монголии находилось до 40 000 китайских специалистов, то в 1961 году их оставалось меньше 6 000, — жили они в бараках, за колючей проволокой, всякая связь с монгольским населением им была запрещена. Из Советского Союза в Монголию шел поток финансовой, экономической, военной помощи, — китайцы отступали по всем направлениям».

* «Надо сказать, — добавляет Солсбери, — что тогда у китайцев были сторонники в Монголии. Некоторые монголы, с которыми мне довелось разговаривать, намекали, что, играя на противоречиях между КНР и СССР, они могут добиться для себя больше свободы и улучшить положение своей страны. Были даже такие, которые мечтали о Великой Монголии, которая объединила бы всех монголов, — и те 900 000, что составляют население Монгольской Народной Республики, и те 1 500 000, что населяют Внутреннюю Монголию, входящую в состав КНР, и те 500 000, что находятся в Бурято-Монгольской Автономной Республике, входящей в состав СССР».

Как же мир узнал о конфликте между двумя компартиями? Это было главным событием 1959 года. Потому что оно означало попытку Н. С. Хрущева сделать крутой поворот во внешней политике СССР. Правда, что еще 27 января 1959 года, в докладе на XXI съезде КПСС, Н. С. Хрущев поносил «югославских ревизионистов», которые «сосредоточили сейчас главный огонь против Китайской Народной Республики и распускают всякие домыслы о якобы имеющихся расхождениях между Коммунистической партией Советского Союза и Коммунистической партией Китая». Несколько дней спустя, 5 февраля 1959 года, Н. С. Хрущев опять опровергал на партсъезде слухи о советско-китайском конфликте. Прошло полгода... И вот, 10 сентября 1959 года, в связи с событиями на китайско-индийской границе, в Москве было опубликовано заявление ТАСС, — в нем были такие строки:

«Нельзя не выразить сожаление по поводу того, что имел место инцидент на китайско-индийской границе. Советский Союз находится в дружественных отношениях как с Китайской Народной Республикой, так и с Республикой Индии».

По мнению китайцев (и, может быть, они не далеки от истины), «новые цари», как они теперь называют «вождей Советского Союза», именно этим заявлением ТАССа дали знать всему миру, что произошел разрыв между двумя «братскими компартиями». Почему именно в тот момент? Да потому, что, поворачиваясь спиной к Китаю, они обращались лицом к Америке. Пять дней спустя после этого заявления, 15 сентября 1959 года, Никита Хрущев с огромным, будто царским антуражем прибыл в Америку.*

После большой поездки по Америке, полной всяческих приключений, «царь Никита» уединился с президентом США Д. Эйзенхауэром в загородной резиденции Кэмп Дэйвид («Лагерь Давида», названный по имени внука президента, тогда еще мальчика). Выражение «дух Кэмп Дэйвид» приобрело популярность в 1959 году, — оно давало надежду на разрядку международного напряжения.

Надежда эта не оправдалась, главным образом, потому, что при отсутствии гласности в Советском Союзе, при отсутствии политической демократии — внешняя политика КПСС все еще не свободна от налета авантюризма. Другой причиной было то, что «дух Кэмп Дэйвид» шел вразрез с линией Мао Цзэ-дуна. Вернувшись 28 сентября из Вашингтона в Москву, Н. С. Хрущев на следующий же день вылетел в Пекин. На приеме в Пекине, 30

* Даже писатель Михаил Шолохов входил в антураж Н. С. Хрущева.

сентября 1959 года, он сказал: «Надо все сделать, чтобы исключить войну как средство для решения спорных вопросов, надо решать эти вопросы путем переговоров». В глазах китайцев все это было ревизионистской ересью.

Коммунистический монолит дал глубокую трещину. Пекин отныне отказывался признавать Москву цитаделью мировой революции. Н. С. Хрущев в ответ прервал в 1959 году помощь Китаю — военную, экономическую, научно-техническую. Тысячи и тысячи «спецов», в том числе и атомных, были отозваны из Китая, — в международной печати промелькнуло сообщение, впрочем, фактически не подтвержденное, что перед отъездом они пытались хотя бы частично разрушить то, что ими было сделано в Ланьчжоу. Китайцы, однако, смогли завершить начатую работу, и в начале октября 1964 года мир узнал, что в тьянь-шаньской пустыне вот-вот произойдет атомный взрыв. На октябрьском пленуме ЦК КПСС, где решалась судьба Никиты Хрущева, ему в вину было поставлено и то, что он помог Китаю стать «атомной державой». 14 октября 1964 года Никита Хрущев был отрешен от власти, а на следующий день, 15 октября, пустыни и горы Тянь-Шаня озарились адским пламенем атомного взрыва. Впоследствии, в мае 1971 года, Чжоу Энь-лай сказал: «Это было совпадение, но нам, признаться, понравилось, что весь мир подумал — вот какие проводы китайцы устроили Никите Хрущеву!»

В феврале 1965 года А. Н. Косыгин прибыл в Пекин для переговоров с Мао Цзэ-дунем. «Великий кормчий» сказал Косыгину: «Наши разногласия столь глубоки, что споры между нами будут длиться десять тысяч лет». «Неужели так долго?» — спросил Косыгин. — «Ну, девять тысяч . . .» — ответил Мао Цзэ-дун. *

Если бы то были только идеологические споры!.. «Китайская леспублика» вскоре начала печатать географические карты, стараясь доказать, что «лусска леспублика» удерживает территории, которые ей не принадлежат — к северу от Амура, в Киргизии и Казахстане. «Лусска леспублика», в свою очередь, начала переделывать свои карты, заменяя китайские названия пограничных населенных пунктов русскими. Так, г. Сучан в Приморском крае был переименован в г. Партизанск, г. Иман — в г. Дальнореченск, г. Тетюхе — в г. Дальнегорск, а Тетюхе-Пристань — в Рудную Пристань.

В марте 1969 года произошли кровавые стычки на реке Уссури, а в июне — у Джунгарских ворот в Синьцзяне. В Пекине

* Все эти подробности известны из беседы Чжоу Энь-лая с канадскими «симпатизанами», «попутчиками» маоистского толка, опубликованной в «Нью-Йорк Таймсе» 21 мая 1971 года.

1960

«НАШ СПАСИТЕЛЬ — САМИЗДАТ»

Не знаю, правда это или нет, но в свое время рассказывали, что 25 февраля 1956 года, на закрытом заседании XX съезда КПСС, после того, как Н. С. Хрущев выступил с докладом о преступлениях «периода культа личности», ему кто-то из делегатов послал неподписанную записку: «А что вы делали, когда Сталин творил преступления, о которых вы только что рассказали?» Н. С. Хрущев будто бы прочитал вслух записку и спросил:

— Кто писал эту записку?

В огромном зале воцарилась тишина. Никто не отозвался, все молчали.

— Вот я это и делал, — сказал Н. С. Хрущев. — То, что вы сейчас делаете.

И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгнули смолоду . . .
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото.

Промолчи — попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!

И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята,
Но под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем — доходней молчание,
Потому что молчание — золото!

Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть — в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи! *

Больше ста лет назад, в 1853 году, обращаясь к «братьям на Руси», Герцен писал: «Отчего мы молчим? Неужели нам нечего сказать? Или неужели мы молчим оттого, что не смеем говорить? . . . Я знаю, как вам тягостно молчать, чего вам стоит скрывать всякое чувство, всякую мысль, всякий порыв. . . 'Молчание — знак согласия', — оно явно выражает отречение, безнадежность, склонение головы, сознанию безвыходность». ** Герцен говорил о «сообщничестве молчанием»: «Немота поддерживает деспотизм».

Но вот, «сообщничество молчанием» кончилось. . . Выступив 14 февраля 1956 года, на XX съезде КПСС, с отчетным докладом Центрального комитета, одобренным всем «коллективным руководством», Н. С. Хрущев затем в тесном кругу сказал, что «каждый член Президиума имеет право выступить на съезде и изложить свою точку зрения», — этим правом он и воспользовался 25 февраля. Мы уже видели, как он, рискуя всем, пошел ва-банк . . . и выиграл! И огромная страна, которая как бы лежала в обмороке, пробудилась и заговорила.

Первой, как всегда, заговорила молодежь. То, какой толчок ей дал Двадцатый съезд, показано в повести Анатолия Гладилина «Первый день Нового года», вышедшей в 1963 году. Гладилин — молодой писатель, он родился в 1935 году, он близок к молодежной жизни. В своей повести он вывел старого коммуниста Алехина, который работал в партийном аппарате, был заместителем наркома. У этого коммуниста есть сын, и вот что он говорит отцу:

«При Сталине нам вдалбливали: у нас все хорошо, все отлично. У нас самая богатая страна. У нас самый мудрый вождь. Он уберезит нас от всех бед. У нас, детей, самое счастливое детство. Наши колхозы — самые зажиточные. Наша одежда — самая красивая. Все этому верили. Я знаю, отец, что ты мне скажешь: как вы могли не верить? Ведь у нашего народа много героических дел: Днепрогес, Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре, папанинцы. . . Это все правда. . . Но в то же время колхозники получали иной раз за все лето сотню старыми деньгами. А после двад-

* А. Галич, «Поколение обреченных», 1972, стр. 13.

** А. И. Герцен, «Вольное русское книгопечатание в Лондоне», Собр. соч., т. XII, стр. 62.

цатого съезда мы узнали о трагедии тридцать седьмого года, о трагедии первых дней войны, о ленинградском деле. Представляешь, как это подействовало на всех нас, особенно на самых молодых? . . . Мы не хотим быть толпой — 'все как один', безголозой фигурой на шахматной доске большой политики. Мы хотим сами понять, 'что такое хорошо и что такое плохо'. Мы не хотим быть маленькими винтиками. Ведь коммунизм начинается тогда, когда человек перестает чувствовать себя бесправной деталью большой машины, когда он считает себя хозяином всего и знает, что ему доверяют и прислушиваются к его мнению, и прислушиваются по-настоящему. Мы хотим, чтобы нам доверяли, чтобы у нас было право на поиск».

Люди, не желавшие больше быть «безголосыми фигурами», заговорили, — сперва, разумеется, в домашней обстановке. В немалой мере этому, по-видимому, помогало возвращение эзков из лагерей. Когда профессор Остроградский, вернувшийся из ссылки, — в романе Вениамина Каверина «Двойной портрет», — спросил молодого ученого, кандидата наук Мишу Лепесткова: «Ну как вообще?», тот ответил: «Как после обморока. Медленно приходим в себя». Про этого молодого ученого в романе сказано, что «он как будто шел по темному коридору, распахивая двери в одну комнату, потом в другую».

Многие двери распахнулись, и о том, о чем прежде говорили лишь за закрытыми дверьми, вдруг стали говорить на площадях. 28 июля 1958 года на площади Маяковского был открыт памятник поэту. Сперва все шло по программе: министр культуры произнес речь, несколько «ведущих» поэтов прочитали свои стихи. Но как только закончилась официальная часть, у памятника вдруг появились поэты неизвестные, из публики, и тоже начали читать стихи. Желавших читать стихи на площади оказалось так много, что неофициальная часть затянулась до вечера, — сгустились сумерки, и молодежь решила, что надо еще раз собраться у памятника. 13 августа в газете «Московский комсомолец» появилась заметка «В гости к Маяковскому», в которой сообщалось, что встречи молодых москвичей — любителей творчества поэта — будут происходить у памятника 19-го числа каждого месяца.

На собраниях у памятника Маяковскому, однако, выступали не только любители этого поэта, — там читались и стихи Николая Гумилева, расстрелянного в 1921 году, и стихи Анны Ахматовой, Бориса Пастернака. Именно там Москва впервые услышала имя молодого поэта Юрия Галанскова. Постоянным участником этих собраний, которые, кстати сказать, устраивались ча-

ще, чем раз в месяц, был молодой москвич, комсомолец, студент Исторического факультета Московского университета Владимир Осипов, — он родился в 1939 году, тогда, значит, ему было 19 лет. Впоследствии, в самиздатской статье «Площадь Маяковского», он вспоминал:

«Вечера не ограничивались одними стихами. За поэзией возникали идеи. Никакое бюро заранее не намечало оппонентов, никто не 'направлял' выступления, каждый говорил, что хотел. Дискуссии в центре Москвы! Долгие десятилетия ничего подобного не было, и вот негаданным ветром занесло озон. Спорили об искренности в литературе, о тогдашних «ревизионистах» Дудинцеве, Тендрякове («Ухабы»), о Кочетове с его враждой к интеллигенции, о разных направлениях в живописи, даже о генетике и теории относительности. А иногда смельчаки касались запретной темы — политики. Крамолы особой не было: хвалили Гомулку за либерализм, порицали антипартийную группу Молотова, Кагановича, Ворошилова, одобрительно отзывались о рабочих советах в Югославии. В спорах мелькали имена Плеханова, Имре Надя, Г. К. Жукова, Мао Цзэ-дуна, Ганди, возникали схватки по философии: Гегель, Шопенгауэр, Рассел, экзистенциалисты».

Конечно же, на этом дело не могло остановиться. Те, кто нашел слушателей у памятника Маяковскому, неминуемо должны были начать искать более широкую, читательскую аудиторию. И вот, весной 1960 года в Москве появился бесцензурный, «нелитованный» журнал «Синтаксис». Выпустил его 24-летний москвич Александр Гинзбург, который по окончании средней школы работал токарем, библиотекарем, но и учился в Московском университете на Факультете журналистики. Журнал «Синтаксис» был машинописным журналом, — так возник знаменитый «Самиздат», теперь известный всему миру.

Историк, который будет писать историю Самиздата, конечно, отметит, что еще в двадцатых годах в России были журналы, выходившие без главлитовских номеров, т. е. без разрешения цензуры. В Москве в течение нескольких лет, начиная с 1925 года, выходил подпольный журнал «Васильки» (вышло пять номеров), потом журнал «Засыпанный Город» (вышло 10 номеров), наконец, журнал «Путь Странника», более солидный, некоторые его номера содержали от 250 до 300 страниц (за два с половиной года вышло 11 номеров); в Ленинграде в 1928 году выходил подпольный журнал «Земля и Небо». Передовая статья в № 1 журнала «Путь Странника» начиналась обращением — «К моим нечаянным читателям»:

Я выпускаю этот журнал в сущности для себя и для близкого круга своих интимных друзей. Ундервудовский тираж освобождает меня от необходимости обращаться к публике и тем самым журналу обеспечивается совершенно свободное выявление его имени и лица. К изданию журнала меня побуждает не личный интерес к этому делу, а веление совести перед людьми, перед родиной и культурой, наконец, перед Богом, — собрать и сохранить до времени бесчисленные страницы неведомых творений русской общественной религиозной мысли переживаемой нами эпохи.

... «Путь Странника» — журнал исторический. Это — тайный архив документов, по большей части безвестных авторов, по всем вопросам как частной, так и исторической жизни. Но мой журнал является историческим не только в качестве архива для будущего историка, но историческим и для современного общества, в особенности для молодого поколения. Ведь вся современная нашему поколению, поколению отцов, литература по русской общественной религиозной мысли, вышедшая из-под печатного станка каких-нибудь 15—20 лет тому назад, для современного молодого поколения является столь же древним, историческим, засыпанным городом, каким является для него и Хара-Хото. Наш исторический долг перед русской молодежью — повести ее в эти долины былого и произвести для нее не только археологические раскопки библиографического характера, но дать ей также и образцы избранных страниц по основным и наиболее важным для молодежи проблемам.

«Путь Странника» — внепартийный журнал русской религиозной общественной мысли, объединяющий последнюю на почве общих положительных идей, утверждающих русскую культуру и ее миссию на земле.*

Таким образом, Самиздат — не новое явление в России. Более того, он имеет давнюю традицию. Но Самиздат, каким мы его знаем в наше время, возник на пороге новых шестидесятых годов.** Как известно, шестидесятые годы во все века играли особенную, исключительную роль в русской истории. По значительности, яркости и выразительности, с ними могут сравниться только первые, начальные десятилетия веков. Происходит это,

* Отрывки из статей, появившихся в 1920-х гг. в самиздатских журналах России, были напечатаны в №№ 1 и 2 журнала «Утверждение», в феврале и августе 1931 года, в Париже.

** Шестидесятые годы начались, конечно, не в 1960, а в 1961 году. 1960 год был последним годом пятидесятых годов.

вероятно, из-за смены поколений с интервалами в тридцать-сорок лет. Новые люди выходят на сцену, новые расцветают таланты. Шестидесятники всегда были носителями новых идей, всегда шли не просёлочной дорогой, а главным трактом русской истории. Шестидесятником был Афанасий Ордын-Нащокин, гениальный преобразователь, предшественник Петра. Шестидесятниками были люди, создавшие «Вольное экономическое общество» и «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг на российский язык». Примечательно то, что на горизонте шестидесятых годов в России всегда появлялись не отдельные звезды, а целые созвездия, плеяды блестящих талантов, сразу охватывавших все стороны общественной жизни, науки, публицистики, литературы. Конечно же, появление Самиздата дало совершенно другой тон, другую окраску шестидесятым годам XX века.

Как и полагается явлению шестидесятых годов, нынешний Самиздат коренным образом отличался от Самиздата двадцатых годов. Если, во-первых, издатель журнала «Путь Странника» принадлежал к «поколению отцов», пытавшихся выполнить «исторический долг перед русской молодежью», то издатели журналов «Синтаксис», «Феникс», «Сфинкс», «Бумеранг», «Спираль», «Вече», «Демократ», «Свободная мысль», «Сеятель», «Общественные проблемы», «Хроника текущих событий», «Политический дневник» и др. сами были молодежью. Во-вторых, нынешний Самиздат располагает такими техническими возможностями, какие и не снились, скажем, издателю того же «Пути Странника», по необходимости довольствовавшегося «ундервудовским тиражом» своего журнала. Не говоря уже о том, что пишущая машинка перестала быть редкостью, возникла техника фотокопирования, микрофильмирования, магнитофонных записей. А радиостанции! Каждое, сколько-нибудь значительное произведение, появившееся в Самиздате в России, передавалось, например, по Радио Свобода и о нем узнавали повсюду, даже в самых далеких, глухих уголках страны. Да и страна-то в шестидесятых годах была уже не та, что в двадцатых!.. Разве было тогда в России столько научных работников, технической интеллигенции, учителей, журналистов? Как заметил Жорес Медведев в своей самиздатской книге «Международное сотрудничество ученых и национальные границы», «если даже половина процента этой массы людей готова уделить немного времени, чтобы иметь у себя ту или иную работу, то это уже обеспечивает размножение ее в тысячах экземпляров».

Несмотря на то, что в России есть давняя традиция Самиздата, Жорес Медведев правильно говорит, что нынешний Самиздат

дат — «новое явление в современном мире». «Нынешний Самиздат обладает многими специфическими чертами. Он возник не как какое-то скрытое, тайное дело, как раньше, ограниченное очень узким кругом людей, с небольшими тиражами и преимущественным распространением стихов, часто анонимных. В сталинские времена Самиздата практически не было, все пресекалось в зародыше. Процветало лишь устное творчество политических анекдотов, особенно развившееся в первые годы 'хрущевского десятилетия'. Нынешний Самиздат, возникший волной в последние годы этого десятилетия, сразу заявил о себе скрытой, но мощной силой. . . . Стали стихийно размножаться интеллигенцией не только стихи и небольшие литературные произведения, стенограммы выступлений и т. д., но и крупные работы исторического, социологического и литературного характера. Самиздат захватил в свой поток повести и романы большого объема, обширные циклы песен и иногда, правда, в очень редких случаях, переводы иностранных авторов. Даже крупные работы быстро размножались в сотнях и тысячах экземпляров и их по конвейеру, до полного истрепывания бумаги или фотобумаги, читали десятки, а иногда и сотни тысяч людей в течение многих лет без остановки. Процесс имел цепной характер».

Причем, замечает Жорес Медведев, «Самиздат подхватывает лишь такие работы, которые берутся мыслящей частью нашего общества на идейное вооружение, которые, будучи часто талантливыми, обладают также и гражданской силой, мужеством новых форм и подходов, глубиной мысли, находят отклик в человеческой душе своей безусловной правдой. Когда человек чувствует, что работа, которую он прочитал, должна быть обязательно прочитана и другими, что она меняет что-то к лучшему, что она зовет к ответу виновных и выявляет корни зла, чувствуемого всеми, тогда и читатель хочет помочь автору, он хочет вложить свой труд и свой голос и свой бюджет в сохранение и распространение прочитанного им произведения. Самиздат — это лучший оценщик качества произведений, чем официальная литературная критика».*

Жорес Медведев, кроме того, отмечает, что мощная волна Самиздата возникла после «идеологического пленума в июле 1963 года» — «как реакция на начавшееся сдерживание творчества литературного, исторического, социологического и отчасти научного (в области биологии и сельского хозяйства)». Вот это-то

* Ж. А. Медведев, «Международное сотрудничество ученых и национальные границы», Издательство Макмиллан, Лондон, 1971 г., стр. 354.

и показывает, что после войны 1941—45 гг., как и после первой Отечественной войны, в России люди (вспомним, опять-таки, Герцена!) «уже не так покорны, не так сговорчивы, как прежде».

Как раз пример такой «непокорности», «несговорчивости» дал Александр Гинзбург, редактор журнала «Синтаксис», с которого и начинается история нынешнего Самиздата. По выходе журнала в свет (вышло всего три номера), Гинзбург был арестован и сослан на каторжные работы в урановых шахтах. Вернувшись с каторги, он не склонил голову перед властями: выступал на демонстрации у памятника Пушкину в Москве, составил «Белую книгу» по делу писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, принял участие в выпуске другого самиздатского журнала «Феникс». В январе 1967 года его арестовали в третий раз. В «Белой книге» он говорит, что «мы больны одной старинной болезнью» — болезнью свободного слова, отсутствием гласности. Весьма характерно, что Гинзбург ссылался на Петра Долгорукова, знаменитого публициста и историка, сотрудника Герцена по «Колоколу», автора книги «Правда о России», вышедшей за рубежом в 1861 году, и приводил в «Белой книге» такие слова Долгорукова: «Люди, желающие скрывать и утаивать язвы, похожи на опасных больных, которые предпочли бы скрывать свои болезни и умереть скорее, чем призвать на помощь искусного врача, который бы их исцелил и возвратил бы им обновленные свежие силы. Для России этот врач — гласность!» Призыв к гласности, к раскрепощению слова, к преодолению немоты, к отказу от «сообщничества молчанием», — это можно найти не только у Александра Гинзбурга, но и у братьев Медведевых, и у Александра Солженицына, и у многих других писателей, историков, публицистов, чьи имена связаны с зарождением Самиздата в России.

Для некоторых крупных поэтов и писателей современной России Самиздат был колыбелью. Именно в «Синтаксисе» появилось первое стихотворение Беллы Ахмадулиной «Пятнадцать мальчиков, а может быть и больше». Белла Ахмадулина, москвичка, родившаяся в 1937 году, теперь выросла в большого, значительного поэта, но ей, как и тем, кто любит ее стихи, конечно, дорог тот скромный машинописный журнал, со страниц которого раздался ее голос, тогда еще робкий и неуверенный.

Иные писатели, не имея возможности опубликовать свои вещи из-за цензурных условий в России, переправляли их за границу. Тут надо прежде всего назвать Андрея Синявского, поскольку его статья «Что такое социалистический реализм» еще в 1959 году появилась в парижском журнале «Эспри», а в 1960 году за рубежом была опубликована его повесть «Суд идет», —

первая бесцензурная, «нелитованная» повесть современного писателя-инакомысла, вышедшая уже не машинописным, а типографским изданием и тотчас же переведенная на многие языки.

Для 1960 года характерны такие сцены, какая произошла, например, в августе в Эрмитаже. По залам Эрмитажа шла группа иностранных туристов. Вдруг одной француженке-туристке кто-то дал большой конверт. На конверте было написано на четырех языках — русском, немецком, английском, французском: «Прошу вас увезти эту рукопись из нашей страны (из 'социалистических стран'). Если у вас нет такого желания или возможности, сожгите ее, но не оставляйте здесь и не показывайте никому из советских подданных. Берегите от похищения». Француженка, в руках которой оказался этот конверт, растерялась и бросила его на пол. Ее задержали, — в милицию попал и человек, стоявший рядом с ней в Эрмитаже. Он оказался советским гражданином по имени Михаил Нарича. В милиции он заявил, что ничего не передавал француженке, а та, в свою очередь, сказала, что конверт ей передал не этот человек, а другой, который, по-видимому, скрылся. Как француженку, так и Михаила Наричу отпустили, — пакет, разумеется, забрали. В конверте была рукопись повести «Неспетая песня». Но вскоре эта повесть все же была переправлена за границу, — в конце 1960 года она была опубликована в одном зарубежном русском журнале. Михаил Нарича был-таки автором этой повести, хотя она была подписана псевдонимом «М. Нарымов». Эпиграфом к своей повести он взял слова Ромена Роллана: «Трижды убийца — убивающий мысль!»

В противодействии убийству мысли и заключается весь смысл, весь пафос Самиздата. «Наш спаситель-Самиздат», как скажет впоследствии Александр Солженицын в первом томе «Архипелага ГУЛаг».

1961

УБИЙЦЫ СРЕДИ НАС

Вот какие бывают удивительные встречи . . . Было это в конце 1961 года, вскоре после XXII съезда КПСС. В Кремлевскую больницу в Москве привезли больную писательницу Галину Серебрякову. Это была старая большевичка, участница гражданской войны, — в беллетристике она специализировалась на романах из жизни Маркса и Энгельса. Ее несчастье, однако, состояло в том, что она была женой сперва Г. Сокольников, а потом Л. Серебрякова, — в январе 1937 года они оба сидели на скамье подсудимых, вместе с Ю. Пятаковым и К. Радеком, на процессе «Параллельного центра». 7 сентября 1936 года была арестована и она. «Это был день, когда для меня все померкло», — писала она впоследствии. В тюрьме, когда ее вызывали на допрос, гремел засов, дверь камеры открывалась, и корпусной по-заведенному спрашивал «фамилия, имя, отчество», она отвечала: «Еребрякова», — буква «С» (Сокольников! Серебрякова!) на долгое время выпала из ее сознания. В своих воспоминаниях она рассказывает:

«Был август 1949 года. Я находилась тогда в заключении, в Алма-Ате, в одиночке, без права переписки и ничего не знала о своих детях и матери, не читала писем, не видела людей, только следователя. После десятилетнего заключения и ссылки я была арестована снова. Камера моя, расположенная под железной крышей, окрашенная в рыжий цвет, не имела окон, и раскаленный знойный воздух поступал в нее через черную трубу под самым потолком. Электрический свет незатухавшей круглые сутки лампочки, казалось, жег мою голову. Время превратилось в пытку. Я была заживо погребенной. Прошло уже тринадцать лет, как судьба швырнула меня в бездну, и я все еще продолжала падать».

Ей предстояло «падать» еще семь лет, — из «архипелага ГУЛаг» она вышла лишь в 1956 году. И вот, в конце 1961 года ее, больную, привезли в Кремлевскую больницу. Кого же она

там встретила? Поскребышева! Личного секретаря Сталина... Генерала Александра Николаевича Поскребышева! Он был свояк Льва Седова, — его жена была родной сестрой жены сына Троцкого. По приказу Сталина, жена Поскребышева была арестована и расстреляна, но самого Поскребышева он продолжал держать при себе и отстранил его лишь незадолго до своей смерти. Поскребышев был отстранен, но не арестован. Никто не знал, где он и что с ним случилось, и вдруг «Серебрячиха» (как звали ее, недолюбливая, товарищи по ссылке) встретила его в Кремлевской больнице.

В ту пору Поскребышеву было уже 70 лет. Но он все еще обладал хорошей памятью. И он охотно разговаривал с писательницей, — быть может, он читал ее трилогию о Марксе «Прометей». Он рассказывал, как молодым человеком попал в секретариат Сталина и как долгие годы был послушным орудием «Хозяина» во всем, в том числе, разумеется, и в кровавом терроре. Никаких угрызений совести, однако, Поскребышев не выказывал, а, наоборот, с удовольствием вспоминал годы сталинщины:

— Как-то раз я спросил Берия, что случилось с таким-то крупным партработником? Сидит? — Па-ачему сидит?! — воскликнул Берия. — Лежит! Давно лежит!

И рассказывая это как какой-то анекдот, Поскребышев расхохотался... У Галины Серебряковой был приятель, который бесследно исчез во время ежовщины.

— Был слух, что его отравили, — сказала она Поскребышеву.

— Когда это было? — спросил Поскребышев.

— Не то в тридцать седьмом, не то в тридцать восьмом году.

— Не могло этого быть, — сказал Поскребышев. — Вернее всего, его расстреляли. Мы начали применять яды только в сококовом году.

Поскребышев умер в Кремлевской больнице осенью 1966 года. О таких злодеях, как он, много говорилось на XXII съезде КПСС в октябре 1961 года. Так, на заседании 19 октября секретарь Ленинградского обкома КПСС И. Спиридонов говорил:

«Маленков, Молотов, Каганович и Ворошилов несут персональную ответственность за многие массовые репрессии по отношению к лучшим кадрам нашей партии и государства. К так называемому 'ленинградскому делу', от начала до конца надуманному и клеветническому, кроме авантюриста Берия, приложил руку Маленков. На совести Маленкова лежит гибель ни в чем не повинных людей и многочисленные репрессии».

Вслед за Спиридоновым выступал Кирилл Мазуров, первый секретарь ЦК компартии Белоруссии:

«Маленков выехал в Белоруссию и учинил разгром руководящих кадров республики. В результате его деятельности во время его пребывания в Белоруссии почти весь руководящий состав республики, в том числе секретари ЦК, председатель Совнаркома, наркомы, многие руководители местных партийных и советских органов и представители творческой интеллигенции были исключены из партии и многие из них арестованы. Все эти ни в чем не повинные люди сейчас реабилитированы, причем многие посмертно».

Н. Шверник, председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, докладывал XXII съезду:

«Такими же провокационными методами Маленков осуществил разгром преданных партии кадров в Армении. На пути следования в Ереван Маленков заехал в Тбилиси к Берия и договорился с ним о порядке так называемого 'расследования', которое должно было подтвердить версию о наличии в Армении широко разветвленной антисоветской организации. В результате этой провокации по личному указанию Маленкова были проведены незаконные аресты почти всего руководства ЦК и Совнаркома Армении. Маленков лично допрашивал арестованных, применяя при этом недозволенные методы».

Председатель КГБ А. Шелепин добавил такую подробность:

«К совести Маленкова взывает и память многих работников партийного и советского аппарата Армении, арестованных по его указанию в связи с самоубийством первого секретаря ЦК Компартии Армении товарища Ханджяна, которого, как потом выяснилось, лично убил Берия в своем кабинете. Таким образом, Маленков уничтожением ни в чем не повинных людей помог своему сподвижнику Берия скрыть это злодеяние».

Вот что открылось на XXII партсъезде!.. Некоторые речи читались, как детективный роман. Берия, оказывается, лично убил Ханджяна в своем кабинете... Агаси Гевондович Ханджян был еще молод, — ему было только 35 лет, когда его убил Берия. В детстве Ханджян учился в Эчмиадзине, у стен древнего монастыря, — потом он окончил в Москве «свердловку». Ему было 19 лет, когда он стал секретарем Ереванского комитета партии; в 29 лет он был уже первым секретарем ЦК Компартии Армении. И вот, Берия лично, своими руками, в своем кабинете убил Ханджяна! Маленков помог ему скрыть это преступление, — таким образом, Маленков был соучастником убийства.

Убийцы среди нас! — вот к чему сводились многие выступления на XXII партсъезде. Например, о Молотове рассказывалось на съезде такое:

«Вот один из примеров бесчеловечного отношения к судьбам людей. В 1937 году к Молотову, как к председателю Совнаркома, обратился один из профессоров, работавший в Наркоминделе. Он писал Молотову о том, что его отец арестован, очевидно, по недоразумению, и просил вмешаться в судьбу отца. Вместо того, чтобы разобраться в этой человеческой просьбе, Молотов написал резолюцию: 'Ежову. Разве этот профессор все еще в Наркоминделе, а не в НКВД?' После этого автор письма был незаконно арестован».

«В июне 1937 года один из работников Госплана СССР написал письмо Сталину, в котором указал, что член бюро Комиссии советского контроля при Совнаркоме СССР Ломов (Оппоков) якобы имел дружеские отношения с Рыковым и Бухариным. Сталин наложил на этом письме резолюцию: 'Товарищу Молотову. Как быть?' Молотов написал: 'За немедленный арест этой сволочи Ломова. Вячеслав Молотов'. Через несколько дней Ломов был арестован, обвинен в принадлежности к правооппортунистической организации и расстрелян».

Убийцы среди нас... Тем, кто жил тогда в Москве, да и делегатам XXII съезда партии, съехавшимся в Москву со всех концов страны, быть может, случалось проходить по улице мимо Кремлевской больницы... — могли ли они думать, что вот там, у того окна, сидит Поскребышев и вспоминает свои веселые беседы с Берия! Некоторые делегаты XXII съезда вспоминали в своих речах курьезные факты, относящиеся к XX съезду:

«Вспоминается, — говорил Зиновий Сердюк, заместитель председателя Комиссии партконтроля, — вспоминается, что Молотов после Двадцатого съезда был даже назначен председателем Комиссии по расследованию допущенных в прошлом нарушений социалистической законности. Но он, Молотов, сделал все, чтобы и на этот раз скрыть правду от партии».

Конечно, не один Молотов, или, скажем, Маленков, Каганович, старался «скрыть правду от партии», — не одни они были лично замешаны в преступлениях «периода культа личности». Нет спора, не были чисты руки и у Никиты Хрущева, но он с присущей ему мужицкой хитростью не сопротивлялся «потоку времени», а наоборот, оседлал волну, и она несла его дальше, дальше... — пожалуй, он не вполне осознавал, куда. По первоначальному замыслу, главной задачей XXII съезда КПСС, как она была определена Президиумом ЦК КПСС, было принятие новой программы и нового устава партии. Многочасовым докладом Н. С. Хрущева по этому вопросу и начался съезд. Но

как на XX съезде Хрущев сыграл ва-банк и выиграл, он решил сорвать еще больший куш на XXII съезде. В № 33 самиздатского «Политического дневника» (июнь 1967 года) находим следующую информацию:

«Вопрос о фракционной группе Молотова, Маленкова и других был поднят Н. С. Хрущевым на XXII съезде КПСС совершенно неожиданно, это было, по-видимому, полностью его личной инициативой. Естественно, что нельзя было говорить о членах фракционной группы и их преступлениях, не говоря вместе с тем и о преступлениях Сталина. Съезд поэтому пошел по иному руслу, чем это было намечено предварительно. В центре внимания съезда оказалась не программа партии, а вопрос о преступлениях Сталина и его помощников. Многие важные решения, в том числе и такие, как решение о выносе тела Сталина из мавзолея и о переименовании городов, улиц, площадей и др., носящих имя Сталина, были приняты, по-видимому, на самом съезде, а не предварительно. Очень многие из делегатов съезда и руководителей ЦК срочно переделывали уже в дни съезда свои выступления, пополняя их теми или иными фактами о преступлениях Сталина или о фракционной группе. Многие из видных членов ЦК позднее говорили с раздражением, что Хрущев 'вопреки имевшейся ранее договоренности' вытащил на свет на съезде 'дохлую кошку' фракционной группы. Это одна из причин — почему сейчас стараются не вспоминать и не упоминать о решениях и материалах XXII съезда, но только о решениях XX съезда».

В президиум XXII съезда поступило письмо старых большевиков, которые предлагали «увековечить память товарищей, ставших жертвами произвола», и Н. С. Хрущев, оглашая это письмо, сказал, что для этого «следует соорудить памятник в Москве», — все это теперь забыто. Николай Родионов, второй секретарь ЦК Компартии Казахстана, говорил на XXII съезде, что «за разбой надо отвечать по всей строгости закона», и многие тогда думали, что после тех обвинений, которые были предъявлены Молотову, Маленкову, Кагановичу, последует открытый судебный процесс, на котором перед партией и всем народом откроется полная картина преступлений хотя бы только «периода культа личности». Ничего такого не произошло...

Почему? В «Письме вождям Советского Союза» Александр Солженицын говорит о «хрущевском чуде» 1955—56 годов — «непредсказанном, непредвиденном невероятном чуде роспуска миллионов невинных заключенных, соединенном с оборванны-

ми начатками человеческого законодательства». «Эта вершина деятельности Хрущева, — пишет А. Солженицын, — далеко выдвигалась за рамки необходимых ему политических шагов. По сути своей она была враждебна коммунистической идеологии, несоместима с нею (отчего так поспешно от нее отвернулись и методически отошли). Те реформы руководились несомненным сердечным движением, раскаянием, распахом души». Почему же, спрашивается, Н. С. Хрущев не довел эти реформы до конца? Если не «до конца», то до того рубежа, от которого уже нет возврата?

«Политические шаги» Н. С. Хрущева были вполне успешны, — в 1961 году, на XXII партсъезде, он был уже неоспоримым вождем партии и главой государства, «первый среди равных», на вершине власти. Пять лет спустя, в феврале 1966 года, писатель Юлий Даниэль на суде так определял психологический климат в стране в дни XXII съезда КПСС: «В 1960—61 гг. я — и не только я, но и любой человек, серьезно думающий о положении в нашей стране, — был убежден, что страна находится накануне вторичного установления нового культа личности. Со смерти Сталина прошло не так уж много времени. Мы все хорошо помнили, что называется 'нарушениями социалистической законности'. И вот снова я увидел все симптомы: снова один человек знает все, снова возвеличивается одна личность, снова одна личность диктует свою волю и агрономам, и художникам, и дипломатам, и писателям. Мы видели, как снова замелькало со страниц газет и на афишах одно имя, как снова самое банальное и грубое выражение этого человека преподносится нам, как откровение, как квинтэссенция мудрости».

При всей успешности «политических шагов» Н. С. Хрущева, почему же был положен предел «сердечному движению, раскаянию, распаху души»? В одном можно не сомневаться: Н. С. Хрущеву был чужд демонизм власти, который черным огнем горел в Сталине. Если он устанавливал «новый культ личности», то отчасти и потому, что не знал ничего другого. В таком случае, почему, обладая, казалось бы, полнотой власти, он не пошел дальше по пути, открывшемуся на XXII съезде партии?

Прежде всего, думается, потому, что он был слишком политиком и не понимал, что Россия нуждается не просто в «политических шагах», но в чем-то большем, — в нравственной революции! 31 января 1958 года, т. е. два года спустя после XX съезда КПСС, он беседовал в Москве с редактором Иностранного отдела лон-

донского «Таймса», Айверахом Макдональдом, и говорил об «оттепели»:

«Если говорить образно, то проведение политики несколько напоминает явления в природе. Например, сегодня в Москве 20 градусов мороза, а в отдельных районах нашей страны температура доходит до минус 50—60 градусов. Как известно, к весне температура постепенно повышается, прогревает солнышко, начинается постепенное таяние, наступает пора вешних вод, и обычно никаких разрушительных явлений от этого не происходит. Но представьте себе, что произошло бы, если бы был резкий переход от минус 60 до плюс 25 градусов. Тогда получилось бы нечто вроде 'всемирного потопа' и даже хорошо умеющие плавать могли бы утонуть. Так и в политике иногда приходится придерживаться правил постепенного перехода, решать вопросы в несколько этапов»*.

Быть может, в представлении Н. С. Хрущева XX съезд КПСС в 1956 году был одним таким этапом, ХХП съезд в 1961 году — вторым... Увы, ХХІІІ съезд КПСС в 1966 году происходил уже без Н. С. Хрущева.

Впоследствии, уже в отставке, Н. С. Хрущев испытывал сожаление, что побоялся «потопа». «Была некоторая двусмысленность в нашем поведении на (XX) съезде, — говорит он в первом томе своих воспоминаний. — Мы отложили реабилитацию Бухарина, Зиновьева, Рыкова и других. Теперь я вижу, что это была ошибка». Курьезно, что «двусмысленность», проявленную на XX съезде КПСС, он объяснял как раз боязнью совершить ложный «политический шаг»: по его словам, этого «не поняли бы наши иностранные товарищи». Но... как поняла бы его Россия! Как оживилась бы партия, будто sprysnutaя живой водой, если бы ей сказали, что реабилитация лидеров как правой, так и левой оппозиций означает легализацию оппозиционных течений внутри партии, признание того, что политическая оппозиция необходима для нормальной жизни общества! Как встрепенулась бы страна, если бы, реабилитируя Бухарина, ей сказали, что это означает осуждение «великого перелома», признание того, что «коллективизация была ложной, неудавшейся мерой», что человек, написавший своим пером конституцию 1936 года, считал, что «вторая партия необходима»!

«Двусмысленность», или, как говорит Александр Солжени-

* Н. С. Хрущев, «К победе в мирном соревновании с капитализмом», Госполитиздат, 1959, стр. 66.

цын, «двоемыслие», Н. С. Хрущев проявлял не только на XX, но и на XXII партсъезде. Правда, что мумия Сталина была вынесена из мавзолея в дни съезда, но почему тогда же, в присутствии всех делегатов съезда, не был заложен памятник в Москве, о котором говорил Н. С. Хрущев? Причем памятник не только «деятелям коммунистической партии и советского государства», но и миллионам и миллионам невинных людей, «ставших жертвами произвола!» Почему Молотов, Маленков, Каганович не были преданы суду, хотя на XXII съезде им были предъявлены обвинения?

Конечно, составитель этой книги понимает, что все это — риторические вопросы. Н. С. Хрущев боялся «потопа» на XX съезде, на XXII съезде и после XXII съезда. Полтора года спустя после XXII съезда, 8 марта 1963 года, на встрече с деятелями литературы и искусства, он говорил:

«Рассказывают, что в журналы и издательства происходит наплыв рукописей о жизни людей в ссылке, в тюрьмах, в лагерях. Повторяю еще раз, что это очень опасная тема и трудный материал. Чем меньше у человека ответственности за наш сегодняшний день и за будущее нашей страны и партии, тем с большей легкостью бросаются на этот материал любители сенсаций, любители 'жареного'. Вы сочините сенсацию, дадите это 'жареное', а кто набросится на него? На такое 'жареное', как на падаль, мухи набросятся, огромные жирные мухи, поползет всякая буржуазная нечисть из-за рубежа».

Как видим, опять «политические соображения»! Между тем, нравственная революция, в какой нуждается страна, требует как раз полной, безжалостной и беспощадной гласности, раскрытия всего, решительно всего, что произошло в России и с Россией за пооктябрьские десятилетия.

Нравственная революция... — могли ли дойти до Никиты Хрущева ее веления, мог ли он когда-нибудь понять необходимость такой революции для России? Конечно, нет. Был ли он хорош или плох как марксист, но он все же был марксистом. Кроме XXII съезда КПСС, 1961 год ознаменовался еще одним большим событием, пожалуй, более значительным, нежели какой бы то ни было съезд какой бы то ни было партии, — 12 апреля 1961 года был запущен в космос корабль «Восток», пилотируемый Юрием Гагариным. Вспоминается, что когда Франсуа Мориака в 1957 году спросили, что думает он о запуске первого искусственного спутника Земли, он ответил: «То же самое, что я думаю о музыке

Моцарта... Разве не достаточно трех нот Моцарта, чтобы почувствовать высокое предназначение человека?» Беда Никиты Хрущева — и историческое несчастье России! — в том именно и состояло, что этому, конечно же, не безнациональному и природно одаренному человеку было чуждо понятие о «высоком предназначении человека». Как показывают его речи на художественной выставке в Манеже, на встречах с деятелями литературы и искусства, в каждом человеке он видел лишь винтик машины, — не дух, не личность, а кусок материи, материальное существо, полностью зависимое от внешнего мира, от общества. «Вы, деятели литературы и искусства, — кузнецы по перековке психологии людей», — сказал он однажды; Сталин, по крайней мере, называл их «инженерами»...

1962

«Щ-854»

В октябре 1961 года, в Рязани, в новом, но уже облупившемся трехэтажном доме в Проезде Яблочкова, жил учитель физики и математики. В школе ему дали минимальную нагрузку — на 60 рублей в месяц. Учитель внимательно следил за тем, что происходило на XXII съезде КПСС в Москве, и так как в «Известиях», которые он выписывал, печатались не все речи, то он, не найдя в этой газете речь делегата съезда А. Т. Твардовского, пошел в читальню, чтобы прочесть ее в «Правде».

Несмотря на то, что специальностью учителя была математика, и на войне он потому попал в артиллеристы, его больше тянуло к литературе, искусству. Квартира на первом этаже, где он жил с женой, была забита книгами, среди которых можно было заметить полное собрание сочинений Теккерея на английском языке, и на французском — Анатоля Франса. Был у него и рояль, папки с нотами. Большую часть дня он писал, так что был рад минимальной нагрузке в школе. Что до речи А. Т. Твардовского, то еще в 1944 году, на фронте, он прочитал его поэму «Василий Теркин», — это была, как он говорил, «первая правдивая (в моем духе) книжка о войне»; естественно, его интересовало, что-то скажет этот писатель на съезде партии, — ведь написал-то он такое, чего «никто еще не писал».

По своей натуре учитель был человеком уравновешенным, спокойным, далеким от какой-либо нервозности. И это несмотря на то, что в жизни на его долю выпали тяжкие испытания: в 1945 году, на фронте, он был арестован, сидел на Лубянке, попал в лагерь, — под конец заключения в специальный, где у него на шапке, на груди, на коленях и на спине был нашит номер Щ—232. Еще в лагере ему была сделана операция от рака, но ему не сказали, какая болезнь его поразила, и в 1953 году, уже не в лагере, а в ссылке, в ауле Кок-Терек, в районе озера Балхаша, у него начались такие страшные боли, что он падал без сознания. Ему, уже умирающему, удалось добраться до Ташкента,

— там его поместили в раковый корпус и вылечили, раковая опухоль не исчезла, а «осумковалась». В июне 1956 года, т. е. три месяца спустя после XX съезда партии, ему, приговоренному было к «вечной» ссылке, позволили вернуться в Европейскую Россию, а 6 февраля 1957 года он был реабилитирован постановлением Военной коллегии Верховного Суда СССР. Крепкий, выносливый человек, — с широкой грудью, обветренным лицом, натруженными руками, привыкшими к работе каменщика и бетонщика, освоенной в лагере, — он любит спорт: зимой ходит на лыжах, хотя бы даже в городском сквере, как в Рязани, а летом пускается в «велопроходы» (бывало, по русскому Северу, по Прибалтике). По выражению одного беседовавшего с ним журналиста, его натренированная на математике голова работает как «компьютер», электронно—вычислительная машина. И вот такой-то человек, неколебимый утес в «нелюдимом нашем море», вдруг разволновался, читая в «Правде» речь А. Т. Твардовского на XXII партсъезде. Из читальни он пришел домой очень возбужденный и сказал жене:

— Твардовский говорит, что писатели не использовали возможностей, которые открыл перед ними Двадцатый съезд партии. Что если дать ему... «Щ»?

У него была готова повесть, написанная «тесно, почти без полей, с обеих сторон листа». Она называлась «Щ—854». Быть может, не без влияния Толстого, написавшего в 1851 году первое свое произведение — «историю вчерашнего дня», автор повести «Щ—854», приступая к ней в 1959 году, задался целью рассказать об одном дне одного заключенного в лагере. Правда, эта повесть не была его первым произведением: еще в ссылке, в аule Кок-Терек, он писал роман «В круге первом», где время тоже расширено и удлинено, — действие романа охватывает только один день и неполную ночь. Вот эту-то повесть, «Щ—854», никому еще не известный писатель решил дать Александру Твардовскому, редактору журнала «Новый мир».

На рукописи не было имени автора, и поскольку она поступила из Рязани, то человек, принесший ее в редакцию, написал: А. Рязанский. 8 декабря 1961 года А. Т. Твардовский вечером, уже лежа в постели, начал читать эту рукопись... — и он был взволнован, кажется, еще больше, чем автор повести его речью на XXII съезде партии. Твардовский встал, оделся, сел к столу — и к половине пятого утра прочитал всю повесть. Если «Василий Теркин» Александра Твардовского понравился автору повести «Щ—854» тем, что это была «первая правдивая книжка о войне», то и Александр Твардовский в таком же духе отозвался о

прочитанной им повести: «Ничего подобного давно не читал. Хороший, чистый, большой талант. Ни капли фальши».

Конечно, вскоре выяснилось, — и вы уже, разумеется, догадались, — что автором повести был Александр Солженицын. 12 декабря 1961 года А. И. Солженицын, по телеграфному вызову, приехал к А. Т. Твардовскому. В тот же день, на совещании в редакции «Нового мира», в особняке на улице Чехова, повесть получила новое название — «Один день Ивана Денисовича». В Рязань А. И. Солженицын вернулся с издательским договором в кармане.

Новый 1962 год Александр Солженицын встретил в Москве. По настоянию жены, он купил себе новый — серый — костюм. На новогодней пирушке у приятельницы жены выпили и за «здоровье Ивана Денисовича».

Климат отечества нашего, как известно, суровый, и еще не было известно, выживет ли первенец начинающего писателя. В мае 1962 года повесть «Один день Ивана Денисовича» была редакцией журнала подготовлена для сдачи в цензуру (Главлит). Все понимали, что цензура ее не пропустит, — в таком случае А. Т. Твардовский, сам член ЦК КПСС, мог передать «дело» в высшую инстанцию. Но, ведь, и ответработники Главлита были вхожи в ЦК КПСС, — важно было, поэтому, их опередить. Машинописные копии повести были розданы крупным московским писателям — К. И. Чуковскому, Илье Эренбургу, С. Я. Маршаку, критику М. А. Лифшицу... Предполагают, что Илья Эренбург сфотографировал рукопись, и эти — уже самиздатские! — фотокопии пошли гулять по Москве. А. И. Солженицын с женой в июне 1962 года путешествовали по Сибири, по которой его когда-то везли в «столыпине», и когда он в июле вернулся в Москву, один приятель сказал ему: «Ты сейчас — самая популярная личность в Москве». По Москве, как передавали, разошлось до 500 самиздатских экземпляров повести. И вот, среди читателей оказался В. С. Лебедев, референт «царя Никиты».

23 июля 1962 года в редакции «Нового мира» происходило совещание, на котором А. Т. Твардовский изложил «соображения и замечания» хрущевского референта, — требовались поправки. Говорили, что в повести есть места, «обидные для старых большевиков», что нельзя высмеивать такой кинофильм, как «Броненосец Потемкин», уже давно признанный классическим... Но тут мы опять-таки видим пример того, что после войны 1941—1945 гг. люди в России были «уже не так покорны, не так сговорчивы, как прежде». Недаром Александр Солженицын был ветераном Великой Отечественной войны, капитаном, командиром

батареи, награжденным двумя орденами — орденом Отечественной Войны и орденом Красной Звезды. «У меня нет такой заветной мечты: увидеть свою повесть напечатанной, — несговорчиво сказал он на совещании в 'Новом мире'. — Я ждал долго и пооджду еще. Я не пойду на переделки, которые бы нарушили гармонию моей вещи или шли в противоречие с моей совестью». *

7 сентября 1962 года Н. С. Хрущев принял на даче в Гаграх, на берегу Черного моря, американского поэта Роберта Фроста, посланца президента Джона Ф. Кеннеди. При встрече присутствовали референт В. С. Лебедев и поэт Алексей Сурков, и как бы невзначай они завели разговор о повести «Один день Ивана Денисовича». Н. С. Хрущев заинтересовался, и через несколько дней В. С. Лебедев прочитал вслух всю повесть Хрущеву и Микояну. Впоследствии, говоря о том, как «царь Никита» познакомился с «Иваном Денисовичем», А. И. Солженицын сказал, что этот день —

Запомнить страшно просто:
Когда Никита принял Фроста.

21 сентября А. Т. Твардовский получил приказание из ЦК КПСС — к утру отпечатать типографским способом 20 экземпляров повести «Один день Ивана Денисовича». В типографии «Известий» было выделено несколько линотипов и печатных машин на «закрытое» издание повести. Дело в том, что 23 сентября Н. С. Хрущев уезжал в большую поездку по Средней Азии, а перед поездкой он хотел раздать эту повесть всем членам Президиума, а также некоторым работникам ЦК КПСС.

В Москву Н. С. Хрущев вернулся 11 октября. Вскоре состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором «царь Никита» спросил: — печатать или нет? Передают, что все молчали. «Ну, значит, будем печатать», — сказал Н. С. Хрущев. 15 октября В. С. Лебедев неофициально позвонил А. Т. Твардовскому: «Разрешено!» ** В субботу 20 октября редактор «Нового мира»

* Журнал «Вече», № 5, 25 мая 1972 г. Архив Самиздата № 1230

** «Откуда он взялся в окружении Хрущева и чем он занимался раньше? — я так и не узнал, — пишет А. Солженицын о Лебедеве в книге «Бодался теленок с дубом» (стр. 71). — По профессии этот таинственный верховный либерал считал себя журналистом. . . . По-знакомились мы на первой 'кремлевской встрече руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией' — 17 декабря 62 г. . . . Меня поразила его непохожесть на партийных деятелей, его безусловная тихая интеллигентность (он был в безоправных очках, только стекла и поблескивали, оставалось впечатление как от пен-

был вызван к Н. С. Хрущеву. Беседа длилась два часа. Хрущев сказал, что эта повесть — «жизнеутверждающая вещь» и что она «идет в развитие XXII съезда».

Итак, по заведенному порядку, сверстанная ноябрьская книжка журнала «Новый мир» в конце октября поступила в Главлит, — она открывалась повестью «Один день Ивана Денисовича», вернее, кратким предисловием Александра Твардовского к этой повести. Из Главлита тотчас же последовал телефонный запрос: «Вы думаете, что вы делаете?» Как оказалось, в Главлите еще не знали, что повесть уже одобрена «на верхах»...

15 ноября был готов сигнальный экземпляр 11-го номера, а 17 ноября номер начали рассылать подписчикам. Это была суббота. В редакции «Нового мира» сотрудники могли купить только что вышедший номер журнала. Как впоследствии рассказывал А. Т. Твардовский, в редакции «было как в церкви: каждый тихо подходил, платил 70 копеек и получал долгожданный номер».

В те дни в Москве только и было разговоров, где бы достать одиннадцатый номер «Нового мира»? В киосках повсюду висели объявления «Одиннадцатого номера журнала 'Новый мир' в продаже нет». Один московский киоскер сказал: «Я отвечал сперва — журнала нет. Потом интереса ради стал считать, сколько человек подойдет к киоску и спросит, нет ли у вас одиннадцатого номера 'Нового мира'? Считал, считал... досчитался до тысячи двухсот и отступился. Вывесил объявление: 'Журнала нет'».

В 1962 году было немало шумихи насчет перестройки управления сельским хозяйством... — но кто будет помнить, чем кончилось укрупнение совнархозов? Праздновали в тот год 40-летие советской прокуратуры и 45-летие органов госбезопасности... — лучше бы уже молчали об этом, не праздновали! В истории, конечно, будет отмечено, что в 1962 году состоялся первый групповой полет в космосе, — полет двух космических кораблей, Николаева и Поповича. Но даже и это не было самым памятным событием 1962 года. Всего памятнее, на долгие времена, то, что в тот год никому не известный писатель вдруг вышел на мировую орбиту.

Дело, однако, не в одной повести А. И. Солженицына. Как мы видели, XXII съезд КПСС, направленный Н. С. Хрущевым

сне). Может быть потому, что он был — главный благодетель и смотрел ласково, я его и охватил таким. Разговора содержательного не было, он заверил меня, что я 'теперь на такой орбите, с которой меня не сбить', похвалил, что я интервью не даю, и просил 'Ивана Денисовича' с автографом. Это был просто от неба приставленный к беспутному Хрущеву ангел чеховского типа».

совсем в другом направлении, чем это было решено Президиумом ЦК КПСС, побудил А. И. Солженицына попытаться продвинуть в печать повесть «Щ-854». Но опубликование этой повести в свою очередь послужило толчком для других, очень сложных процессов внутренней жизни страны.

Начать с того, что во время двухчасовой беседы с Александром Твардовским 20 октября 1962 года Н. С. Хрущев разрешил печатать не только повесть «Один день Ивана Денисовича», но и поэму «Василий Теркин на том свете», которая уже несколько лет лежала в ящике письменного стола Александра Твардовского. На следующий же день, 21 октября, в воскресном номере «Правды» появилось стихотворение Евгения Евтушенко о «наследниках Сталина», отрывок из которого приведен нами в главе о 1953 годе.

Прорвался поток романов, повестей, рассказов, где главным героем, как и в «Василии Теркине» и «Иване Денисовиче», была Правда. Конечно, и до того в послесталинские годы появлялись такие отдельные произведения: «Тишина» Юрия Бондарева, «Большая руда» Георгия Владимова, «Собственное мнение» Даниила Гранина, «Не хлебом единым» Владимира Дудинцева, «Поездка на родину» Николая Жданова, «Семь дней недели» Семена Кирсанова, «Кира Георгиевна» Виктора Некрасова, «Ухабы» Владимира Тендрякова, «Рычаги» Александра Яшина. Но теперь это был поток: в феврале 1963 года в «Новом мире» — «Хочу быть честным» Владимира Войновича, и в том же месяце в журнале «Юность» — «Первый день Нового года» Анатолия Гладилина, а в апреле, в журнале «Знамя» — «Утоление жажды» Юрия Трифонова, в августе в том же «Знамени» — «Солдатами не рождаются» Константина Симонова; в феврале 1964 года в «Новом мире» — «На Иртыше» Сергея Залыгина, а в мае — «Годы и войны» ген. А. Горбатова, в июле в «Новом мире» — «Хранитель древностей» Юрия Домбровского, в «Октябре» — «Повесть о пережитом» Бориса Дьякова, в сентябре в журнале «Москва» — «Молодо и старо» Василия Гроссмана, в октябре в журнале «Октябрь» — «Жив человек» Владимира Максимова.

Нельзя не отметить и серию «очерков» по истории партии, которая начала выходить в 1962 году. Начало этой серии, кажется, было положено в Казани, где в 1962 году вышла книга «Очерки по истории партийной организации Татарии». В 1963 году вышли из печати «Очерки по истории Коммунистической партии Грузии», «... Азербайджана», «... Казахстана». В 1964 году увидели свет «Очерки по истории Коммунистической партии Украины», «... Армении», «... Узбекистана». В Ашхабаде

работа над «очерками» затянулась до 1965 года, в г. Фрунзе — до 1966 года. Такие книги выходили не только в республиках, но и в краевых и областных центрах: есть «Очерки истории Горьковской организации КПСС», «Очерки по истории Московской организации КПСС» и т. д. Ныне это редкие книги. Между тем, без них нельзя изучать историю партии и страны. В них, разумеется, была не вся правда, но все же порой они рассказывали поразительные факты. Так, например, из «Очерков истории Горьковской организации КПСС» можно узнать, что в 1938 году в г. Горьком целое крыло городской тюрьмы было отведено под арестованных членов горкома и горисполкома. В тюрьме сидел в полном составе Горьковский горком партии во главе с первым секретарем Пугачевским и весь состав Горьковского горсовета во главе с председателем Грачевским. Кроме того, там же находились сотни арестованных членов Горьковского обкома и облисполкома. Прямо-таки, устраивай объединенный пленум в тюремной камере! В других «очерках» находим такие факты: в 1934 г. Компартия Украины насчитывала 453 500 членов, а в 1938 г. — 285 800 членов, т. е. на 167 700 человек меньше. А ведь за эти четыре года вступали новые члены . . . — сколько же коммунистов Украины было ликвидировано? На X съезде Компартии Грузии, в мае 1937 года, присутствовали 644 делегата, — 425 из них, т. е. 66%, были арестованы, расстреляны или сосланы в лагеря.

Нет спора, не все перечисленные выше литературные произведения (а, ведь, было много еще и не попавших в этот перечень, особенно из тех, что появились в провинции, — укажем, как на один из многочисленных примеров, на роман Иосифа Герасимова «Далекая Вега», появившийся в 1963 году в журнале «Подъем» в Воронеже), — не все эти произведения одинаковы по своим достоинствам. Так, для Александра Солженицына «Повесть о pereжитом» Бориса Дьякова — это только «Записки придурка». «Придурком был и Алдан-Семенов», — пишет он во втором томе «Архипелага ГУЛаг». «Г. Серебрякова, — замечает он в том же томе 'Архипелага', — свою лагерную биографию сообщает осторожным пунктиром. Говорят, есть тяжелые свидетельницы против нее». Весьма возможно . . . Конечно же, Александр Солженицын прав, предъявляя всем — всем нам, каждому из нас — высокие нравственные требования, требования правды, раскаяния, покаяния, только так и может быть осуществлена та нравственная революция, предтечей которой он является. Но повесть «Один день Ивана Денисовича», при всем ее совершенстве, ценна еще и тем, что она прорвала запруды, и вслед за ней зашумел

поток других произведений на «лагерную тему», талантливых и менее талантливых, честных и не столь честных, однако же, вызывавших споры и менявших политический климат в стране.

... 1962 год кончился для Александра Солженицына новогодней встречей в Москве, в театре «Современник», где его пьеса была принята к постановке. Несколько дней спустя, в январе 1963 года, в газете «Советская Киргизия» был напечатан очерк «У Солженицына в Рязани», который начинался так:

«Прямая улица, ведущая к Оке, замкнутая в конце соборами Рязанского кремля. На этой улице — здание средней школы, где до последних дней преподавал физик Александр Солженицын. Достаточно было одного месяца, чтобы имя провинциального учителя узнали в Москве и Владивостоке, в Париже и на зимовьях Антарктиды».

1963

ОТЦЫ И ДЕТИ

В ночь на 1 января 1963 года ударил мороз, какого давно не видала Россия. В центральных районах европейской территории России было 20, а то и 25 градусов ниже нуля, а за Уралом, в Сибири — сильные штормовые ветры, снежные бураны. Центральный институт прогнозов напечатал в газетах бюллетень под заглавием «Проказы матушки-зимы». Впрочем, матушка-зима проказила не только в России. Из-за небывалых снежных заносов в Новый год остановилось движение на многих дорогах Англии, Франции, Германии, Бельгии. На 1 января 1963 года в странах Центральной Европы от мороза, снежных бурь погибло около тысячи человек. Такие же снежные бури пронеслись и над Северной Америкой. Некоторые метеорологи (например, проф. Ирвинг Керк в США) выступили в печати с заявлениями, что «проказы матушки-зимы» были порождены атомными взрывами в атмосфере.

Вьюжной, полной завихрений была и психологическая атмосфера в России 1963 года. В субботу 2 февраля в Московском дворце спорта состоялся вечер поэзии. Литературные вечера имеют давнюю традицию в России, и вряд ли найдется хотя бы один образованный москвич, который никогда не бывал бы на таком вечере, скажем, в Политехническом, Колонном зале, Зале имени Чайковского, наконец, у подножия памятника Маяковскому. Но вечер поэзии в . . . Дворце спорта? Это зал на 14 000 мест! Должно быть, почувствовав веяние времени, Московская секция поэзии Союза писателей решила в ноябре 1962 года вечером в этом зале начать традиционный День Поэзии. Как впоследствии вспоминал один из участников ноябрьского вечера, «самое главное в этом вечере было то, что без особой и специальной подготовки было раскуплено четырнадцать тысяч билетов, то есть проданы все места, имеющиеся в зале. Не на балет на льду, не на состязание по хоккею. А на вечер, где поэты будут читать свои стихи. Не только были распроданы все места. Милиции

пришлось в этот вечер поработать, чтобы умерить энергию и напор тех тысяч юношей и девушек, которым не досталось билетов, но которые во что бы то ни стало хотели присутствовать на этом вечере. Не очень многим удалось прорваться сквозь кордоны заграждения. Но мне кажется, что все-таки число счастливых 'зайцев' явно превысило тысячу». * Ввиду такого успеха, решили устроить там же вечер 2 февраля 1963 года. Но если в ноябре вечер продолжался, исключая перерыв, три часа, то в феврале он длился два дня, — три часа в субботу и три часа на следующий день, в воскресенье 3 февраля.

Чего искали эти молодые люди, толпами валившие к Дворцу спорта? Чего ждали они от вечера поэзии? Что надеялись там услышать? Нет, то не было желание поглазеть на «знаменитых» и «прославленных», — наибольший успех выпал как раз на долю молодого, малоизвестного поэта Александра Балина. Прочитал он стихотворение «Друзья папы», — наэлектризованная толпа тотчас же, только услышав заглавие, поняла, о каком «папе» и о каких «друзьях «папы» идет речь в этом стихотворении.

В 1963 году, как никогда, обострился конфликт поколений, отцов и детей, — Александр Балин затронул струну, которая была уже туго натянута. Натягиваться она началась еще семь лет назад, после XX съезда КПСС, и тем более натянулась в конце 1961 года, после XXII съезда. У Виктора Некрасова есть очерк, где нарисована картина Красной площади в тот день, когда Москва узнала о выносе тела Сталина из мавзолея. На площади толпился народ, и какой-то студент, который, как он сказал, «учился на математика», говорил другим людям, старшим его по возрасту:

«Мы вам не верим. Ни одному слову не верим. Всем, кому больше тридцати лет, мы, двадцатилетние, не верим».

Кто-то возразил ему: «Ты еще молод, не видел жизни», и он ответил:

«Своего отца видел. Он считает себя порядочным человеком и действительно никого не убил, ни на кого не донес. Но всю жизнь он лгал. Лгал мне, моим товарищам, маме, себе. Лгал, когда восхвалял Сталина, когда о тридцать седьмом годе говорил: 'лес рубят, щепки летят', лжет и сейчас, когда о Сталине говорит: 'убийца миллионов', а о себе — что всю свою жизнь вынужден был молчать, хотя хотелось кричать. Ложь все это! Никогда он кричать не хотел — ни тогда, ни сейчас...»

* Алексей Сурков, Странички из дневника. Сборник «День поэзии», 1963, стр. 37.

Прошло еще полтора года, и тема «отцов и детей» вырвалась на печатные страницы. В феврале 1963 года, в те самые дни, когда 14 000 юношей и девушек ответили ревом одобрения на стихотворение Александра Балина «Друзья папы», в журнале «Юность» появилась повесть Анатолия Гладилина «Первый день Нового года», где старый коммунист говорит о своем сыне: «До сих пор ко мне приходят советоваться старые и новые товарищи. Приходят все, кроме собственного сына. Вообще мой сын — самый таинственный человек из всех, кого я знаю». В январе 1963 года увидела свет новая пьеса Алексея Арбузова «Нас где-то ждут», и в ней один юноша говорит: «А я утверждаю, что проблема отцов и детей все-таки существует».

Проблема отцов и детей... Конечно же, она существует, как существовала на всем протяжении истории человечества. Ведь о поколениях, которые, будто листья на дереве, вырастают из почек, раскрываются, а потом отмирают и падают, говорится еще в «Илиаде» Гомера!.. На тему о поколениях, о смене поколений существует огромная литература. В России этот вопрос был с особенной остротой поставлен в проблемном романе Тургенева «Отцы и дети». У современного испанского философа Хулиана Мариаса есть интереснейший труд: „El método histórico de las generaciones“. Наличие этой проблемы не отрицали и большевики в первые годы революции. В «Правде» от 14 декабря 1923 года можно прочитать передовую статью «Старики и молодежь в нашей партии», а в номере от 30 декабря 1923 года — статью С. А. Лозовского «Старики и молодежь в коммунистическом движении России и Запада». С. А. Лозовский, известный деятель Коминтерна и Профинтерна (расстрелянный в 1952 году), так начинал свою статью:

«Одним из центральных вопросов нашей партдискуссии являются взаимоотношения между старым и молодым поколением в нашей партии. Вопрос, как мне кажется, до сих пор был поставлен не совсем правильно. Если бы дело шло о разных возрастных категориях в нашей партии, о том, что молодежь должна в конце концов заменить стариков, не стоило бы тратить и двух минут на такого рода полемику. Каждый прекрасно знает, что через десяток лет старшее поколение выйдет в тираж, и его место займет новое поколение. Это — азбучная истина. Если спор разгорелся внутри нашей партии по этому вопросу, то потому, что дело идет не о возрастных категориях, не о физическом исчезновении старшего поколения, а о необходимости политического омоложения партии».

В 1923 году, когда в «Правде» печатались такие статьи, пар-

тийное руководство было еще молодым руководством. Бухарину, тогдашнему редактору «Правды», было в ту пору 35 лет. «Я стал наркомом в 30 лет», — сказал однажды Микоян. Но к 1963 году большевистскую «партократию» можно было уже называть «геронтократией». Даже за десятилетие, прошедшее после смерти Сталина, повысился средний возраст руководителей компартий, стоящих у власти в тринадцати странах мира. Весной 1964 года дотошные статистики за рубежом произвели такой подсчет: они взяли все эти страны, начиная с Албании и кончая Югославией, подсчитали возраст партийных вождей — от Ходжи до Тито, и получилось, что ко времени смерти Сталина средний возраст руководителей правящих коммунистических партий составлял 53 года и 1 месяц; к XX съезду КПСС — 55 лет и 9 месяцев; к XXII съезду КПСС — 60 лет и 10 месяцев. Быть может, в постарении вождей и состоит, по крайней мере, одна причина, почему «вожди Советского Союза» в 1963 году принялись на все лады твердить, что «в советском обществе нет противоречий между поколениями, не существует проблемы отцов и детей».

Как водится, тон задал первый секретарь ЦК КПСС. 8 марта 1963 года, на встрече с деятелями литературы и искусства, Н. С. Хрущев сказал, что «в наше время проблема отцов и детей не существует в таком виде, как во времена Тургенева, так как мы живем в совершенно другую историческую эпоху, которой присущи и другие отношения между людьми».

Никакими заклинаниями, разумеется, нельзя было отогнать эту проблему. Конфликты между поколениями существуют во всяком обществе, — это естественное и повторяющееся явление в истории. В Советском Союзе, однако, конфликт принял особенно острые формы. Да и могло ли быть иначе? Отцы пережили сталинщину, ежовщину, они подвергались такому давлению, которое не могло не деформировать их сознание и психологию. Дети же, вступившие в жизнь после Сталина, не испытали такого давления, и они не могли понять всех обстоятельств, в которых находились их отцы. Как же не быть конфликту?!

Невозможно перечислить все художественные произведения, в которых нашел отражение конфликт поколений в Советском Союзе. В романах Александра Солженицына «В круге первом» и «Раковый корпус» тоже есть страницы на тему отцов и детей, — Клара Макарыгина в конфликте со своим отцом, прокурором по спецделам, а Юра Русанов — со своим, начальником спецотдела. По-разному можно относиться к поэту Евгению Евтушенко, но в 1963 году 30-летний поэт много значил для молодежи, кон-

фликтовавшей с отцами. Прежде всего он выражал настроения молодежи, когда писал, например, в стихотворении, напечатанном на страницах «Известий» 8 января 1963 года:

Моя идеология — сраженьё
со всеми, кто усердно врет с рожденья,
со всеми, кто Отечеству служенье
выслуживаньем подло подменил.

В начале 1963 года парижский еженедельник «Экспресс» опубликовал «Примечания к автобиографии» Евгения Евтушенко, — книгу, которая много дает для познания современной русской молодежи. «Двадцатый съезд, — пишет Евтушенко, — подтвердил мое убеждение, что народу нужна только правда и умолчание о чем-либо — это оскорбление народа недоверием. Несмотря на то, что я уже понимал в какой-то степени вину Сталина, все же я не мог представить себе до речи Хрущева насколько она велика — эта вина. Это было с большинством. После чтения этого документа на собраниях, люди уходили, подавленно опустив глаза. Наверное, у многих людей старшего поколения возникало, мучая и терзая в душе: может быть, они напрасно прожили свою жизнь? И у части молодого поколения естественно рождалось чувство подозрительности не к одному Сталину, но вообще ко всему прошлому. И это вдвойне мучило и терзало отцов. . . . Догматики ворчали, обвиняя чуть ли не всю советскую молодежь в 'нигилизме', в неуважении к революционным традициям. Этот 'нигилизм' им мерещился и в том, что молодежь носит слишком узкие брюки, любит джаз и даже в том, что читает Хемингуэя и увлекается Пикассо. Подо все это они подводили социологическую базу, крича о растлевающем буржуазном влиянии, проникающем в молодежь. Какова же была молодежь на самом деле? Действительно, некоторая часть молодежи впала в цинизм. Действительно, чувствуя моральную пустоту, эти юноши и девушки бросались на чуйнгам, свитера, туфли и пластинки и танцевали рок—н—ролл, считая это причащением к западной культуре. Но таких на самом деле было не так уж много. Лучшие из советской молодежи, выдержав нелегкие моменты сомнений и раздумий, вовсе не впали в цинизм. Переживания закалили их души и вселили в них силы бороться не только против повторения ошибок их отцов, но и за продолжение всего великого, что было сделано их отцами».*

* Е. А. Евтушенко, «Автобиография», Лондон, 1964, стр. III.

30 марта 1963 года «Комсомольская правда» напечатала резкую статью против Евгения Евтушенко, против его книги, которая, кстати сказать, и до сих пор не издана в России. И что же? За полтора месяца «Комсомольская правда» получила 1 200 писем от читателей, многие из которых выступали в защиту Евгения Евтушенко. Например, в одном из первых писем, опубликованных в «Комсомольской правде» 7 апреля 1963 года, Лев Бачев, читатель из Ленинградской области, писал:

«Уважаемая редакция! Я хочу написать вам о некоторых чувствах, которые возникли у меня, когда я прочитал статью 'Куда ведет хлестаковщина'. Своей статьей вы хотели вызвать у читателей чувство презрения к поэту, хотели представить его чуть ли не в виде изменника. У меня лично такого впечатления не создалось. Я понял лишь, что Евтушенко нетверд в своих взглядах и что он постоянно ищущий человек. Ни в чем не сомневаются лишь тупые догматики и люди, не имеющие собственного мнения. Разве можно написать для поэтов устав и четко определить их обязанности? Нет людей, которые никогда не ошибались. Евтушенко тоже не святой. Но как бы глубоко он ни ошибался, нельзя пользоваться силой, чтобы заставить его иметь иное мнение».

В одном месте автобиографии Евгений Евтушенко говорит: «Я не мог представить, что в 1963 году вечера поэзии во Дворце спорта станут собирать по 14 тысяч человек». Без сомнения, эти многие тысячи юношей и девушек, собиравшиеся на вечера поэзии, не были ни «стилягами», ни «нигилистами», — это была молодежь, которая задыхалась от лжи отцов и истосковалась по правде. Не пройдет много времени, как из ее среды выделятся герои, имена которых прогремят на весь мир.

1964

МАЛЕНЬКИЙ ПИНЯ

Знаете ли вы историю про «маленького Пиню»? Ее рассказывал Н. С. Хрущев — в 1957 году, после того, как он выступил против Сталина на XX съезде, разгромил «антипартийную группу», которая за малым не сбросила его с партийно-правительственной верхушки, предотвратил «опасность бонапартизма», возникшую было в связи со стремительным возвышением маршала Г. К. Жукова.

«В тюрьме сидели в одной камере трое заключенных, — рассказывал Н. С. Хрущев, — социал-демократ, анархист и еврей, маленький Пиня. Анархист был огромного роста, кудлатый, любил размахивать руками и фантазировать. Социал-демократ был ученый, книжный человек, все что-то обдумывал, молчал. Ну, а еврей... он был 'маленький Пиня', делал все, что ему говорили. Вот решили они бежать... Начали копать, провели подкоп под стену. Кому первому вылезать? Понятно, в случае чего — первому первая пуля. Анархист замахал руками: 'Мои, говорит, габариты мне первому вылезать не позволяют, меня сразу заметят — и тогда всем нам крышка'. Социал-демократ, как всегда, молчал. Пришлось, опять же, Пине, — вылез, осмотрелся и вывел всех на свободу. Вот я и есть такой маленький Пиня».

В марте 1953 года, после смерти Сталина, «первым среди равных» стал Маленков, — как и Сталин, он занял посты первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. В сентябре 1953 года пост первого секретаря ЦК КПСС перешел к Хрущеву. В марте 1958 года к Хрущеву перешел (от Булганина) и пост председателя Совета министров СССР. В 1964 году «маленький Пиня» был уже давно признанным главой партии и государства. Все то, что некогда говорили о Сталине, теперь переносилось на Хрущева: в феврале 1963 года, когда отмечалось 20-летие битвы на Волге, маршал Бирюзов писал, что «здесь во всем блеске проявилась железная логика мышления и стратегическая дальновидность Никиты Сергеевича Хрущева».

В октябре 1964 года Н. С. Хрущев отдыхал на Черном море, в имении, знаменитом пицундскими соснами. В тот год, в апреле, ему исполнилось 70 лет. Но он был очень крепок, никак не старик, — внук крепостного крестьянина из деревни Калиновки, Курской губернии, он происходил от здоровых народных корней. Вставал он рано утром и начинал день с того, что диктовал письма, памятные записки, директивы, — посетителей принимал после обеда. Из иностранцев наиболее частым посетителем был посол ФРГ Ганс Кроль, — на зависть других послов, этот немец, хорошо говоривший по-русски и никогда не скрывавший своего антикоммунизма, стал чуть ли не другом Н. С. Хрущева. В своих «Мемуарах посла» Ганс Кроль описал дачу в Гаграх и нарисовал портрет Н. С. Хрущева как человека, — в беседах с ним Н. С. Хрущев всегда был хорошо информирован, энергичен и деловит, вместе с тем полон юмора, на все давал ответы, свидетельствовавшие о его способности схватывать суть вопроса и быстро принимать решения. Наиболее важные свои речи Н. С. Хрущев писал сам, — так, им самим были написаны две речи, произнесенные на XXII партсъезде. Не получивши большого формального образования, он много читал, — его любимым писателем был Лев Толстой. Любил он и музыку, в особенности Чайковского. Из пословиц, которых он знал великое множество, он больше всего любил и часто повторял — «Снявши голову, по волосам не плачут». Была у него, как у человека, одна беда — любил поесть, любил украинскую кухню (правда, под конец жизни склонялся к русской), а врачи многое запрещали, заставляли соблюдать диету. При невысоком росте, он был слишком толст. В 1959 году, во время первой поездки в Америку, когда он осматривал Вашингтон, по улице ехал школьный автобус и ребятишки, высунувшись из окон, кричали: "Hey, meatball".

В июле 1959 года, когда в Москву приезжал вице-президент США Ричард Никсон, Н. С. Хрущев пригласил его к себе на подмосковную дачу. В тени березы был поставлен овальный стол, — невдалеке стеной стояли сосны, посаженные еще при Екатерине Великой. Американского гостя угощали такими деликатесами, каких он еще никогда не пробовал. В особенности Никсону понравилась тонко нарезанная сырая рыба, которую подавали на закуску с солью, перцем и чесноком. Н. С. Хрущев пояснил, что эту рыбу только что доставили на специальном самолете из Сибири. Кто-то из сидевших за столом добавил, что эта сибирская рыба была любимой закуской Сталина.

— Может быть, — пошутил Ричард Никсон, — если много есть такой рыбы, то и станешь как Сталин?

— Потому- то, — отозвался на шутку Н. С. Хрущев, — я никогда не ем много этой рыбы! Только в очень небольшом количестве . . .

«Маленький Пиня» не скрывал того, что он плакал над гробом Сталина. «Я плакал, — рассказывал он однажды Уильяму Авереллу Гарриману, американскому финансисту и дипломату. — В конце концов, мы были учениками Сталина, мы ему всем обязаны». И даже в феврале 1957 года, год спустя после XX съезда КПСС, на приеме в болгарском посольстве в Москве, он говорил, что «Сталин, с которым мы работали, был выдающимся революционером», что «Сталин преданно служил интересам рабочего класса, делу марксизма-ленинизма, и мы Сталина врагам не отдадим». Тем не менее, в том же 1957 году Н. С. Хрущев рассказывал историю про «маленького Пиню», который «вылез, осмотрелся и вывел всех на свободу».

Вывел ли? В 1964 году, оглядываясь на десятилетие, в течение которого он стоял у власти, Н. С. Хрущев мог вспомнить не только XX и XXII партсъезды, победу над просталинской «антипартийной группой», предотвращение «опасности бонапартизма», но и то, что А. И. Солженицын назвал впоследствии «хрущевским чудом» — роспуск миллионов невинных заключенных, начатки человеческого законодательства. Впрямь, в сентябре 1953 года были упразднены «особые совещания» («ОСО»), созданные в 1934 году для внесудебных расправ с заключенными; 24 мая 1955 года было принято новое положение о прокурорском надзоре, расширившее прокурорский контроль за следственной деятельностью КГБ; 19 апреля 1956 года дела о террористических актах и организациях были переданы в ведение обычных судебных инстанций для разбирательства по общим процессуальным нормам; 17 сентября 1955 года были амнистированы советские граждане, «сотрудничавшие с немцами во время войны», служившие в армии Власова и в немецких вооруженных и полицейских отрядах, а также бежавшие за границу; 25 апреля 1956 года была отменена судебная ответственность рабочих и служащих за опоздание на работу; 10 января 1955 года сроки наказаний за впервые обнаруженные хищения государственного имущества в небольших размерах были сокращены с 7 — 10 лет до 6 месяцев — 1 года заключения; наконец, в декабре 1958 года были приняты новые «Основы уголовного законодательства СССР» и «Основы уголовного судопроизводства СССР».

Некий «распах души» Н. С. Хрущев проявлял не только во внутренней, но и во внешней политике. Конечно, он мог колотить ботинком по столу на Генеральной ассамблее Организации

объединенных наций, подымать кулак, стоя на балконе на фешенебельной Парк-Авеню в Нью-Йорке, но все это было только комедиантство, не больше. Конечно, он вызывал волнение во всем мире, устраивая «кризисы в Берлине» (осенью 1958 г. и летом 1961 г.), но, как свидетельствует Ганс Кроль, за кулисами у «царя Никиты» были хорошие, даже сердечные отношения с канцлером Аденауэром. Пожалуй, больше всего «распах души», сочетаемый с политической тонкостью, проявился во внешней политике в том, что Н. С. Хрущев примкнул к сторонникам коммунистического «полицентризма».

Полицентризм... Этот термин, до того употреблявшийся лишь в антропологии (наряду с «моноцентризмом»), ввел в политический словарь Пальмиро Тольятти. В 1956 году, выступая на XX съезде КПСС, Тольятти, — как и Хрущев, сын крестьянина, — говорил, что путь КПСС «не является во всех своих аспектах обязательным для других стран», что «перед нами стоит задача — выработать свой итальянский путь», который «должен учитывать историческое развитие страны, ее социальную структуру, настроения и стремления широких масс трудящихся и их организаций». В августе 1964 года Пальмиро Тольятти проводил отпуск в Крыму, — во время отпуска он написал «Памятную записку», в которой развивал идеи полицентризма. «Самостоятельность партий, решительными сторонниками которой мы являемся, — писал Тольятти, — это не только внутренняя потребность, но и существенное условие прогресса в нынешних условиях. Поэтому мы высказываемся против любых предложений создать снова какую-либо международную централизованную организацию». «Памятная записка» примечательна еще и размышлениями о пресловутом «культе личности». «До сих пор не разрешена проблема происхождения культа личности Сталина, — писал Тольятти, — не разъяснено, как он вообще стал возможен. . . . Каковы могли быть политические ошибки, которые содействовали зарождению этого культа?» «Памятная записка» оказалась политическим завещанием Пальмиро Тольятти: 21 августа 1964 года он умер в Ялте. На его похороны приезжала в Рим делегация КПСС во главе с Л. И. Брежневым. Тогда же, в конце августа, в Риме стало известно, что Брежнев энергично возражал против опубликования «Памятной записки» Тольятти. Но 26 августа генеральным секретарем компартии Италии был выбран Луиджи Лонго, — он опубликовал «Памятную записку» не только в газете «Унита», но и одновременно в журнале «Ренашита». Н. С. Хрущев распорядился перепечатать ее в «Правде», где она и появилась 10 сентября 1964 года.

Не приходится сомневаться, что к достижениям «хрущевского десятилетия» «царь Никита» мог относить и успехи в «завоевании космоса»: именно в это десятилетие были запущены и первый Спутник (октябрь 1957 года), и первый космический корабль (апрель 1961 года). Как раз и сейчас, когда Н. С. Хрущев отдыхал в Гаграх, 12 октября 1964 года, был выведен на орбиту трехместный пилотируемый космический корабль «Восход», — 13 октября он приземлился, и Н. С. Хрущев должен был лететь в Москву на митинг, посвященный встрече космонавтов.

В Москве, однако, самого Н. С. Хрущева ожидала такая встреча, какой он не предвидел при всей своей «стратегической дальновидности». В Кремле, как оказалось, был созван пленум ЦК КПСС, на котором Н. С. Хрущев уже не имел большинства. Главным докладчиком на этом пленуме был Сулов, Не далее, как 14 февраля 1964 года, на предыдущем пленуме ЦК КПСС, Сулов говорил, что «именно Никита Сергеевич стоит во главе тех замечательных процессов, которые возникли в нашей партии и стране после Двадцатого съезда». Теперь же, 14 октября 1964 года, он произнес четырехчасовую речь, в которой выдвинул 29 обвинительных пунктов против Н. С. Хрущева. Два дня спустя, 16 октября, было объявлено, что Н. С. Хрущев освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья». На встрече космонавтов на Красной площади 19 октября выступал уже не Хрущев, а Брежнев.

Газеты всего мира писали об «октябрьском перевороте», гадая, что же именно произошло в Кремле. 22 октября генеральный секретарь ООН У Тан выступил на пресс-конференции с заявлением: «Было бы весьма желательно и полезно для дела мира, если бы г-ну Хрущеву была дана возможность выступить с заявлением, разъясняющим обстоятельства его отставки». 25 октября мировую печать облетела телеграмма из Москвы, в которой сообщалось, что накануне туда прибыла делегация Французской компартии, чтобы «потребовать от нового советского руководства разъяснений по поводу отставки Н. С. Хрущева». В телеграмме сообщалось также, что «в Москве ожидают прибытия делегаций Итальянской и Австрийской компартий».

Во французских газетах появились любопытные подробности, как коммунисты во Франции восприняли отставку Н. С. Хрущева. 21 октября в ЦК КПФ были получены три пакета — один из Лиона и два из Марселя. Когда их вскрыли, там оказались... партбилеты! Две марсельских парторганизации и одна

лионская полностью вышли из партии, протестуя против случившегося в Москве. Вальдек Роше, тогдашний генсек КПФ, 23 октября объявил, что в Москву будет послана делегация «для того, чтобы получить более подробную информацию относительно условий и методов, какими были произведены перемены в ЦК КПСС».

В делегацию входили Жорж Марше (нынешний генсек), Леруа и Шамбаз. У них было 15 вопросов, подготовленных еще в Париже, — они надеялись получить на них ответы в Москве. Напрасные надежды! Прежде всего французов заставили долго ждать приема: требовалось заполнять анкеты, получать пропуска, — вся эта процедура была Хрущевым в свое время отменена для «особо близких товарищей», но теперь восстановлена. Когда, наконец, французскую делегацию ввели в комнату, где находились Брежнев, Косыгин, Подгорный и Суслов, те о чем-то разговаривали и еще несколько минут продолжали разговаривать, не обращая внимания на гостей, прибывших из Парижа. Когда, наконец, началась беседа с ними, выяснилось, что новое руководство КПСС не намерено отвечать ни на какие вопросы.

— Все разъяснения уже даны, — сказал Подгорный. — К чему беспокоить мертвых в их могилах? В свое время, и если это окажется нужным, все ошибки Хрущева будут преданы гласности. Сейчас же следует помнить, что его удалили главным образом за промахи в сельском хозяйстве.

— Были ли соблюдены демократические принципы при удалении Хрущева? — спросил Леруа, член секретариата ЦК КПФ.

На это Косыгин сказал, что «советский народ в огромном большинстве одобряет решение Центрального комитета». Косыгин не объяснил, как можно одобрять или не одобрять того, чего не знаешь. Леруа поэтому заметил:

— Всем известно, что русские подчиняются безмолвно, но французы — не русские...

— Французы малосерьезны, им не хватает политической зрелости! — воскликнул Брежнев.

— Все, что нам надо, — сказал Марше, — это как-то успокоить наших товарищей. Вот если бы мы могли им сказать: «Мы видели товарища Хрущева, он хорошо себя чувствует», — этого нам было бы достаточно.

Брежнев, как сообщала потом французская делегация (в газете «Либерасьон», откуда нами и взяты все эти подробности), — Брежнев улыбаясь, а Суслов ответил ледяным тоном:

— Нет, нет и нет! Хрущев принадлежит прошлому и не имеет никакого отношения к настоящему. Если же его нужно будет

увидеть, то лишь для того, чтобы он дал отчет о десяти годах своих преступных ошибок.

Двенадцать раз французская делегация повторила просьбу о свидании с Н. С. Хрущевым. Уже прощаясь, при выходе, Леруа еще раз спросил, нельзя ли повидаться с Хрущевым, и ему ответили: «Нет». Каково же было удивление французов, когда Брежнев, прощаясь, сказал: «Теперь вы удовлетворены. Теперь вы на все имеете ответы. Передайте же наш дружеский привет французским товарищам».

Вернувшись в Париж, Жорж Марше заявил, что «делегация не удовлетворена результатами своей поездки». Не только газета «Либерасьон», но и журналы «Франс Обсерватер», «Экспресс» и др. подробно описывали, как приняли делегацию в Москве.

В России же кое-что о событиях тех дней стало известно из Самиздата. В № 3 «Политического дневника», вышедшем в декабре 1964 года, была напечатана речь А. И. Микояна, которую он произнес на партсобрании на заводе «Красный пролетарий», — Микоян там состоит на партийном учете. На собрании 4 декабря 1964 года ему была подана записка: «Чем вызвано неожиданное освобождение т. Хрущева?», и он, отвечая на этот вопрос, произнес довольно большую речь. А. И. Микоян, который был ближайшим другом Н. С. Хрущева, в частности, сказал:

«Заслуг Хрущева мы отрицать не можем, они большие — в борьбе за мир, в ликвидации последствий культа личности, в подготовке и проведении важнейших съездов — Двадцатого, Двадцать первого, Двадцать второго. Но чем дальше, тем больше у Хрущева накапливались ошибки и серьезные недостатки в его работе и руководстве. Он стал раздражителен, суетлив, несдержан, беспокоен. Больше трех часов на одном месте он работать не мог. Он тянулся к непрерывному движению, к поездкам. У него была склонность во всех своих мероприятиях к импровизации, к решению задач сходу. В выступлениях его проявлялось больше эмоциональности, чем рассудка, причем если он начинал говорить, то не мог остановиться. Товарищи из ЦК говорили ему, чтобы он меньше говорил о себе, но повторял одно и то же и давал возможность высказываться другим. В прессе получило распространение подхалимство в адрес Хрущева. Когда стало плохо в сельском хозяйстве, возникли серьезные трудности, Хрущев не стал искать глубоких объективных причин, а встал на путь дергания людей, перемещения их, хотя причины трудностей от людей и не зависели».

Если верить журналу «Экспресс», вечером 15 октября, прольшав о падении Н. С. Хрущева, еще не объявленном в газе-

тах, Евгений Евтушенко позвонил по телефону приятелю в Париж и сказал: «Ну, наконец-то освеживали борова!» Неприязнь поэта к «царю Никите» понятна: на встрече с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года Н. С. Хрущев говорил, что Евгений Евтушенко — «человек еще молодой, многого не понимает в политике нашей партии, допускает шатания, неустойчивость взглядов по вопросам искусства». Еще более резким было их столкновение на художественной выставке в Манеже, где «царь Никита» раскричался насчет «шалопаяев», которые «жрут хлеб насущный» и проповедуют абстракционизм, не понимая, что это — «одна из форм буржуазной идеологии». Надо заметить, что когда «царь Никита» сердился, у него голос становился тонким, резким, лысына краснела, глаза делались холодными, сверлящими... Вот в таком состоянии он и сказал о скульпторе Эрнсте Неизвестном, что «его, видимо, только могила исправит», на что Евгений Евтушенко возразил: «Мы думали, что прошли времена, когда людей исправляли могилами».

«Лысый боров» — так и в народе порой называли Н. С. Хрущева. Кто-то сложил стишок:

Жили-были три бандита:
Гитлер, Сталин и Никита.
Гитлер вешал, Сталин бил,
Хрущев голодом морил.

Последнее было несправедливо: Н. С. Хрущев прилагал все усилия, чтобы народ не голодал. Так, в 1963 году, когда случился недород, он произвел сенсацию во всем мире, закупив в Канаде 6 800 000 тонн пшеницы, взяв у Румынии займы 400 000 тонн пшеницы, начав переговоры о закупке пшеницы в США и Австралии. 9 декабря 1963 года, на пленуме ЦК КПСС, он говорил: «Нашлись, оказывается, люди, которые рассуждают: как же это так, раньше при меньших валовых сборах зерна сами продавали хлеб, а теперь покупаем. Что можно сказать таким людям? Если в обеспечении населения хлебом действовать методом Сталина, Молотова, то тогда и в нынешнем году можно было бы продавать хлеб за границу. Метод был такой: хлеб за границу продавали, а в некоторых районах люди из-за отсутствия хлеба пухли с голоду и даже умирали. Да, товарищи, это факт, что в 1947 году в ряде областей страны, например, Курской, люди умирали с голоду. А хлеб тогда продавали!»

Да и среди интеллигенции вряд ли многие присоединились бы к ликованию Евгения Евтушенко насчет того, что «освеже-

вали борова». Например, Надежда Мандельштам во втором томе «Воспоминаний» говорит, что Н. С. Хрущев был «добрый правитель», «добрый цезарь».

Вот эта противоречивость оценок весьма характерна. Валерий Чалидзе в книге «Права человека и Советский Союз» пишет:

«Можно сказать, что такое коммунистическое движение за права человека начал Н. Хрущев. Находясь в очень трудных условиях, он смог сделать много конкретных добрых дел, освободив миллионы людей из тюрем и лагерей и развенчав того, кто приучил людей жить в постоянном страхе. Я выразился неточно, он делал все это не один, тогда было коллективное руководство, но, наверное, его добрая воля смогла найти среди сталинских чиновников людей, настроенных достаточно либерально. Важно, что не только миллионы конкретных добрых дел, но и существенные реформы законодательства, в частности, восстановление и усовершенствование процессуальных норм, можно было сделать, не отрекаясь от коммунистической доктрины».

Жорес Медведев, с другой стороны, выступая в Иностранной комиссии Сената США 8 октября 1974 года, говорил:

«Хрущев разоблачил многие преступления Сталина, Бери, Ежова и других организаторов прошлого террора и реабилитировал миллионы жертв, но было бы ошибочно считать, что в период правления Хрущева не применялись политические репрессии. Хрущев отнюдь не был демократом. Критика советской власти и коммунистической партии и при Хрущеве также считалась преступлением, но сколько людей было арестовано и осуждено при Хрущеве 'за антисоветскую деятельность' неизвестно, ибо никто этим тогда еще не интересовался. Хрущев впервые ввел в Уголовный кодекс смертную казнь за экономические преступления; за взятки, даже за неофициальный обмен валюты. Хрущев объявил преступлением т. н. 'тунеядство', т. е. нежелание работать по найму, и по этой статье закона (смягченной только в 1971 г.) оказались в ссылке или в заключении немало молодых художников-абстракционистов, поэтов и молодежи. Крестьянин при Хрущеве мог быть заключен в тюрьму только за то, что он купил на собственные деньги хлеб в городе, чтобы накормить голодную корову. При Хрущеве Лысенко еще пользовался большим влиянием, а генетики не могли найти профессиональной работы. Окружение Хрущева за 10 лет полностью сменилось три раза, а во время многочисленных поездок по стране Хрущев снимал с должностей каждый раз десятки людей по самым незначительным поводам. При Хрущеве было закрыто самое большое высшее учебное сельскохозяйственное заведение — Московская

сельскохозяйственная академия, просто потому, что ученые этой академии не поддерживали ряда реформ Хрущева в сельском хозяйстве. Именно при Хрущеве в 1961 г. был принят новый Уголовный кодекс со статьей 70, по которой, уже после Хрущева, были осуждены Синявский, Даниэль, Буковский и ряд других. При Хрущеве в 1961 г. была принята достаточно безответственная инструкция о насильственной госпитализации общественно-опасных «психических» больных, и врачи-психиатры были освобождены от судебной ответственности за необоснованное помещение людей в психиатрические больницы. . . . Хрущев отдал приказ о вступлении Советских армий в Венгрию в 1956 г., и тогда пушки действительно стреляли, а танки давили людей. При Хрущеве была построена 'Берлинская стена'. Были при Хрущеве и случаи военного подавления 'беспорядков' в пределах СССР, в 1956 г. в Грузии, несколько позднее в Новочеркасске, с большим количеством жертв. Но после кошмаров Сталина Хрущев считался либералом и все эти акты насилия, происходившие при Хрущеве, просто не обращали на себя серьезного внимания».

Противоречивая фигура, вызывающая противоречивые мнения и оценки . . . После отставки Н. С. Хрущев жил еще 7 лет — как персональный пенсионер, на даче в Петрово-Дальнее, под Москвой. Там он написал (вернее, наговорил в магнитофон) два тома воспоминаний, которые опубликованы за рубежом. Он умер 11 сентября 1971 года. В самиздатском журнале «Демократ» (№5, 1971 г.) появилась такая заметка:

«В советской печати вместо некролога на смерть многолетнего вождя КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилось лишь краткое сообщение о смерти персонального пенсионера да и то только в день похорон. Граждане нашей страны узнали о его смерти из сообщения западного радио.

Хрущева не похоронили возле Кремлевской стены. На кладбище во время похорон пускали только по пропускам. С бывшим главой супердержавы смогли проститься только 200—300 человек. Вокруг кладбища и на подступах к нему стояли усиленные заслоны милиции и десятки шпиков в штатском, силы КГБ были приведены в готовность, чтобы рассеять похоронную процессию. Так проводил своего вождя официальный мир страны, показав тем самым, что ненавидит Хрущева и после его смерти.

Хрущев был одной из самых колоритных фигур русской истории. Воспитанный на меняющихся во времени марксистско-ленинских теориях, дрожавший вместе со всеми перед земным бо-

гом Сталиным, лакействовавший вместе с другими до 1953 года, причастный к сталинским преступлениям на Украине, он показал недюжинные способности после того, как стал у государственного руля. За страх, испытанный при Сталине, он нанес смертельный удар по сталинизму, от которого тот, несмотря на все потуги, не сможет оправиться. Хрущевские реформы изменили лицо страны: они спасли от смерти миллионы политзаключенных и миллионы тех, кто был арестован впоследствии. Они спасли от голодного вымирания крестьянство, они создали возможность появления первых ростков свободомыслия, они предотвратили назревавшую третью мировую войну... Всех заслуг Хрущева перед народом СССР не счесть. Но Никита Сергеевич был сын и плоть от плоти своего времени. Сын простого народа, обладавший страшной энергией и исключительными природными способностями, он не имел возможности научиться свободному, не ортодоксальному мышлению. Все его реформы носили половинчатый характер:

Разоблачил Сталина, но не до конца.

Устранил сталинских опричников и палачей, но не всех и не везде.

Отпустил на волю политзаключенных, но не всех. За государственный бандитизм понесло наказание смехотворно малое количество сталинских приспешников.

Не опубликовал тайн Чека, не открыл до конца сталинской кровавой кухни. И даже начал сажать в лагеря тех, кто пробовал это делать.

Тем не менее при Хрущеве стало легче дышать, начал испаряться животный страх, люди начали осознавать, что они люди, а не бессловесный скот.

При Хрущеве множились антирежимные анекдоты, при Хрущеве вслух начали поругивать его, при Хрущеве появился Самиздат, при Хрущеве многие начали думать.

Ошибкой Хрущева было ортодоксальное мышление, догматизм, что и погубило его. Если б Хрущев, а это было возможно, устранил весь сталинский аппарат, если бы сделал не полшага, а шаг по расковыиванию общества страны, то ныне его гроб не охраняли бы от его почитателей и благодарных граждан кагебисты и шпики. Сделанные полшага предопределили и его и всего советского общества судьбу.

Демократы и все инакомыслящие глубоко благодарны Никите Сергеевичу Хрущеву за спасение миллионов жизней и за смер-

тельный удар, нанесенный сталинизму. Пусть легкой будет земля его праху!» *

В 1974 году, к трехлетию со дня смерти Н. С. Хрущева, власти, наконец, позволили семье поставить памятник над его могилой на Новодевичьем кладбище. Памятник — произведение Эрнста Неизвестного, того самого скульптора-«абстракциониста», которого Н. С. Хрущев распекал на выставке в Манеже и с которым он впоследствии, уже в отставке, подружился. Памятник сделан из равных кусков белого и черного мрамора, что по мысли скульптора должно выразить «две стороны личности Н. С. Хрущева».

* В книге Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом» (Париж, 1975, стр. 50) находим такие строки о Н. С. Хрущеве: «Хрущев рассказал Твардовскому, что собрано уже три тома материалов о преступлениях Сталина, но пока еще не публикуются. 'История рассудит, что мы предприняли'. Никита всегда возвышался и смягчался, когда говорил о всеобщей смертности, об ограниченности человеческих сроков. Это звучало у него и в публичных речах. Это была у него неосознанная христианская черта. Никто из коммунистических вождей, ни до, ни после него, ни западнее, ни восточнее его, никогда так не говорил. Никита был царь, совершенно не понимавший своей сущности, ни своего исторического назначения, подрывавший всегда те слои, которые хотели и могли его поддержать, никогда не искавший и не имевший ни одного умного советника».

1965

КОНТРОЛЬ РЫНКА ИЛИ ГОСКОНТРОЛЬ?

Войдем через Спасские ворота в Кремль — к старому зданию Казаковского Сената, где на первом этаже чуть ли не двадцать лет была квартира Сталина, а на втором помещалась приемная председателя Совета министров, его кабинет и канцелярия. Поднявшись на второй этаж, мы найдем посередине длинного коридора дверь с черной дощечкой, на которой написано «А. Н. Косыгин».

Если бы перед нами открылись двойные двери этого кабинета, мы увидели бы длинный стол, покрытый зеленым сукном, а за ним — дубовый письменный стол, на котором лежат кожаные папки с бумагами, одни красные, другие зеленые. И — коричневый портфель. По правую руку от Косыгина — три телефона, два белых и один серый. На столике сбоку — портрет Клавдии Косыгиной, жены председателя Совета министров СССР; ныне ее нет в живых, но в 1965 году она была еще жива. Когда Косыгин сидит за письменным столом, то видит через окно красную звезду, сияющую на башне Боровицких ворот.

В минуты одиночества и раздумья (бывают же они и у Косыгина!), думает ли он, глядя на красную звезду, куда она ведет Россию? В 1965 году этот вопрос задавали себе миллионы людей не только в России, но и во всех концах света. Потому что в тот год казалось — перед Россией открывается некий новый путь, путь большой реформы, и в роли проводника-реформатора мир видел как раз Косыгина.

Косыгин, Алексей Николаевич, родился в 1904 году, в Петербурге, и если бы он родился не в феврале, а, скажем, в августе, то можно было бы подумать, что он был назван в честь своего знаменитого, несчастного ровесника. Если верить советской энциклопедии, он пятнадцатилетним подростком поступил добровольцем в Красную армию. В 1921—24 гг. он учился, потом по-

чему-то попал в Сибирь и работал там в потребительской кооперации. В 1935 году окончил текстильный институт в Ленинграде и работал сперва мастером, потом начальником цеха на фабрике им. Желябова. В 1937 году его, коммуниста уже с десятилетним партийным стажем, назначили директором Октябрьской прядильно-ткацкой фабрики. Быстрое возвышение Косыгина началось тотчас же после ежовщины, когда опустели многие наркоматы, — в 1939 году он был назначен наркомом текстильной промышленности СССР. В том же году, на XVIII съезде ВКП(б) он был избран в ЦК, а в марте 1946 года — кандидатом в члены, в 1948 году — членом Политбюро ЦК ВКП(б).

Как видим, А. Н. Косыгин не был на партработе, не принадлежал к партаппарату, как таковому, — это «хозяйственник», «технократ». По крайней мере, так думал весь мир в 1965 году, когда Россия, казалось, нашла в нем именно такого человека, какой ей требовался в тот момент ее истории.

В чем же была особенность того момента? Глядя из окна своего кабинета на красную звезду над Боровицкими воротами, А. Н. Косыгин мог бы задуматься, была ли она путеводной, эта звезда, для России? Ведь, следуя за ней, Россия столько блуждала, что весь мир диву давался — выберется ли она когда-нибудь на верную дорогу? Так, в 1920 году красная звезда завела Россию в гибельное болото «всероссийского чеквалапства». Теперь, в 1965 году, было дико и странно вспомнить, что когда-то в Комиссариате финансов, в ВСНХ и даже в Совнаркоме (под председательством Ленина!) всерьез обсуждали проект Ю. Ларина об отмене денежной системы, замене денежных знаков «натуральными свидетельствами», которые давали бы гражданам советской республики право получать определенное количество определенных предметов первой необходимости. В том-то и была особенность 1965 года, что к тому времени был реабилитирован Рубль, и на страницах газет мелькали слова «прибыль», «рентабельность», «материальная заинтересованность». Начиналась экономическая реформа, доклад о которой сделал А. Н. Косыгин на пленуме ЦК КПСС 27 сентября 1965 года.

Конечно, не Косыгин надумал эту реформу, — ее требовала сама жизнь, и о ней уже давно шли разговоры в среде хозяйственников и экономистов. Еще в конце пятидесятых годов, когда начали расширяться контакты СССР с другими странами, во Францию приезжала делегация, в составе которой находился директор Московского станкостроительного завода Козичев. По возвращении в Москву, он напечатал в журнале «Огонек» статью, в которой рассказывал:

«'Это выгодно, мсье...', 'Это невыгодно, мсье...' — как часто повторялись эти слова в беседах, которые вели французские промышленники с нами, тремя советскими инженерами, приехавшими во Францию. И почти столь же часто слова эти заставляли нас о многом задуматься. Вместе с директором завода 'Красный пролетарий' и главным инженером завода 'Калибр' я ездил во Францию на промышленную выставку в Бордо. После осмотра выставки нам была любезно предоставлена возможность ознакомиться с некоторыми машиностроительными и станкостроительными заводами. Мы побывали на автомобильном заводе Рено в Париже, на заводе Сомуа в парижском пригороде, на заводах городов Санс, Фюмель, Невер... Франции приходится конкурировать с другими высокоразвитыми капиталистическими странами, и ее станкостроение стремится быть на уровне мировой техники. На заводе Рено нам рассказывали, что их предприятие работает производительней фордовского: конвейер Рено дает на 100 тысяч автомобилей в год больше, чем конвейер у Форда... Но вот над чем особенно приходилось задумываться при посещении французских заводов — это над той предельной экономностью, расчетливостью, с какими здесь ведется дело. Один из примеров. Базовые, основные детали всех агрегатных уникальных станков во Франции — сварной конструкции, а не из чугуна, как это принято у нас.

— Сварные конструкции деталей при производстве уникальных станков выгоднее, — говорили нам французские инженеры, — не нужно делать модель, которая в три-четыре раза удорожает стоимость детали и увеличивает затраты времени. Другое дело при серийном выпуске. Здесь выгоднее литье: одна и та же модель используется для многих отливок.

Конечно, это было известно мне и до поездки во Францию. Но соображения выгоды и экономии не всегда выдвигались у нас на заводе на первое место».

Выгода и экономия... На короткое время соображения выгоды и экономии выдвинулись было на первое место — при нэпе, но даже и тогда Россия не избавилась полностью от «чеквалапства». Кто любопытен, может заглянуть в подшивку «Правды» и найти в № от 4 марта 1928 года статью Я. А. Яковлева, тогдашнего заместителя наркома Рабоче-крестьянской инспекции. В этой статье он приводит пример, как и тогда, еще до «великого перелома», при централизованном монопольном планировании не учитывались соображения выгоды, экономии, прибыли.

«Приведем пример строительства Сергиевского стекольного завода, — писал Я. А. Яковлев. — Сергиевский стекольный за-

вод строили без всякого учета сырьевых ресурсов. Ближайшая лесосека находится на расстоянии трехсот верст. Песок необходимо привозить за 120 верст, в силу чего он обходится в пять раз дороже нормального. Воды чистой для силовых установок нет. Затраты на строительство завода превзошли в пять раз предположенные. Производительность завода за первое полугодие — в пять с половиной раз меньше предположенной. Себестоимость бутылки была предположена по плану в 4,6 копейки за штуку, а в действительности в августе 1927 года составляла 42,2 копейки, в то время, как на старых кустарных заводах бутылка стоит 7 копеек».

Какие же меры предлагал принять зам. наркома Рабкрин?

«Чем в капиталистическом обществе, — спрашивал он, — исправляется деятельность неудачных руководителей как акционерных обществ, так и технических руководителей того или иного предприятия? Она исправляется конкуренцией, банкротством. Акционерное общество, которое бы строило стекольные заводы так, как у нас построен Сергиевский стекольный завод, позорно крахнуло бы... Этот контроль рынка, контроль банкротством мы должны заменить организованным контролем рабочего класса. То, что в капиталистическом обществе совершается с помощью финансового краха, мы должны совершить с помощью неусыпного контроля профсоюзов, бдительного контроля нашей печати, наших государственных органов, специально поставленных для дела контроля».

Контроль рынка или госконтроль? Так стоял вопрос в 1928 году, так он стоял и в 1965 году. Вопрос этот был снят в «год великого перелома», когда «второй Ленин» начал «третью революцию», которая смела все зачатки рыночной экономики, развивавшейся при нэпе. «Госконтроль», доведенный до предела в сталинские десятилетия, действовал и после Сталина (если только можно назвать это «действием»). Для того, чтобы взять пример, близкий А. Н. Косыгину, — из Ленинграда и из промышленности товаров широкого потребления, — сошлемся на то, что в 1964 году рассказывала «Экономическая газета»:

Вот какая история приключилась с одной пуговицей в Ленинграде. Швейная фабрика заказала пуговицу. Модель пуговицы была представлена на одобрение в Ленинградский дом моделей — и там одобрена. Казалось бы, можно было пустить пуговицу в массовое производство... Но — нет! Пуговицу должна была одобрить еще специальная подкомиссия, которая в свою очередь представила свой доклад на пленарное заседание комиссии Главного управления торговли Ленинградского горисполкома.

Но и на этом не окончились мытарства пуговицы, которая за четыре месяца прошла четыре инстанции и, наконец, попала в пятую, — к управляющему оптовой базой «Росгалантереи». Тот изучил проект выпуска пуговицы и наложил резолюцию: «Согласовано». Пуговица пошла в шестую инстанцию — Отраслевое управление совнархоза. Начальник этого управления наложил резолюцию — «Утверждаю». И... что же?.. направил пуговицу в седьмую инстанцию, в Отдел цен Министерства торговли РСФСР. Девять месяцев гулял проект пуговицы!

И это не единичный случай... По словам «Экономической газеты», в одном только Ленинграде более 500 наименований новых товаров широкого потребления должны, подобно пуговице, проходить многоступенчатый путь согласований и утверждений. Если же новая вещь удостоится внимания еще и восьмой инстанции, Всесоюзного постоянного павильона лучших образцов товаров народного потребления, то ею заинтересуются Госплан и Совнархоз РСФСР. На этом высшем уровне пуговица, мясорубка или иная новая вещь получают путевку на изготовление десятками предприятий нескольких совнархозов. В результате такого планирования, предметы широкого потребления обходятся дорого, а в отдельных случаях даже убыточны. Таково «чеквалапство» 1964 года...

Необходимо было вытягивать страну из болота «чеквалапства». Начиная с 1958 года, прирост валовой продукции СССР не превышал 5%, т. е. был меньше, чем в ФРГ, Франции, Италии, Японии и значительно меньше, чем в США. По подсчетам американских экономистов, прирост валовой продукции СССР за 1963 год составил... 2,6 процента! Эта цифра появилась в международной печати весной 1964 года, и пропагандисты «царя Никиты» ответили, что это — «клевета»; после падения Хрущева признали, что это — правда.

Таким образом, сама жизнь требовала экономической реформы — реабилитации Рубля, Прибыли. И вот, 9 сентября 1962 года на страницах «Правды» появилась статья «План, прибыль, премия». Ее автор не был тогда широко известен, но эта статья прославила его на весь мир. Это был Евсей Либерман, профессор Харьковского инженерно-экономического института, а также руководитель Экономической лаборатории Харьковского совнархоза. В чем была особенность его статьи? Почему она вызвала шум во всем мире? Дело в том, что тогда — 4 сентября 1962 года — «Правда» открыла дискуссию по вопросам экономики. Дискуссия была довольно ограниченная, касалась узких проблем планирования (т. е. госконтроля). Между тем, Евсей Либерман

вышел за узкие рамки плановой проблематики и выдвинул важные принципиальные вопросы. Новым, можно даже сказать радикально новым было предложение сделать критерием оценки деятельности предприятия его рентабельность, т. е. прибыльность. В статье «План, прибыль, премия» предлагалась целая шкала поощрения рентабельности. Проф. Либерман писал:

«Принцип состоит, во-первых, в том, что чем выше рентабельность, тем поощрения больше. Во-вторых, в том, что предприятия получают поощрения на основе долевого участия в созданном доходе: чем выше план по рентабельности, который составит само предприятие, тем больше будет и поощрение. Значит, составлять заниженные планы станет для предприятия крайне невыгодным делом. Предприятие в силу собственных интересов будет завывать сменность и загрузку наличного оборудования, перестанет требовать излишние капиталовложения и станки, создавать ненужные запасы. Если сейчас эти излишества служат для предприятия почти бесплатным резервом, то при новом порядке они будут чувствительно 'бить по карману', сокращая размеры поощрения. Отпадает, следовательно, 'борьба' предприятия за то, чтобы получить заниженные планы. Ведь такие планы никак не дадут предприятию достаточно высокую рентабельность».

В этом отрывке из статьи Евсея Либермана поставлен точный диагноз болезни советской экономики, в которой цены лишены их естественной регулятивной функции. Порядок, предложенный Либерманом, должен был «освободить централизованное планирование от мелочной опеки над предприятиями, от дорогостоящих попыток воздействовать на производство не экономическими, а административными мерами», — эту его формулу можно перевернуть и так, что при новом порядке предприятия освободились бы от мелочной опеки со стороны «госконтроля».

Необходимо добавить, что предложения, касающиеся экономической реформы, исходили не от одного Евсея Либермана, но и, например, от таких выдающихся ученых-экономистов, как В. С. Немчинов, Л. В. Канторович, В. В. Новожилов. В статье, напечатанной в «Правде» 21 сентября 1962 года, академик В. С. Немчинов писал:

«Давно пора материальное снабжение перевести на рельсы государственной торговли, отказавшись от разверстки товарных ресурсов по бесконечно сложной системе натуральных фондов. Переход на государственную торговлю в области материального снабжения, несомненно, позволит в короткий срок ликвидировать состояние постоянного дефицита материальных ресурсов.

Этому будет способствовать также и планирование рентабельности, сопровождаемое ликвидацией бесплатности основных фондов и введением нормативов длительного действия в области материального стимулирования».

Другими словами, акад. Немчинов, вслед за проф. Либерманом, предлагал ввести государственную торговлю сырьем и промышленным оборудованием. Это, впрямь, ликвидировало бы существующую систему ценообразования, от которой происходят все беды советской экономики. Цены устанавливались бы на рынке, и лишь отчасти регулировались бы государством. Тогда прибыль стала бы единственным показателем хозяйственной эффективности предприятия. Это было бы начало подлинной экономической реформы, — мероприятие даже более значительное, чем ликвидация МТС и расширение товарооборота между промышленностью и сельским хозяйством.

Вопрос, однако, был в том, пойдет ли на такое мероприятие партаппарат, поскольку такая экономическая реформа означала бы сужение, ограничение сферы его власти? Н. С. Хрущев в июле 1964 года сделал важный шаг в направлении к такой реформе: двум фабрикам — «Большевичке» в Москве и «Маяку» в г. Горьком — была предоставлена довольно значительная автономия. «Большевичка», вырабатывающая мужскую одежду, сама составила план на 1965 год, базируясь на заказах торговой сети. Директор фабрики Петр Кондратьевич Носков командировал своих модельеров, конструкторов одежды за границу, и фабрика выпустила одежду таких фасонов, каких не видывала даже и Москва. В 1965 году «Большевичка» продала на 47 400 000 рублей своего товара. После того, как Н. С. Хрущев был отрешен от власти, его посты были разделены между Л. И. Брежневым и А. Н. Косыгиным, — один стал первым секретарем ЦК КПСС, другой председателем Совета министров СССР. Если внимание Брежнева было направлено сперва, главным образом, на сельское хозяйство, то внимание Косыгина — на экономическую реформу.

В 1965 году А. Н. Косыгин провел совещание ученых-экономистов, на котором с особенной резкостью выступил 34-летний экономист А. Г. Аганбегян, — в блестящей речи он вскрыл все недуги советской экономики и призвал к проведению радикальной экономической реформы. 27 сентября 1965 года А. Н. Косыгин сделал доклад об экономической реформе на пленуме ЦК КПСС, а в марте 1966 года решения о реформе были приняты на XXIII съезде КПСС.

Казалось бы, проведение реформы было обеспечено. Вскоре

после XXIII съезда КПСС, в апреле 1966 года, проф. Либерман беседовал с корреспондентом «Комсомольской правды». «Задача — детально зарегламентировать всю производственную деятельность, охватить ведомостями, строчками плана самый последний болт, любое действия каждой хозяйственной ячейки, — говорил он, — такая задача невыполнима ни для какого госплана, какие бы умные головы там ни сидели. Я мало верю в 'кнопочную экономику'. Нельзя представлять себе дело так, что только с помощью ЭВМ можно построить идеальную систему управления. Система должна на определенных уровнях замыкаться, быть способной к саморегулированию, к принятию оперативного решения на месте».

Все это шло вразрез с интересами партаппарата!.. На XXIII съезде КПСС значительно возросла роль партаппарата: 56% новых членов и кандидатов ЦК КПСС, избранных на этом съезде, принадлежали к партийному аппарату после 1953 года, и только 20% не имели хотя бы периодической работы в партаппарате. Число партаппаратчиков среди кандидатов в члены ЦК КПСС возросло в 1966 году на 3%, по сравнению с составом ЦК КПСС, избранным в 1961 году на XXII партсъезде. Партаппарат затормозил экономическую реформу.

Произошло то, что в 1969 году два самиздатских автора из Ленинграда, преподаватель С. Зорин и инженер Н. Алексеев, писали в брошюре «Время не ждет»: «Газеты пишут о необходимости расширения и углубления реформы, но в основном все остается на бумаге. ... Действительная реформа означала бы определенное ослабление экономического абсолютизма — основы нашего социального строя. Автономия хозяйственных единиц урезает привилегии аппарата министерств и отделов ЦК распоряжаться всем вплоть до мелочей. ... Ограничение экономического абсолютизма способствовало бы демократизации нашего общества. Начали бы выдвигаться новые люди, стала бы очевидной ненужность, паразитичность высшего партийного слоя, разрушилась бы та обстановка глубокой секретности, канцелярской тайны, в которой только и процветают наши хозяева. Они это отлично сознают. Поэтому властью своей выхолащивают реформу вопреки очевидной экономической необходимости, с великой неохотой идут даже на небольшое расширение прав предприятий».

Вслед за этими самиздатскими авторами, Рой Медведев в «Книге о социалистической демократии», написанной в ноябре 1970 — апреле 1971 года, говорит: «Среди многих течений и групп, образовавшихся в партии, или лучше сказать, вышед-

ших на поверхность нашей политической жизни после Октябрьского (1964 г.) пленума ЦК КПСС, наибольшую активность проявляют в последние годы неосталинисты. . . . Главным в политической платформе неосталинистов является не то или иное отношение к Сталину, а стремление восстановить в нашей стране и в партии 'твердое' руководство, 'сильную' власть. . . . Неосталинисты выступают не за развитие, а за ограничение социалистической демократии, за усиление цензуры и наведение 'порядка' в общественных науках, в литературе и искусстве, за усиление бюрократической централизации во всех областях общественной жизни. Они противятся более последовательному проведению экономической реформы и выступают за фактическое свертывание этой реформы».

1965 год, таким образом, был годом надежд, связывавшихся с экономической реформой и демократизацией общества, которой эта реформа могла способствовать, и вместе с тем годом активизации элементов неосталинизма. 8 сентября 1965 года, в Москве, на улице, когда он шел на лекцию в школу-студию им. Немировича-Данченко, был арестован Андрей Синявский, писатель и литературный критик, научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук СССР. 12 сентября был арестован другой молодой писатель, Юлий Даниэль, — при выходе из аэровокзала Внуково, когда он прилетел из Новосибирска. Но, как мы уже видели, кончилось сообщничество молчанием, многие люди освободились от страха, подросла молодежь, не знавшая ежовщины. 5 декабря 1965 года на площади Пушкина в Москве состоялась демонстрация под лозунгами: «Уважайте Конституцию — Основной закон СССР», «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем». Началось движение за права человека в Советском Союзе.

1966

«СУД ИДЕТ...»

Зимним утром, в феврале 1947 года, в старом здании Московского университета на Моховой улице, поблизости от Кремля, группа студентов, человек тридцать, собралась на семинар по марксизму-ленинизму. Одна студентка, по возрасту уже немолодая, вернувшаяся с войны и еще носившая военную форму, привела с собой подругу-француженку. Эта француженка была дочерью дипломата, военно-морского атташе при французском посольстве, — ее очень интересовала Россия и она уже довольно поднаторела в русском языке. Живая, наблюдательная, она с интересом прислушивалась к тому, что профессор говорил о книге «Материализм и эмпириокритицизм», в которой Ленин «подверг всесторонней критике новейшие ухищрения буржуазной идеалистической философии», а в особенности к выступлениям студентов. Больше всего ей понравилось, как говорил один студент — с каким жаром, с какой убежденностью, и как внимательно его слушали все участники семинара. Ему не было еще и 22-х лет, он тоже был в армейской гимнастерке. Француженке приглянулся его очень уж русский вид, — он был невысокого роста, коренастый, курносый, пряди светлых волос падали ему на лоб. В его карих, с зеленоватым оттенком глазах играло веселье, светилось добродушие, но не без хитрецы.

— Кто это? — спросила француженка свою подругу.

— Это лучший студент в нашей группе, — ответила та. — Он один из немногих на факультете, кто получает ленинскую стипендию. Его зовут Андрей Синявский.

На следующий день Элен Пельтье, — так звали француженку, — встретила Андрея Синявского на уроке французского языка. Молодой человек, как об этом можно было сразу догадаться, обробел при встрече, и, преодолевая робость, спросил с нарочитой резкостью:

— Вы — француженка, почему вы учитесь русскому языку?

— Потому что я люблю вашу литературу и вашу страну.

Он улынулся.

— А почему вы изучаете французский? — спросила она.

— А—а, это понятно: Франция — родина современного искусства.

Франуженка улыбнулась . . . Они стали друзьями.

. . . Прошло девятнадцать лет. И вот, другой февраль — февраль 1966 года. Элен Пельтье была уже во Франции, замужем за польским графом, талантливым скульптором, — графиня Елена ЗамоЙская теперь преподавала русскую литературу в университете в Тулузе. Андрей Синявский тоже был женат, — его жена, Мария Васильевна, искусствовед, знаток древнерусской иконописи. Каждое лето они ездили на север, собирали иконы, крестьянские одежды и вышивки, изделия из кости, бересты; где-то в сарае они нашли черную, измазанную краской доску, и когда расчистили ее, это оказалась икона Георгия Победоносца, XVI века, ее приняли на выставку в Третьяковскую галерею. Андрей Синявский отрастил длинную бороду, — его называли «славянофилом». Юность его, как он скажет впоследствии, была «ярко-красная», но теперь он много размышлял о христианстве, церкви, русском православном народе. Ему случалось разговаривать об этом с дочерью Сталина (они вместе работали в Институте мировой литературы Академии наук), и для нее разговоры с ним были полны открытий, — весной 1962 года она крестилась в храме Положения Ризы Господней, что на Донской улице в Москве, Андрей Синявский был свидетелем при ее крещении. За те без малого двадцать лет, что прошли со времени занятий в семинаре по марксизму-ленинизму, Андрей Синявский вырос в серьезного, вдумчивого литературного критика. Вместе с другим критиком (А. Меньшутиным) он написал книгу «Поэзия первых лет революции (1917—1920)», его статьи, например, о поэзии Роберта Фроста, и в особенности о поэзии Бориса Пастернака, обращали на себя внимания тонкостью понимания, глубиной мысли. И вот, в феврале 1966 года Андрей Синявский на скамье подсудимых в Московском областном суде . . .

Подсудимых двое: «А. Д. Синявский — худой, маленького роста, с русой бородой, дикой, неухоженной; белоснежная нейлоновая рубашка под черным шерстяным свитером с круглым вырезом» и «Ю. М. Даниэль — высокий, темноволосый, с крупным характерным ртом; нервные губы; слегка лысеет; одет в ковбойскую рубашку и в поношенный пиджак».*

За каждым подсудимым стоит часовой. Председатель суда

* «Синявский и Даниэль на скамье подсудимых», издание Международного Литературного Содружества, 1966 г. (Нью-Йорк).

Л. Н. Смирнов — «крупный мужчина лет 58, идет слегка наклонив голову по-бычьему, целеустремленный, весь облик его отчетливо начальственный».

В чем же они обвиняются? Не то, чтобы в «самиздатской», а в «тамиздатской» деятельности: при помощи Элен Пельтье-Замойской они переправляли свои повести и рассказы во Францию и «там» их печатали. Андрей Синявский написал повести «Суд идет» и «Любимов», а также статью «Что такое социалистический реализм», а Юлий Даниэль — повесть «Говорит Москва», рассказы «Руки», «Искушение» и «Человек из Минапа». Первый печатался под псевдонимом «Абрам Терц», а второй — «Николай Аржак». Оба они были арестованы в сентябре 1965 года: Синявский на улице в Москве, по дороге на лекцию в школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко, а Даниэль — при выходе из аэровокзала Внуково, по возвращении из Новосибирска. Их привлекли к уголовной ответственности по первой части статьи 70 УК РСФСР — по обвинению в «агитации или пропаганде, проводимой в целях подрыва или ослабления Советской власти», в «распространении в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй».

10 февраля 1966 года, в день начала процесса, перед зданием Московского областного суда собралось много народа. На улице, во дворе, в вестибюле — милиция. Впускали по пригласительным билетам, причем билеты проверяли дважды: при входе в здание и при входе на лестницу, ведущую в зал, — требовали не только билет, но и паспорт. На суд не был допущен ни один иностранный корреспондент, даже из стран «социалистического лагеря». Публика была специально подобрана. Шторы в зале были задернуты, горели лампы.

— Подсудимый Синявский, признаете ли вы себя виновным в предъявленных вам обвинениях полностью или частично? — спросил председатель суда.

— Нет, не признаю, ни полностью, ни частично, — ответил Андрей Синявский.

— Подсудимый Даниэль, признаете ли вы себя виновным в предъявленных вам обвинениях полностью или частично?

— Не признаю. Ни полностью, ни частично.

Вот это сознание своей правоты, неколебимая твердость убеждений, мужественное поведение молодых писателей на суде придало особенную окраску процессу. Андрей Синявский и Юлий Даниэль говорили на суде во весь голос. Отвечая на вопрос о повести «Говорит Москва», Юлий Даниэль сказал:

«Вот идея моей повести кратко: человек должен оставаться

человеком, в какие бы обстоятельства жизнь его ни ставила, какое бы давление и с какой бы стороны на него ни оказывалось. Он должен быть верен себе, самому себе и не участвовать ни в чем, против чего восстает его совесть, что противоречит его человечности».

Такова же идея и всех других заявлений Андрея Синявского и Юлия Даниэля на судебном процессе. Какое бы давление на них там ни оказывали, они оставались верными самим себе, своей совести. На замечание прокурора: «Вот теперь вы уже заговорили своим подлинным голосом», Юлий Даниэль ответил: «А я всегда говорю своим подлинным голосом». Андрей Синявский в последнем слове сказал, что он всегда «делал все максимальное, чтобы выразать свои подлинные мысли».

Мысли Андрея Синявского и Юлия Даниэля, высказанные на суде, отличались именно подлинностью, они не вычитаны из газет, а выстраданы, выросли из жизненного опыта. Так, Андрей Синявский говорил о коммунизме как религиозной системе: «Литература периода Сталина — это литература религиозно-мистического склада. Здесь речь идет о религиозно-мистическом культе, который лежал в основе искусства сталинской эпохи». Юлий Даниэль во время допроса затронул важную проблему, о которой не могут не думать все, кто пережил годы сталинщины или гитлеровщины:

«Я считаю, что каждый член общества отвечает за то, что происходит в обществе. И я не исключаю при этом себя. Я написал ('Искушение') 'виноваты все', так как не было ответа на вопрос 'кто виноват'. Никто никогда не говорил публично, кто же виновен в этих преступлениях, и я никогда не поверю, что три человека — Сталин, Берия, Рюмин — могут сделать страшной жизнь всей страны. Но никто еще не ответил на вопрос — кто же виноват?»

Два молодых московских писателя, за каждым из которых стоял часовой, показали пример гражданского мужества — всей стране, всему миру. Передавали, что Брежнев, занявший место «царя Никиты», приезжал к Константину Федину в Переделкино, писательский поселок под Москвой, и спрашивал совета, что делать с писателями-инакомыслиями, — и Федин предложил: «Судить!» По-настоящему, такого «советника» давно следовало бы прогнать, потому что процессом Синявского и Даниэля власти не достигли того, чего желали, а лишь навредили самим себе. Как ни старались они не допускать иностранных корреспондентов в залу суда, все же кем-то было записано все, что там говорилось в те дни, — на следующий же день зарубежные радиостанции

сообщали об этом своим слушателям в России. «В укывище по транзисторному приемнику следил я и за процессом Синявско-го-Даниэля, — рассказывает А. Солженицын в книге 'Бодался теленок с дубом'. — У нас в стране за 50 лет проходили и во сто раз худшие издевательства и в миллион раз толпаннее, — но то все соскочьзнуло с Запада, как с гуся вода, того всего не заметили, а что заметили — простили нам за Сталинград. Теперь же — опять знак времени, 'прогрессивный Запад' заволновался».

В дневнике, печатавшемся в «Фигаро», Франсуа Мориак, еще до суда, 22 ноября 1965 года, писал, что «сближение Франции и России — это не только политический вопрос», что арест двух молодых писателей, Андрея Синявского и Юлия Даниэля, «нас беспокоит и печалит», что в такой обстановке не может происходить подлинная «встреча двух народов». «Если есть братство лауреатов Нобелевской премии, — писал Мориак, — я умоляю своего собрата Шолохова ходатайствовать перед теми, от кого зависит освобождение Андрея Синявского и Юлия Даниэля».

В защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля выступали в международной печати такие французские писатели, как Луи Арагон, Андре Бретон, Жан Кассу, итальянские писатели Альберто Моравия, Итало Кальвино, Игнацио Силоне, английские писатели Грэм Грин, Ребекка Уэст, американские писатели Артур Миллер, Мэри Маккарти. . . Более трехсот профессоров университетов Франции, в том числе Габриэль Марсель и Этиамбль, обратились с письмом к Косыгину. Шестьдесят три советских писателя, в том числе Корней Чуковский, Виктор Шкловский, Павел Антокольский, Вениамин Каверин, Белла Ахмадулина, обратились к правительству с ходатайством об освобождении А. Синявского и Ю. Даниэля. Между тем, Шолохов, «нобелевский собрат», выступая в марте 1966 года на XXIII съезде КПСС, сказал, что «попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни». И отвечая ему в самиздатской статье, Лидия Чуковская писала:

«Речь Вашу на съезде воистину можно назвать исторической. За все многовековое существование русской культуры я не могу вспомнить другого писателя, который, подобно Вам, публично выразил бы свое сожаление не о том, что вынесенный судьями приговор слишком суров, а о том, что он слишком мягок. . . Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно

судить уголовным судом за любой поступок — только не за его книги. Литература уголовному суду неподсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не лагеря и тюрьмы. Вот это Вы и должны были заявить своим слушателям, если бы Вы в самом деле поднялись на трибуну как представитель советской литературы. Но Вы держали речь как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей. А литература сама отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, существующей для художника, — к творческому бесплодию».

Андрей Синявский был приговорен к 7 годам, а Юлий Даниэль — к 5 годам заключения в лагерях строгого режима. Волна протестов против приговора прокатилась по всему миру, причем протестовали и многие видные иностранные коммунисты. Протесты внутри страны сопровождались арестами, которые в свою очередь вызывали новые протесты, — «дело Синявского и Даниэля», таким образом, сыграло огромную роль в развитии движения инакомыслящих в России. «Ситуация была волнующей, — вспоминает Валерий Чалидзе в книге 'Права человека и Советский Союз' (Издательство 'Хроника', Нью-Йорк, 1974). — ... Увольнения с работы, исключения из партии, исключения студентов из институтов, «проработки» на собраниях не заставили себя ждать, но, несмотря на это, люди понимали, что происходит нечто такое, чего, казалось бы, не может быть, и сознание этого, да еще радость по поводу пражской весны, вдохновляло многих интеллигентов».

Вот это волнение, что «происходит нечто такое, чего, казалось бы, не может быть», и составляло основное содержание 1966 года.

Вместе с тем накапливались и другие силы, которые считали, что «чего не может быть», того и быть не должно. В середине октября 1966 года в Москве состоялось всесоюзное совещание-семинар идеологических работников. Присутствовало около 1 000 человек со всех концов страны. В самиздатском «Политическом дневнике» (№ 25) появился отчет об этом совещании:

«В первый же день совещания-семинара, вскоре после доклада заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС В. И. Степакова, выступил секретарь ЦК КП Грузии Д. Г. Стуруа, который заявил, примерно, следующее: 'Нас иногда называют сталинистами, но мы не видим в этом ничего зазорного. Мы гордимся, что мы сталинисты. Я — сталинист, потому что с именем Сталина связаны победы нашего народа в годы коллективизации и индустриализации. Я — сталинист, потому что с именем Сталина

связаны победы нашего народа в годы Отечественной войны. Я — сталинист, потому что с именем Сталина связаны победы нашего народа в послевоенном восстановлении народного хозяйства...’ Эти слова Стуруа вызвали аплодисменты примерно 70% присутствующих на совещании. Остальные или молчали или протестовали. Стуруа был поддержан и в выступлении секретаря ЦК КП Азербайджана Ш. К. Курбанова. . . . С консервативных позиций выступили на этом же совещании: секретарь ЦК КП Белоруссии С. А. Пилотович, зав. Отделом науки, школ и вузов ЦК КПСС С. П. Трапезников, председатель Гос. комитета по печати Михайлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов и некоторые другие ораторы и докладчики. Все эти выступления свидетельствуют, по-видимому, о том, что среди руководящих кругов нашей партии начинает оформляться фракция сталинистов».

1967

50 ЛЕТ СПУСТЯ

Прошло полвека... Что же на Невском проспекте теперь, в юбилейном 1967 году? Пятьдесят лет назад, как это запечатлел киножурнал «Свободная Россия», там без конца демонстрировали солдаты в рваных шинелях, матросы в лентах, рабочие с берданками... — ходили и пели о «године свободы», о «вольном царстве святого труда», где «сгинет зло, сгинет ложь навсегда». Как выглядит Невский теперь, в пятидесятую годовщину «Великой Октябрьской Социалистической Революции»?

В предпраздничные дни 1967 года на Невском проспекте тоже былолюдно, грудились толпы. В Пассаж не войти... Шум, крики, давка... Что такое? «Сапоги и туфли женские дают, — поясняет женщина средних лет. — Импортные!» Накануне 50-летия распространились слухи, что Ленинградский порт забит товарами: «Привезли столько барахла, что и корабли не разгрузить!» Передавали, что перед праздниками магазины будут ломиться от товаров, что «холодильники будут давать без очереди». Люди потеряли покой... Придя с работы, кидались по магазинам, особенно, если хотелось чего-нибудь «импортного», получше. Насчет холодильников оказалось враки: в магазинах как висело, так и осталось висеть объявление — «Запись на 67 год производиться не будет. Записанные на холодильники в 62—63 гг. должны отметиться до праздников». Не получить, а отметить!.. Правда, в Пассаже выбросили импортную обувь — голландские, английские, французские туфли. Но ее продавали лишь в маленьком киоске, на подступах к которому рано утром, задолго до открытия, гудели толпы. Можно было услышать такой разговор:

— Зря вы народ озлобляете перед праздниками, — сказала молодая женщина милиционеру. — Ведь в такой очереди целый день убьешь и ничего не достанешь!

— А мы-то тут при чем? — отозвался милиционер. — Мы тоже с утра здесь дежуриим. Нам-то, думаете, легко?

Все эти подробности мы узнаем из самиздатского очерка Сергея Разумного «Что народ ждал от праздников и как они прошли». «В дни праздников Ленинград, так же, как и Москва, — добавляет Сергей Разумный, — был переполнен милицией с радиопередатчиками и войсками МВД. По улицам сновали мрачные молодчики в штатском, но явно нештатского вида. Весь КГБ был мобилизован, выходные и отпуска отменены, введены усиленные круглосуточные дежурства».

У КГБ дел не обобратся . . . Мобилизация, полная «боевая готовность» по случаю 50-летнего юбилея «Великой Октябрьской», а «дела»-то не ждут, подпирают, у всех свои «сроки» . . . — едва успели очухаться от «юбилея», как в Ленинграде начался судебный процесс по «делу ВСХСОН'а». Год назад, в феврале 1966 года, в Москве судили писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, а в нынешнем феврале в Ленинграде открыли организацию, в которой замешаны и писатели, и философы, и ученые . . . — дело серьезное, не 70-я статья, как в Москве, а 64-я, измена Родине! В феврале их всех перехватили, а в ноябре — суд. Ну, переждали праздники и в конце ноября посадили на скамью подсудимых — не всех, а пока четырех главарей этой преступной организации.

Для того, чтобы понять, что происходило в Ленинградском городском суде в конце ноября 1967 года, мы, как и в предюбилейные первые дни того месяца, должны мысленно вернуться к тому времени, когда Петроград еще был Петроградом, хотя правительство Ленина уже перебралось в Москву.

В сентябре 1922 года в Петрограде у пристани стоял немецкий пароход с длинным названием «Обербюргермейстер Хакен». Вернее сказать, пароходишко . . . — такой старый, что союзники отказались взять его в качестве репараций. К этому пароходу были приведены под охраной 75 человек, которых доставили поездом из Москвы. Толпа любопытных, теснившаяся на пристани, узнавала некоторых из высылаемых. Это были люди, известные как в одной, так и в другой столице: вот идет человек с пышной черной шевелюрой, у него гордая посадка головы, — это Н. А. Бердяев, знаменитый философ, основатель Вольной Академии Духовной Культуры; деятельность этой академии состояла в организации публичных лекций на философские, религиозные темы, и эти лекции имели огромный успех у студентов, красноармейцев, рабочих; вот другой философ, С. Л. Франк, декан Вольной Академии; вот историк А. А. Кизеветтер, литературный критик Ю. И. Айхенвальд, писатель М. А. Осоргин, ученый-социолог П. А. Сорокин . . . Каждому из высылаемых было позво-

лено взять по два чемодана, которые были осмотрены таможенниками, — не разрешалось брать с собой никаких писем, фотографий, икон. Пароходишко был не только старый, но и маленький: семейных разместили кое-как в каютах, а одиночки должны были спать на палубе.

Высылаемые, приникнув к бортам парохода, как бы насыщая память, жадными глазами смотрели на Неву, ее набережные, на дворцы, Адмиралтейство, громаду Исакия . . . — они чувствовали, что видят все это в последний раз. В море, за Кронштадтом, к пароходу подошел катер, который принял чекистов, еще оставшихся на «Обербюргермейстере».

«Когда мы переехали по морю советскую границу, — вспоминал впоследствии Бердяев в книге 'Самопознание' (Париж, 1949 г.), — то было такое чувство, что мы в безопасности, до этой границы никто не был уверен, что его не вернут обратно. Но вместе с этим чувством вступления в зону большей свободы у меня было чувство тоски расставания на неопределенное время с моей родиной . . . По приезде в Берлин нас очень любезно встретили немецкие организации и помогли нам на первое время устроиться. Я всегда любил западную Европу, с самого детства часто ездил за границу, хотя меня всегда отталкивала западная буржуазность. Я ходил по Берлину с очень острым чувством контраста разных миров. Я не испытывал подавленности от изгнания, но у меня все время была тоска по России».

В то время, как «Обербюргермейстер Хакен» удалялся от северных берегов России, на юге, в Константинополь, была так же насильственно выслана другая группа ученых, философов, писателей. Всего осенью 1922 года было выслано свыше 160 выдающихся представителей русской интеллигенции. Между тем, за пределами России к тому времени уже находились такие писатели, как Бунин, Куприн, Мережковский, Бальмонт, Гиппиус, Тэффи, Зайцев, Ремизов, Цветаева, Шмелев, такие историки, как Петр Струве, Милюков, Ростовцев, такие философы, как Лев Шестов.

Россия вне России . . . Надо ли говорить, какие страшные последствия для России имела высылка 1922 года, вынужденный исход крупнейших деятелей русской культуры из страны, где утверждалась «идейная диктатура марксизма» (Бухарин, «Правда», 24 июня 1923 года)? Как переменился из-за этого психологический климат России! Какая это была нравственная катастрофа для страны! На многие десятилетия образовалась глубокая трещина — перерыв традиции русской культуры. Н. А. Бердяев с его острым чувством русской истории, пожалуй, особенно

переживал этот разрыв, столь вредный для исторических судеб России. Он умер в 1948 году в Париже, и незадолго до смерти писал:

«Я очень известен в Европе и Америке, даже в Азии и Австралии, переведен на много языков, обо мне много писали. Есть только одна страна, в которой меня почти не знают — это моя родина. Это один из показателей перерыва традиции русской культуры. После пережитой революции вернулись к русской литературе и это факт огромной важности. Но к русской мысли еще не вернулись, этому препятствует все еще господствующий диалектический материализм. Философия остается в очень неблагоприятном положении, свободы мысли нет. Мне, может быть, и позволили бы вернуться в Россию. Но что я мог бы там делать? Вопрос о возвращении на родину для меня очень болезненный. Именно философу возвращаться в Россию не имеет смысла. Сердце сочится кровью, когда я думаю о России, а думаю очень часто. Много думаю о трагедии русской культуры, о русских разрывах, которых в такой форме не знали народы Запада. Есть что-то мучительное в русской судьбе. И ее нужно до конца изживать. В последнее время тема России меня замучила. Я во многом разочарован».

Николаю Александровичу было 74 года, когда он скончался. Проживи он еще двадцать лет, он не написал бы последнего слова в только что приведенном отрывке. Но даже если его тело и погребено в Кламаре, предместье Парижа, он все равно вернулся в Россию!.. Те молодые люди, что сидели на скамье подсудимых в Ленинградском городском суде в ноябре 1967 года, называли себя «бердяевцами».

В 1947 году, когда Н. А. Бердяев заканчивал книгу «Самопознание», откуда взят только что приведенный отрывок, ему, разумеется, и не думалось, что в те дни в Ленинграде бегал в коротких штанишках десятилетний мальчик Игорь Огурцов, который впоследствии, подросши, начнет преодолевать все трудности, доставать его книги и в 1964 году организует «Бердяевский кружок».

Игорь Огурцов родился 22 августа 1937 года в Волгограде, но вырос на берегах Невы. Его отец — морской офицер, а мать — пианистка. В 1966 году он окончил Ленинградский университет — по Филологическому отделению Восточного факультета. До перехода на Восточный факультет он два с половиной года учился на Философском факультете. Надо полагать, он ушел с Философского факультета потому, что — как говорил Н. А. Бердяев — «философия остается в очень неблагоприятном положе-

нии, свободы мысли нет.» Уйдя с Философского факультета, он, однако, не оставил философских занятий, а, наоборот, стал изучать историю русской философии, в особенности начала XX века, совсем неведомую современной русской молодежи, — тут-то он и открыл Бердяева. Быть может, не без влияния матери, он занимался и музыкой: играл на рояле, даже и сам сочинял, его любимые композиторы — Скрябин, Рахманинов.

«Игорь Огурцов — личность исключительная, необыкновенная, — рассказывает Владимир Осипов, редактор самиздатского журнала 'Вече', в статье 'Бердяевский кружок в Ленинграде'. — Он с детства закалял волю, был беспощаден к своим слабостям, вел аскетический образ жизни, не курил, не прикасался к вину, спал почти на досках. Огромная сила воли, большой ум, владение несколькими иностранными языками, способности к писательскому делу, отличное знание музыки и при этом нравственная чистота, чуткость к окружающим — все это резко выделяло Огурцова всюду, дома, на работе (он работал переводчиком и референтом в Центральном научно-исследовательском институте по судостроению). Будучи вегетарианцем, Огурцов не ел мяса, отказался от всего, что напоминало о роскоши. И одновременно вытаскивал пьяниц из канав, никогда не проходил мимо нищих, переживал при виде несчастных. Огурцов — христианин и убежденный патриот России. На его мировоззрение оказал решающее влияние великий русский мыслитель Николай Александрович Бердяев».*

Игорь Огурцов считал себя «персоналистом». Проблемы персонализма — это проблемы личности и свободы личности. Бердяев разрабатывает их в книгах «О назначении человека», «Рабство и свобода человека», «Философия свободного духа». В статье «Персонализм и марксизм» Бердяев пишет, что «марксизм враждебен принципу личности, как и всякое чисто социологическое учение о человеке, которое хочет знать лишь человека социального, формируемого обществом». Молодой французский философ Эмманюэль Мунье, ученик Бердяева (умерший 45-ти лет в 1950 году), пишет, что первая задача персонализма — «неотступно защищать, при всяком режиме, достоинство человека», «защищать по всем линиям — по линии материальной обеспеченности, общественного достоинства, человеческой гордости, гражданского и демократического мужества, интеллектуальной честности, духовной свободы». Не исключена возможность, что Игорь

* «Вестник Русского Студенческого Христианского Движения», № 104—105, Париж, 1972 г., стр. 155.

Огурцов, знающий иностранные языки, тогда уже был знаком не только с книгами Бердяева, но и с книгами Мунье, у которого идеи персонализма приведены в строгую систему.

В июле 1963 года, в подмосковной деревне Жуковке, дочь Сталина, уже крестившаяся в православной церкви, писала в «письмах к другу», что «Россия так жаждет умного слова, так истосковалась по нему». Вот этим умным словом и было слово «персонализм», — вокруг него в 1964 году и объединились ленинградские инакомыслы. К Игорю Огурцову примкнули еще три питомца Ленинградского университета — Михаил Садо, Евгений Вагин и Борис Аверочкин.

Михаил Юханович Садо, по национальности ассириец, окончил вместе с Игорем Огурцовым Восточный факультет Ленинградского университета. Во время ежовщины были арестованы его дед и отец, два дяди со стороны матери, — все они, кроме отца, погибли, а отец, пробывший в лагерях 16 лет, вышел живым при Хрущеве. Когда Михаил Садо учился на последнем курсе университета, его однажды вызвали в «Большой дом» — в Ленинградское управление КГБ. Его приняли «в уютном, с каким-то неуловимым оттенком таинственности, кабинете», и какой-то молодой гебист сказал ему:

— Михаил Юханович, нужно перевести несколько строк с арабского. Лучше вас в Ленинграде этого никто не сделает.

М. Ю. Садо перевел предложенные строки.

— И еще, пожалуйста, с иврита . . . Ведь иврит вы тоже знаете? Всего несколько строк. Будьте любезны.

М. Ю. Садо перевел и с иврита.

— Да, кстати . . . — сказал гебист.

И начал беседу, которая продолжалась больше часа. Молодому студенту Восточного факультета предлагали поступить на службу в «органы».

— Мы вас пошлем на Ближний Восток, — сказал гебист. — Перед вами откроется блестящая карьера.

— У поэта нет карьеры, — ответил Садо словами Блока. — У него есть судьба. А ведь ученый — это тот же поэт.

Пройдет год, и Михаил Садо опять попадет в «Большой дом», но уже арестантом, не в кабинет, а в каземат.*

Евгений Анатольевич Вагин — литературовед, он был главным «идеологом» Бердяевского кружка. Борис Анатольевич Аве-

* Александр Петров-Агатов, «Россия, которой не знают», самиздатский очерк, написанный автором в заключении в Мордовском лагере.

рочкин, молодой человек с темно-огненной бородой, внук одного из первых советских адмиралов, студент Юридического факультета ЛГУ, был хранителем всех документов организации, которую эти четверо «бердяевцев» создали 2 февраля 1964 года.

Они назвали ее — ВСХСОН, Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа. ВСХСОН начал расти. Небезынтересно посмотреть, кто вступал в кружок, чтобы понять, в каких именно кругах современной молодежи растет популярность Бердяева. Вот историк Георгий Николаевич Бочеваров, сын видного болгарского коммуниста. Его отец в тридцатых годах был приговорен в Болгарии к смертной казни, но сумел бежать, пробрался в СССР и . . . был расстрелян в НКВД как «враг народа»; его именем сейчас названа улица в Софии. Писатель-зэк А. Петров—Агатов пишет, что Г. Н. Бочеваров чем-то напоминал ему тургеневского Инсарова: «С той же страстностью Георгий Николаевич шел приступом на марксизм и не мог себе представить Россию без царя и православия». Вот поэт Михаил Коносов, вот Валерий Нагорный, инженер Ленинградского института точной механики и оптики, вот Юрий Баранов, инженер-электрик клиники госпитальной хирургии 1-го Ленинградского мединститута; вот Владимир Веретенев, химик из Томска, но, опять-таки, выпущенный из Ленинградского университета; вот Леонид Бородин, директор средней школы, окончивший университет по историческому факультету. К февралю 1967 года в Бердяевском кружке насчитывалось 28 членов, а также 30 кандидатов в члены.

«ВСХСОН-овцы считали себя персоналистами, — пишет Владимир Осипов в статье 'Бердяевский кружок в Ленинграде'. — В идеологии превалировала 'русская идея' Бердяева. Большинство работ философа организация приобрела. Была поставлена задача — в каждом взводе иметь библиотечку для работы с кандидатами. Основная деятельность ленинградских персоналистов свелась к поискам и размножению книг. Членские взносы составляли 10% от зарплаты. Имелось около 15 пишущих машинок, фотоувеличители, более 10 фотоаппаратов. . . . Они приобретали и переводили с иностранных языков политическую, философскую и религиозную литературу, размножали ее машинописью, фотоспособом, перепечатыванием и конспектированием. Евгений Вагин, например, был обвинен в том, что он переписал для организации работы Бердяева 'В защиту духовной свободы', 'Неогуманизм, марксизм и духовные ценности', 'Христианство и опасность атеистического материализма'. В 1964 году Огурцов и Садо сняли книгу Бердяева 'Новое средневековье'. В 1965—66 гг. Огур-

цов и Садо через Ивойлова передали Бородину для размножения фотопленку с отснятым на ней текстом книги 'Опыт эсхатологической метафизики'.

... Своей отдаленной целью, — рассказывает дальше Владимир Осипов, — учредители ВСХСОН наметили установление персоналистского строя, который, по их мнению, должен был избежать пороков капитализма и коммунизма. ... Программа ВСХСОН предусматривала денационализацию двух третей промышленности с передачей предприятий в собственность рабочих на правах акционеров. Это и есть персонализация собственности. Одна треть предприятий (в том числе военная промышленность) сохранялась в собственности государства. В сельском хозяйстве — добровольный роспуск колхозов и совхозов также с целью персонализации собственности. Каждый гражданин обеспечивался наделом земли из государственного фонда. Политический строй должен был стать беспартийным. Никаких партий вообще! Но свобода печати должна быть как в профсоюзной, так и в любой прессе. Верховным органом власти провозглашался Всероссийский Верховный Собор, в котором не менее одной трети мест предполагалось закрепить за духовенством. Вопрос о главе страны оставался открытым. Православие — государственная религия».

Конечно, Н. А. Бердяев вряд ли одобрил бы все пункты программы, разработанной молодыми «бердяевцами» в Ленинграде, — например, пункты о том, чтобы объявить православие «государственной религией» и предоставить духовенству «не менее одной трети мест» в верховном органе страны. Быть может, составители этой программы сами отказались бы от этих пунктов, если бы их программа была поставлена на широкое и открытое обсуждение. Увы, такой возможности им не было дано, да они ее, к сожалению, и сами не искали: быть бы «Бердяевскому кружку» только кружком, не больше, а они превратили его во ВСХСОН, подпольную, секретную организацию, поделенную на «взводы». В среде членов ВСХСОН'а оказался предатель — Владимир Петров, сотрудник Ленинградского института оптики. В феврале 1967 года молодых «бердяевцев» переарестовали. Основателей кружка судили по 65-й статье за «измену Родине». Суд начался вскоре после 50-летнего юбилея «Великой Октябрьской», 2 декабря был зачитан приговор: Игоря Огурцова приговорили к 15 годам лишения свободы (7 лет тюрьмы и 8 лет лагерей) и к 5 годам ссылки (всего к 20-ти годам); Михаил Садо получил 13 лет заключения, из них 3 года тюрьмы; Евгений Вагин и Борис

Аверочкин — по 8 лет. 17 рядовых членов ВСХСОН судили в марте—апреле 1968 года.

Игорь Огурцов не признал себя виновным в измене Родине, сказав, что подобное обвинение считает для себя оскорбительным. Михаил Садо произнес на суде речь, которую надо признать ярким и значительным документом юбилейного года, — приведем ее полностью:

«Граждане судьи!

Я обвиняюсь в очень тяжелом преступлении — в измене Родине. Эту измену я совершил, как следует из материалов следствия, организовав вместе с сидящими здесь моими соратниками заговор с целью свержения советской власти и установления буржуазного режима. Для этого была организована антисоветская организация 'Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа'. В чем, на мой взгляд, особенность нашего дела, и где ключ к разгадке преступления? Если все, что мы делали, можно назвать преступлением.

Возрастной ценз лиц, привлеченных к уголовной ответственности по данному делу, от 18 до 43 лет. Ни один из нас не судим ранее. Из 28 участников организации двадцать имеют высшее образование и один — среднее. Все это дети советских рабочих, служащих, интеллигенции, офицеров. Все родились в России, учились в советской школе, в советских вузах.

Что же случилось с нами? Что заставило нас, каждого в отдельности, стать на путь борьбы с советской властью?

Я думаю, что прежде всего надо рассказать о себе . . .

Я родился в 1934 году в Ленинграде в семье чистильщика обуви. Родители мои были безграмотными. По национальности я ассириец. Вы, конечно, знаете, что ассирийцы осели в России в основном в период первой мировой войны 1914—18 годов и, тесно связанные, как христиане, с единоверцами-русскими, обрели здесь для себя родину. И я, как в свое время Пушкин, ведущий свой род из Эфиопии, не представляю себя без России, без русского языка, без культуры русской . . .

Россия для нас, ассирийцев, стала второй, а скорее всего, единственной родиной. К сожалению, родина эта подчас оборачивалась для нас злой мачехой. Распространившиеся по стране в 1937 году необоснованные репрессии захватили и ассирийцев. Почти вся интеллигенция и большинство мужчин свыше тридцати лет были арестованы и в основном истреблены. Были закрыты наши школы, прекратилось издание книг, даже газеты, между прочим, единственной. Репрессии коснулись и нашей семьи. Был арестован отец, два маминых брата и мой дед. Остал-

ся жив только отец, отсидевший 16 лет. В 1956—57 годах все они были реабилитированы за отсутствием состава преступления.

Я опузу рассказ о тяготах своей жизни, о смерти матери, ибо задача моя — не разжалобить суд, а обнажить перед вами факты, одни только факты.

В школу я поступил поздно. Причина — война, ленинградская блокада. В первый класс я пришел только в 1944 году, в седьмом вступил в комсомол, в 1952, увлекаясь спортом, стал чемпионом Ленинграда по классической борьбе. К концу школьного образования почувствовал повышенный интерес к истории и литературе. К остальным наукам был равнодушен, тем более, что все ведь тогда было более просто. По биологии, например, нас учили, что вся эта наука держится на четырех столпах: Тимирязев, Вильямс, Мичурин, Лысенко. Помню также, что ветвистая пшеница академика Лысенко обещала нам сказочные урожаи с гектара. Но я этих урожаев так и не видал, хотя часто бывал в колхозах Кубани и Украины. На уроках литературы нас кормили Сталиным в огромных порциях, и знакомство с литературой народов сводилось к изучению произведений безграмотного акына Джамбула и такого же ашуга Сулеймана Стальского.

На уроках истории нас уверяли, что без Сталина Октябрьская революция победить не смогла бы, и всем, буквально всем, даже жизнью, мы обязаны только Сталину. Поэтому, когда Сталин умер, я был уверен, что произойдет что-то невероятное. Я никогда не видал Иосифа Виссарионовича живым. Мне хотелось увидеть его хотя бы мертвым. С несколькими школьниками-товарищами я сбежал из дому, уехав на похороны вождя в Москву. Впечатление от этих похорон, где люди давили друг друга, как в преисподней, осталось у меня на всю жизнь.

Осенью 1954 года я был призван в армию и попал в парашютно-десантные войска. Участвовал во множестве учений. Был поднят по тревоге во время венгерских событий. Видел атомный взрыв.

Во время учений, которые проходили в Ярославской и Костромской областях, часто бывал в деревнях и всегда поражался безысходной бедностью, нищетой их.

Церкви, часовни, монастыри были в запустении, разваливались. Во многих церквях размещались склады горючего, различные кладовые, мастерские. У меня это выливалось в нестерпимую боль за поругание русской культуры. В 1956 году нам, солдатам, было прочитано Постановление ЦК о культе личности Сталина, в 1957 году, когда я уже вернулся в Ленинград, повсюду только и говорили об антипартийной группировке Маленко

ва, Молотова, Кагановича и других. Потом, помню, состав нового Политбюро приезжал в Ленинград на празднование 250-летия города.

Вместе с многими ленинградцами я стоял на Невском у Дома книги и приветствовал этот кортеж. На душе было беспокойно: ведь анафеме предавались люди, которые долгие годы были рядом со Сталиным, имена которых составили нашу историю.

‘Что же происходит?’ — задавал я себе вопрос. Но разобраться было некогда. Надо было сдавать экзамены в университет.

В студенческой среде все новое, происходящее в стране после разоблачения культа, воспринималось эмоционально и проявляло себя в бурном самовыражении. Тогда взхлёб читались Ремарк и Хемингуэй, книга Дудинцева ‘Не хлебом единым’, диспуты по которой носили очень бурный и острый характер.

Насколько студенты болезненно воспринимали культ личности свидетельствует то, что любой диспут в конце концов сводился к проблеме культа, к его критике и очень часто выливался в требование: сурово наказать виновников репрессий.

Такая литература, как ‘Письмо к Сталину’ Раскольниковца, ‘Крутой маршрут’ Евгении Гинзбург, ‘Один день Ивана Денисовича’ Александра Солженицына и т. д., не могли не производить впечатления. Лично я был захвачен этой трагедией. Трагедией эпохи. К сожалению, мы все скоро увидели, что это не конец трагедии, а только ее начало. Вслед за культом Сталина уже начинался культ Хрущева.

И положение в стране еще ухудшилось.

Рабство, авантюризм, бесхозяйственность, несправедливость так и кричали на каждом углу.

Промышленные производства были захламлены. Перерасход сырья стал обычным явлением. Хищение, взяточничество приняли колоссальные размеры. В реках гибла рыба, в лесах — зверье, сельское хозяйство являло картину полнейшего разгрома. Колхозники зарабатывали в месяц по 25—30 рублей, а труд их был ужасающим. Я сам видел, как эти бедные люди с утра до ночи ползали на четвереньках под дождем, убирая картофель. И тем не менее картофельные поля часто оставались необработанными. А в это время Хрущев со своей семьей разъезжал по миру, производил идиотские речи, которых не мог не стыдиться ни один уважающий себя русский. Недовольство росло. Произошло повышение цен на мясо и молочные продукты, пшеница стала покупаться за рубежом. Это Россией-то! Последовали авантюры с денежной реформой, государственными займами.

В стране создавалась напряженная обстановка, приведшая к

массовым выступлениям против советской власти в Новочеркасске, Караганде, Тбилиси, Краснодаре и других местах.

Я был уверен, что мы стояли тогда накануне внутренней катастрофы, которая могла разразиться стихийно в любой момент и бросить страну во внутренний хаос.

Скажите, граждане судьи! Что в этой ситуации должен был делать сын своего отечества? Россия — мое отечество. Моя мать. Мог ли я спокойно смотреть, как гибнет моя мать?»

1968

ДВЕ ВЕСНЫ — ПРАЖСКАЯ И МОСКОВСКАЯ

В марте 1968 года в г. Марианске-Лазне (бывш. Мариенбад) происходила научная конференция, созванная Академией наук Чехословакии. На конференцию съехались философы, экономисты, естествоиспытатели, — всех интересовал вопрос, который там обсуждался. Речь шла о взаимоотношениях марксистско-ленинской идеологии и науки, о том, что Маркс и Ленин не дают ответов на многие вопросы современности, что мир более сложен, нежели это кажется тем, кто грубо делит мир на два противоположных лагеря — лагерь капитализма и лагерь социализма. Материалы этой конференции впоследствии были опубликованы в книге с характерным названием — «Цивилизация на распутье».*

Как раз в те самые дни, 29 марта 1968 года, в Москве выступил с большой речью генеральный секретарь ЦК КПСС, и его речь показала, что он глух и не слышит «шума времени». Брежнев в 1931 году учился в металлургическом институте, а ночами, вместе с отцом и младшим братом, работал на металлургическом заводе, и в нем еще силен «пафос индустриализации». Теперь, однако, были не тридцатые годы, а шестидесятые, и даже если говорить только о металлургах, перед ними стояли совсем другие проблемы, — не «индустриализации», не введения в строй новых мощностей, домен, мартенов, прокатных станов, а интенсификации доменного процесса, автоматизации управления, усовершенствования выплавки стали. Давно отшумели годы, когда на строительных площадках действовали массы, и все решалось маневрированием рабочей силой, посредством команд, угроз, открытого или прикрытого террора. Можно ли решать сегодняшние задачи вчерашними методами? Усовершенствованная технология требует на масс, а человека, причем человека свободного, ибо только свободно мыслящий человек может решать услож-

* Radovan Richta, „La Civilisation au carrefour“, éditions Anthropos, Paris, 1969.

нившиеся проблемы. Другими словами, само развитие науки и техники выдвигает в наше время вопрос о свободе и независимости человека как личности. На конференции в г. Марианске-Лазне говорилось о том, что наука не только выдвигает требование демократизации общества, но и сама является движущей силой демократизации. Между тем, Брежнев в речи 29 марта 1968 года, отмечая «достижения научно-технической мысли в нашей стране», требовал «усиления идеологической работы среди научно-технической интеллигенции», «борьбы с ревизионизмом», т. е. подавления свободы мысли, укрепления власти партаппарата над всем обществом, в том числе и в особенности над деятелями науки и техники. Брежнев без устали повторял слово «массы» и хвалился тем, что «за последний год рабочие составили 52,2% общего количества кандидатов, принятых в партию» и что «такой рабочей прослойки партия не имела уже тридцать пять лет», т. е. с 1933 года.

В те же весенние дни 1968 года в Москве, в тиши своей квартиры, размышлял над всеми этими вопросами один русский ученый. Он был еще сравнительно молод, — в мае ему должно было исполниться 47 лет. Но ему, родившемуся в Москве 21 мая 1921 года, уже давно были оказаны государством высочайшие почести: он был трижды Герой Социалистического Труда! В 1953 году он был избран действительным членом Академии наук СССР, — самый молодой академик за всю ее двухвековую историю. Необыкновенность этого избрания как бы подчеркивалась тем, что тогда же в действительные члены был избран и его учитель И. Е. Тамм, ходивший в «членах-корреспондентах» двадцать лет. Имя этого молодого ученого — Андрей Дмитриевич Сахаров. В марте 1968 года он писал свои «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».

Впоследствии, в марте 1974 года, он опубликует за рубежом автобиографические заметки, в которых расскажет свой путь к весне 1968 года. В 1938 году он окончил среднюю школу и поступил в Московский университет. Его отец был преподавателем физики, и он пошел по стопам отца. 22 июня 1941 года, только что перейдя с третьего курса на четвертый, он решил записаться добровольцем в действующую армию, но его исключительные дарования были уже замечены профессорами университета, — ему дали «броню», освободили от воинской повинности. В 1942 году, по окончании университета, он поступил инженером на военный завод, где сделал несколько изобретений, касающихся методов контроля качества продукции. По окончании войны, в 1945 году, он поступил в аспирантуру Лебедевского института, где занимал

ся под руководством И. Е. Тамма, одного из крупнейших ученых-физиков XX века, впоследствии (в 1958 г.) ставшего лауреатом Нобелевской премии. В 1947 году Андрей Сахаров защитил диссертацию на звание кандидата наук и был зачислен в исследовательскую группу, занимавшуюся проблемой термоядерного оружия.

Как известно, другой знаменитый ученый-физик, Петр Леонидович Капица, отказался работать над атомной бомбой. В 1946 году его за это удалили из Института физических проблем Академии наук СССР, на него наложили домашний арест. Н. С. Хрущев рассказывает в воспоминаниях, как после смерти Сталина он пытался привлечь Капицу к работе над военными заданиями, — Капица отказался. Но А. Д. Сахаров не отказался, как не отказывался и его учитель И. Е. Тамм.

Заслуживают ли они упрека?

В статье «Образованщина», в сборнике «Из-под глыб», Александр Солженицын пишет: «С начала 30-х годов техническая интеллигенция была приведена также к полной покорности, 30-е годы были успешной школой предательства и для нее: . . . уже не стало такого военного заказа, который русские интеллигенты осмелились бы оценить как аморальный, не бросились бы поспешно-угодливо выполнять. Эта угарная преданность государственным заказам очень нестеснительно выражена в недавней самиздатской публикации "Туполевская шарага", она не миновала и крупнейших фигур».

Впрямь, в очерке «Туполевская шарага» бывший ээк, доктор технических наук проф. Г. А. Озеров рассказывает, как академики, профессора, инженеры-конструкторы (в том числе А. Н. Туполев, С. П. Королев, В. М. Петляков), находясь в заключении, работали над государственными заказами. Однако присмотримся внимательнее к картине, нарисованной проф. Г. А. Озеровым:

«Как-то зимой, вечером, из ворот одной из московских тюрем выехала машина. Это был не 'черный ворон', а обычный пикап. Пятеро заключенных с вещами сидели, опустив головы. Куда, зачем? Поколесив по Москве, машина остановилась у глухих железных ворот на улице Салтыкова и просигналила. Вышел охранник в форме НКВД, переговорил с офицером, сидевшим рядом с шофером, и пикап въехал на территорию завода № 156 НКАП. * Проехав мимо традиционных монументов Ленина и Ста-

* Народного комиссариата авиационной промышленности.

лина, машина остановилась у двери здания КОСОС.* ... Впервые за три года ложимся спать в нормальную человеческую кровать с простынями, подушками, одеялом. Спальня затихает... Не спят одни новички, слишком это сильное потрясение после тюрем, этапов, пересылок, лагерей — лежать в чистой кровати, предвкушая любимую работу, иностранные технические журналы, логарифмическую линейку, остро оточенные карандаши и чистую, тугую поверхность ватмана, натянутого на доске. Из грязи, бесправия, окриков охраны, матерщины, гнуса и холода в тундре, жары и тарантулов в пустыне, драки за порцию баланды или стоптанные опорки, — сесть за 'Изис', провести осевую линию и начать думать — это, знаете, грандиозно!»

Кто бросит камень упрека в такого ээка?

Правда, А. Д. Сахаров не был ээком, но трудно ли понять чувства начинающего 26-летнего ученого, попавшего в исследовательскую группу, занятую разработкой проблем термоядерного оружия? «У меня не было никаких сомнений, — говорит он, — что создание термоядерного оружия было жизненно-важной задачей как для нашей страны, так и для равновесия силы в мире. Увлеченный грандиозностью задачи, я работал с максимальным напряжением сил, стал автором или соавтором некоторых ключевых идей. В западной печати меня часто называют 'отцом водородной бомбы'. Эта характеристика очень неточно отражает сложную реальную ситуацию коллективного авторства, о которой я не буду говорить подробно».

К тому же, научная работа А. Д. Сахарова касалась не только военного, но и мирного использования термоядерной энергии. И для того, чтобы понять заслуги этого человека перед Россией, нам необходимо на этом остановиться. В апреле 1958 года, когда Н. С. Хрущев приезжал в Англию, в составе правительственной делегации находился И. В. Курчатов, директор Института атомной энергии Академии наук СССР. В Харуэлле, английском атомном центре, он сделал доклад, в котором сказал:

«Среди важнейших проблем современной физики особое место по своему значению занимают проблемы энергетического использования термоядерных реакций. Необычайно интересная и вместе с тем очень трудная задача управления термоядерными процессами привлекает в настоящее время внимание физиков всего мира. ... Рассматривая возможные пути осуществления контролируемых термоядерных реакций большой интенсивности, мы обнаруживаем перед собой широкий горизонт различных направ-

* Конструкторский отдел сектора опытного самолетостроения.

лений, по которым можно пойти, пытаюсь решить задачу. На одном краю этого горизонта лежат направления, связанные с разработкой метода получения стационарных ядерных реакций, на другом — путь, основанный на идее повышения температуры при импульсивном процессе очень малой длительности. Однако при любом выборе направления исследований мы всегда встречаемся с одним и тем же вопросом: как изолировать плазму, нагретую до очень высокой температуры, от стенок сосуда, в котором она заключена. Другими словами, как удержать в плазме быстрые частицы в течение промежутка времени, чтобы заметные их количества успели прореагировать друг с другом. Одна из идей — использовать магнитное поле. Впервые на это указали в 1950 году академики Сахаров и Тамм».

В очерке А. М. Ливановой, журналистки по профессии, но физика по образованию, находим такие подробности:

«Игорь Евгеньевич Тамм рассказывал мне, как все это началось. В сентябре 1950 года он вернулся из отпуска. Приехал, а ему говорят: 'Есть одна идея'. Оказывается, к Андрею Сахарову, его недавнему сотруднику, попало на отзыв изобретение одного военного с Дальнего Востока. Изобретатель предлагал осуществить в лабораторных условиях синтез водорода. Но тем способом, который он предлагал, даже в принципе ничего сделать нельзя. Плазма никак не изолировалась от стенок сосуда, значит, и сколько-нибудь значительный нагрев ее был исключен. Сахаров стал думать: а как же можно? После напряженных размышлений придумал — только магнитное поле в состоянии надежно изолировать плазму. Электрически заряженная плазма будет 'висеть' в магнитном поле, как, по преданию, гроб Магомета висел в воздухе, ни на что не опираясь, ничего не касаясь. А потом, чтобы исключить электроды на концах трубы, в которой заключена плазма, чтобы из них не уходило тепло, Сахаров предложил изогнуть трубу в бублик — сделать ее тором. Но в торе магнитное поле становится неоднородным. Частицы плазмы в неоднородном поле начнут путешествовать, дрейфовать и уходить на стенки — значит, снова нарушится изоляция плазмы. Тогда Сахаров предложил поместить по оси тора согнутый в кольцо проводник и пустить по нему ток. Этот продольный ток снимает дрейф плазмы, а сам проводник, опять же под воздействием внешнего магнитного поля, тоже превратится в 'гроб Магомета' — он будет висеть в торе, не касаясь его стенок. Такова была 'одна идея', о которой сотрудники рассказали Тамму. Игорь Евгеньевич подчеркивает, что идея эта принадлежит Сахарову и вообще с удовольствием говорит, какой Сахаров незаурядный,

нетривиальный ученый, необычайно изобретательный, необычайно талантливый».

В том же 1950 году, когда А. Д. Сахаров и И. Е. Тамм сформулировали идею магнитной термоизоляции высокотемпературной плазмы, исследовательская группа была включена в специальный институт, где ученые-физики попали, как говорит Сахаров, «в круговорот особого мира военных конструкторов и изобретателей». В этом круговороте А. Д. Сахарову предстояло пробыть до весны 1968 года...

«Некоторые на Западе считают, — пишет А. Д. Сахаров в автобиографических заметках, — что я начал протестовать против несправедливости, чтобы искупить свою вину за создание бомбы. Это не так. Моральное мое осознание происходило постепенно в пятидесятых годах».

«Моральное мое осознание...» Что послужило толчком для этого процесса? По-видимому, то обстоятельство, что А. Д. Сахаров был ученым-физиком, деятелем той науки, которая в 1940—50-х годах оказала особенно глубокое влияние на жизнь всего человечества. В свои 26 лет он мог думать, что «создание термоядерного оружия было жизненно-важной задачей для нашей страны», и, конечно же, огромны его заслуги перед Россией. Но, осознавая себя как ученого-физика, он не мог не чувствовать, что его наука открыла перед всем человечеством новые, безграничные горизонты. Бесспорно, Россия — великая страна, одна из величайших в мире, но все же это только часть планеты, и какая малая часть по сравнению с пространствами всех известных и еще неизвестных планет, путь к познанию и освоению которых открыла его наука, физика! Вряд ли приходится сомневаться, что тут и начинается «западничество» А. Д. Сахарова, которое впоследствии отдалит его от «русита» А. И. Солженицына.* В этом же источнике его теории «конвергенции», которую он выдвинул в 1968 году.

Если от ученых, и в особенности от ученых-физиков, как никогда в истории, ныне зависят экономика, культура, военная техника, завоевание космоса и, наряду с этим, повседневный быт

* «Мне далека точка зрения Солженицына на роль марксизма как якобы 'западного' и антирелигиозного учения, которое исказило здоровую русскую линию развития. Для меня вообще само разделение идей на западные и русские непонятно. По-моему, при научном рационалистическом подходе к общественным и природным явлениям существует только разделение идей и концепций на верные и ошибочные» (Андрей Сахаров. «О письме Александра Солженицына 'Вождям Советского Союза'», апрель 1974 года).

человека, то не ясно ли, что пришло время, когда ученые, и в особенности ученые-физики, должны играть какую-то роль в современной как внутренней, так и международной политике, оказывать свое влияние на судьбы мира? А. Д. Сахаров в пятидесяти годах начал прислушиваться к голосам таких ученых, как Ф. Жолио-Кюри, Л. Полинг, А. Швейцер, что еще больше делало его «западником», в отличие от «руситов», которые убеждены в «катастрофическом падении западного мира, западного духа и всей западной цивилизации».* В 1958 году А. Д. Сахаров решил, что и в России ученым пора преодолеть свою немочу: намечались новые ядерные испытания в Арктике, и наш «отец водородной бомбы» уговорил нескольких ученых написать коллективное письмо — протест против отравления атмосферы. И. В. Курчатов поехал с письмом в Ялту, где тогда находился Н. С. Хрущев, — письмо осталось без ответа. Летом 1961 года ведущие атомные ученые были приглашены на встречу с Н. С. Хрущевым, и там выяснилось, что готовится испытание в атмосфере мощной 100-мегатонной бомбы. Как пояснил Н. С. Хрущев, тем самым он надеялся укрепить свою позицию в переговорах по «германскому вопросу», о «статусе Берлина». Испытание 100-мегатонной бомбы, таким образом, не вызывалось ни научными, ни военными нуждами, а исключительно политическими соображениями. А. Д. Сахаров написал и послал по цепочке записку о том, что испытание такой бомбы не только вызовет страшное отравление атмосферы, но и сорвет переговоры о разоружении. «Царь Никита» молча прочитал записку А. Д. Сахарова, положил ее в боковой карман, а некоторое время спустя, во время банкета, устроенного для ученых, произнес речь, в которой сказал:

«Сахаров — хороший ученый, но предоставьте нам, специалистам этого сложного дела, делать внешнюю политику. Только сила, только дезориентация врага! . . . Мы не можем сказать вслух, что мы ведем политику с позиций силы, но это должно быть так. Я был бы слюнтяй, а не председатель Совета министров, если бы слушался таких, как Сахаров».

В 1962 году, когда намечались новые ядерные испытания, А. Д. Сахаров пытался остановить их, звонил в Ашхабад «царю Никите», который тогда находился в поездке по Средней Азии. Но оказалось, что начало испытаний было передвинуто на более ранний срок, и в тот самый момент, когда А. Д. Сахаров звонил в Ашхабад, самолет-носитель уже летел со своей ношей к наме-

* А. И. Солженицын, «Письмо вождям Советского Союза».

ченной точке взрыва. «Чувство бессилия и ужаса, — пишет А. Д. Сахаров, — охватившее меня в этот день, запомнилось на всю жизнь и многое во мне изменило на пути к моему сегодняшнему мировосприятию».

В 1964 году, на выборах в Академию наук СССР, А. Д. Сахаров выступил против кандидатуры Н. И. Нужи́дина, биолога, принадлежавшего к «школе Лысенко», а несколько позже — против кандидатуры С. П. Трапезникова, работника ЦК КПСС. Как Нужи́дин, так и Трапезников пользовались покровительством «царя Никиты», и тот распорядился, чтобы гебисты «проучили Сахарова». В печати впервые появилась статья с нападками на А. Д. Сахарова.

К этому времени относится знакомство А. Д. Сахарова с братьями Медведевыми. Надо полагать, это было связано с его выступлением против кандидатуры Нужи́дина, который и был забаллотирован при голосовании, поскольку Жорес Медведев, молодой ученый-генетик был автором книги «Биологическая наука и культ личности», направленной против Лысенко и широко распространившейся в Самиздате. Между тем, Рой Медведев, брат Жореса, в ту пору работал над книгой «К суду истории», монументальным трудом о генезисе и последствиях сталинизма. Как вспоминает А. Д. Сахаров, обе книги, особенно вторая, отрывки из которой он прочитал в 1967 году, произвели на него большое впечатление.

Надо заметить, что Рой Медведев в ту пору внимательно следил за событиями в Чехословакии, — начиналась «пражская весна», и она радовала этого талантливой, смелого, к тому же хорошо осведомленного московского инакомысла. Для Роя Медведева, как убежденного марксиста и западника, быть может, не имели особенного значения давние исторические связи России и Чехословакии: это только «руситы» могли задумываться о том, что Владимир Святославович, великий князь киевский, был женат «на чехине», что в 1148 году, когда чешский король Владислав возвращался из крестового похода, то побывал на Руси, в гостях у князя Изяслава Мстиславовича, что русские святые, князья-мученики Борис и Глеб, почитаются и в Чехии... Но Рой Медведев, читая в «Руде право» (26 июня 1968 года) статью Р. Паролека, предлагавшего закрепить в Уставе КПЧ права партийного меньшинства, мечтал о том же и для партийного меньшинства в КПСС. Все, что весной 1968 года происходило в Праге, Медведев соотносил к Москве. Вот, например, в мае 1967 года в Москве состоялся IV съезд писателей, к которому Александр Солженицын обратился с письмом, направленным против цензуры, — на

съезде в Москве не было даже простого упоминания о письме автора повести «Один день Ивана Денисовича», тогда как это письмо широко цитировалось на съезде писателей в Праге в июне того же 1967 года. Крепкую, резкую речь против цензуры произнес на съезде в Праге писатель Людвиг Вацулик. Быть может, для Роя Медведева было важно и то, что Людвиг Вацулик пришел в литературу «от станка» (бывший рабочий обувной фабрики) и состоял в компартии. Вот этот-то Людвиг Вацулик и составил весной 1968 года знаменитый манифест «Две тысячи слов», — под ним подписались 70 писателей и ученых Чехословакии, и он 27 июня 1968 года был опубликован сразу в нескольких чехословацких газетах («Праце», «Земедельске новины», «Млада фронта» и «Литерарни листы»). В манифесте говорилось о том, что компартия Чехословакии превратилась «из политической партии и идейного союза в орган власти, которая стала притягательной силой для властолюбивых эгоистов, для трусов и людей с грязной совестью», что «аппарат власти вышел из-под контроля народа», что «ни одна организация не принадлежит на деле ее членам, даже коммунистическая». Всё, решительно всё, что говорилось в манифесте «Две тысячи слов», было верным как для Чехословакии, так и для Советского Союза. Пражская весна... А когда же московская? В июне 1968 года Рой Медведев был уже близок к окончанию своей работы «К суду истории» (он начал эту книгу, самиздатский экземпляр которой имеет 1040 страниц, в августе 1962 года и закончил в августе 1968 года). Между тем, в июне 1968 г. А. Д. Сахаров дописал последние страницы своих «Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Быть может, по аналогии с манифестом «Две тысячи слов», этот документ получил в международной печати название — «Манифест Сахарова».

«Взгляды автора формировались в среде научной и научно-технической интеллигенции, которая проявляет очень большую озабоченность в принципиальных и конкретных вопросах внешней и внутренней политики, в вопросах будущего человечества», — так А. Д. Сахаров начинает свои «Размышления», которые уже в июле 1968 года были полностью опубликованы на страницах «Нью-Йорк Таймса», а затем вышли книгами на многих языках разных стран мира. Конечно, в странах Западной Европы и Америки и до появления «Размышлений» А. Д. Сахарова раздавались голоса, предупреждающие об опасности, грозящей человечеству, но никто и никогда еще не говорил об этом с такой потрясающей ясностью, какая доступна только большому ученому, подлинному авторитету. К тому же, А. Д. Сахаров не ограничил-

ся предупреждениями об опасностях, грозящих человечеству, а предложил конкретный план, которым могли бы руководиться в совместных действиях все народы мира.

В основе этого плана заложена идея конвергенции, т. е. сближения капитализма и социализма. «И капиталистический, и социалистический строй, — пишет акад. Сахаров, — имеют возможности длительно развиваться, черпая друг у друга положительные черты (и фактически сближаясь до существенных отношений)». План охватывает период от конца 1960-х годов до 2 000 года. На первом этапе (1968—1980 гг.) в социалистических странах будет нарастать идейная борьба между сталинистскими и маоистскими силами с одной стороны, и реалистическими силами коммунистов-ленинцев и левых западников с другой стороны, — борьба кончится победой реалистов, которые возьмут курс на углубление мирного сосуществования, укрепления демократии и расширения экономической реформы. На втором этапе (поскольку сроки этапов могут перекрываться, этот этап, по мнению А. Д. Сахарова, может охватывать 1972—1985 годы) давление примера стран социализма и внутренних прогрессивных сил в США и других капиталистических странах приведет к победе там левого, реформистского крыла буржуазии, которая возьмет курс на сближение (конвергенцию) с социализмом. На третьем этапе (1982—1990 годы) СССР и США, преодолев разобщенность, решат проблему спасения более бедной половины земного шара; одновременно произойдет разоружение. На четвертом этапе (1990—2000 годы) «социалистическая конвергенция приведет к сглаживанию различий социальных структур, к развитию интеллектуальной свободы, науки и производительных сил, к созданию мирового правительства и сглаживанию национальных противоречий».

Правда, что новейшая история пошла не так, как это расписано в плане А. Д. Сахарова. В ночь на 21 августа 1968 года войска Советского Союза, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии вторглись в Чехословакию. Это была самая большая военная операция в Европе со времени Второй мировой войны, — к 28 августа оккупационная армия насчитывала уже 650 000 человек. Чехословаки держали себя с большим достоинством: оккупантам было трудно найти человека на смену Александру Дубчеку. В воскресенье 25 августа в Москве, на Красной площади состоялась демонстрация молодежи. Был развернут плакат: „At zije svobodné a nesávislé Československo!“ — «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!» Демонстранты были избиты гебистами. В октябре 1968 года их судили. Павел Литвинов, внук быв-

шего министра иностранных дел СССР Максима Литвинова, был приговорен к ссылке на пять лет. В статье «Свет на Востоке», появившейся в английской газете «Обсервер», известный политический писатель Эдуард Кранкшоу писал, что «советское руководство, раздираемое разногласиями, страшась новых идей, которые грозят смести со сцены 'руководителей партии и правительства', пытается укрыться за щитом военной мощи», но что именно поэтому «необычайно важный этот документ ('манифест Сахарова') появился в самое подходящее время». «Размышления» А. Д. Сахарова вызвали в свою очередь размышления у миллионов людей во всех концах планеты, и эти размышления были освещены новым светом, загоревшимся в России.

Была в 1968 году «пражская весна», но была и «московская весна»... Нетрудно видеть духовную связь между тем, что говорилось на научной конференции в г. Марианске-Лазне в марте 1968 года и «Размышлениями» академика А. Д. Сахарова, между манифестом «Две тысячи слов» и «Книгой о социалистической демократии» Роя Медведева, между студенческой молодежью Карлова университета и молодежью в Москве, которая 30 апреля 1968 года выпустила первый номер самиздатского журнала «Хроника текущих событий». В первом номере «Хроники» было напечатано подробное сообщение о процессах по делу ВСХСОНа («Бердяевское кружка»), состоявшихся в Ленинграде в ноябре 1967 года и в марте-апреле 1968 года. Третий номер «Хроники», вышедший 30 августа 1968 года, был полностью посвящен событиям в Чехословакии и демонстрации на Красной площади в Москве.

Свет на Востоке!.. Свет на Востоке!..

В книге «Бодался теленок с дубом» Александр Солженицын пишет: «Когда Ленин задумал и основал, а Сталин развил и укрепил гениальную схему тоталитарного государства, всё было ими предусмотрено и осуществлено, чтобы эта система могла стоять вечно, меняясь только мановением своих вождей, чтоб не мог раздаваться свободный голос и не могло родиться противоречие. Предусмотрено всё, кроме одного — чуда, иррационального явления, причин которого нельзя предвидеть, предсказать и перерезать. Таким чудом и было в советском государстве появление Андрея Дмитриевича Сахарова — в соннице подкупной, продажной, беспринципной технической интеллигенции, да еще в одном из главных, тайных, засыпанных благами гнезд — близ водородной бомбы».

В декабре 1968 года, добавим, народ праздновал 50-летие Александра Солженицына. Народ, читатели его напечатанных и

ненапечатанных книг, но не Союз писателей, — в тот год его, правда, еще не исключили из Союза, но поздравления оттуда в Рязань не посылали. Но от народа в Рязань шел поток телеграмм и писем, — телеграфные разносчики порой приносили по 50, по 70 телеграмм сразу, и несколько раз на дню, всего было получено больше пятисот телеграмм, до двухсот писем, причем мало анонимных, а больше бесстрашных, подписанных. Были в числе телеграмм такие две:

«Вашим голосом заговорила сама немота. Я не знаю писателя, более долгожданного и необходимого, чем вы. Где не погибло слово, там спасено будущее. Ваши горькие книги ранят и лечат душу. Вы вернули русской литературе ее громовое могущество. Лидия Чуковская».

«Живите еще пятьдесят не теряя прекрасной силы вашего таланта. Все минется, только правда останется. Всегда ваш Твардовский».

ВОЗМОЖНО ЛИ СЕГОДНЯ РЕАБИЛИТИРОВАТЬ СТАЛИНА?

В начале лета 1969 года в здании ЦК КПСС на Старой площади в Москве пришел по вызову инженер-майор Г. О. Алтунян. Восемнадцатилетним юношей, в 1951 году, его призвали в армию, и он стал военным — прослужил в армии 18 лет. Последнее время он состоял преподавателем военного вуза в Харькове. Но вот, его исключили из партии за «антипартийное поведение» и уволили из армии по ст. 59 (служебное несоответствие) без выходного пособия. Алтунян жаловался, требовал пересмотра дела, — теперь его вызывали в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС.

— Алтунян, Генрих Ованесович? — спросил старший лейтенант КГБ в Бюро пропусков, и, справившись в бумагах, найдя заявку, проверив документы, выписал пропуск: 3-й подъезд, 2-й этаж, комната 233.

В подъезде № 3 с такою же подчеркнутою вежливостью, отработанной аккуратностью Алтуняна встретили два молодцеватых гебиста — лейтенант и младший сержант. Лейтенант проверил пропуск, сверил его с паспортом, паспорт — с носителем паспорта.

— Пройдите на площадку для посадки в лифт.

В вестибюле книжный киоск, раздевалка, буфет. Буфет поразила Алтуняна огромностью, ослепительной чистотой. Горячие, холодные закуски... «Какой ассортимент! — мысленно воскликнул он. — От икры до фруктов...» Широкая, покрытая ковровой дорожкой винтовая лестница. Два комфортабельных лифта беспрерывно заняты, и Алтунян не без удивления подумал, что лифты используются даже для подъема на второй этаж.

Выйдя из лифта на втором этаже, он увидел коридор — бесшумный, устланный коврами. Там и сям стояли сифоны с холодной газированной водой. Пробегали официантки с подносами — разносили чай, бутерброды. Двери, на дверях таблички с фамилиями. Дотошный инженер-майор пересчитал: на втором этаже

50 фамилий, и, будучи армянином, не преминул заметить, что все фамилии русские либо украинские. На пропуске Алтуняна значилось, что он вызывался к т. Н. П. Мардасову.

Вот дверь с четырьмя фамилиями, одна из них — «Мардасов Н. П.» За дверью — приемная, из приемной — две двери, и на одной из них, под № 233, опять табличка «Мардасов Н. П.» И вот, инженер-майор в кабинете работника партаппарата, не то, чтобы какого-нибудь важного, а рядового работника партаппарата. Большой кабинет («Пожалуй, не меньше сорока квадратных метров будет», — прикинул в уме Алтунян), огромное окно, очень светло. Небольшой письменный стол, полумягкие стулья, журнальный столик с телефоном и настольной лампой, книжный шкаф, сейф. Под стеклом письменного стола — список телефонных номеров Харьковского обкома и всех райкомов КП Украины. Г. О. Алтунян ведь работал в Харькове — и потому к Н. П. Мардасову.

Навстречу Алтуняну встал еще не старый, лет пятидесяти, но уже седой человек, очень чисто одетый. Приятное лицо. Протягивает руку:

— Мардасов, Николай Петрович.

Предлагает стул. Начинается беседа, которая длилась два часа. Н. П. Мардасов начал беседу так, как если бы он уже давно был лично знаком с Г. О. Алтуняном:

— Ну что же, Генрих Ованесович, изменилось что-либо в ваших взглядах за последнее время?

— Мои взгляды изложены в апелляции. Кратко, если хотите, они сводятся к следующему: меня исключили из партии не за какие-либо нарушения устава партии, не за какие-нибудь антипартийные действия, а по лживому доносу КГБ, в поле зрения которого я попал в августе прошлого года, после знакомства с Петром Ивановичем Якиром и Петром Григорьевичем Григоренко. Меня обвиняют в распространении тенденциозных, клеветнических и антисоветских документов. Я обращаю ваше внимание на то, что так квалифицируют эти документы в КГБ. Коммунисты же, исключавшие меня из партии, с этими документами не были ознакомлены и, следовательно, не могли иметь о них собственного мнения. Никто даже не пытался доказать, почему именно стенограмму обсуждения книги Некрича в Институте марксизма-ленинизма надо считать «тенденциозной, клеветнической, антисоветской». Я надеюсь, что здесь, в ЦК, мне это объяснят.

— Здесь вопросы задаем мы, — сказал Мардасов уже другим, жестким тоном. — Вы что, приехали за разъяснениями? У нас нет времени этим заниматься, это и так ясно.

Алтуняну все же удалось втянуть Мардасова в разговор о книге А. М. Некрича «1941. 22 июня». Книга эта, как мы уже говорили в главе, посвященной 1941 году, вышла в Москве в 1965 году. Она имела огромный успех: в первые же дни пятидесятилетиячный тираж разошелся. В январе 1966 года журнал «Новый мир» опубликовал статью доктора исторических наук Г. Федорова «Мера ответственности», — в ней говорилось и о высоком научном уровне, и о литературных достоинствах, и о политической значимости книги А. М. Некрича. В феврале 1966 года Отдел истории Великой Отечественной войны Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС организовал обсуждение этой книги, — присутствовало несколько сот человек, и никто не возражал против основного тезиса книги, что в поражениях 1941—1942 гг., в результате которых немцы захватили половину европейской части страны, виноват Сталин с его преступными «ошибками» как во внутренней, так и во внешней политике предвоенного периода. Проф. Г. А. Деборин, открывший дискуссию, возражал лишь против «персонификации всей ответственности за поражения начального периода войны на одном Сталине», указывая на вину, например, начальника Разведупра Генерального штаба ген. Голикова, — он называл его «главным дезинформатором тогдашнего военного и государственного руководства». Военный историк ген.-майор Б. С. Тельпуховский, в дополнение к книге А. М. Некрича, привел несколько других фактов, подтверждающих личную ответственность Сталина за поражения 1941—42 годов. Конечно, как это отмечал другой военный историк, ген.-майор П. Г. Григоренко, в книге многого не хватает, но «Некрич повел исследование в правильном направлении; идя таким путем, можно прийти до истины». В январе 1966 года журнал «Новая и новейшая история» напечатал отрывок из новой книги А. М. Некрича «В лаборатории секретной войны». В июне того же года А. М. Некрич был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Не прошло много времени, однако, как в октябре 1966 года на совещании-семинаре идеологических работников раздались другие отклики на книгу А. М. Некрича. Д. Г. Стуруа, секретарь ЦК компартии Грузии, называл А. М. Некрича «господином». Начальник Главного политического управления армии и военно-морского флота А. А. Епишев сказал, что им запрещено распространение в воинских частях журнала «Новый мир», напечатавшего одобрительную рецензию на книгу «1941. 22 июня». В июле 1967 года А. М. Некрич был исключен из партии. В сентябре 1967 года журнал «Вопросы истории КПСС» напечатал статью «В идейном плену у фальсификаторов истории». Кто же был автором

этой статьи, резко направленной против А. М. Некрича? Да те же проф. Г. А. Деборин и ген.-майор Б. С. Тельпуховский, которые в феврале 1966 года совсем иначе говорили о книге Некрича! . .

Естественно, что люди, уставшие от лжи, были возмущены. В Самиздате быстро распространилась стенограмма обсуждения книги А. М. Некрича. П. Г. Григоренко написал большую статью «Соккрытие исторической правды — преступление перед народом», послал ее в журнал «Вопросы истории КПСС»; там она, конечно, была отвергнута, но зато ее принял Самиздат, и она получила широкое распространение за рубежом. Выяснилось, что на организаторов и участников обсуждения книги А. М. Некрича был написан донос, и что автором доноса был не кто иной, как Андрей Свердлов, сын первого председателя ВЦИК Якова Свердлова, бывший в годы ежовщины следователем НКВД, лично применявший пытки и истязания.

В связи с книгой А. М. Некрича в Самиздате циркулировали факты (не измышления, а факты!), ставящие втупик обозревателя современной русской общественной жизни. В апреле 1968 года писатель Борис Можаяев, автор на шумевшей повести «Из жизни Федора Кузькина» («Новый мир», 1966, № 7), был приглашен к Д. С. Полянскому, члену Политбюро и заместителю председателя Совета министров СССР. Беседовали они по поводу статьи Б. Можаяева в «Литературной газете» о сельской архитектуре. Но под конец беседы Полянский достал из стола книгу А. М. Некрича и принялся расхваливать ее. «Не понимаю, — сказал Полянский, — почему Некрича исключили из партии?!»

Неужели Д. С. Полянский не был в курсе того, что происходило вокруг него в ЦК КПСС? Неужели он не заметил, что в юбилейном 1967 году, выступая с докладом «50 лет великих побед социализма», Брежнев сумел поставить имя Сталина рядом с именем Ленина? В гражданскую войну, — сказал Брежнев, — «для мобилизации сил страны на разгром врагов был создан Совет рабочей и крестьянской обороны во главе с В. И. Лениным», а в Великую Отечественную войну — «Государственный комитет обороны под председательством И. В. Сталина». Неужели Полянский не знал, что в 1968 году уже был — пусть негласно — запрещен даже термин «культ личности»? Или Полянский не читает газет и журналов, а только вырезки, которые ему подсовывают референты? Иначе он должен был бы знать, что в 1968 году печаталось на страницах журналов «Октябрь», «Москва», «Молодая гвардия». Вот в «Москве» (1968, № 10) поэма С. Смирнова «Свидетельствую сам»:

В нем будет так: все имена Героев
и полной славы кавалеры все
сойдут на мрамор, золотые, строем,
в незабытой воинской красе.

Там будут сотни, тысячи портретов!
Комдивы Севастополя, Дуги,
над картою, с биноклем, у лафетов,
папахи, полушубки, сапоги . . .

Пусть этот блеск червонится парадом,
но правды не убавит этот блеск.
В нем Сталинград зовется Сталинградом,
Герои в нем — и Тула, и Смоленск.

Пусть, кто войдет, почувствует зависимость
от Родины, от русского всего.
Там посредине — наш Генералиссимус
и маршалы великие его.

Советские Ермоловы, Тучковы,
никто там не останется в тени.
В молчании спокойны и суровы,
к потомству будут вопрошать они.

По Москве уже давно ходили слухи о предстоящей «реабилитации Сталина». Так, еще в марте 1966 года (после того, как в феврале того года были осуждены писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль) думали, что Сталина «реабилитируют» на XXIII съезде КПСС, — несколько писателей и ученых, в том числе А. Д. Сахаров, тогда высказали свои опасения в письме съезду, распространенном в Самиздате. В ноябре 1967 года, отвечая на вопросы корреспондента венского журнала «Тагебух», известный литератор Л. Копелев (друг Александра Солженицына, сидевший с ним в лагере, впоследствии доставивший повесть «Один день Ивана Денисовича» в редакцию журнала «Новый мир») писал о попытках реабилитировать Сталина. В апреле 1968 года, к 15-летию со дня смерти Сталина, Лидия Чуковская написала статью «Не казнь, но мысль, но слово», в которой были, например, такие строки:

«Отношением к сталинскому периоду нашей истории, вцепившемся когтями в наше настоящее, определяется сейчас человеческое достоинство писателя и плодотворность его работы».

Посланная в «Известия», статья там не была напечатана, но она широко распространилась в Самиздате. Как и огромная книга Роя Медведева «К суду истории», законченная им в августе 1968 года.

И вот наступил 1969 год. 21 декабря — 90-летие Сталина. Из памяти еще не исчезли картины того, как праздновалась 70-я годовщина «Великого, Гениального». В 1959 году страна шла от XX съезда КПСС к XXII, ни у кого не было опасений насчет 80-летнего юбилея. Но как-то пройдет 90-летний?

Только перевалили новогодний рубеж, как сразу же и выросла опасность. В январе и феврале 1969 года журнал «Коммунист» опубликовал подряд две статьи, — в одной Сталин возвеличивался как военный деятель, в другой как «выдающийся деятель КПСС и Советского государства». Взволнованное общество ответило на это несколькими выступлениями историков-инакомыслов. 2 марта 1969 года письмо в редакцию журнала «Коммунист» написал Петр Якир, окончивший Историко-архивный институт в Москве и одно время работавший в Институте истории Академии наук СССР. Его письмо было составлено в виде обвинительного заключения:

«В той десяти тысячной доле преступлений Сталина, которые изложены в настоящем заявлении, — писал Петр Якир, — уже содержится состав преступлений по ст. ст. 64, 68—17, 69, 74, 88—1, 88—2, 102—17, 107, 113—17, 126—17, 130, 131, 170, 171, 229, 247 УК РСФСР».

Петр Якир требовал суда над Сталиным.

Три дня спустя, 5 марта 1969 года, в Самиздат поступило письмо другого историка, Л. Петровского, направленное им в ЦК КПСС и в редакцию журнала «Коммунист». Поскольку в следующем году должно было праздноваться 100-летие со дня рождения Ленина, Петровский, перечислив многие преступления Сталина, добавлял: «Нельзя к 100-летию В. И. Ленина идти с сокрытием исторической правды».

В апреле 1969 года в редакцию журнала «Коммунист» поступило письмо под заглавием «Возможно ли сегодня реабилитировать Сталина?» Автором этого письма был Р. А. Медведев, член КПСС с 1956 года. В те дни его монументальный труд «К суду истории» был известен лишь ограниченному кругу читателей, но эта его статья, распространившаяся в Самиздате, вскоре вышла отдельной книгой на французском языке в Париже, — тотчас же по выходе этой книги Р. А. Медведев был исключен из партии. В своей статье Р. А. Медведев разоблачал «фракционную

борьбу неосталинистов против линии XX и XXII съездов партии».

Вот к таким-то неосталинистам из аппарата ЦК КПСС и попал 30 июня 1969 года инженер-майор Г. О. Алтунян. Несмотря на то, что Мардасов сразу сказал ему: «Здесь вопросы задаем мы. Вы что, приехали за разъяснениями?», Алтунян втянул его в разговор о всем, что связывалось с книгой А. М. Некрича и опасностью реабилитации Сталина.

— Что вы читали из военных мемуаров? — спросил Мардасов. Конечно, спросил неспроста, так как в январской статье в «Коммунисте» как раз расхваливались мемуары нескольких маршалов и генералов, со страниц которых, по словам «Коммуниста», «И. В. Сталин при всей сложности и противоречивости его характера предстает как выдающийся военный руководитель».

— Читал Горбатова, Баграмяна, Штеменко, Кузнецова, — ответил Алтунян.

— Штеменко пишет очень правдиво! — воскликнул Мардасов. — Я вообще считаю, что это самые объективные мемуары.

— Как, — возразил Алтунян, — как вы можете верить человеку, который никогда ни чем не командовал, который за связь с Берия был разжалован с генерала армии в генерел-майоры и переведен с должности начальника Генерального штаба на должность начальника штаба дивизии?

Мардасов сменил тему разговора:

— Кто вас познакомил с Якиром и Григоренко? Когда?

— Я еще раз подчеркиваю, что вопрос этот неправомерен, — ответил Алтунян. — Это честные советские люди, настоящие коммунисты.

— Вы на всех этапах партийного расследования отказываетесь отвечать на этот вопрос. Почему?

— Этот вопрос правомерен при уголовном расследовании в КГБ или прокуратуре. И то, если будет доказано, что эти люди преступники.

Наконец, убедившись, что во взглядах Г. О. Алтуняна «ничего не изменилось за последнее время», Мардасов провел его в кабинет Г. Я. Денисова, кандидата в члены ЦК КПСС и члена Комитета партийного контроля.

— Объясните свою точку зрения, — сказал Денисов.

— Меня, как и многих других, — ответил Алтунян, — беспокоит тенденция реабилитации Сталина.

Денисов прервал Алтуняна, и, показывая на него рукой, обратился к Мардасову:

— Я, кандидат в члены ЦК, не вижу этого, меня это не беспокоит, а его в Харькове это беспокоит!

На следующий день, 1 июля 1969 года, Г. О. Алтуняна вызвали на заседание КПК при ЦК КПСС. Председательствовал заместитель председателя КПК, кандидат в члены ЦК КПСС С. О. Поставалов. Рассмотрение «дела Алтуняна» заняло 7 минут.

— Алтунян, вам слово, — сказал Поставалов.

— Товарищи, — начал Алтунян, — это мое последнее выступление по этому делу, я понимаю серьезность момента и прошу вас выслушать меня внимательно. . . Мне непонятно, почему так резко изменился тон. Я вижу принципиальную разницу между выступлениями товарищей Подгорного, Сердюка, Спиридонова, Демичева на XXII съезде КПСС и тем, что происходит сейчас. . . Если вас, избранных съезда партии, не волнуют нарушения демократии и свобод в нашей стране, то вспомните хотя бы о трагической судьбе членов ЦК, избранных XVII съездом партии. Если так будет продолжаться. . .

Поставалов (перебивая): И он хотел, чтобы ему давали возможность выступать с такими речами! Хватит. До свидания.

Когда Алтунян повернулся к выходу, кто-то в спину ему сказал: «Если так будете продолжать, можете попасть в тюрьму». Алтунян остановился:

— Вот уж никак не ожидал услышать здесь такие угрозы.

. . . Через десять дней он был арестован.

7 мая 1969 года в Ташкенте был арестован П. Г. Григоренко, в полубессознательном состоянии привезен в Лефортовскую тюрьму в Москве, а потом начались его пятилетние скитания по «дурдомам», откуда ему предстояло выйти лишь 26 июня 1974 года.

12 ноября 1969 года А. И. Солженицын был исключен из Союза писателей. «Протрите циферблаты! — писал он в открытом письме секретарям союза. — Ваши часы отстают от века. Откиньте дорогие тяжелые занавеси! — вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это — не то глухое, мрачное, безысходное время, когда вот так же угодливо вы исключали Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда с завываниями исключали Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией».

И вот, 21 декабря. Воскресенье. Морозный день. У храма Василия Блаженного собралась группа инакомыслов, человек двадцать, чтобы устроить демонстрацию протеста, если возле могилы Сталина у Кремлевской стены начнется какая-нибудь церемония

в честь «юбиляра». Тут Петр Якир. Тут Анатолий Якобсон, в июле 1969 года закончивший книгу «Конец трагедии», одну из самых замечательных книг Самиздата. Воспользовавшись какой-то заминкой, гебисты схватили А. Якобсона, впахнули в машину и увезли. На Красной площади, однако, в тот день ничего другого не произошло: как всегда, стояли люди в очереди к мавзолею Ленина . . . Далеко на юге, в Грузии, в г. Гори, на площади перед памятником Сталину, едва ли не единственным таким памятником, еще уцелевшим в Советском Союзе, происходил митинг, в котором участвовали 15 000 человек. Пройдет еще полгода, и 25 июня 1970 года москвичи вдруг увидят над могилой Сталина бюст из белого мрамора. Николай Томский, скульптор, многократный сталинский лауреат, на этот раз изобразил Сталина не «волевым» и «целеустремленным», а «мягким», «человечным», чуть потупившим взор, чуть склонившим голову в тихой задумчивости.

1970

ДВА АЛЕКСАНДРА

29 мая 1970 года у подъезда многоквартирного дома в г. Обнинске, где жил с семьей молодой ученый-генетик Жорес Медведев, остановился санитарный автобус, из которого вышли три милиционера и двое в штатском. Обнинск — небольшой городок на полдороге между Москвой и Калугой, но в последние годы он приобрел значение, так как там расположено несколько крупных научно-исследовательских институтов. В 1962—69 гг. Жорес Медведев заведовал лабораторией молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР. В феврале 1969 года его уволили из института, но он, будучи блестяще образованным человеком, автором серьезного научного труда «Биосинтез белков и проблемы онтогенеза», изданного в Москве Медгизом, продолжал жить в Обнинске и работать над своими книгами.

Выглянув из-за шторы и увидев санитарный микроавтобус, Жорес Медведев понял, зачем приехали эти люди. В квартире никого не было, кроме него и сынишки. Медведев решил не открывать дверь, но милиционеры, сперва постучав, начали трясти дверь, ломать замок.

— Постойте, это частная квартира! — крикнул Медведев.

— Квартира эта государственная, — ответил дюжий сержант милиции. — Милиция имеет право войти в любую квартиру!

— У вас есть решение прокурора?

— Мы не собираемся вас арестовывать, мы только сопровождаем врачей.

Впрямь, один из штатских был заведующим Обнинским психдиспансером, а другой — главным врачом Калужской психиатрической больницы.

Жорес Медведев отказался ехать с ними. Между тем, на глазах множества людей, собравшихся у квартиры, милиционеры не решались применять насилие. Вдруг появился майор милиции. Высокий милицейский чин заговорил грубо и решительно:

— Что такое, почему вы отказываетесь подчиниться требованиям врача?

— Кто вы такой? — спросил Медведев. — Откуда вы взялись? Я не приглашал вас в свою квартиру.

— Майор милиции Немов Николай Филиппович. Прошу вас следовать в машину.

— Если вы майор милиции, то должны знать законы о неприкосновенности жилища граждан, ведь милиция — это орган охраны порядка и законности.

— Мы орган насилия! — крикнул майор и ударил себя кулаком в грудь — Встать! Я вам приказываю встать!

По команде майора, милиционеры подошли к Жоресу Медведеву с двух сторон, схватили и выкрутили назад руки и приподняли его с кресла. Бывели на лестницу, во двор. Втолкнули в автобус и увезли в Калугу. В больницу приехали уже ночью, переодели «пациента» в яркую — полосатую «психиатрическую» пижаму и поместили в общую палату.

В 1836 году П. Я. Чаадаев напечатал в московском журнале «Телескоп» свое «Философическое письмо», в котором писал, что Россия «заблудилась на земле». Журнал был закрыт, редактор выслан из Москвы, цензор отставлен от должности, а Чаадаев официально объявлен сошедшим с ума. Правда, при Николае I «дурдомов», «психушек» не было, и Чаадаев продолжал жить дома, имея право лишь раз в день выходить на прогулку, — каждый день к нему являлся доктор для освидетельствования. Теперь же в России проведена «чаадаевизация», при которой кому угодно можно приписать «шизофрению». Как сказал проф. В. М. Морозов, заведующий кафедрой психиатрии Центрального института усовершенствования врачей: «Нет признаков шизофрении? Ни для кого не секрет, что бывает шизофрения без признаков». Пользуясь теорией «болезни без признаков болезни», власти хватают инакомыслов и объявляют их «шизофрениками», — зачислили в «шизофреники» и Жореса Медведева.

Будучи еще сравнительно молодым ученым (он родился в 1925 году), Жорес Медведев, однако, пользовался уже широкой известностью не только в России, но и за ее пределами. Его книга «Биосинтез белков и проблемы онтогенеза», изданная Медгизом в Москве, была переведена на английский язык и опубликована в Эдинбурге; более того, выход английского перевода был приурочен к открытию научной конференции при Шеффилдском университете, так что каждый участник конференции получил эту книгу.

Как сын своего времени, Жорес Медведев интересуется соци-

альными аспектами науки, считает, что ученые несут моральную ответственность за положение в мире и потому должны играть активную роль в общественной жизни. Поскольку его наука, генетика, подвергалась преследованиям, многие ученые-генетики погибли в тюрьмах и лагерях, в том числе академик Н. И. Вавилов, Жорес Медведев написал книгу «Биологическая наука и культ личности», которая в 1969 году была напечатана за рубежом и по-русски, и по-английски. Именно тогда-то Жореса Медведева и уволили из Института медицинской радиологии. Но он принадлежал к поколению, которое уже не так покорно, не так сговорчиво, как прежде, и, оказавшись на положении безработного, он написал две публицистические книги — «Международное сотрудничество ученых и национальные границы» и «Тайна переписки охраняется законом». По остроте мысли, они в публицистике стоят на неменьшем уровне, чем романы Александра Солженицына в художественной литературе. Книги эти в 1970 году вышли на русском языке в Лондоне, а затем были переведены и на другие языки. Пронюхав, что Жорес Медведев написал и переправил за границу две новых книги, к нему 29 мая 1970 года и явились представители «органов насилия».

На защиту Жореса Медведева от «чаадаевизации» поднялись многие видные ученые и писатели. В беседе с Роем Медведевым, братом-близнецом Жореса, академик П. Л. Капица сказал: «В свое время я помог Ландау и некоторым другим физикам выйти из заключения. Так что у меня есть по этой части некоторый опыт. Ваш брат должен сохранять спокойствие. Он борется за научную истину, а в этой борьбе могут случаться всякие неожиданности и нужно быть к ним готовым». Академик Б. Л. Астауров, президент Всесоюзного общества генетиков, поехал в Калугу вызволять Жореса Медведева. Академик А. Д. Сахаров написал письмо Брежневу, требуя немедленного освобождения Жореса Медведева и указывая, что «психиатрические больницы не должны применяться как средство репрессий против нежелательных лиц, необходимо оставить им единственную функцию — лечение настоящих больных с соблюдением всех их человеческих прав». Даже президент Академии наук СССР М. В. Келдыш выступил с официальным заявлением, что Ж. А. Медведев будет «трудоустроен» в одном из институтов АН СССР, что для него уже готова должность в биологическом центре АН СССР в г. Пуцзино. Из писателей, кроме Вениамина Каверина, Владимира Тендрякова, Даниила Гранина и, разумеется, Александра Солженицына, в «деле Жореса Медведева» особенно большую роль сыграл Александр Твардовский, и на этом надо остановиться,

так как это связано с одним из наиболее памятных событий 1970 года.

Александр Трифонович Твардовский был не только большой поэт, но и крупный партийный вельможа. В 1952 году, еще при Сталине, на XIX съезде партии, он был избран членом Центральной ревизионной комиссии КПСС, на XXII партсъезде — кандидатом в члены ЦК КПСС; он был депутатом Верховного Совета РСФСР нескольких созывов, а также секретарем Правления Союза писателей СССР, членом Советского комитета защиты мира, редактором журнала «Новый мир». Но в конце шестидесятых годов в круг его знакомых входили такие люди, как Жорес Медведев, публицистические работы которого он знал и высоко оценивал. А. Т. Твардовский был сильно взволнован судьбой Жореса Медведева и решил поехать в Калугу. Позже он с присущей ему откровенностью говорил, что сперва ему не хотелось ехать в психиатрическую больницу: «Но я вспомнил библейское: 'Если не я, то кто же, и если не сейчас, то когда же?' — и мои сомнения отпали». Необходимо понять, что привело А. Т. Твардовского к тому дню 9 июня 1970 года, когда он поехал в Калугу добиваться освобождения «чаадаевизированного» инакомысла.

А. Т. Твардовский родился 8 (21) июня 1910 года в деревне Загорье, ныне Починковского района Смоленской области. В его официальной биографии сказано, что он — сын кузнеца. Вместе с тем, известно, что его отец был «раскулачен» и сослан «в теплушке с кулаками». Как ни пытался Солженицын навести Твардовского на разговор об отце, он уклонялся, и лишь впоследствии, в 1969 году, в не разрешенной цензурой поэме «По праву памяти» прозвучали строки о сыновней верности погибшему отцу. А. И. Солженицын, сблизившийся с А. Т. Твардовским, опубликовавшим его повесть «Один день Ивана Денисовича», отмечает в нем «доконную мужицкую суть» — изначальную, служившую основой его характера. Было нечто мужицкое и в его облике, и в его характере (например, в том, как он, похвалив книжку, добавлял «да и деньги немалые», но «не жадно, а с добродушной гордостью труженика, как крестьянин возвращается с базара»), и в его боли за судьбу крестьянства в России. Когда однажды, — рассказывает Солженицын, — зашел разговор об индустриализации, о том, что Сталин, воюя с Троцким, говорил, что нельзя строить социализм «за счет ограбления крестьян», Твардовский «вдруг остановился, как застигнутый снопом света, и, изумленными глазами обведя нас, спросил: 'А за счет же чего он построен?'»

А. Т. Твардовский учился сперва в сельской школе, потом в

Смоленском педагогическом институте. Печататься начал в смоленских газетах в 1924 году, четырнадцать лет от роду. Первый сборник его стихов вышел в Москве в 1931 году. «Твардовского мы начинающим не помним, — писал впоследствии С. Маршак. — Вполне взрослым человеком с немалым жизненным опытом и зрелым чувством ответственности вошел он смолodu в литературу. Может быть, этому в какой-то мере способствовало его деревенское прошлое. В деревне семилетний паренек — уже не дитя».

Деревенское прошлое, мужицкая суть, — в этом ключ и к поэтическому творчеству А. Т. Твардовского, и к его «тактике», столь похожей на «тактику» солженицынского Ивана Денисовича. Главное, что их сближало — любовь к жизни. Именно к жизни, а не к переделке жизни, не к рассуждениям о жизни, на которые была столь падка русская интеллигенция. Твардовский говорил о себе:

Я и рожден на свет для жизни —
Не для статьи передовой.

Больше всего Александр Трифонович любил то, что любил и Иван Денисович: «Оседлый мир, тепло житья». Если Иван Денисович даже в каторжном лагере чувствовал себя как дома, то Василий Теркин, герой поэмы Твардовского, так же чувствовал себя на переднем крае, в только что отбитом у немцев дзоте:

Прочно сделали, надежно . . .
Тут не то что воевать . . .
Тут, ребята, чай пить можно,
Стенгазету выпускать . . .
Непривычный, непохожий
Дух обжитого жилья:
Табаку, одежи, кожи
И солдатского белья.

В поэме «Дом у дороги» Твардовский с огромной силой выразил это сильное, глубокое, укорененное чувство дома, «тепла жилья».

Надо уметь жить. И надо уметь выжить. «Выжить» — это не значит пресмыкаться, угодничать, прислуживать и выслуживаться; такая «тактика» ведет только к гибели. Точно так же, как «ценить миг жизни» вовсе не значит «ловить миг жизни». В понятие «выжить», как это показано в повести А. И. Солжени-

цына, входит прежде всего принятие жизни, какова бы она ни была, отказ тратить душевные силы на ненависть. Если прочитать то, что в годы ежовщины писал Александр Твардовский, то как раз в стихах того периода, когда все кричали о «врагах народа», у него не найти мотивов ненависти. В статье Е. Златовой в «Литературной газете» 5 января 1939 года А. Т. Твардовского упрекали в том, что в его последних стихах нет «интонаций борьбы, ненависти к врагу», «поэт как бы отказался от черной работы по ассенизации мира».

Конечно, отказ от ненависти не означает примирения со злом. Не допускать в свою душу яды ненависти — не значит свыкаться со злом. Этого не было ни у Ивана Денисовича, ни у Александра Трифоновича. А. Т. Твардовский был одним из первых, кто затронул тему о лагерях — в поэме «За далью даль», написанной в 1950—1960 годах. В 1963 году вышла в свет его поэма «Теркин на том свете», пролежавшая в готовом виде девять лет, — в ней говорится о том, что Россия пережила за десятилетия сталинщины.

Как редактор «Нового мира», во главе которого он стоял в общей сложности 16 лет, А. Т. Твардовский превыше всего ценил правду жизни. «Дошел до того, — пишет А. Солженицын в книге 'Бодался теленок с дубом', — что хвалили 'реализм без прилагательного', и признавался, что ему приходится критический реализм не хуже социалистического». В декабре 1953 года, еще до XX съезда КПСС, А. Т. Твардовский напечатал статью Владимира Померанцева «Об искренности в литературе», за что и был в первый раз снят с поста редактора (в августе 1954 года). Назначенный вновь в 1958 году на тот же пост, А. Т. Твардовский напечатал «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и другие рассказы Солженицына, «Вологодскую свадьбу» А. Яшина, путевые заметки В. Некрасова, «Из жизни Федора Кузькина» Б. Можяева и т. д., не говоря уже о множестве таких статей, как, например, статья В. Кардина «Легенды и факты», опровергающая, в частности, легенду про «залп Авроры».

И вместе с тем . . . и вместе с тем, «был поэт и цекистом, мыслящим государственно». Вырос он в сложное, противоречивое время, и весь был соткан из противоречий, — «доконной» в нем была мужицкая суть, приверженность к правде жизни, но в него была внедрена и другая «правда», партийная. «Нельзя же сказать, чтоб Октябрьская революция была сделана зря!» — восклицал он. И - «кем бы был я, если б не революция?» Восклицание искреннее. Вопрос законный. Революция была-таки сделана, и Твардовский, которого, может быть, революция только и

сделала крупным поэтом, жил вместе с тем «неестественной жизнью советского вельможи». Как вельможа, он гордился расположением к нему Александра Фадеева, на других же посматривал сверху вниз. Как вельможа, он говорил Александру Солженицыну, что его пьесу «Олень и шалашовка» надо запретить: «Раз вещь была не по нему, отчего не задержать ее и силой государственной власти?» Как вельможа, он рассказывал не о гибели своего раскулаченного и сосланного отца, как хотелось Солженицыну, а «эпизоды литературно-чиновной, придворной жизни». Как вельможа, он радовался, когда с ним «хорошо говорили наверху». Как вельможа, он видел в русском зарубежье «мусорную свалку», огорчался, если произведение русского автора нелегально появлялось в печати на Западе, «с брезгливостью относился и к Самиздату», не отличая Самиздат от «торговли наркотиками».

Как же, спрашивается, этот вельможный цекист пришел к тому весеннему дню 1970 года, когда он поехал в Калугу выручать из «психушки» инакомысла, прославившегося как раз зарубежными и самиздатскими изданиями? Но в июне 1970 года А. Т. Твардовский уже не был цекистом: в марте 1966 года, на XXIII съезде, его не ввели в ЦК КПСС. Более того, в июне 1970 года он был уже опальным вельможей: несколько месяцев до того, в феврале, его сняли с поста редактора «Нового мира».

1970 год был богат событиями. Курьеза ради заметим, что для Никиты Хрущева это была магическая цифра. В своих речах, бывало, он не раз говорил о 1970-м годе. По его расчетам, СССР должен был в 1970 году догнать США по производству продукции на душу населения. Может быть, он брал эту дату потому, что в тот год исполнялось 100 лет со дня рождения Ленина... Год оказался бурным: происходили землетрясения (в Перу — 50 000 убитых), рабочие волнения в Гдыне, Гданске, Сопоте, Штеттине, в результате которых слетел Гомулка, китайцы запустили первый «спутник». Но из всех событий 1970 года следует выделить три, важных для исторического развития России: 13 февраля А. Т. Твардовский был снят с поста редактора «Нового мира», 8 октября А. И. Солженицын был награжден Нобелевской премией, 4 ноября в Москве был создан Комитет защиты прав человека.*

История опалы А. Т. Твардовского рассказана в книге А. И.

* Кроме двух книг Жореса Медведева, в 1970 году за рубежом были опубликованы: первый том воспоминаний Н. С. Хрущева, первый том воспоминаний Надежды Мандельштам, «Все течет...» Василия Гроссмана, «Нежеланное путешествие в Сибирь» Андрея Амальрика.

Солженицына «Бодался теленок с дубом» (Париж, ИМКА-ПРЕСС, 1975 г.). Автор «Теленка» внимательно присматривался к тому, кто продвинул его в литературу, и видел его «разным — в разные дни, а то и в часы одного и того же дня». Писатель-художник вдруг подминал под себя вельможу-целиста, и Твардовский начинал говорить так, как не положено кандидату ЦК:

«Искусство на свете существует не как орудие классовой борьбы. Как только оно знает, что оно орудие, оно уже не стреляет. Мы свободны в суждениях об этой вещи: мы же, как на том свете, не рассуждаем — пойдет или не пойдет... Мы вас читаем не редакторским, а читательским глазом. Это счастливое состояние редакторской души: хочется успеть прочитать... Современность вещи (повести «Раковый корпус». — М. К.) в том, что разбуженное народное сознание предъявляет нравственный счет... Не завершено? Произведения великие всегда несут черты незавершенности: 'Воскресенье', 'Бесы', да где этого нет? Эту вещь мы хотим печатать. Если автор еще над ней поработает — запустим ее и будем стоять за нее по силам и даже больше».

Неожиданно выяснилось, что А. Т. Твардовский полностью одобрил письмо А. И. Солженицына IV съезду писателей в мае 1967 года. В Отделе культуры ЦК КПСС он сказал: «Вы думаете, первый русский писатель — кто? Михаил Александрович? Ошибаетесь!» А. Т. Твардовский менялся. «Менялся, — говорит Солженицын, — и совсем не медленно». Вот он уже писал («Юность», 1967, № 5):

Я сам дознаюсь, доищусь
До всех моих просчетов.
Я их припомню наизусть,
Не по готовым нотам.

Мне проку нет — я сам большой —
В смешной самозащите.
Не стойте только над душой,
Над ухом не дышите.

В январе 1968 года он написал письмо Константину Федину, настаивая на опубликовании повести «Раковый корпус». «Я думаю, Константин Александрович, — писал Твардовский, — что, по существу, мы даже больше заинтересованы в опубликовании этого романа, чем автор. Дело не только в том, что столь значительное произведение попросту преступно утаивать от широчайших кругов читателей, успевших полюбить Солженицына, и что

роман уже распространился, может быть, в тысячах списков среди наиболее дотошных читателей. Но роман, как мне известно из достоверных источников, на днях может выйти в свет (если уже не вышел) во Франции и готовится к печати в Италии. Этими внешними обстоятельствами нельзя пренебрегать, не хватает нам еще повторения истории с Пастернаком! — но и внутренние не менее серьезные. Роман, задержанный сейчас в стадии набора первых восьми глав, предназначенных для январской книжки 'Нового мира', становится во главе целой очереди задержанных (хотя никем не запрещенных) таких крупных и ценных произведений, как '100 суток войны' К. Симонова, роман А. Бека 'Новое назначение', работа Е. Драпкиной, посвященная последним годам жизни Ленина — 'Зимний перевал', — перечень можно было бы еще продолжить. Опубликование 'Ракового корпуса', которое само по себе явилось бы событием литературной жизни, рассосало бы образовавшуюся из задержанных рукописей 'пробку', как это бывает на дороге, когда головная машина тронется».

В связи с этим письмом, в умонастроении А. Т. Твардовского произошли еще большие перемены: он начал читать Самиздат и слушать зарубежное радио.

«Застал я его за чтением Жореса Медведева 'Об иностранных связях', — вспоминает А. И. Солженицын. — Удивлялся: 'Пробивные два братца!' И вообще о Самиздате, восхищенно взявшись за голову обеими руками: 'Ведь это ж целая литература! И не только художественная, но и публицистическая, и научная!' ... И ревниво следил, оказывается, за самиздатскими ответами на облай меня в 'Литературке'. С большим одобрением: 'А Чуковскую вы читали? Хорошо она!'.

... Сидели мы, болтали — вдруг он вскочил, легко, несмотря на свою телесность, и спохватился, не таясь: 'Три минуты пропустили! Пошли Би-Би Си слушать!' Это — он?! Би-Би-Си?! .. Я закачался. Он так же резво, неудержимо, большими ножищами семенил к 'Спидоле', как я бросался уже много лет, точно по часам.

— Вы стали радио...? А о вашем письме к Федину слышали?

Нетерпеливо, но с опаской:

— А подробный текст его не передавали?

Вот, наверно, откуда! — от своего письма стал он и слушать. Естественный путь. Но первый-то рубеж — отважиться, переступить свободным актом воли, послать само письмо! Надо помнить, что именно с весны 1968 года растерянные было власти

стали теснить расхрабренную общественность, теснить очень примитивно и успешно: 'беседованиями' пять к одному с подписантами в парткомах и директоратах, исключениями одиночек из партии и из институтов — и поразительно быстро свелось на нет движение протестов, прivityкие пугаться люди послушно возвращались в согнутое положение. Твардовский же, напротив, именно в это время стал упираться там, где можно бы и уступить: не только по журналу, это всегда, но из-за отдельных абзацев обо мне жертвовал статьей о Маршаке и задерживал целый том своего собрания сочинений.

После Би-Би-Си:

— Такая серьезная станция, никакого пристрастия».

«Из оплеления своих чиновных-депутатских-лауреатских десятилетий, — пишет дальше А. И. Солженицын, — высвобожден Твардовский петлями своими, долгими, кружными. И прежде всего, естественно, силился он проделать этот путь на испытанной пахотной лошадке своей поэзии. В душевные месяцы после чехословацкого подавления он писал — сперва отдельные стихотворения — 'На сеновале', потом они стали расширяться в поэму — 'По праву памяти'. В те самые весенние месяцы 69 года он ее дописывал, когда я не дозволял его читать 'Архипелаг'».

В 1966 году, как сказано, на XXIII съезде, А. Т. Твардовского уже не выбрали в ЦК КПСС, потом не выбрали и в Верховный Совет. В Театре сатиры готовились снять его пьесу «Теркин на том свете». В 1967 году удалили из редакции «Нового мира» двух его заместителей — А. Г. Дементьева и Б. Г. Закса. «Это было, конечно, плевком в Твардовского», — замечает Солженицын. «В январе 70-го стали его дергать наверх, требовать объяснений, негодований и отречений, как полагается от честного советского писателя». 10 февраля 1970 года в редакции «Нового мира» произошло столпотворение: были сняты с работы В. Я. Лакшин, И. Виноградов и А. И. Кондратович. «Все кресла были завалены писательскими пальто, все коридоры загорожены группами писателей». 11 февраля Твардовский подписал письмо: «Прошу освободить...» 13 февраля «освобожден от обязанностей» редактора.

Близилось 21 июня — 60-летие А. Т. Твардовского. Кажется, готовили большое торжество. Ему, может быть, дали бы золотую звезду Героя Социалистического Труда. Но вот, был брошен в «психушку» Жорес Медведев. «Если не я, то кто же, и если не сейчас, то когда же?» — подумал Твардовский словами Библии. И Твардовский (вместе с Тендряковым) 9 июня рванул в Калугу. Два часа они беседовали с Жоресом Медведевым, а по-

том с главным врачом больницы. «Я все хотел посмотреть Лифшицу в глаза, — рассказывал Твардовский. — Но мне так и не удалось это. За целый час, пока продолжалась беседа, Лифшиц ни разу не поднял на нас глаза». Твардовского поразил контраст между поведением врача и его «пациента», который, напротив, держался с большим достоинством, спокойно и с юмором рассказывал о порядках в больнице. «Учтите, — сказал Твардовский Лифшицу, — что мы приехали сюда и говорили с вами не только от себя лично».

Включился в борьбу за освобождение Жореса Медведева и Александр Солженицын. 15 июня 1970 года он написал для Самиздата письмо протеста — «Вот как мы живем». До того у него с Твардовским произошло некоторое охлаждение, но, как он говорит, «защита схваченного Ж. Медведева снова сроднила нас». 17 июня Ж. А. Медведева освободили, и, как впоследствии сказала Надежда Мандельштам, это была «победа общества над начальниками».

В конце 1970 года Александр Твардовский лежал в кремлевской больнице. Он много курил, страдал запоями: из напряженной, истерзанной жизни он уходил на две, три недели как бы в запредельный мир, чтобы «оттуда вернуться хоть с телом больным, но с поздоровевшей душой». Прошло, может быть, полгода после того, как он лишился «Нового мира», и у него обнаружился рак. Александр Солженицын, по личному опыту знающий, что такое рак, пишет: «Рак — это рок всех, отдающихся желчному, обиженному, подавленному настроению. В тесноте люди живут, а в обиде гибнут. Так погибли многие уже у нас: после общественного разгрома, смотришь — и умер. Есть такая точка зрения у онкологов: раковые клетки всю жизнь сидят в каждом из нас, а в рост идут, как только пошатнется. . . скажем, дух. . .» В больнице Твардовский лежал с полуотнятой речью, но мог слушать, читать, радовался тому, что А. И. Солженицын награжден Нобелевской премией, и порой даже кричал сестрам и нянечкам: «Браво! Браво! Победа!» *

* А. Т. Твардовский умер 18 декабря 1971 года. По воле вдовы, А. И. Солженицын был допущен ко гробу, и он дважды перекрестил усопшего — сперва в Центральном доме литератора, потом на Новодевичьем кладбище. К девятому дню А. И. Солженицын написал для Самиздата «Поминальное слово», начинающееся словами: «Есть много способов убить поэта. Для Твардовского было избрано: отнять его детище — его страсть — его журнал».

1971

НА ВЕЧЕ!

В 1971 году в г. Александрове Владимирской области, в двух часах езды от Москвы, служил пожарником в городской пожарной команде молодой человек Владимир Осипов. Приземистый, плотный. Простое лицо в веснушках. Лицо широкое, со слегка вздернутым носом. В ту пору ему было 32 года, но за плечами у него уже была большая жизнь.

Родился он в Москве, в рабочей семье. Шел 1939 год, надвигалась война. В раннем детстве Володя лишился отца. Мать вышла замуж второй раз, — пасынку было тяжело с отчимом. Если бы не крепкая натура, не природный дар, сбился бы мальчишка с пути в военные годы. Но Володя Осипов окончил школу, поступил в университет, и вскоре его уже знали как начинающего поэта. 29 июля 1958 года в Москве был открыт памятник Маяковскому, и московская молодежь стала собираться по вечерам у памятника, — читали стихи, спорили об искренности в литературе, о разных направлениях в живописи, иногда касались и политики. Девятнадцатилетний студент был непременно участником этих собраний. Где-то его «засекли», попал он в чье-то «поле зрения» . . .

В феврале 1959 года гебисты забрали одного студента исторического факультета, и Владимир Осипов выступил в аудитории в защиту своего товарища-однокурсника. Его тотчас же исключили не только из комсомола, но и из университета. Владимир Осипов не порвал связи с университетской молодежью: устраивал на частных квартирах выставки художников-абстракционистов, в ноябре 1960 года выпустил первый номер самиздатского журнала «Бумеранг», 14 апреля 1961 года, в годовщину смерти Маяковского, организовал (не один, разумеется, а с товарищами) многолюдный митинг у памятника, — митинг открылся речью, в которой перечислялись жертвы «культы личности». Дружинники разогнали митинг, Владимира Осипова и еще нескольких других молодых поэтов «закинули» в милицей-

скую машину, — отсидел он 10 суток в КПЗ (камере предварительного заключения).

28 июня 1961 года, в Измайловском парке в Москве, в тесном дружеском кругу, где кроме Владимира Осипова было еще четыре человека, он поделился своими размышлениями о том, какие перемены желательны для России. Конечно, и речи не было об отказе от «социализма», о свержении существующего строя, — предлагались лишь «улучшения, заимствованные из практики социалистического строительства в Югославии». «В то время, — вспоминал впоследствии Владимир Осипов, — моделью социализма для нас была Югославия, а авторитетами — Ленин, Тито, Пальмиро Тольятти, а также лидеры рабочей оппозиции Шляпников и Коллонтай». * Как водится, в дружеском кругу оказался стукач (Вячеслав Сенчагов, студент Института народного хозяйства им. Плеханова), и участники собеседования были арестованы. На следствии Владимир Осипов говорил: «Вы же всегда клеймите социал-реформистов как прямых пособников буржуазии. Мы тоже социал-реформисты в том смысле, что хотим произвести небольшие частичные реформы в структуре советской системы. Так что мы — прямые пособники коммунистической партии. Почему же вы сажаете нас?» Его приговорили к семи годам заключения, причем на усиленном режиме.

В апреле 1962 года Владимира Осипова привезли в Потьминский лагерь в Мордовии. Через месяц, 28 мая, вышел секретный Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, по которому для политзаключенных устанавливались два вида режима — строгий и особый. Ни на общем, ни даже на усиленном режиме их держать не могли: один год Владимир Осипов провел на строгом режиме, а потом его перевели в спецлагерь, на особый режим, еще более тяжелый по труду и питанию.

«Больше половины из тех, кто прибывает в политлагерь, — пишет Владимир Осипов в очерке 'Площадь Маяковского', — это люди с типично советским мировоззрением. Правда, выходят из лагерей уже перевоспитавшимися... Недаром концлагерь официально называется исправительно-трудовой колонией. Приходят атеистами, уходят — христианами. И с п р а в и л и с ь... Мне известен лишь один случай, когда после десяти лет заключения люди (два приятеля) изменили свои взгляды в удобную для начальства сторону».

«Перевоспитавшимся» вышел из лагеря и Владимир Осипов.

* Владимир Осипов, «Площадь Маяковского, статья 70-я», самиздатский очерк, написанный в августе 1970 года.

В лагере он познакомился со стариком, которого все называли «владыкой», — это был епископ Михаил; встречи и беседы с ним повернули молодого историка и поэта к религии. Выпущенный в 1968 году из лагеря и приехав в Москву, Владимир Осипов познакомился с А. Э. Левитиным (Красновым), известным церковным писателем, деятелем Самиздата, и первое, что он сказал ему: «Не могли бы вы достать мне Евангелие?»

Жена Владимира Осипова, пока он сидел в лагере, вышла замуж за другого, переписала на другое имя дочку, и не позволила отцу даже взглянуть на нее. Но в Москве жили мать и брат Владимира Осипова. Мать купила ему пальто и шляпу: как вспоминает А. Э. Левитин, недавний зэк стал похож на принарядившегося в воскресный день рабочего.

В Москве Владимир Осипов жить не мог и уехал в Александров — старинный русский город, ныне населенный сплошь бывшими лагерниками. Когда-то, в XIII веке, это была Александровская слобода; с 1564 года — на протяжении всего периода опричнины — она была резиденцией Ивана Грозного. В г. Александрове милиция прописывала всякую уголовную шпану, но долго отказывалась прописать Владимира Осипова, — он описал свои мытарства в самиздатском очерке «В поисках крыши». Начальник паспортного стола в милиции сказал ему:

— Что вы привязались к Александрову? Это — ваша родина?

— А где же моя родина? — спросил Осипов.

«По простоте душевной, — пишет он в очерке 'В поисках крыши', — я считал своей родиной Россию, дорожке которой, кажется, ничего быть не может. Россия, русский народ — эти слова для меня как заклинание, и я не могу быть спокойным при этих звуках».

Вот каким вернулся Владимир Осипов из лагерей!... «Моделью» для России он теперь брал уже не «социалистическую Югославию», и вместо Ленина, Тито, Пальмиро Тольятти припал совсем к другим авторитетам. За 200 рублей, которые ему кое-как удалось наскрести с помощью матери, он купил в Александрове ветхую, покосившуюся избушку на пригорке, открытом всем ветрам, поблизости от озера, и его прописали «в связи с покупкой дома». Впоследствии он женился на Валентине Машковой, которая тоже студенткой попала в лагерь, пробыла в заключении десять лет и по освобождении поселилась в Александрове.

Итак, в 1971 году 32-летний Владимир Осипов работал пожарником в городской пожарной команде. Как рассказывает А. Э.

Левитин (Краснов), работал не за страх, а за совесть, рискуя своей жизнью, и этим вызывая уважение всех своих товарищей. Недаром, однако, он был историк по образованию, да еще с незаурядными литературными способностями. В январе 1971 года в Самиздате появился довольно объемистый, чуть не двести машинописных страниц, журнал «Вече» — № 1. На нем было помечено: «Ответственный редактор В. Н. Осипов. Почтовый адрес: г. Александров Владимирской области, районный узел связи, до востребования».

«Вече»... Казалось, это слово давным-давно вышло из употребления. Кто нынче скажет «вече» про народное собрание? — вот уже больше полувека, как русским людям стало привычнее слово «митинг». Разве Ленин не писал о «митинговом демократизме трудящихся масс»? И разве не кричит «звично, по-митинговому» Бунчук в шолоховском «Тихом Доне»: — Товарищи казаки!.. Митинг, митинговать, митингование, даже митинговщина... — но «вече»? Когда-то пели «отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног», а вот прошло столетия с лишним, и вдруг в России вышел журнал «Вече». Что же, это журнал о «древностях российских»? Ничуть! О самой что ни на есть современности... Журнал открывался призывом:

НА ВЕЧЕ!

Двадцатый век — век прогресса науки и техники и в то же время — век небывалого развития корыстолюбия и преступности. В погоне за личным материальным благополучием, люди стали равнодушными к духовным сокровищам прошлых столетий. Это наблюдается в равной степени и у нас, и на Западе. Но нас, естественно, прежде всего заботит Россия — наша мать, боль и надежда.

Наше нравственное состояние оставляет желать много лучшего. Эпидемия пьянства. Распад семьи. Поразительный рост хамства и пошлости. Потеря элементарных представлений о красоте. Разгул матерщины — символ братства и равенства во хлеву. Зависть и доносительство. Наплева-тельное отношение к работе. Воровство. Культ взятки. Двурушничество как метод социального поведения. Неужели всё это мы? Неужели это — великая нация, давшая безмерное обилие святых, подвижников и героев? Да имеем ли мы право называться русскими? Словно зараженные бешенством, мы отреклись от своих прадедов, от своей великой культуры, героической истории и славного имени.

Мы отреклись от национальности. А когда мы пытаемся теперешнюю пустоту и убожество назвать тысячелетним словом, мы только оскорбляем святое имя.

И все же еще есть русские. Еще не поздно повернуться лицом к Родине. Обратиться к материнской земле, к наследию праотцев. Нравственное всегда национально. Аморализм не имеет нации. Возродить и сберечь национальную культуру, моральный и умственный капитал предков. Продолжить путеводную линию славянофилов и Достоевского.

Предстоит большая и тяжелая работа. Мы изолированы друг от друга. Мы выварили мысли в своем соку, не обмениваясь, не споря. Вынесем их теперь на русское вече. Пусть мнения противоречат, пусть один опровергает другого. Все наши споры должны иметь одну цель — благо России. С этой целью мы приступаем после длительного молчания к изданию РУССКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА. Мы приглашаем всех патриотов-россиян к участию в нашем журнале. Да благословит нас чистый, немеркнувший лик России.

На вече!

Редакция.
Январь 1971 г.

Нет, положительно, такого голоса давно не слышала Россия!

Вслед за этой передовицей следовала статья «У истоков русского самосознания», в которой говорится словами Ивана Аксакова, что «подвиг славянофилов был подвигом народного самосознания». Подвиг славянофилов?! На протяжении всего пооктябрьского полувека нас учили, что славянофилы — идеалисты, мистики, монархисты, враги революционного движения на Западе и в России, короче говоря, «махровые реакционеры», и вдруг появляются молодые люди, которые говорят: не пора ли реабилитировать «реакционеров» и «мракобесов»? Именно этот вопрос и поставлен в большой работе М. Ф. Антонова, напечатанной в первом и последующих номерах журнала «Вече». Не удивительно ли? Пусть эта работа несовершенна, пусть спорна, но она уже тем хороша и ценна для молодого читателя, что в ней приводятся обширные отрывки из сочинений А. С. Хомякова, И. В. и П. В. Киреевских. Журнал «Вече» знакомил своих читателей с такими русскими мыслителями, как Константин Леонтьев, Н. Я. Данилевский, о. Павел Флоренский. В журнале появились весьма содержательные статьи о пооктябрьской судьбе Москвы и Твери, двух городов, близких каждому русскому сердцу.

Конечно, законен вопрос: мало ли таких статей можно найти и в «литованной», подцензурной печати? Да, конечно... В те годы, когда Владимир Осипов сидел в лагере, на «спеце», в «большой зоне», как ныне принято называть всю внелагерную Россию, в некоторых газетах и журналах, главным образом, молодежных, комсомольских, начали появляться как бы «неославянофильские» статьи. Едва ли не первой такой статьей была статья В. Пескова в «Комсомольской правде» (4 июня 1965 года). Как многое в русской общественной жизни, эта статья была навеяна последствиями войны. В редакции газет со всех концов света шли письма от людей, искавших родственников и родителей, потерянных в годы войны. Не только родственников и родителей, но и... самих себя! Так, одна женщина писала:

«Я была девочкой и потерялась во время бомбежки. Теперь я взрослый человек, работаю инженером в Казани. Тяжело жить, не зная имени матери и отца. Я не надеюсь увидеть их живыми, но хотя бы знать, кто они, что? Мне легче будет себя понимать — кто я и что?»

«В этих словах, — писал В. Песков, — вся мудрость отношения человека к своему прошлому. Человеку надо знать свои корни. ... Лет тридцать с лишним назад многие думали, что всё это блажь. 'Расчистить и подрубить все старые корни!' ... В крутые годы войны мы призвали на помощь себе наше прошлое. ... Не даем ли мы зарастти тропам, проложенным отцами и пращурами? ... Весь город Рим потому необычайно красив, что в нем удивительно гармонично сочетаются современность и древность. ... Я коммунист, мне дорого высоко чтимое на земле имя Маркса. Но я не убежден, что мы правильно поступили, изменив название улицы Охотный ряд. Любую, самую богатую и нарядную, из новых улиц Москвы можно было назвать именем Маркса. А название 'Охотный ряд' сохранить. Это история. Два этих слова 'Охотный ряд' в сопоставлении с нынешним центром Москвы дают тот же эффект, что и развалины древней стены в римском аэропорту».

Прежде, чем такой статье появиться в газете с миллионным тиражом, должны были, разумеется, произойти какие-то «геологические сдвиги» в этом направлении. Впрямь, давно уже начались как бы «новые поиски старой России». В научном плане, инициаторами этих поисков явились историки архитектуры. В 1961 году вышел в свет монументальный двухтомный труд Н. Н. Воронина «Зодчество северо-восточной Руси XII—XV веков»; в том же году вышла книга И. В. Трофимова «Памятники архитектуры Троице-Сергиевой лавры»; в 1967 году — совместный

труд Н. Н. Воронина и В. В. Косточкина «Троице-Сергиевский монастырь». В шестидесятых годах вышли такие труды по древнерусской скульптуре: «Мастера древнерусской скульптуры» Г. К. Вагнера, «Пермская деревянная скульптура» Н. Н. Серебрянникова, «Прикладное искусство Новгорода Великого» Г. Н. Бочарова. В. Н. Лазарев выпустил в 1966 году книгу «Андрей Рублев и его школа». В 1964 году вышла монография М. В. Алпатовва — «Икона 'Апокалипсис' Успенского собора Московского Кремля». В 1964 году в Москве, в Спасо-Андроньевском монастыре открылся Музей Андрея Рублева (там и похоронен монах-иконописец), а в Третьяковской галерее была устроена выставка школы Рублева. В том же 1964 году в журнале «Искусство кино» был опубликован киносценарий «Андрей Рублев».

Научные поиски старой России отвечали на страстное желание русского человека понять — «кто я и что?» Неизбежно должна была начаться и популяризация этих поисков. В июне 1965 года, как сказано, появилась статья В. Пескова, в которой были приведены строки из стихотворения, написанного русским солдатом в немецком плену:

Я вернусь еще к тебе, Россия,
чтоб услышать шум твоих лесов,
чтоб увидеть реки голубые,
чтоб идти тропой моих отцов.

Тропой отцов!.. В сентябре и октябре 1966 года в журнале «Молодая гвардия» за расчистку тропы отцов принялся Владимир Солоухин, напечатавший «Письма из Русского музея». В январе 1969 года, в журнале «Москва», он напечатал «Черные доски», записки начинающего коллекционера, собирателя икон. В моду вошел Илья Глазунов, художник, картины которого носят такие названия — «Русская земля», «Русский север», «Русская песня», «Господин Великий Новгород», «Погост Ненокса», «Град Китеж».

«Неославянофильское» направление в «литованной», подцензурной печати отчетливо определилось во время дискуссии по поводу статей Виктора Чалмаева — «Великие искания» и «Неизбежность», в №№ 8 и 9 «Молодой гвардии» за 1968 год. Отрывки из статей В. Чалмаева приводит Александр Солженицын в книге «Бодался теленок с дубом», сопровождая их комментариями: «Честно говоря — присоединяюсь», «Не вызывает сомнений», «На том стою и я». К «неославянофильскому» направлению

примкнули такие публицисты, как С. Семанов, В. Лобанов, А. Ланщиков.

По мнению Роя Медведева, автора «Книги о социалистической демократии», «неославянофилы» встретили поддержку в Политическом управлении Советской армии и в ЦК Комсомола. Поскольку молодежь никак не воспринимает марксизма, политруки и комсорги призваны заполнять образовавшуюся пустоту «национальными чувствами». Весьма возможно: как восклицает Андрей Вознесенский, «голодуха, брат, голодуха, особо в области духа!» Быть может, этим и объясняется то, что «неославянофилы» свили себе гнездо в «Молодой гвардии».

Если так, то к чему самиздатское «Вече»? Не есть ли это диверсия Политуправления и комсомольского Цека в Самиздате? По всем отзывам, Владимир Осипов — человек абсолютной честности и глубокой порядочности, и, конечно же, «Вече» никогда не был копией «Молодой гвардии». «Вече» печатал произведения на лагерную тему, когда эта тема была уже под запретом в «литованных» журналах. «Вече» провел широкое обсуждение романа А. Солженицына «Август Четырнадцатого», и во всех самиздатских спорах В. Осипов неизменно выступает на стороне А. Солженицына. Главное же, «неославянофильство» журнала «Вече» никогда не играло служебной роли, а всегда было направлено на утверждение русского самосознания, продолжение подвига славянофилов.

25 апреля 1972 года два американских корреспондента, Стивенс Бронинг из Ассошиэйтед Пресс и Дин Милз из газеты «Балтимор сан», беседовали где-то в Подмосковье с Владимиром Осиповым. Поскольку полный текст интервью появился лишь в самиздатском «Вече», приведем отрывки из этого документа, характерного для нашего времени:

Вопрос: Считаете ли вы, что «Вече» является центром какого-то общественного движения или отражает важную тенденцию в советском обществе?

Ответ: «Вече» не является центром общественного движения, но отражает существующее в русском обществе настроение умов. Тенденцию, выражаемую в «Вече», считают важной те, кто признает за каждой нацией право на самобытное культурное развитие, кто признает необходимость и возможность такого развития, в частности, все, кого глубоко волнует судьба русского народа и кто верит, что русских сил достанет для национальной культурной самостоятельности. Волею обстоятельств журнал «Вече» стал пер-

вым в СССР периодическим органом русского национального направления. Завтра, быть может, придут более талантливые и более энергичные, и мы с удовольствием передадим эстафету. Пока мы принимаем на себя всю ответственность быть рупором национальных чаяний нашего народа.

Вопрос: Каковы исторические корни группы «Вече», какое значение имеет само название?

Ответ: Русское национальное самосознание ведет свое начало еще со времен древней Руси. В царствование Екатерины Великой историк Щербатов, а в начале XIX века — Карамзин впервые сформулировали идею самобытности русских основ жизни. В полный голос утвердили национальное мироощущение классики славянофильства Алексей Степанович Хомяков, а также Иван Киреевский, братья Аксаковы, Леонтьев и Данилевский. Особенное значение для «Вече» имеет гений мировой литературы и глубоко национальный мыслитель Федор Михайлович Достоевский. Патриоты правого направления, такие, как Гоголь, Победоносцев, Тютчев также интересны при рассмотрении отдельных вопросов. Когда мы вспоминаем предоктябрьский период, мы глубоко скорбим по поводу того разгула безродности и нигилизма, который имел место в начале XX века в среде русской интеллигенции. Мы сожалеем, что между сегодняшними сторонниками национальной идеологии и нашими ближайшими предшественниками лежит бездна в несколько десятилетий. Название «Вече» мы связываем с духом соборности, разнообразия и терпимости, который издревле характерен для русского народа. Вече — русская форма парламента в домонгольской Руси, сохранившаяся затем в независимых городах Новгороде и Пскове, а в Московском царстве перешедшая в форму соборов.

Вопрос: Какие философы, писатели являются важным источником вдохновения дискуссии? С какими западными философами вы знакомы?

Ответ: Фоном нашего отношения к литературе в целом всегда было уважение к классикам русской и мировой литературы, как к немногим людям, понявшим и возвеличившим свой язык. Кого мы могли бы назвать своими спутниками, а может быть, и поводырями? Отсчитывая время от Достоевского, вспомним В. В. Розанова, не только писателя, но и философа, сумевшего взглянуть на прошлое, настоящее и будущее мира глазами русского. Назовем, конечно,

Н. С. Гумилева. Как глубочайшего выразителя русского духа в его космическом и онтологическом явлении хотели бы мы назвать Андрея Платонова. Много в расшифровке тайной и уже забытой красоты источников русской души дает нам Н. А. Ключев. Из русских философов в первую очередь привлекает нас П. А. Флоренский, который удивительно смог слить активное понимание научно-технической миссии XX века с ревностным православием. Громадные значения для современного русского сознания имеют труды Николая Бердяева. Конечно, во многом интересны нам С. Булгаков, Франк, Лосев и другие. Есть и сейчас в нашей стране хорошие писатели, настоящие мыслители. Не рискуя выносить современной западной философии приговоры или одобрения, в которых она не нуждается, признаемся в глубокой симпатии к деятельности Мартина Хайдеггера, великого философа нашего времени, да и не только нашего. Нам дорог его душевный накал и пафос поиска подлинного бытия, сознание бесконечности человеческой природы, его великая бескомпромиссность в поиске, высокая эстетика и склонность к патриархальному. Мы активно не принимаем философов типа Сартра и Маркузе и сожалеем, что они произвели такую бурю в зыбких мозгах молодого поколения Запада.

Вопрос: Почему «Вече» и группа вокруг него появились именно в этот момент русской истории?

Ответ: Накал национального нигилизма, давший, между прочим, такого озлобленного русофоба и клеветника, как Покровский, достиг в пореволюционное время столь небывалых масштабов, что стал угрожать существованию самого государства. В середине 30-х годов власти разрешили произносить слова «Отечество» и «Россия», а в период борьбы с немцами ослабили борьбу с православием. После войны Сталин в целях укрепления государства решил использовать русский национализм. Несмотря на явное лицемерие сталинской администрации, на крайнее опошление и спекулятивное использование национальных чувств, мы все же признаем положительным тот факт, что хотя бы вспомнили, заговорили о русской истории и культуре. После смерти Сталина и по сей день наша администрация, по-видимому, занимает нейтральную позицию в национальном вопросе. Всякая нация, не уничтоженная биологически, рано или поздно обнаруживает стремление жить естественной, т. е. национальной жизнью. Обращение современного

русского общества к отечественным истокам и традициям наметилось с середины 60-х годов. Оно родилось из желания духовного очищения и обогащения, а также как результат повышения культурного уровня. Довольно слабым отражением этой тенденции некоторое время был журнал «Молодая гвардия». Однако едва русские патриоты подали голос в официальном органе, как прозвучало вельможное: «Пора кончать с русофильством!» — последовала смена редакции (осенью 1970 года).

Так 25 апреля 1972 года в беседе с американскими журналистами говорил пожарник из г. Александрова — и редактор самиздатского журнала «Вече». Но «органы насилия», получив приказ «кончать с русофильством», начали систематически задерживать и обыскивать Владимира Осипова: 23 апреля, 23 мая, 6 июля 1972 года... В марте 1974 года журнал «Вече» прекратил свое существование, — вышло всего девять номеров. В сентябре 1974 года Владимир Осипов начал издавать новый самиздатский журнал «Земля», — вскоре после того он был арестован.

1972

ОТ ИЛЬИЧА ДО ИЛЬИЧА

Майским утром 1972 года из подъезда многоквартирного дома на Кутузовском проспекте, бывшем Можайском шоссе, ведущем к западу от Москвы, вышел довольно высокий, хорошо, можно даже сказать элегантно одетый человек с волнистыми, посеребрёнными сединами волосами. Его ждал длинный чёрный лимузин ЗИЛ 144. Поблизости стояло несколько чёрных «чаек», — куда бы ЗИЛ 144 (или иногда рольс-ройс, кадилак, линкольн, мерседес) ни ехал, его сопровождала на «чайках» охрана. В это утро, в понедельник 22 мая, он ехал в Кремль.

У Брежнева два кабинета: в здании ЦК КПСС на Старой площади, куда он приезжает по вторникам на заседание секретариата, и в Кремле, где каждый четверг, в три часа пополудни, собирается Политбюро. В этот день, однако, ему предстояла совсем другая встреча: в Москву летел Ричард Мильхауз Никсон, президент Соединённых Штатов Америки. Перелетев через океан, Никсон сделал остановку в Австрии, чтобы отдохнуть перед переговорами в Москве. «В истории меня всегда интересовали великие победы и большие поражения, — сказал однажды Никсон. — Те и другие дают один урок — урок дисциплины, умственной и физической. Для важнейших решений требуются физическое здоровье и ясность ума. Первое правило, которому должен следовать государственный деятель — это беречь себя для больших решений». Надо полагать, эти слова Никсона, сказанные в беседе с корреспондентом журнала «Тайм» и опубликованные 3 января 1972 года, были переведены для Брежнева, — ведь, готовясь к встрече с Никсоном, Брежнев, разумеется, интересовался, что это за человек. Брежневу было уже 66 лет, и как раз незадолго до встречи с Никсоном он признался в одной беседе, что его мучает бессонница. «Все то, о чем приходится думать днем, — сказал он, — продолжает и ночью крутиться в моей голове. В такой стране, как наша, думать приходится о многом. В то время, как на юге люди требуют летней одежды, мы должны снабжать се-

вер валенками. Большие заботы, маленькие заботы... Радости и печали... Все идет сюда, к нам, и мы должны обо всем подумать, все обсудить, всему найти решение». Но, готовясь к встрече с Никсоном, он принял снотворную пилюлю, хорошо выпался и был в надлежательной форме, как говорят цирковые борцы, — Брежнев с детских лет сохранил любовь к цирку, и его ближайшим личным другом является бывший директор цирка из Днепропетровска.

Брежнев не видел Никсона больше двенадцати лет. В июле 1959 года Никсон, тогда вице-президент США, приезжал в Москву на открытие Американской выставки. У Никиты Хрущева вспыхнул и разгорелся спор с Никсоном в «американской кухне» на выставке: увидев соковыжималку для лимона, «царь Никита» воскликнул — «Господин Никсон! Ну что это за глупость — привозить такую вещь на показ в Советский Союз! Да сколько капелек лимонного сока требуется на стакан чая? Пожалуй, хозяйка дольше провозится с этим приспособлением, чем если бы она просто отрезала ломтик лимона, опустила его в стакан и придала ложечкой. У нас так делали, когда я был еще ребенком, и я не думаю, что это ваше изобретение как-то улучшает быт. И к чему показывать нам такую ерунду? Ведь вы этим наносите нам оскорбление!» Ну, попала вожжа под хвост — понесла кобыла! Всю мировую печать обошла фотография, как Хрущев спорил с Никсоном, — рядом стоял и Брежнев с иронической улыбкой на лице. По-видимому, он думал о том, что впоследствии — 14 декабря 1964 года, на партсобрании на заводе «Красный Пролетарий» — высказал Микоян: «В выступлениях Хрущева проявлялось больше эмоциональности, чем рассудка, и если он начинал говорить, то не мог остановиться».

Двенадцать лет... Много воды утекло за эти годы! В 1959 году Никсон был вице-президентом, не имевшим никакой власти, как бы «порученцем» при Эйзенхауэре, — таким же «порученцем» был тогда и Брежнев при Хрущеве, который с марта 1958 года был уже не только первым секретарем ЦК КПСС, но и председателем Совета министров СССР. И вот теперь Брежнев и Никсон должны были встретиться как главы двух величайших держав на свете!

Правда, в европейских столицах порой затруднялись: считать ли Брежнева главой государства? Как генеральный секретарь ЦК КПСС, он имеет власти больше, чем кто-либо на партийно-правительственной верхушке. По дипломатическому протоколу, однако, он № 3, не больше. На первом месте — Н. В. Подгорный, который, будучи председателем Президиума Верховного Совета

СССР, считается «президентом», «главой государства»; на втором — А. Н. Косыгин, председатель Совета министров СССР, т. е. глава правительства. Если придерживаться правил дипломатического обихода, то Брежневу, приезжающему в чужую страну, не полагается ни красной ковровой дорожки на аэродроме, ни почетного караула, ни тем более пушечного салюта из 21 орудия, — таким салютом приветствуют только какого-нибудь прибывающего главу государства. Например, когда Брежнев приехал в Бонн, пушечный салют в последнюю минуту отменили, но зато в Париже в октябре 1971 года ему был и пушечный салют, и апартаменты в Большом Трианонском дворце в Версале, как если бы он был царствующим монархом.

«Монарх»... из рабочего поселка Каменского? Ну что же, Никсон тоже не ахти какой аристократ, — сын лавочника, мелкого торговца. Правда, Никсон сочетал в себе три ипостаси: он был и главой партии, и главой правительства, и главой государства. Ну, это все формальности! Во всяком случае, уже с весны 1971 года вся мировая печать писала, что Брежнев признан... как это у них там говорится? ... *primus inter pares*... в коллективном руководстве Советского Союза. Писали еще... такая крупная газета, «Фигаро» в Париже, 19 ноября 1971 года... писали, что будто бы в СССР будет создан новый (высший) орган власти — Государственный совет. Потом и Танюг в Белграде общал об этом... А и в самом деле, почему бы ему не стать председателем Государственного совета? Без раззолоченного мундира, конечно... Тогда он был бы уже настоящий глава государства!

По-человечески, думается, что в то майское утро 1972 года, когда Брежнев ехал в Кремль как глава великой державы на встречу с главой другой великой державы, в его сознании должны были бы проноситься воспоминания детства, картины поселка Каменского, где он родился 6 (19) декабря 1906 года.

В Каменском, поселке верстах в тридцати вверх по Днепру от Екатеринослава, когда-то были каменоломни, — в церковных записях этот поселок впервые упоминается с 1750 года. Но вот, в конце восьмидесятых годов прошлого века франко-бельгийская компания решила построить там металлургический завод, — поблизости были донецкий уголь и криворожская руда. 2 марта 1889 года в Каменском была зажжена первая вагранка. По слухам, там были хорошие заработки, и вскоре туда приехал из Курска рабочий-металлург Яков Брежнев. Вместе с ним приехал и его сын Илья, — тот тоже стал работать на Каменском заводе. Приглянулась ему местная 18-летняя девушка Наталья,

— они поженились, и 6(19) декабря 1906 года у них родился сын Леонид, а после него еще сын и дочь.

К 1913 году поселок разросся в город, где насчитывалось уже 22 000 человек. В центре города блестили золотые купола православного собора; имелись там еще польский костел и три сионагоги. Половину населения составляли русские, украинцы, потом поляки, — почти все поляки были инженерами, начальниками, мастерами, — а также немцы, чехи и евреи.

В Каменском имелось две гимназии: женская частная и мужская, которую содержал завод. Это была классическая гимназия — латынь, немецкий и французский языки преподавались как обязательные предметы. Туда-то и привели осенью 1915 года девятилетнего Леню Брежнева — тихого и худенького, голубоглазого, веснучатого мальчика. В гимназии он, кажется, ничем особенным не отличился, и, пожалуй, самое большое впечатление тех лет у него осталось не от гимназии, а от пышущего огнем и дымом автомобиля, который он видел на улице, когда шел в гимназию, — автомобиль принадлежал местному нотариусу.

Недолго Лене Брежневу пришлось ходить в гимназию. Началась революция, и гимназия превратилась в «трудовую школу». Что ни день, звонили колокола собора, — это означало, что в городе новая власть, то красная, то белая, то петлюровская, то немецкая, а иногда и просто город захватывали бандиты. Одна каменская гимназистка, Сонька Мишук, стала чекисткой и навела страх на всю округу: про нее говорили, что она расстреливала сама по 40—50 человек за ночь, а однажды она вывела на городскую площадь хозяина женской гимназии Мороза, его жену и дочь — и прикончила. Летом 1921 года Брежнев окончил «трудовую школу», — и на выпускном вечере его премировали несколькими кусочками сахара, полученного от АРА (Американской организации помощи).

Первый красный отряд вступил в Каменское в январе 1918 года. Тогда завод еще работал, и в честь этого события была отлита статуя «Прометей», — местные жители звали его «Тимофеем», он еще и сейчас стоит на городской площади. Но потом завод остановился, восстановили его только в 1925 году по приказу председателя ВСНХ (и ОГПУ!) Дзержинского, потому-то в 1936 году г. Каменское и был переименован в г. Днепродзержинск. В 1925 году, однако, Лени Брежнева там уже не было, — летом 1923 года он шестнадцатилетним юношей поехал попытать счастья там, откуда вышли его дед и отец, в Курск. Там его приняли в техникум землеустройства и мелиорации.

Кто мог подумать, что скромный землемер, которого в 1927 году послали на работу в Оршу, со временем станет «главой государства»? Вряд ли об этом думала Виктория Петровна, оршанская медсестра, на которой женился Брежнев. И даже когда его назначили заведующим райземотделом на Урале, это не означало «выдвижения». Да и сам Брежнев, по-видимому, чувствовал, что «районно-земельный» путь не для него, потому что в 1931 году он уже снова в Каменском, — ночами работал, вместе с отцом и братом Яковом, на Metallургическом заводе имени Дзержинского, а днем учился в Metallургическом институте, где его близким товарищем был Виктор Кравченко, знаменитый невозвращенец, впоследствии покончивший самоубийством в Нью-Йорке. В 1931 году Брежнев вступил в партию, а в 1935 году — выпущен как инженер из института.

В 1935 году... Уже был убит Киров, и под прикрытием пропаганды о «социалистическом гуманизме» начиналась эпоха великого террора, великого страха — ежовщина. Вот тут-то впервые и открылась «зеленая улица» перед Брежневым!.. Людей «укорачивали на голову», освобождались начальственные посты... В мае 1937 года инженера Л. И. Брежнева перевели с производства на «советскую работу», — он стал заместителем председателя Днепродзержинского городского совета. Еще через год, в мае 1938 года, он был уже в Днепрпетровске, в обкоме партии. В 1939 году, когда Брежнев стал вторым секретарем Днепрпетровского обкома, 29-летний инженер-металлург Николай Щелоков был выдвинут на пост председателя Днепрпетровского горсовета, — они стали друзьями; не кто иной, как Щелоков состоит ныне министром внутренних дел и имеет квартиру рядом с квартирой Брежнева.

Конечно, Брежнев еще не был настолько видной фигурой, чтобы попасть в марте 1939 года на XVIII съезд ВКП(б), — там был Косыгин, которого тогда даже избрали в ЦК. Но Брежнев уже попал в «номенклатуру», и теперь многое зависело от того, как он будет служить «Хозяину». Многие, но не всё... — как и в 1937 году, ему еще раз в 1952 году помогли обстоятельства. Конечно, в течение этих пятнадцати лет он продвигался по службе: войну он начал политработником в небольших чинах, а закончил генерал-майором, начальником Политуправления 4-го Украинского фронта. Первый секретарь обкома в Запорожье, первый секретарь обкома в Днепрпетровске... — идут рапорты Сталину, что завод «Запорожсталь», полностью разрушенный в 1941 году, восстановлен; план хлебосдачи выполнен. Весной 1950 года Брежнева вызвали в Москву, но на этот раз не надолго, — для

подготовки на пост первого секретаря ЦК Компартии Молдавии. И вот, 5 октября 1952 года он в Москве — один из 1 192 делегатов XIX съезда партии с решающим голосом. Более того, на первом же заседании ему выпала честь выдвинуть кандидатов в секретариат съезда; его самого выбрали членом мандатной комиссии. Было ясно, что в последний день съезда он будет выбран в члены ЦК КПСС.

На следующий день после съезда, 16 октября 1952 года, однако, случилось нечто, чего сам Брежнев, может быть, и не ожидал. На съезде Сталин произнес небольшую речь и сидел как полубог, безучастно и молчаливо. На пленуме ЦК КПСС, между тем, он сам председательствовал и предложил, чтобы вместо Политбюро с его 11-ю членами создать Президиум из 25 членов и 11 кандидатов в члены; предложил он еще, чтобы в секретариате было не пять, а десять секретарей ЦК. Как впоследствии говорил Н. С. Хрущев на XX съезде, у Сталина был замысел покончить со всеми старыми членами Политбюро и заменить их новыми. Опять-таки по словам Хрущева, Сталин вынул из кармана листок бумаги и прочитал предлагаемый им состав Президиума и Секретариата ЦК КПСС. И что же? В числе кандидатов в члены Президиума — Л. И. Брежнев. Среди секретарей ЦК — Л. И. Брежнев (так и хочется сказать: «Наряду со Сталиным, Маленковым, Хрущевым, Сусловым»). Если майским утром 1972 года, когда ЗИЛ 144 несся по середине проспекта в Кремль, перед внутренним взором Брежнева проходили картины его жизни, он мог с улыбкой подумать, что ведь и Никсон подобрался к вершине власти в том же 1952 году.

Однако недолго пробыл Брежнев в непосредственной близости к партийно-правительственной верхушке: 5 марта 1953 года Сталин умер, и те, с кем он собирался покончить, первым делом убрали новых выдвиженцев Сталина. Два дня спустя после смерти «Хозяина», газеты сообщили, что в Президиуме ЦК КПСС вместо 36 членов и кандидатов в члены остается только 14 человек, из них только четыре кандидата в члены, — имени Брежнева не было в новом перечне. Более того, сообщалось также, что т. Брежнев Л. И. освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС «в связи с переходом его на работу начальником Политуправления Военно-Морского Министерства». А еще через неделю, 15 марта, за подписью К. Ворошилова — того самого Ворошилова, которого Сталин собирался ликвидировать как «английского шпиона»! — был опубликован «Закон о преобразовании Министерства СССР», по которому Военное и Военно-Морское министерства объединялись в одно Министерство обороны

СССР. Брежнев оказался не у дел... Да ведь и с Никсоном произошло то же самое! Но, как и Никсон, Брежнев проявил необычайную способность при падении встать на ноги.

Никите Хрущеву пришла в голову грандиозная идея: поднять 13 000 000 гектаров целины в Казахстане... В два года — 1954 и 1955 — распахать площадь, равную целой Англии! Получится «пыльный котел»... — посмотрим, может быть, и не получится! Начнутся «черные бури»... авось, не начнутся! Будут протестовать казахи, — это правда, уже протестуют, даже и сам Жумабай Шаяхметов, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. Говорят, что будут разрушены пастбища, столь нужные казахам-скотоводам; в Казахстан нахлынут волны переселенцев из Европейской России, и казахи окажутся в своей республике на положении меньшинства... Но «царь Никита»... — на то он и «царь», разве его удержишь? Он решил послать в Казахстан своего наместника, и нельзя было найти более подходящего человека, чем Л. И. Брежнев. Во-первых, он землеустроитель по профессии. Во-вторых, он зарекомендовал себя в Молдавии, имел опыт работы с враждебными «нацменами». В ту пору, однако, Никита еще не был вполне «царем», и мнение Маленкова было такое, что нельзя давать большую окраинную республику в ведение Брежнева, при помощи которого Сталин собирался расправляться со старыми членами Политбюро. На том и порешили: первым секретарем ЦК Компартии Казахстана поедет в Алма-Ату П. К. Пономаренко, а вторым Л. И. Брежнев. Не прошло много времени, как в 1955 году Маленков перестал быть председателем Совета министров СССР, уступив пост будто бы «более опытному» Булганину, — в результате Пономаренко переместился из Алма-Аты в Варшаву, на пост посла СССР, а Брежнев утвердился как первый секретарь ЦК Компартии Казахстана.

Утвердился! — другого слова не подберешь. За первые двадцать месяцев подъема целины было распахано 6,3 миллиона гектаров, создано до 300 крупных совхозов. Кстати, что случилось с ропотливым Жумабаем Шаяхметовым? Его сперва послали на должность секретаря Чимкентского обкома партии. В июне 1955 года в Чимкент поехал Брежнев, нашел уйму недостатков в работе обкома, — Шаяхметов был снят и с этой маленькой должности. А — не ропщи!... Зато Брежнев нашел другого казаха, достойного выдвижения — Динмухамеда Кунаева. Правда, он не вполне казах, родился от русской матери, но родился в Алма-Ате, чего еще надо? Взащен-то в Москве, окончил там Институт цветных металлов... — ну, а работал-то где? На Прибалхашстрое, на Риддерском руднике, — в Казахстане! Приятно и то,

что свой брат-металлург! В 1955 году Динмухамед Ахмедович Кунаев занял пост председателя Совета министров Казахской ССР.

Утром 14 февраля 1956 года Брежнев в длинном черном ЗИСе въехал через Боровицкие ворота в Кремль, — XX съезд КПСС только начинался, Никита Хрущев еще не произнес своей речи о «культе личности», и «Завод имени Сталина» в Москве еще не был переименован в «Завод имени Лихачева». На съезде партии Брежнев говорил о целине, о Казахстане. Он оправдал доверие Никиты Хрущева. В зале заседаний съезда сидел и Динмухамед Кунаев, — он был выбран в члены ЦК КПСС, тогда как Брежнев опять стал секретарем ЦК, ему было поручено ведать сношениями КПСС с компартиями стран всего мира.

Как-то раз, в октябре 1960 года, находясь в Америке, в советском имении в Глен-Кове близ Нью-Йорка, Н. С. Хрущев вслух размышлял о трудной жизни политического деятеля. «Каждую минуту, днем и ночью, — говорил он, — надо быть начеку. Ни отдыха тебе, ни развлечения. Никогда не знаешь, что может случиться завтра». Это правда... Так мог бы сказать и Брежнев. Так мог бы сказать и Никсон. 7 мая 1960 года, в силу непредвиденных обстоятельств, Брежнев снова перестал быть секретарем ЦК КПСС, — его «выдвинули» на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, «президента», «главы государства». Фасад внушительный, а за фасадом — пустота, никакой власти и, в сущности, мало влияния.

Все дело, однако, зависит от того, кто занимает такой «представительный» пост, и если человек обладает «пробивной силой» (как Брежнев! Как Никсон!), он может извлекать выгоды даже и из превратностей политической жизни. Иной на посту председателя Президиума Верховного Совета СССР просто подписывал бы указы, обменивался рукопожатиями с иностранными послами при вручении ими верительных грамот «главе государства», а иной мог стараться вникать в тонкости дипломатии, присматриваться к людям, ведущим внешнюю политику разных стран, набираться внешнеполитического опыта. Брежнев начал охотно путешествовать: за три года на посту «президента» он 15 раз ездил за границу. В Марокко, Гану, Гвинею, Судан, Иран, Индию, Афганистан, Финляндию, Югославию, Венгрию, Польшу, Румынию, Болгарию, Чехословакию, ГДР... В 1962 году он взял с собой в Югославию дочь Галину, и она произвела фурор умением со вкусом одеваться, своей непринужденностью и веселостью. Да и сам Брежнев, не без тщеславия, начал носить дорогие костюмы, золотые запонки, целовать дамам руки, говорить им ком-

плименты вроде того, как он, прельстившись норвежской прелестью жены канцлера Брандта, сказал ей на банкете в Бонне: «Приезжайте в Москву. Вся Москва будет у ваших ног!»

В июне 1963 года, после того, как Фрола Козлова разбил паралич, Брежнев был снова введен в секретариат ЦК КПСС. Пройдет еще год, и 15 июля 1964 года на сессии Верховного Совета он будет освобожден и от «президентских» обязанностей, которые перейдут к старику Микояну. Это было сделано, чтобы Брежнев мог «сосредоточиться на своей деятельности в секретариате ЦК КПСС», — он был в фаворе у «царя Никиты». Отплатил ли он Н. С. Хрущеву неблагодарностью спустя три месяца? Его роль в кремлевском перевороте не выяснена. «Царь Никита», как известно, 30 сентября 1964 года уехал на Черноморское побережье в отпуск. Между тем, Брежнев 5 октября уехал в Берлин на празднование 15-й годовщины Германской демократической республики. Из Берлина он вернулся 11 октября, и когда Илюшин-18 приземлился на Внуковском аэродроме, Брежнев, выйдя из самолета, увидел, что его встречали не те люди, которые провожали. В числе встречавших был М. А. Суслов, который сел с Брежневым в машину, — день был воскресный, они вдвоем поехали на подмосковную дачу. О чем говорили они в тот час, когда Никите Хрущеву оставалось всего лишь два дня политической жизни?

Во вторник 13 октября, утром, Н.С. Хрущев беседовал в Гаграх с французским министром Гастоном Палевским. Беседа длилась полчаса, — Хрущев должен был лететь в Москву. В 2 часа 30 минут пополудни Н. С. Хрущев приземлился на подмосковном аэродроме, где его встретили А. Шелепин, бывший глава КГБ, и В. Семичастный, его преемник. Прямо с аэродрома он был доставлен на заседание Президиума, а потом и пленума ЦК КПСС. В роли обвинителя выступал не Брежнев, а Суслов, который произнес четырехчасовую речь против Хрущева.

Почему Брежнев, а не кто-нибудь другой, стал первым, а впоследствии (как Сталин) генеральным секретарем ЦК КПСС? Кто, кроме него, был и землеустроителем, и инженером-металлургом? Как землеустроитель, он хоть как-то изучал сельскохозяйственную науку и мог разбираться в вопросах сельского хозяйства; как инженер-металлург, он понимал и дела промышленности. Важно и то, что он несколько лет провел в армии, и, например, маршал А. А. Гречко был командующим той самой 18-й армией, где Брежнев был начальником Политуправления. Но, пожалуй, решающая причина заключалась в том, что Брежнев — «соглашатель» по натуре, который мог быть приемлем,

скажем, и для «железного Шурика» Шелепина и для не столь железного А. Н. Косыгина.

Неправильно думать, что в Политбюро, в аппарате ЦК КПСС царит 100-процентное единогласие, не бывает никаких стычек и расхождений, — ведь там сидят не роботы, а люди, которым приходится решать многообразные и сложные вопросы внутренней и внешней политики. В 1970 году, например, отмечалось 100-летие со дня рождения Ленина, и в аппарате ЦК КПСС возникли разногласия по поводу доклада, который Брежнев должен был произнести во Дворце съездов в Кремле. В самиздатском «Политическом дневнике» (№ 67, апрель 1970 года) находим такое сообщение:

«... Этот доклад содержал очень мало интересных моментов, он был лишен творческого характера, как и всякое произведение, созданное аппаратом. Однако некоторые разделы и отдельные фразы доклада заслуживают внимания. Брежнев отметил в своем докладе чрезвычайную сложность нашей экономики и намекнул на возможность ряда новых решений по развитию экономической реформы. ... Брежнев сказал также о необходимости давать отпор как великодержавному шовинизму, так и местнонационалистическим тенденциям... В докладе Брежнева ни в какой связи не произносилось имя Сталина. Всему тому, что мы называем сегодня сталинизмом, Брежнев уделил только две фразы. Брежнев повторил свою версию событий в Чехословакии. Он осудил также в довольно четких выражениях антисоветскую кампанию в Китае. В этом же разделе доклада наряду со стандартными пропагандистскими формулами содержались и здравые мысли о политике мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества в экономической области с капиталистическими странами. Показательно, что даже эти отмеченные нами места из доклада Брежнева подверглись атаке неосталинистов. Всего за несколько дней до доклада помощник Брежнева В. Голиков и зав. Отделом науки ЦК С. П. Трапезников направили Брежневу резкий отзыв о проекте доклада и обвинили составителей доклада в ревизионизме. (Подготовка текста доклада проводилась большой группой во главе с помощником Брежнева А. М. Александровым, зам. зав. Международным отделом ЦК В. В. Загладиным, П. Н. Федосеевым, референтом Брежнева Бовиным и др.). Л. И. Брежнев попросил составителей доклада ответить на рецензию Голикова и Трапезникова. Этот ответ был также весьма резок, составители обвинили Трапезникова и Голикова в напаках на генеральную линию партии. В итоге текст доклада остался в основе своей без изменений».

Пишет о борьбе внутри Политбюро ЦК КПСС и Александр Солженицын в книге «Бодался теленок с дубом». «Я могу только наощупь судить, — пишет он, — какой поворот готовился в нашей стране в августе — сентябре 1965 года. Когда-нибудь доживем мы до публичной истории, и расскажут нам точно, как это было. Но близко к уверенности можно сказать, что готовился крутой возврат к сталинизму во главе с 'железным Шуриком' Шелепиным. Говорят, предложил Шелепин: экономику и управление зажать по-сталински — в этом он, будто бы, спорил с Косыгиным, а что идеологию надо зажать, в этом они не расходились. Предлагал Шелепин поклониться Мао Цзэ-дуну, признать его правоту: не отсохнет голова, зато будет единство сил. Рассуждали сталинисты, что если не в возврате к Сталину смысл свержения Хрущева — то в чем же?..» Но в конце сентября 1965 года произошли, как пишет дальше А. Солженицын, «две не малых политических радости». «Одна была — поражение индонезийского переворота, вторая — поражение шелепинской затеи. Позорился тот Китай, которому Шелепин звал поклониться, и сам железный Шурик, начавший аппаратное наступление с августа, не сумел свергнуть никого из преемников Хрущева».

Не приходится удивляться, что Брежневу не спится по ночам. Все, о чем ему приходится думать днем, продолжает и ночью крутиться в его голове. Чехословакия... Бунты в Польше... Экономическая реформа... Железный Шурик... Александр Солженицын и Андрей Сахаров... Провалы в хозяйстве... Вот уже чуть ли не половина 1972 года прошла, приезжает в Москву Никсон... — ведь они-то, американцы, не дураки, они знают, что 1972-й год будет для СССР, кажется, хуже даже 1969-го года! Так оно и получилось. В 1973 году Брежневу ехать в Америку, а какие у него показатели на хозяйственном фронте? В промышленности рост валовой продукции в 1972 году еле-еле дотянул до 6,5%, а производство сельскохозяйственных продуктов даже понизилось на 5%. Весь вопрос, значит, только в том, как удержаться?

Брежнев со всех сторон окружил себя надежными подпорками. Всюду, куда ни посмотри, сидят его «корешки», или, как их назвал один американский журналист, — «Днепровская мафия».* В 1931 году Брежнев учился в Днепродзержинском ме-

* Джон Дорнберг, бывший корреспондент журнала «Ньюсуик» в Москве, автор книги о Брежневе, выпущенной в 1974 году в Нью-Йорке: John Dornberg, "Brezhnev. The Masks of Power". Basic Books, Inc., Publishers. New York, 1974. 317 pp.

таллургическом институте, и были у него там два «корешка» — Паша Алферов и Костя Грушевой. П. Н. Алферов при Брежневе стал членом Комитета партконтроля при ЦК КПСС, — он умер в 1971 году. Но Костя... Константин Степанович Грушевой и ныне в Москве — генерал-полковник, начальник Политуправления Московского военного округа, верная опора Брежнева в Советской армии! Георгий Енутин, преемник Брежнева на посту первого секретаря Запорожского обкома партии, ныне тоже в Москве, — член Комитета советского контроля при Совете министров СССР. Вениамин Дымшиц, заместитель председателя Госплана СССР, кажется, единственный еврей на столь высокой правительственной должности, быть может, только тем и держится, что Брежнев знает его еще по Запорожью. Ближайший помощник Брежнева в ЦК КПСС, Георгий Цуканов, вышел из того же Днепродзержинского металлургического института, что и Брежнев. В ЦК КПСС, как правило, избираются секретари трех городских комитетов партии — Москвы, Ленинграда, Киева. Но в составе ЦК, избранного на XXIV съезде, числится кандидатом в члены секретарь горкома из сравнительно небольшого провинциального города. Откуда же? Конечно, из Днепродзержинска! Некий И. Л. Фурс... Как уже сказано, Н. А. Щелоков, бывший председатель Днепропетровского горсовета, занимает пост министра внутренних дел СССР и имеет квартиру рядом с квартирой Брежнева. Другим соседом Брежнева является председатель КГБ Ю. А. Андропов. Правда, что он, хотя и друг Брежнева, не принадлежит к «Днепровской мафии», но он окружен «мафиозами»: заместитель председателя КГБ В. М. Чебриков — бывший первый секретарь Днепропетровского горкома партии; другой заместитель председателя КГБ, генерал-полковник Г. К. Цинев, — выпускник Днепропетровского металлургического института. К «Днепровской мафии», кажется, принадлежит и С. К. Цвигун, первый заместитель Ю. А. Андропова.

Брежнев сидит прочно в окружении «Днепровской мафии». После того, как провалились планы «железного Шурика», началось прославление Брежнева: в 1966 году, по случаю 60-летия, он получил вторую золотую звезду Героя Социалистического Труда; 31 декабря 1970 года он, как признанный «отец народа» и «глава государства», впервые поздравлял по радио и телевидению страну с Новым Годом. Но, пожалуй, высшей точки новый «культ личности» достиг в марте 1973 года, когда в зале заседаний ЦК КПСС, в присутствии всех «руководителей партии и правительства», состоялся как бы спиритический сеанс: Ленину вручали партбилет... В роли главного спирита выступал Брежнев:

на фотографии, опубликованной во всех московских газетах, было показано, как он сидел за столом и подписывал партбилет № 00000001, выписанный каллиграфом на имя В. И. Ленина. В «Правде» 2 марта 1973 года можно было прочитать такое: «Товарищу Ленину вручен партийный билет номер один. Вручен», потому что Владимир Ильич и сейчас, как всегда, с нами». На следующий день, 3 марта 1973 года, московские газеты не менее широковещательно оповестили мир, что в ЦК КПСС состоялось «вручение партийного билета товарищу Л. И. Брежневу». Какой же номер носит брежневский партбилет? № 00000002. Второй после Ленина! Недаром по Москве распространился анекдот, будто Брежнев сказал, что он не любит официальщину и просит называть его просто «Ильичем».

Вот уже четвертый десяток лет, как Брежнев находится в «номенклатуре». Не был он старым большевиком, как Сталин. Не участвовал в гражданской войне, как Хрущев. В нем нет никакого мессианизма. Ему чужды какие бы то ни были взлеты мысли! Ничего, кроме деловитости, направленной на то, чтобы удержать все «как оно есть». «В нынешнем руководстве КПСС, — пишет Рой Медведев в 'Книге о социалистической демократии' (написанной в ноябре 1970 — апреле 1971 года), — почти нет подлинных политиков, подлинных идеологов и теоретиков, нет даже хороших ораторов, способных без бумажки произвести интересную получасовую речь перед телезрителями, но зато есть множество кабинетных чиновников. . . . Во многих случаях способности тех или иных кандидатов на руководящую должность имеют меньшее значение, чем дружеские связи, знакомство, личная преданность или личная зависимость, родственные связи, чистота национального происхождения или просто какие-либо случайные обстоятельства и совпадения. . . . Среди самых высших руководителей нашей страны преобладает сегодня средний уровень интеллектуальных и иных способностей, а в ряде случаев этот уровень бывает ниже среднего. К тому же здесь преобладают люди пенсионного возраста».

Как бы то ни было, не кто иной, как Л. И. Брежнев, майским утром 1972 года, в качестве главы Советского Союза, ехал встречать Р. М. Никсона, главу Соединенных Штатов Америки. Как тому, так и другому нужна была «разрядка». В феврале того года Никсон побывал в Пекине, беседовал с Мао Цзэ-дуном, и это, разумеется, не могло не беспокоить «номенклатуру» в Москве, — ничего она так не боится, как каких-либо ослаблений в своем положении. В ноябре того же года Никсону предстояли выборы, и он надеялся, что его поездки в Пекин и в Москву помогут ему

одержать победу. В политической биографии Никсона можно найти немало параллелей с политической биографией Брежнева, и, пожалуй, как Брежнев, он не думал ни о чем другом, как о том, чтобы удержаться у власти. Победа на выборах — это единственное, о чем он мог думать в 1972 году, и в этом крылась причина его последующего поражения.

На счастье Америки, она обладает такой системой, которая обеспечивает бесперебойную передачу власти. После тяжелой трагедии 1972 года, правда, Вашингтон лихорадило в течение двух лет, но в открытом обществе болезнь не загоняется внутрь, гнойники вскрываются и раны залечиваются. Не произошло никакого кровопролития, — Никсон ушел в отставку и продолжает жить, в сущности, на почетном положении бывшего президента страны. На несчастье Советской России, у нее нет системы, которая обеспечивала бы бесперебойную передачу власти. Все, решительно все, кого Компартия выдвигала на посты генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров (народных комиссаров) СССР, впоследствии объявлялись «преступниками», «врагами народа», «бандитами», по меньшей мере, «антипартийными заговорщиками», «субъективистами», «волюнтаристами». Кто после Ленина занимал пост председателя Совета народных комиссаров (министров) СССР? А. И. Рыков, расстрелянный в 1938 году. В. М. Молотов, исключенный из партии в 1957 году. И. В. Сталин, попавший было в мавзолей, но вынесенный оттуда в 1961 году. Г. М. Маленков, высланный в 1957 году в Казахстан. Н. А. Булганин, зачисленный в пособники «антипартийной группы». Н. С. Хрущев, отрешенный от власти в 1964 году. Пост «генсека» до Брежнева занимали Сталин и Хрущев...

Брежневу в 1976 году исполняется 70 лет... Ведь он тоже не вечен, — где-то его похоронят? Есть ли у него гарантия, что с ним не случится то, что случилось со всеми его предшественниками? Какое наследство оставит он России?

1973

ТРЕТЬЯ ЭМИГРАЦИЯ

Августовским вечером 1973 года на Белорусском вокзале в Москве стоял поезд, на вагонах которого было написано «Брест», «Варшава», «Берлин», «Париж». В одном из вагонов сидел человек с окладистой, подстриженной лопатой бородой. Борода была уже с проседью, но голубые глаза глядели совсем молодо, — ему ровно через два месяца должно было исполниться 48 лет. Это был Андрей Синявский, которого 8 июня 1971 года, 15 месяцев до окончания срока, выпустили из мордовского лагеря; теперь ему дали визу на выезд во Францию. Вместе с ним уезжали в Париж его жена Мария Васильевна Розанова, сынишка Егор семи лет и собака Матильда.

Перед отъездом из Москвы Андрей Синявский побывал у Александра Солженицына — попрощаться (одновременно и познакомиться). Впоследствии автор книги «Бодался теленок с дубом» вспоминал, что его «тоской обдало» при этом прощании: «Все меньше остается людей, желающих потянуть наш русский жребий, куда б ни вытянул он». По мнению Солженицына, власти рассчитывали «на сброс пара посредством третьей эмиграции»: «В стране все меньше оставалось голосов, способных протестовать».

Но что оставалось делать Андрею Синявскому? Правда, ему по возвращении из лагеря, хотя и не сразу, но все же вскоре позволили жить в Москве, а его жена, сторонившаяся движения инакомыслящих, продолжала преподавать в институте. Однако постоянной работы у Андрея Синявского в Москве не было, он перебивался случайными литературными заработками и, разумеется, даже и помыслить не мог об издании книги «Голос из хора», составленной из писем жене, написанных за годы заключения. Рукопись этой книги он вез с собой за границу, а в его планах были еще и другие книги. Таким образом, стоял вопрос о существовании Андрея Синявского как писателя, и когда один из иностранных журналистов спросил его, — вечером 8 августа

1973 года, на Белорусском вокзале, — не больно ли ему покидать Россию, Синявский ответил, что «надо уметь жертвовать тем, что дорого, ради того, что еще дороже». Да, дорога русскому человеку родная земля, но душа еще дороже. К тому же, добавил Синявский, «мы всегда остаемся на одном месте... по отношению к Небу».

Ночью на 9 августа 1973 года поезд пересек границу у Бреста. Что ждало Андрея Синявского на Западе? Конечно, ему не приходилось особенно беспокоиться за свое будущее во Франции. Как известно, Франция с давних времен принимала к себе инакомыслов, политических изгнанников, видела в этом свое особое предназначение, — новый президент, Валери Жискар д'Эстэн, счел нужным сразу же сказать об этом всему миру. Что до Андрея Синявского, то он был уже хорошо известен во Франции. Не забудем, что именно в Париже, в журнале «Эспри», в феврале 1959 года была напечатана статья Андрея Синявского «Что такое социалистический реализм?» В феврале 1967 года журнал «Эспри», основанный Эмманюэлем Мунье, учеником Н. А. Бердяева, посвятил специальный номер «делу Синявского-Даниэля». В феврале 1966 года, в дни суда над писателями-инакомыслами, в их защиту выступил Луи Арагон, знаменитый поэт, член Центрального комитета Французской компартии; в газете «Юманите» он писал, что «приговор принесет больше вреда делу социализма, чем всё, что бы ни написали эти писатели». Журнал «Экспресс», широко распространенный парижский еженедельник, вышел 27 августа 1973 года с портретом Андрея Синявского на обложке. Под портретом подпись: «Андрей Синявский во Франции». И — строка из Овидия, древнеримского инакомысла, который, как сказано в «Краткой литературной энциклопедии», «не находясь в оппозиции к политическому режиму Августа, отвергал некоторые формы его идеологической политики, культивировал поэзию, не отвечавшую требованиям официальной пропаганды» (т. 5, Москва, 1968 г., стр. 378). В 8-м году после Р. Х. Овидий был сослан Августом в г. Томы (ныне порт Констанца в Румынии), но, как он сказал в строке, приведенной в журнале «Экспресс» при портрете Андрея Синявского, «дух не поддается изгнанию». Бывший старший научный сотрудник Института мировой литературы и преподаватель Московского университета, Андрей Синявский ехал в Париж по приглашению Парижского университета (Сорбонны), где ему предстояло читать курс русской поэзии.

Третья эмиграция... В середине 1960-х гг. в Москве, в Издательстве Академии наук СССР, вышла книга «Численность и

расселение народов мира». В ней, на странице 418-й, в таблице № 2, приведены данные о числе русских, украинцев, белорусов, находящихся за рубежом. По этим официальным данным, в шестидесятых годах за границей насчитывалось русских 1 243 000 человек, украинцев — 1 002 000 человек, белорусов — 127 000 человек. Если же сложить данные, относящиеся к 17-ти национальностям Советского Союза, то получается внушительная цифра — 12 289 000 человек! Конечно, не все эти двенадцать миллионов с лишним могут быть причислены к эмиграции. Многие жили за границей до Первой мировой войны, иные отошли к соседним государствам при перекройке территории. Подсчитано, однако, что 1 160 000 человек покинули пределы России во время революции и в годы между двумя мировыми войнами. Это — первая эмиграция.

История русской эмиграции еще не написана. Правда, есть ценные книги, в которых дан материал для истории: двухтомник П. Е. Ковалевского «Зарубежная Россия», книга Глеба Струве «Русская литература в изгнании», книга «За рубежом», коллективный труд семьи Зерновых, осуществленный под руководством Н. М. Зернова, профессора Оксфордского университета. Из этих книг, из многочисленных воспоминаний, из газет «Последние новости» и «Возрождение», выходящих до Второй мировой войны в Париже, из таких журналов, как «Современные записки», «Путь», «Новый град» и др., мы знаем, сколь оживленна и плодотворна была жизнь первой эмиграции. Не только в Париже, но и в Берлине, Праге, Белграде, Харбине и других центрах Русского Зарубежья...

В 1973 году, когда Андрей Синявский ехал в Париж, жизнь первой русской эмиграции уже подходила к концу. Иван Бунин, Алексей Ремизов, Дмитрий Мережковский, Марк Алданов, Иван Шмелев... — все эти писатели, жившие в Париже, уже были погребены во Франции. 28 января 1972 года в Париже скончался последний из них, Борис Константинович Зайцев, ровно полвека проживший за рубежом. Не было в живых и таких философов, как Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Семен Франк, Лев Шестов, Николай Лосский, Борис Вышеславцев, Иван Ильин. Кладбище Сент-Женевьев де Буа, под Парижем, стало как бы «пантеоном русской эмиграции». И — Белого движения, поскольку на многих надгробных плитах можно видеть полковые значки из эмали и обозначения — «корниловец», «дроздовец», «марковец», «алексеевец». В Сент-Женевьев де Буа, а также в Ганьи, в Монморанси и других местах под Парижем, да и на Ривьере, как, разумеется, и в других странах, например, при Толстовском фон-

де поблизости от Нью-Йорка, созданы дома для престарелых, где доживают свои дни представители первой эмиграции.

Что же? Была ли напрасной их жизнь в изгнании? Что они дали миру? И могли ли, очутившись за рубежом, что-то дать России?

В нашей хронике пооктябрьского лихолетья мы не раз говорили о парадоксах новейшей русской истории. К этим парадоксам относится и то, что высылка многих деятелей русской культуры в 1922 году способствовала не только расцвету русской религиозно-философской мысли, — расцвету, падающему как раз на двадцатые и тридцатые годы, — но еще и тому, что русская религиозная философия вышла на мировую арену, оказала большое влияние на развитие философии в разных странах мира.

В главе, посвященной 1930 году, мы исследовали пять причин, в силу которых опустился «железный занавес», отрезавший Россию от Европы. Между тем, первая русская эмиграция послужила как бы мостом от России к Европе. Тема моста — излюбленная тема русских писателей за рубежом. Вот, к примеру, Владимир Набоков, ныне прославленный на всех континентах мира. Он не только прозаик, но и поэт, и в стихотворении, написанном в 1942 г. в Америке, он говорит:

Далеко до лугов, где ребенком я плакал,
упустив аполлона, и дальше еще
до еловой аллеи с полосками мрака,
меж которыми полдень сквозил горячо.

Но воздушным мостом мое слово изогнуто
через мир, и чредой спицевидных теней
без конца по нему прохожу я инкогнито
в полыхающий сумрак отчизны моей.

Вот этот незримый воздушный мост между Россией и всем остальным внешним миром и перебросила русская эмиграция, — мост поэм и романов, в которых звучит тема России, мост философских размышлений о судьбах России и Европы, мост научно-технических открытий, в работе над которыми объединялись ученые России и других стран мира. Для осуществления этой, можно смело сказать, исторической миссии у первой эмиграции были не только крупные творческие силы, но и то исключительное положение, в котором русская эмиграция очутилась по воле истории. Г. П. Федотов, прославившийся за рубежом своими тру-

дами по истории Древней Руси, в частности киевского периода, писал в статье «Россия, Европа и мы»:

«Русская эмиграция судьбой и страданием своим поставлена на головокружительную высоту. С той горы, к которой прибило наш ковчег, нам открылись грандиозные перспективы: воистину 'все царства мира и слава их' — вернее, их позор. В мировой борьбе капитализма и коммунизма мы одни можем видеть оба склона — в Европу и Россию: действительность как она есть, без румян и прикрас».

Таким образом, у первой эмиграции было что сказать как Западу, так и России. И она выполнила задание, возложенное на нее историей. Это было оценено на той и другой стороне. В апреле 1951 года в очень влиятельном американском журнале «Форин афферс» появилась статья Джорджа Кеннана, дипломата и историка. Кеннан знает русский язык, много лет провел в России. В своей статье он пишет, что «огонек веры в человеческое достоинство» никогда не угасал в России, и что «тот, кто изучает многовековую историю борения русского духа, не может не склониться с восхищением перед русским народом, пронесшим этот огонек через все страдания и жертвы». «История русской культуры, — говорит дальше Кеннан, — свидетельствует о том, что эта борьба имеет значение, выходящее далеко за пределы коренной русской территории; она является частью, и притом исключительно важной частью, общего культурного прогресса человечества. Чтобы в этом убедиться, стоит только посмотреть на уроженцев России и людей русского происхождения, проживающих в нашей среде, — инженеров, ученых, писателей, художников».

Ну, а на другой стороне... — что там думают об эмиграции? В середине 1960-х гг. один иностранный профессор задался целью выяснить как раз этот вопрос: что в СССР знают о русской эмиграции и что о ней думают? Ему довелось присутствовать в Доме писателей в Москве на вечере С. В. Образцова, народного артиста СССР, актера и режиссера, только что вернувшегося из заграничной поездки. Проговорив около часа, С. В. Образцов попросил устроить перерыв и сказал, что после перерыва расскажет об эмигрантах. Но по какой-то причине, о которой можно только догадываться, после перерыва он принялся говорить о другом и даже показывать сделанные им фотоснимки-диапозитивы. Тогда публика закричала:

— Эмиг-ран-ты! Эмиг-ран-ты!

Поскольку публика не успокаивалась, С. В. Образцов сказал:

— Ну, хорошо... об эмигрантах. Начнем с того, что у нас существует несколько наивный взгляд на эмиграцию...

Это было в 1964 году. К тому времени Россия пробудилась от обморока, широко открытыми глазами осматривалась вокруг, искала знания и понимания, в чем ей помогали книги, журналы, газеты, русские радиопередачи из-за рубежа. Менялся, углублялся взгляд на эмиграцию. Как сказал один молодой московский литературовед иностранному профессору:

«Эмигранты спасли русскую культуру. Когда читаешь то, что они написали, вдали от родины и часто в трудных условиях существования, видно, что они сохранили лучшие традиции моральной порядочности и интеллектуальной честности, а также любовь к нашему языку — все то, что здесь совершенно раздавлено и что очень трудно сейчас восстановить. Они разоблачили преступления, совершенные против нашего народа, не ожидая официальной 'реабилитации', — у них было мужество говорить правду. Мы никогда не сможем в достаточной мере выразить им свою благодарность».

Вряд ли найдется в Русском Зарубежье и в самой России человек, который не разделял бы чувств Бориса Зайцева, который в конце 1954 года, обращаясь по радио к собравшемуся в Москве II съезду советских писателей, говорил:

«Я уехал из Москвы, где провел всю свою молодость, в июне 1922 года. Меня выпустили за границу для лечения после сыпного тифа. Уехал, собственно, не из-за болезни, а потому что в России писать и печататься для меня стало невозможно. И вот тридцать лет живу в Париже, как другие соотечественники мои по литературе. Сказать, что жизнь эмигрантская легка, было бы неверно. Однако за тридцать лет я ни разу не пожалел, что выехал. Это было необходимо и в судьбе свободного писателя — неизбежно. . . . Разлюбить Россию не могу, так же, как не могу разлюбить и мать. Да оба эти образа для меня и сливаются, оба во мне и уйти не могут. Живя вне Родины, я могу вольно писать о том, что люблю в ней — о своеобразном складе русской жизни, о русских людях, русских святых, монастырях, о замечательных писателях России».

И вот, 1945 год . . . Кончилась Вторая мировая война. Кое-как оживала Европа — оживал и Париж. Иван Бунин, прошедший военные годы на юге Франции, вернулся в Париж, — в зале Плейель был устроен его литературный вечер. Впоследствии в одной из своих статей, написанных в форме дневника и объединенных общим заглавием «Дни», Борис Зайцев так вспоминал этот вечер:

«В 1945 году на одном эмигрантском литературном вечере меня познакомили с капитаном Красной армии Коряковым, толь-

ко что попавшим в Париж. Я пригласил его к себе, он стал бывать у нас.

И мне, и моей жене, давним эмигрантам и уже парижским жителям, было более чем интересно узнать ближе человека из России — притом молодого, не нашего поколения.

Что там? Каковы люди? Как думают, чем живут?

Нам казалось, что это совсем иной, новый мир, далекий, может быть, и враждебный. Пойдем ли мы друг друга? Сговоримся ли?

Молодой офицер сразу же удивил нас — скромной манерой держаться, естественным тоном, жадной знаний и просвещения, интересом к литературе, искусству, Парижу — говорил он на том же классическом русском языке, что и мы (с легкой лишь примесью простонародных выражений и советских терминов). Даровитость, любознательность, жадность к жизни сразу почувствовались. Скоро выяснилось, что и сам он пишет. И к еще большему моему удивлению первое же, что он мне принес — человек из 'безбожной' страны — была статейка о художнике Нестерове. Мечтательно-задумчивыми произведениями этого Нестерова мы сами в юности увлекались, но... капитан Красной армии!»

Прежде всего, почему капитан Красной армии, которого Борис Зайцев вспоминал в своем дневнике, оказался в Париже? Ему в 1945 году было 34 года. Вырос он, значит, уже при советской власти. До войны учился в Московском институте философии, литературы, истории, во время войны командовал саперной ротой на Северо-Западном фронте, потом служил в редакции газеты «Сокол Родины» при Шестой воздушной армии — на Северо-Западном и Первом Белорусском фронтах, был награжден орденом Красной Звезды. Но случилось так, что 22 апреля 1945 года, в бою в районе Бауцена, под Дрезденом, на Первом Украинском фронте, он был захвачен в плен. Не был он ни «власовцем», ни «коллорабационистом», но понимал, что вернуться он на Родину — лагерей ему не избежать. Однако не только это заставляло его пробиваться на Запад, как и многие тысячи, сотни тысяч других, как он, людей разной судьбы, разного происхождения, разных профессий, разных убеждений, наконец, но объединившихся в одном порыве — удержаться на Западе, не возвращаться в Россию. Не возвращаться потому, что та Россия, в которой они выросли, в сущности, уже не была Россией. Русские люди, они не были в России у себя дома, — они были отчуждены от России. Крестьянин не возвращался на Родину потому, что не хотел возвращаться в колхоз; рабочий потому, что

не хотел идти в лагерь за двадцатиминутное опоздание на работу; ученый потому, что хотел работать без оглядки на какого-нибудь Трофима Лысенко; писатель потому, что у него в голове была книга, которую он не мог издать на родине... По многим и разным причинам оставались люди второй эмиграции на Западе, а вместе с тем у всех была еще одна причина: отчужденные от России, они искали Россию за ее географическими пределами.

Николай Иванович Ульянов, один из талантливых людей второй эмиграции, до войны преподававший историю в одном из высших учебных заведений Ленинграда, а после войны в Йельском университете в Америке, написал однажды статью «О главном», в которой лучше чем кто-либо выразил эту мысль:

«При нэпе мы еще не сомневались, что живем в России. Свихнулась, зашла в болото, но все же Русь. И литература какая-то была, и театр в полном расцвете, и Академия существовала. Ждали конца безумия, просветления, надеялись на разумную эволюцию. Все сдул леденящий ветер 'наступления социализма по всему фронту' и коллективизации. Тогда и зародилась впервые боязнь, что Россия может перестать быть Россией.

Взять хотя бы такой 'пустяк', как вакханалия переименований. В старину меняли названия лишь чужих завоеванных городов, имена же, данные отцами, дедами, всей тысячелетней историей своей страны, хранились и почитались. Теперь в России не существует ни одного священного национального имени, которое большевики постеснялись бы заменить другим. Чуть не половина старых губернских городов, вроде Нижнего Новгорода, Твери, Самары, Вятки, Царицына уже переименованы, а понадобится, так и Москву постигнет та же участь.

Да что Москва, раз уже сама Россия переименована!

Топонимика страны связана с народной душой, с народным сознанием в той же мере, как имя человека с личностью его носителя. Меняя имя, душу меняем. И добро бы хоть на хорошую. А то, ведь, ни один проспект не назовут именем Шекспира или Данте, ни одну улицу именем Шопена. Все проспекты отданы Марксу или Либкнехту, все улицы Марату или Кашену, все переулки — каким-то Сакко и Ванцетти. По какому праву отнимают у русского народа древнее имя города Ямбурга, заменяя его никому не известным именем эстонского коммуниста Кингисеппа? И не настоящим ли плевком в лицо было присвоение известным всей России Дворцовой и Лубянской площадям имен палачей народа — Урицкого и Дзержинского? А там пошли всякие Свердловски, Днепрпетровски, Куйбышевы, Кировы...

Стерпится — слюбится, таков смысл подлой работы. Забудут

Петербург, полюбят Ленинград; забудут Россию — полюбят СССР; 'советского' полюбят вместо 'русского'. Наша родина стала гигантским 'Островом доктора Моро', где путем вивисекции изменяют природу живых существ. Но операции доктора Моро преследовали цель превращения животных в людей. В СССР из людей делают, если не животных, то существ безличных, денационализированных. Из русских делают нерусских».

Вот это и была та общая причина, по которой тридцать лет назад, после великой победы, сотни и сотни тысяч русских людей решили не возвращаться на родину. Они не вернулись в Россию, чтобы остаться русскими! И не как какие-то отщепенцы, не как люди без роду, без племени, а именно как русские (или как украинцы, грузины, армяне, татары и т. д.) они за минувшие тридцать с лишним лет внесли и продолжают вносить свой вклад в то, что Джордж Кеннан назвал «общим культурным прогрессом человечества».

Надо ли называть имена? Ну, несколько... В 1941 году, когда началась война, в Киеве жил молодой человек, студент Медицинского института. Война оторвала его от родных мест, он остался за рубежом, и в 1947 году в Мюнхене, в лагере ди-пи (DP — Displaced Persons, «перемещенные лица»), выпустил первую книгу стихов. Теперь он — известный поэт Иван Елагин. Нью-Йоркский университет присудил ему ученую степень доктора, он состоит профессором в Питсбургском университете. А вот книги Сергея Максимова — «Денис Бушуев», «Тайга», «Голубое молчание»... Максимов был «ровесником Октября», родился в 1917 году на Волге, а в 1936 году, девятнадцатилетним юношей, попал в лагерь на Печору... — не возвращаться же ему было назад в лагерь! Его роман «Денис Бушуев» был выпущен не только Издательством имени Чехова в Нью-Йорке, но и переведен на английский, немецкий и другие языки. А ученые? Вот краткая справка о жизни ученого-гидролога Ивана Ивановича Чеботарева:

До войны, в 1930-х гг., И. И. Чеботарев работал на строительстве Маньчжского канала. Ему принадлежит первенство в изучении Маньчжской степи: он исследовал местность, описал разнообразные формы рельефа, установил, на какой глубине находится вода. В те годы И. И. Чеботарев был еще молод, — он родился в 1906 году. Он был любимым учеником выдающегося гидролога, академика Федора Саварежского. Но молодого ученого постоянно травлили: то за «чуждое социальное происхождение» (он был сыном казака станицы Мигулинской), то за отказ вступить в партию. Когда он приготовил к печати свой труд по исследова-

нию Маньчжурской степи, книга была прочитана в рукописи и одобрена учеными-гидрологами. Но она несколько лет пролежала в издательстве: имя И. И. Чеботарева было как бы в «черном списке». В 1940 году И. И. Чеботарев выдержал конкурс на профессуру в Магнитогорском горном институте, но Спецотдел института выступил против его назначения на кафедру гидрологии. После войны И. И. Чеботарев остался за рубежом, — ныне он известен как выдающийся гидролог в разных странах мира.

Если первая эмиграция перебрасывала незримый «воздушный мост» между Россией и Европой, спасая Россию — вечную, историческую Россию — от губительной изоляции и помогая миру, которому ведь тоже этой России недостает, то вторая эмиграция прорвала «железный занавес», чем и выполнила свою историческую задачу.

Политика «железного занавеса», как мы уже говорили, была, кроме всего прочего, направлена на создание и поддержание за рубежом превратных представлений о Советском Союзе. Утверждался миф, что в СССР будто бы создается, почти уже создано новое общество, в котором нет классов, нет несправедливости и неравенства, что там будто бы достигнуто единство правящей партии и народа, — миф этот тем более укрепился, когда народы со всех концов света смотрели на «полыхающий сумрак» России в дни боев под Москвой, Сталинградом, Курском. Вторая эмиграция разрушила миф «единства партии и народа», миф «нового общества» и показала, что если в Русской революции и была какая-то «правда», мечта о социальной справедливости, «свободе, равенстве и братстве», «вольном царстве святого труда», то эта правда давным-давно выродилась в ложь, прикрываемую «железным занавесом».

Не кто иной, как вторая эмиграция, развернула перед всем миром карту СССР, на которой, задолго до появления книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛаг», были показаны острова этого «архипелага». Карта лагерей, впрямь, была составлена и распространялась на заседаниях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. В конце сороковых — начале пятидесятых годов вторая эмиграция выступала на громких процессах в Париже — Виктора Кравченко и Давида Русса, судившихся с коммунистическим еженедельником «Леттр Франсэз»; процессы эти сыграли огромную роль в пробуждении мировой общественности, которая, пожалуй, впервые увидела вырождение правды в ложь, даже если допустить, что какая-то «правда» была в революции 1917 года.

Вторая эмиграция, таким образом, как и первая, имеет заслу-

ги перед всем миром, но прежде всего, разумеется, перед Россией. Наша первая мысль всегда о ней, о нашей Родине, и, свидетельствуя о вырождении правды в ложь, вторая эмиграция тем самым начала великое дело освобождения России от лжи. «Жить не по лжи!» — скажет впоследствии Александр Солженицын, и этот его призыв прогремит на весь мир лишь потому, что он раздастся изнутри России. Между тем, как раз этот призыв вот уже добрую четверть века составлял и составляет главное содержание всей деятельности второй эмиграции. Не забудем, что в основном силами второй эмиграции была создана в 1952 году радиостанция Свобода, вся задача которой в сущности в том и состоит, чтобы Россия «жила не по лжи».

«Вот уже добрую четверть века...» Если считать 1920 год началом первой эмиграции, то ровно через четверть века, в 1945 году, появилась вторая эмиграция, и точно так же, через четверть века, в 1970 году, возникла третья эмиграция из России.

Возникновение третьей эмиграции представляет один из величайших парадоксов послеоктябрьской истории. Парадокс этот в том, что еврейский элемент, в 1917 году игравший некоторую роль «фермента революции», ровно полвека спустя, в 1967 году, начал играть роль «фермента контрреволюции», — интернационалистической революции и националистической контрреволюции. Как раз в 1967 году, после Шестидневной войны государства Израиль с арабскими странами, в Самиздате распространилась статья Д. Асбеля, которую мы возьмем как пример, характеризующий новое направление ума у евреев в России. Д. Асбель — профессор, доктор технических наук, он написал 60 научных работ, главным образом, по теоретическим основам химической технологии. В самиздатской статье «Моему двоюродному правительству» он рассказывает, что «вырос в семье старых революционеров и гуманистов, которые глубоко верили, что пройдет одно-два поколения, и мы забудем, что мы евреи, забудем, что существуют какие-либо нации в нашей стране». В 1935 году Д. Асбель был арестован, пробыл в тюрьме и лагерях до 1951 года. Пока он был в заключении, его «космополитизм не проходил, а как это ни странно, укреплялся». По выходе из лагерей, однако, Д. Асбель почувствовал другой «философский настрой». И вот, обращаясь к «двоюродному правительству» с требованием разрешения на выезд в Израиль, Д. Асбель писал:

«Я прошел большую и нелегкую жизненную школу, и эта школа не убедила меня в том, что жизнь прекрасна на моей мате-чехе-родине. Однако я не собираюсь обсуждать политические проблемы и тем более критиковать правительство. Я просто хо-

чу обратить внимание на величайшее преступление века — космополитизм, нет, не преступление, на ошибку — это более страшно и фатально. Я хочу отмежеваться от моего бывшего космополитизма, раз и навсегда. Я хочу поставить точки над «i». Да, я стал националистом. Да, я считаю величайшей ошибкой и заблуждением увлечение интернационализмом и ассимиляцией, как бы это ни называлось. Я, как каждый гражданин вселенной, хочу жить на своей национальной родине, хочу работать на пользу своего народа, а следовательно, и на пользу всего человечества. Мне близка культура всех народов, общечеловеческая культура, однако я мечтаю внести свою посильную лепту только через мой народ, через мое государство Израиль».

«Нью-Йорк Таймс» 3 мая 1970 года напечатал беседу с другим ученым, книги которого можно найти в университетских библиотеках всего мира:

«Моя жена только наполовину еврейка, — рассказывал этот ученый. — Когда она брала паспорт, то сказала, что она украинка. Тогда это было обычным делом; сейчас, пожалуй, девушка показала бы иначе. Ну, так моя жена и жила, смутно и неопределенно чувствуя себя еврейкой, но ничего не предпринимая насчет паспорта. Но вот, пришел май 1967 года, когда мы все думали, что Израиль может быть уничтожен. В советской печати поднялась такая кампания против Израиля, что мы опасались новой волны антисемитизма. Наши опасения были преувеличены, но мы настолько боялись за судьбу Израиля, и чувствовали себя такими изолированными от него, что решили хоть как-то духовно связать себя с ним и с судьбой всего еврейского народа. Моя жена пошла тогда в милицию и попросила, чтобы ей в паспорте в графе 'национальность' поставили 'еврейка' вместо 'украинка'. Дежурный милиционер в паспортном отделе даже растерялся от такой просьбы».

Вот эти-то люди и дали толчок третьей эмиграции, высшая точка подъема которой приходится на 1973 год. В 1970 году из России выехало 1 200 человек; в 1971 году — огромный скачок, 15 000; в 1972 году эта цифра удвоилась — 30 000; 1973 год был рекордным — 35 000, почему мы и относим к этому году наши размышления о трех эмиграциях.

Не следует думать, что третья эмиграция состоит исключительно из евреев, но толчок, без сомнения, дали они, поскольку за ними, имеющими свое государство на Ближнем Востоке и пользующимися поддержкой мирового, в особенности же американского еврейства, признавалось право на выезд из Советского Союза. В американской, да и европейской печати то и дело по-

являлись статьи о том, что правительство СССР не хочет, или почему-то не может, подойти к еврейскому вопросу спокойно и разумно, — как только заходит разговор на эту тему, у советских руководителей вспыхивает раздражение, переходящее в гнев.

В Советском Союзе, однако, как знает читатель, независимо от «еврейского движения», существует «движение инакомыслящих», и правительство СССР пошло, по словам А. И. Солженицына, «на сброс пара посредством третьей эмиграции». Вот почему ОВИР начал выдавать выездные визы и не-евреям, как, например, тому же Андрею Синявскому.

Третья эмиграция... Конечно, сейчас еще трудно что-либо сказать об ее исторической миссии, как это можно сказать относительно первой и второй. Но уже и сейчас вырисовывается одна ее особенность, черта, которую можно отметить. В 1945 году, при появлении второй эмиграции, «старые» эмигранты увидели «новых людей» пооктябрьской России. Чем же «новые» отличались от «старых»? Как-то раз, давно, в 1894 году, А. С. Суворин спросил Чехова: «Что должен желать теперь русский человек?», и Чехов ответил в письме:

«Вот мой ответ — желать. Ему нужны прежде всего желания, темперамент. Надоело кислотство».

Пожалуй, самое резкое, что людям первой эмиграции бросилось в глаза при встрече с людьми второй эмиграции, это то, что у «новых» не было никакого «кислотства». Кое-кто из старых эмигрантов этим восхищался, утверждая, что русский человек «стал чем-то похож на американца», и что «эта его трезвость сулит большую крепость будущему российскому государству».* Иные, более тонкие и проницательные, при встрече с «эмигрантами новой формации» испытывали тревогу: «Почти ни у кого мы не замечаем тоски по свободе, радости дышать ею, — писал Г. П. Федотов в статье 'Россия и свобода'. — Большинство даже болезненно ощущает свободу западного мира как беспорядок, хаос, анархию». «Новый человек», по словам Г. П. Федотова, «очень крепок, физически и душевно, очень целен и прост, живет по указке и по заданию, не любит думать и сомневаться, ценит практический опыт и знания».

В том, что писал Г. П. Федотов, было немало правды. Его тревога, однако, рассеялась бы при встрече с «новейшими» людьми — людьми третьей эмиграции. Неизбывной оказалась «тоска по свободе», и если у людей второй эмиграции она, быть может, бы-

* Журнал «Народная правда», № 1, Париж, 1948 г.

ла подавлена голодом 1932—1933 годов, страхом ежовщины, необходимостью «выжить», что требовало прежде всего деловитости, крепости, простоты, то люди третьей эмиграции, не прошедшие ни через эти тяжкие испытания, ни через пафос строительства, индустриализации, люди выросшие после войны, когда, несмотря ни на что, «предвестие свободы носилось в воздухе», — эти люди не только охвачены «тоской по свободе», но нередко в условиях несвободы росли и жили свободными людьми. Не то, что русский человек «стал чем-то похож на американца», а вот эта внутренняя свобода, которою многие из «третьих эмигрантов» были движимы в России, эта одухотворенность, которую мы видим на лицах многих из них, позволяет верить в Россию и надеяться на ее лучшее будущее.

1974

МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И АДОМ

13 февраля 1974 года, в пять часов пополудни по московскому времени, на аэродроме во Франкфурте-на-Майне приземлился самолет специального назначения, прилетевший из Москвы. Из самолета вышел на трап один-единственный человек, — те семеро, что его сопровождали, а также врач, который был к нему приставлен, стюардесса и вся команда остались внутри, не вышли. Вдалеке, за запретной чертой, стояли широким полукругом сотни людей, и как только единственный пассажир появился на трапе, они начали аплодировать, приветственно махать руками, щелкать фотоаппаратами. Внизу у трапа стоял правительственный чиновник, — он, улыбаясь, представился по-русски пассажиру, прибывшему из Москвы:

— Петер Дингенс, представитель Министерства иностранных дел Федеративной республики.

Подошла женщина и поднесла московскому гостю цветок. Гостя посадили в полицейскую машину и со скоростью 120 километров в час повезли в деревню Лангенбройх, на ферму крупного немецкого писателя Генриха Бёлля. Так началась новая жизнь Александра Солженицына — жизнь в изгнании.

1974 год начался с того, что мир — миллионы людей во всех концах света — услышали два странных слова: «Архипелаг ГУЛаг». В крупнейших городах Западной Европы и Америки в витринах книжных магазинов появилась толстая книга, на серой обложке которой были изображены столбы, опутанные колючей проволокой, лагерники, сопровождаемые конвоем. «Архипелаг ГУЛаг»... Иностранные газеты печатали сообщения из Москвы, что один экземпляр рукописи этой книги был в августе 1973 года изъят гебистами у машинистки Елизаветы Вороницкой — после 120 часов допроса в КГБ. Вернувшись из КГБ домой, Вороницкая повесилась. «Со стесненным сердцем я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги, — писал Солженицын, — долг перед еще живыми превышал долг перед умер-

шими. Но теперь, когда госбезопасность все равно уже взяла эту книгу, мне ничего не остается, как немедленно опубликовать ее».

Первые месяцы 1974 года во всем мире и прежде всего, разумеется, в России, в центре внимания стояла эта книга Александра Солженицына. Иностранцы, знающие русский язык, прочитав ее в оригинале, спешили растолковать своим соотечественникам, что же это такое — «Архипелаг ГУЛаг». Так, Джордж Кеннан, американский дипломат, ученый-историк, бывший посол США в СССР, 21 марта 1974 года напечатал в одном нью-йоркском журнале статью «Между землей и адом», в которой говорил об огромном значении новой книги Александра Солженицына как для России, так и для всего мира. Доходили отклики и из России. «В русской и мировой литературе, — писал Рой Медведев, — я попросту не нахожу ничего, что могло бы сравниться с этой книгой Солженицына». Лидия Чуковская написала 8 февраля 1974 года заметку, распространившуюся в Самиздате: «Я полагаю, что выход в свет в 1973 году новой книги Солженицына 'Архипелаг ГУЛаг' — событие огромное. По неизмеримости последствий, его можно сопоставить только с событием 1953 года — смертью Сталина».

В «Правде» 14 января 1974 года появилась статья «Путь предательства», в которой Александра Солженицына объявляли «предателем», вдобавок «бездарным писателем», забывая о том, что десять лет назад, 30 января 1964 года, в той же «Правде» была напечатана хвалебная статья о Солженицыне, которого тогда выдвигали кандидатом на соискание Ленинской премии. На статью в «Правде» автор «Архипелага ГУЛаг» тогда же, в январе 1974 года, ответил заявлением, в котором сказал: «Линия, избранная органами нашей пропаганды, есть линия звериного страха перед разоблачением. Она показывает, как цепко держатся у нас за кровавое прошлое и хотят нераскрытым мешком тащить его за собою в будущее — лишь бы не произнести ни слова, — не то, что приговора, но морального осуждения ни одному из палачей, следователей и доносчиков».

В либеральной западногерманской газете «Ди Цайт» в конце января появилась статья в защиту Александра Солженицына. Ее написал Генрих Бёлль, председатель Международного ПЕН-клуба, лауреат Нобелевской премии. Выражая мнение международной общественности, он писал, что книга «Архипелаг ГУЛаг» должна быть напечатана в Советском Союзе. Но вот, мировую печать облетело сообщение из Москвы, что 8 февраля на адрес московской квартиры жены Солженицына, в которой писатель не был прописан, пришла повестка, вызывающая его в прокура-

туру. 11 февраля курьер из Прокуратуры СССР вручил Солженицыну вторую повестку — вызов на допрос. 12 февраля А. И. Солженицын был арестован. Это было главным событием того дня во всем мире: в Париже, в агентстве Франс-пресс было подсчитано, что на следующий день, 13 февраля, 70 проц. телеграмм, полученных агентством, касались Солженицына, 20 проц. — Вашингтонской конференции, где представители 13-ти государств обсуждали вопрос нефтяного кризиса, и 10 проц. касались всех остальных событий, происшедших в мире.

А. И. Солженицын был привезен в Лефортово и посажен в камеру вместе с двумя уголовниками. Утром 13 февраля ему прочитали Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении его советского гражданства и высылке за границу. В тот же день он специальным самолетом был вывезен в Западную Германию.

После краткой поездки в Норвегию, А. И. Солженицын обосновался в Швейцарии. Он не терял времени: 7 марта издательство Имка-пресс в Париже объявило, что вышло из печати его «Письмо вождям Советского Союза»; 21 марта в русской зарубежной печати появилась его статья «Жить не по лжи!», написанная еще в Москве, на случай ареста, как бы его завещание русскому народу; 13 июня было объявлено о выходе в свет второго тома «Архипелага ГУЛаг»; 17 июня он дал большое интервью американскому телекорреспонденту Уолтеру Кронкайту; в сентябре он опубликовал со своим предисловием книгу литературоведа Д* «Стремя 'Тихого Дона'»; в октябре выступил с письмом собору «Русской Зарубежной Церкви»; в ноябре на прессконференции в Цюрихе сообщил о выходе сборника «Из-под глыб». В воскресенье 1 декабря Александр Солженицын — бородатый, в голубой клетчатой суконной рубаше, какие носят канадские лесорубы, вышел из своей рабочей комнаты на втором этаже в скромном доме в окрестностях Цюриха, спустился вниз и, приветствуя иностранного журналиста, которого знал еще в Москве, сказал, что в тот день он, как и намечал по плану, закончил книгу «Март Семнадцатого», третью часть тетралогии «Революция», первую часть которой составляет «Август Четырнадцатого», появившийся в 1971 году. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала 4 декабря 1974 года, что издательства в разных странах мира не успевают за Солженицыным, — едва они успевают перевести на иностранный язык и выпустить в свет его книгу, как в Париже, в издательстве Имка-пресс, появляется на русском языке новое произведение Солженицына.

Не будет преувеличением сказать, что на протяжении всего

1974 года, как комета, стояло и светилось над нашей планетой имя Александра Солженицына. Этот год закончился нобелевскими торжествами в Стокгольме.

8 октября 1970 года, когда было объявлено о присуждении Нобелевской премии Александру Солженицыну, писатель находился на даче виолончелиста Мстислава Ростроповича, в 28 километрах от Москвы. Как раз Мстислав Ростропович первый сообщил Солженицыну о решении Шведской академии, а потом ему позвонил об этом по телефону один норвежский журналист из Москвы. Александр Солженицын ответил журналисту, что он «принимает премию» и «поскольку это будет зависеть» от него, поедет в Стокгольм, чтобы лично получить премию. «Я здоров, — добавил Солженицын, — путешествие не повредит моему здоровью». Но вот, в «Известиях» 10 октября 1970 года появилась заметка «Недостойная игра. — По поводу присуждения Солженицыну Нобелевской премии». 14 октября в кампанию вступили газеты «Советская Россия» и «Литературная газета»; 17 октября — «Комсомольская правда». Клеветническая кампания против Александра Солженицына, естественно, встревожила мировую общественность. Тогда же, в октябре 1970 года, лондонский «Таймс» напечатал письмо читателя из Ньюкасла, в котором говорилось:

«До сих пор было три случая, когда лауреаты, награжденные Нобелевской премией, не могли получить ее из-за препятствий, чинимых правительствами. В 1935 году это был Карл фон Осецкий, немецкий публицист, которого гитлеровское правительство держало в заключении в концлагере; в 1939 году — немецкий химик Герхард Домагк, которого нацисты вынудили отказаться от Нобелевской премии. В настоящий момент, когда я пишу это письмо, счет между гитлеровским и советским правительством остается 2 : 1. Неужели советское правительство, вынудившее Бориса Пастернака отказаться от Нобелевской премии, захочет сравняться счетом с гитлеровским правительством и не выпустит Александра Солженицына в Стокгольм для получения премии с тем, чтобы он мог потом снова вернуться на родину?»

Увы, счет сравнялся . . . 10 декабря 1970 года, когда шведский король Густав VI вручал золотые медали и дипломы семи нобелевским лауреатам — двум физикам, одному химику, трем деятелям медицины, одному ученому-экономисту, на сцене Концертного зала в Стокгольме стояло одно пустое кресло, — это было кресло Александра Солженицына. Как это принято, перед вручением золотой медали и диплома нобелевскому лауреату, кто-

либо из членов Шведской академии произносит речь о трудах и заслугах этого лауреата. Речь, посвященную Александру Солженицыну, произнес непреходящий секретарь Академии Карл Рагнар Гиров. Когда он выразил от имени Шведской академии сожаление, что «Александр Солженицын не смог быть с нами сегодня», король Густав VI, а за ним и весь зал, встал и устроил овацию в честь отсутствовавшего лауреата.

И вот, четыре года спустя, среди восьми лауреатов 1974 года, на сцене Концертного зала в Стокгольме находился и лауреат 1970 года, Александр Солженицын. И хотя Нобелевская премия по литературе в этом году была присуждена двум шведским писателям, в центре внимания находился А. И. Солженицын, — церемония в Стокгольме стала праздником русской литературы. Принимая медаль и диплом нобелевского лауреата, наш писатель сказал, что награждение его Нобелевской премией помогло ему не быть раздавленным, помогло сказать то, что иначе осталось бы несказанным, помогло его голосу быть услышанным там, куда не доходили голоса его предшественников.

Конечно, у «вождей Советского Союза», как говорит Александр Солженицын в книге «Бодался теленок с дубом», не было другого пути: «только такой — меня быстро-быстро убрать»; иначе «визгу не обобрались бы». Инакомыслов меньшей известности в 1974 году «убирали» в лагерь:

4—6 марта в г. Орле судили Виктора Хаустова. Это молодой рабочий-москвич, он родился в 1938 году. Его мать тоже кадровая производственная работница, отец погиб на фронте. В феврале 1967 года его судили в Москве за участие в демонстрации у памятника Пушкину (22.1.1967) в защиту арестованных А. Гинзбурга и Ю. Галанскова, под лозунгом «Требуем гласного суда». Тогда его приговорили к трем годам заключения, которые он и отбыл в лагере. Теперь его судили за распространение самиздатской литературы и передачу за границу тюремного дневника Эдуарда Кузнецова («Действия, которые являются вполне нормальным осуществлением информационного обмена», — писала в связи с этим «Хроника защиты прав в СССР»), — приговорили к четырем годам лишения свободы и последующей ссылке на два года.

12—14 мая в Орле же судили Габриэля Суперфина, литературоведа и переводчика, который в свое время редактировал воспоминания А. И. Микояна, а также помогал А. И. Солженицыну в сборе материала для романа «Август Четырнадцатого». Его обвинили в подготовке к печати тех же «Дневников» Эдуарда Кузнецова, а также в редактировании и распространении сам-

издатской «Хроники текущих событий». Приговорили к пяти годам заключения с последующей ссылкой на два года.

16—21 мая в г. Владимире судили Виктора Некипелова. По образованию он фармацевт, но в шестидесятых годах заочно окончил Литературный институт имени Горького, стал поэтом и переводчиком, — известен сборник его стихов «Между Марсом и Венерой». Главное обвинение — «распространял» (показал одному человеку) «Хронику текущих событий». Приговорили к двум годам заключения. Вместо последнего слова Некипелов прочитал стихотворение, в котором сказано, что он «никогда не называл несвободу — свободой».

15—22 мая в г. Архангельске судили Сергея Пирогова, экономиста, работавшего инженером в строительном управлении. У него при обыске нашли несколько номеров «Хроники текущих событий», другого самиздатского журнала — «Общественные проблемы», выпускавшегося Комитетом прав человека, а также экземпляр Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 г. на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций. Приговор — два года лишения свободы.

24 июля в Ленинграде был арестован молодой писатель Владимир Марамзин. 28 ноября в г. Александрове арестовали Владимира Осипова, бывшего редактора журнала «Вече». 27 декабря в Москве арестовали ученого-биолога Сергея Ковалева, члена Инициативной группы по защите прав человека. 9 января того же 1974 года была исключена из Союза писателей Лидия Чуковская, а 30 января — Владимир Войнович, автор повести «Жизнь и необыкновенные приключения Ивана Чонкина». В мае 1974 г. был отстранен от служения в Никольском храме на Преображенском кладбище в Москве священник Дмитрий Дудко за то, что он по окончании церковной службы беседовал с прихожанами и отвечал на их вопросы.

На многих известных инакомыслов давили так, что они были вынуждены подавать прошение о выезде из СССР. Десять дней спустя после высылки Александра Солженицына, 23 февраля 1974 года, в Париж прилетел из Москвы писатель Владимир Максимов, автор романов «Семь дней творения», «Карантин» и «Прощание из ниоткуда», распространившихся в Самиздате и опубликованных за рубежом. 25 июня из Москвы вылетел за границу поэт и драматург Александр Галич. В августе — писатель Виктор Некрасов. В 1974 году за границу выехали также знаменитый виолончелист Мстислав Ростропович и его жена, певица Галина Вишневская. Надо добавить, что еще раньше оставили Россию поэт Иосиф Бродский (в июне 1972 г.), писатель

Андрей Синявский (в августе 1973 г.), поэт Наум Коржавин (в октябре 1973 г.). 18 марта 1974 года из Москвы прилетел в Вену Павел Литвинов, внук бывшего народного комиссара по иностранным делам СССР Максима Литвинова, один из наиболее активных участников движения за права человека в Советском Союзе. К тому времени за рубежом уже находились два известных инакомысла, Жорес Медведев и Валерий Чалидзе, которые выехали по временной визе, но вскоре были лишены советского гражданства. Что касается академика А. Д. Сахарова, то он в конце 1973 года предпринял шаги для получения выездной визы, — Принстонский университет, один из старейших университетов Америки, пригласил его прочитать курс лекций. Визы Сахарову не дали, — наоборот, его предупредили, что если он поедет за границу, его лишат советского гражданства.

Кроме А. Д. Сахарова, в России есть еще другой крупный ученый-инакомысл — Игорь Ростиславович Шафаревич. Он родился в 1923 году — математик, специалист по алгебре, член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Ленинской премии. Шафаревич напечатал в сборнике «Из-под глыб» три своих статьи — «Социализм», «Обособление или сближение» и «Есть ли у России будущее?» В ноябре 1974 года, на пресс-конференции, устроенной им в Москве по случаю выхода в Самиздате сборника «Из-под глыб», Шафаревич затронул и вопрос об эмиграции:

«Каждый человек, — сказал он, — должен, конечно, иметь возможность покинуть свою страну, которую он не считает своим отечеством — сама страна заинтересована в том, чтобы не удерживать тех своих граждан, которые не связывают свою судьбу с ее судьбой». Но . . . «ни для какой страны не может быть столь центральным вопрос — как из нее уехать. Основной вопрос — это как в ней жить. . . Изгнание Солженицына несомненно было тяжелым ударом по русской культуре. Но ведь его арестовали, посадили на самолет и вывезли за границу. А ни с кем другим ничего подобного не произошло. И поэт, писавший стихи о том, что он никогда не уедет, и мыслитель, создавший эссе о том, почему уезжать не надо — все они уехали добровольно. И если теперь одни говорят, что их выслали, другие — что почти выслали, третьи возмущаются тем, что их лишили гражданства, то, значит, и первые, и вторые, и третьи сами чувствуют, что поступили не так, как были должны. Добровольно уехавшие деятели русской культуры просто не выдержали давления, которое десятилетиями выдерживали, например, миллионы верующих. Иными словами, у них не оказалось достаточных духовных ценностей, которые могли бы перевесить угрозу испыта-

ний — конечно, тяжелых, но вполне доступных человеческим силам, как показали многочисленные примеры».

20 января 1975 года Юлий Даниэль, девять лет назад сидевший на скамье подсудимых вместе с Андреем Синявским, но не выехавший за границу, а остающийся в Москве, написал резкий ответ И. Р. Шафаревичу в виде письма в парижскую газету «Монд». «Может быть, — пишет Юлий Даниэль о Шафаревиче, — может быть, он не знает, что не всегда культура живет по тем временным законам, по которым живут политические режимы? Что в отдельные периоды национальная культура продолжается за пределами государства? Что отнюдь не каждый художник может творить в условиях, когда он, по определению Шафаревича, должен 'переносить угрозу испытаний'? Что разлученный со своей страной художник может работать на будущее, в будущем его творчество вернется на родину? На нашей памяти такое случилось с Буниным, сейчас у нас издают его произведения, созданные в эмиграции. Вернулись на родину философские труды Бердяева — его еще не издают, но читают. Вернулась музыка Рахманинова, оставшегося — кто будет с этим спорить? — русским композитором. Полагать, как это делает Шафаревич, что человек культуры, творящий вне пределов Родины, не представляет ценности для культуры родной страны (да и для мировой культуры) — невежественно. Это значит забыть громадный исторический опыт культурной эмиграции хотя бы только 20-го века. Это значит грабить человечество, вычеркивая из культуры творчество Томаса Манна, Ярослава Мрожека, Марка Шагала. Специфику сложного процесса формирования культуры И. Р. Шафаревич, как математик, может и не знать. Но я не могу допустить мысли, что он ничего не знает о судьбе и творчестве Герцена, Цветаевой, Замятина, Шопена, Мицкевича. Умышленно, а не случайно, забывает Шафаревич их имена, сокрушающие его концепцию. . . . Мы, остающиеся, не можем отделить уехавших от себя. Мы их благословляли на крестный путь, мы связаны с ними дружбой, сочувствием, единомыслием. Мы вскормлены одной культурой. Люди, покидающие страну, будут жить за нас ТАМ, мы будем жить за них ЗДЕСЬ».

Полемика разгорелась . . . В марте 1975 года в «Монде» появилось письмо Мстислава Ростроповича, в котором прославленный музыкант приводит слова Шафаревича «Уехали . . . добровольно» и спрашивает: «Что значит добровольно? Я хочу сейчас говорить не о форме выезда, а о том, что привело к тому, что два русских артиста вынуждены были обратиться к правительству с просьбой о выезде за границу всей семьей на длительный срок. Мне

бы хотелось получить ответ от И. Р. Шафаревича: а как Вы себе представляете мою творческую жизнь на Родине, если как художник я был лишен возможности самовыражения?» В парижской же газете «Русская мысль» 13 марта выступил с большой статьей «Об эмиграции» проф. Владимир Вейдле, давний русский эмигрант, проживший полвека за пределами России. На упрек Шафаревича, что «добровольно уехавшие деятели русской культуры просто не выдержали давления, которое десятилетиями выдерживали, например, миллионы верующих», В. В. Вейдле отвечает: «Веровать можно молча; молчать в прозе и стихах трудней».

Полемика об эмиграции была не единственной полемикой, возникшей в 1974 году. Не менее острой и, пожалуй, еще более важной для будущего России была полемика по поводу «Письма вождям Советского Союза» Александра Солженицына. Начал ее академик А. Д. Сахаров, который в апреле опубликовал за рубежом большую статью о «Письме вождям». «Я считаю очень важным, — писал А. Д. Сахаров, — чтобы выступление обладающего таким неоспоримым авторитетом автора, несомненно тщательно им продуманное и отражающее существенную часть его взглядов по принципиальным общественным вопросам, подверглось серьезно обсуждению, в особенности со стороны представителей независимой общественной мысли нашей страны».

В чем академик Сахаров расходится с автором «Письма вождям Советского Союза»? Главное расхождение, пожалуй, в том, что А. Д. Сахаров — убежденный западник, сторонник научного, рационалистического подхода ко всем явлениям, как природным, так и общественным. «Мне, — пишет он, — далека точка зрения Солженицына на роль марксизма как якобы 'западного' и антирелигиозного учения, которое исказило здоровую русскую линию развития. Для меня вообще само разделение идей на западные и русские непонятно. По-моему, при научном, рационалистическом подходе к общественным и природным явлениям существует только разделение идей и концепций на верные и ошибочные. . . . Особенно неточным представляется мне изложение в письме Солженицына проблемы прогресса. . . . Солженицын пишет, что, может быть, наша страна не созрела до демократического строя, и что авторитарный строй в условиях законности и православия был бы не так уж плох, раз Россия сохраняла при этом строе свое национальное здоровье вплоть до XX века. Эти высказывания Солженицына чужды мне. Я считаю единственным благоприятным для любой страны демократический путь развития».

В мае 1974 года в Москве откликнулся на «Письмо вождям»

Рой Медведев, который в статье «Что нас ждет впереди?» пишет, что «письмо — пусть и в крайне искаженной форме — отражает многие реальные и острые проблемы нашего общества и государства». Рой Медведев согласен с А. Д. Сахаровым, который, по его мнению, «справедливо критиковал национализм и изоляционизм Солженицына». В отличие от А. Д. Сахарова, демократа и западника, Рой Медведев выступает как марксист, большевик-ленинец.

Другую, совершенно противоположную, точку зрения отстаивает Владимир Осипов, который в апреле 1974 года написал статью «Пять возражений Сахарову». «А. И. Солженицын, — пишет бывший редактор журнала 'Вече', — предложил советским руководителям последовательную, логически обоснованную программу неотложных мер к спасению родины. Отказ от марксизма, освоение Сибири, ограничение индустрии, возрождение крестьянства, отказ от спаивания, здоровый изоляционизм — вообще крутой поворот от задач внешних и надуманных к задачам внутренним и реальным. Ясная и трезвая оценка ситуации, умение одновременно видеть лес и дерево, ударение на самом существенном и больном, точность формулировок делают 'Письмо вождем' настоящим манифестом века. Тем более странно, что известный гуманист и поборник демократизации академик А. Д. Сахаров встретил предложения Солженицына в штыки». Если Рой Медведев выступает как марксист, Владимир Осипов выступает как неославянофил, и одно из его возражений относится к словам А. Д. Сахарова о том, что «дух славянофильства на протяжении столетий представлял собою страшное зло». «Но этим духом, — пишет Владимир Осипов, — мы сбросили татаро-монгольское иго, сохранили Отечество во времена Смуты, создали богатую и самобытную культуру. Хомяков и Киреевский — отцы славянофильства как четко очерченной идеологии — для своего времени были не меньшими либералами, чем Григоренко и Сахаров сегодня. Вместе с тем, ни один славянофил не принес России столько бедствий, сколько принесли ей западник Петр Первый или западники-марксисты. И все же не будем утверждать, что западничество — абсолютное зло. Западничество, конечно, не в его марксистском варианте, было полезно и благотельно, но лишь там, где это касалось техники, промышленности, отдельных правовых институтов. Однако западничество как русофобия, как отрицание национальной правды есть насилие и самодурство. Славянофил Данилевский провозгласил сочетание национальной и либеральной политики. Приходится сожалеть, что как среди националистов, так и среди демократов проявляется

взаимная нетерпимость. Солженицын представляет собой тот истинный образец патриота, в котором национализм и либерализм органически слиты превозмогающей все болью за родину».

М. С. Агурский, ученый-кибернетик, написал в июне 1974 года статью «Международное значение 'Письма вождям' А. Солженицына», тоже распространившуюся в Самиздате. Его подход совершенно иной, чем у А. Д. Сахарова, Р. А. Медведева и В. Н. Осипова, — он сравнивает развитие русской национальной идеи с развитием еврейской национальной идеи и, хотя иначе, чем В. Н. Осипов, становится на сторону автора «Письма вождям». Если сионизм, по мнению Агурского, «оказался не реакционной утопией, а единственно правильным выходом из создавшегося положения», то не являются «реакционной утопией» и идеи, выдвинутые в «Письме вождям Советского Союза». Возражая Рюю Медведеву, Агурский пишет, что «требуя от властей отказа от тоталитарной марксистской идеологии, Солженицын совершенно прав, ибо именно обветшалый марксизм превратился ныне в подлинный тормоз всякого истинного прогресса не только в СССР, но и во всем мире». Возражая А. Д. Сахарову, Агурский упрекает его в том, что он «повторяет некоторые существенные заблуждения дореволюционной русской либеральной интеллигенции, полагавшей, что простое провозглашение демократии приведет Россию в состояние благополучия и свобод. Но вместо этого либеральная демократия, сменившая самодержавие в феврале 1917 года, ввергла страну в кровавый хаос, который она не смогла контролировать. Этот недолго просуществовавший либерально-демократический режим породил тоталитарный строй, господствующий и поныне. То же, что предлагает Солженицын, является результатом критического анализа истории России, и хотя его письмо содержит ряд спорных положений, выдвигаемые в нем предложения прагматичны и конструктивны».

1975

РАЗРЯДКА... МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ

Вечером 10 декабря 1975 года на улицах Осло, столицы Норвегии, царило радостное предрождественское оживление. Мелькали огни украшенных елок, бойко торговали магазины... Перед ярко освещенным зданием университета останавливались длинные, черные, сверкающие зеркальным стеклом машины, — на морозном ветерке трепетали флажки иностранных государств. В этот вечер, в актовом зале университета, вручалась новому лауреату Нобелевская премия мира. На торжестве присутствовал почти весь дипломатический корпус. «Почти...» — кроме послов СССР, КНР и других стран «социалистического лагеря». Лауреатом Нобелевской премии мира в 1975 году был академик А. Д. Сахаров...

В 1897 году, когда выдвигались первые кандидаты на Нобелевскую премию мира, то прежде всего было названо имя Льва Толстого. Л. Н. Толстой, писавший тогда такие статьи, как «Гонение на христиан в России в 1895 году», и печатавший их за границей, в изданиях лондонского «Фонда Вольной Русской Прессы», отказался от премии, предложив выдать ее «кавказским духоборам». «Никто в наше время не послужил и не продолжает служить делу мира действительно и сильнее этих людей», — писал Толстой в письме в редакцию газеты «Стокгольм тагблатт» 4 октября 1897 года. Ввиду отказа Толстого, Премия мира в 1897 году не была присуждена никому. И вот, в 1975 году Нобелевская премия мира, 75-я по счету, была впервые присуждена русскому — большому ученому, который, подобно Толстому, прославился как борец за права человека.

В актовом зале университета оркестр играл «Марш храбрости», когда в зал вошел король Олаф. Председательница Нобелевского комитета г-жа Аазе Лиознс (бывшая председательница Норвежского парламента) напомнила в своей речи, что в числе предшественников Андрея Сахарова, лауреатов Премии мира, были Карл фон Осецкий, Мартин Лютер Кинг, Альберт Швей-

цер. Напомнив, что к своим «Размышлениям о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» акад. Сахаров поставил эпиграф из Гете:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой,

председательница Нобелевского комитета добавила, что «Андрей Дмитриевич Сахаров истинно выполнил завет Гете». Вслед затем на эстраду поднялась Елена Георгиевна Боннэр-Сахарова, жена академика, которой в конце августа позволили выехать на лечение в Италию, — потому она и смогла присутствовать на торжестве в Норвегии; что до самого лауреата, то ему не только не дали выездной визы, но и травили в московских газетах как «антисоветчика». Е. Г. Сахарова, приняв диплом и медаль лауреата Нобелевской премии мира, сказала:

«Я нахожусь здесь потому, что по странностям страны, гражданам которой являемся мой муж и я, его присутствие на Нобелевской церемонии оказалось невозможным. Сегодня он не здесь, а в Вильнюсе, столице Литвы, где идет суд над ученым-биологом Сергеем Ковалевым, а Сахаров — по тем же странностям нашего государства, которые не позволили ему быть в Осло, — находится не в суде, а около суда, второй день на улице, на холоде, ожидая приговора своему ближайшему другу».

Несколько позже, на традиционном банкете в честь Нобелевского лауреата, на котором среди гостей — членов норвежского парламента, представителей дипломатического корпуса — находились также писатели Владимир Максимов, Александр Галич, Виктор Некрасов, жена отсутствовавшего лауреата, бывшая фронтовичка, трижды раненная, сказала шутливо, однако же, не без горечи:

«На русских бабах когда-то пахали, потом баб на войну посылали, но впервые — это может стать прецедентом — баба за своего мужика получает награду».

Между тем, «мужик», академик А. Д. Сахаров, трижды Герой социалистического труда, стоял на декабрьской стуже у здания суда в Вильнюсе . . . Процесс по «делу Сергея Ковалева» начался 9 декабря 1975 года, т. е. накануне церемонии в Осло. Кто такой Сергей Ковалев? За что его судили? И почему его, арестованного в Москве, судили в Вильнюсе?

Ковалев был арестован 27 декабря 1974 года. В январе 1975 года в Самиздате распространился «Очерк о научной деятельности С. А. Ковалева». «Ковалев, — сказано в очерке, — глубоко и

широко эрудированный биолог, крупный специалист в области физиологии возбудимых тканей. Сфера его исследований — сердечная или миокардиальная ткань, нервная клетка, нервно-мышечный синдром, а также невозбудимые ткани: печень, слюнная железа, культуры тканей. Ковалевым в 1959—1965 гг. выполнены фундаментальные работы в области электрофизиологии миокардиальной ткани. Он одним из первых понял роль трехмерной, разветвленной синцитиальной структуры, которую организуют миокардиальные клетки, в определении ряда важнейших специфических свойств сердца». К очерку был приложен длинный список работ С. А. Ковалева, опубликованных в «Докладах Академии наук СССР», в научных сборниках и научных журналах.

Как и академик А. Д. Сахаров, как член-корреспондент Академии наук СССР И. Р. Шафаревич, Сергей Адамович Ковалев осознал особую ответственность ученых за состояние современного мира, — будучи ученым-биологом, он вместе с тем стал и общественно-политическим деятелем. 16 января 1975 года в зарубежной русской печати появилось письмо акад. А. Д. Сахарова:

«Арестован ученый, кандидат биологических наук Сергей Ковалев, мой близкий друг, человек удивительной душевной красоты и силы, беспредельного альтруизма. Еще недавно мы обсуждали с ним Новогоднее обращение об амнистии политзаключенных. Сегодня он уже сам по ту сторону черты. Формальная причина ареста — обвинение, относящееся к изданию в Литве 'Хроники Литовской Католической Церкви'. Это, как я считаю, удобный для властей предлог вести следствие и суд вдали от друзей и гласности.

Жизнь Ковалева, умного и талантливого человека, уже много лет посвящена защите прав людей, борьбе за гласность, против беззакония. Он — член Инициативной группы по защите прав человека с самого начала ее деятельности, член советской группы 'Международная амнистия', соавтор и автор основных документов, определивших пути борьбы за права человека в нашей стране. . . . Ковалев вместе с Татьяной Великановой и Татьяной Ходорович объявил (в конце 1974 года) о возобновлении издания 'Хроники текущих событий' и о своей ответственности за ее распространение. Это был смелый исторический шаг, но одновременно это был и вызов тем, кто объявил 'Хронику' клеветнической и антисоветской, кто боится правды и гласности.

. . . Я обращаюсь в Международную лигу прав человека. Я обращаюсь ко всем людям, которым дороги доброта, честность, ин-

теллектуальная свобода. Я призываю начать международную кампанию за освобождение Сергея Ковалева».

На протяжении 1975 года было несколько таких международных кампаний в помощь тем, кто в Советском Союзе борется за права человека. Например, в психотюрьме близ г. Днепропетровска сидел математик Леонид Плющ, прежде работавший в Кибернетическом институте Украинской академии наук. В 1968 г. Плющ написал письмо в «Комсомольскую правду» в защиту инакомыслов Александра Гинзбурга и Юрия Галанскова, — за это его сразу же уволили из института. В 1972 году его арестовали и, после года одиночного заключения, судили за распространение «Хроники текущих событий» и других самиздатских материалов. Ученые-математики всего мира выступили на защиту своего собрата. 23 апреля 1975 года, совместными усилиями Международного комитета математиков, Лиги защиты прав человека и организации «Международная амнистия», был проведен «Международный день Плюща». 23 октября 1975 года в Париже был организован митинг в защиту Леонида Плюща. На митинге присутствовало 4 000 человек, и на следующий день даже в «Юманите» появилась заметка, что «если Плющ действительно посажен за политическую оппозицию советской власти, то французские коммунисты будут требовать его освобождения».*

Естественно, что люди во всех странах мира, думая о Советском Союзе, не могут не задаваться вопросом: что же это за страна? В 1974 году одного Нобелевского лауреата выслали за границу без суда, «по Указу», а в 1975 году другому Нобелевскому лауреату не позволили выехать за границу для получения Премии мира... — кто же и как в этой стране издает «Указы»?

Бросим же взгляд на «эту страну», какой она была в 1975 году. «1975 год — год особый, — писала 22 января 'Литературная газета'. — Это год, в котором финиширует девятая пятилетка». К тому же, «это год 30-летия Победы над немецким фашизмом». Наконец, это год, предшествующий XXV съезду КПСС. Каким же был этот «особый» год? И еще: в предыдущем 1974 году, начиная с № 1 журнала «Коммунист» и № 2 журнала «Вопросы философии», партийная пропаганда трубила о том, что в Совет-

* Кампания в защиту Леонида Плюща увенчалась успехом: 9 января 1976 года Плющ был освобожден из Днепропетровской «психиатрической больницы особого типа». В сопровождении двух гебистов, он в тот же день прибыл в пограничный район Чопа. Там ему дали на час свидание с матерью и сестрой. На следующий день, 10 января, Леонид Плющ с женой и двумя детьми прибыл в Вену, а 11 января — в Париж.

ском Союзе сложился «социалистический образ жизни», — каким же он был в 1975 году?

Начать с того, что к 1975 году население СССР достигло 253 261 000 человек, и над этой огромной страной в 1975 году навис призрак голода. При плане в 215,7 миллиона тонн, урожай зерновых достиг лишь 137,2 миллиона тонн, т. е. на добрую треть меньше, чем предполагалось. Недород оказался даже более тяжелым, чем в неурожайном 1967 году, когда было собрано 147,9 миллиона тонн зерна. У советских статистиков и экономистов принято брать 1913 год, который не был хорошим годом, как отправную точку для показа «достижений» послеоктябрьского полувека, но если считать на голову населения, то 1975 год никуда не ушел от 1913 года.

Засуха? Да, она затронула Поволжье, Казахстан и другие южные и юго-восточные районы страны. В июле 1975 года «Комсомольская правда» сообщала, что в Краснодарском крае «сорокаградусная жара, прокаленный ветер в какие-то три дня поставили под реальную угрозу весь выращенный урожай. . . Буквально на глазах 'стекает' могучий колос. Ежесекундно убывает, как вода сквозь песок, хлеб». Но только ли засуха виновата? В той же «Комсомольской правде» заслуженный агроном РСФСР Калининко писал 12 октября 1975 года:

«С минимальными потерями выходит тот, кто противопоставит плохой погоде высокую агротехнику. Хлебное поле строгое. Особенно в зонах рискованного земледелия и недостаточного увлажнения. К сожалению, кое-кто старается добиться успеха лишь увеличением посевов зерновых, расширять озимый клин за счет паров и многолетних трав, годами сеет пшеницу по пшенице. Вот и работают без загляда в завтрашний день, штурмуют план расширением зернового клина, истощают почву. И — терпят неудачу! Вину сваливают на погоду».

Поля, — говорит агроном, — выгорают у тех хозяев, «которые чувствуют себя на земле временщиками, сеют и жнут в угоду сводке, пренебрегают советом ученых и опытных коллег». Колхозы и совхозы, к тому же, не были готовы к ранней жатве, не смогли убрать зерновые в кратчайшие сроки. Почему? Да потому, что для этого необходима большая мобильность парка уборочных машин, транспорта, чего нет при существующей бюрократической системе руководства. Низкий урожай объясняется еще и запущенностью полей, отсутствием лесозаградительных полос, нашествием грызунов. Но, опять-таки, кто виноват в этом «нашествии»? «То здесь, то там, — говорит агроном, — затягивают уборку хлеба, подъем зяби, не убирают старую солому, не

чистят лесополосы. И вот результат — расплодились грызуны. Вроде и посев хороший, а хлеба нет».

10 декабря 1975 года в газете «Нью-Йорк Таймс» была напечатана корреспонденция из Москвы, в которой приведены слова одного советского ученого-агронома: «Слабая структура нашего сельского хозяйства делает его особенно уязвимым для погоды. Когда здоровый человек подхватит грипп — это беда небольшая, а не дай Бог простудиться больному человеку!» Московский корреспондент «Нью-Йорк Таймса» Кристофор Рен, автор этой корреспонденции, замечает, что в сельском хозяйстве СССР занято 25 процентов рабочей силы страны, тогда как в США — только 4 процента, и тем не менее в 1975 году возник вопрос, в состоянии ли Советский Союз прокормить свое население.

Увы, не в состоянии... До революции Россия была «житницей Европы». Даже и при Сталине вывозили хлеб, как, например, один миллион тонн пшеницы в Германию в 1940 году, — вывозили, хотя свое население сидело на голодном пайке. При Сталине существовала организация «Экспортхлеб», — существует она и сейчас, даже под тем же названием, давно уже высмеянным в международной печати. Высмеянным потому, что «Экспортхлеб» не экспортирует, а закупает хлеб — в США, в Канаде и других странах, даже в Бразилии (кукурузу). В 1964—66 гг. СССР закупил 21,4 миллиона тонн зерна, в 1972—73 гг. — 39,4 миллиона... В июле 1975 года на хлебных биржах в Чикаго и Канзас-сити снова пронеслось: «Русские покупают! Русские покупают!»

В завершающем году девятой пятилетки, однако, выявилась слабость структуры не только сельского хозяйства, но и всей экономики Советского Союза. В декабре 1975 года в Москве состоялась сессия Верховного Совета СССР, на которой председатель Госплана Н. К. Байбаков выступил с докладом о государственном плане развития народного хозяйства на 1976 год, первый год десятой пятилетки. В начале доклада Байбаков, как водится, повторил стереотипные фразы о «преимуществах социалистической экономики и наших успехах в хозяйственном строительстве», а вслед затем нарисовал мрачную картину состояния советской экономики. Еще в 1972 году резко замедлились темпы роста, — в тот год, по отношению к предыдущему году, национальный доход увеличился на 4 процента. Правда, в 1973 и 1974 годах показатели были несколько выше, но в 1975 году прирост национального дохода, опять-таки, понизился до 4 процентов. Вот он, «особый» год, завершающий год девятой пятилетки!

«Мы имели бы лучшие результаты, — сказал Байбаков, —

если бы не встретились с трудностями и недостатками в работе министерств, ведомств, объединений, предприятий, строек, колхозов и совхозов». Десять лет назад, в 1965 году, как раз для преодоления этих «трудностей и недостатков», была принята экономическая реформа, но в 1975 году она была официально «похоронена». В апреле 1975 года «Экономическая газета» опубликовала постановление Межведомственной комиссии при Госплане СССР, согласно которому «министерства и ведомства СССР и союзных республик могут утверждать предприятиям... задания по снижению себестоимости продукции вместо заданий по рентабельности». Рентабельность! Рентабельность! — таков был боевой клич реформы 1965 года. Именно использование показателя рентабельности, как одного из основных критериев при оценке деятельности предприятия, должно было в какой-то мере раскрепостить экономику, освободить предприятия от детального контроля. В 1975 году, таким образом, был принят документ, официально отменяющий одно из основных положений экономической реформы 1965 года. Но вместе с тем раздались голоса, что нужна новая экономическая реформа. В июле 1975 года в газете «Социалистическая индустрия» появилась статья Л. Крузинера «По реализации или по отгрузке?», предлагающая изменить главный критерий оценки деятельности предприятия. Если реформа 1965 года считала таким критерием реализованной продукции, то по новой реформе критерием должен служить показатель стоимости отгруженной продукции. По реализации или по отгрузке?.. Возникла дискуссия. Один из ее участников не без остроумия сказал, что «если вместо реализованной продукции ввести показатель отгруженной, то вместо *толкачей при бумагах* появятся *курьеры по бестоварным счетам*, т. е. фиктивным документам на отгруженную продукцию». По словам одного зарубежного обозревателя этой дискуссии, «перед нами экономика, в которой для выполнения показателей выпускают *безнатурную продукцию**, на которую потом выписываются *бестоварные счета*». Нельзя не вспомнить, что еще в 1918 году Н. А. Бердяев пророчески писал в статье «Духи русской революции», в сборнике «Из глубины»:

«По-прежнему Чичиков ездит по русской земле и торгует мертвыми душами. Но ездит он не медленно в кибитке, а мчится в курьерских поездах и повсюду рассылает телеграммы. Те же

* Термин, обозначающий любую продукцию, неважно какую, выпускаемую советскими предприятиями лишь для того, чтобы перевыполнить план.

стихии действуют в новом темпе. Революционные Чичиковы скупают и перепродают несуществующие богатства, они оперируют с фикциями, а не реальностями, они превращают в фикцию всю хозяйственно-экономическую жизнь России».

Между тем, в начале 1940-х годов возникла научно-техническая революция, едва ли не величайшая в истории человечества. Возможность практического использования атомной энергии и реактивных двигателей, создание электронно-вычислительных машин, производство материалов с заранее заданными свойствами, внедрение автоматических систем... — все это предвещает глубочайшее преобразование не только мировой экономики, но самих основ хозяйственной, да и не только хозяйственной жизни на нашей планете. Начавшись в сороковых годах, научно-техническая революция уже развернулась в шестидесятых и семидесятых, — темпы ее нарастают с такою быстротой, что советская экономика, которая держится лишь богатейшими ресурсами страны, оказалась перед опасностью непоправимого отставания. Вот почему «вожди Советского Союза» добиваются так называемой «разрядки», «экономического сотрудничества», ради чего в конце июля 1975 года и было создано в Хельсинки «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе».

«Заря над Европой», — писали газеты в Москве по поводу конференции в Хельсинки. «Ярмарка дипломатов», — правильно сказал в «Фигаро» Раймон Арон. На протяжении всего 1975 года в разных странах мира шли дебаты о том, что такое «разрядка». Например, в беседе за круглым столом, состоявшейся в Вашингтоне, известный американский политический деятель Генри Джексон (сенатор из штата Вашингтон) говорил:

«Нужна подлинная торговля, а не экономическая помощь, заграничанная под «торговлю». Подлинная торговля — это улица с двусторонним движением. Пока что Советский Союз имеет мало такого, что он мог бы нам предложить. Он может это иметь, если только американские фирмы сделают значительные капиталовложения в Советском Союзе. Но для этого нужен совсем другой психологический климат, создание которого требует отказа от идеологического антагонизма. Мне хочется подчеркнуть, что все должно делаться на базе взаимности. Например, если советская печать всем доступна в Америке, то и американская печать должна быть всем доступна в Советском Союзе».

«Центральный вопрос разрядки, — сказал другой участник беседы, проф. Збигнев Бжезинский из Колумбийского университета (Нью-Йорк), — центральный вопрос разрядки можно сформулировать так: помогает ли эта разрядка развитию лучших тен-

денций в Советском Союзе или, наоборот, худших? Пока что экономическое сотрудничество между США и СССР сводится просто к передаче американской технологии на советскую сторону. Мне думается, что такая разрядка укрепляет все худшее, что заложено в советской системе, потому что она замедляет те внутренние реформы, в которых нуждается Советский Союз».

В Москве не переставали подчеркивать «историческое значение договоренностей, закрепленных в Заключительном акте, подписанном в Хельсинки». Это было темой многих шумных кампаний, как, например, празднование 30-летия Победы, 70-летия Михаила Шолохова. В октябре 1975 года в Москве проходила международная встреча писателей на тему — «Исторический опыт Второй мировой войны и ответственность писателя за судьбы своего народа в условиях разрядки напряженности». «Мы имеем возможность влиять на нравственный климат эпохи», — сказал Константин Симонов, произнесший вступительную речь на этой встрече. «Влиять...» — в какую сторону? И — как «влиять»? Посылкой оружия и даже «военных советников» в Анголу? Насильственным переворотом в Португалии, к счастью, неудавшимся? И какие «договоренности» были закреплены в акте, подписанном в Хельсинки? По этому акту правительство СССР обязалось выполнять Декларацию прав человека, принятую Организацией Объединенных Наций, тогда как в самые дни совещания в Хельсинки Татьяна Литвинова, дочь Максима Литвинова, подала этому совещанию жалобу, что ее дочери Вере, жене Валерия Чалидзе, находящейся в Нью-Йорке, не дают визы на въезд в СССР для свидания с матерью.

В сентябре 1973 года, еще в Москве, Александр Солженицын написал для норвежской газеты «Афтенпостен» статью «Мир и насилие», в которой он, кстати сказать, первым выдвинул кандидатуру акад. А. Д. Сахарова на Нобелевскую премию мира. «Не знаю, как в Европе, — писал Солженицын, — а в нашей стране вдоль всех железных дорог выложено камешками: МИРУ — МИР! и ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ! Можно принять эту пропаганду как очень полезную, если она будет означать, чтобы во всем мире не только не было войн, но прекратилось бы и всякое внутреннее насилие».

Вряд ли будет преувеличением сказать, что центральным вопросом 1975 года в Советском Союзе был вопрос — возможна ли международная разрядка без внутренней разрядки? Между тем, как раз этого-то, внутренней разрядки, по-прежнему не было и нет в Советском Союзе! 1975 год как начался, так и закончился политическими процессами: в январе — суд в Киеве, где к пяти

годам лагерей и пяти годам ссылки был приговорен Г. П. Винс, секретарь Совета евангельских христиан-баптистов; в декабре — суд в Вильнюсе, где к семи годам заключения был приговорен С.А. Ковалев. Эти два процесса, январский и декабрьский, образуют как бы рамку, охватывающую 1975 год, а посередине — суд над писателем Владимиром Марамзиным, над Анатолием Марченко, над баптистом Федотовым, над Оксаной Попович, вся «вина» которой в том, что она выступала в защиту известных украинских инакомыслов, Валентина Мороза и Святослава Караванского, наконец, над Владимиром Осиповым, редактором самиздатских журналов «Вече» и «Земля» (26 сентября В. Осипов был приговорен к восьми годам лагерей). 18 апреля 1975 года была арестован Андрей Твердохлебов, секретарь группы «Международной амнистии» в Советском Союзе. В хронике внутреннего насилия 1975 года должны войти и многочисленные обыски, например, у известного ученого-физика Валентина Турчина, у священника Дмитрия Дудко; и высылка Андрея Амальрика из Москвы в сентябре 1975 года; и лишение Владимира Максимова советского гражданства. Владимир Максимов, находящийся в Париже, сказал по этому поводу с горькой усмешкой: «Как говорится, дух Хельсинки веет над Советским Союзом . . .»

«Духу Хельсинки», проблемам «разрядки» были, в основном, посвящены две больших речи Александра Солженицына, произнесенные 30 июня в Вашингтоне и 9 июля — в Нью-Йорке, на многолюдных собраниях, устроенных американскими профсоюзными организациями (Американская федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов), по приглашению которых автор «Архипелага ГУЛаг» и приезжал в Америку.

«Разрядка — нужна или нет? — говорил Александр Солженицын в вашингтонской речи. — Не только нужна. Она нужна как воздух! Это единственное спасение Земли, чтобы вместо мировой войны произошла разрядка. Но разрядка истинная, и если ее уже испортили плохим словом, которое у нас «разрядка», а у вас «детант», так, может быть, надо найти другое слово. Я бы сказал, что даже можно очень мало признаков . . . главных признаков назвать для такой истинной разрядки. Я бы сказал, что почти достаточно трех главных признаков. Первый признак: чтобы разоружиться не только от войны, но и от насилия, чтобы не осталось аппарата не только войны, но и насилия, то есть не только того оружия, которым уничтожают соседей, но и того оружия, которым давят соотечественников (аплудисменты). Это не разрядка, если мы сегодня здесь с вами можем приятно проводить время, а там стонут люди и погибают, и в психиатрических до-

мах вечерний обход, и третий раз в день колют лекарство, разрушающее мозг человека. А второй признак разрядки я бы назвал такой: чтоб это было не на улыбках поставлено, не на словесных уступках, чтоб это стояло на камне. Это евангельское слово всем известно: «Не на песке надо строить, а на камне». То есть должны быть гарантии того, что это не оборвется в одну ночь или в один рассвет (аплодисменты), а для этого нужно, чтобы там... вторая сторона, которая входит в разрядку, имела над собой контроль: контроль общественности, контроль прессы, контроль свободного парламента. А пока такого контроля нет — нет гарантии (аплодисменты). А третье простое условие: какая же это разрядка, если вести человеконенавистническую пропаганду — то, что в Советском Союзе называют идеологической войной? Нет уж — дружить так дружить, разрядка так разрядка! Идеологическую войну надо кончать».

Две речи Александра Солженицына — это важные документы 1975 года. Как и статья Андрея Амальрика «США и СССР в одной лодке», написанная в августе в Москве и в октябре напечатанная в «Нью-Йорк Таймсе», — отрывком из этой статьи мы и закончим нашу хронику:

«Если США ставят задачу наладить подлинно дружеские отношения с СССР и хотя бы уверены в их прочности, они должны добиваться превращения советской подсистемы из закрытой в открытую. Осознание советскими людьми своих человеческих прав — сила, работающая в этом направлении. Поскольку у Движения за права человека нет дивизий, политики-полицейские и политики-лапочники склонны третировать его. Но мне кажется, что именно всемирное Движение за права человека станет преобразующей мир силой, которая преодолет как бесчеловечность, основанную на насилии, так и бесчеловечность, основанную на безразличии.

Подлинная стабильность — только в движении, только в расширении своего влияния. США должны стремиться к изменению мира, если они хотят, чтобы он был устойчив. Система, не ставящая экспансионистских целей, сжимается и отмирает. Мир пережил много видов экспансии — военную, экономическую, культурную. Если США смогут стать центром новой экспансии — гуманистической, направленной на защиту прав человека во всем мире, их будущее надолго обеспечено».



ОГЛАВЛЕНИЕ

К читателю	I
1917	
От безграничной свободы к безграничному деспотизму	3
1918	
Год буйного социального утопизма	16
1919	
«... через год вся Европа будет коммунистической»	22
1920	
Культ чекизма	30
1921	
Сопrotивление феноменальному сумасшествию	40
1922	
«Нэпманы магнетизируют русские пространства»	48
1923	
Уроки нэпа	56
1924	
Ленин и дело Ленина	65
1925	
Есенин и есенинщина	75
1926	
Принцип абсолютного единства и единственности партии	84
1927	
Человек с люциферовскими чертами	90
1928	
«Новый человек»	101
1929	
Год великого перелома	109
1930	
Железный занавес	118

	1931	
Хунвейбины в Москве		127
	1932	
«Откуда эти ракушки?»		134
	1933	
Десять дней М. М. Литвинова в США		141
	1934	
Выстрел в Смольном		145
	1935	
Миф «социалистического гуманизма»		152
	1936	
Конституционные уроки		159
	1937	
«Что это было такое, тридцать седьмой год?»		166
	1938	
«Как же пошла действительная история?»		184
	1939	
«Действительность создается Сталиным и Гитлером»		202
	1940	
ВКП(б) — Второе Крепостное Право (большевиков)		209
	1941	
«В год затемнения и маскировки...»		215
	1942	
Вифлеемская звезда в ночи под Сталинградом		222
	1943	
«Какой заговор вы замыслили?..»		233
	1944	
Вдали от родины		241
	1945	
Встречи на Эльбе		247
	1946	
«Полки наши возвращались из-за границы...»		253
	1947	
Осенью, в Казахстанской степи		261

	1948	
М. М. Зощенко пытался заработать на хлеб сапожничеством		266
	1949	
«Безродный космополитизм»		271
	1950	
Новый класс		275
	1951	
Вторая половина двадцатого века		283
	1952	
Геронтократия		287
	1953	
В темной бездне лжи, злобы и гордыни		292
	1954	
«Маленков нажал потайную кнопку...»		303
	1955	
Коммивояжеры из фирмы «И. В. Сталин и наследники»		309
	1956	
Неудавшийся поворот		315
	1957	
Научно-технический прогресс и политическая отсталость		322
	1958	
«Колдовская сила мертвой буквы»		331
	1959	
«Чую Кучума!»		338
	1960	
«Наш спаситель — Самиздат»		345
	1961	
Убийцы среди нас		354
	1962	
«Щ — 854»		363
	1963	
Отцы и дети		371
	1964	
Маленький Пиня		377

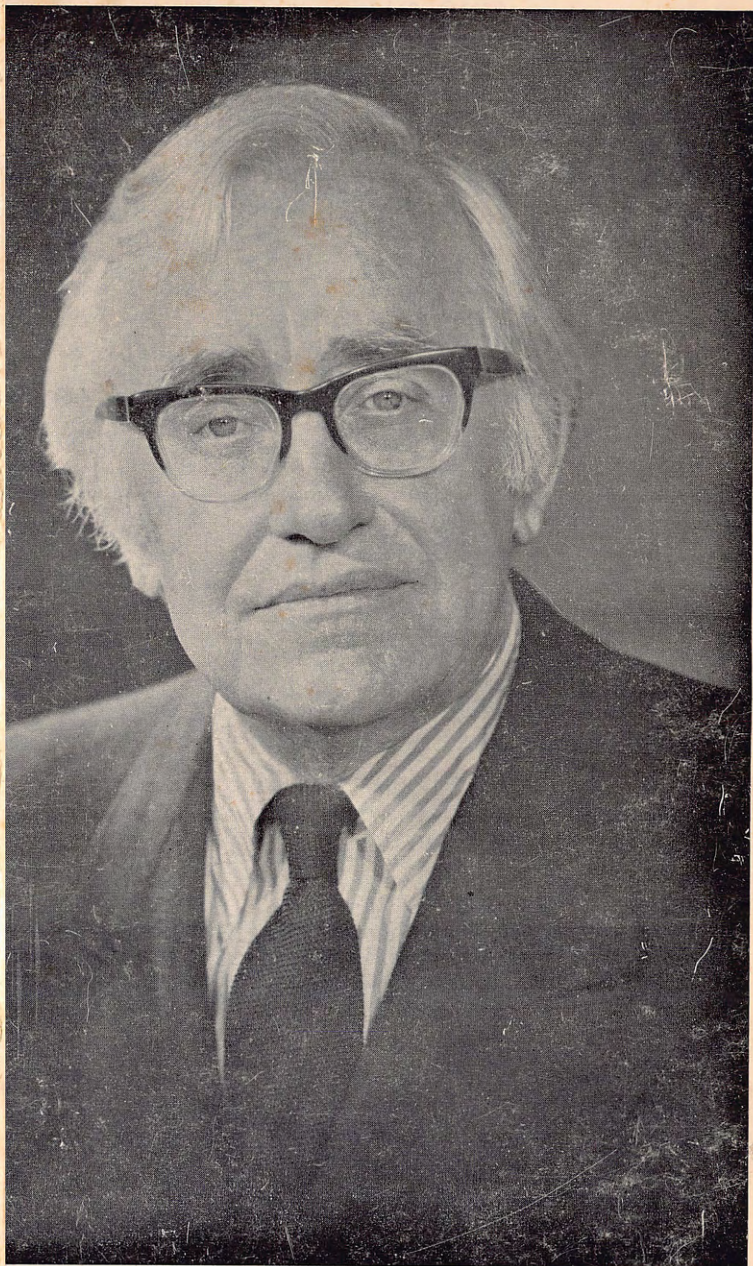
	1965	
Контроль рынка или госконтроль?	389
	1966	
«Суд идет...»	398
	1967	
50 лет спустя	405
	1968	
Две весны — пражская и московская	417
	1969	
Возможно ли сегодня реабилитировать Сталина?	429
	1970	
Два Александра	439
	1971	
На вече!	450
	1972	
От Ильича до Ильича	461
	1973	
Третья эмиграция	475
	1974	
Между землей и адом	489
	1975	
Разрядка... международная и внутренняя	500

чен немцами в плен, а две недели спустя освобожден американцами и передан в лагерь «перемещенных лиц». Бежав из лагеря, в конце мая добрался до Парижа.

В Париже, в ожидании репатриации, М. Коряков работал выпускающим газеты «Вести с Родины», издававшейся посольством СССР. В день репатриации, 19 марта 1946 года, бежал из посольства, скрывался во французской деревне, пока не смог улететь за океан, в Бразилию. Прожив в Рио-де-Жанейро около четырех лет, М. Коряков в 1950 году переехал в США.

В 1947 году в Париже вышла на французском языке книга М. Корякова «Почему я не возвращаюсь в советскую Россию»; она была переведена на семь языков. В 1951 году на французском языке вышла его вторая книга «Москва слезам не верит». В 1952 году Издательство им. Чехова в Нью-Йорке опубликовало на русском языке книгу Михаила Корякова «Освобождение души».

Книга «Живая история (1917—1975)» состоит из исторических очерков, каждый из которых посвящен одному году послеоктябрьской истории России. Ряд глав, которые вошли в эту книгу, были опубликованы в еженедельной газете «Русская Мысль» (217, rue du Faubourg St. Honoré, 15008 Paris, France).



Михаил Михайлович Коряков